

К. Леонтьев

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
И ПИСЕМ

8(1)

К. Леонтьев



К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2007

К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

ТОМ ВОСЬМОЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

ПУБЛИЦИСТИКА
1881—1891 ГОДОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2007

УДК 8(47)82

ББК 84(05)

Л47

Редакционная коллегия

*С. Г. Бочаров, В. М. Камнев, В. И. Косик,
В. А. Котельников (главный редактор), Г. Б. Кремнев,
А. П. Мельников, Н. Н. Скатов, А. Феррари,
О. Л. Фетисенко (заместитель главного редактора)*

Тексты подготовили

В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко

*При подготовке издания были использованы материалы,
хранящиеся в Российском государственном архиве
литературы и искусства
и в Государственном литературном музее*

*Издание выпущено при поддержке Комитета по печати
и взаимодействию со средствами массовой информации
Санкт-Петербурга*

*Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России»*

*За помощь в осуществлении издания данной книги
издательство благодарит Тихомирова Сергея Николаевича*

© Издательство «Владимир Даль»,
2007

© В. А. Котельников, О. Л. Фети-
сенко, подготовка текстов, 2007

© А. П. Мельников, оформление,
2007

© П. Палей, дизайн, 2007

ISBN 978-5-93615-075-3 (Т. 8, кн. 1)

ISBN 5-93615-011-9

ПУБЛИЦИСТИКА

1881—1891 годов

ЗАПИСКА О НЕОБХОДИМОСТИ НОВОЙ БОЛЬШОЙ ГАЗЕТЫ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ

Нет никакого сомнения, что в русском обществе таится, так сказать, — и в наше время умственной растерянности, — огромный запас охранительных сил.

Есть многое множество людей, искренно желающих, чтобы те основы, которых развитие создало могущество Русского Государства и укрепило нравственный строй общества нашего, оставались по возможности неизблемыми. — Одним словом, — патриотизма истинного, любви к отечеству, правильно понятой, у нас еще достаточно. — Но все это, как я сказал, в большинстве случаев только *таится* в русских умах и сердцах, не находя себе полного и ясного выражения в печати.

Однако обстоятельства таковы, что подобное выражение православно-русских чувств и мыслей посредством влиятельного печатного слова становится делом первой необходимости.

Еще Москва с этой точки зрения счастливее Петербурга; — в Москве существуют такие органы печати, как «Московские Ведомости» и «Русь», но в Петербурге решительно преобладают газеты того медленно-разрушительного направления, которые, прикрываясь словами «законность», «постепенное, мирное и легальное развитие», — стремятся с чрезвычайной настойчивостью и замечательным умом подкопать все драгоценные основы нашего быта государственного и общественного. — Таковы прежде всего: «Го-

лос», «Страна» (г. Полонского (поляка)) и «Порядок» — явное орудие жидовско-польского заговора, издание до крайности вредное, содержимое даже на весьма крупное еврейское пособие (как слышно, до 130 000 в год!!!).

«Новое Время», конечно, значительно разнится своим духом от этих революционных газет, и во многих случаях оно весьма полезно; — но г. Суворин, во-1-х, до известной степени связан и перед самим собою и перед публикой своим либеральным прошедшим, а во-2-х, и в настоящей своей, благонамеренной во многих отношениях, деятельности, — не совсем соответствует тому высшему русскому идеалу, которому так необходимо было бы найти подходящее выражение в периодической прессе.

Этот идеал должен быть, по нашему мнению — *прогрессивно-охранительный*, но отнюдь не *либеральный*!

Именно противу *либерализма* во всех его разнообразных проявлениях должен был бы бороться в Петербурге, как в центре нашей государственной жизни, истинно русский и вместе с тем вполне современный орган печати.

²⁰ Плоды 25-летнего либерального развинчивания России по европейским образцам, плоды, с одной стороны, ужасные, а с другой — столь презренные, у нас перед глазами. Противу этого узаконенного, так сказать, безначалия, противу европейского нашего пустословия, противу отвратительного господства необдуманных и затверженных фраз и противу ежеминутных посягательств на все, что только есть в России святого и священного, должен бороться орган свежий, неподкупный, в прошедшем своем никакою пошлостью не запятанный и бестрепетный перед какими бы то ³⁰ ни было выводами русской мысли.

Русская мысль должна, наконец, решиться стать смелой; европейские мнения не должны более иметь для нее прежней цены; к европейским примерам мы должны относиться с крайним недоверием, с боязнью заразы и с полной верой в наше независимое призвание.

Я сказал, что истинно русская мысль должна быть, так сказать, прогрессивно-охранительной; выразимся еще точ-

нее: ей нужно быть *реакционно-двигающей*, т. е. проповедывать движение вперед на некоторых пунктах исторической жизни, но не иначе, как посредством *сильной власти* и с готовностью на всякие *принуждения*.

На месте стоять — нельзя; нельзя и восстанавливать то, что раз по существу своему утрачено (напр<имер>, дворянские привилегии в *прежней их форме*); — но можно и должно, одной рукой — охраняя и утверждая Святыню Церкви, могущество Самодержавной власти и развивая и обновляя пренебреженные остатки *быта* нашего, другою — ¹⁰ двигать нацию вперед совсем не по западному и тем более не по либеральному пути. — Чтобы сделать эту мысль нагляднее, я приведу один пример: с одной стороны, утверждая и развивая в России и во всем Славянстве в *наитеснейшем союзе с Восточно-Греческими Церквями* древнее святоотеческое Христианство в отпор тому полулиберальному Христианству, которое так распространилось у нас теперь и которое чает с Распятием (символом страдания) в руке — дойти здесь на земле до *свободного равенства* и всеутешительной, *поголовной любви*, никогда Христом не обещанной; — внося в преподавание низшее *любовь* (да, именно — *любовь!*) к Церкви, и даже к ее стеснениям, вместо любви к либеральному всечеловечеству; — основывая характер *высшего преподавания на идее вовсе в педагогии* ²⁰ *новой*, именно на *глубоком разочаровании* во всеспасительности и во всеполезности реальной науки и открытий западного прогресса, — с другой стороны, необходимо вступить решительным и твердым шагом на путь *чисто экономических, хозяйственных реформ*; необходимо опередить в этом отношении изношенную духом Европу; — стать во главе ³⁰ движения;... из «последних стать первыми» в мире!

Но все это возможно только при смелости власти и при покорности общества и народа. — И здесь-то является с полной ясностью спасительность Самодержавной мощи, в частные интересы различных классов общества не запутанной, а свободно относящейся с высоты Престола к неизбежному в жизни хаосу интересов, мечтаний и страстей. —

Здесь-то видно, до чего благотельно то чувство, которое в Манифесте Царском выразилось в словах: «охранять Самодержавие от всяких на него поползновений».

Действительно, либерализм, простертый *еще* немного дальше, довел бы нас до взрыва, и так называемая конституция была бы самым верным средством для произведения насильственного социалистического переворота, для возбуждения бедного класса населения против богатых, против землевладельцев, банкиров и купцов, для новой, ужасной, быть может, Пугачевщины. Нужно удивляться только, как это могли некоторые даже и благонамеренные люди желать ограничения Царской власти в надежде на лучшее умиротворение России! — Русский простолюдин сдерживается гораздо более своим духовным чувством к особе Богопомазанного Государя и давней привычкой повиноваться Его *слугам*, чем какими-нибудь естественными свойствами своими или вовсе не воспитанным в нем историей уважением к отвлеченностям закона. Известно, что русский человек вовсе не умерен, а расположен, напротив того, доходить в увлечениях своих до крайностей. Если бы Монархическая власть утратила бы свое безусловное значение и если бы народ понял, что теперь уже правит им не Сам Государь, а какими-то неизвестными путями набранные и для него ничего не значащие депутаты, то, может быть, скорее простолюдина всякой другой национальности, русский рабочий человек дошел бы до мысли о том, что нет больше никаких поводов повиноваться. Теперь он плачет об убитом Государе в церквях и находит свои слезы *душеспасительными*; а тогда о депутатах он не только плакать бы не стал, но потребовал бы для себя как можно *побольше земли и вообще собственности* и как можно меньше *податей*...

За свободу же *печати и парламентских прений* он не станет, слава Богу, драться, подобно фразеру французскому работнику.

Повиновение русскому человеку (мы говорим: *человеку русскому вообще*, а не одному простолюдину), в случае

конституционной реформы, перестало бы нравиться, как нравится еще оно ему теперь.

При конституции и нигилистам гораздо легче было бы вести свою проповедь среди молодых земледельцев, мещан и фабричных; — а людям порядка и преданий труднее было бы им противодействовать. — *Воспитывать* наш народ в *легальности* очень долгая песня; великие события не ждут окончания этого векового курса! — А пока народ наш понимает и любит *власть* больше, чем *закон*. — Хороший «генерал» ему понятнее и даже приятнее хорошего параграфа устава. Конституция, ослабивши *русскую власть*, не успела бы в то же время внушить народу *английскую любовь к законности*. — И народ наш прав! Только одна могучая Монархическая власть, ничем, кроме собственной совести, не стесняемая, освященная свыше религией, благословенная Церковью, только такая власть может найти практический вывод из неразрешимой, по-видимому, современной задачи примирения *капитала и труда*. — Рабочий вопрос — вот тот путь, на котором мы должны опередить Европу и показать ей пример. — Пусть то, что на Западе значит разрушение, — у славян будет творческим созиданием... Народу нашему — утверждение в *Вере и вещественное обеспечение прав и реальной науки*! — Поменьше прав и поменьше податей, поменьше школ и побольше церквей и монастырей; — поменьше кабаков и побольше хороших больниц; поменьше судебных любезностей и побольше «земли», где можно и когда можно. Побольше местного самоуправления с *мужицким оттенком* в уездах и побольше *отеческого самоуправства* в высших сферах власти. — Только удовлетворяя в одно и то же время и *вещественным*, и *высшим* (религиозным) потребностям русского народа, можно вырвать грядущее поколение простолудинов из когтей нигилистической гидры.

Иначе крамолу мы не уничтожим и социализм рано или поздно воз(ь)мет верх, но не в здоровой и безобидной форме новой и постепенной государственной организации, а среди потоков крови и неисчислимых ужасов анархии...

Надо стоять на уровне событий; надо понять, что организация отношений между трудом и капиталом в том или другом виде есть историческая неизбежность и что мы должны не обманывать себя, отвращая лицо от опасности, а, взглянув ей прямо в глаза, не смущаясь понять всю силу ее неотвратимости, в том случае, если мы сами не поспешим изменить радикально историческое русло народной жизни. Выбора тут нет между дальнейшим ходом либерального гниения, долженствующим разрешиться, вероятно, очень быстро торжеством нигилистической проповеди (ибо нет народа, который бы нельзя было развратить), и между охранительно-прогрессивным, — или даже вернее сказать, — *реакционно-прогрессивным* направлением, которого преимущества я обозначил в главных чертах.

Остановившись на этих двух главных вопросах: религиозном и рабочем, — я не коснулся остальных: ни педагогического, ни промышленного, ни финансового.

По поводу промышленного вопроса я скажу кратко, что надо, вообще, конечно, быть за протекционную систему; хотя, с другой стороны, не следует забывать, что какое покровительство русским мануфактурам не может быть вполне плодотворно до тех пор, пока не изменятся сами *вкусы, моды и обычаи* наши. Пока и в этом отношении мы не станем совершенно независимы от Европы.

О педагогии я также распространяться не буду.

Наш взгляд на это следующий:

1) Для школ первоначальных. — Число их нужно сократить, пока не выкурится из них либеральный *европеизм*. — Школы народные с явно-реальным оттенком гораздо вреднее кабаков. — Преподавание в таких школах должно быть исключительно в руках духовенства и особенно *черного*.

2) Для средних и высших заведений, разумеется, классицизм лучше реализма; — но и тут надо заметить, что основной дух самого образования необходимо изменить. — Прежде всего надо уничтожить в юношах веру в *благодетельное саморазвитие человечества*; надо уничтожить в

них излишнее обоготворение *науки*. — Надо внести в преподавание и высшее, и среднее *строжайший пессимизм* в отпор тем учениям, которые от реальной науки ждут *рая земного и прекращения всех бедствий и скорбей*. — Надо с ранних лет внушать молодежи, что не будет на земле ни *рая*, ни *равноправности*, ни *всеобщего мира*, ни *царства безусловной правды*. — Надо, чтобы они выучились верить, что *Божественная Истина* надежнее и даже *научнее* глупой мечты о *человеческой правде!*..

И этого может легко достичь сильная *Единодержавная* ¹⁰ Власть при деятельной и бескорыстной помощи *Православного духовенства* и *независимых, мыслящих мирян*.

Теперь остается вопрос: *где найти нужную для создания подобной газеты сумму?*

Были попытки собрать 250 000 рублей у московских купцов для этой цели; но они неохотно подаются на жертвы для *петербургской* газеты, забывая, что *Петербург*, пока не *переменялись* *вовсе обстоятельства*, важнее *Москвы*, как центр высшей администрации. — Действие из *Петербурга* на *Москву* все-таки гораздо сильнее, чем обратное действие из *Москвы* на *Петербург*. — «*Московские Ведомости*» в *Петербурге* гораздо менее распространены, чем *петербургские* газеты в *Москве*. — Относительно казенного фонда или крупной субсидии можно сказать следующее. — Деньги, конечно, нашлись бы у казны для такого положительно *необходимого* предприятия. — Трудно, например, решить, что в наше время *нужнее*, — *хороший добровольный флот* или *хороший дух печати?* ²⁰

Конечно, дело не столько в самих деньгах, сколько в *надежности предприятия*. ³⁰

После неудачи «*Берега*», может быть, перестали верить в пользу подобного дела даже и те, которые его тогда задумали. — Но может ли *одна* неудача служить решительным примером для будущего? — *Выбор Редактора* погубил дело, а не казенная субсидия.

Г. Цитович неискренний человек, не убежденный, не православный и бездарный. — Это было видно почти с

первых номеров «Берега». — Бездарность его блистала на каждом шагу.

Вообразим себе на месте г. Цитовича другого человека; например — хотя бы Князя Н. Н. Голицына (редактора «Варшавского Дневника»). — Можно ручаться, что дело пошло бы иначе.

Все бы с первого месяца поняли бы, *чего желает редакция*. — В «Береге» все было или бесцветно, или до гадости грубо (например, статьи Дьякова-Булгакова).

¹⁰ Чтобы убедиться в этом, надо дать себе труд пересмотреть только бегло номера «Варшавского Дневника» и «Берега» за первое полугодие их одновременного существования (Князь Голицын и Цитович приступили к своей деятельности в одно и то же время, в первые месяцы 1880 года).

Либеральная печать могла бы нападать сколько ей угодно на этот орган; обличать его в «официозности», в подкупности и т. д. — Но *искренность и силу убеждения, ума, таланта, вкуса и познаний* не скроешь и не уничтожишь ²⁰ вполне никакими нападками ненависти. *Охранительные истины* русской жизни оставались бы истинами независимо от питающего их, так сказать, источника.

Нет спора, — лучше бы было избавить газету от обвинений в продажности; полезнее было бы лишить либералов этого жестокого орудия враждебной полемики.

Но что же делать с русским обществом, если его историческое воспитание таково, что оно *без Правительства* ничего хорошего сделать не умеет, несмотря на все свои «конституционные» и тому подобные претензии. — Все великое ³⁰ и прочное в жизни русского народа было сделано *почти искусственно* и более или менее *принудительно*, по почину Правительства. — Когда же (как мы видели за последнее время) почин Государства принял характер некоторого самоотречения или самоограничения в пользу этого, так называемого, «общества», то вмешательство и сравнительная свобода последнего — ничего не принесли, кроме плодов революционных или, по крайней мере, *оппозиционных*

(у нас в России разница только количественная, а не качественная между этими двумя политическими терминами).

Крещение Руси было дело Правительства. — Собрание Руси — тоже; Правительством было постепенно утверждено *Крепостное право*, — право столь спасительное в свое время и даже столь *культурное* (ибо разнообразие воспитания, необходимое для культуры, было плодом этого *искусственного феодализма*). — Создавши привилегированный *культурный слой*, т. е. *дворянство*, — Правительство исполнило великую и историческую обязанность¹⁰ свою. — Также искусственные и тоже крайне принудительные европейские реформы Петра слишком известны, и даже многие стороны их подверглись осуждению истории; — но, видно, эта *особого рода искусственность естественна для России*. Екатерина II также *искусственно* старалась придать дворянству более аристократический характер. — Никто этого от нее не требовал: никакая *печать*, никакая *толпа*, никакие *общественные корпорации* не вынуждали Царицу принять такое направление. — Но этого требовал ее собственный гений, требовала, так сказать, *натура России*, где только то и становится прочным, что, *повторяю*, несколько насильственно и *искусственно* создано Правительством. — Возьмем еще пример — *чиновничество, бюрократию*, как говорится. — В ней много недостатков, много пороков; чиновничество есть, по преимуществу, так сказать, *правительственное учреждение*, по мнению либералов, уже в высшей степени неестественное. — Но стоит только обратиться к наилучшему судье подобных вопросов, к разуму русского простолюдина, чтобы понять, что это не совсем так. — Русский простолюдин³⁰ терпит часто от ошибок и даже от притеснений нашей администрации; но, недовольный частностями, он все-таки считает чиновничество необходимым и спасительным. — «Начальство», «Царские слуги»... — говорит он с почтением, и мало-мальски хорошего «Царского слугу» он всегда скорее поймет, чем какого-нибудь независимого земского ланд-лорда, который берет с него (не для Государя, а для

себя) очень дорого за землю. — Губернатора мужик готов даже любить за то только, что он Царский губернатор; независимого землевладельца ланд-лорда он готов подозревать в злоумышлении и очень был бы рад отнять у него всю его землю. — Недаром прежние помещики, появлявшиеся в отставных мундирах среди бушующей толпы крестьян и напоминая им этим видом, что они не только землевладельцы (состоящие с ними в естественном антагонизме интересов), но лица, Царю служившие, усмиряли без оружия разгоревшиеся страсти.

Я скажу даже больше: ... если социализм не как нигилистический бунт и бред все-отрицания, а как законная организация труда и капитала, как новое корпоративное принудительное закрепощение человеческих обществ, имеет будущее, то в России создать и этот новый порядок, не вредящий ни Церкви, ни семье, ни высшей цивилизации, — не может никто, кроме Монархического Правительства.

Ввиду всего сказанного, что же значило бы издержать на новый опыт, вроде опыта с «Берегом», каких-нибудь 200, 250 тысяч... Безжалостно было бы оставить без умственной помощи нашу слабую, слабомыслящую и послушную более или менее всякому пустому веянию читающую публику.

Даже в случае неудачной подписки газета, сильная сама собою, умом и энергией личного состава редакции, продержавшись года три-четыре, — не прошла бы бесследно и без влияния на умы. — Теперь множество хорошего и невысказанного остается под спудом, а пустословие гуляет на просторе и господствует. — Следы этого хорошего остались бы, и семена истины не могли бы быть вполне затоптаны либеральными копытами...

Неужели никому не страшно, не больно видеть, — с одной стороны, однообразную злонамеренность множества наших газет, а с другой, силу их влияния на умы большинства «интеллигенции», которое, по выражению одного английского публициста, «есть всегда не что иное, как собиравшаяся бездарность».

Впрочем, повторяю, я согласен с тем, что лучше бы для подобной газеты избежать обвинения в «официозности». — По моему мнению, этого достигнуть нетрудно.

Взявши в расчет ту, по-видимому, *уже неизбежную* в русской культуре или русской государственности — *естественную искусственность*, о которой я говорил, есть возможность создать орган печати в одно и то же время *охранительный и свободный*. Основной капитал не должен быть прямо казенной или какой-нибудь Министерской субсидией. — Он должен быть собран добровольно; но для достижения этого, для возбуждения охоты жертвовать в непредприимчивых русских богачах — необходимо, чтобы лица *очень высокопоставленные* подали пример. — Никто не будет вправе и в силах утверждать, что газета *казенная*, если, например, кто-либо из лиц Царской крови прямо или еще лучше косвенно пожертвует на эту газету значительную сумму вместе с другими состоятельными людьми, со знатными дворянами, государственными сановниками и значительными купцами. — Сверх того, можно бы собрать и с богатых монастырей через посредство Св. Синода и Епископов весьма крупную добавку к общей сумме. ¹⁰

Таким образом, самое разнообразие лиц и учреждений, заинтересованных (по крайней мере, нравственно, если не удастся доставить им хорошего % с их капитала) в подобном предприятии, будет залогом независимости для газеты. ²⁰

Либерализм однообразен по существу своему; он везде почти у всех один; разница в оттенках его больше количественная, чем качественная. — Он смелее, резче, революционнее, или слабее, скромнее, осторожнее; — но он один потому, что он есть не что иное, как *сознательное или бес-* ³⁰
сознательное разрушение. Разрушение просто; охранение *разносторонней*, уже прежде создавшейся государственности — всегда должно быть *поневоле* сложно.

Лица, долженствующие, по проекту моему, способствовать возникновению охранительной газеты, будут неизбежно разниться между собой во взглядах на многое. — Все они могут быть удовлетворены, но нередко *разными сторо-*

нами в деятельности подобной редакции. — *Это-то самое* и доставит редакции ту свободу мнений, которая всегда дает особый вес органу печати.

К тому же, повторю здесь еще раз то, что говорил выше: искренность и твердость убеждений, выраженные с умом и талантом, — дают себя чувствовать даже и при существовании самой простой коронной субсидии. — Истина и дар — не гибнут даже и от прямой казенной помощи. — В церкви, построенной на казенные деньги, точно так же совершаются таинства и точно так же молятся люди, как и в храме, на частные средства воздвигнутом; нужно, чтобы причт был хорош; на сцене *Императорских театров* давались «Жизнь за Царя», «Горе от ума» и пьесы Островского, и казенное жалование не портило дарований Мочалова, Садовского и Бантышева. — Нужны *таланты*; нужны искренность чувств и *независимость ума*... Нужно узнавать людей, а не искать их где-то, когда они под рукой.

О. А. НОВИКОВА

Здесь мы желаем познакомить наших читателей с портретом и краткой биографией писательницы, игравшей немаловажную роль в политическом мире за последние годы. Г-жа Новикова (известная в политической литературе России, Англии, Германии и Франции под буквами О. К.) большую часть года проводит обыкновенно в Англии. Хотя О. К. пользуется и у нас значительным влиянием и заслуженным почетом в высших литературных и политических кругах, но за границей, и особенно в Англии, она как русский публицист гораздо известнее и популярнее, чем в своем отечестве. Ее известность в Англии довольно значительна. Ее книга «Russia and England» («Россия и Англия»), изданная в 1882 г. на английском языке, в Лондоне, имела в Англии огромный успех. Издания следовали одно за другим. Журналы и газеты наполнены были статьями о ней. Французский журнал «Revue des deux Mondes» в то же время напечатал статью Эмиля де Лавеле об этом блестящем политическом труде русской женщины.

В этой книге г-жа Новикова прямо и открыто нападает на восточную политику лорда Биконсфильда, столь враждебную России. Она не всегда щадит, впрочем, и личного друга своего, г. Гладстона. Гладстон сам отвечал на эти прямодушные нападки русской патриотки и тем еще более увеличил ее известность. О. К. — заступница англо-рус-

ского союза по восточным делам и, по словам английских органов печати, имела много влияния на дружественный к России поворот великобританской политики после падения торийского министерства Биконсфильда.

О. А. Новикова принадлежит по рождению и браку своему к высшему кругу русского общества. Она урожденная *Киреева*, родная сестра Н. А. Кирееву, убитому на войне за сербскую независимость. Мать ее (до сих пор живущая) родом *Алябьева*, славилась в свое время красотой; ¹⁰ она — та самая, в которой Пушкин находил столько «блеска».

...И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой...

Замужем Ольга Алексеевна за Иваном Петровичем Новиковым, бывшим помощником попечителя Киевского учебного округа, братом известного дипломата нашего, Евгения Петровича Новикова. Геройская смерть брата ее, Николая, которого она сильно любила, была, как говорят, внешней побудительной причиной, заставившей ее выступить на литературно-политическое поприще. И прежде полная сочувствия славянскому возрождению, г-жа Новикова, ²⁰ под влиянием скорби о погибшем брате, решилась иным путем служить тому делу, за которое Киреев положил свою голову. В честь брата она избрала и эти, столь известные в Европе буквы — *О. К.*, то есть *Ольга Киреева*.

ВООРУЖЕННЫЕ МОНАХИ

(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

М<илостивый> Г<осударь>. В 252 нумере вашей почтенной газеты в фельетоне, подписанном «М. Добродушный», крайне раздражительно рассказывается о том, что в известном Оптинском монастыре (около г. Козельска, Калужск<ой> губ<ернии>) нынешний год уродилось много яблок и будто бы монахи ходят по этому случаю вооруженными и стреляют всю ночь, нарушая тем сон мирных обывателей. Автор при этом восклицает: ценою человеческой жизни только они отдадут яблоко!¹⁰

Прошу вас верить, г. редактор, что мне стоит больших усилий удержать негодование мое в тех пределах, в которых того требуют... не скажу приличия... относительно самой статьи и относительно самого корреспондента вашего, но то глубокое уважение, которое я имею к вам и к благородной газете вашей.

Но видно правда, «что и на старуху бывает проруха»... Случилась на этот раз и с вашим органом, вероятно, нечаянная проруха...

Я постараюсь в угоду вам быть сдержанным и кратким...²⁰
Вот мои возражения:

1) Обыкновенно в Оптиной сторожат яблоки не сами монахи, а наемные работники. Отчего же им не стрелять холостыми зарядами? Стреляют сторожа не для того, чтобы угрожать чьей-нибудь жизни, а для того, чтобы воры слышали, что они не спят и что их много...

2) Если бы даже и случилось, что в числе этих сторожей ваш корреспондент увидал двух, трех людей в подряснике, то надо вспомнить, что большинство монахов обыкновенно еще не пострижены, т. е. *не монахи*, а только *послушники, испытуемые*, «чина иноческого» еще не заслужившие люди. Отчего же им не пободрствовать на пользу обители и вместе с мирянами не пострелять холостыми зарядами? Ведь стрелять одним порохом все равно, что ходить с трещеткой около вишен.

¹⁰ 3) Таких *обывателей*, которые бы от монастыря не зависели и интересов его вовсе бы не касались, около Оптиной *вовсе нет*; сзади Оптиной лес; спереди луга.

Ни в г. Козельске, ни в ближайших деревнях, Стельне и Прысках, стрельбы не может быть слышно, далеко; около Оптиной живут или люди рабочие, подведомственные обители, или люди благочестивые, обители преданные, которые построили себе дома или наняли их для того, чтобы доживать свою жизнь поближе к тем самым «ужасным» монахам, которые не понравились вашему корреспонденту. Вы-
²⁰ ходит, что чужих «обывателей» *вовсе поблизости нет*.

4) «Монахи сытые в довольстве проживают», говорит автор. Монахи едят до того просто и грубо, что я, например, каюсь и признаюсь, живя в Оптиной подолгу, решительно не мог к этой пище привыкнуть и постоянно был или голоден, или вынужден добывать себе особую провизию из города... А если монахи так нетребовательны, что грубой пищею сыты, то чему же тут завидовать и за что так *либерально и юмористически* гневаться?

³⁰ 5) Св. *отцы*, пишет дальше обличитель, *до такой степени алчны и скупы, что решили стеречь свой урожай, притом самым рачительным и решительным способом*. На это я замечу вот что: у меня живут в услужении двое молодых козельских мещан; они оба все свое детство провели в Оптиной на разных работах и должностях. Они говорят: «народ в наших окрестностях *такой вор*, что если бы не стеречь, ни яблока бы не осталось». Я спрашиваю: с какой же стати отдавать вора́м яблоки, которые могут быть

отчасти розданы братии «для утешения», отчасти сохранены для угощения почетных посетителей монастыря, отчасти даже и проданы, если их очень много?

Почему это игумен вора и чужого негодяя должен больше «утешать» плодами монастырских трудов, чем братию монастыря и благоприятных иноческой жизни гостей и поклонников?

Не понимаю!

На «богатства же» обители тоже раздражаться русско-¹⁰му человеку неприлично, особенно в наше время «благотельного прогресса». Богато *учреждение, община*; монахи же от этого богатства лично мало пользуются, и жизнь их так сурова и строга порядками, что из нашего сословия очень немногие могут долго выносить ее, даже и не надевая рясы...

Дай Бог, чтобы монастыри были в «наше время» богаты и независимы.

При одном взгляде на них *отдыхает* хоть немного то сердце, которое имеет право назваться христианским и русским сердцем... Я сам скажу во всеуслышание и с радостью: монастырям нашим я столько обязан, я в них нашел столько хорошего, столько *настоящего* христианского *понимания*, столько русского чувства, столько поэзии, наконец, что долгом чести, долгом правды, долгом веры считаю защищать их от всяких нападков «современного»... чего бы сказать... ну, положим, «современного» и «необдуманного» отрицания? Что касается до Оптиной пустыни в особенности, то в книге моей «Отец Климент Зедергольм» я, как умел, старался объяснить всю высокую нравственную пользу, все духовное величие прекрасного обычая старчества,³⁰ перенесенного к нам в 20-х годах с Афона и укрепившегося с особым успехом в Оптиной пустыни. Неужели все это не заслуживает пощады?

НАШИ ОКРАИНЫ

Статья эта, напечатанная в 1882 году, была написана еще в 1880-м в Варшаве под влиянием местных впечатлений, тотчас же по прочтении статьи г. Кояловича в «Холмско-Варшавском Епархиальном Вестнике», и потому имеет, главным образом, в виду Польшу или, вернее сказать, весь Западный край; о других окраинах России упомянуто в ней лишь мимоходом, *но совершенно в том же духе охранения существующего.*

¹⁰ Редакция «Гражданина» напечатала после этой статьи и другой дополнительный отрывок из моего письма в защиту остзейских прав. Я полагаю, что все то, что я говорю о Польше, в общих чертах приложимо и к Остзейскому краю, и к Кавказу, и к Туркестану, и, пожалуй, даже в некоторых отношениях и к Сибири.

I

ПРАВОСЛАВИЕ И КАТОЛИЦИЗМ В ПОЛЬШЕ

²⁰ В нашей литературе было много нападок на Католичество, — не всегда с чисто православной точки зрения, а больше с либеральной или с государственно-национальной. Значительная часть этих нападок была заслужена.

Она заслужена была уже тем, что и католики были не всегда чистыми католиками, т. е. западными христианами, которым, точно так же, как и христианам восточным, запрещены законом Божиим *политические движения* противу власти Кесаря (хотя бы и иноверного — все равно).

С другой стороны, и русские светские писатели не всегда были правы и дальновидны. Иные из них, считая себя даже православными, весьма неосторожно сбивали читателей своих тем, что по незнанию или по либеральности своей осуждали чаще в Католичестве не догматические и канонические, *в высшей степени важные* оттенки, которыми оно от Православия разнится, а, напротив того, именно те его стороны, которые по существу у него с Православием общи или достойны, по крайней мере, подражания; напр(имер), *аскетизм и оптимистический пессимизм мировоззрения; сильная власть духовенства; развитие духовничества и старчества, женские школы при монастырях и т. п.*

Думая вредить Папству, эти русские писатели много вредили и Православию; умышленно они это делали или по легкомыслию — не знаю. Полагаю, что иные были ослеплены ревностью или только поверхностны; другие же «ведали, что творили».

Но здесь идет речь и не о зловердных, и не о легкомысленных людях, а, напротив того, об одном весьма полезном и весьма основательном русском человеке, — о г. Кояловиче, или, лучше сказать, об одной статье его. Я с этой статьей и согласен и не согласен. У некоторых птиц, говорят зоологи, глаза так устроены, что они по воле могут становиться и близорукими, когда им нужно рассматривать что-нибудь подробно на земле, и дальнорукими, когда они поднимаются очень высоко на воздух. Мне кажется, что и человеческому уму не запрещено менять таким образом свой кругозор. Вот в этом-то смысле я говорю, что я и согласен с г. Кояловичем и не согласен с ним. Я согласен с его фактами, понимаю прекрасно его чувства, но вижу за всем

этим еще и *нечто иное*, более отдаленное и, вместе с тем, пожалуй, более существенное и важное, чем все то, на что он указывает.

О какой же статье именно идет дело?

В 3-м номере «Холмско-Варшавского Епархиального Вестника» перепечатана статья, кажется, из «Церковного Вестника», г. Кояловича по вопросу о примирении с поляками.

10 Г. Коялович доказывает, что главным препятствием искреннему и прочному примирению русских с поляками является «всегдашнее преобладание в поляках фанатического, ультрамонтанского направления»...

В статье упоминается о препятствиях, полагаемых поляками нашим стараниям возвратить униатов; о ксендзах, переодевающихся даже извошниками для пропаганды; о том, как плохо дается нам введение русского языка, вместо польского, для добавочных молитв латинского богослужения, и т. д. ...

20 «Нечего обольщать себя, говорит автор, розовыми надеждами (на примирение поляков с русскими на религиозной почве). Вся история латинства у них представляет постепенное развитие ретроградного направления, и чем ближе к нашему времени, тем это направление становится более общим и могущественным. Вспомним, какая светлая заря новой жизни зарождалась в религиозной польской жизни в XVI веке. Лучшие польские люди, не только светские, но и духовные, с Краковскою академией во главе, упорно отстранялись от ультрамонтанских постановлений Тридентинского Собора и внимательно прислушивались к

30 речам Ореховского и особенно Моджевского о необходимости для поляков славянского богослужения и приобщения мирян чашей. И что же? Один человек, папский нунций Коммендоний сумел не только сокрушить противодействие поляков Тридентинскому Собору и заглушить речи о славянской литургии, но даже расчистить в Польском государстве почву для иезуитов. Кто теперь из поляков решится вспомнить речи Ореховского и Моджевского и возобновить

их дело? Многие ли из них даже знакомы с этими именами? А по-видимому, как кстати вспомнить бы теперь и эти имена, и это дело. Поляки стараются дружить с чехами, у которых еще живы воспоминания о Славянской Церкви и большое умение будить их в своей среде. В союзе с чехами и русскими много можно было бы сделать на этом пути.

Или вспомним дела, более близкие к нам. Во времена Екатерины II у поляков было стремление к сближению с Россией; по крайней мере были признаки этого в религиозной сфере латинской Западной России. Римско-Католическая коллегия в Петербурге и деятельность латинского митрополита Сестренцевича служат слабым напоминанием о зародившемся тогда желании русских латинян ослабить цепи, связывавшие их с Папой, и усилить связь с их новым отечеством — Россией. Но что же из этого вышло в ближайшее затем время? Латинские глумления над западно-русскими униатами, двенадцатый год и список ксендзов, участвовавших в смутах 1831 и 1862—63 годов, служат вопиющими доказательствами всегдашнего преобладания в поляках фанатического, ультрамонтанского направления.

Или вспомним, наконец, еще более близкое к нам дело — старокатолическое движение в Западной Европе. Россия откликнулась на это движение. Происходили многократные обсуждения этого дела у нас — в Петербургском отделе Общества любителей духовного просвещения и многократные сношения с старокатоликами. В России около семи миллионов латинян. Им естественнее всего было бы принять участие в этих обсуждениях и переговорах. Их долговременная жизнь в Русском государстве, рядом с православными, должна бы, по-видимому, особенно расположить к старокатоличеству. Но что же мы видим? Все наши обсуждения старокатоличества, все наши сношения, съезды с западно-европейскими старокатоликами проскользали, так сказать, поверх всей этой большой массы наших русских латинян, не затрогивая никого, не вызывая с их стороны ни-

какого сочувствия, никакого отклика! Этот факт, сильно бьющий в глаза, и его ничем нельзя ослабить. Это неоспоримое доказательство, что в нашем русском латинстве слишком глубоко въелось ультрамонтанское направление, а при господстве такого направления не может быть никакой серьезной речи о примирении между нами и поляками, и все попытки вести эту речь помимо религии окажутся пустою мечтою.

Вот факты, с которыми, по нашему мнению, нужно
10 прежде всего считаться, когда мы заводим речь о примирении с поляками»...

Все это так; все это, вероятно, правда... О «розовых мечтах» в наше время никто и говорить себе не позволит. И я здесь не имею в виду оспаривать г. Кояловича; я только хочу указать на то, что при всей правдивости его сообщений, при всей основательности его выводов, существует еще другой круг мыслей, в котором те же самые факты принимают совсем иное освещение. Неприятное становится
20 сносным, вредное — полезным, опасное — чуть не спасительным.

Это очень просто... старая теория *наименьшего зла* — и больше ничего.

Положим, и г. Коялович и оба мы — преданные сыны Православной Церкви. Как таковые, мы должны желать, чтобы наибольшее число людей на свете стали тоже православными; дело тут прежде всего для нас не в *земном Руссизме*, а в загробном спасении душ *этих прозелитов*, и отчасти в прощении, быть может, и наших грехов за наше усердие в проповеди и борьбе с разными препятствиями.

Вот самая основная, существенная сторона вопроса, общая и русскому, и греку, и православному японцу или камчадалу.
30

Здесь национальность не только в стороне, но отчасти даже и в принципиальном антагонизме с религией. *Повсеместное*, чрезвычайно успешное распространение Православия могло бы, например, сгладить государственные особенности Русской Империи и, сливши, так сказать, ее вое-

дино со всем окружающим ее миром на Западе и крайнем Востоке, лишить ее (Империю) всякого резонного права на дальнейшее обособленное историческое существование.

Человек истинно верующий в подобном случае не должен колебаться в выборе между верой и отчизной. Вера должна взять верх, и отчизна должна быть принесена в жертву, уже по тому одному, что всякое государство земное есть явление преходящее, а душа моя и душа ближнего вечны, и Церковь тоже вечна; вечна она — в том смысле, что если 30 000, или 300 человек, или всего три человека останутся верными Церкви ко дню гибели всего человечества на этой планете (или ко дню разрушения самого земного шара) — то эти 30 000, эти 300, эти три человека, будут одни правы, и Господь будет с ними, а все остальные миллионы будут в заблуждении.

Поэтому, чем более мы спасем людей, тем лучше и для них, и для нас.

Это так. — Но, с другой стороны, правда и то, что в настоящее время для верующего человека (какой бы национальности он ни был) Россия должна быть очень дорога как самый сильный оплот Православия на земле. Люди слабы, им часто нужна опора внешняя, опора многолюдства, опора сильной власти; опора влиятельной мысли, благоприятно для веры настроенной и т. п. Если же Россия, как сила православная, может быть дорога, в настоящее время, даже и японскому прозелиту, то, разумеется, она должна быть еще дороже русскому верующему человеку.

Этот русский верующий человек должен бороться за веру и за Россию, насколько у него есть ума и сил.

До сих пор, я надеюсь, мы с г. Кояловичем согласны...³⁰ Согласен я и с тем, что борьба с Католицизмом нелегка и что католики люди крепкие, убежденные, упрямые, которые и нам могут служить добрым примером. Слова только эти «фанатизм», «ультрамонтанство» и т. п. я что-то плохо понимаю.

Если верующий человек не фанатик своей веры, то это только личная слабость его и больше ничего.

Не нужен, *может быть*, фанатизм насилия; но фанатизм *отпора*, фанатизм *самоотвержения* прекрасны... Необходим, вероятно (увы!), в жизни людской и фанатизм *терпеливой ловкости*... Я понимаю г. Кояловича, я согласен с ним, что борьба трудна и неприятна. Я понимаю чувства военного человека, страдающего в балканских ущельях и озлобленного донельзя противу мусульман, заставивших его зайти в эти негостеприимные места...

10 Я не осужу усталого воина, проклинающего в тяжелую минуту не только турок, но даже и самое *великое учреждение войны*...

Я бы только на месте этого военного, *раз отдохнувши*, подумал бы: «Однако есть и другой круг мыслей, вступая в который, и войне *должно* радоваться, и даже турок считать *полезными* противниками».

Я считаю твердых католиков очень полезными не только для всей Европы (Бог с ней — с Европой!), но и для *России*.

20 Для того, чтобы согласиться со мной, надо спуститься только на почву *действительности нашей*, на почву минуты исторической и т. д.

Я говорю: если бы каждому ослаблению Католичества где бы *то ни было* соответствовало бы несомненное и немедленное усиление истинного, искреннего Православия; если бы победоносное Православие, подобно могучему потоку, вступало бы само собою, с быстротою истинной силы, тотчас же во всякую самую незначительную пустоту, образуемую историей еще в компактной массе Католичества, то тогда только имели бы мы право считать остатки этой компактной массы, этой *плотины*, не уступающей сразу напору *нашей истины*, безусловным злом...

30 Но, Боже мой!.. *Прогресс наш* сделал то, что на всякий иноверный и твердый в своем иноверчестве элемент государства нашего теперь надо смотреть, как на благо! Не Православие истинное, *сердцем простое, мыслью ясное, волей твердое*, вливаться будет во все бреши, образуемые там и сям подкопами и таранами современной руссификации

нашей, а жалкие помои великороссийской либеральности, столь возвышенно заявившей себя и в воспитании юношества, и в судах, и даже отчасти в земстве нашем, помешанном на *европейских школах* и на мелочной оппозиции губернаторской власти.

Католики — христиане, а теперь настало такое время, что не только староверы или паписты, но и буддисты астраханские, мусульмане и скопцы должны быть для нас дорожке многих и многих русских того *неопределенного* цвета и того *лукавого петербургского* подбоя, которые теперь вопиют против нигилизма, ими же самими исподволь подготовленного.

Глупы ли они и честны, или лукавы и осторожны — все равно; честные еще хуже; если они глупы — их не вразумишь; они пугаются *слов* «реакция, насилие, фанатизм, отсталость»... Отчего отсталость? Не от проклятой ли Европы этой, стремящейся в бездну саморазрушения еще с конца XVIII века?..

Не Православие предлагает нынче великорусское «ядро» своим пестрым иноверным окраинам, как предлагало оно татарам при Иоаннах, — а европейский прогресс самого разлагающего свойства. Мы, русские, более всех *иных русских подданных*, — европейцы в худом значении этого слова, то есть *медленные* разрушители всего исторического и у себя, и у других...

Недавно вышла в Москве моя книга «Отец Климент» (Зедергольм). Он был сын пастора, немец; вот если бы из каждого поляка, оставившего Католичество, из каждого татарина, изменившего Исламу, из каждого крещеного буддиста выходили бы *такие* православные поляки, такие православные татары и калмыки, каким стал этот *православный немец*, то можно бы радоваться этим обращениям и сокрушаться о препятствиях, полагаемых иноверчеством нашей пропаганде, и для *души* и для *государства* спасительной...

А теперь похоже ли что-нибудь на это? В каком именно племени, из всех племен, подвластных русской короне, ни-

гилизм и потворствующее ему умеренное либеральничание распространены сильнее всего? В нашем великорусском племени... Из самого великорусского племени, бывшего так долго ядром объединения и опорой созидания государству нашему, исходит теперь расстройство...

Руссификация окраин есть не что иное, как демократическая европеизация их, и у человека, ясно понимающего положение дел, слагается в уме легко следующая последовательность мыслей, весьма разнородных, но связанных 10 одною нитью: желанием сперва приостановить надолго поступательное движение в отчизне нашей, а потом, одумавшись, искать смело и внимательно, нет ли еще средств сойти нам как-нибудь на другие рельсы, не исключительно европейские...

Вот ряд этих мыслей:

1. Хотя Православие — религия всесветная или вселенская по существу своему, но, по избранию Божию или (если угодно) по историческим сочетаниям, России выпало 20 пока на долю быть главной опорой Православию на всем земном шаре.

2. Верующий человек должен желать, чтобы эта опора была сильна и тверда.

3. Национальные свойства великорусского племени в последнее время стали если не окончательно дурны, то по крайней мере сомнительны. Народ рано или поздно везде идет за интеллигенцией. Интеллигенция русская стала слишком либеральна, т. е. пуста, отрицательна, беспринципна. Сверх того, она мало национальна именно там, где 30 следует быть национальной. Творчества своего у нее нет ни в чем; она только все учится спокон веку у всех и никого ничему своему не учит и научить не может, ибо у нее нет своей мысли, своего стиля, своего быта и окраски. Русская интеллигенция так создана, что она чем дальше, тем бесцветнее; чем дальше, тем сходнее с любой европейской интеллигенцией; она без разбора, как огромный и простодушный страус, глотает все: камни, стекла побитые, обломки медных замков (лишь бы эти стекла и замки

были западной фабрики). Страус не может понять, что стекло режет желудок и что медь, окислившись, отравит его.

Русская интеллигенция *не в силах* различать стекла и меди от настоящей пищи. Она жрет, что попало, и радуется.

Строгое, осмысленное Православие, *простое сердцем и мудрое разумом*, стало слабо у этого страуса.

Окисленная медь европейского либерализма уже давно отравила его, его давно уже несет космополитическим флюк-¹⁰ сом, а он все еще наивно глядит вокруг и только ищет, нет ли еще где чего-нибудь такого же, только *покрепче?* Даже настоящее, глубокомысленное Славянофильство переварилось в слабом мозгу огромного страуса в самый простой и грубый европейского стиля эмансипационный Панславизм. *Пышные перья* Хомяковской своеобразной культуры разлетелись в прах туда и сюда при встрече с жизнью, и осталась, вместо нарядной птицы, какая-то очень большая, но куцая и серая индюшка, которая жалобно клохчет, что ей плохо, и не знает, что делать. *Такова интеллигенция*²⁰ *наша*, взятая как всецелое, как социологическая единица.

4. Поэтому, *пока принципы лучшие, дисциплинирующие* еще не взяли верх в государстве нашем, пока в ядре всероссийском начала охранительные и творческие не одержат победы над разрушительными (т. е. либеральными), интеллигенцию собственно русскую не следует предпочитать иноверцам и инородцам нашим: татарам, черкесам, остзейским баронам, якутам и полякам. Либерализм вышел именно из христианских стран, как *антитеза духовному, аскетическому, стеснительному* Христианству, а не из³⁰ гор Кавказа или Мекки. К мусульманским народам либерализм прививается трудно. Остзейцы были всегда равнодушны к *нации русской* — это правда; но они верою и правдой служили *Царю*, от *нации русской* отделимому только метафизически, а не реально. Служа хорошо Государю, они *нам* служили; — они служили *косвенно* и Православию. У поляков о *настоящем нигилизме* меньше слышно, чем у нас;

они либеральны только для своей нации; они скромные эгоисты, они не благодетели рода человеческого, как мы... Они хотели обмануть наших нигилистов и перевешать их тотчас же после выделения мечтательного Царства Польского.

Итак, у всех иноверцев и инородцев наших охранительные начала крепче, чем у нас, именно потому, что они завоеваны или иначе присоединены; примирение основательное, глубокое свершиться может поэтому не на почве взаимных и немыслимых религиозных уступок, а в общем индифферентизме, который только бы усилил наши отрицательные, либеральные начала. Сперва индифферентизм и общее свободолобие, вместо старых претензий на местные особые права, потом выделение из серой массы общей либеральности — красного всеобщего нигилизма.

5. Поэтому для нашего, слава Богу, еще пестрого государства полезны своеобразные окраины; полезно упрямое иноверчество; слава Богу, что нынешней руссификации да-
20 ется отпор. Не прямо полезен этот отпор, но косвенно; Католичество есть главная опора Полонизма, положим; но оно же, вместе с тем, одно из лучших орудий против общего индифферентизма и безбожия.

Вера в Христа, Апостолов и в святость Вселенских Соборов, положим, не требует непременно веры в Россию. Жила Церковь долго без России, и если Россия станет недостойна, — Вечная Церковь найдет себе новых и лучших сынов.

И хотя сила Церкви необходимее для России, чем сила
30 России для Церкви, но все-таки пока Россия дышит и стоит еще под знаменем Православия, Церковь отказаться от нее не может. И не только русский верующий, но и японский прозелит должен желать блага Русскому государству, как наилучшей все-таки опоре Православия.

6. Если же сила России полезна для Церкви, то для верующего члена той же Церкви (хотя бы и временно, положим) должно быть если не дорого, то хоть сносно все

то, что хотя бы косвенно и невольно охраняет Россию, все, что кладет препоны совокупности основных русских зол, именно: либерализму, безбожию, утилитарному мировоззрению, ложно понятому реализму воспитания и обучения... и т. д.

7. Частные национальные инсurreкции через 15—20 лет *вовсе не очень страшны*. Частные инсurreкции, под определенными национальными знаменами, — вещь сносная; они возбуждают и в нас религиозное чувство и национальную доблесть хоть на время. *Тихий и мирный ход домашнего разложения во сто крат ужаснее.*

К тому же поляки перестали, по-видимому, думать об инсurreкциях против России с тех пор, как Германия, готовая дотла их пожрать, стала так сильна.

Что касается до их кокетства с Австрией, с одной стороны, а с другой — до соглашения Австрии с Германией, будто бы против нас, то первое можно счесть неопасным уже потому, что *второе* едва ли может быть прочно. Если б *такая беда* и случилась паче чаяния, то можно быть уверенным, что Германия, после двух-трех наших побед над австрийцами, поспешила бы покинуть Австрию только для того, чтобы всей силой своей обрушиться скорее на Францию, если бы *та шелохнулась...*

Хорошо обращать униатов в Православие, но еще бы нужнее придумать: как *своих, москвичей, калужан, псковичей и особенно жителей Северной Пальмиры просветить Светом Истины?*

С упорными иноверцами окраин Россия, со времен Иоаннов, все росла, все крепла и прославлялась, а с «европейцами» великорусскими она, в каких-нибудь полвека, пришла... К чему она пришла — мы видим теперь!..

Между прочим, и к тому, что и русский старовер, и польский ксендз, и татарский мулла, и самый дикий и злой черкес стали лучше и безвреднее для нас наших единокровных и по названию (но не по духу, конечно) единоверных братьев!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ОБ ОСТЗЕЙСКОМ КРАЕ

...Что касается до Остзейского края, то я сознаюсь вам, что не могу сказать о нем ничего решительного и подробно-го. В уме моем больше вопросов по этому поводу, чем отве-тов. Вопросы эти, вернее сказать, полувопросы, полуответы истекают, впрочем, все из той простой и ясной основной мысли, что все уравнительное и освободительное (вдобавок, ¹⁰ очень быстрое) движение предыдущего двадцатипятилетия было не то чтобы ошибкой (оно было, видимо, неотврати-мо), а самообольщением... Самообольщением оно было в том смысле, что на него очень немногие смотрели только как на неизбежное государственное горе, как на средство предотвратить зло еще худшее (т. е. демократизацию ин-сurreкционную); — так смотрели на наше эгалитарно-ли-беральное движение 60 и 70-х годов, конечно, очень не-многие и все больше люди, так называемые, «отсталые» от ²⁰ идей движения, а не опередившие мыслию это обманчивое движение.

Несчастье наше было не столько в сознании необходи-мости подобного движения, сколько в его искренности, на-ивности, даже в значительной теплоте. Другое дело ве-рить в неизбежность движения и, как говорится, *faire la part du siècle*; другое дело верить в государственную поль-зу этого движения, потому только, что оно гуманно или представляется нам в идеале таковым. Эта разница во взглядах уже сама по себе приводит к значительной разнице в способе осуществления необходимых перемен... Еще про-³⁰ ще и яснее говоря: — я не верю в возможность долгого существования бессловных и провинциально однород-ных государств, и разгадка почти повсеместного современ-ного общественного расстройтва, по-моему, состоит в том, что тонкая и глубокая долговременная и привычная раз-но-мерная и разно-степенная принудительность прежних

сословно-корпоративных и провинциально-разнородных государств и государственных союзов заменилась таким строем, который можно назвать свободно-ассоциационным или стремящимся приблизиться к этому идеалу легко расторгжимых свободных ассоциаций.* Преобладание выборного начала, демократические конституции, вполне вольнонаемный труд, легкая и безграничная свобода купли и продажи, гражданский брак, краткосрочность и всесословность военной службы, уничтожение родовых прав и обязанностей, легкая отчуждаемость недвижимой собственности и более быстрый противу прежнего переход ее из рук в руки, излишнее облегчение передвижений и вообще ни для чего серьезного не нужная быстрота сношений и, вследствие всего этого, однообразие быта, понятий, характеров, однородность вкусов, привычек, потребностей и даже претензий без всяких на эти претензии особых прав мистических, родовых, октроированных или приобретенных действительно высшими дарованиями: вот картина нынешних ассоциационных и стремящихся к однообразному расторжению обществ. Тут два спасения: во-1-х, какие-то искусственные и беспощадные железные крюки администрации; во-2-х, сохранение всех тех неравенств и всех тех неравноправностей, которые можно еще сохранить дружными усилиями, дабы сберечь их к тому времени, когда теория (всегда практике государственной предшествующая), умудренная печальным опытом истекающего века — от 1789—1882 г., например, не отвергнет окончательно и на целые века ныне отживающий утилитарный идеализм и не возвратится снова к более сообразному с законами социальными и психологическими мистико-реалистическому строю. Франция — передовая страна прошедшего — в конце XVIII века водрузила первая это знамя утилитарного идеа-

* Подробнее и яснее о том же в I томе («Восток, Россия и Славянство»), — последние 6 глав статьи «Византизм и Славянство»; — главы эти озаглавлены: «Что такое процесс развития», — «О государственной форме и т. д.». Примечание) авт(ора). 1885.

лизма, который, кроме разрушения и машин (тоже страшных орудий общего расстройства), ничего не дал; приятно было бы мечтать, что Россия, во главе какого-нибудь Восточного Союза, решится перефразировать отживший возглас: «равенство, свобода, братство!» следующим образом: — Да! конечно... *братство... но только о Христе*; т. е. братство как можно менее равных и однородно поставленных... (даже и в *продаже и купле* вовсе не особенно свободных и равноправных) людей.

¹⁰ В это новое созидание должно, конечно, войти многое из сохраненного, как вошло много старого, сохраненного от Эллады и Рима в новое созидание Византии (1000-летней) и Романо-Германской Европы.

Теперь — до разрешения Восточного вопроса, надо одно — *подмораживать* все то, что осталось от 20-х, 30-х и 40-х годов, и как можно подозрительнее (*научно-подозрительнее*) смотреть на все то, чем подарило нас движение 60-х и 70-х годов.

²⁰ Вот какими общими мыслями я руковожусь, когда думаю о наших окраинах.

Пестро и не слишком подвижно — государственно; однообразно и очень подвижно — не государственно. Дело не в однородности, а в высшем единстве власти и духа.

2) Вы,* кажется, произнесли слово «справедливость», говоря об «остзейцах».

³⁰ В делах Остзейского края теперь, мне кажется, следует предпочитать справедливость условную, т. е. законность, связанную с преданиями этого края, справедливости абсолютной, т. е. права немецких баронов предпочитать эсто-латышскому демократическому движению. Имена немецкой аристократии связаны с военным и политическим величием Православной России; а эсто-латышское движение ни с чем; разве с либеральной модой...

* Редактор «Гражданина».

3) Не напоминают ли вам эти эсты и латыши болгар? Греки (фанариоты) — церковное охранение, великие воспоминания; болгары — либерализм без воспоминаний и с темным, непонятным будущим. Остзейские дворяне — государственное охранение и славные подвиги на русской службе; а эсты что такое? На что они нам? Болгары по крайней мере и славяне, и в (простонародном) большинстве народ, верующий *по-нашему*; эсты — протестанты и сделать их серьезными православными трудно.

4) Я не изучал учреждений Остзейского края и не буду, вероятно, никогда их внимательно изучать; и мне вовсе этого и не нужно, чтобы усомниться не только в пользе эсто-латышской демократизации (т. е. в пользе предпочтения протестантов плохих и непородистых протестантам блестящим и породистым), — но даже и в пользе «руссификации»...

Что такое «руссификация», я до сих пор не знаю! Европеизация — вот это ясно. Если бы была где-нибудь — *китаизация* или *японизация* — тоже было бы понятно. *Древняя эллинизация* тоже ясна.

Когда мы видим, напр(имер), что в дикой Армении во время 1-го римского триумvirата представлялись при дворе Царя трагедии Эврипида (у Плутарха; биография Красса) — это понятно. И когда у России будет все или хоть очень многое *свое*, хотя бы и вовсе не демократическое, но *свое*, тогда руссификация будет победоносна, *плодоносна* и естественна. А теперь, что это такое? Обыкновенная очень жидкая, бледная и нивелирующая европеизация, — больше ничего. Руссификация языка; это еще лучше всего; язык наш, конечно, надо немцам знать; хотя и то сказать, что книгу, написанную об России по-французски и по-английски и т. д., при оригинальности благоприятных и умных взглядов на нашу родину (напр(имер), некоторые места в сочинении француза Сурприен Робера «Le Monde greco-slave»), — можно назвать более русской, чем большую часть того, что у нас за последние года писалось и прославлялось на нашем — родном языке. Впрочем, язык русский для

иноверцев — наилучшее средство прикрепления к России. Но ведь бароны, вероятно, примирятся с обязательным введением русского языка, если это введение не будет связано с разрушением их местных аристократических прав? Впрочем, не знаю; я только спрашиваю себя. Я позволяю себе сомневаться на основании моих общих взглядов, выраженных подробно в вышеупомянутой статье I-го тома «Византизм и Славянство».

10 Другое дело эти общерусские суды!.. К чему это однообразие учреждений?.. При разнообразии местных учреждений гораздо легче управлять... Многие тогда держится само собою, собственным сцеплением, без «железных крюков искусственной администрации». И какие же это такие русские суды? Я русских судов не знаю. У нас есть теперь общеевропейские, демократические и нивелирующие суды; а собственно русских нет. Нельзя назвать русской одеждой казацкие панталоны от того, что они немного пошире других или с каким-нибудь кантиком. А вот цветную рубашку навыпуск — можно назвать русской одеждой.

20 Поземельная община, неотчуждаемость участка — это тоже вещь и русская, и охранительная, и будущность могущая иметь (если мы с ней будем бережно обходиться). Вот если бы мы по всем окраинам вводили даже и насильственно, с разными местными оттенками, общинное землевладение; хотя бы даже рядом с майоратами, в ущерб только непрочной мелкой и средней личной собственности, которые в политической сфере понятий соответствуют двум худшим язвам нашего времени — умеренному либерализму и республиканскому якобинизму (вспомните Францию),

30 если бы мы везде запрещали пролетариат* и деспотически объявляли бы не право на землю, ибо это отзывается

* Не пауперизм; пауперизм — вещь субъективная, не осязательная, изменчивая; его не только запретить, его уничтожить нельзя. В иные минуты Монарх, которому недостает несколько десятков миллион(ов) для ведения необходимой войны, может чувствовать себя беднее, чем нищий, которому щедрый человек вздумал дать три рубля.

грабежом, а скорее *обязанность* какого-нибудь *минимума* *недвижимости*, и этой мерой, крутой и стеснительной для многих, но *благодетельной* для общего настроения, придавали бы больше *устойчивости* обществу; то все это, вместе с *серьезной* проповедью Православия и *обязательностью* русского языка, можно бы назвать хорошей руссификацией. А если мы, например, на Кавказе и в Туркестане, вместо Шариата, будем вводить светские *общеевропейские* суды, или в Остзейском крае вместо *европеизма* *феодалного*, который дал царям русским столько хороших полководцев и политиков, будем вводить *европеизм* *эгалитарно-либеральный*, который, кроме адвокатов, обличительных корреспондентов, «реальных» наставников и т. п., ничего не дал и дать не может, то какая же это руссификация?..

Если что-нибудь подобное будет нами делаться для эстов и латышей, то это очень печально. Все эти Мантейфели, Бреверны де ла Гарди, Шау фон Шауфуссы — образы и величины определенные и значительные. А что такое эсты? К чему эта племенная демократизация? Пусть их не слишком теснят, и довольно!

Мы еще все не устали *равнять*, мы еще все *летим по инерции куда-то!* При однообразии, сказал я, труднее управлять: *потребности и претензии сходные, а средств удовлетворять им нет.* Я, впрочем, не знаю наверное, какие реформы предстоят Остзейскому краю, но и не зная, я боюсь их.

5) Не нужно ли различать, впрочем, дворянство от бюргеров? Я думаю, это необходимо.

Дворянство Остзейского края верой и правдой служило России и будет еще служить, если мы его будем щадить; а бюргертум бесполезнее и пожалуй вреднее нам. Привилегиями и уважением мы баронов всегда отклоним от Германии; а бюргеров — едва ли. Тут еще эсты, пожалуй, что-нибудь и значат... может быть...

6) Да еще стоит ли нам много и думать о Балтийском море вообще? Не пора ли нам теперь обратно: из варяг в греки? Я убежден глубоко, что все то, что вредно для вели-

чия и силы города Петербурга, — полезно для России. Петербург не Париж, не Рим, и Россия не с городом связана, а с живой душой, с Государем! Столиц мы много меняли, и всякий раз с временной пользой; переменим и еще! А пока вообще нужно поменьше движения в обществе. Отдохнем и соберемся с мыслями и силами перед недалеким и страшным разрешением великого во всех отношениях Восточного вопроса!

10 Когда я говорю «страшный вопрос», «страшное дело», «страшное разрешение», то я думаю при этом, конечно, не о войнах. Войны, как счастливые, так и неудачные, могут еще иметь на нас в высшей степени благотворное «развивающее» и культурно-обособляющее влияние.

20 Если на меня находит нечто вроде «священного ужаса» при мысли о «Восточном вопросе», то это вот от чего: я спрашиваю себя, будем ли мы в самом деле теми представителями нового «культурного типа», каких желает и надеется видеть в нас Н. Я. Данилевский, или мы заражены демократическим, утилитарным и всячески уже теперь опошленным европеизмом до убийственной и позорной неисцелимости?.. Вот что ужасно! Правда, признаков хороших (обособляющих нас) за последние три-четыре года обнаружилось много, но когда подумаешь, до чего еще трудно «выколотить» из нас либерального «европейца», то станет очень грустно! А из болгар, из сербов, из греков и румын «вытравить» Ласкера, Вирхова, Брайта, Гладстона, Гамбетту и Эмиля Жирардена — еще много труднее!!

ПИСЬМА О ВОСТОЧНЫХ ДЕЛАХ

I

НАШЕ НАЗНАЧЕНИЕ И НАШИ ВЫГОДЫ

Когда мы размышляем о делах Востока и хотим дать себе ясный отчет в том, что нам может предстоять и что для России выгоднее, то необходимо прежде всего различить идеал наш или цель наших замыслов и действий от средств выполнения задачи.

Средства достижения должны, конечно, избираться самые подручные и легкие, но об этой легкости и доступности¹⁰ должно, однако, заботиться лишь настолько, насколько это не вредит высоте и ширине идеала...* Если высшему политическому идеалу слишком легкие средства вредят, то надо предпочесть им более трудные и даже такие, которые сопряжены с величайшими жертвами.

О выборе тех или других средств я буду говорить позднее; теперь же я хочу поделиться с вами любимыми моими

* Чтобы мысль моя была понятна, я напомним кратко о Греко-болгарском вопросе. Конечно, утверждать наше влияние на Востоке через потворство болгарскому либеральному движению противу Вселенского Патриарха было очень легкое и дешевое, нехитрое средство обыкновенного демократического европеизма. И мы сделали много вреда и себе, и Церкви, потворствуя болгарам больше, чем было нужно. Однако так как и при этом неблагоприятном условии высший общецерковный идеал все-таки не вполне забывался руководившими нас людьми, то мы и остановились еще вовремя — и единство Церкви спасено, т. е. мы с греками не в расколе.

мыслями о том, что должно быть нашим сознательным идеалом или о том, что, вероятно, будет нашим роковым назначением. (Я употребляю здесь слово «роковой» не в исключительно мрачном его значении, а в смысле более широком, — в том смысле, что свершение исторических судеб зависит гораздо более от чего-то высшего и неуловимого, чем от человеческих, сознательных действий; сознательный идеал необходим; но он тогда только осуществим приблизительно, когда он хоть сколько-нибудь сходен с неясной еще

¹⁰ в подробностях картиной этого рокового предначертания, когда он предугадывает ее общие черты.)

Идеал наш при разрешении Восточного вопроса должен быть самый высший, самый широкий и смелый, самый идеальный, так сказать, из всех возможных идеалов. Вот почему.

Если идеал наш будет слишком односторонен, мелок и прост, то мы, стремясь без меры настойчиво только к ближайшим, очередным целям и не храня в душе иных заветов, можем испортить себе будущее, закроем себе путь дальнейшего, правильного и спасительного развития.*

²⁰

Россия — не просто государство; Россия, взятая во всецелости со всеми своими азиатскими владениями, это — целый мир особой жизни, особый государственный мир, не нашедший еще себе своеобразного стиля культурной государственности (говоря проще — такой, которая на других не похожа).

Поэтому не изгнание только турок из Европы и не эмансипацию только славян, и даже не образование во что бы то ни стало из всех славян, и только из славян, племенной конфедерации должны мы иметь в виду, а нечто

³⁰ более широкое и по мысли более независимое.

* Я говорю: развития, а не прогресса... Я нахожу, что идея настоящего развития и цели демократического прогресса представляют непримиримые антитезы. Развитие есть усиление организованной, т. е. дисциплинированной разнородности; демократический прогресс есть стремление к смешению в однообразии, т. е. разрушение всего разнородного (см. «Византизм и Славянство»).

Начнем хоть с турок.

«Свержение позорного ига азиатской орды» может занимать ограниченные умы наших единоверцев и единоплеменников; нам же давно пора догадаться, что никакое насильственное иго азиатских владык не может быть так «позорно», как добровольно допускаемая народом власть собственных адвокатов, либеральных банкиров и газетчиков. Насилие не может так опозорить людей, как их собственная непостижимая глупость.

Удаление турок — только необходимый прием, это одно¹⁰ из неизбежных средств и больше ничего.

Можно, пожалуй, говорить о «варварстве» и т. п.; можно даже, если это необходимо для возбуждения людей попросту, склонять печатно во всех падежах слово «орда», «орды», «ордою», об «орде», как делали газеты и журналы наши во время последней войны; но надо помнить при этом стих Тредьяковского:

Держись черни,
А знай штуку...

Не должно в наше время считать подобную идею достойной серьезного внимания русского ума.²⁰

Презрение к азиатцам, мысль об изгнании турок за то, что они не либеральны, не индустриальны и т. п., а живут религиозно-монархическими и воинственными идеалами, — это все не наше, и не старо-русское, и не ново-славянское, а самое обыкновенное европейское.

Мысль об изгнании турок из Европы и об замене их русскими на Босфоре, конечно, не принадлежит Западной Европе как чисто политическая мысль; Западная Европа считала эту мысль до последнего времени и, вероятно, отчасти считает и теперь опасною и даже гибельною в международном отношении. Но все-таки эта антиазиатская идея, по существу своему, эмансипационна, либеральна, т. е. более или менее разрушительна. Это обыкновенная нынешняя либеральная, западноевропейская, *вовсе не наша* по проис-

хождению и по *культурному духу* идея, лишь агитируемая нами весьма удачно и счастливо с 60-х годов. Европе она не нравится с точки зрения *равновесия политических сил*; но по источнику и по характеру *все-таки* это мысль европейская. Это одно из последних приложений идеи «равенства и свободы» лиц, общественных классов, провинций и племен. Русское во всем этом деле только *приложение* или весьма счастливая эксплуатация, как я сказал, этой обыкновенной, современно-европейской эмансипационной мысли в пользу России и ее слабых единоверцев.

Оттого-то все попытки Запада препятствовать нам и были так неудачны с 60-х годов.*

При Государе Николае Павловиче дело было поставлено прямее, яснее и *по духу самобытнее*; говорилось больше о *правах русского покровительства, о русской власти*. Это было лучше по существу; но неудобно по времени. *Рано*. Нас постигла неудача. Европа не узнавала в тогдашних наших действиях *своей идеи* эмансипационной, демократической, эгалитарной. До православно-монархического духа ей не могло быть дела; она его ненавидела: она не была тогда в противоречии сама с собою и победила. С 60-х годов русская дипломатия, русская печать и русское общество стали все громче и громче говорить в пользу христиан Востока и, притом, опираясь не так, как в 50-х годах, преимущественно на *право нашей власти*, а гораздо более на *права самих христианских подданных Султана*. Политика наша после Крымской войны стала *западнее* по мысли, т. е. либеральнее; по существу это хуже, *развратительнее* с гражданской точки зрения; по времени — это стало удобнее; Европа, парализованная внутренним противоречием, не могла уже вся дружно соединиться противу нас; она вынуждена была уступать нам беспрестанно на пути либеральных ре-

* Нельзя же и Берлинский трактат серьезно считать большой неудачей; это, как верно было сказано в «Правительственном Вестнике», *только временный роздых*. Нас Берлинский трактат только приостановил; Турцию он приговорил к смерти.

форм, которые мы для христиан предлагали; Турция через это слабела; христиане становились все смелее и смелее, и мы в течение двадцати всего лет, почти неожиданно сами для себя, шаг за шагом, разрушили Турецкую Империю, на которую столь многие замечательные государственные люди Запада, от Меттерниха до Наполеона III и Пальмерстона, возлагали столько надежд.

Эмансипационный процесс везде разрушителен, ибо он, по существу своему, враждебен государственной, церковной и сословной дисциплине; и если человечество еще не утратило способности *организоваться*, если оно еще не осуждено на медленное вымирание и самоуничтожение (посредством всех мощных орудий того, что зовут нынче *прогресс*), то для дальнейшего, более прочного, *менее подвижного* своего устройства оно вынуждено будет прийти к новым формам юридического неравенства, к новому и сознательному поклонению *хроническому*, так сказать, *деспотизму* новых отношений.

XIX век близится к концу своему. Без малого сто лет тому назад, в 89 году, было объявлено, что все *люди должны быть равны*. Опыт столетий доказал везде, что это неправда, что они не должны быть равны или равно поставлены и что «*благоденствия*» никакого никогда не будет. А назревает *что-то новое*, по мысли отходящему веку враждебное, хотя из него же органически истекшее.

Ясно, что это новое ни либерально, ни эгалитарно быть не может.

Итак, изгнание турок...

Изгнание турок необходимо, сказал я, но, освобождая христиан, мы должны иметь в виду не столько *свободу* их, сколько их *организацию*. А для этого мы прежде всего из собственных наших умов всеми возможными средствами должны выжить как можно скорее все, не только «конституционные», но даже и вообще либерально-эгалитарные идеи, привычки и вкусы. Иначе мы погубим и свою будущность, и будущность всего Востока.

Один пример из многих; положим, что пришло удобное время удалить Султана с берегов Босфора и стать там самым твердою ногою (поводы скоро найдутся, они уже существуют в действиях Англии). Говорить тогда и писать «для Европы» можно что угодно, но мыслить *для себя* надо правильно и ясно.

Не потому надо, например, удалить Султана, что он самодержавный азиатский Монарх (это хорошо), а потому, что держава его стала слаба и не может уже более противиться либеральному *европеизму*.

А мы можем, если захотим!.. Мы уже и доказали это недавно и нашей последней войной, и, что еще гораздо важнее, мы доказали это в области политической мысли Манифестом 29-го апреля 1881 г.

Перед лицом *всей конституционной Европы и всей республиканской Америки* мы объявили, что не намерены больше жить чужим умом и приложим все старания, чтоб у нас Самодержавие было крепко и грозно и чтоб о «конституции» и помину бы больше не было.

Свернувши круто (и Бог даст навсегда!) с пути эмансипации общества и лиц, мы *вступили на путь эмансипации мысли*; с пути медленного, но верного разрушения на путь организации и созидания.

В этом действии мы едва ли не в первый раз со времен Петра Великого решились быть самобытными не как сила только внешне-государственная в среде других государственных единиц, но и как *политически культурная мысль*, смелая, независимая, ясная!

Это великий шаг!

Благодаря ему, мы имеем полное право предпочитать себя Султану на берегах Босфора не только из честолюбия, корысти или какого бы то ни было политического эгоизма, но и в смысле *культурного долга*.

Пора положить предел развитию мещански-либерального прогресса! Кто в силах это сделать, тот будет прав и пред судом истории.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ

Я сказал в первом письме моем, что высшим идеалом нашим при разрешении Восточного вопроса должно быть нечто более широкое, более содержательное и *по мысли* более самобытное, чем мещански-сентиментальная охота на «азиатских варваров» и чем простодушное освобождение славян «от ненавистного ига турок и швабов»...

Даже и создание конфедерации независимых славянских государств *не должно быть высшим идеалом нашим. Уже* ¹⁰ *и теперь* для внимательного ума ясно из самых положительных, реальных данных истории, современной этнографии, текущей политики, из географических отношений и даже из некоторых оттенков национальной психологии, что *бессознательное назначение России не было и не будет чисто славянским.*

Оно уже потому и не могло быть таковым, что чисто славянского, совершенно своеобразного (настолько своеобразного и полного, например, как прежняя английская конституция, как готическая архитектура, как французские ²⁰ моды и обычаи, как китайские мануфактурные произведения, как Мусульманизм аравитян и турок) — ничего до сих пор у славян и не было. Разве — блестящая и *действительно ни на что не похожая* республика польская, ничего прочного и поучительного в наследство миру по кончине своей не оставившая.

Назначение России еще и потому не может быть односторонне славянским, что сама Россия давно уже не чисто славянская держава. Азиатские, подвластные короне русской провинции обширны, многозначительны по местоположению и ³⁰ весьма характерны по идеям своим, и при каждом политическом движении своем Россия должна неизбежно брать в расчет настроение и выгоды этих драгоценных своих окраин.

В самом характере русского народа есть очень сильные и важные черты, которые гораздо больше напоминают турок,

татар и др(угих) азиатцев, или даже вовсе никого, чем южных и западных славян. В нас больше лени, больше фатализма, гораздо больше покорности властям, больше распушенности, добродушия, безумной отваги, непостоянства, *несравненно больше* склонности к религиозному мистицизму (даже к творчеству религиозному, к разным еретическим выдумкам), чем у сербов, болгар, чехов и хорватов.

У них больше выдержки, терпения, гораздо больше трезвости физической и умственной; скромные семейные добродетели у них несравненно крепче, чем у русских людей; они мало расположены к каким-нибудь нигилистическим крайностям, но зато их индифферентизм в религии поразителен; их машинальное, сухое охранение *кой-чего*, к чему они привыкли или что им дорого только в политическом отношении, без всякой бури и боли «искания», очень неприятно поражает русского, когда он с ними ближе знакомится. Они все расположены более или менее к *умеренному либерализму*, который, к счастью нашему, в России так не глубок и *так легко может быть дотла раздавлен* между двумя весьма не либеральными силами: между иступленным нигилистическим порывом и твердой, бестрепетной защитой наших великих исторических начал.

Одним словом, наши западные и южные единоплеменники гораздо более нас похожи всеми своими добродетелями и пороками на европейских буржуа самого *среднего* пошиба. В этом смысле, т. е. в смысле психического, бытового и умственного своеобразия, славяне гораздо менее культурны, чем мы. Ибо я сказал уже вам, что под словом *культура* я понимаю вовсе не какую попало *цивилизацию*, грамотность, индустриальную зрелость и т. п., а лишь *цивилизацию* свою по источнику, мировую по преимуществности и влиянию. Под словом своеобразная мировая культура я разумею: *целую свою собственную систему отвлеченных идей религиозных, политических, юридических, философских, бытовых, художественных и экономических* (необходимо прибавить, когда дело идет о нашем времени; ибо нельзя же отвергать, что экономический во-

прос *везде* теперь стоит на очереди и что та нация или то государство, которому посчастливится захватить в свои могучие и охранительные *руки* это передовое и ничем до поры до времени не отвратимое движение умов, станет на целые века во главе человечества и не только себя прославит неслыханно, но и предохранит множество драгоценных этому человечеству предметов и начал от насильственного разрушения).

Такую систему отвлеченных идей, и бессознательно в жизни живущих, и сознательно в жизнь проводимых, и из нее в область дальнейшей мысли извлекаемых, я зову *культурой*.¹⁰ Надо уговориться в терминах, чтоб понимать друг друга, и для меня в этом смысле Китай культурнее Бельгии; индусы культурнее северо-американцев; русский старовер или даже скопец *гораздо* культурнее русского народного учителя по «*книжке барона Корфа*».

В этом же именно смысле можно позволить себе сказать про Россию странную вещь, что она есть нация из всех славянских наций *самая не славянская* и *в то же время самая славянская*. Она самая не славянская, потому что по истории своей, по составу (быть может, и по крови), по психическому и умственному строю она от всех других славян очень отлична. Она же, с другой стороны, самая славянская из всех; не потому только, что она призвана стать *политически во главе* славян, но и потому, что только у нее и существует уже, и зарождается, и может, утверждаясь, развиваться дальше — многое такое, что не свойственно было до сих пор ни европейцам, ни азиатцам, ни Западу, ни Востоку. Это и естественно; ибо только из более восточной, из наиболее, так сказать, азиатской — *туранской*, нации в среде славянских наций может выйти нечто от Европы *духовно независимое*; без этого азиатизма влияющей на них России все остальные славяне очень скоро стали бы самыми плохими из континентальных европейцев, и больше ничего. Для такой жалкой цели не стоило бы ни им «свергать иго», ни нам предпринимать для них и за них самоотверженные крестовые походы. Не для того же русские орлы перелетали²⁰

за Дунай и Балканы, чтобы сербы и болгары высиживали бы после на свободе куриные яйца мещанского европейства à la Вирхов, à la Кобден или Жюль Фавр.

Это было бы ужасно!

Конечно, мы славян освободим; это необходимо; это неизбежно; обстоятельства, не от нас одних зависящие, *заставят нас* сделать это и, вероятно, очень скоро. Никакие коалиции нас не удержат; никакая боевая Германия со своими шульмейстерами не воспрепятствует этому. Даже побеждая славян на поле битвы, она будет побеждена политически, фаталистически уничтожена, подобно Австрии, уступившей Венецианскую область после победы своей при Кустоцце. Судьбы исторические *должны* свершиться, вопреки человеческим соображениям; либеральное разрушение всего социально-политического строя Европы, созданного веками прошлого величия, еще не достигло «точки насыщения». Национализм же чисто политический, т. е. определяющийся не культурно-бытовым *своеобразием* племени, не оригинальностью в нем *всего*, от религии до мод и вкусов, а только государственной *независимостью его*, есть не что иное, как одно из главных проявлений *все того же и того же*, то есть того могучего и не всегда понятого движения, которое одни зовут обновлением и прогрессом, другие революцией, а я предпочитаю называть точнее: *эгалитарно-либеральным разложением* Романо-Германской цивилизации. Разложение это заражает и будет заражать все человечество до тех пор, пока движение не дойдет до поворотной точки, или, говоря прямее, *до тех пор, пока то, что я здесь говорю и что многим кажется лишь одной оригинальностью, не станет таким же общим местом, каким теперь стало многое, полвека тому назад казавшееся тоже чуть не пустым чудачеством!*

Люди, освобождающие или объединяющие своих одноплеменников в XIX веке, *хотят* чего-то национального, но, достигая своей политической цели, они *производят* лишь космополитическое, т. е. нечто такое, что стирает все более и более национализм бытовой или культурный и сме-

шивает все более и более этих освобожденных или свободно объединенных одноплеменников с другими племенами и нациями в общем типе прогрессивно-европейского мещанства. Космополитический демократизм и национализм политический — это лишь два оттенка одного и того же цвета.

Чтобы понять это, стоит только вспомнить следующие общеизвестные события истории истекающего ныне столетия.

Демократическое (эгалитарно-либеральное) движение началось с Франции. Франция первой Республики и Консульства *не говорила специально о национальности*; она ¹⁰ провозглашала общедемократическое начало. Это так; но это начало до того тесно связано с политическим и племенным национализмом, что космополитическая идея очень скоро и незаметно для самих французов превратилась в патриотическую и довела посредством побед *политический патриотизм* граждан этого, *по преимуществу племенного*, чисто национального государства до неслыханного иступления и героизма.

Замечательно, что даже войска стали тогда только в 1-й раз кричать: *Vive la France!* Прежде кричали: *Vi-²⁰ ve la roi!*

Реакция всей остальной Европы, не желавшей еще тогда расстаться с величием своей аристократической культуры, приостановила в 1816 году этот поток.

Но остановила она его не надолго.

Франция, предлагая миру свое космополитическое учение, стала в высшей степени национальна. Вследствие давнего сплошного единства *племенная эгалитарность* не была ей опасна; у ней не было ни внутри подвластных, чуждых племен, уравнивая которых с французами, можно было ³⁰ бы расшатывать градативный, неравноправно спасительный строй своего государства; ни настоящих соплеменников по языку и крови за пределами Франции, освобождая которых или присоединяя к себе (т. е. также уравнивая в правах и положении со всеми другими), она могла бы способствовать расстройству и распадению других государств и этим способствовать косвенно общему *всесмешению*.

Франции (как и всякому другому государству) было опасно только одно социальное, внутреннее, сословное и провинциальное уравнивание, т. е. *однообразие в ее единстве*. Это уравнивание и низвело ее неожиданно, шаг за шагом, падение за падением (и все во имя прогресса, свободы и гуманности!) от Жемаппа и Вальми до Меца и Седана, от демонического и легендарного корсиканца, у которого только волосы были плоски (*le Corse aux cheveux plats*) до Греви, который весь есть не что иное, как самое чистое проявление

¹⁰ «честной» европейской плоскости!

Другие нации и другие державы были в другом положении. Для их либерально-эгалитарного расстройства историческому року нужен был другой прием, не столь прямой и односложный, как для *единой и однородной* Франции, тысячелетие продержавшейся одними только *горизонтальными* общественными наслоениями.

Придумана была иллюзия: национальный вопрос, или, вернее назвать, племенная политика.

²⁰ Источник был национален, замысел тоже; результат же везде все тот же космополитический, гражданское равенство, политическая и личная свобода, смешение племен и сословий, однообразие провинций, *т. е. то же самое, что во Франции.*

Название другое, дело одно.

Действительно национального по мысли, по духу, по формам (без которых истинное творчество духа невообразимо и не бывает), т. е. оригинального, не вышло из этого движения ничего.

³⁰ Напротив того, очень многое из того, что создано было прежде и потом с горячей любовью и непоколебимо сохранялось целые века, погибло очень быстро, благодаря этому новому и как бы *лукавому* повороту революционного вихря.

Этот поворот был до того обманчив, и ослепление от этого вихря было так сильно, что многие мыслящие патриоты (и даже наши славянофилы) не узнали в так называемом национальном движении своего злейшего врага: *космополитическую революцию!*

Так случилось везде; начиная с 1821 года (т. е. с эллинского восстания) и до мечтаний несчастного Араби-паши о независимости арабов...

Подробно перечислять здесь все примеры, признаться, тягочусь. Хочу скорее кончить это письмо. Вспомните их сами — Италию и Австрию, Францию и Германию, даже Россию и Польшу 60-х годов, победы и поражения, войны и восстания... Результат *везде и ото всего один*: либеральная демократизация и космополитическое однообразие идей, вкусов, потребностей и внешних форм... 10

У славян, если бы не было около них этой загадочной, полуазиатской, мистической и как-то героически-растерзанной России, вышло бы все это смешение и опошление и выдыхание хуже, чем где-либо, вследствие подражательности славян, вследствие слабости их охранительных и творческих сил.

Славяне, за неимением лучшего, готовы хвастаться (и не раз хвастались), что они по природе своей либеральнее других племен...

Да и наши русские от этого, как вам известно, до сих пор не прочь... 20

Прошу вас, однако, не ужасайтесь тому, что я говорю о славянах так сухо и недоброжелательно.

Я знаю, вы за Православие и Самодержавие покойны, когда я пишу, но я прошу вас и за «братьев-славян» не опасаться.

В моем идеале, или в пророчестве моем и для них отведено подобающее место. Я говорил уже, что их придется освободить и *даже невольно*, быть может, объединить в союз, политически устроить. 30

Чего же им больше? Они только этого и желают. Бедность их мысли выше политической независимости и равенства со всеми другими, с немцами, греками, турками и т. д., не может и подняться теперь...

Их *либерализм* должен быть *сначала* удовлетворен в международном отношении. И чем скорее мы развяжемся с этим необходимым и *Бог даст* последним эмансипацион-

ным делом, тем скорее можно будет приступить к действиям созидающим, устрояющим, т. е. ограничивающим (не власть, конечно, а свободу!), — одним словом, к организации, которая есть не что иное, как хронический деспотизм, всеми, более или менее, волей и неволей, по любви и из страха, из выгод или из самоотвержения признаваемый и терпимый, в высшей степени неравномерный и разнообразный деспотизм; постоянная и привычная принудительность всего строя жизни, а не преходящие и неверные ¹⁰ принуждения одной только администрации.

И это нужно (т. е. действие административного жезла), и теперь нужно даже до крайности; но для векового бытия этого мало, очень мало...

III

ОПЯТЬ ГРЕКО-БОЛГАРСКИЙ ВОПРОС

Неприятная неожиданность заставила меня изменить первоначальному намерению моему поделиться с вами моими общими взглядами на дела Востока и на наше там значение. Я хотел говорить вам постепенно все яснее и яснее, все ²⁰ подробнее и, так сказать, изобразительнее о том идеале, который сложился в душе моей после долгой жизни в Турции, в среде единоверцев наших, и после долгих разнообразных размышлений о судьбах того странного и до сих пор еще загадочного мира, который зовется Россией, или Государством Русским.

Но непредвиденная случайность вынудила меня от общих и самых широких картин и отвлечений перейти почти насильственно и внезапно к одной из самых скучных и антипатических подробностей Восточного вопроса.

³⁰ Один ученый священник напечатал в «Православном Обозрении» пренаивный или прековарный (сразу не могу понять еще какой) разбор книги Т. И. Филиппова — «Современные церковные вопросы».

Опять *все то же!* Опять защита болгар, опять несправедливые, близорукие придирки к Цареградской Вселенской Патриархии. Все это довольно пусто, сентиментально, нецерковно, негосударственно, самому Всеславянству очень невыгодно и, вдобавок, очень неново...

Все это мы слышали от разных болгарских Дриновых, Даскаловых, Жинзифовых, от редакции «Голоса» и т. д. Ново здесь одно то, что г. Филиппов представляется писателем *вредным для Церкви*. «Книга его — неутешительное явление»; для Церкви настали (благодаря писателям) самые 10 «тяжкие времена».

Для какой Церкви — вопрос? Для древней Восточной Греко-Российской, известной нам Церкви не может быть вреден писатель, защищающий единение русской Иерархии с греческими Патриархатами. А если г. Филиппов вреден для какой-нибудь *ново-славянской*, либеральной религии, так за это надо его благословлять!

Вот что говорит г. Дурново в своей почтенной, хотя и до грубости иногда прямодушной газете «Восток»: «Каждый раз, как только ревнители Церкви выскажут свое осуждение действиям болгарских демагогов и атеистов», — либеральные московские священники, «вместе с известным редактором „Церковно-Общественного Вестника“ г. Поповицким, смехотворным арабским богословом г. Муркосом и с калязинским протестантским богословом Беллюстиным, выступают якобы против Вселенской Патриархии, а на деле против Православной Церкви, которую, по их мысли, давно бы пора преобразовать в Протестантскую, с женатыми архиереями во главе».

Не знаю, прав ли вполне г. Дурново в своих резких обвинениях, но от себя по этому поводу прибавлю здесь вот еще что: славяно-англиканское новоправославие (о котором *иные* несомненно мечтали, а может быть, мечтают и теперь) есть нечто более опасное (да и более бесплодное, пожалуй), чем всякое скопчество и всякая хлыстовщина... В этих последних уклонениях есть хоть *еретическое творчество*, есть своего рода сатанинская поэзия, есть *строй*, есть плас- 30

тичность, которая их тотчас же обособляет в особую, резко огражденную от православных, группу; а что было бы в том англо-славянском поповском мещанстве, кроме греха и духовного бунта с одной стороны, глупости и прозы с другой? Для кого же и для чего нужно, чтобы какая-нибудь мадам Благовещенская или Успенская сидела около супруга своего на ступенях Епископского трона? Для чего? Для спасения души? — Спасались без всяких дам, с одними монахами. Для Государства? — При слабости белого духовенства и при силе черного оно было и будет крепче, кафоличнее, так сказать. — Для культуры? — Не оригинально, слишком похоже на англичан и не особенно красиво.

Итак, в чем же самый вопрос?

Греко-болгарское дело, очень смутное и даже как бы скучное издали, очень просто и ясно для того, кто с ним раз ознакомился.

Оно до того ясно, что я просто тягочусь даже препираться и доказывать шаг за шагом то, что давно доказано. На что подробности, на что второстепенные доводы, когда достаточно ответить на два главных вопроса, чтобы видеть, до чего болгары неправы.

1-й вопрос. Если бы малороссы (положим), находясь в пределах одного государства с великороссами, пожелали бы иметь особый Экзархат, а Св. Синод (или московский Патриарх, напр<имер>) не находил бы нужным им его дать, хотя бы по самым несправедливым и корыстно-политическим соображениям, то малороссы имели бы или нет духовное, так сказать, право объявить сами себя независимыми от Московской или Всероссийской Церкви, даже и с разрешения светского Правительства?

Конечно, нет!..

Если малороссы (или, положим, грузины, или эсты, или поляки, принявшие Православие) канонически не имели бы права это сделать вопреки власти духовной, даже и с разрешения единоверной светской власти, то как же можно сделать то же самое на основании указа власти иноверной,

как сделали болгары? Султанский фирман необходим только в том смысле, что светское Правительство *не препятствует известной форме отделения*. Бóльшого значения он не может иметь.

К тому же, если подчиненный главенству какой-нибудь Иерархии народ признаёт за собою в принципе права самоволия в делах Церкви, т. е. возводит в идеал духовно-административный бунт, то и за эту одну идею существенно-основную, без всяких иных уклонений догматических, второстепенно-канонических и обрядовых и т. д., он заслуживает строжайшего церковного осуждения, и самое учение подобной духовной инсurreкции можно назвать расколом, если не ересью...

Истинно русские, православные люди так и думают. Приведу два примера: один — из высшей духовной сферы, другой — из простой «*мужицкой*».

Митрополит Филарет вот что сказал про болгар: «*Просить у Порты самим учредить свою народную независимую Иерархию, это показывает, что болгары, хотя уже довольно имели времени обдумать свое дело, но все еще имеют упрямое желание, а понятия не приобрели. Учредить новую независимую Иерархию можно только с благословения законно существующей Иерархии*».

Этот пример высшего духовного понимания. А вот пример другой, из жизни простых и безграмотных людей.

На Нижнем Дунае, в Добрудже, в 70-х годах было довольно много русских, — не староверов только или молокан, но православных малороссов и великороссов. Все они, вместе с болгарам, были, разумеется, подчинены Вселенскому Патриарху и его Епископам. Когда в 72-м году произошел между греками и болгарам разрыв, и к болгарам в Тульчу приехал свой, раскольникый Епископ, то болгары стали приглашать русских тоже отделиться от греков и перейти к ним. Они указывали им на сродство крови и языка, на одинаковое богослужение и т. д. Русские мужики ответили на это так: «*Оно бы и хорошо, да словно грех без благословения Патриарха*».

Замечу еще, что тогдашний греческий Епископ в Тульче был человек грубый, ума весьма ограниченного, лукавый, и его многие обвиняли и во взятках, и в других неблагоприятных делах.

Болгары же в то время прислали в Добруджу Епископа образованного, воспитанного, кажется, в России и которого вообще любили за его личные качества. И, несмотря на все это, русские предпочли остаться с греками, *по верному мистическому чувству* истинно православных людей!

¹⁰ Если есть в церковных делах закон из законов, канон из канонов, так это канон повиновения Иерархии. Неужели почтенный иерей от(ец) Склобовский не согласен с этим?

Но лучше я умолкну на мгновенье, и пусть говорит вместо меня Влад(имир) С(ергеевич) Соловьев, человек, у которого «я не достоин ремня обуви развязать», когда дело идет о религиозной метафизике и о внутреннем духе общих церковных правил.

Вот его недавние слова: «Если только признано, что Церковь, несмотря ни на какие неправды и грехи своих представителей, *не теряет Божественной благодати (в таинствах и проч.)* и что „господствующая“ Церковь действительно обладает этою благодатью, то какие же тогда человеческие соображения могут быть достаточно сильны, чтобы отделить верующего от этого вместилища Божиих даров?» («Русь», № 40: О Церкви и расколе).

Или еще лучше (там же, № 38): «Всякий человек имеет, в силу воплощения Христова, возможность соединиться с Божеством, но для того, чтобы эта возможность быть сынами Божиими стала действительностью, необходимо прежде отречься от существующей уже противубожеской (греховной) действительности человека, корень которой состоит в эгоизме или самости, т. е. именно в усилии поставить и утвердить себя вне Бога и против Бога; следовательно, человек, желающий действительного воссоединения с Божеством, прежде всего должен отказаться от своего самоутверждения; он должен признать, что не в нем источник

добра, истины и жизни, и ни в каком случае не должен говорить и действовать из-за себя и во имя свое, чтобы не заслонять Божественной благодати своим себялюбивым посредством. Но именно иерархический строй Церкви — только он устраняет и делает невозможным всякое себялюбивое и самовольное посредство между Богом и творением, ибо в этом иерархическом строе (и только в нем одном) никто сам собою или в своей отдельности не получает благодати Божией, но каждый имеет ее лишь от Божественного целого чрез других, не собою ее приявших. Так, все миряне не сами собою, а через священника принимают благодать, но и священник не собою священнодействует, а в силу посвящения от Епископа; Епископ же не собою дает и не от человеческого произвола берет свое святительское полномочие, но посредством Собора старших Епископов получает его через Апостолов от Самого Христа, Которого Бог Отец освятил и послал в мир для нашего спасения и Который Сам творит волю не Свою, но пославшего Его. Итак, в этой чудной цепи благодатного действия нет ни одного звена, запятнанного человеческим самоутверждением, в этом великом обществе нет ни одного деятеля — от Божественного Главы его и до последнего церковнослужителя, нет ни одного деятеля, который сам бы о себе свидетельствовал или сам бы поставил себя в проводники благодати и свидетели истины. Потому, каковы бы ни были человеческие дела какого-нибудь Иерарха (или целого ряда Иерархов), и хотя бы он в своем личном характере обнаруживал высочайшую степень гордости и высокомерия, — святительское его служение все-таки основано на смирении и самоотвержении, ибо он не сам себя поставил в Иерархии, не во имя себя действует и не свое проповедует. Напротив, все основатели и учителя отделившихся от Церкви сект, как в западном Протестантстве, так и в нашем расколе, хотя бы иные из них, по личному своему характеру, и были люди смиренные, но служение их основано на самоутверждении и гордости, ибо они сами о себе свидетельствуют, во имя свое выступают, все свое делают

и проповедуют. Иерархия же церковная не по делам своих членов, а по совершенству своего начала, по чистоте и целостности своей кафолической формы свята, напорочна и божественна». (Не правда ли, как нехороши и как вредны подобные слова и этого тоже светского писателя?..)

Итак, если весь церковный строй основан на смирении и покорности, то как же не раскольники те, которые самовольно отделяются от своей местной «Господствующей» Церкви. Если бы у них не было сверх этого и тени еще иных ¹⁰ неправильных идей, если бы они, оставаясь во всем ином чистыми и не коварными, отделились самовольно только потому, что это им показалось лично удобным или национально выгодным, — то за одно это действие они заслужили бы название раскольников; и это учение принципиальной непокорности можно было бы назвать даже особым именем — наприм(ер), «инсуррекционизмом», или «анархизмом», или еще иначе удачнее.

Но у болгар была еще сверх идеи простой непокорности и другая идея, идея филетизма, как выразился Цареградский ²⁰ Собор 72 года.

Они хотели, чтобы каждый болгарин, где бы он ни был, где бы он ни жил, зависел не от греческой Иерархии, а от особой своей; подобно тому, как армянин зависит от своей Иерархии, русский старовер — от своей, католик — от своей.

Другими словами, они сами желали раскола, они добивались его, нарочно затягивали дело, нарочно даже раздражали греков и очень лукаво старались настолько разрушить ³⁰ каноны, чтобы можно было «вылущить», так сказать, все свое население во Фракии и Македонии «из греков».

Но вместе с тем они нарушали эти каноны не слишком уж эффектно и грубо, дабы не привести в ужас русскую дипломатию и русское духовенство, которого многие представители склонялись тогда на их сторону, по недоразумению или по тайному желанию тоже «политиковать» в славяно-либеральном духе... Не знаю почему...

Вот мы и дошли до второго вопроса.

2-й вопрос: *Правильно ли было желание болгар — иметь везде, где только есть болгары, свое особое духовное начальство?* — Конечно, нет. Такое желание есть прямо искание раскола, и на такие требования у Вселенского Патриарха мог быть только один ответ: «*non possumus!*»

IV

«ВСЕ ТО ЖЕ»

(Т. И. Филиппов и от(ец) Склобовский)

Все то же, все одно и то же и во второй статье от(ца) Склобовского против Т. И. Филиппова. «Греки *Фанара*», «с греками», «от греков *Фанара*», точно бывало про турок в наших газетах во время войны — «азиятская орда», «с азиятской ордой», «от азиятской орды!»

А между тем знает ли от(ец) Склобовский, что такое «фанариоты» и какой их дух? Фанариоты (т. е. цареградские греки и духовные, и светские) от греков афинских отличаются тем, что они *охранительнее* этих последних; тем, что у них *Православные предания были долго сильнее, чем племенные чувства*, а у афинских греков наоборот. 20

Знает ли острогожский священник, что для истинных фанариотов постепенность политических сочувствий и расчетов располагается так:

1) Лучше всего, полезнее была бы, конечно, Эллино-Византийская Империя, если бы можно было создать греко-православную аристократию; но это невозможно, — афинский якобинизм и умеренный либерализм греческого большинства (т. е. общеевропейская пошлость) все подобное затопят, даже и само Православие. Афинские греки во многом гораздо вреднее турок; *верс турки были издавна* 30
полезны, и если они теперь стали с этой стороны гораздо хуже, то этому мы обязаны нашим греческим и юго-славян-

ским либералам: они выучили турок искусству вредить Церкви; *помогли* немало этой науке и русские своею нам (т. е. фанариотам) эмансипационною оппозицией. 2) И потому, так как либеральное Греческое Царство нам, фанариотам, не особенно соблазнительно, *то необходимо по возможности охранять Порту*; надо Порте служить; надо ее защищать. И я с этим взглядом фанариотов согласен: Паша лучше эллинского демократического *номарха* (префекта); Паша монархичнее, государственнее, умнее, шире. 3) А

¹⁰ если Порту сохранить нет уже никакой возможности, то *лучше ладить с Россией*, чем с афинской демагогией... Россия *сравнительно с Элладой* представляется державой и нацией в *высшей степени* православною, консервативною, даже «аристократическою».

И это правда, ибо если в России аристократическое начало было слабее выражено, чем на Западе, а теперь дворянские *привилегии* почти вовсе уничтожены, то все-таки у нас, русских, существуют барские *предания*, дворянские *привычки*, аристократические *положения*, рыцарские *вкусы*, а у свободных эллинов, точно так же, как и юго-славян, ничего этого нет; фанариоты же, сжившиеся с властителями турками, воспитавшиеся под властью все-таки сильной Монархии (сравнительно с кукольною конституционною Элладой даже очень сильною), выросшие под непосредственным и давним влиянием великой и Вселенской Матери-Церкви, фанариоты эти — все более или менее монархического, церковного и аристократического духа люди.

Греческий монах, греческий Епископ, не испорченный еще дотла революционно-племенным направлением (как

³⁰ был испорчен, например, известный Ликург Сирский) — вот самые лучшие и верные союзники России на Востоке. Греческие твердые монахи и черногорские воины — вот столпы нашего влияния, вот наши опоры! — А после них надо для *ближайшего будущего* поставить фанариотов, всех этих Аристархи, Муссурос-пашей, Фотиадес-беев, Вогоридесов... Нам *необходимо беречь их*, даже ласкать; не оскорбляться их временным туркофильством, ибо они вмес-

те с высшим греческим духовенством будут самыми полезными для нас людьми, когда мы возьмем *Царьград* и присоединим его... А мы его взять должны, и возьмем, ибо другого исхода нам и нет ни из лабиринта Восточного вопроса, ни из трясины наших домашних неурядиц.

Старая жизнь на началах 60-х годов оказалась непригодною; нужна жизнь новая, а совершенно новая жизнь всегда требует нового центра, новой столицы; если не прямо административной, то, по крайней мере, культурной (т. е. не чисто русской, не греческой и не исключительно славянской, а Православно-Восточной или, пожалуй, Западно-Азиатской столицы).

Избегнуть такого исхода невозможно; а при таком исходе всякий союзник будущего дорог, каковы бы ни были его нынешние или вчерашние интересы.

Итак, все это для знающего дело ясно, все это даже близко... Сама историческая судьба влечет нас к этому вопреки нашим колебаниям. О чем же беспокоиться *теперь* то за болгар?.. Государство у них есть и будет свое, и весьма достаточное, если они будут рассудительны. Чего ж им больше? Греки серьезно вредить им теперь уже не могут; объявлением раскола они сами выделили из себя болгар и дали им время окрепнуть; Собор 72 года сам убил в корне эллино-византийскую «Великую Идею». Поэтому можно в 82 году и оставить славянские пристрастия и судить объективнее и церковнее.

Оно и политически выйдет гораздо мудрее, и для Панславизма крепость и устойчивость *Греко-Российской Церкви* необходима, и надо трепетать при малейшем ее потрясении. Да! Кто славянофил или панславист мало-мальски понятливый и не близорукий, тот в Болгарском вопросе должен быть за Патриарха Цареградского, ибо он греческий только по исторической случайности, но вовсе не греческий по историческому значению. По значению он именно Вселенский, первопрестольный Патриарх, и в самом «Православном Обозрении» несколько лет тому назад печаталось сочинение английского (или северо-американского?) писателя

Ния, который прямо говорит, что Константинопольской Патриархии предстоит в случае разрешения Восточного вопроса великая будущность. (Я привожу его слова на память, приблизительно, но за смысл ручаюсь.)

Довольно нам петь этого сентиментального славянского «Лазаря», во что бы то ни стало!.. Это уж слишком наивно, даже в случае небольшого политического коварства. Именно коварство-то такого сорта, либерально-церковного и односторонне-славянского, было бы уж слишком детское...
¹⁰ Факты коварнее наших простых эмансипационных соображений... Неужели это не ясно?.. Греко-Византийская Империя и слишком «Великая» Болгария стали теперь одинаково невозможны и ненужны...

Как ни судить вопрос этот, все надо стать в нем, именно в нем-то, в этом церковном деле, на сторону греков.

Будем ли мы судить духовно в тесном смысле, — мы должны вспомнить еще раз Митрополита Филарета («учредить новую независимую Иерархию можно только с благословения законно существующей Иерархии») и ответ придунайских русских: «без благословения Патриарха словно грех!...»
²⁰

Судя духовно, нельзя также успокоиться тем рассуждением, на котором успокаивались у нас иные люди, огорчавшиеся распрями наших единоверцев: «болгары не правы канонически, а греки не правы нравственно».

Правильное рассуждение должно быть следующее: греки правы канонически, но, пожалуй, не совсем чисты нравственно в этом вопросе, потому что действия их, видимо, имели не одну только цель церковного домостроительства или строгого охранения церковных законов, но и политическо-племенную цель приготовить себе побольше территории и жителей на случай падения Турции.
³⁰

Болгары же, требуя Экзархата с неопределенными границами, доискиваясь отделения не столько топографического, сколько племенного, и (что важнее всего) создавая себе Иерархию новую без благословения прежней, — не правы и канонически, и нравственно. Нравственная нечис-

тота их побуждений видна уж из того, что они *преднамеренно* стремились к расколу, — именно к расколу, а не к ереси, — к *легкому, неясному, умеренно-либеральному, практическому отщеплению*, а не к какой-нибудь мистической и еще более, быть может, опасной, но все-таки искренней ереси. Какая у них там мистика! Узкий племенной патриотизм, национальное самолюбие — и больше ничего.

Болгары преднамеренно и очень искусно искали этого легкого и тонкого отщепления и *после всякой уступки греков* нарочно новыми требованиями затягивали дело. На-¹⁰прасно добродушный о. Склобовский полагает даже, что они особенно «раздражались» упорством Патриархии; я *жил там* долго и очень многих из вождей этого движения знаю хорошо. Они даже не особенно раздражались, — они радовались: радовались они и уступкам, и упорству греков; они очень ловко плыли по модному эмансипационному течению; турки помогали, а мы не смели и не сумели их вовремя остановить.

Раздражились же на болгар греки, — раздражились страстно, до ошибки; ибо, оставаясь правыми с церковной точки зрения, они *ошиблись именно там, где им совсем не хотелось и не шло ошибаться*, — они ошиблись политически; выбросивши болгар из своей Церкви, они исполнили их желание иметь совершенно особое церковное управление и под предлогом этой особой церковности забрать постепенно в свои руки Румелию, Македонию, Фракию, если можно и если посчастливится, то, пожалуй, и Царьград. У греков «Визайнтийская Империя», «Великая Эллинская Идея»; у болгар «Великая Болгария», — не все ли это нам равно?

С точки зрения нравственной это для нас давно было *все*³⁰ равно.

С политической точки зрения тоже почти все равно; ибо мы, русские, ни того, ни другого не можем допустить.

И то и другое — вредный для общего дела вздор. Кроме нас никто не должен сметь и думать о Босфоре, и в этом отношении между Православием и Эллинизмом мы должны проводить *наиглубочайшую черту*.

Как представители Православия на Востоке, как хранители Святых Мест, как обладатели Патриарших тронов, греки (и в особенности эти самые «фанариоты») должны быть нам дороже всяких других союзников, и с этой стороны хорошо делать им всевозможные уступки.

Что же касается до Эллинизма, или до греков, как представителей *своего племенного начала*, то это — смотря по обстоятельствам: можно быть и за них, и против них.

10 Не следует и с той стороны непременно и всегда предпочитать им юго-славян, но всегда *самих себя*; или, лучше сказать, *великое призвание России* должно всегда предпочитать либеральному и сравнительно с этим призыванием *бессодержательному Эллинизму*.

Впрочем, не довольно ли?..

Я бы желал прекратить эту специальную беседу и возвратиться к тем более общим вопросам, от которых меня отвлекла досада на отца Склобовского, вздумавшего напасть на Т. И. Филиппова и говорить, что все светские писатели причиняют Церкви только одну скорбь.

20 Да и на что все это *теперь*? Ни Св. Синод, ни дипломатия наша, видимо, болгарам более потворствовать *в этом деле* не расположены и не станут. На практике, значит, мнение г. Филиппова торжествует. Книга его имеет замечательное историческое значение, ибо этот мирянин, этот «светский писатель» — один в России возвысил свой голос в защиту Вселенского Патриарха, канонов, дисциплины и преданий; он возвысил свой голос в начале 70-х годов в то время, когда все колебались, все недоумевали, все или либеральничали, или *не понимали*, или хитрили, или терялись в хлопотах мелочного «оппортунизма» — и в дипломатии, и в печати, и почти везде...

30 Книжке г. Филиппова суждено *жить*, и славе таких великих христианских заслуг автора предстоит расти; а про заметки и мнения от(ца) Склобовского нельзя сказать даже, что им предстоит умяться. *Нечему! Ибо кто в наше время* (после 1 марта 81 г.) *либерал, тот едва ли имеет умственное будущее!* Разве он отступится резко от прежних

убеждений. Насчет взглядов г. Филиппова на греко-болгарское дело можно сделать одно только замечание. Все, что касается до самой греко-болгарской распри, в книге его правильно и до высшей степени ясно; прибавить *теперь* можно разве еще то, что Св. Синод и Правительство наше в 72 году поступили с большою мудростью, *воздерживаясь и от Вселенского Собора, и от всякого прямого вмешательства и решения.*

Оно, может, было бы *по-человечески* искреннее и прямее ответить письменно или собрать Вселенский Собор. Но ¹⁰ вот в чем было опасное и великое затруднение: *письменный, ясный* ответ отсюда *после схизмы*, вероятно, был бы в первую минуту до того благоприятен болгарам, что мог бы привести нас к разрыву с греками. *Крайние, враждебные России эллины, под влиянием английских интриг, пламенно этого желали. Самые серьезные и честные из греческих охранителей этого боялись.*

Церковный же разрыв русских с греками был бы и для нас, и для них, и даже для юго-славян — таким бедствием, о котором и подумать страшно! ²⁰

Греки остались бы все-таки *церковно* правее всех; но они сделались бы совершенно бессильными, попали бы окончательно в руки своих «красных» и очень скоро стали бы добычей или Англии, или Италии и Франции, или тех же юго-славян, против которых мы тогда бы, конечно, защищать их уже не имели бы особых причин.

Славяне же, с Россией во главе, продолжая совершенно напрасно считать себя архи-православными, очень быстро впали бы в какую-нибудь полулиберальную ересь с жена-³⁰ тыми (например) Епископами, без постов, без монашества и т. д. Или бы распались на два лагеря: представители одного, верные преданиям, остались бы с греками, а приверженцы другого дошли бы на воле до каких угодно крайностей пустоты.

Таковы могли бы быть последствия письменного ответа *отсюда в то время*, после местного Цареградского Собора 72 года.

Но Господь сохранил нас от этого ужаса!

Что же касается до Собора Вселенского, то *там*, на месте, под влиянием формальной (т. е. *верной основной сущности*) греческой правоты, Иерархам нашим пришлось бы осудить болгар; и тогда или все болгары перешли бы в униатизм (ибо к этому они, как всем известно, гораздо склоннее греков), или тоже разделились бы на две части: на *покаявшихся православных и на униатов*. В этом случае юго-славянский элемент уже слишком бы тоже ослабел в

¹⁰ Турции, и невозможны бы стали события 76—78 годов.

Падение Турции задержалось бы дольше, чем нужно для будущности Востока; или бы стала возможнее Эллино-Византийская Империя, что для *Православия хуже всего*; ибо *два слишком сильные Православные Царства*, Россия и сильная морская, богатая, торговая Эллада, пребывая в постоянной и неотвратимой борьбе, растерзали бы и самую Церковь. Именно *два преобладающие Царства* опаснее *многих* единоверных и неравносильных Царств для мира Церкви. Вот почему я сказал, что *факты в одно и то же время и церковнее, и словно случайно с виду* (а несомненно по смотрению Божию) *премудрее всех соображений наших*.

Сила Божия и в немощах наших познается...

Греки, *раздраженные донельзя* упорным и тонким коварством болгар, выбрасывают их из своей Церкви гораздо решительнее, чем *того требовали бы их* собственные национальные и политические выгоды.

Русская Иерархия воздерживается от явного вмешательства; она безмолвствует, но вместе с тем *почти не допускает* болгар до церковного с собою общения. Она остается *формально правою, к отчаянию афинских демагогов!*

³⁰ *Объединенные* больше прежнего *посредством своего обособления и ободренные* первым успехом, болгары сбрасывают маску покорности, которую они так еще недавно носили перед турками: у них сил мало; привычки к кровавой борьбе еще меньше. *Но тем лучше, — их беззащитность для них спасительна...* Их избивают, их режут, жгут!..

Русское войско переходит Дунай... Оно перед Царьградом... Но мы не вступаем туда, мы не присоединяем его... Ошибка с виду; слабость, быть может, по сознанию, по человеческому расчету. Но спасение — по «смотрению» Божию... В тот год еще мы были недостойны туда взойти, — мы все бы там погубили... Мы были тогда слишком либеральны!

Война уничтожила Турцию как политическую идею и раздробила ее. Война же (вызванная все теми же ободренными удачным отщеплением болгарами) доказала грекам всю тщету их мечтаний о Византии и даже, общее говоря, всю глубокую политическую несостоятельность их в удалении от России... С другой стороны, и русские должны же, наконец, понять после этой войны, что «без греков (как выразился недавно один из даровитейших дипломатов наших) нельзя решить успешно Восточного вопроса; ибо в них-то самая сущность его, а славян надо было еще прежде выдумать». Замечу вдобавок, что этот замечательный русский человек, начавши свою службу в провинциях греческих и коротко с греками знакомый, послужил и славянскому делу на политической практике едва ли не больше всех других русских деятелей на Востоке... (Мне очень жаль, что я не имею права его назвать.)²⁰

Немало пользы также сделало общему делу и более близкое знакомство русских с юго-славянами на самом месте их жительства. Русские во многом разочаровались вовремя, не слишком рано и не слишком поздно...

Союз скреплен; одностороннее пристрастие остыло.

Все готово; — готова ли наша мысль?..

Мне кажется, и она довольно близка к своей зрелости...³⁰

Пора!.. Вот как надо судить об этом великом деле!.. Со всех сторон подходя к нему...

А что — от(ец) Склобовский!..

«Болгары желали», «болгары не искали оскорбить Патриарха Григория VI...», «греки Фанара... греки Фанара...»

«Болгары желали раскола, и греки Фанара исполнили их желание». Эти ужасные и хитрые греки были на этот

раз так страстны и так неосторожны, что из-за строгости церковных правил погубили невозвратно ту Византийскую Империю, на которую с такою невинно-дипломатической «экивокой» и «придворною штукой» подмигивает от⟨ец⟩ Склобовский.

Удивительно тонко и дальновидно!.. Т. И. Филиппов ведь не понимает ничего, охранитель «*rug sang*», — надо его или обличить, или открыть ему самому глаза на эти опасные злоупотребления!.. Я спрашивал себя в начале предыдущего письма, что это у от⟨ца⟩ Склобовского: коварство или простодушие? Теперь я думаю вот что: насчет отделения всех славян от «лживых» и слишком охранительных в делах Церкви фанариотов (т. е. насчет преобладания «белого духовенства», архиереев с архиерейшами и т. д.), — пожалуй, коварство. А насчет «угнетения» братьев-славян «греками Фанара» — быть может, и простодушие...

Не довольно ли об этом?.. Я думаю — довольно. В заключение, впрочем, мне крайне желательно привести мнение одного всеми уважаемого православного христианина, не грека и не славянина и потому особенно внушающего доверие к своему беспристрастию во всем этом деле.

О прискорбных недоразумениях, существующих между Патриархией и русским обществом, по поводу «болгарской схизмы», доктор Овербек сообщает следующее:

«Патриархия не оспаривает в основании прав национальной Болгарской Церкви на независимое существование, в тех самых условиях, в которых находятся и другие местные Православные Церкви, напри⟨мер⟩, Российская, Румынская, Церковь Греческого Королевства и др. Ежели бы (продолжает доктор Овербек со слов греческих Иерархов, с которыми ему приходилось говорить об этом предмете) Болгарская Церковь пожелала ограничиться именно таким положением, никто бы, конечно, и не подумал оспаривать у нее законности ее требований, но, по-видимому, болгары такими правами довольствоваться не хотят; по мнению греческих Иерархов, они желают ввести в отношения болгарского народа к Патриархии принцип так называемого

φυλετισμός'а, народности, согласно которому всякий болгарин, где бы он ни находился, вместо подчинения местному епископу, становится под юрисдикцию своего собственного болгарского Экзарха; таким образом, в одном и том же городе было бы два Православных Епископа, что, конечно, противно законам. По мнению собеседников доктора Овербека, болгарский священник, живущий, наприм(ер), в Царьграде, не должен подчиняться никому иному, как только Вселенскому Патриарху; точно так же, как, напр(имер), греческий священник, живущий в Петербурге, находится ныне в подчинении Петербургского Митрополита. ¹⁰

„Схизма” — явление тем более прискорбное, что Рим легко может ею воспользоваться и ловить в мутной воде рыбу. Для Рима тем легче будет устроить сильную и опасную для Православия пропаганду, что он теперь может действовать под покровом австрийского Правительства, которое весьма умно и расчетливо обставило Римскую Иерархию всеми условиями успешной борьбы с Православием в недавних своих приобретениях в Боснии и Герцеговине. Борьба между болгарами и Константинополем может легко повести первых даже к прямому сближению с Римом! Что касается до России, — продолжает доктор Овербек, — то она много выиграла в глазах греков вследствие того, что она столь осторожно отнеслась к последнему болгарскому посольству, которое было, правда, принято Россией в высшей степени радушно — в смысле посольства политического, но коего духовные лица не имели случая участвовать в сослужении с российскими Иерархами». ²⁰

Восстановление добрых отношений между Патриархией и Российским Синодом доктор Овербек считает не только в высшей степени желательным, но и, на основании совершенно достоверных данных, весьма возможным. «Восстановление дружбы между ними, — говорит Овербек, — было бы благодеянием для обеих Церквей и, без сомнения, — возвысило бы влияние Православия на всем свете. Недоразумения произошли оттого, что к вопросам чисто церковным примешались соображения политические. Но, — ³⁰

продолжает он, — эти недоразумения легко устранимы: я явился в Константинополь как открытый друг России и Русской Церкви и не раз имел случай заявлять об этом в моих разговорах с Патриархом; тем не менее решительно все отнеслись ко мне с полнейшим дружелюбием.

Греки, — говорит доктор Овербек, — начинают понимать (может быть, не без некоторого прискорбия), что хотя номинальное предводительство в Православной Церкви принадлежит им, фактическое преобладание перешло уже к славянам (т. е. к русским, около которых группируются остальные славяне). Греки видят, так (им) обр (азом), что центр тяжести в этом деле переходит на Север, к России, за которой оказывается преимущество не только в более значительном числе ее детей, но, по мнению доктора Овербека, иногда и в более правильном взгляде и на некоторые догматические вопросы. Правда, многие греческие Иерархи, получившие образование за границей, возвращаются на родину с немалым запасом руссофобии; но зато все те знакомые мне греки, которые окончили свое образование в России, вообще очень дружественно расположены к ней. Было бы крайне желательно, чтобы Россия привлекала к себе молодых греческих богословов и кандидатов богословия и давала бы им возможность оканчивать свое образование в русских духовных академиях, вместо иностранных университетов, где они вместе с неоспоримым научным развитием получают иногда и некоторый гетеродоксальный колорит.

Сближение между обеими Церквями должно бы исходить от России, как от стороны более сильной. Желание такого сближения, заявленное со стороны Российской Церкви (по крайней мере в лице более значительных ее представителей), было бы, без сомнения, встречено греками с полнейшим сочувствием; русским было бы легко приобрести расположение и любовь своих меньших братьев — как умеренностью и скромностью, так и снисходительностью к традиционным идеям греков о первенстве Византии».

Вот что говорит Овербек! (Доклад секретаря Петербургского отдела Общества любителей духовного просвещения, А. А. Киреева, читанный в заседании Общества 23 марта 1880 года: «О поездке доктора Овербека в Царьград в 1879 году».)

V

ГАМБЕТТА, СКОБЕЛЕВ И БИСМАРК*

Гамбетта умер...

«Анархии теперь представляется шанс (говорит по этому поводу «Daily Telegraph»). Как бы французы ни скорбели об утрате того, кто мог бы совершить дело отместки и сокрушить Германию, иностранцы не разделяют этих сожалений...»¹⁰

Я согласен с английской газетой; но у нас, по-видимому, многие думают иначе... Я не говорю о венке, посланном нашими присяжными поверенными на гроб их французского собрата по ремеслу.** Это понятно, и удивляться надо только одному, как позволило им сделать это безнаказанно петербургское начальство.

Но вот перед нами передовая статья газеты московской, большею частию серьезной, несомненно патриотической, нередко очень умной... Я говорю о «Современных Известиях». К чему этот уважительный тон! К чему вся эта германофобия или германофагия, которая сквозит между строчками...

«Для России в частности смерть Гамбетты утрата немаловажная, — говорит эта газета. — Как выскочку, наши

* Это письмо прерывает ход мыслей, развиваемых в первых письмах; оно было напечатано под впечатлением неожиданной смерти Гамбетты; но тем не менее я не решился его исключить; ибо по духу оно состоит в связи со следующими письмами, и в них есть ссылки на это, третье. Авт(ор) (1885 г.).

** «С.-Петербургские Ведомости».

дипломаты, по-видимому, его не совсем жаловали. Да и были, действительно, у него не очень приятные замашки зазнавшегося буржуа. Но мы знаем, союз Франции с Россией был для Гамбетты мечтою, и он от всего сердца желал силы для России. Насколько способен был углубиться его ум, чисто французский и потому поверхностный, он соглашался признать исторические задачи России. Довольно сказать, что он связан был самою искреннею приязнью с покойным Скобелевым. И удивительная судьба! Не исполнилось еще годовщины со смерти нашего героя, смерть похищает собеседника, с которым Скобелев делился мыслями и который Скобелеву поверял свои душевные политические мечты».

«Кёльнская Газета» подтверждает этот взгляд следующими словами: «Сближение с Россией против Германии нашло в Гамбетте столь же ревностного сторонника, как и в молодом Скобелеве... 1882 год унес обоих сторонников идеи русско-французского союза. И это во всяком случае выгода для спокойствия мира» («Welt»).

Что ж эта близость доказывает? Она доказывает только, что Скобелев ошибался в этом случае и что политический смысл его был гораздо ниже его военного гения.

Если бы еще можно было предположить, что поведение Скобелева было не искренно и что он делал лишь «демонстрации» для некоторого устрашения Германии и для большего склонения ее государственных людей к союзу с нами... «если хочешь мира (или союза) — готовься к войне», то, конечно, это было бы очень умно и дальновидно. Но можно ли это предположить? Конечно, нет. Хотя подобная долговременная и слишком тонкая игра очень трудна и опасна, ибо может раздражить того, кем мы дорожим; но она могла бы иметь еще смысл со стороны лица, облеченного специально, так сказать, властью; со стороны министра, посла или, наконец, самого Монарха; но Скобелев никем не был «официально» уполномочен для подобного косвенного давления на Германию, и, по всем признакам, его надежды на союз с Францией были искренни.

Мысль о таком союзе и о французской «отместке» недурна и естественна, пока мы думаем только поверхностно о внешнем, военно-политическом равновесии европейских государств и России. Но для того, кто ни на минуту не хочет забыть заветной, исполинской и вместе с тем весьма осуществимой мечты о независимой, многосложной и новой Славяно-Восточной цивилизации, долженствующей заменить Романо-Германскую, — для того всяческое унижение Франции, как передовой нации Запада, должно быть дороже военной победы над Германией.¹⁰ Если бы Германия была теперь такой же либерально-эгалитарной республикой, как Франция, если бы в ней президентом сидел какой-нибудь «честный труженик» вроде Вирхова, то трудно было бы, конечно, решить, которая из двух республик гнуснее, ненавистнее и пошлее... парижская — «tigre-singe», по выражению (кажется?) Вольтера, или та «корова», грациозно играющая на лугу, с которой сравнивал Герцен либерально-революционную Германию.

Германское современное общество, положим, в некоторых отношениях, быть может, еще буржуазнее и хуже (по идеалам, а не поведению лиц, — надо понимать эту разницу) французского; но германское государство — Монархия; и немецкое общество еще выносит это государство; оно еще не настолько пало, чтобы не выносить таких людей, как старый воинственный Император, Бисмарк, Мольтке... К тому же у Германии, если только она не пойдет прежде времени против России, еще не исполнившей своего рокового назначения и потому политически непобедимой, есть еще огромные задачи на Западе, — присоединение 8 миллионов австрийских немцев (пожалуй, и без выстрела), завоевание Голландии и вытекающее из этого морское соперничество с Англией; весьма возможные и естественные претензии в Балтийском море; дальнейшее унижение Франции, которую, в случае равнодушия России, вовсе не так трудно даже и разделить теперь, как Польшу, между Италией, Испанией и Бель-

гией, оставляя в середине небольшой независимый остаток, и, наконец, господствовать над всем Северо-Западом, заменив непригодную, после великого семилетия (от 71 до 78 г.) идею культурного *Drang nach Osten* систематическим государственным движением *nach Westen*.

Вот какие простые помыслы и вместе с тем нелегкие по исполнению задачи могут предстоять даже и подгнившей социально Германии за пределами нынешней Империи, если она будет дружить с Россией. Россия нужнее Германии,¹⁰ чем Германия России...

В самом деле, какое *существенное, органическое*, так сказать, и непоправимое зло может нам сделать Германия в случае войны с нами и нашего поражения?

Отдать Австрии Константинополь?

Это смешно! Надолго ли? Разве в наше время явного антиконституционного поворота идей, — в наше время — *аграрно-рабочего движения противу меркантильного индивидуализма*; в наше время — неоконченной еще *племенной эмансипации* и неосуществившегося еще *племенного объединения*, — разве может успешно бороться государство... положим... 50-миллионное,* конституционное и мало-земельное, почти исключительно меркантильное, наскоро сколоченное в слабую федерацию, без всякого преобладающего и одушевленного единством идеи племени, с государством 80-миллионным, имеющим, в среде этих 80 миллионов подданных миллионов более 50 однородного, цельного племени (русских), вдобавок легко одушевимого, с государством *многоземельным, общинным и в котором индивидуально-буржуазный дух так несерьезен, что не выдержал и 20 лет либерального режима*, а породил только крайнее обеднение у одних, безумное, болезненное какое-то грабительство у других, у третьих отчаяние и самоубийство, а у самых умных — совершенное разочарование в благо-

²⁰

³⁰

* Я кладу для Австрии около 50-ти миллионов наобум, в случае предполагаемого присоединения к ней болгарских, сербских стран, Царьграда и даже части Польши.

детельности юридического равенства и гражданской свободы?..

Разумеется, тут серьезная борьба возможна только в двух-трех регулярных сражениях... и только! У Австрии нет будущности; у России великая. Вредна ли или полезна будет эта будущность России для остального человечества, разрушительная она будет или созидаящая, — это другой вопрос; но что будущность есть великая, — это ясно. Это ясно из самих отвратительных пороков наших; мир должен скоро отказаться от идей 89 года, от равенства и сво-¹⁰ боды; это только не ясно для тех глупцов, которые думают, что нужна еще у нас конституция, чтобы окончательно в этом убедиться...

А если мир должен скоро отказаться от «буржуазной» цивилизации (т. е. от свободы и равенства), то вопрос — какое население (про Австрию нельзя сказать «народ») ближе к новому идеалу (вновь юридически расслояющему, вновь лица к чему-нибудь или к кому-нибудь насильственно прикрепляющему); то ли население, у которого либеральные порядки держатся лучше и крепче некоторой лич-²⁰ ной добропорядочностию, экономией, трезвостью, какими-то умеренными, ни то, ни се преданиями; или тот народ, у которого эти «буржуазные» добродетели слабее, который, именно вследствие чутья и сознания своих слабостей, жаждет крепкой над собою духовной, отеческой власти, любит ее, ищет чего-то и волнуется больше душевно, чем политически...

Борьба с одной Австрией для России (до взятия Царь-града или после, все равно) — была бы даже и в случае минутной первой неудачи почти триумфальным шествием, и³⁰ больше ничего. Это не Турция, у которой есть религиозная, великая в своем роде идея; есть, наконец, множество мусульман.

Какое же еще может сделать нам зло Германия? Победивши нас (и с каким трудом, с каким страхом за свое будущее), отнять часть Польши и Курляндии?.. Велика ли эта беда для нас? И возможно ли это без вознаграждения

все на том же необходимом нам Юго-Востоке? Ведь не легко же достанется немцам и такая неважная победа?

И долго ли бы они пробыли в этой Польше, если бы мы захотели вернуться и изгнать их? И многие ли из поляков не перешли бы на нашу сторону тотчас же?

И сверх того есть ли во Франции способный вождь или нет его, — Германия во всяком случае не совершенно положится на робость и безучастие нации, равносильной ей по численности, военной по преданиям и оскорбленной ею так глубоко!..

При Правительстве слабом даже и соглашение с Францией не надежно; все может измениться в три дня в Париже; не настолько измениться, чтобы воскресить невоскресимое, т. е. величие Франции, но настолько лишь, насколько нужно, чтобы помешать немцам кинуться всеми силами на нас и чтобы дать возможность восточно-славянскому духу свершить свое назначение...

Сам князь Бисмарк говорил в 71 году французским дипломатам, что «ни на слабое Правительство, ни на чувства нации надеяться нельзя в политике, но можно надеяться на единоличное слово сильного Государя».

Если мы, русские частные люди, в силах понять все это, неужели германские политики не могут додуматься до таких простых и естественных соображений? Было бы странным предполагать в них подобное затмение; и есть много признаков тому, что в Германии очень хорошо понимают все это. «Оканчивающийся год, — пишут, например, все в той же «Кёльнской Газете», — уносит с собою одну из крупных политических личностей в Европе. Гамбетты не стало. Это был непримиримый враг Германии, главный представитель того политического направления во Франции, которое стремится к отместке. Направление это не умрет вместе с ним, но он во всяком случае, как организатор, как настойчивый предводитель раз установленного плана, был таким лицом, которое не скоро найдет себе заместителя». Что значат эти слова в стратегическом отношении?

Они значат, что, в случае войны с Россией, немцам и без *Гамбетты* необходимо будет держать под ружьем на границе Франции около половины своего войска и только другую половину противопоставить русскому исступлению... Да, именно — *исступлению*, русскому бешенству, не знающему границ... Ибо, как это ни странно с первого взгляда, но можно утверждать, что и крепкий союз, и вынужденная обстоятельствами война с Германией будут у нас в народе *одинаково популярны!* Объяснять причины такой двойственности русского настроения было бы долго; ¹⁰ но понятно, что в случае союза и здравый смысл, предпочитающий легкое трудному, будет удовлетворен у русского народа, и старые предания о дружбе и родстве двух Царских родов еще обновятся и окрепнут; а в случае войны припомнятся у нас германской нации даже и все те мелкие обиды, которые наносили нам *у нас живущие* немцы.

Германское Правительство уважается у нас, по слухам и преданиям, даже и мужиком (не любят его только русские либералы); *бюргерство же*, т. е. большинство немецкой нации, вследствие исторических и социальных впечатлений, ²⁰ ненавидится в России донельзя...

Вот в чем разница!..

Неужели гениальный князь Бисмарк не знает и не понимает этой важной разницы?.. Ведь это все так ясно и так просто!

Чтобы вообразить себе, что может нам предстоять с Германией, нам необходимо только предложить себе два вопроса:

1) Выгоднее ли для Германии соглашение с Россией по *делам австро-турецким*, чем война с Россией? ³⁰

Конечно, несравненно выгоднее. В одном случае огромные приобретения без всякого риска и потерь. В другом — ужасный риск и гадательные выгоды (напр<имер>), мечты о создании двух, парализующих друг друга, славянских держав).

2-й вопрос: Есть ли в Германии люди, *способные понять*, в чем состоят истинные германские интересы?

Кажется, что есть.

Итак — зачем нам Гамбетта и вообще на что нам излишняя поправка Франции?

VI

КАКОЕ СОЧЕТАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НАМ ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО?

Иное дело писать о предстоящих нам или о возможных и желательных *политических действиях наших*; иное дело излагать взгляды на предстоящие, возможные или желательные *политические обстоятельства*, долженствующие обусловить образ этих действий.

Когда мы говорим о желательных *действиях*, мы даем нечто вроде совета. Когда мы говорим *только об обстоятельствах*, — мы делаем нечто вроде предсказания.

Давать советы считается делом более скромным, чем предсказывать или пророчествовать. Не знаю, всегда ли это так. Если, напр<имер>, врача не приглашают на консилиум для избрания тех или других способов лечения, не смешно ли будет с его стороны предлагать практические советы? Но если этот самый врач думает, что он предвидит счастливый исход болезни, *если обстоятельства (даже вовсе и не зависящие от воли больного и его близких)* сложатся так-то и так-то, то я полагаю, что он хорошо сделает, если откровенно выскажет кому-нибудь свою мысль. При таких условиях самое смелое пророчество гораздо скромнее непрошеного совета.

Так хочу и я поступить в этом письме. Советовать я никому не призван; но предвидения и предчувствия мои нахожу полезным сообщить хотя бы и тем немногим людям, которые могут сочувствовать мне.

Какие же обстоятельства выгоднее всего для *той высшей цели*, к которой мы, русские, *вовсе и не думаем со-*

*знательно стремиться, но к которой фатально влечет нас история, отчасти вопреки ошибкам нашего «по-европейски» настроенного разума, отчасти благодаря самым этим счастливым ошибкам?»**

Но прежде еще чем изложить мой взгляд на эти обстоятельства, надо напомнить: *какая же эта самая высшая цель?*

Я сказал во 2-м письме моем, что Россия — не просто государство; Россия, взятая во всецелости со всеми своими азиатскими владениями, это целый мир особой жизни, особый государственный мир, не нашедший еще себе своеобразного стиля культурной государственности.¹⁰

Поэтому не изгнание только турок из Европы и не эмансипацию только славян, и даже не образование во что бы то ни стало из всех славян, и только из славян, племенной конфедерации должны мы иметь в виду, а нечто более широкое и по мысли более независимое.

Это более широкое и по мысли независимое должно быть не чем иным, как развитием своей собственной, оригинальной Славяно-Азиатской цивилизации, от Европейской (или Романо-Германской) настолько же отличной, насколько были отличны: Эллино-Римская от предшествовавших ей Египетской, Халдейской и Персо-Мидийской; Византийская (распространявшая свое влияние до IX, X и XI веков и на западные страны) от предшествовавшей ей Эллино-Римской, или, наконец, настолько, насколько была отлична новая, последняя Романо-Германская цивилизация от предшествовавших ей и отчасти поглощенных и претворен-

* Вы знаете, что, цenia очень высоко человеческий ум и гений отдельных лиц, как непосредственную могучую и произвольную силу, я очень низко ценю общий разум человечества с точки зрения практической его целесообразности; в этом смысле и ошибки, и пороки, и глупость, и незнание, — одним словом, все, что считается худым, приносит плоды и способствует невольному достижению той или другой таинственно и не нами предназначенной цели.

ных ею органически цивилизаций Эллино-Римской и Византийской.*

Подобная историческая цель достигается, конечно, веками, сознательными и бессознательными усилиями целого ряда поколений, их прямыми и косвенными, совершенно даже иногда нецелесообразными действиями; но история доказывает нам, что некоторые удачные предприятия и решительные поступки влиятельных и власть имеющих лиц, увлекающих за собою толпы или приостанавливающих известное движение, определяют дальнейший тип или стиль культурного развития и могут считаться поворотными пунктами всеобщей и частной истории. Примеров на это множество, и я нахожу даже лишним их здесь приводить. Они должны быть известны из учебника.

Таким поворотным пунктом для нас, русских, должно быть взятие Царьграда и заложение там основ новому культурно-государственному зданию. И так как несомненно то, что человечество стало по всем отраслям жизни теперь самосознательнее, чем было тогда, когда происходила смена прежних великих культурных типов, то главные черты предстоящей культуры можно даже, сообразно с примерами прежнего, и приблизительно угадать, особенно с ее отрицательных сторон. Но здесь речь не столько о самой этой цели, сколько об обстоятельствах, выгодных для ее достижения.

* Я должен здесь прибавить, что главным основанием этих мыслей моих служила мне книга г. Данилевского «Россия и Европа». Г. Данилевский, по справедливому замечанию г. Страхова, первый обратил внимание на эту смену культурных типов или стилей. Эту теорию культурной смены можно назвать истинным открытием, принадлежащим исключительно русскому мыслителю. Положим, Хомяков и другие славянофилы развивали нечто подобное прежде г. Данилевского; но у них все это было не ясно, не приведено в систему и, главное, не производило впечатления чего-то органического, чего-то такого, чему быть надлежит; а в сочинении «Россия и Европа» весьма ясно этого рода освещение.

Обстоятельствами, выгодными для нас и для всего Славяно-Восточного мира, я считаю приблизительно следующие:

1) *Скорая война с Австрией или Англией.*

2) *Соглашение с Германией.*

3) *Анархия во Франции.* Прежде или после нашей войны — это второстепенный вопрос.

4) *Неустройства в Болгарии и Сербии; грубые промахи Короля Милана и неблагодарность либеральных болгар и сербов.*

10

Объяснюсь подробнее:

1) Скорая и несомненно (судя по общему положению политических дел) удачная война, долженствующая разрешить Восточный вопрос и утвердить Россию на Босфоре, даст нам сразу *тот выход* из нашего нравственного и экономического расстройства, который мы напрасно будем искать в одних внутренних переменах. Раз вековой сословно-корпоративный строй жизни разрушен эмансипационным процессом, — *новая прочная организация на старой почве и из одних старых элементов становится невозможной.* Нужен крутой поворот, нужна новая почва, новые перспективы и совершенно непривычные сочетания, а *главное необходимо новый центр, новая культурная столица.*

20

Само собою разумеется, что Царьград не может стать административной столицей для Российской Империи, подобно Петербургу. Он не должен даже быть связан с Россией в той форме, которая зовется в руководствах международного права «*union réelle*», т. е. он не должен быть частью или провинцией Российской Империи. Великий мировой центр этот с прилегающими округами Фракии и Малой Азии (напр<имер>, до Адрианополя *включительно* и вплоть до наших теперешних границ около Карса) должен лично принадлежать Государю Императору; т. е. вся эта цареградская или византийская область должна под каким-нибудь приличным названием состоять в так называемом «*union personnelle*» с русской короной. (Наподобие Финляндии или прежней Польши, или наподобие Норве-

30

гии, в которой Король Шведский есть нечто вроде наследственного президента.) Там само собою, при подобном условии, и начнутся *те новые порядки*, которые могут служить высшим объединяющим культурно-государственным примером, как для 1000-летней, несомненно уже устаревшей и с 61-го года заболевшей эмансипацией России, так и для испорченных европейскими влияниями афинских греков и юго-славян.

¹⁰ Поставленный, с одной стороны, с Россией только в личное, а не в реальное соединение; призванный, с другой — стать не административной только столицей одного государства, а культурным центром целого Греко-Славянского Союза или Нового Восточного мира, Царьград нелегко подвергнется опасности, что в него целиком и спроста перенесутся устаревшие привычки демократизованного за последнее время Петербурга, а напротив того, сам этот, столь вредный, цивилизованный, но не культурный (не культурный, значит, по-моему, несвоеобразный) Петербург начнет быстро падать и терять значение, и в самой России ²⁰ административная столица почти невольно перенесется южнее, — вероятно, не в Москву, а в Киев.

Итак, будут тогда две России, неразрывно-сплоченные в лице Государя: Россия — Империя с новой административной столицей (в Киеве) и Россия — Глава Великого Восточного Союза с новой культурной столицей на Босфоре.

Таков наилучший и даже единственно возможный исход наш из современного нашего положения; и для скорейшего достижения подобной цели позволительно русскому гражданину ³⁰ желать, чтобы Австрия или Англия каким-нибудь слишком дерзким поступком, или сама Турция какими-нибудь новыми и нестерпимыми беспорядками вынудили бы нас воевать.

Если бы я призван был советовать, то я бы даже посоветовал довести их поскорее до этого. И лучше бы все-таки начать с Австрии; ибо тогда одно чувство самосохранения дало бы нам нравственное право направить из Карса войска

к Босфору. Воюя с Австрией, мы имели бы полное право позаботиться, чтобы нашей армии никто не угрожал с юга.

Турция пала бы тогда сама собою. Все эти австро-русские соглашения и «лестные приемы», о которых пишут в газетах, могут быть очень искренни, благоразумны и т. д. Но... и Шлезвиг-Голштейнское соглашение — кончилось битвой при Садовой и извержением Австрии из Германского Союза.

Ведь я сначала предупредил вас, что буду говорить больше о благоприятных *обстоятельствах* для целей высших¹⁰ (культурных), чем о похвальных и полезных *действиях* для целей низших (утилитарных, напр<имер>), для меньшей потери людей и денег).

О русских столицах необходимо заметить здесь еще нечто особое, нечто такое, с чего приличнее, пожалуй, было бы даже начать, ибо это очень важно. Из всех культурно-государственных образований, возникших, павших и существующих ныне со времени Рождества Христова, только у двух подобных исторических организмов была до сих пор склонность перемещать столицы: у *Мусульманизма* и *Рос-²⁰сии*. Все остальные государства и культурно-религиозные организации в Западной, близкой к нам Азии, в Северной Африке, в Западной Европе и в ее грубом продолжении — новейшей Америке, — центров своих не меняли, и жизнь всех этих государств и культурных организаций была и есть неразрывно и неподвижно связана с *каким-нибудь городом*. Папство с Римом; Франция с Парижем; Австрийское государство с Веной; нечего и сомневаться, что с переходом Вены в общегерманское владение погибнет Австрия безвозвратно. Великобритания, понятая как Англия в тесном³⁰ смысле, как Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии, а не как культурное всесветное поприще англо-саксонского племени, неразрывно связана с Лондоном, несмотря на всю свою децентрализацию, и связь эта выразилась резче именно с той поры, когда *стиль* английской культурной государственности определился впервые с ясностью, т. е. с эпохи Тюдоров. Мелкие государства Италии

и Германии, имевшие прежде (особенно в первой) каждое свой особый культурный оттенок, все были связаны с определенными городами, со своими второстепенными столицами... *Единая Италия*, давно тяготевшая к Риму, естественно и в очень короткое время овладела им. Остается еще сомнительным — возможно ли и удобно ли будет даже и для совершенно объединенной Германии перенести, после неизбежного падения Австрии, свою столицу из скучного Берлина в приятную и веселую Вену? Не слишком ли это будет

¹⁰ близко к границам того же неотвратимого *Восточно-Славянского Союза*? Я сказал, что только Россия и Мусульманство меняли не раз свои столицы. Мусульманство, начавшись в Мекке, перешло потом в Багдад, Бруссу, Адрианополь и Царьград; и, покинув Царьград, оно должно будет искать себе новый центр в Азии или в Африке, или окончательно разлагаться и угасать, подобно религии Зороастра.

Россия начала свою историческую жизнь в Новгороде; но очень скоро перенесла свой центр в Киев, потом во Владимир и Москву, потом в Петербург и теперь видимо рвется от него опять к югу... Итак, религиозная культура Исламизма и государственность русского племени со стороны этой «непоседности» сходны. Но, с другой стороны, разница между ними огромная. Исламизм, меняя центр, менял племя, менял государственность, но сам не менялся, как и следовало ожидать от своеобразной религиозной культуры. Русское племя и русская государственность, имея в себе всегда мало оригинального, всякий раз, меняя центры, меняли и нечто весьма важное в своем культурном типе,

³⁰ во всем строе своей жизни и в духе своего мировоззрения. Новгород — первый зародыш государственности и племенного объединения: призвание варягов; Киев — Православие и начало удельной системы (какая-то неудачная попытка своеобразного устройства); Владимир (ненадолго — такое же преддверие Москвы, как Новгород преддверие Киева); Москва — падение удельной федерации; Царство; утверждение восточно-византийского культурного стиля;

новый порыв, так сказать, из «варяг в греки»; Петербург — Европа; обратный порыв «из греков в варяги», но с сохранением огромного, уже крепко нажитого, византийского запаса. С 61 года нашего столетия крайний европеизм, по-видимому, торжествует; иллюзия «благоденственной», эвдемонической демократизации увлекает петербургски-настроенную интеллигенцию всей России; начинается разложение Петровской России по последним европейским образцам. Тысячелетию русской государственности ставят памятник в Новгороде; а тысячелетие для государств — цифра роковая и страшная, ибо очень немногие государственные формации прожили больше 1000 лет; большинство прожило меньше! И вероятно, если бы не было этого спасительного Восточного вопроса и этого великого Царьграда, то памятник гордости нашей в 62 году стал бы памятником разочарования и отчаяния... чуть-чуть не надгробным!.. Но в эти же самые роковые года (61, 62, 63) возобновляются с новой силой те юго-славянские и греческие движения, которые мало-помалу разложили Турцию, сделали невозможной Византию эллинскую* и приготовили нам путь к чему-то новому, к чему-то такому, что должно же быть своеобразно-созидающим, чтобы не стать только разрушительным (и заметим, не по-европейски, а уж гораздо более разрушительным!..).

Третьего пути быть тут не может, и назад мы уже более в делах восточно-славянских идти не в состоянии.

Вот почему я нахожу, что чем скорее, тем лучше. Цареградская Русь освежит Московскую, ибо Московская Русь вышла из Цареграда; она более Петербургской культурна, т. е. более своеобразна; она менее рациональна и менее утилитарна, т. е. менее революционна; она переживет Петербургскую. И чем скорее станет Петербург чем-то

* Вот мой ответ тем, которые не понимают, что я стою вовсе не за все племя эллинское, а лишь за Патриархаты и за так называемых фанариотов, т. е. за высшее греческое духовенство, которое одного духа с покойным Митрополитом Филаретом.

вроде балтийского Севастополя или балтийской Одессы, тем, говорю я, лучше не только для нас, но, вероятно, и для так называемого «человечества», ибо не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные Акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что Апостолы проповедывали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах *для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы «индивидуально» и «коллективно» на развалинах всего этого прошлого величия?*..

Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки!..

Чем скорее война, тем выгоднее для высшего идеала!

2) *Соглашение с Германией.* Об этом я подробнее говорил в V-м письме и повторять здесь того же не буду, даже и кратко. Напомню только вот о чем: в I-м моем письме (№ 83 прошлого года) я сказал, что средства для достижения целей наших, разумеется, надо выбирать самые легкие, но только до тех пор, пока это не вредит высшему идеалу нашему. Если же эти легкие средства осуществлению высшего идеала (*культурному отделению от Запада*) вредят, то надо нам быть готовыми и на всякие жертвы, лишь бы это призвание наше не упустить из виду. Например, если бы Германия, положим, предложила нам поделить Турцию с Австрией, т. е. отдать Австрии в полное обладание западную часть Балканского полуострова до Салоник, а самим взять Малую Азию, Босфор и часть Фракии с Адрианополем, то такое сочетание обстоятельств, по моему мнению, надо считать *невыгодным*. И не только легкая война с Австрией, но и кровопролитная война с самой Германией, с моей точки зрения (государственно-культурной, а не утилитарно-эвдемонической), должна считаться условием несравненно более выгодным, чем соглашение, подобное

вышеприведенному. Казалось бы, с точки зрения *легкости* и удобства приема, *начать* с Турции, а кончить Австрией выгодно; т. е. выгодно, допустив австрийцев господствовать над западной частью Балканского полуострова года на три, на четыре, изгнать их оттуда позднее победоносно; но не надо забывать, что Австрия — страна более *либеральная* и *вообще более европейская, чем Россия*, и в три-четыре года власти может некоторыми сторонами своего либерального европеизма развратить сербов и албанцев еще гораздо больше, чем Католичеством. Восстать-то сербы и албанцы восстанут под нашим знаменем несомненно противу Австрии позднее, но *некоторые струны*, и без того у них (особенно у сербов) слабые, могут совершенно оборваться; напр<имер>, православное чувство, которому либеральный европеизм гораздо больше вредит, чем само Католичество. Юго-славяне и без того православные весьма плохие, и не будь на Востоке греков, особенно греков столь напрасно поруганного у нас *фанариотского духа* (т. е. *просто старомосковского*), то за будущее Православной Церкви на Востоке можно бы решительно отчаяться.

Вот одна из главных причин, почему механический, «*травматический*», так сказать, вред большой войны надо предпочитать химическому и тонкому отравлению европеизмом *тех именно стран*, к которым тяготеет все более и более гений нашей истории. Из войны с Германией мы также выйдем победителями, не потому, что наше войско окажется непременно лучшим или генералы наши непременно проявят необычайную находчивость, но потому (это уж *непременно*), что Восточно-Славянскому Союзу *нужно быть*, потому, что ему *предназначено создаться*, и Германия об эту идею *разобьется точно так же, как разбились Австрия и Франция об единство Италии и Германии...*

Я говорил, что племенная эмансипация есть не что иное, как оттенок общей эгалитарной революции, но именно потому-то ее идея и должна быть вполне (или приблизительно) исчерпана прежде, чем демократизация и Запада, и Востока, достигши до своей точки насыщения и до полного в са-

мой себе разочарования, не заставит человечество выйти на новые и *творческие* пути, вместо тех разрушительных, по которым оно так самонадеянно и глупо стремится с конца прошлого века.

Есть еще одна частность по поводу Германии и славян; было бы большим счастьем, если б немцы заставили бы нас предать чехов на совершенное съедение Германизму. Иначе можно опасаться, что они попадут тоже в состав Великого Восточно-Славянского Союза; это было бы великим бедствием. Чехи — это европейские буржуа по преимуществу; буржуа из буржуа; «честные» либералы из «честных» либералов. Их претенциозное и либеральное бюргерство гораздо вреднее своим мирным вмешательством, чем бунты польской шляхты. Это тоже химическое, внутреннее отравление. Их гуситизм гораздо опаснее иезуитизма; иезуитство и Папство осязательны, стройны, охранительны, ясны, наконец; гуситизм же есть лишь отрицание Католичества; революционное племенное знамя оппонирующего по-европейски чешского мещанства. Нет гуситской религии; есть только гуситская критика, гуситское отвержение всего положительного. У Лютера есть хоть Аугсбургское исповедание; у гуситизма исповедания нет, а есть только «охи» и «ахи» протеста и пусто-славянского фразерства! Эгалитарного либерализма довольно и у нас, и у болгар, и у сербов, и у греков, и у румын, и у словаков, а теперь даже и в Польше; довольно его и без чешского ученого, трудолюбивого и мещански настойчивого контингента.

Вопрос в том — как ослабить демократизм, европеизм, либерализм во всех этих странах, как задушить их, а не в том — как подбавить им еще чего-то архи-либерального и архи-европейского...

Если бы нужно было проиграть два сражения немцам, чтобы обстоятельства заставили нас с радостью отдать им чехов, то я, с моей стороны, желаю от души, чтобы мы эти два сражения проиграли! Я знаю, славы у нас останется еще довольно в конечном результате и при этой частной неудаче.

О том, почему нам выгодны анархия во Франции и некоторые ошибки и неурядицы в юго-славянских землях, я поговорю в следующем письме.

VII

ПРОДОЛЖЕНИЕ

В предыдущем письме я сказал, что *третьим* выгодным для нас условием я считаю анархию во Франции (прежде или после взятия нами Царьграда — это вопрос второстепенный).

Почему же это так? Я затрудняюсь отвечать на это, *потому что мне стыдно за несогласных со мною!* Но отвечать, хотя бы очень кратко, необходимо; ибо опыт жизни убедил меня, что большинство не то чтобы «наших соотечественников», но вообще большинство, претендующее понимать («la médiocrité collective», по определению Дж.-Ст. Милля), понимает *поздно*... Было же время, когда и я не ясно все это понимал. Нужно поэтому снисхождение и к другим...

Вот чего я, например, не понимал лет 15—20 (положим) тому назад, а теперь понимаю, благодаря, конечно, помощи хороших книг и статей, о которых я ниже и упомяну с признательностью.

1) Франция была передовая страна Запада с самого начала развития Романо-Германской культуры. Франция — это Романо-Германская Европа по преимуществу, — это такой исторический факт, который можно назвать математически или физически точным. С этим согласны и сами французы всех партий, и все иностранцы, как сочувствующие Франции, так и ненавидящие ее. Во Франции *все общеевропейское** выразилось резче, яснее, нагляднее, так сказать, чем в других странах Запада. Борьба реальных сил общества,

* Протестантство, напр(имер), не имело общеевропейского значения.

сил социально-политических, властей, сословий, классов была во Франции выразительнее и как бы последовательнее, чем те же движения в Англии, Германии, Италии, Испании. Во Франции смена владычеств: Церкви, дворянства, Монархии, буржуазии — была определеннее и как бы резче и решительнее. Все те движения, которых результаты должны были иметь широкое и бесповоротное влияние на судьбы всего Романо-Германского мира, происходили или вследствие прямой французской инициативы и под французским руководством; или когда эти движения зарождались и разрослись в Италии, Англии, Германии, то всякий раз для распространения их на всю Европу и далее требовалась французская популяризация, французская переделка их местных форм в общедоступные. Распадение Церквей, т. е. выделение Католичества из общеправославного единства, — выделение, определившее бесповоротно самые основные и резкие особенности будущей романо-германской истории, совершилось под непосредственным влиянием французского Монарха, — Карла Великого. Во главе крестовых походов стало прежде всех французское рыцарство. Французы же довели и принципы рыцарства до наистрожайшего и наитончайшего их выражения. Союз городских общин с Королем противу феодальных дворян был во Франции постояннее и яснее, чем в истории других европейских государств. Монархия во Франции была блистательнее и абсолютнее, чем где-либо; только Людовик XIV во всей Европе имел логическое право сказать: *«L'Etat c'est moi!»* Моды и общественные обычаи Франции господствуют везде уже около 200 лет, и до сих пор люди не решаются от них отказаться, несмотря на то, что они пережили сами себя, исказились под влиянием демократического строя общества; несмотря на то, что они не только неудобны и смешны, но и не целесообразны; ибо моды и светские обычаи имеют в виду изящество, эстетику, а моды и обычаи Франции XIX века давно уже, за исключением весьма немногих своих сторон, весьма неизящны и некрасивы. Они даже в высшей степени, до беспримерности, так

сказать, исторической, вредят развитию хорошего реализма в современном искусстве. Поневоле всё пишут на картинах мужиков (людей поглубже), когда людей потоньше и психологически более интересных и сложных изображать по внешнему безобразию их одежды (особенно мужской) на картине нельзя! (Какой же слепой не видит, например, на батальных картинах Верещагина и других художников, до чего европейский русский солдат выходит на бесстрашном и беспристрашном полотне безобразнее и кукуловатее азиатского низама; не говоря уже о мусульманах в чалме и т. п.).¹⁰

Атеистически-либеральное движение умов началось в Англии, но общечеловеческий вред причинило это направление только через посредство Франции XVIII века.

В конце того же прошлого века и в начале XIX практическое приложение этих идей Руссо, Монтескье, Дидерота и Вольтера к государственной жизни во Франции приняло исступленные, фанатические размеры, произвело сперва либерально-эгалитарный террор внутри сословно-монархической Франции, а потом под знаменем Наполеона целым рядом неслыханных побед убеждало остальную Европу в необходимости и силе этих революционных идей и, несмотря на низвержение Наполеона, во всех остальных государствах Европы, где раньше, где позже, где быстрее и опрометчивее, где осторожнее и медленнее распространялась, однако, эта самая демократическая революция без террора, а путем мирных и легальных реформ. (Прием, конечно, более приятный, — плоды те же, не менее ядовитые!)²⁰

Франция первая укрепила Христианскую религию на Западе; она же первая начала смело и открыто вытравливать ее из жизни. Франция скорее других держав довела Монархию до высшей точки величия и блеска; она же первая и решилась стать настоящей демократической, эгалитарно-либеральной республикой. Французское дворянство было в свое время образцом изящества и блеска; французский буржуа есть нынче образец пошлости, грубоватости или изломанности и дурных манер (физически даже очень)³⁰

дурных). Герцен справедливо заметил, что даже лица у этих буржуа все какие-то некрасивые и ничтожные (и это до того верно, что стоит только сравнить портреты Трошю, Шанзи, Мак-Магона и других генералов новой Франции с портретами Бисмарка, Штейнмеца, Мантейфеля, даже злого и бритого Мольтке, а также с портретами французов XVIII, XVII, XVI века, чтобы понять, до чего Герцен прав.* И в этом отношении, значит в отношении вырождения, падения, унижения всяческого, Франция тоже остается передовой страной Романо-Германской Европы, раньше доходившей и доходящей до всего того, до чего суждено дойти всей Романо-Германской Европе... Падать — так падать во всем и совсем! Социалистическое учение во всех его главных видоизменениях (от Бабёфа до Кабе и Луи Блана) зародилось и развилось во Франции; и во Франции же начались и первые бунты рабочих, под этим уже не граждански-юридическим, но экономическим знаменем. В Париже и во Франции люди прежде других решились жечь исторические здания и картины, взрывать церкви и выбрасывать из школ (легальным порядком) Распятия... Даже великая, охранительная, художественная английская конституция должна была пройти сквозь французское арифметическое какое-то опошление, чтобы иметь возможность принести везде тот вред, который она принесла на континенте Европы, разбившись, наконец, о священную скалу Русского Самодержавия.

Замечу, что все это, перечисленное мною здесь без особого внимания и несколько второпях, гораздо последовательнее, точнее и вообще несравненно лучше изложено у Гизо в его превосходной «Истории цивилизации», у Данилевского в истинно великой (хотя и очень дурно местами написанной) книге «Россия и Европа», и, если меня не обманывает память, в одной очень хорошей статье г. А. Градовского в

* Гамбетта и Бурбаки? Они не чистые французы по крови, — не галлы. Вероятно, один по крови итальянец; другой же, известно что, грек.

журнале «Заря» (за 69 или 70 год). У каждого из этих авторов свои оттенки и своя цель, но все они приводят мысль к одному результату: Франция — это Европа — *par excellence*; это «пуп» Романо-Германской цивилизации; *primum vivens* — *primum moriens* западноевропейской государственности.

Итак?

Итак, вывод до грубости прост: если для дальнейшей независимости восточно-российской мысли от мысли романо-германской, для выступления на новые, иные пути культурной по идее и форме государственности необходимо, чтобы в глазах людей Востока (которые не очень дальновидны) престиж Романо-Германской цивилизации поскорее все падал бы ниже и ниже, если для достижения той умственной независимости, без которой не для чего, по-моему, долго и жить одной политической независимостью, необходимо, чтобы подобострастные предрассудки в пользу европейской цивилизации поскорее перешли бы в свирепое предубеждение противу нее, то надо желать, чтобы как можно скорее и окончательнее компрометировала бы свой гений та страна, которой принадлежит инициатива современно понимаемого прогресса (т. е. прогресса не разнообразного развития, а всеравняющего революционизма). Надо, чтобы новые европейские идеи, господствующие с XVIII века и до сих пор, доказали бы как можно скорее и яснее свою несостоятельность. Нынешнее большинство решительно не понимает, что пошло и низменно, что в жизни изящно или величественно; не понимает даже, что государственно и что не-государственно (даже А. И. Кошелев доказал, что он ничего этого не понимает). Но это ограниченное большинство сейчас понимает, что ему удобно и что неудобно. Надо поэтому желать, чтобы, наконец, само существование стало бы решительно неудобным в передовой стране либерально-эгалитарной по духу Европы XIX века.

И в этом смысле я не знаю, почему бы людям, желающим России идеального блага (т. е. духовной независимо-

сти), не желать от всего сердца гибели и окончательного унижения той стране или той нации, которой дух и во дни величия, и во дни падения представлял и представляет собою квинтэссенцию западной культуры, хотя и отживающей, но еще не утратившей вполне своего авторитета в глазах того отсталого большинства русской интеллигенции, которое *теперь еще* имеет наивность верить в какое-то «демократическое и благоденствующее человечество».

¹⁰ Франция была передовой страной Католичества, лучшей опорой Западной Церкви; она стала передовой страной атеизма; она давно пала, таким образом, как пример религиозности; Франция вознесла Монархию на высшую точку славы; она же начала (во имя прогресса) казнить Королей, изгонять их, менять династии; она давно перестала быть примером монархической лояльности. Франция первая уничтожила у себя аристократию; люди серьезных аристократических убеждений и вкусов давно перестали ей через это сочувствовать... Французская нация долго была самой победоносной, самой героической нацией Европы; но в ²⁰ 70-х годах эта нация потерпела такое поражение, что в глазах людей военных или чуждых воинственности она стала чуть ли не самой последней нацией с этой точки зрения. Но за то, что Франция республика, и республика демократическая, якобинская, у нас многие прогрессисты, многие либералы, нигилисты явные и тайные (осторожные, робкие — *служащие*, например), ей еще сильно сочувствуют; надо желать, чтобы якобинский (либеральный) республиканизм оказался совершенно несостоятельным и не перед *реакцией монархизма*, а перед *коммунарной анархией*; ибо монархическая реакция все-таки прочна не будет, а только собьет ³⁰ еще раз с толку наше и без того плохое общественное мнение, ненадежная Монархия будет только *томить*, как томит осужденного на смерть больного медленная агония; она будет длить обманчивое и зловердное влияние европейских либеральных идей; торжество же коммуны более серьезное, чем минутное господство 71 года, докажет несомненно в одно и то же время и бессилие «правового порядка», иск-

ренно проводимого в жизнь (чем искреннее, тем хуже!), и невозможность вновь организовать народу на одних началах экономического равенства. Так что те государственные организмы, которым еще предстоит жить, поневоле будут вынуждены избрать новые пути, вовсе непохожие на те пути, по которым шла Европа с 89 года. Большинство не умеет ни отвлеченно предвидеть, ни художественно предчувствовать; большинству нужны наглядные примеры...

Прибавляю еще вот что: возможно ли серьезное (хотя, повторяю, опять-таки временное) торжество и господство коммуны без вандализма, без *вещественного разрушения* зданий, памятников искусства, некоторых библиотек и т. д.? — Конечно, нет, и при нынешних средствах разрушения обратить большую часть Парижа в развалины и груды пепла гораздо легче, чем было во времена древние разрушать другие великие культурные центры — Вавилон, Ниневию, Старый Рим и т. д.

А этого и нужно желать тому, кто жаждет новых форм цивилизации на берегах Босфора.

Разрушение Парижа сразу облегчит нам дело культуры даже и внешней в Царьграде.

И неужели это только бессильное желание варварской зависти? Не думаю! — Не вернее ли, что это нечто вроде пророчества, если не совсем уже научного, по полунаучного, гипотетического, по индуктивному способу из примеров исторических выведенного.

В следующем письме буду, скрепя сердце, говорить о славянах и о том, почему их ошибки и даже, пожалуй, и некоторая степень неблагодарности могут быть нам выгодны. Здесь же заранее скажу только два слова об этом: Ошибки и неблагодарность юго-славян могут быть нам выгодны по той же самой причине, по какой нам выгодны и неустройства во Франции. Интеллигенция юго-славян слишком похожа на французскую или общеевропейскую буржуазию, и если она несколько лучше, то разве только тем, что она еще гораздо хуже ее.

Это я надеюсь объяснить очень просто.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Итак, теперь следует о юго-славянах.

В прошлом письме моем я сказал так:

«Ошибки и неблагодарность юго-славян могут быть нам выгодны по той же самой причине, по какой нам выгодны и неустройства во Франции. Интеллигенция юго-славян слишком похожа на французскую демократию, и если она несколько лучше, то разве только тем, что она гораздо хуже ее».

Чем же хуже и чем лучше наши «братья-славяне» современных французов и вообще европейской интеллигенции?

Хуже они тем, что интеллигенция их стоит еще дальше на пути эгалитарного индивидуализма, чем интеллигенция устаревшей Франции. Хуже они тем, что у них нет и тени тех могучих тормозов (*легитимизма, ультрамонтанства, аристократизма, национально-военных и рыцарских преданий* и т. д.), которые в течение целого века сдерживали Францию на наклонной плоскости ее эгалитарного ниспадения и ослабели окончательно только в 60-х и 70-х годах нашего века. Хуже славяне тем, что они все сплошь либералы, конституционалисты и демократы; что у них нет ни тех впечатлений в душе, ни той социальной почвы под ногами, которые воспитывают людей мыслящего и властного охранения. Что касается до простолюдинов, до болгарского и сербского земледельца, до черногорского воина, до чешских и словацких крестьян и рабочих, то у них охранение есть лишь дело привычки и незнания, и кроме буржуазии, в высшей степени обыкновенной и европейской по типу своему, они ничего из среды своей, предоставленные самим себе, выделить до сих пор не могли. Юго-славянская интеллигенция, говорю я, не имея за собою никаких могучих *собственно местных национальных* монархических, аристократических и даже особенно сильно выраженных религиозных преданий, представляет собою тип *чистой плутокра-*

тической демократии. В этом смысле не только южное славянство, т. е. болгары и сербы, но и славянство австрийское, т. е. словаки, чехи и хорваты — одним словом, все славяне (за исключением русских и поляков) самые демократические по строю своему нации. Все монархическое, все аристократическое и даже, говорю я, все религиозное господство над ними в течение веков более или менее, хотя и в разной степени и по разным причинам, было или совсем чуждо им, или, по крайней мере, не соединено со славой народных преданий. У болгар и сербов Турции все это было греческое или турецкое; у австрийских славян — швабо-мадьярское.

Этим-то они хуже даже итальянцев, французов и немцов-бюргеров, ибо плутократически-либеральное устройство общества есть самое бессодержательное, ненадежное и беспринципное из всех общественных устройств. Нет ни сильных, привычных обществу привилегированных властей, ни могучих, вне либерального благоденствия стоящих и поэтому дисциплинирующих это общество, — идеалов...

Но именно поэтому-то, что общество южных и западных славян по природе своей еще либеральнее и эгалитарнее, чем нынешнее общество Франции, — оно и лучше. Строй этого общества до того уже не прочен, жизнь эта до того бессодержательна, до того не идеальна по духу или смыслу своему, до того поэтому не надежна, что долго так она простоять не может.

Славянство, после неизбежного падения Турции и Австрии, вынуждено будет самой непрочностью своего либерально-плутократического строя выйти скоро вслед за Россией на какой-то новый исторический путь.

Теперь, пока Турция и Австрия еще существуют, Славянство занято преимущественно вопросами политики внешней; оно прежде всего заинтересовано отношениями своего племени к немцам, туркам, мадьярам и грекам. После удаления турок с Босфора, после неминуемого разрушения Австрии и после необходимого образования на развалинах этих

двух держав Великого Восточного Союза под гегемонией России — славяне вынуждены будут устремить все внимание свое на дела внутренние, на свой *социальный строй*. А так как события на Западе Европы в то же время идут своим чередом (и даже очень быстро); так как социализм *либеральный* (т. е. революционный) растет там не по дням, а по часам, то грядущие, близкие и всеми ожидаемые перемены в Европе Романо-Германской не могут не отозваться и на Славяно-Греческом Востоке.

- ¹⁰ Ясно поэтому следующее соображение: *если после падения Австрии и Турции и во время того, как будут складываться совершенно новые условия Восточного Союза — во Франции, Италии, Испании (а даже, может быть, — в Германии и самой Великобритании), — индивидуально-плутократический и конституционно-демократической строй общества окажется никуда негодным и уже слишком неустойчивым, то все восточные и славянские нации, которым необходимо будет так или иначе войти в состав вышеупомянутого Великого Союза, принуждены будут*
- ²⁰ *из чувства самосохранения произвести у себя дома прогрессивно-реакционные реформы, которые могут придать их обществам больше стойкости и уменьшить в недрах их ту лихорадочную подвижность, которой так болезненно увлеклись все наиболее образованные нации мира; сначала Франция со дня объявления прав человека (с 89 года прошлого века); потом вся Романо-Германская Европа (с 48 года нынешнего столетия) и, наконец, и наша Россия с 61 года.*

- ³⁰ И при этом естественно, что те нации и те государства, в которых *прежних сословно-корпоративных устоев было меньше, должны, движимые силой Русского Самодержавия и вдохновляемые примером русской покорности, скорее прийти к тем нелиберальным условиям, при которых потребуются организация подобных же устоев, совершенно новых по частным формам, но вечных по существу своему.* Говорю еще яснее: таким нациям, в хорошем смысле *отсталым* (т. е. по сравнительной неопытности и патриарха-

льности) и в самом дурном смысле передовым (т. е. крайне эгалитарным по строю), — легче будет перешагнуть прямо к практическому отвержению ложных начал 89 года, т. е. к отвержению не только экономического, но даже и гражданского всеобщего равенства и всеобщей личной свободы, чем тем государствам и нациям, которые изболтались, так сказать, за целый последний век в атмосфере буржуазно-плутократического либерализма. Весьма вероятно, что самый аграрно-рабочий вопрос (взятый не с точки зрения революционно-либеральной, т. е. не со стороны вопроса личных прав или всеобщего экономического равенства, которое невозможно, а только со стороны материального обеспечения, отчасти и насильственно-легального, данного властью, подобно, например, принудительному обеспечению нашей русской крестьянской общины), весьма вероятно, говорю я, что этот вопрос есть не что иное, как маскированная и сама себя еще не понявшая корпоративно-сословная реакция будущего.

Есть основания думать и надеяться, что осуществленная в государственно-культурной практике аграрно-рабочая идея оказалась бы не чем иным, как новой формой феодализма и больше — ничего; т. е. новым, особого рода закрепощением лиц к разным корпорациям, сословиям, учреждениям, внутренне-принудительным общинам и отчасти даже и другим лицам, как-нибудь особо высоко карьерой или родом поставленным.

Поэтому чем более мы будем убеждаться, что дальнейшее развитие человечества не на началах личного равенства и личной свободы, а на принципах, совершенно противоположных, должно привести народы к новому горизонтальному расслоению и к новой вертикальной группировке общин, примиренных в высшем единстве безусловно-монархической власти, — тем станет яснее, что тот либерально-эгалитарный процесс, которым восхищается интеллигенция всех стран с конца прошлого века, — есть именно то, что обыкновенно называется революцией, т. е. — легализованная, медленная, хроническая анархия.

Рациональная, научно-самосознательная Европа не могла и не хотела разлагаться эмпирически, неожиданно, нечаянно, как разлагались и падали прежние государства и культурные миры; она выдумала рациональный самообман демократического и утилитарного прогресса. Древний Египет, Эллада, Рим гибли тоже от уравнительного смешения; от демократизации, от плутократии, от матерьялизма, от усиления, если не везде легального, то, по крайней мере, фактического равенства прав и свободы положений;
¹⁰ *но они неизбежную смертельную болезнь не считали гигиеническим идеалом и не оправдывали теоретически это самоубийственное движение, не называли его восторженно прогрессом к чему-то лучшему...*

Определить демократический прогресс как *разложение* очень важно, между прочим, и для того, чтобы исправить наших анархистов легальных, тайных и даже наивных и бессознательных, к числу которых принадлежат, к сожалению, еще очень многие русские (даже и теперь, после ужасного события 1-го марта 1881 года). Такими умеренными анархистами я называю всех либералов наших.

²⁰ Я вовсе не говорю, что все они злонамеренные люди; я хочу только сказать, что они не понимают, куда идет дело, и не хотят верить, что нам, русским, надо совершенно сорваться с европейских рельсов и, выбрав совсем новый путь, — стать, наконец, во главе умственной и социальной жизни всечеловечества.

Для того же, чтобы стать во главе этого человечества и сказать свое слово, надо прежде всего отречься не от прогресса, правильно понятого, т. е. не от сложного разви-
³⁰ *тия социальных групп и слоев в единстве мистической дисциплины, но от двух ложных европейских принципов: 1) от утилитарно-эвдемонического, всеполезного, благоденственного направления реальной науки, и заменить его честно-скептическим и во многих случаях даже пессимистическим направлением этой науки; и 2) от либерально-эгалитарного понимания общественного прогресса; и заменить это детское мировоззрение философией, более вер-*

ною действительности, которая учит, что все истинно великое, и высокое, и прочное вырабатывается никак не благодаря повальной свободе и равенству, а благодаря разнообразию положений, воспитания, впечатлений и прав, в среде, объединенной какой-нибудь высшей и священной властью.

(ДОПОЛНЕНИЕ 1885 года)

Второе мое указание, кажется, довольно понятно; оно подразумевает само собою: незыблемость Самодержавия; укрепление Церкви и заботы о церковном воспитании народа и высшего общества; утверждение и развитие общины и вообще начала неотчуждаемости (даже и дворянских земель, напр<имер>), вообще уменьшение подвижности общественного строя, ограничение безусловной свободы купли и продажи и т. д. ¹⁰

Что касается до первого, то есть до того, что я позволил себе назвать пессимистическим направлением реальной науки, то тем, кому это не ясно, я могу указать, во-1-х, на «Поучение при освящении новых зданий вокзала желез<ной> дор<оги> в Одессе, Пр<еосвященного> Никанора, Еп<ископа> Херсонского и Одесского» («Правосл<авное> Обзор<ение>», 1884, октябрь). ²⁰

Это поучение — превосходный образец смелого и прямого пессимистического отношения к знаменитым изобретениям и открытиям ненасытного XIX века. Образцов же эвдемонического и утилитарного, то есть противоположного воззрения на все эти усовершенствования, — такое множество, что затруднение только в выборе. Их найти можно везде и сколько угодно.

Как на другой пример скептического и отрицательного отношения к индустриальному, техническому и т. п. богатству нашего времени можно указать еще на публичные лекции г. Астафьева (читанные им недавно в доме Коншина, на Пречистенке); две первые лекции были даже прямо и озаглавлены так: «Наше техническое богатство и наша духовная нищета». ³⁰

Г. Астафьев доказывал, что *быстрота* современной жизни, ее *излишняя подвижность* и все это *смещение* условий, наций, обычаев, религий не могут не отражаться крайне вредно и на *психическом* состоянии человечества; от этого смещения происходит неясность, непрочность, неопределенность, неустойчивость душевной нашей жизни.

Еще должно упомянуть здесь вообще о сочинениях Влад(имира) Серг(еевича) Соловьева. В его книге «Критика отвлеченных начал», в его недавнем прекрасном сочинении ¹⁰ «Религиозные основы жизни» и во всех других статьях и брошюрах этого замечательного русского мыслителя мы находим одну основную, опять-таки, — *пессимистическую* мысль: *бессилие* нашего духа, *необходимость* боговластия, *подчинение рационализма мистике*, *подчинение* всего *грубо-понятного* и *реально-доступного* таинственным *высшим началам*, непонятным для самодовлеющего в мелочности своей рассудка, но жажде веры вполне доступным и, можно даже сказать, осязательным!

Я полагаю, этих трех примеров будет довольно, и они ²⁰ одни доказывают, что *русский ум* *мало-помалу* срывается с утилитарно-эвдемонического пути *буржуазного европеизма* и находит свой!..

Заметим здесь еще очень простую, но в высшей степени важную вещь. *Пессимизм* *общего мировоззрения* или неверие в возможность земного счастья, земного благоустройства и земной всесправедливости дает обыкновенно в *частных житейских случаях* *оптимистические* плоды.

³⁰ Человек, философски разочарованный в земном человечестве, не будет от людей слишком требователен: он будет меньшим доволен. Он не будет ребячески мечтать о *золотом веке* на земле, достигнутом путем радикальных революций, уравнительных реформ или путем неслыханных еще физико-химических изобретений.

Пора разочароваться во всем этом и пора ожидать, что сама точная наука в близком уже XX веке приведет нас во все не к тем *восхитительным* результатам, на которые на-

делялись передовые люди в XVIII веке и в первой половине истекающего столетия!

Пора!

IX

БУДУЩНОСТЬ ЦАРЬГРАДА

Восемь лет тому назад среди глубокого политического затишья вспыхнуло ничтожное герцеговинское восстание...

Три года позднее русские войска стояли у ворот Царьграда, и был заключен Сан-Стефанский мир...

С тех пор стало ясно, что судьба Турции решена безвозвратно и что государству этому более не жить...¹⁰

И для нас настали дни расчета за все наше прошлое.

Восточный вопрос, раньше чем мы думали, явился перед нами во весь свой исполинский рост, и мы вынуждены идти вперед по темному лабиринту событий...

От русского общества, которое столько лет училось все осмеивать, во всем сомневаться, столько лет изощрялось в насмешках над самим собой и в отрицании всех прежних идеалов своих, — от этого изолгавшегося и охлажденного общества потребовалась внезапно вера в себя, в свое историческое призвание... потребовались в одно и то же время и терпение, и смелость...²⁰

Враги внутри, враги извне... Опасность там, измена здесь... Сомнение везде...

И при таких-то условиях призывается к делу в высшей степени трудному, не только по размерам вещественной борьбы, но и по сложности самой задачи, — это русское общество, привыкшее так давно жить чужим умом...

Сама бессильная в коллективном уме своем «интеллигенция» наша, не умеющая мыслить не по-европейски даже в лице большинства прославленных публицистов и вообще писателей своих, пугающаяся всякой самобытной мысли или презирающая ее, как пустую оригинальность, если эта мысль принадлежит соотечественнику, эта интеллигенция³⁰

наша, во все время недавно оконченной борьбы, ничего не умела сказать, как только, что турки варвары, что власть башибузуков над христианами позорна и что Англия — коварна...

Зато теперь русское общество и русская литература отдыхают... Русский ум опять в своей тарелке... Он может опять взяться за легкую, привычную работу отрицания и вопиять, что *дипломаты* виноваты во всем.

В чем же именно?

¹⁰ В том, что Восточный вопрос не кончен вполне, или, по крайней мере, что он решен не в том виде, в каком он был *почти* кончен по Сан-Стефанскому договору. История решит — кто был виноват и кто прав... Нам многое еще остается неизвестным. Вопрос до того важен и дело так сложно, интересов разнообразных и противоречивых затронуто со всех сторон такое множество, что судить в настоящую минуту можно только о двух крайностях: или о самой ближайшей злобе дня, или о самых общих и самых неминуемых течениях великих событий...

²⁰ Можно, например, руководясь примерами истории и некоторыми уже доступными научному пониманию общими законами политической жизни, *чувствовать*, что окончательное торжество должно остаться за нами, но как, когда именно и каким именно путем... Союзом с кем, победой над кем и когда... и где... Кто может теперь это ясно предвидеть!

Так было и во время последней войны. Были, например, люди, которые с начала, вопреки всем колебаниям событий, *твердо верили*, что война с Турцией будет, — и они не ошиблись. Были люди, которые и во время плевненских неудач были убеждены, что это только задержка и что мы подступим к Царьграду... И события оправдали их. Но частных никто предвидеть не может. Еще пример. Понимая хорошо европейскую историю, можно было *предвидеть* наверно в семидесятом году, что Франция будет побеждена, но и те, которые были хорошими пророками в этом случае, не предсказывали, например, Седанского

плена и других, вероятно, очень важных частностей. Мы не можем еще знать всех тех тайных влияний, которые действовали на Берлинском конгрессе, и теперь не можем предвидеть новых подробностей великой политической драмы, в антракте которой мы живем в настоящее время.

Мы можем только предвидеть одно, что занавес опустился ненадолго и что главные действующие лица готовятся снова занять свои места...

Вот в эти-то дни *роздыха* хорошо было бы без готовых ¹⁰ фраз, без особого негодования против *естественных* наших врагов и без всякого пустословного пристрастия к союзникам, без всяких нападок на *дипломатию нашу* (за то, что она много уступила...), взглянуть на различные предстоящие нам возможности и на те опасности, которые могли бы нам грозить даже и при полном торжестве. Вероятно, окажется, что дипломатия наша поступила прекрасно, уступивши все, что нужно было временно уступить для лучшего устройства дел на Востоке в будущем. Вероятно, история отдаст справедливость и тем русским дипломатам, которые ²⁰ в Сан-Стефано требовали *наибольшего*, именно потому, что предвидели *неизбежно* уступки совокупному давлению Европы; и тем, которые в Берлине уступали *наименьшее*, когда это давление уже обнаружило свою силу вполне. Но думать так спокойно не свойственно политической критике нашего времени... И отчего не уметь видеть и других еще более полезных результатов?

Все, что случилось, было, например, еще в высшей степени тем полезно, что Англия вынуждена была вполне рас- ³⁰крыть свои карты... Нам раз навсегда стало ясно, что не столько Мусульманство, сколько Англия наш *естественный* и *вечный* враг на Востоке.

Можно доказать, что есть даже *несколько степеней* примирения с мусульманами. С Англией же соглашение едва ли возможно. Г. Гладстон в другой форме и другими приемами, *может быть, еще худшими*, будет вредить нам точно так же, как и всякое торийское министерство.

Мы знаем, например, чего желают западные либералы всех оттенков... Эмиль Жиарден ратовал одно время за Россию в своих статьях, — но как? — Не во имя русских интересов, а во имя каких-то общих либеральных и коммерческих идей, убийственных для нас в данном случае. — Ему нужен *нейтрализованный* Босфор; он надеется, что кровь русских воинов должна быть проливаема за интересы европейских лавочников!..

Быть может, и у Гладстона есть нечто подобное на уме...

¹⁰ И конечно, глядя на это, нам остается только воскликнуть: «О! Боже, избавь нас от *подобных друзей*; а с явными врагами мы справимся сами...»

В этом-то смысле, говорил я, сохранить турок временно в Царьграде нам было гораздо выгоднее, чем видеть их *несвоевременное* удаление...

Вот главные и самые существенные, и даже великие результаты Берлинского конгресса... Эти плоды усилий дипломатии нашей драгоценны! И дальнейший ход дел покажет, сумеем ли мы воспользоваться или нет — этой *политической и дальновидной победой*.

²⁰ Много сокрушались у нас еще и о том, что войска наши не заняли Царьграда... Но какая была необходимость его временно занимать? Победа и так была ясна; и вступить в Царьград стоило только в том случае, если бы можно было бы из него *не выходить никогда обратно*. Лучше было не поднимать дело о Проливах и Царьграде до тех пор, пока нам это не выгодно; — лучше было сохранять там турок и даже защищать их, чем, удаляя их *несвоеременно*, предавать Царьград и Проливы на произвол судьбы.

³⁰ Сущность в том, что у нас нет середины между Царьградом турецким и Царьградом русским. Если нельзя сейчас сделать Царьград русским, то пусть будет Царьград султанским городом, лишь бы нам сохранить его для самих себя, и притом как можно менее во всех отношениях *испорченным*. И в самом деле, чем может стать Царьград по удалении из него турок?

Он может стать или каким-то «интернациональным» городом, если не по названию непременно, то *по духу*, по исторической роли своей, или просто собственностью какой-нибудь великой державы.

Из народов соседних, живущих на Востоке, могли бы еще претендовать на обладание Босфором — только болгары и греки. Но их непримиримого антагонизма уже одного достаточно, чтобы устранить сразу всякую мысль о способности как тех, так и других владеть этим «перлом». Детские мечтания греков о «Великой Идее», т. е. о восстановлении греческой Византии до Балкан и далее, и мелочной патриотизм болгар, которые, не умея возвыситься до славяно-все-¹⁰ ленских интересов, готовы постоянно расстраивать и сокрушать нетерпеливыми раздорами Православную Церковь (единственное серьезно охранительное начало в Славизме); — в равной мере делают оба эти народа недостойными владычествовать на Босфоре... И грекам, и болгарам одинаково необходима дружеская, но твердая рука; рука справедливая и к тем, и к другим, во имя общеправославных интересов. Им нужны, в одно и то же время, — елей любви для их разверз-²⁰ стых язв и бич отеческий для обуздания их претензий, их пустой и мелочной гордыни. Держать елей в одной руке и бич в другой может только одна Православная Россия!..

Мне кажется, говорить о том излишне, что русский народ не в силах будет выносить мысли об Англии или Австрии, владеющих Царьградом, колыбелью веры, объединившей нас у престола Царского.

Если бы даже при каком-нибудь несчастном и почти невозможном сочетании обстоятельств Англия и захватила бы Босфор и владела бы даже им десять-двадцать лет, то и тогда бы никто у нас с этим положением дел не помирился бы, и изгнание англичан стало бы с той поры новым при-³⁰ званием России на Востоке. Претензии же Австрии, по-моему, просто были бы смешны.

В русском обществе (я говорю: в *обществе*, а не в *народе*) многие по непониманию сущности вопроса мирятся скорее с мыслью о Великом «Вольном городе» на Босфоре.

Но что такое этот «вольный город»? — Если этот «вольный город» будет не что иное, как некоторого рода «муниципальная республика, чисто местного характера», равно независимая от Греции, Болгарии и даже России в своих внутренних делах и Западу вполне чуждая; — то эта муниципальная, местная республика тотчас же должна будет, по слабости своей, позаботиться о том, куда ей примкнуть, чтобы сохраниться. Неизбежен будет сильный гарнизон; — сильный флот для защиты ее самобытности от западных и

¹⁰ каких бы то ни было посягательств.

Этот гарнизон и флот должны быть или какими-нибудь общими, смешанными, союзными, т. е. они должны быть составлены из частей русских, греческих, болгарских, черноморских, румынских, под чьей-нибудь (конечно, русской) преобладающей командой, — или просто *русскими*. Последнее гораздо проще, осуществимее, вернее и... может быть, даже было бы приятнее для всех этих единоверных нам наций, решительно неспособных ни в чем, даже в самом здравом, уступить друг другу.

²⁰ Таким образом подобного рода «вольный город» *характера чисто местного* станет немедленно, с одной стороны, центром общевосточного или общеправославного соглашения, вероятно, имеющего принять юридически определенную форму конфедерации; — а с другой — эта новая столица Христианского Востока, столица *политическая*, так сказать, но не *административная*, по неизбежному требованию обстоятельств, стала бы немедленно чем-то вроде русской военной стоянки. От этого один шаг до русского Наместничества.

³⁰ (Если я говорю: «военный лагерь», «военно-морская станция», «русское Наместничество», то, разумеется, я называю вещи только приблизительно, не претендуя предпрещать, в какой именно форме выразится эта необходимая для организации самого Славяно-Христианского Востока связь России с Царьградом. Вероятно, отношения эти должны будут принять какие-нибудь особые своеобразные формы; — как вследствие самого отдаления Царьграда от

центра русской администрации, так и по разноплеменности его населения. Итак, если Царьград станет «вольным городом» только для христиан Востока и России, а вообще для Запада предметом посторонним и недоступным, — то слово *вольность* может относиться лишь до *внутреннего, муниципального, думского управления городом* или иметь тот смысл, что в конфедерацию Христианских Царств и Княжеств Востока (с Россией во главе) должна войти между прочим и какая-то особая Цареградская республика, не принадлежащая непосредственно ни России, ни Греции, ни 10 Болгарии, ни Сербии, но равно нужная всем им, как культурно-исторический центр, как центр религиозный, торговый, национальный и военный.

Центры внутренней администрации у каждого из этих государств могут остаться свои, но Царьград должен стать немедленно средоточием общевосточного единения и центральным оплотом противу посягательств европейских держав. К этому по крайней мере мы должны стремиться. Это наш долг.

Что касается до вопроса: согласится ли на это так называемая Европа — то это дело лишь практических препятствий, которые устранятся или нет, смотря по тому — благоприятны или нет внешние обстоятельства. 20

Если современная Италия, которой «великие» дела могут возбуждать лишь улыбку постороннего человека, выждав свое время, могла завладеть Римом, имеющим, как центр Католичества, несравненно более важное для Запада значение, чем Царьград, — то чего же не может сделать Россия... если теоретическая сторона ее призвания будет 30 ясна ее сынам?

Итак, вопрос о городе вольном только для нас — людей Востока — кончен.

Ясно, что этот номинально вольный город должен очень скоро стать русским на деле!

Теперь о городе нейтральном; о городе нейтральзованном для всего мира или для всей Европы, по крайней мере.

Конечно — эта форма самая доступная, потому что большинство западных держав может легко ее допустить, предпочитая такого рода исход исключительному владычеству как Англии или Австрии, так и России в этом, драгоценном со всех точек зрения пункте...

Это форма окончательного разрешения Восточного вопроса, говорю я, самая доступная, самая благоприятная, может быть, с точки зрения тех держав, которые не так прямо, как Россия, и Австрия, и Англия заинтересованы в делах Востока.

Но зато для России подобная сделка была бы историческим *самоубийством*. Вся история ее борьбы за свободу христиан и Славянства оказалась бы каким-то ужасным самообольщением; воюя и борясь политически целые века под знаменем Восточного Православия, русский народ, приближаясь к главной цели борьбы, внезапно увидал бы под ногами своими пропасть.

Централизованный и поставленный под общий контроль Европы Царьград — стал бы очень скоро самым опасным очагом крайнего *международного космополитического радикализма*.

История имела бы право сказать тогда, что мы освобождали христиан от так называемого «ига турок» для того, чтобы повергнуть их и самих себя в водоворот глубочайшей анархии.

Мы не должны обманывать себя более, — *вся Европа почти одинаково* разъедается глубоко разрушительным движением умов; и есть признаки, по которым можно думать, что Германия поражена этим недугом еще сильнее, чем сама «передовая» Франция.

Здесь не место входить в рассуждение — так ли мечтательны стремления социалистов, как они кажутся с первого раза; достаточно признать, что эти стремления живучи, что бедные классы *всех стран без исключения не могут не сочувствовать им, раз они стали для них понятны*; — что ложная вера в возможность *общего благоденствия* на земле воспитывается в образованных обществах XIX века не

одними Прудонами, Кабе и Лассалями, но и множеством людей *умеренных* и честных, отвергающих крайности, особенно преступные по приемам своим, но согласных с радикалами в том, что *прогресс в смысле свободы, равенства и мирного приближения к идеалу земной справедливости и земного вседовольства* — есть вещь прекрасная, вполне законная, есть цель высокая, а не ложь одна или замаскированный всякими *юридическими формальностями* путь к тому же, к чему без околичностей желали бы прийти радикальные люди, т. е. к разрушению всех известных и привычных нам политических обществ, к уничтожению всех отличий религиозных, государственных и национальных. Либералы всех стран сами не видят, что они готовят мировой экономический переворот, воображая, что человечество в угоду им захочет остановиться на такой отрицательной вещи, как идея простой гражданской свободы.

Идея свободы (свободы от чего? Для чего? — И во имя чего?), сказано давно уже многими, есть лишь понятие чисто отрицательное и значит, что личность или нация, состоящая из лиц же, или какой-нибудь класс людей должен встречать как можно менее препятствий и ограничений со стороны Церкви, Государства, общества и семьи на жизненном пути своем. Но во имя чего, для какого идеала дается и требуется эта свобода? Тут ответ один — для блага, для большего удобства и счастья на земле.

С XVIII века, со времени Вольтера и Руссо, проповедуется все это благоденствие с разными варьяциями, в разных формах и с разными приемами; но сущность одна: идеал — вера в возможность большего и большего удобства земной жизни; результат же — *разрушение* постепенное или бурное всего прежнего, во что человечество верило. Самые искренние и благие намерения различных деятелей в этом смысле и направлении достигают, с одной стороны, по-видимому, своей цели вполне; — с другой — немедленно рождает новое зло, возбуждают новые неудобства и страдания, или небывалые прежде, при старом порядке, или незамечаемые, потому что они были заслонены от сознания

людей другими неудобствами, другим злом, при прежних порядках более чувствительным.

Вера в необходимость экономического переворота, присущая социалистам, побуждающая их свершать даже преступления и жертвовать своею собственною жизнью, — *есть факт*; безумна ли эта вера, ошибочны ли эти надежды, или есть в них какая-нибудь доля возможности для практического осуществления — это еще вопрос; но несомненно одно, что социалистические стремления в совокупности своей суть сила, с которой необходимо считаться.
10 Впрочем, кто ж этого не знает?

Социализм со всеми его разветвлениями есть не что иное, как вполне законное по логике происхождения детище тех прогрессивно-эвдемонических идей, тех верований в благо земное от равенства и свободы, которые Франция объявила в 89 году и которые в других странах Европы распространились без гильотины и без больших народных восстаний весьма разнообразными путями.

Революция совершается и совершилась везде одинаково; — но во Франции посредством взрыва, а в других странах посредством более мирного и постепенного изменения в идеях, верованиях, нравах и учреждениях. Загадку до сих пор составляют еще одни славяне. Так как они не сказали еще до сих пор в истории никакого своего слова, а были во всем без исключений подражателями других, доводя только нередко чужое до крайности; то многие в Европе и в наше время не знают, как нужно им смотреть на Россию и единоверных ей народов Востока: с ужасом или симпатией?.. Мнения об этом очень разнообразны, но все чего-то ждут от нас... Ждем и мы от самих себя чего-то, выходящего из ряда...
30

Но пока не совершится роковое и неотвратимое дело славянского объединения, никто не может решить, чем мы будем: Новым Римом, соответствующим современным требованиям; Римом, который дал свои государственные и гражданские идеи миру; или *Македонией*, которая своего ничего истории не дала, а только, разрушив все доступное

ей, смешала все восточное со всем западным и приготовила этим хаосом путь для римской государственности, для византийского Православия и германской феодальности (из сочетания которых выросла позднее та европейская цивилизация, в которой и мы воспитаны).

Я говорю — роль России и Славянства не обозначится ясно до тех пор, пока не объединятся все христиане Востока под гегемонией России в какую-нибудь конфедерацию. Объединение это, эта конфедерация невозможны без центра. Центра такого, кроме Царьграда, нет ни у славян, ни у христиан Востока, вместе взятых.¹⁰

Сделать Петербург центром славянского единения, это значит просто присоединить всех славян. Но не это имеется в виду, и это было бы своего рода несчастьем как для России, так и для единоверцев ее, по причинам, которые так ясны, что я считаю излишним об них здесь и говорить.

Если ни Петербург, ни Москва, ни даже вновь обруселый Киев не могут стать средоточием политического Славизма, то по другим, тоже до грубости ясным причинам нельзя сделать столицей Славянства — ни Белграда, ни Филиппополя, ни Тырнова. Это было бы смешно и думать. Сербская нация слаба, даже взятая во всей совокупности своей.²⁰

А болгары, которых географическое положение гораздо выгоднее и многозначительнее, сами бы не могли бы удержаться в своих второстепенных столицах, если бы даже и возможно было придать им это неподобающее значение, — их тянуло бы в Царьград, как во времена Крума и Симеона.

Итак, еще раз — роль России и Славянства в истории определится лишь при единении, — для единения нужен центр не столько административный, сколько общеполитический, религиозный и культурный. Этим центром может быть только Царьград!³⁰

Без Царьграда нет славянского единства, нет того идеального Славизма, к которому, по-видимому, столькими изворотами вела нас история; — к которому она идет и пой-

дет, вопреки всем задержкам и препятствиям, с первого взгляда кажущимся непреодолимыми.

Мы можем *откладывать* это решение; — *предотвратить* его не может никто! Не мы вызвали, например, последнюю войну; — мы не желали ее. Ее вызвали и союзники наши, и враги: герцеговинские селяне, черногорцы, турки, Англия.

Никогда, быть может, исторический *fatum* не выразился так ясно, как во время последних событий на Востоке. Никто (кроме Англии, быть может) войны не желал. Россия не искала ее; Турция боялась; Австрия хотела бы ограничиться одной дипломатической игрой. И все эти нежелавшие войны державы — Турция, Россия, Австрия, насильственно занимая сербские земли, вовлеклись в нее.

Не Россия, может быть, вызовет и вторую войну; но война эта будет, и торжество наше несомненно.

Политическое торжество России на Балканском полуострове, говорю я, несомненно, — это так; но что создаст на Босфоре это ничьим оружием неотвратимое торжество: культурный ли центр славянского обособления, или очаг неслыханного всесветного радикализма — вот в чем вопрос!

Х

БУДУЩНОСТЬ ЦАРЬГРАДА

Создать на Босфоре, по удалении султанского Правительства, «вольный город» не в тесном каком-нибудь и ограниченно-восточном смысле, наподобие греко-славо-турко-армянского Франкфурта, а в смысле более широком, всеевропейском значении этого — значило бы создать великий очаг всесветного разрушения.

Почему же нейтрализованный Царьград был бы так вреден?

Почему он стал бы немедленно главным очагом самого крайнего радикализма?

По многим причинам.

Париж до последнего времени считался тем опасным центром, из которого по всему миру распространялись разрушительные учения; столицей, которой население с конца прошлого века подавало самый опасный для государств пример периодического и большею частью успешного сопротивления властям. Сначала парижские бунты имели только *либеральные* идеи, идеи гражданского равенства и политической свободы; — потом с сороковых годов эти восстания были плодом стремлений к уравниванию ¹⁰ экономического, к изменению отношений между трудом и капиталом.

Коммунистические и социалистические идеи, как я уже не раз говорил и как многими еще прежде меня доказано, суть только естественное и дальнейшее развитие того самого западного либерализма, который теперь с ужасом отступает от своего детища и напрягает все силы свои на борьбу с ним.

Париж был сначала почти единственным центром всякого рода разрушительных пропаганд. Впоследствии времени политическая *революция* децентрализовалась — она в Цюрихе, в Италии, в Берлине, в Лейпциге, в русских городах; и если в Турции, Греции, Сербии и Болгарии действия ее не так еще заметны, то это лишь потому, что в этих запоздалых странах еще не кончен вопрос о внешней политической *независимости*. Национальная эмансипация еще не вполне совершилась, и потому *социализм*, так сказать, *отложен* до тех пор, пока Восточный вопрос не будет окончательно решен удалением турок, не допускающих для себя ³⁰ равенства с христианами.

С первого взгляда все это движение христиан кажется не столько *демократическим*, сколько *национальным*. Но это лишь одна из *особых форм* общего процесса демократизации всей Европы, как Западной, так и Восточной. Эти формы вызваны местными условиями: слова *другие*; видимое знамя — иное; сущность — та же: либеральное уравнивание, т. е. первый шаг к дальнейшему... Чтобы весь Запад

и весь Восток Европы вступил в серьезную борьбу по вопросу социалистическому, необходимо прежде устранить все другие заботы, необходимо, чтобы человечество покончило дело уравнивания гражданского во всех запоздалых странах.

Есть даже, как я говорил в других письмах, некоторые весьма серьезные основания думать, что нигде социалистические идеи не могут распространиться так легко, как в среде освобожденных народов Турции.

Но об этом после.

¹⁰ Итак, я говорил, что было время, когда Париж был единственным революционным жерлом Европы. С тех пор международная революция сделала большие успехи и стала неуловимее. Она — *везде, но собственно специального центра она себе еще не нашла. Изгоняя турок и не заменяя их охранительное давление собственной дисциплиной на Босфоре, Россия создаст этот специальный центр международной революции, которому легко будет затмить устарелый Париж...*

²⁰ Царьград поставлен в особые условия, в высшей степени благоприятные такому результату.

Все другие столицы Европы (и Азии, конечно, еще более) имеют более или менее национальный характер. В Париже, Берлине, Риме есть все-таки огромное накопление охранительных начал, дающих отпор движению слишком быстрому и переходящему законные пределы. В Париже, напр<имер>, в отпор социалистическим стремлениям всякий раз образуется целая масса совокупных консервативных элементов, имеющих возможность производить сильную реакцию, и хоть на время она приостанавливает прогрессивное разрушение, к которому идет такими быстрыми шагами старое европейское общество, Париж — столица с великими национальными преданиями; Москва и Петербург — слиты воедино; в Париже найдется еще довольно много и католических интересов, с которыми всякая реакция вступает в союз; — есть сильное духовенство, *единое*, господствующее, признаваемое так или иначе, больше или меньше, но всеми, даже и республиканскими Правительствами. В Па-

риже масса населения — французы. В Берлине масса населения — немцы. В Риме масса населения — итальянцы.

Вот что главное.

Для удержания общества в некотором равновесии и в Париже, и в Берлине, и в Риме — *власть национального происхождения* находит всегда в среде родной национальности, преобладающей в столице и в целой стране, множество интересов охранительных, связанных любовью и выгодами, честью и честолубием, верой и боязнью, с преданиями и порядками прежних времен.

10

То же самое мы найдем и у себя, не только в национальной Москве, но даже и в искусственно созданном Петербурге.

Что же подобное мы можем найти в Константинополе?

Пока в нем господствовали турки — ход дел в общих чертах был сходен с ходом дел во всех столицах. *Мусульманская власть*, по временам очень сильная, опиралась на массу мусульман, которых интересы как духовные, так и вещественные требовали *определенных форм* мусульманского порядка. Дело не в том, как эти порядки отзывались на христианах; — дело в том теперь, чтобы сравнить Царьград турецкий с Царьградом международным.

20

Мусульман много, и они вооружены; — войско мусульманское; Государь мусульманский; духовенство очень influent. Худо ли, хорошо ли правила иноверцами эта сила, но она *правила*; — ее боялись, ей повиновались, ей даже нередко вынуждались служить и недовольные ею.

Но вот турки ушли за Босфор; они покинули Царьград. Царьград «нейтрализован». Что в нем осталось? На какую *сплошную, однородную национальную массу охранительных интересов* должна опереться *власть*?.. И какая эта *власть*?..

30

Могучий международный конвент или слабая международная комиссия?..

Сильна эта власть; — она в такой роскошной местности, богатой и своеобразной, захочет скоро стать вполне *независимой* от Лондона, Петербурга, Берлина и Парижа. Она

поведет свою, особую пропаганду к среде незрелых и без того уже демократически-организованных населений.

Слаба эта комиссия, — она возбудит лишь смех и презрение...

Ее надо будет скоро низвергнуть, как *гнилую директорию* Барраса...

Население Константинополя состоит из турок, греков, армян, евреев, болгар и местных франков (католиков); это главные стихии... Сверх того, в городе много черкесов, чер-
¹⁰ногорцев (называемых там хорватами), есть немцы, итальянцы, французы и т. д.

Хотя цифр точных у нас под рукою теперь нет, но, сообщаясь с воспоминаниями моей довольно долгой жизни на Востоке, — я, думаю, не ошибусь, если скажу, что греков, напр(имер), на Босфоре верно *столько же, сколько и самих турок*, если не больше. Армяне, евреи, болгары считаются десятками тысяч. Число местных католиков не так много, но все-таки сила их значительна, вследствие связей с Европой и внешних влияний.

²⁰ Я хочу всем этим сказать, что разнородные, этнографические и вероисповедные группы в Царьграде гораздо между собою равномернее и равносильнее, чем в других столицах.

Пока был Султан с мусульманским войском, власть (какая бы то ни было) могла опираться на массу мусульманского охранения и сдерживать до поры до времени народные страсти.

Султана нет; войска мусульманского нет. Кто же будет господствовать в среде этого пестрого, почти равномерного
³⁰со всех сторон населения?..

Европейцы?.. Проходимцы и отверженцы всех стран?

Или *местные* люди? Но в последнем случае будет что-нибудь одно: или анархия; постоянная, уличная даже борьба между греками, славянами, евреями, армянами, мусульманами (если они останутся), ибо они все достаточно равносильны и никто из них не в силах прочно преобладать. Или *примирение*; но какое?..

Если бы даже возможно было вообразить себе одних самоуправляющихся цареградских *автохтонов*, без всякой примеси европейских выходцев, то и тогда мысль наша должна остановиться перед такой дилеммой: или 1) цареградское население будет находиться в постоянной анархии, доходящей беспрестанно, как я уже сказал, даже до уличной драки между греками, славянами, евреями, армянами и мусульманами, ибо в среде этого населения нет ни одной национальности, которая была бы в силах подавить остальные и подчинить их какой бы то ни было дисциплине; или 2) все эти национальные клочки и вероисповедные партии должны будут примириться на чем-то *среднем*, на чем-то индифферентном, стоящем совершенно вне Православия и вне Иудаизма; вне Ислама и вне Христианства; вне племенных наклонностей Славянства и Грецизма, вне армянской или болгарской церковности, словом, на чем-то, стоящем вне племени и вне связанного с этим племенем вероисповедания. Но чем может быть это среднее, это индифферентное, как не *космополитическим радикализмом*?..

Чтоб ужиться между собою в мире и согласии, цареградские славяне, греки, евреи, армяне и турки должны будут в *официальной* деятельности своей, в своих муниципальных учреждениях, в своих общегородских обычаях, в торжественных празднествах, в общих судебных отношениях отказаться от всех своих специальных и объединяющих веру и племя преданий, от всего того, что было дорого их отцам и предкам. Вселенский Патриарх станет тогда гораздо ниже, чем стоит у нас в Казани и Симферополе какой-нибудь татарский мулла... Православие вместе с другими положительными религиями будет отодвинуто на самый задний план общественной жизни, и господствовать будет один республиканский утилитаризм.

И это все еще без *европейских выходцев*. Но вообразим еще сверх того, что крайне свободные учреждения этого нейтрализованного города (столь многозначительного по положению и привлекательного по климату) будут благоприятствовать переселению в него всяких *выходцев* из за-

падных государств и из России. Что станет тогда с этим центром?

Положим, например, что, создавая этот «нейтрализованный» город, дипломаты великих держав могут поставить неременным условием, чтоб цареградское общество не допускало в свою среду политических изгнанников и преступников, чтобы оно не укрывало их.

Но что может быть серьезного и прочного в подобном запрещении.

¹⁰ *Политических*-то именно изгнанников и преступников и монархические правители Европы до сих пор не выдают охотно друг другу. Социалисты, осужденные в государствах континентальных, находят себе убежище в Англии; польские бунтовщики наши живут свободно во Франции, Италии, Австрии и где им угодно. Наши нигилисты свили себе гнездо в «свободном» отечестве грубых швейцарских лавочников; болгары, греки и сербы, действовавшие против турок, безнаказанно удалялись в Россию, в Австрию и в другие страны... Каким же это образом и во имя каких это искренне признаваемых и серьезных принципов представители держав, допускающих в недра своих государств людей, почитаемых за преступников в странах соседних, не позволяют допускать их в этот нейтрализованный, никому исключительно не принадлежащий и республиканский город? — Насилие? — Согласное принуждение *солидарной* этой Все-Европы?

Насилие бесспорно вещь необходимая и даже очень хорошая, но лишь тогда, когда за насилем кроется какая-нибудь серьезная искренне-чтимая идея...

³⁰ Иначе — все это будет построено на песке; — и при малейшем либеральном дуновении, при малейшем несогласии держав разлетится в прах...

Ясно, что нельзя будет не допустить в нейтральном Царьграде этих выходцев всесветной революции. Они не только ринутся туда немедля толпами, но даже очень скоро должны будут стать во главе местного населения, менее зрелого политически и зараженного своими, так сказать,

приходскими ненавистями и страстями. И при турках европейцы нередко господствовали и хозяйничали в стране; — что же будет без того единства власти, которой располагал Султан?

При турках было и тем еще лучше, что на турецкую службу, меняя или не меняя религию, поступали большей частью вовсе не фанатики политические, а люди ловкие, разные искатели приключений, которые вовсе ничего не желали разрушать, а только хотели себе самим приобрести выгоды и блестящее положение. Без турок туда пойдут новые Лассали, Нечаевы, Засуличы... чтобы на вновь распаханной 10
переворотами и разрыхленной кровью почве сеять семена своего отрицания...

И эти семена, произрастая, эта проповедь, разливаясь, эти ядовитые плоды, созревая, неужели они ограничатся Царьградом? Не отзовется ли все это тотчас же в соседней и нами так отечески созданной Болгарии? Не отзовется ли все это в Греции и без того демагогической!.. Или в Сербии, где нет почти середины между свинопасом и нигилистом? 20

Интеллигенция всех этих христианских стран Востока страдает давно уже религиозным индифферентизмом гораздо более, чем русское общество. Русское общество слишком развито, чтоб в нем не было искренне-религиозных людей и между самыми образованными гражданами.

На Востоке образованность по европейским образцам слишком нова, слишком сыра, слишком груба и поверхностна, чтобы не было в среде интеллигенции преобладающей 30
наклонности к дешевой и в сущности не завтрашней, а вчерашней новинке...

С первого взгляда можно подумать, что это не так. Кажется, семейное чувство и строгость семейных нравов так сильно у греков, сербов, армян и болгар... Кажется, вся интеллигенция христианских этих стран так расположена к торговле и промышленности, так чужда аграрным вопросам; — пролетариата многочисленного еще нет; тем более пролетариата образованного и потому самолюбиво-завист-

ливого и раздраженного... Казалось бы, всем этим населением столько еще другого дела...

Но в этих случаях не надо делать огромной ошибки, которую делают многие: не надо судить завтрашний день по-вчерашнему...

До сих пор так называемые национальные вопросы еще не разрешены вконец на Востоке: турки не удалились из европейской части своих владений; не размежеваны еще ясно сербы и болгары между собою; греки с болгарам и албанцами; албанцы с сербским племенем. Добруджа осталась, вероятно, только на время румынам, она должна отойти к болгарам. Но пусть все это будет решено хотя бы приблизительно; пусть все эти национальные и политические тревоги утихнут; человечество стоять на месте не может; не может и долго устояться оно на нетвердой и подвижной почве современных обществ, — где господствует меркантильный индивидуализм, где каждый человек, освобожденный от тех тяжких и прочных уз, которые налагало на него сложное сословное и корпоративное устройство прежних обществ, — мечется туда и сюда, с тревожным тщеславием и жаждой денег, с каким-то сознанием каких-то прав на что-то лучшее...

Если эти горькие плоды эгалитарно-либерального процесса давно уж тревожат мыслящих граждан в среде тех великих европейских обществ, в которых еще так живучи до сих пор высокие предания и благородные привычки прежнего, более прочного и изящного сословного и вообще корпоративного устройства, чего же можно ждать от этих мелких и темных народцев, от христиан Востока, которые почти прямо из жизни пастушеской или гомерической, однообразно протекшей под давним давлением турок, попадут в водоворот именно того промышленного и торгового общеевропейского индивидуализма, о котором я говорил сейчас. У всех этих народов: у болгар, у греков, у сербов, у черногорцев, у армян — дворянства нет; нет серьезных, очень давних династий, пустивших в стране глубокие корни долгой и славной истории. Духовенство мало влиятельно на высший слой; и этот высший слой, поверхностный и по-

движной, весь вышел из низшего класса и не имеет никаких таких *особых* преданий и привычек, на которые можно было бы возлагать охранительные надежды в случае несостоятельности низших классов. Члены христианской интеллигенции живут отчасти последним словом европейского прогресса, отчасти теми слабыми охранительными влияниями, которые доставляют им невежественность, или, если хотите, наивность, не дошедшей еще до европеизма остальной массы населения.

Духовенство у всех христиан Востока гораздо более за-¹⁰ висит от народа, чем народ от него. Оно вовсе не очень влиятельно; оно казалось влиятельным, ибо оно выставлялось вперед как знамя против Мусульманства и против западной религиозной пропаганды. Противу этого рода враждебных влияний оно имело силу; ибо эти влияния (Мусульманство и Папство) — силы консервативные, вероятно, отживающие; посмотрим, каково будет влияние православного духовенства этих стран противу крайностей *прогрессивных сил!!!*

Повторю здесь еще раз то, что я говорил не раз: с точки²⁰ зрения общественного устройства, о христианских народах Востока можно сказать, что они *европейцы современные по преимуществу*, что они в известном смысле более европейцы, чем французы и англичане.

В каком же смысле? Вот в каком. — Оставим английское общество, в котором сохранилось столько средневекового и оригинального даже и в наше время; возьмем для сравнения только французов... Во Франции есть легитимисты, есть ультрамонтаны, люди самого крайнего «белого» консерватизма; — положим, они никогда не восторжеству-³⁰ ют более; но их совокупное давление во всех движениях французского общества все-таки значительно до сих пор отклоняло к *центру среднюю диагональ социальных сил, неудержимо стремящихся на левую сторону...* Во Франции есть очень крупные землевладельцы, старающиеся удержать собственность в своем *роду*; есть *родовые предания*; во Франции есть могущественная и славная литература, в ко-

торой рядом с умами самого разрушительного характера господствовали и господствуют умы самого редкого, охранительного стиля. Если во французской литературе были Прудон и Кабе, то в ней же были Жозеф де Местр и Шатобриан! *Почти все художники французские страстно любят аристократизм общественной жизни, вопреки всем успехам гражданского уравниения.* Все это вместе взятое давало во Франции в течение почти целого века от 89 г. до наших дней сильный отпор разрушительному движению и доставляло возможное могущество хотя бы и той временной реакции, которая при всей непрочности своей не допускала до сих пор французский народ вступить на путь окончательного разложения. Ни у греков, ни у болгар, ни у сербов нет и не может быть ни ультрамонтанов, ни династических партий с идеями (какую новую идею, кроме фактической власти, может, например, представить в Сербии Карагеоргиевич²); крупной и прочной собственности нет нигде; родов с надменными и оправданными историей претензиями нет; серьезных сословных и корпоративных предрассудков нет... Все эти народы, столь близкие нам, начинают свое эфемерное возрождение прямо с того состояния, которое можно назвать *плутократией и граммато-кратией*, т. е. господством денег и грамотности. У кого есть деньги и кто достаточно обучился в какой-нибудь школе, чтобы иметь возможность стать негодьянцем, доктором, адвокатом, чиновником, учителем или депутатом в греческой вули* или сербской скупщине, тот и господствует над пахарем, над пастухом, над лавочником, солдатом, даже над попом (явно) и тайно над Епископом, у которого он по обычаю целует почтительно руку...

Самые крайние консерваторы в среде восточных христиан, перенесенные мысленно в любую из великих держав Европы, попали бы разве-разве в члены правого центра, не более.

* Палата депутатов в Афинах.

Куда же должна пойти при таких условиях *средняя диагональ* общественного движения. Конечно, она должна гораздо быстрее и сильнее отклониться *налево*, чем диагональ общественного движения в тех странах, где есть люди, вкусы, убеждения и целые партии несравненно более резко выраженного белого цвета.

Мы видим это даже и у себя в России... в России, где есть древнее и популярное Самодержавие, где не погибло еще вконец *дворянское* воспитание, где в простом народе и в высшем обществе несравненно больше сердечного *мистицизма*, чем у стольких сухих в религии единоверцев наших...¹⁰

Мы видим, напр<имер>, в России, что большинство учащейся молодежи (частью даже дворянского происхождения) с упорством, нигде не виданным, держится одних разрушительных учений; — мы видим, как бич отрицания закрался в суды, в которых постоянно происходит потворство политическим преступникам и какая-то озлобленная травля то на игуменью, то на генерала, то на офицера, осмелившегося ударить студента за то, что он назвал царский мундир ливреей, и т. д. Мы видим петербургскую печать, всю (почти) защищающую Веру Засулич и восхваляющую ее пустозвона-защитника!..²⁰

Чего же мы можем ожидать от освобождения и предоставления самим себе христиан Востока, неопытных, жаждущих жить политической жизнью, страстных в политике, в религии холодных и сухих, не имеющих ни дворянства родового, ни могущественного, независимого от народа духовенства, ни старинных и любимых династий, ни той внутренней независимости ума, которую дает народу сознание старой или новой, но *славной* и, главное, *собственной цивилизации*.³⁰

Турки ушли; они забыты; надо жить и действовать... Явились новые требования, новые интересы, новые претензии, новые неудобства и страдания. Все помешались исключительно на деньгах, ибо кроме денег нет пути к преобладанию в народе... Свободная плутократия господствует без-

гранично на первую пору и этим вызывает новую крайность — свободное же обеднение других граждан... А идеи всеобщего благосостояния и благоденствия распространяются своим чередом... Вырастает молодежь, не помнящая почти турок; молодежь, которой дела нет ни до Православия, ни до тех русских, которые легли костями во стольких битвах, еще со времен Петра и Екатерины и до дней последней борьбы за свободу Востока...

И вот в средоточии этого мира крайнего индивидуализма и утилитарной сухости, среди этого хаоса непрочной плутократии и легкомысленной интеллигенции воздвигается на Босфоре, по соглашению солидарной Европы, великая и обновленная столица; свободная, нейтральная, всем и всему чуждая по господствующему в ней какому-то неуловимому духу, но до всего и до всех касающаяся; парализующая все односторонние, национальные и религиозные влияния и повторствующая всему от наций и религий уклоняющемуся или к интересу их равнодушному...

Итак, на почве этого-то уже и теперь крайне либерального и демократического Христианского Востока, в этой среде, где, как я сказал, самый крайний консерватизм не белого, а бледно-серого цвета, Россия должна создать, в угоду державам Запада, исполинский очаг разрушения, республику, по существу своему отрицающую все крайности: Мусульманство, Православие, Грецизм, Славянство, Папизм, русский Царизм, все крайности, кроме тех космополитических крайностей, которые должны выйти из отрицания всех других особенностей...

Царьград нейтрализованный станет очень скоро столицей всесветного нигилизма. — Революция, которая не могла себе до сих пор найти живого центра во всех этих, старых и характерных — национальных столицах, в Париже, Берлине, Риме, Вене, Лондоне, — обретет, наконец, юридически утвержденную и политически-оправданную резиденцию в этом городе, чуждом всему национальному, всему священному для каждой нации у себя дома...

Вот что такое «нейтрализованный» Царь-град!

ДВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНДУСТРИИ

Иногда мне кажется, будто главное несчастье в том, что в наше время всякий хочет быть *благодетелем* не друзей своих, не нескольких бедных людей, которых он пожалел и полюбил, а *целого человечества*...

Куда спастись от *такого рода* гуманности?

Если бы я вздумал передавать все встречи мои в России и за границей с разными людьми образованного общества, ¹⁰ то верно составилась бы целый сборник нередко крайне поучительных и любопытных бесед и рассуждений.

Я вспоминаю теперь только о двух представителях «индустриального движения» и предоставляю людям судить, который из них лучше.

Один — еврей; я назову его только начальной буквой его фамилии — Ф. Он человек семейный, живет то на Дунае, то в Одессе, то в Царьграде; лет за сорок; всегда в каких-нибудь оборотах и смелых предприятиях, всегда с акциями, с судоходством, с железными дорогами, часто теряет, ²⁰ проигрывает на этих оборотах очень много, может быть, все, и снова поправляется. Ему мила, как видно, эта акционерная и торговая борьба, — он этим дышит, он поэт в такого рода делах.

Однажды мы вместе с Ф. ехали на дунайском пароходе часа три подряд. Меня давно уже занимала эта мысль: «что такое всеобщая польза?» И я никогда не умел найти на нее хорошего объяснения.

За несколько дней перед этим путешествием я прочел в газетах речь Бейста, в которой был, между прочим, такой взгляд на новые пути сообщения: «многие справедливо замечают, что с распространением железных дорог и электрических телеграфов кровопролитные войны в Европе участились, вместо того чтобы стать реже. Нельзя не согласиться, что это так; но мы надеемся, что это зло лишь временное и что настанет эпоха...» и т. д. Одним словом, известные фразы о надеждах на всеобщий мир и согласие народов.

После чтения этой газеты и [до] путешествия с евреем по Дунаю мне пришлось говорить о речи Бейста с одним пруссаком юнкерских убеждений. Пруссак этот был молодец; он служил в русских войсках против венгерцев в 48 году; вполне ли искренно, или нет, но русских хвалил, французов ненавидел и очень верно еще тогда предсказывал им гибель в случае столкновений с Германией (это было, конечно, после 66 года).

По поводу различных механических изобретений нашего времени пруссак высказал такую мысль: «Без войны жить долго невозможно. И сто лет мира опять окончатся войнами. Но изобретения разрушительных средств могут прийти, наконец, так далеко, дойдут до такой бессмысленности, что настанет глубокий поворот к старому: люди возвратятся опять к чему-нибудь вроде холодного оружия, опять будут возвращены права личной отваге, ловкости, упражнению и физической силе... И тогда снова и неизбежно выработается новая военная аристократия... Посмотрите, было время, когда все граждане были воины. Быть хорошим гражданином значило прежде всего быть смелым воином. Потом развился государственный, специальный милитаризм отдельных войск; народы распались на воинов и граждан. Теперь нации стремятся снова к старому — к поголовным ополчениям. То же будет и с механическими изобретениями, — будет возврат...»

Меня заняла эта мысль пруссака, и я заговорил на пароходе с евреем и о ней по поводу речи г. Бейста. Мне очень

хотелось знать, что скажет обо всем этом мой кипучий практик.

Говоря, я наконец заметил, что глаза у него стали слишком томны и рассеянны, что он смотрит куда-то вдаль.

— Вы ничего не слышите? — сказал я ему смеясь.

— Простите мне, — отвечал умный еврей, — это правда. Я задумался о другом. Признаюсь вам искренно, я не умею философствовать о человечестве, о прогрессе, и нет мне дела даже, куда идет человечество — к худшему или лучшему. У меня есть семья, детей моих я люблю. Я испытывал 10
нужду в жизни и хочу приобрести для них побольше. Вот и вся моя забота. А человечество как знает!

Мне этот честный, прямой ответ ужасно понравился. Замечу к тому же, что еврей этот — человек добрейшей души, нередко щедрый, и я знаю, например, как он часто помогал и выручал из беды Василия Кельсиева, в бытность его на Дунае. Этот даровитый и увлекающийся человек страдал и боролся действительно из-за любви к идее, к идее ошибочной, от которой он позднее так смело и торжественно 20
отрекся. Но, как бы то ни было, еврей Ф., столь узкий практик во взглядах, был широк на деле, был добр, великодушен и умел жалеть страдальца за теорию. Как же не хвалить и не уважать его?

Другой буржуа, о котором я хочу здесь упомянуть, — француз К. Он инженер и был сотрудником гениального фактора и составителя компаний для больших предприятий — Лессеппа.

Натянутый, неприятно-холодный в обращении, он мне и «сам собой» уже не очень понравился... Но когда он заговаривал, я просто удивился, до чего эти люди отстаивали 30
как-то и застыли в понятиях своих. — Г(-н) К. нажился, разумеется, хорошо, копая каналы и проводя новые и «благодетельные» пути сообщения...

Я встретил однажды его в обществе, у русских, или полурусских людей. Он долго увещевал хозяйку дома не давать ничего никогда бедным, потому что это балует их и отучает от работы («le travail»!!!).

— Я полагаю, — сказал он, — что вредит не только раздача милостыни, но даже и устройство разных заведений для бедных только развращает их. Тот, кто желает им добра, не должен помогать им.

Потом он стал говорить против отдельных национальностей и государств (так, как говорят анархисты более миролюбивого оттенка). «Человечество — вот цель моей жизни!» — восклицал он.

¹⁰ Сказал потом, что всякая метафизика никуда не годится и что он принадлежит к философской школе Огюста Конта. Что эта школа советует наблюдать только явления и их отношения друг к другу, оставляя в стороне всякий вопрос о сущностях.

— Позвольте, — сказал ему тогда один из наших русских, — но ведь и геометрия, например, без которой астрономия, самая точная из точных наук, не могла бы развиваться, геометрия начинается с понятия вовсе не реального, а мечтательного и условного — точки. Что такое геометрическая идеальная точка? — Протяжение без протяжения, без ²⁰ длины, без ширины, без высоты... Реально — это нуль. Точно так же нуль, как и *весомый*, но не *протяженный* атом физики. Откуда же возьмем мы линию, имеющую самую малую длину, если прикладывая точку-нуль к другой точке-нулю, мы получим все одно и то же — ничто? С другой стороны, ведь и реальных линий, имеющих только длину, в природе тоже нет; самая тонкая линия, которой кончается тончайшее лезвие бритвы, есть ведь *площадь*, рассмотренная в сильный микроскоп, и площадь пилообразная, т. е. состоящая из многих наклонных плоскостей. ³⁰ И *площадей* отдельных в природе тоже нет, — все они *приросли* к телам. И *тела отдельные* — что такое? Мы не знаем, каковы они *сами по себе*; мы знаем только наши о них представления. Остановясь несколько времени на *реализации*, т. е. отвергая всякое суждение о сущностях *объективных* и ограничиваясь одними *нашими* впечатлениями, одними *нашими* наблюдениями и заключениями, — мы стоим уже на *границе* самого крайнего идеализма... Один

шаг, один искусный, логический поворот и — мы перейдем в системы, подобные системе Фихте, которая говорит, что существует действительно только наше «я», наше сознание, а весь внешний мир есть не что иное, как произведение этого «я», этого сознания.

На все это француз отвечал сурово: «Monsieur, je ne fais pas de métaphysique! Я прежде всего спрошу у вас, допускаете ли вы, что все прямые углы равны?»

— Если вы не хотите мне отвечать на вопрос мой об идеальной точке, рассуждение невозможно, — сказал русский. — Прямые углы, конечно, равны. Геометрия, конечно, прекрасно разработана; она дает основание механике, механика строит железные дороги и копает каналы, которые изменяющим образом действуют на быт обществ человеческих... Вы говорите, что не хотите и знать метафизики; а между тем без этой метафизики вы с г. Лессепсом не могли бы прорыть столь любимый вами Суэцкий канал. Я беру в свидетели не немецкого какого-нибудь мечтателя, а вашего Вольтера, гения так называемого «здорового смысла»... В статье своей «Métaphysique», в «Философском Лексиконе», он говорит так, если не ошибаюсь: «К предметам метафизики можно также отнести самые начала (принципы) математики, точки без протяжения, линии без ширины, поверхности без глубины, единицы, делимые до бесконечности» и т. д. Как же без этих метафизических нелепостей вы управляли бы машинами и всеми вашими инженерными работами в Египте?.. Да! Середина пути, проходимого математическими и реальными науками, изумительна своими могучими результатами. Но один конец этих наук, *начальный, исходный* конец, погружен бесследно теорией мечтательных точек и невообразимых атомов в ту самую бездонную пропасть сущностей и метафизики, которую вы хотите отвергнуть навсегда, а другой конец, *конец практического выхода в жизнь*, исполнен сомнений и неожиданностей. На земле до сих пор было так, что ни одно изобретение человека не приносило всем равное удовольствие и выгоду, а многим причиняло страдания... Страдание и неравенство выгод и

удовольствий мы видим в реальных явлениях настоящего и прошедшего; а *всеобщая* радость и польза — все еще пока в мечтах будущего. Что *научнее*: наблюдение настоящего, изучение прошедшего, или мечта о небывалом?

У инженера лицо исказилось гневом. Он встал, собрался уходить и сказал торжественно:

— Monsieur! Я трудился под палящими лучами египетского солнца. Я, может быть, повредил себе здоровье. Поверьте, я не стал бы этого переносить, торгуя сальными свечами. Но я твердо верю, что я трудился на благо всего человечества!..

— В таком случае, — ответил русский, — надо признать это вопросом веры; это своего рода религия и больше ничего.

— Это мои убеждения! — сказал француз раздражительно.

— Это своего рода вера, религия, которую можно уважать, как и всякую другую, если есть охота, — настойчиво повторил русский.

Когда француз ушел, русский собеседник наш прибавил, отведя меня в сторону:

— Я еще умолчал об одном... Говорят, будто они с своим Лессепсом заморили там на работе до 20 000 феллахов, которых «по наряду» давал им хедив. Что же? — Феллахи эти, мучаясь и умирая, благоденствовали, что ли, от мысли, что прославляют этих просветителей и европейскую науку?.. И чем же, если это правда, эти прогрессисты лучше своих предков, избивавших еретиков для спасения души и прославления Церкви?.. Не понимаю, почему их вера в подобный прогресс лучше той веры... Не понимаю!

Разве не прав был этот русский?

Итак, современный реализм на практике у большинства людей, ему служащих, не есть только точная наука для точной науки; напротив того: математические и реальные науки, даже и понятые в этом духе, все-таки начинаются метафизическими условными и неизбежными уловками и кончаются религией эвдемонизма, верой в будущее всеобщее

благоденствие на земле. Не похожа ли эта вера на то, что вот-вот завтра все круги станут четырехугольны и что земля до сих пор лишь «по ошибке и по невежеству наших праотцев» обращалась около солнца, а по воцарении людей добра, правды и истинной науки она начнет обращаться около Сириуса или около одной из звезд Лиры и Кентавра?

Итак, не надо строить железных дорог? Не надо проводить телеграфы?

Нет, я этого не говорю: стройте и проводите себе что хотите, восхищайтесь изобретениями; но, прошу вас, не уверяйте меня и стольких других людей, что вы через это наши благодетели! Многим, очень многим людям, может быть, это вовсе невыгодно и неприятно. Но одни из них еще не поняли этого, не взвесили еще на весах разума и чувства, насколько вред от этого извращения всего естественного на земном шаре превышает пользу и выгоды, доставляемые бешенством индустрии и умственным распутством всех этих уродующих жизнь изобретений; это — одни, это *многие*, это те, которые *еще не поняли* и младенческие радуются... «Разум, мол!» А другие, немногие, это те, которые *уже поняли* давно, но еще подавлены всем громом этим, шумом, блеском и смехом одурелого многолюдства!

Подумаем. Вспомним примеры, примеры самые простые.

По железной дороге приедет, положим, скорее ко мне друг, сын поспеет легче обнять умирающую мать; но скорее зато приедет и неприятный мне человек, враг и соперник в делах или в привязанностях моих. По железной дороге привезут мне скорее из Германии книгу Овербека «Свет с Востока»; но вместе с ней привезут другому Штрауса и Ренана. По железной дороге я легче уеду вылечить от ревматизма на дальние воды, о которых я прежде не смел и помыслить; но эта же железная дорога разнесет скорее прежнего по всему краю отвратительный и ужасный бич — холеру, от которой погибнет любимый мною человек. Во внутренних городах Турции Европейской, в Янине, в Битолии, в Адрианополе — никогда не было холеры; сообщения трудны. Горы и широкие холмистые поля, по которым едва

тащились мулы, верховые кони, неудобные повозки, служили природным карантинном для заразы. Россия, в которой давно пути сообщения лучше турецких и сама страна несравненно ровнее, гораздо больше и чаще страдала от холеры. И чем удобнее сама страна для сообщения, и чем больше, сверх того, развиваются в ней железные пути, тем чаще и чаще возвращаются в ней эпидемии...

И заметим еще по поводу эпидемий эту склонность общества при всяком несчастье нападать на все старое, прежнее, охранительное, например — на скопление богомольцев в Мекке или в Киеве, и на нерешительность упомянуть хоть вскользь о влиянии какой-нибудь из *святых прогресса*... О влиянии выставок, рельсов, пара... Разве это *научно*? Какие пред-
10 рассудки! Что за фанатизм утилитарного безумия!..

Железная дорога, соединяющая два важные пункта, может стать при случае гибелью для одного государства и условием торжества для другого...

Приводить ли примеры?.. Их так много!

Железные дороги и фабрики, работающие паром, нещадно истребляют леса; от истребления лесов меняется климат, мелеют реки, учащаются неурожаи, изменяется самый характер жителей к худшему. Они душевно мельчают от из-
20 лишнего общения, как доказывает Риль в своих прекрасных книгах...

Железные дороги обогащают иных счастливых и разоряют многих...

С христианской точки зрения, оно, пожалуй, и не беда.

Помещик отправил большой запас хлеба и удачно продал его. Ему скоро привезли множество денег.

— Не слишком забывайся, — говорит ему Церковь, — не будь похож на богача евангельской притчи, который сказал себе: «ешь, пей и веселись», — и в ту же ночь умер. Эта самая железная дорога, быть может, завтра привезет холеру или оспу, которая заразит и убьет тебя. Благодар
30 Бога, дай часть на храмы, дай людям, которые беднее тебя, пошли на обители дальние, чтобы там за тебя молились каждый день...

Соседний троечник, извозчик, который прекрасно по-крестьянски жил извозом, потерял весь доход от ремесла своего, которое после постройки этой дороги стало ненужно. Он ропщет.

Церковь и для него имеет вполне здравый, вполне сообразный с действительной жизнью ответ:

— Не ропщи. Бедность благословлена Христом. Христос Сам был беден. Апостол Павел жил тем, что шил палатки. Ты прежде много веселился и пил. Теперь погрузи и помолись, и Бог поможет. Ты все-таки не нищий, не бездомный человек. Кто же тебе сказал, что эта земля создана для радостей?.. Это не сказано нигде. Если тебе очень тяжело стало жить в міру после этого несчастья, иди в монахи. Монахи нужны Церкви, а Церковь нужна и Государству, и отдельным лицам. Ставши хорошим монахом, ты многим людям будешь полезен... А не хочешь, так трудись и в міру, *страдай* с молитвой. Страдания твои, твоя борьба, твой труд будут *вещественно полезны другим, а нравственно тебе*, чтобы ты образумился и стал вперед более набожен... 20

Человек православный может прибавить еще и вот что: «Россия до сих пор есть главный оплот и надежда нашей Восточной Церкви. Сила ее Правительства, характер некоторых ее учреждений, простодушие нашего народа, с одной стороны, с другой стороны — возрастающая образованность нашего духовенства, даже (быть может) впечатлительность и самая пресыщенность нашего дворянского общества, располагающие стольких лиц к душевной боли и беспокойным исканиям, которым нигилизм *удовлетворить не может*, — все эти силы служат или могут служить Церкви... 30
Надо их *защищать*. Надо, чтобы Россия была могущественна и богата; надо, чтобы западные соперники не могли легко побеждать *русские войска*; поэтому нужно иметь все то, что имеют эти соперники... Нужно иметь, к несчастью, и *железные пути*...»

Итак, Христианство с этой непосредственной точки зрения, пожалуй, ничего не имеет против *новых случаев нера-*

венства и новых форм страдания, которые происходят от новых открытий, от реформ, от изобретений.

Но как помирить этого несокрушимого, вездесущего Аримана, это зло, с надеждами на воцарение всеобщего блага?

Ведь благоденствие меряется чувством? Оно — дело субъективное, признак неуловимый, жажда ненасытная, степень со стороны непонятная...

Нет и не будет, вероятно, никакой статистики для определения, когда и где больше страданий и у кого они глубже... В какой стране? При какой форме правления? И при каком социальном устройстве?.. До реформ — у нас, например, или после?.. И еще вопрос: кто больше, кто глубже страдал — крепостной ли крестьянин, которого наказали телесно, или дворянин и офицер Печорин, которого пожирала ненасытный романтизм, разочарование, одиночество сердца, славолубие, пытливый ум сверх всех тех телесных неудобств, недугов и опасностей, которым подвержен не только кавказский офицер, но и всякий Царь земной?..

А если мне скажут, что в случае телесного наказания надо брать не только благоденствие, но и достоинство человека, то я отвечу: вы вводите новое начало, другое мерило, мерило достоинства, — начало эстетическое, объективное, ограниченное, наблюдению доступное, до которого, строго говоря, благоденствию субъективному, незаконному и ненасытному — нет дела.

Если раз допущено в рассуждение подобное эстетическое начало, то я могу опереться на то, что образ будущего мелкоученого, поверхностно мыслящего и трудового человечества был бы вовсе и не прекрасен, и не достоин!

Да и то еще вопрос: будет ли счастливо подобное человечество? Не будет ли оно нестерпимо тосковать и скучать?

Нет, я вправе презирать такое бледное и недостойное человечество, — без пороков, правда, но и без добродетелей, — и не хочу ни шагу сделать для подобного прогресса!.. И даже больше: если у меня нет власти, я буду страстно мечтать о поругании идеала всеобщего равенства и

всеобщего безумного движения; я буду разрушать такой порядок, если власть имею, ибо я слишком люблю человечество, чтобы желать ему такую спокойную, быть может, но пошлую и унижительную будущность!

«Быть может» я сказал... Нет, нет! Я ошибся!

— *Быть не может*, чтобы человечество стало так *отвратительно счастливо*, как того хочет Прудон:

«Все люди равны в первоначальной общине, — говорит он, — равны своей наготой и своим невежеством. *Общий прогресс* должен вывести всех людей из этого первобытного и отрицательного равенства и довести их до равенства положительного не только состояний и прав, но даже талантов и познаний. *Иерархия способностей* должна отныне быть отвергнута, как организующий принцип; *равенство* должно быть единственным правилом нашим и оно же есть *наш идеал*. *Равенство душ, отрицательное вначале*, ибо оно изображает лишь пустоту, должно повториться в положительной форме, при окончании (?) воспитания человеческого рода!»

Хорошо «воспитание»!

ЗНАКОМСТВО С ЛЕССЕПСОМ

Об этом особого оттенка благодетеле рода человеческого, конечно, слышал я еще до встречи с ним в Константинополе в 73 году. Он в то время был на вершине своей славы... Он, французский буржуа, буржуазно-коллективными средствами исполнил то, чего не смог исполнить египетский фараон Нехао: он соединил Средиземное море с Красным...

¹⁰ Так как эстетическое чувство было у меня всегда довольно сильно, то я не особенно интересовался видеть этого героя индустриального прогресса, и хотя знал, что он в Константинополе и входит по каким-то делам в сношения с русским Посольством, но мне и в голову не приходило, что придется говорить когда-нибудь с ним и слышать от него нестерпимый вздор.

²⁰ Впрочем, незадолго до нашей встречи на большой Перской улице я слышал разговор одной из наших посольских дам (женщины очень остроумной и наблюдательной, замечу мимоходом) с тем самым французским инженером К.—, о котором я писал в прошлый раз. Я тогда сказал, что К.— был одним из главных сподвижников Лессепса при прорытии Суэцкого канала.

Эта дама уверяла К.—, что она «никак не может себе представить Лессепса гением». — «Я видела его несколько раз, — сказала она, — разговаривала с ним. Делала над собой усилия, чтобы вообразить его человеком великого

ума, и никак не могла. Многие из других моих знакомых производят на меня впечатление гораздо более сильное, чем мосье Лессепс».

К. — с важностью стал доказывать ей, что ее впечатления ошибочны, — что Лессепс гений особого рода; что никто в мире не умеет и не может, подобно ему, обдумать с практической точки зрения какой-нибудь гигантский проект, соединить для этой цели людей и довести дело до полного окончания.

Я слушал этот разговор и вспоминал, как я, года два-три¹⁰ тому назад, лежал на полу, на турецкой постели, покрытой ковром, в горах Эпира, у пылающего очага, и читал «Московские Ведомости», которые мне только что привезли из Янины. Из них, хотя и поздно, я узнавал подробности празднеств, бывших в Египте по поводу прорытия Суэцкого канала. Признаюсь, и тогда уже празднества эти интересовали меня больше самого прорытия, хотя в то время я был еще далек от моего теперешнего систематического и рационально (в моих глазах) оправданного отвращения к индустриальным открытиям и физико-механическому прогрессу;²⁰ хотя мне не было тогда так ясно, как ясно теперь, что этот род прогресса чрезвычайно вреден и разрушителен для всего человечества; что он есть лишь неизбежный спутник либерального плутократизма, — гадкий и вредный плод сочетания *утилитаризма в науке со слишком свободным движением капиталов и людей*, и должен погибнуть вместе с либерально-эгалитарным идеалом нынешних обществ... Хотя я до этого ясного понимания тогда еще не дорос, но по какому-то полугосударственному, полуэстетическому инстинкту я чувствовал, что труды подъятые и затраты, сделанные для соединения Средиземного моря с Красным —³⁰ *вовсе не всем могут быть полезны или выгодны; а прекрасного уж, разумеется, тут нет ничего...*

И потому, минуя без внимания все то, что касалось до самого канала, я интересовался гораздо более Императрицей Евгенией, ее художественными впечатлениями на Востоке и, вообще, важными лицами празднеств, чем фак-

торским, так сказать, величием г. Лессепса, умеющим так блистательно составлять индустриальные компании в испанских размерах. Сам предпочитая езду верхом по горам езде на пароходах, я отдыхал от машин и новых путей сообщения, читая, как Императрица Евгения ездила на верблюде смотреть пирамиды... Но невольно я дочел и до того места, где корреспондент описывал и самого Лессепса.

¹⁰ Русский корреспондент, я помню, представлял Лессепса сидящим (чуть ли не верхом) на стуле во фраке и с лентой Почетного Легиона через плечо... Я помню также, как он наружность его изображал: «коротко остриженный и с энергическим выражением лица».

Когда я встретил Лессепса года через два после того, я нашел, что он, во-первых, вовсе не слишком коротко острижен, а во-вторых, что лицо его скорее можно назвать оживленным и в иные минуты «любезным», чем особенно энергическим. Я воображал его совсем иным, т. е. ожидал встретить одного из тех грубых французских *épicieirs* с ²⁰ «жадными, скупыми» глазами, которых так справедливо ненавидел Герцен и которых я имел несчастье не раз встречать и в среде французских чиновников и торговцев на Востоке, на пароходах и на европейских железных дорогах, и в магазинах наших русских столиц. Нет ничего отвратительнее грубого европейца средней руки; ибо грубость его вовсе не наивна и не добродушна, но претендательна, злобна и раздражительна. Признаюсь, мне, может быть, было бы даже приятно видеть Лессепса таким по ненависти моей к индустрии и к европейским формам демократии; но истина ³⁰ заставляет меня признаться, что он не таков.

Увы, он — приятен!

Мы шли раз с моим другом Г—вым по Перской улице.

Вдруг Г—в шепнул мне: «Лессепс! Я вас сейчас познакомлю».

Мы встретились. Лессепс был в новом цилиндре, в черном, хорошо сшитом сюртуке и с тросточкой. С виду ему тогда казалось лет 50 с небольшим. (Это было в 73 году.)

Росту он небольшого; лицо его мне показалось очень бледным, желтым, в морщинах; не помню, были ли у него усы, — кажется, были; но бороды не было, и я заметил, что белокурые с проседью виски его были приглажены вперед, как у людей 30-х и 40-х годов. Эти виски вперед, бритая борода и приветливая улыбка при встрече и разговоре с нами произвели на меня, как я уже сознался со вздохом, приятное впечатление: большинство французских буржуа, с которыми мне приходилось встречаться за последнее время, почти все носили бороду и чесались как-то иначе. —¹⁰ Я был рад встретить человека хоть сколько-нибудь, хоть чем-нибудь да непохожего на *современных* своих соотечественников!.. Мой русский приятель познакомил нас. Остановившись с нами, Лессепс начал говорить о тех наводнениях, которые тогда одно за другим производили опустошения в Южной Европе...

Не помню, какая именно река тогда только что выступила из берегов в Италии или Южной Франции... По этому поводу я сказал Лессепсу:

— Не ваш ли канал, м-сье Лессепс, причиняет все эти бедствия? Не изменилось ли что-нибудь в гидростатике и гидродинамике от соединения двух морей, никогда в прямом сообщении не бывших?.. Не изменились ли вековые какие-нибудь течения и т. п.?..²⁰

— О, нет! — отвечал Лессепс быстро и небрежно. — Канал тут ни при чем.

И тотчас же начал говорить о своем проекте внутреннего моря в Сахаре, который, конечно, оплодотворил бы Африку, но, вероятно, заморозил бы Европу, лишив ее этой вековой экваториальной печи.³⁰

Но до этого в минуту нашей встречи на Перской улице было еще далеко, и мы толковали о другом.

Говорил Лессепс поспешно и как будто даже легкомысленно; очень скоро перешел, не помню как, к политическому вопросу и тут же на улице объявил, что «через каких-нибудь 10 лет во всей Европе не останется ни одного монарха, — везде будет республика!» «Исключая, впрочем,

России (прибавил он с любезной улыбкой). L'Empereur de Russie останется один... Он необходим...»

— Почему же именно вы делаете для нас, русских, это приятное исключение? — спросил мой спутник...

Лессепс продолжал, и все тем же тоном самоуверенно-легким, все так же «неглиже с отвагой»:

— Видите ли, народы нуждаются в царях до тех пор, пока они необразованны. Ваш русский народ пока еще стадо баранов... Разумеется (при этом опять улыбка), я не говорю о людях просвещенных, подобных вам... Пока русский народ подобен стаду баранов, ему необходимо руководство сильной власти; но позднее и он просветится, как другие... И тогда...

Лессепс не кончил.

Не знаю, что сказал бы ему в ответ на этой мой приятель Г—в, если бы я не поторопился предупредить его возражением... Меня возмутила донельзя эта болтовня великого искажителя земной коры!

— Извините, г. Лессепс! — воскликнул я, — мы, напротив того, склоняемся перед нашим народом за то, что он больше нас сохранил в себе русского, восточного; мы уважаем его за то, что он меньше европеец, чем мы, меньше похож на вас, европейцев... Это наше спасенье...

Лессепс взглянул на меня мельком. В глазах его выразилось на мгновенье, на самое краткое мгновенье, что-то такое... не то удивленное, не то недовольное, но он тотчас же отвернулся и возобновил свою «утилитарную» речь. Я не хотел слушать; меня раздражила его последняя выходка, я брезгал его республиканским пророчеством, в котором не было ни ненависти, ни грусти и отчаяния, а, напротив того, слепая и, по-видимому, сочувственная вера во благо всеобщей мелкой образованности народов по европейскому образцу...

Я тотчас же вспомнил о другом французе, о главном поваре нашего Посольства. Он говорил то же самое. Летом, на даче, в Буюк-Дере секретари Посольства жаловались послу, что он не дает им спать поутру. Окна их квартиры

приходились против его окон; он вставал рано, открывал свое окошко и начинал во все горло кричать и спорить о политике с кем-то, с *мармитонами* своими или с кем еще — не знаю...

Он кричал *почти слово в слово* то же самое, что Лессепс:

— Encore quelques années et nous ne verrons plus de monarchie en Europe... Voyons-discutons — maintenant l'origine des Bourbons!

Повар в убеждениях и проризаниях шел еще дальше¹⁰ Лессепса и, по-видимому, не исключал из своего мрачного пророчества и нашего Государя.

После жалобы секретарей он перестал кричать так громко по утрам у окошка, но, вероятно, остался при своих либеральных убеждениях, подобно знаменитому краснослову Ж. Фавру, который в гостях у Бисмарка, на замечание этого последнего, что «государственный человек не должен оставаться постоянно при одних и тех же политических взглядах», воскликнул сентиментально: «Однако, граф,* прекрасен вид человека, верного своим убеждениям!»²⁰

Бисмарк, кажется, на это ничего не ответил; он, видно, не находил Ж. Фавра прекрасным...

Я же всякий раз, глядя при встречах на Лессепса и слушая его, вспоминал слова моей посольской знакомой, которая никак не могла вообразить его себе великим человеком, и всякий раз находил ее впечатление верным. — Приятный, любезный, ловкий человек — да!..

Великий? — Нет! Если бы он был ума великого, то могли бы не питать отвращения к всеобщей «мещанской» республике?³⁰

Франция, бедная Франция!! Где ты, *прежняя*, дорогая нам Франция, столь изящная и великая, грозная и неустанно-творческая? Где ты?

* Тогда, в 1871 году, Бисмарк был еще графом.

Было время, когда, подобно Королю Королей твоих, говорившему: «Государство — это я!» — могла и ты с гордостью сказать міру: «Европа — это я»!

Пожалуй, и теперь сказать это можно, с точки зрения общих начал и общей судьбы... *Но лестно ли это теперь?* Вот вопрос!

ЕПИСКОП НИКАНОР О ВРЕДЕ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ,
ПАРА И ВООБЩЕ ОБ ОПАСНОСТЯХ
СЛИШКОМ БЫСТРОГО
ДВИЖЕНИЯ ЖИЗНИ
(1885 года)

Воспоминания мои о Лессепсе и других европейских «индустриалах» относятся к 73 году.

Я жил тогда в Константинополе. Незадолго до этих знакомств или встреч, важных для меня не по значению самих¹⁰ этих людей, а по роду мыслей, которые они в уме моем тогда пробуждали, мне случилось прочесть в «Московских Ведомостях» маленькую заметку об открытии где-то в России новой железной дороги и об освящении вокзала епархиальным Архиереем. — Где, в какой губернии — не помню. Преосвященный говорил по этому поводу небольшую речь; содержание ее было передано газетой, в нескольких строках без всяких замечаний и оговорок. Но эти несколько строк были таковы, что я бросил газету и мысленно воскликнул... «Боже мой! и Архиерей!.. и Архиерей русский²⁰ глаголет то же и все то же!»

— Ускорение сообщений; цивилизация... даже и благодеяние...

Да, я помню, было даже и благодеяние!..

— Господи! — подумал я тогда, — на что же все это Епископу?.. Именно — Епископу на что? Его долг по всякому подобному поводу, напротив того, или напомнить нам притчу о том богатом, который сказал душе своей: «пей, ешь и веселись» — и в ту же ночь умер; или посоветовать молиться усерднее, садясь в вагон, на случай внезап-³⁰

ной гибели; или сказать вообще, чтобы мы не носились с человеческим «разумом» как наивные дурни с писаною торбой; что уметь видеть мрачную сторону всех этих высокоумий научных есть тоже *разум*, и даже самого высшего порядка.

Размышляя так, я даже старался вообразить, какого рода проповедь или поучение сказал бы я сам в этом случае на месте Епископа, рискуя даже возбудить против себя то светское начальство, которое пригласило меня освятить вокзал.

¹⁰ После всех этих печальных размышлений прошло *двенадцать лет*. Во многом я оказался пророком, и седины мои теперь многим утешены! Но ничто, кажется, из всех событий, перемен и *знаменательный зачатий* за последние четыре года не восхитило меня так глубоко, как то, что Преосвященный Никанор Херсонский осуществил прошлого года мою давнюю и словно как бы несбыточную мечту о русском Иерархе, громящем пар и всю эту оргию «обмена» на каком-нибудь вокзале, то есть в *самой берлоге беспощадного чудовища*.

²⁰ Епископ Никанор, которого я и прежде уже глубоко чтил за его книгу «Позитивизм и Христианство», превзошел даже мои ожидания в своем поучении.

Я мечтал лишь о сухости, о холодности отношения Иерарха к триумфам механики — и встретил неожиданно карающие громы! Для *понимающего*, для человека хоть сколько-нибудь дальновидного это поучение страшно... в своей ученой и ораторской силе.

Это луч божественного света в сатанинском хаосе индустриального космополитизма и современного вавилонского ³⁰ *все-смешения*.

Это *Мани-Фекель-Фарес* вселикующему и безбожно-надменному рационализму *среднего все-европейца*.

Не зная, имею ли я право перепечатать в своей книге всю эту замечательную речь сполна из «Православного Обозрения»,* воспользуюсь только тем сокращением ее,

* Октябрь 1884.

которое появилось в одной очень умной, хотя и самой маленькой по размеру из московских газет, в «Вестнике» Фед(ора) Алекс(андровича) Гилярова (1884 г. 1 декабря, № 71):

«Явный вред и ясно предвидимая опасность быстрых путей сообщения заключается в том, что мы скоро живем и торопимся жить. Быстрые современные сообщения развивают до неимоверности ту быстроту, с какою мы несемся неведомо куда, опасно, как бы не в бездну. Излишняя быстрота всегда и везде опасна.

10

Вообразим, что наша земля, кружась по своему эллиптическому пути около солнца, делает 26 верст в секунду, более 1 500 верст в минуту, около 100 000 верст в час, а в год развивает страшную быстроту многих миллионов верст своего бега вокруг солнца. Но и солнце не стоит. По новейшим вычислениям оказывается, что скорость поступательного движения всей солнечной системы равняется 232 500 900 верст в год, что составляет в сутки для солнечной системы 637 000 верст, которую для земли нужно умножить еще на скорость ее движения вокруг солнца; а для каждой местности на земле, напр(имер), для этого пункта, на котором мы стоим, нужно умножить еще на скорость вращения нашей широты вокруг земной оси. Таким образом, земля вращается на своей оси и носится в пространстве вокруг солнца; солнце само вращается около своей оси и совершает поступательное движение [вокруг] другого центрального солнца. Но и на этом остановиться нельзя. Без сомнения, и солнце нашего солнца подчиняется общему закону движения. Тут же в вычислении скорости вселенной изнемогает и воображение. Пусть эта скорость вращения земли вокруг своей оси, вокруг солнца уже для нашего солнца нами не замечается и не чувствуется. Но можно ли сказать, что и эта внесознательная для нас быстрота движения вселенной не влияет на нашу жизнь? Конечно, влияет и оказывает влияние огромное на распределение земных сил, обнаруживающих прямое влияние на благосостояние человека, на равновесие суши и вод и воздуха, на

20

30

известное распределение воздуха и тепла, электричества и тяготения. А к этой всемирной теллурическо-астрической скорости движения человек присоединяет еще свою самодельную одуряющую скорость движения по железным путям, на крыльях ветра, на парах и электричестве, по морю и под водою, и под землею, на аэростатах, посредством нагретого воздуха, водорода и чего-то там еще: скоро, быть может, понесется и посредством солнечного света. А что электричество будет запряжено, как мощный двигатель-сороход,¹⁰ это не подлежит сомнению. Это вопрос не только близкого будущего, но уже и настоящего времени. Не все же молниям праздно бороздить небо, а на земле только жечь и крошить. Скоро, скоро обуздают их и погонят и возить, и мельницы вертеть, и всякие тяжести двигать.

Пусть это фантазия. Но вот что действительно. Всякая скорость развивает в мировой системе мену силы, а на земной поверхности, а в человеке (в сем последнем даже скорость мысли) развивает и трату силы, так что чем больше быстрота действия, тем больше требует она и траты силы.²⁰ В мировой системе эта трата силы незаметна. Да ее там и нет, так как полнота мировых сил, по нашим, быть может, и ошибочным расчетам, сама себе равна. Но на поверхности земной всякая скорость издерживает уходящую на нее силу. Тем более это заметно в человеке. Увеличивая какую бы то ни было скорость, опять-таки хотя бы быстроту мысли, человек издерживает уходящую на нее силу. Тут в трате силы на всякую скорость, на скорость даже мысли, один вред, одна опасность. А вот и другая.

Всякая быстрота умножает опасность развития разрушающей силы в случае помехи движению, а тем более остановки.³⁰ Если бы земля в своем полете на своей оси и на пути вокруг солнца была остановлена непреодолимою преградой, то она развила бы какие-то премногие миллионы единиц тепла, которые, при столкновении земли с равновесным или тяжелейшим телом, мгновенно превратили бы ее в горючий газ, превратили бы всю всецело, со всеми ее водами и камнями и внутренними толщами. А если бы солнечная наша

система столкнулась с другою таковою же при своем невообразимо быстром полете, то обе они превратились бы мгновенно в ту тончайшую небесного эфира материю, из которой ткнутся нововозникающие звездные системы, мелькающие легким туманом глубже наших туманных звездных планет. Так и на земной поверхности всякая развиваемая быстрота пропорционально своему увеличению развивает и опасность разрушительного удара в случае затруднения скорости, а тем более в случае остановки движения.

Приложим теперь эти психо-физические законы к скорости человеческой жизнедеятельности, развиваемой увеличенною скоростью движения посредством пара и электричества. Производит ли современная быстрота передвижения трату силы? — Без сомнения, и громадную. Во-первых, производит трату силы материальной, уходящей на производство этой скорости. Возьмем вот пар. На производство его уходит громадное количество воды, железа и топлива. Пусть воды на Руси и не занимать стать, но на ее добывание уходят в огромном количестве тоже железо и топливо. Пусть и железной руды на Руси не занимать стать, но на производство и железа уходит, кроме всего прочего, огромное же количество того же топлива! Итак, топливо да топливо. А что такое топливо? — Это запас органического материала, собранный веками веков бытия земного шара, еще прежде бытия исторического человека. Древнее человечество тратило этот запас не бережно же, как тратим и мы, но умеренно. Лесные чащи выросли тогда, превышая потребность в них жившего до нас человечества. Современный же человек истощает этот запас так, что природа явно уже отказывается восстановить его. Давно ли заведены паровые источники силы и движения, но в Англии не только леса уже истощены, но и запас давних веков — залежи каменного угля истощаются и чрез 100 лет, а быть может и прежде, истощатся совсем. Что мы видим на Руси? Еще живое поколение видело неисходные, почти неизмеримые чащи лесов, а теперь что? — На пространстве от Оренбурга до Одессы наблюдательный путник не видит ни

одного даже молодого перелеска. Путник этот еще видел целые пуши тысячелетних деревьев-громадин, годных на корабли и прочее. Все пожрано, особенно же около железных дорог.

Пожирая леса, дороги производят недостаток топлива для домов. Этот недостаток на огромном пространстве Руси вознаграждается потреблением соломы и других органических остатков. В то же время запасенные веками залежи тучного чернозема на полях, которые до нашего времени никогда не были паханы от начала мира, также быстро истощаются, крепко напоминая об искусственном утучнении полей, а истребление утучняющих веществ повсюду на топливо производит недостаток их для удобрения полей. Вся же эта логика истребления того, чем жив человек, живо его тело, будет иметь в весьма недалеком будущем, да по местам имеет уже и в настоящем, своим роковым последствием нужду в хлебе, в тепле и в строительном материале, а быстрота современного движения будет поглощать последние остатки запаса органических веществ на земле. Что же впереди?

Еще. Громадное, повсюду на наших глазах оканчивающееся решительным уничтожением истощение лесов производит на Руси истощение водных источников, рек и рек, которое в свою очередь сопровождается часто повторяющимися засухами земли. Истреблением лесов мы истребляем богоданное жилище для зверей, диких и кротких, для птиц, для насекомых. Что же отсюда? Мы знаем, что на земле исчезли многие роды животных. Некоторые исчезли на памяти живого поколения. Скоро в Европе останутся только воспоминанием естественной истории медведь, волк, лисица, лось, зубр, буйвол и многое множество живых родов. Воспоминанием останутся многие роды птиц, гадов, насекомых. Насильственно выселенные из лесов многие роды, особенно насекомых, ринулись теперь в наши нивы, увеличивая с каждым десятилетием опасность голода для человечества. Истребление лесов, обезводнение, жадность увеличения пахоты производят повальную так называемую экспекорацию,

истребление в образованном мире скота, который гибнет от сокращения и истощения пастбищ, гибнет от постоянных повальных болезней, происходящих от тех же причин, от недостатка влаги в воздухе, от увеличения около человеческих жилищ массы видимых и невидимых насекомых, от истощения в воздухе оздоравливающего кислорода и озона, производимых дыханием живых растений и обилием испаряющейся чистой влаги. Кроме того, скот истребляется жадностью культивируемого человека к животной пище, невоспособляемой добычею охоты, почти уничтоженной за уничтожением лесов и за истощением рыбных ловлей тою же жадностью и беспощадностью увеличивающегося в количестве человечества, как и более искусным применением снарядов для вылавливания рыбы, так что почти все наши реки, на памяти живого поколения, совершенно отощали рыбою; в западноевропейских же реках рыба осталась только преданием и темным воспоминанием. Мы намекнули, но не развили мысли, что и для человека истощение лесных чащ губительно и тем, что эти массы самой цветущей зелени производили массу живительного кислорода и озона, которые так необходимы нам для здорового дыхания, которые, оживляя и укрепляя силы человека, наоборот губительно действуют на незримые массы вибрионов, подрывающих в самом зерне человеческую жизнь и порождающих повальные болезни. Посмотрите теперь на наши города с их дымом, копотью, смрадом, — чем там дышать? Разве только губительными миазмами? Даже по селам теперь, при истощении водных источников и живительной растительности, когда к ним приближаешься, сейчас же чувствуешь, что с лона живой и животворящей и благоуханной природы вступаешь в жилье человека с его отбросами и смрадом, источником гибели для него самого и всего живого около него, за исключением губительных вибрионов, источника зараз для людей и скотов.

Таким образом истощение благотворных для человека сил вещественных увеличением быстроты передвижений очевидно.

Тратит ли эта быстрота жизни и движения силу нравственную, силу духовную? Скажите: увеличила ли эта быстрота сообщения внешнее благосостояние людей? По-видимому, напр(имер), железные дороги строятся для увеличения благосостояния. Я скажу, как и сказал, что они строятся для удовлетворения потребностей. И удовлетворяют им, — это правда. Но удовлетворяют, пропорционально же увеличивая самые потребности, увеличивая тем, что усложняют жизнь более и более, так что жизнь становится¹⁰ дороже, затруднительнее и требовательнее. Этому доказательство в том печальном повсюдном опыте, что везде на Руси, где пока не было железных дорог, там жизнь была проще и дешевле. А как только появится железная дорога, сейчас же все ценности возвышаются, прежние способы истощаются; новые если и увеличиваются, то создают собою и новую потребность, напр(имер), потребность виноградных вин, которой еще деды, да даже и отцы наши, не ведали, равно как новые потребности и в других заморских вещах, без которых легко обходились. Таким образом железная²⁰ дорога, в существе дела, нигде и не возвысила благосостояния, чувства довольства, покоя и счастья; напротив, породила всюду тревогу, потребность в средствах жизни, погоню за наживою.

Кроме того, где прошла по широте русской земли безлесная пустынная гладь, там прощай поэзия старины, поэзия наших отцов и дедов, да еще и нашей собственной юности. Наши дети не поймут скоро поэтического выражения: „не шуми ты, темный лес, зеленая дубровушка“, равно не поймут и всего неисчерпаемого запаса как мифологической,³⁰ так и позднейшей поэзии, основанной на таинственной, то возвышающей, то грозной, то прелестной внушительности повсюдных, еще недавно непроходимых, лесных чащ. А это будет огромным истощением душевных сокровищ нашего поэтического народа. Куда девалась эта тысячеголосая восхитительная песнь хвалы Богу, песнь птичьих и всяких животных голосов, какою гремели еще так недавно неисходные зеленые цветущие чащи в прелестные майские утра? В мо-

гильное, глухое безмолвие погружается теперь оголяемая тупую корыстью пустынная русская земля. Эта корысть скоро убьет самый вкус к прелестям природы, как убивает самую красоту природы. Опасно, как бы земля не стала скоро походить на всемирный паутинник, который опутывает весь земной шар, в котором плавают только отоцалый всеядный человек, как голодный паук, не имый кого и что поглотити, так как сам же он пожрал, побил, истерзал все живое на поверхности всей земли. Эти железнодорожные линии не похожи ль на нити всемирной паутины?..» 10

Таково это удивительно смелое для *русского духовного лица* поучение.

И здесь еще не все. В самой речи есть превосходные переходы к религиозным идеям и к великим примерам общечеловеческого прошлого. Вот эта проповедь, эта речь — действительно «русское слово», действительно — поучение, «современное» по предмету, православное по духу.

Это не то, что нервная и космополитическая обмолвка Достоевского о каком-то русском окончательном слове: «всеобщей гармонии». *Окончательное слово?*.. Что такое *окончательное слово* на земле? 20

Окончательное слово может быть одно: *Конец всему на земле!*

Прекращение истории и жизни...

Иначе почему же и в каком смысле *окончательное*? Ведь неподвижным и неизменным не может же стать человечество ни умом, ни вкусами, ни волей?

Не в *окончательном примирении* дело, а в *самобытном развитии*.

Для того, чтобы нация приобрела хотя бы и преходящее 30 (как все на свете), но все-таки истинное и прочное *мировое* значение, ей надо *творить свое и для себя*. Только созданное *для себя и по-своему* может послужить и другим.

Слово *мировое* я противопоставляю в этом случае слову — *космополитическое*.

Только тогда, когда мы не будем обращаться к собственной жизни и к собственной истории нашей с готовыми,

взятыми у других последними, вчерашними идеями; когда мы не будем сознательно служить космополитизму, а, напротив того, скорее уже идти *противу* него, — только тогда-то, говорю я, мы будем в силах сделать и остальному человечеству *мировую* пользу; только тогда-то и будет признана русская нация всеми за нацию истинно-культурную, т. е. такую, какими были в свое время нации египетская, древне-эллинская, римская, византийская и все главные народы Романо-Германского Запада, давшие в *свое время* *миру* не одни только орудия *всесмесьного разрушения*, как дают они теперь (т. е. машины, пар, телеграфы, эгалитарную свободу, демократические парламенты и т. д.), а многое множество великого, изящного и могучего в своем своеобразии.

Иначе, если задаваться сознательно идеями космополитическими, то можно в истории ближайшего будущего разыграть ту культурно-незавидную роль, которая выпала некогда на долю Македонии: все завоевать, все покорить, все *смешать*, все разрушить и, ничего *действительно своего* не создавши на память векам грядущим, приготовить только для других (для Рима, Византии и т. д.) почву, разрыхленную чем-то средним, чем-то полуотрицательным и вседопускающим!

Одним же из главных признаков благотворного в этом (ново-культурном) смысле поворота в русских умах должно быть прежде всего скептическое, даже до крайностей пессимизма, пожалуй, расположенное доходить отношение ко всем почти европейским выводам и продуктам отходящего XIX века, с *эгалитарным плутократизмом* его социального строя и с *обманчивым утилитарным идеализмом* его умственной жизни.

«Если дерево начало расти криво, то, чтобы выпрямить его, надо насильственно перегнуть его в противоположную сторону», — сказал про наше отечество покойный Н. Я. Данилевский в своей монументальной книге «Россия и Европа».

Нельзя *создавать свое*, не отрицая и не отвергая в то же время *чужих разрушительных начал и приемов*.

СРЕДНИЙ ЕВРОПЕЕЦ КАК ИДЕАЛ И ОРУДИЕ ВСЕМИРНОГО РАЗРУШЕНИЯ

I

[Теперь посмотрим — не подтвердит ли наше мнение сама Европа устами самых знаменитых своих писателей.]

Все эти писатели на *разные лады* подтверждают наше мнение; все согласны в том, что *Европа смешивается* в действительности и *упрощается* в идеале. — Разница в том, что иные почти довольны той степенью смешения и упрощения, на которой находилась или находится в их время Европа; другие находят, что смешение еще очень недостаточно, и хотят крайнего однообразия, думая в этом оцепенении обрести блаженство; а третьи негодуют и жалуется на это движение. ¹⁰

К 1-м относятся более или менее все люди умеренно-либеральные и умеренно-прогрессивные. — Иные из них не прочь от крайнего упрощения, но боятся бунтов и крови и потому желают, чтобы равенство *быта* и *ума* пришло постепенно.

Таков, например, Bastiat, в своих «*Harmonies économiques*». ²⁰

Его книга дорога именно тем, что она пошла и доступна всякому. Он говорит: «Мы не сомневаемся, что человечество придет ко всеобщему одинаковому уровню: матерьяльному, нравственному и умственному», — и очень, по-видимому, рад этому; желает только постепенности в этом упрощении и формы его не предлагает.

Таков Абу в своей книге «Le progrès».

В ней вы найдете тоже очень ясное расположение ко всеобщему однообразию. — В одном месте он смеется над провинциальным собственником, который робеет в присутствии префекта, забывая, что префект одет хорошо и живет хорошо на *подати*, платимые этим собственником; смеется над матерями, которые хотят одеть сыновей своих в *мундиры* вместо того, чтобы учить их торговать или хозяйничать... (И мы готовы смеяться над мундирами, но не за то, что ими поддерживается хоть какое-нибудь отличие в нравах и быте, а за то, что они *пластически безобразны* и европейски опошлены.) В другом месте Абу говорит: конечно, *храбрый генерал, искусный дипломат* (*un diplomate malicieux*) и т. п. полезны, но они полезны для *мира* в том виде, в каком он *есть теперь*, а придет время, в которое они не будут нужны. — Вот и еще *две-три формы* человеческого развития, человеческого разнообразия, психического обособления индивидуумов и наций уничтожаются. — Не позволены уже более ни Бисмарки, ни Талейраны, ни ²⁰ Ришельё, ни Фридрихи и Наполеоны... Царей, конечно, нет и подавно. — Про духовенство Абу прямо в этом месте не говорит, но он во многих других местах своей книги отзывается или с небрежностью, или даже с ненавистью о людях верующих. — «Пускай себе кто хочет ходит в синагогу, кто хочет в протестантскую церковь и т. д.». — Подразумевается: «Это не страшно; с этим прогресс справится легко!»

Кто же ему нужен?

Ему для прогресса нужны: *агрономы* (смотри дальше — ³⁰ об излишней обработке земного шара, у Дж.-С. Милля и Рия), *профессора, фабриканты, работники, механики* и, наконец, *художники и поэты*... Прекрасно; понятно, что механик, агроном ученый могут как сыр в масле кататься, обращая пышный шар земной в одну скучную и шумную мастерскую... Но что делать *поэту и художнику* в этой мастерской?.. Они и без того задыхаются больше и больше в современности. — Не лучше ли сказать прямо, что и они

вовсе не нужны, — что без этой роскоши человечество может благополучно прозябать. — Есть люди, которые и решились так говорить; но не таков Абу. — Любопытно бы проследить о чем именно писали все современные поэты и романисты и какие сюжеты выбирали живописцы нашего времени для своих картин. — Такого рода исследование о писателях XIX века покажет нам, что лучшие из них, если и брали сюжетами своими современную жизнь, то лишь потому, что в ней много еще было остатков от прежней Европы и что то плоское, повальное, буржуазное просвещение, о котором заботится Абу, — даже и для землепашца и работника еще в действительности не существовало и не существует. — Во всех романах найдем интересные, завлекательные встречи и столкновения людей различного воспитания, противоположных убеждений, разнообразной психической выработки, крайне различного положения в обществе, людей с несходными сословными преданиями (а иногда и правами; например, в тех сочинениях, в которых изображается время Реставрации, пэрства и т. п.). — Посмотрите романы Занда: «Индиана», «Валентина», «Мопра́», «Жак», «Жанна» и друг(ие), и вы убедитесь, что на каждом шагу остатки социального неравенства, религия, простота и грубая наивность сельского быта и изящные потребности людей, имеющих при имени своем частицу *де*, — дают пищу ее таланту. — Даже война, о которой собственно она мало писала, соприсутствует, так сказать, органически каждому ее сюжету. — Так, напр(имер), Полковник Дельмар, муж Индианы, был бы, вероятно, несколько иного характера, *если бы он не был Полковник*. — Мопра из семьи феодальных разбойников, и весь роман наполнен сценами опасности и битв. — Герой уезжает с Лафайетом на войну за независимость Америки и т. п. — В кротком пастушеском романе «La petite Fadette» вы встречаете такую фразу в устах крестьянина: «*les belles guerres de l'Empereur Napoléon*». — Сверх того, в этом сельском романе и в других сходных с ним мы встречаемся с другими наследиями разнообразного и сложного прошедшего Европы — с рели-

гией, с уважением к церковному браку и христианской семьей и, с другой стороны, с чрезвычайно грациозными и милыми полуязыческими верованиями в колдунов, ведьм, в так называемых «farfadets» и т. п. — Во всех романах, одним словом, больше или меньше опасностей физических, борьба с сословными и гражданскими препятствиями; встреча и любовь героев, принадлежащих к совершенно различным классам и кругам общества (Князь Кароль и дочь рыбака Лукреция; графиня Валентина и сын крестьянина Бенедикт; — философски образованная аристократка XVIII века Эдмея и дикий юноша Мопра; — верующая крестьянка Жанна и молодые люди высшего круга — англичанин и два француза, которые за нее спорят и т. д.); антитезы богатства и бедности, суеверий и философского ума, церковной христианской поэзии и поэзии сладострастия... К тому же прибавим и национальные антитезы: англичане, немцы и итальянцы играют в творениях Занда немалую роль, и она всегда прекрасно обозначает у этих иноземных героев те черты их, которые развились в них лично или наследственно под впечатлениями прежней более обособленной нациями и областями, более сложной и разнообразной Европы.

То же самое более или менее мы найдем у Alf. de Musset, у Бальзака, у английских писателей, например, у Диккенса.

Если бы в романе «Копперфильд» не был замешан энергический, блестящий и благородный, несмотря на свои пороки, *Стирфорт*, если бы не было его гордой и несчастной матери, если бы не было, одним словом, аристократического элемента, — выиграл бы роман или проиграл бы?.. Я думаю, что много проиграл бы. — Беранже вдохновлялся военной славой Республики и 1-ой Империи. — Шатобриан — религией и томительной романтической тоской разочарования, до которого агрономам и фабрикантам не должно быть и дела. — Ламартин, — которого, вместе с живописцем *Ingres*, — Абу считает для своего прогресса столько же необходимым, сколько лучшего химика и меха-

ника, — вдохновлялся, подобно Шатобриану, церковной поэзией, верой, и аристократический дух в нем силен; — такой поэт прогрессистами должен бы считаться или вредным, если он влиятелен, или ничтожным и презренным. — На что же он и ему подобные господину Абу?

Абу в одном месте очень жалуется на грубость французских крестьян; описывает как мужик бьет крепко ломовую лошадь свою; — как молодые крестьяне грубо ухаживают за девушками... Он желает, чтобы прогресс сделал их поскорее похожими на него самого, буржуазного наследника 10
прежней барской любезности. — Об этом у него целый (немного хамовато-любезный) разговор с дамой. — Крестьяне кой-где во Франции, конечно, еще грубы и наивны; еще более их, разумеется, были грубы и наивны южно-итальянские рыбаки в начале этого века. — Однако в среде этих рыбаков Ламартин встретил свою «Грациеллу», изображение которой считается одним из лучших созданий его.

Что касается до живописца *Ingres* и до других художников XIX века, то и они вдохновлялись не буржуазным вечером или обедом, на котором Абу любезничал бы о прогрессе с какой-нибудь мещанкой нашего времени, но всё такими явлениями жизни, которые без разнообразия 20
убеждений, быта и характеров немыслимы. — Один изображал чудесный переход евреев через Красное море; другой борьбу гуннов с римлянами; третий сцены из войн Консульства и Империи; четвертый сцены из *Ветхозаветной* и *Евангельской* историй...

Если то, что в XIX веке принадлежит ему исключительно или преимущественно: машины, учителя, профессора и адвокаты, химические лаборатории, буржуазная роскошь 30
и буржуазный разврат, буржуазная умеренность и буржуазная нравственность, полька *tremblante*, сюртук, цилиндр и панталоны, — так мало вдохновительные для художников, то чего же должно ожидать от искусства тогда, когда по желанию Абу не будут существовать ни Цари, ни Священники, ни полководцы, ни великие государственные люди... Тогда, конечно, не будет и художников.

О чем им петь тогда? — И с чего писать картины...

Книга Абу — книга легкая и поверхностная; но по этому самому многолюдной читающей бездарности весьма доступная, и она теперь переведена даже и по-русски.

Поэтому мы и остановились на ней несколько дольше, чем бы она заслуживала при тех серьезных вопросах, которые нас занимают.

Напоследок заметим и еще одно.

Абу посвящает книгу свою г-же Ж. Занд. — Преклоняясь перед ее гением, он говорит: «Я сознал, что я уже человек немолодой, великим человеком никогда не буду (еще бы!); но я не лишен здравого смысла и предназначен собирать крошки, упавшие со столов великих Рабле и Вольтера».

Г. Абу точно не лишен той мелкой наблюдательности, которая часто свойственна умам ничтожным, и определил верно род своего таланта. — Действительно, по легкости и ясности языка, по некоторому довольно веселому остроумию, вообще по духу своему он может несколько напоминать Вольтера и Рабле. — Но это сходство только наглядно доказывает упадок французского ума. — При Рабле, беспорядочном, грубом и бесстыдном, Франция XVI века только зацветала; в XVII и XVIII она цвела и произвела великого разрушителя Вольтера, которого с наслаждением может читать за глубину его остроумия — и враждебный его взглядам (конечно, зрелый) человек, подобно тому, как атеист может восхищаться еврейской поэзией псалмов. — Франция в $1\frac{1}{2}$ -не нашего века дала в этом легком роде не более как Абу! — Крупные литературные продукты Франции XIX века совсем иного рода. — Они известны. — Он сам смиренно упоминает в своем предисловии, что Ж. Занд сказала ему: «Вы всегда пропускаете гений сквозь пальцы».

Дальше.

Бёкль. Бёкль громоздит целую кучу фактов, цитат, познаний для того, чтобы доказать вещь, которую в утеху устаревшему западному уму доказывали прежде его столь многие. — Именно, что разум восторжествует над всем. —

(Что же тут оригинального? — Разуму поклонялись уже в Париже в XVIII веке.) Он, подобно многим, нападает на всякую положительную религию, на монархическую власть, на аристократию.

Но положим, однако, — Бокль прав, утверждая, что в истории человечества законы разума восторжествуют, наконец, над законами физическими и нравственными. — «Человечество (говорит он вообще о законах физических) видоизменяет природу, природа видоизменяет человека; все события суть естественные последствия этого взаимодействия» (стр. 15; т. I. «Истор(ия) цивилизации в Англии»). — О законах нравственных он, напротив того, утверждает, что они в течение истории вовсе не изменяются; а изменяются законы (или истины) умственные. — (См. стр. 133—135 и т. д.)

Итак, по мнению Бокля, изменение в *идеях, во взглядах* людей влечет за собою изменение в их образе жизни, в их личных и социальных отношениях между собою.

По мере открытия и признания разумом новых истин — изменяется жизнь. — «Умственные истины составляют причину развития цивилизации».

Пусть так. — Но, во-1-х, говоря о *развитии* (т. е. не о самосознании собственно, но об *увеличении разнообразия в гармоническом единстве*), можно остановиться прежде всего перед следующим вопросом: Как понимать это слово? — И не мог ли бы мыслящий человек нашего времени (*именно нашего*) выбрать себе предметом серьезного исследования такую задачу: *Знание и незнание не суть ли равносильные орудия или условия развития?* — Про картину развития Государства или общества, нации или целого культурного типа (имеющего, как и все живое, свое начало и свой конец) нечего и говорить: до сих пор, по крайней мере, было так, что ко времени наисильнейшего умственного плодоношения — разница в степени познаний между согражданами становилась больше прежнего. — Конечно, никто не станет спорить, что во времена Царя Кодра степень умственной образованности (степень знания) у афинских

граждан была равномернее, чем во времена Платона и Софокла. — И франко-галлы времен Меровингов были ровнее в умственном отношении между собою, чем французы во дни Боссюэта и Корнеля. — *Незнание дает свои полезные для развития результаты; знание — свои; вот и все.* И не углубляясь далеко, не делая из этой задачи предмет особого серьезного исследования, можно вокруг себя найти этому множество примеров и доказательств. — Упомяну только слегка о некоторых. — Гёте, например, не мог бы написать Фауста, если бы он имел меньше познаний; а песни Кольцова были бы наверно не так оригинальны, особенны и свежи, если бы он не был едва грамотным простолюдином. — И опять, — если с другой точки зрения взять того же Фауста... Для того, чтобы какой бы то ни было художник, хотя бы самый сильный по дарованиям, мог бы изобразить живой характер, — разве не нужны ему впечатления действительной жизни? — Конечно, необходимы. — И в наше время — особенно, в эпоху реализма, кто же станет это отвергать?

Итак, для того, чтобы Гёте мог изобразить невежественную и наивную Маргариту, — нужно было ему видеть в жизни таких невежественных и наивных девиц. — *Незнание* простых немецких девушек, сочетаясь со *знанием* Гёте, дало нам классический в своем роде образ Маргариты. — Эпические стихи горцев, старые былины, песни, слагаемые и в наше время кой-где малознающими простолюдинами, с любовью разыскиваются учеными и дают им возможность составлять интересные и поучительные сборники; а другими словами — *незнание* предков и более современных нам простолюдинов способствует движению науки, развитию знания у людей ученых, *знающих*.

И дальше: человек *знающий* и с поэтическим даром прочитывает этот сборник, составленный *ученым* из произведений *незнающих* или *малознающих* людей. — Он, в свою очередь, вдохновляется им и производит нечто такое, что еще *выше* и простенькой былины или песни, и ученого сборника. Люди, *знающие* толк в простонародной поэ-

зии, — все без исключения даже с ненавистью отвергают-
ся от так называемых фабричных или *лакейских стихотво-
рений*; а нельзя же отвергать, что фабричный *знает* больше
земледе́льца, и некоторыми умственными сторонами свои-
ми — грамотный лакей городской в этом же смысле ближе
к профессору, чем его брат, никогда не покидавший степи,
леса или родных своих гор. — Я мог бы привести таких
примеров великое множество (даже из самой книги Бок-
ля; например — *развитие архитектуры в Индии и Егип-
те; знание высших каст и невежество народа; и т. п.*); но¹⁰
для моей цели и этого довольно. — Положим, что Бокль
прав: истины разума и его законы определяют ход цивили-
зации. Я готов с этим согласиться; но, во-1-х, ведь и не-
знание есть состояние разума; — незнание значит — малое
накопление фактов для обобщения и выводов. — Это есть
отрицательное состояние разума, дающее, однако, по-
ложительные плоды, не только нравственные; — в этом
никто не сомневается, — но и прямо *умственные же*. —
(И в среде образованной — именно какое-нибудь *част-
ное незнание* нередко наводит *мыслящих людей на новые*
и блестящие мысли. Это факт всеми, кажется, признан-
ный.)²⁰

А, во-2-х, разве не может случиться, что именно даль-
нейший ход цивилизации приведет к тому, что наука госу-
дарственная, философия, психология и политико-социальная
практика признают необходимым *поддерживать преднаме-
ренно наибольшую неравномерность знания в обще-
стве?* — Я полагаю, судя по разрушительному ходу совре-
менной истории, что именно высший разум принужден бу-
дет выступить, наконец, почти против всего того, что так³⁰
популярно теперь; — т. е. противу равенства и свободы
(другими словами — против *смещения сословий*, конечно),
против *всеобщей* грамотности и против *демократизации*
познаний... Вероятно, даже против злоупотреблений *маши-
нами* и противу разных прикладных изобретений, «балую-
щихся», так сказать, весьма опасно со страшными и таинст-
венными силами природы.

Машины, пар, электричество и т. п., во-1-х, усиливают и ускоряют то *смещение*, о котором я говорю в моих главах «Прогресс и развитие»; — и дальнейшее распространение их приведет неминуемо к насильственным и кровав^{ым} переворотам; — вероятно, даже и к *непредв^{иденным}* физическим катастрофам; — во-2-х, все эти изобретения выгодны только для того класса *средних людей*, которые суть и главное *орудие смещения*, и *представители* его, и *продукт*... Все эти изобретения невыгодны: для государственного обособления, ибо они облегчают заразу иноземными свойствами; для религии, — ибо они увлекают малознающих и незнающих людей ложными надеждами все на тот же *разум* (односторонне в прямолинейном смысле понятном, надежд^{ами}, к^{ото}рые могут привести к совершенно иным результатам); — они невыгодны привилегированному дворянству уже по тому самому, что усиливают влияние и преобладание промышленного и торгового класса, который, по словам самого же Бокля, «естественный враг всякой аристократии». — Они невыгодны рабочему классу, который

²⁰ бунтовал при первом появлении машин и непременно разрушит их и постарается даже, вероятно, запретить их *драконовскими законами*, если только хоть на короткое время действительная власть будет в руках людей этого класса или под их страхом и влиянием. — Машины и все эти изобретения враждебны и поэзии; — надолго примирить нельзя утилитарную науку и поэзию: со стороны поэзии теперь настала пора усталости и уныния в неравной борьбе... а не внутреннее согласие. — Все эти изобретения, повторяю, выгодны только для *буржуазии*; выгодны *средним*

³⁰ *людям*, фабрикантам, купцам и банкирам, *отчасти* и многим ученым, адвокатам, — одним словом — тому среднему классу, который в книге Бокля является главным врагом Царей, положительной религии, воинственности и дворянства (о рабочих и земледельцах Бокль *молчит* с этой стороны; — но заметим — *именно там*, где все дела в руках этого *среднего* класса, — сами рабочие зато *говорят все громче и громче о своей к нему ненависти!*).

Бокль весьма наивно благоговееет перед тем эгалитарно-либеральным движением, которое, начавшись с конца XVIII века, продолжается еще до сих пор с небольшими роздыхами и слабыми обратными реакциями и не дошло еще настолько до точки своего насыщения, чтобы в жизни разразиться окончательными анархическими катастрофами, а в области мысли выразиться пессимистическим взглядом на демократический прогресс вообще и на последние выводы Западной Романо-Германской цивилизации. — Но только этот род пессимизма может вывести *разум* человеческий на истинно новые пути. — Эгалитарно-либеральный процесс называется, смотря по роду привычки, по точке освещения, разными именами. — Он называется стремлением к *индивидуализму*, когда хотят выразить, что строй общества нынешнего ставит лицо, индивидуум прямо под одну власть Государства, помимо всех корпораций, общин, сословий и других сдерживающих и посредствующих социальных групп, от которых лицо зависело прежде; — или то, что направление политики и законодательства должно окончательно целью иметь благо и законную свободу *всех индивидуумов*; — зовут это движение также *демократизацией* в том смысле, что низший класс (демос) получает все больше и больше не только личных гражданских прав, но и политического влияния на дела. — Иные зовут осторожное и благонамеренное обращение властей и высших классов с этим движением «полезными и даже благотельными *реформами*»; — а Прудон со своей грубостью ученого французского мужика *ставит точку* над *i* и зовет этот процесс прямо *революцией*; то есть под этим словом Прудон разумеет вовсе не бунты и не большую какую-нибудь инсurreкцию, — а именно то, что другие зовут так вежливо демократическим прогрессом, либеральными реформами и т. д.

Я же потому предпочитаю всем этим терминам мой термин — вторичного упрощающего смешения, что все поименованные названия имеют смысл гораздо более тесный, чем мое выражение; — они имеют смысл — политический, юридический, социологический, пожалуй, — не более, не

шире и не глубже. — Мой же термин имеет значение органическое, естественно-историческое, космическое, если угодно, — и потому может легче этих других перечисленных и несколько *подкупающих* терминов раскрыть, наконец, глаза на это великое и убийственное движение людям, в его пользу по привычке предубежденным.

Бокль хочет прежде всего разума; хорошо! — Будем же и мы *разумны* в угоду ему; не будем *подобно ему наивны и простодушны*; *постараемся назвать вещи по имени!*..
¹⁰ *Движение это есть*; оно несомненно, и *резкой* поворотной точки на *иной* путь мы еще ясно теперь не видим (то есть или мы этой точки не миновали еще, или не сознали поворота, не *приметили* — быть может); — пусть это движение неотразимо, даже и навсегда (допустим это на минуту), — но пойдем же именно *разумом*, суровым разумом, чуждым всяких иллюзий, всякой сердечной веры даже и в это *знаменитое* человечество и, поняв, назовем его откровенно и бесстрашно — *предсмертным смещением* составных элементов и преддверием *окончательного вторичного*
²⁰ *упрощения* прежних форм...

Это, я полагаю, более *разум*, чем добродушная вера в *средний класс и в промышленность!*

Теперь мы обратимся к *историку Шлоссеру*.

Вслед за политико-экономом Bastiat — последователем теории «laissez faire, laissez passer» в экономических вопросах, а *следовательно* отъявленным представителем индивидуализма и легальной, *средней*, так сказать, личной свободы в политике; за беллетристом Абу, который видимо любя прекрасное и желая сохранить его в искусстве, надеется в то же время, что главные условия вдохновения для художников: *мистическая религия, война, социально-государственное обособление* и простонародная свежая грубость (т. е. все не *среднее*) исчезнут с лица земли; вослед за Боклем, историком, претендующим как будто бы на объективность и беспристрастие, а между тем не только явно расположенным к торгово-промышленному направлению современной

³⁰

жизни, но местами весьма страстно и враждебно относящемуся ко всему тому, что этому утилитарному направлению не благоприятно и не сродно (т. е. опять-таки к религии, аристократии, войне, самодержавию и простонародной наивности); — другими словами, после Бокля, которого мы вправе причислить без околичностей к людям весьма *тенденциозным*, все в том же *среднем*, либеральном духе, — мы изберем в среде западных писателей Шлоссера, одного из самых серьезных, из самых дельных и даже тяжелых, но несомненно заслуживающего почетного эпитета *беспри-¹⁰страстного* или объективного. — Я начну с того, что сделаю большую выписку из предисловия г. Антоновича, русского переводчика его «Истории XVIII столетия». —

Таков взгляд г. Антоновича как на дух исторической деятельности Шлоссера, так и на характер самого историка.

Шлоссера, действительно, нелегко обличить в резкой тенденциозности. — Можно, конечно, заметить, что он не расположен ни к аристократии, ни к той или другой ортодоксии, ни к поэзии мало-мальски чувственно-аристократической; — но, с другой стороны, нельзя его назвать безу-²⁰словно демократом или либералом; он охотно отдает справедливость и Наполеону I-му, и русским Самодержцам, и английской знати — там, где речь идет об энергии, способностях, силе, уменьи управлять; с другой — неблагоприятно относится к цинизму, издевающемуся над религиозной искренностью; не отвергает, конечно, и поэзии, — там, где она не оскорбляет его нравственного чувства. — Действительно, — уже самая трудность, с которой надо разыскивать нити этих личных взглядов Шлоссера в чрезвычайно густой³⁰ ткани его умного и тяжелого труда, туманность общего впечатления, выносимого из чтения его «Истории» — доказывают, что с этой стороны переводчик, пожалуй, прав, говоря, что если есть направление у Шлоссера, — то оно скорее всего *общенравственное*, чем политическое или какое-нибудь еще *другое*, одностороннее. — Но это *общенравственное начало*, эта *чистая эфика*, освобожден-

ная от всякой ортодоксии, от всякого *мистического* влияния, — не есть ли именно *эфика* все того же *среднего*, *буржуазного типа*, к которому хотят прийти нынче многое множество европейцев, сводя к нему и других посредством школ, путей сообщения, демократизации обществ, веротерпимости, религиозного индифферентизма и т. п.? — Это я постараюсь позднее доказать понагляднее, а теперь для начала спрошу, откуда же взял г. Антонович, будто из «Истории XVIII столетия» Шлоссера можно вывести, что «истинно полезными двигателями истории должны (читатели Шлоссера) признать людей простых и честных, темных и скромных, каких, слава Богу, всегда и везде будет довольно».

Ни из сочинения Шлоссера, ни из другой какой-нибудь мало-мальски здоровой книги нельзя вывести, что «люди простые и честные, темные и скромные» ведут за собою историю рода человеческого! — Вернее сказать было бы, что история вела за собой и двигала толпу этих «простых и честных» людей. — Или, можно было бы сказать, например, что «прогресс ведет человечество к безусловному торжеству этих простых и честных, темных и скромных людей».

Это и думают многие. — И хотя и на это можно было бы возразить многое, но так как подобная мысль есть все-таки более надежда на будущее, чем вывод из фактов прошедшего, то она могла бы иметь еще за себя шансы какого-нибудь правдоподобного или удачного пророчества, но как же можно утверждать, что *до сих пор было так*, что известную нам *историю прошлого* вели или двигали «простые и честные люди». — Правда, вооружившись эпитетом «полезные» двигатели, г. Антонович дает возможность свести рассуждение с вопроса о степени влияния «честной посредственности» — на вопрос — кто *именно полезный человек* и что такое сама *польза*; — но самая неясность и даже, пожалуй, неразрешимость этого вопроса для истинно мыслящего ума лишает мысль г. Антоновича этого оружия, сильного только для неопытных, мало-живших и мало-зна-

ющих людей. — И в самом деле — кто истинно *полезный человек*? — Остается пожать только плечами?

Человек *бескорыстный*? — Человек способный жертвовать собою для идеи или для другого человека? — Положим. — Но вот Бокль, тоже прогрессист, тоже стремящийся к чему-то среднему и в политике, и в морали, говорит, что *суеверие* (т. е. религиозность — по-нашему) и *верноподданничество* суть два сильных и *бескорыстных* чувства... А они очень *вредны* и по мнению самого Бокля, и, по всем признакам, по мнению г. Антоновича. 10

Бокль прямо говорит, и во многих местах, что подобные *бескорыстные*, рыцарские и самоотверженные чувства погубили Испанское Государство и что искренность и пламенная религиозность «простых и темных» пуритан сделала много вреда умственному развитию Шотландии.

Итак — бескорыстие, самоотвержение и тому подобные честные и высокие чувства и действия перед судом либеральных или демократических прогрессистов не могут быть во многих случаях критерием или признаком *пользы*.

Бескорыстие и самоотвержение останутся высокими личными свойствами, но при известном направлении их они скорее *вредны чем полезны* — по мнению либералов и прогрессистов. — Моральность субъективная, внутренняя не совпадает в этих случаях, по их же мнению, с пользой, с моральностью объективной, прикладной, с моральностью результата. 20

Кто же истинно *полезный человек*?

Шопенгауер говорит, что самый *моральный человек* это тот, кто самый *сострадательный*, добрый, кто во всех и во всем видит себя, всех жалеет, всякому *страданию* сочувствует. 30

Но Шопенгауер и его школа ведь не верят в общее *благоденствие*, в эвдемонический прогресс, во всеобщую пользу на земле?

Итак, что же делать, чтобы быть *несомненно полезным человеком*?

Изобретать *машины*? — По Боклю и ему подобным — это так.

По Преосвященному Никанору, который не менее Бокля учен или начитан, — это вовсе не так. — Яков Уатт по этому взгляду оказывается человеком гораздо более вредным, чем полезным.

И, повторим здесь еще раз: так как *новейшее* направление истории идет против *капитализма* и *неразрывного* с ним умеренного, *среднего* либерализма, то, вероятно, и ближайшие события пойдут не по пути купеческого сына Бокля, а по духу Епископа Никанора, по крайней мере с этой *отрицательной* стороны: против *машин* и вообще противу всего этого физико-химического умственного разврата, — противу этой страсти орудиями мира неорганического губить везде органическую жизнь, — металами, газами и основными силами природы — разрушать растительное разнообразие, животный мир и самое *общество* человеческое, должествующее быть организацией *сложной* и *округленной* наподобие организованных тел природы.

20

[II]

КАБЭ, ПРУДОН И ГЕРЦЕН

После Bastiat, Абу, Бокля и Шлоссера, людей бо(лее) или менее умеренных, хотя и довольных тем, что все идет *под гору* и к чему-то среднему, — возьмем людей недовольных и желающих ускорить смешение и однообразие.

Одного — такого, который желает *упрощения* деспотического, равенства крайнего без свободы, деспотизма всех над каждым; — а другого, желающего *упрощения* свободного; равенства без деспотизма.

30 Первый коммунист из коммунистов — Кабе. — А второй — Прудон, который нападал на охранителей за их бессилие, на либералов средних за их противоречия и недобросовестность; на социалистов вроде Сен-Симона и Фурье за

удержание некоторого неравенства и разнообразия в общественном идеале, а на коммунистов вроде Кабе — за их принудительное равенство.

В идеальном Государстве «Икарии», созданном коммунистом Кабе, — конечно, не могло бы быть никакого разнообразия в образе жизни, в роде воспитания, во вкусах; вообще не могло бы быть того, что зовется «развитием личности». — *Государство в Икарии делает все.* — Но Государство это выражалось бы, конечно, не в лице Монарха, не в родовой аристократии, а в каких-нибудь выборных от народа, одного воспитания с народом, одного духа с ним, выборных, облеченных временно в собирательном лице какого-нибудь совета неограниченной властью. — Разумеется — каждый бы член такого совета не значил бы ничего; но все вместе были бы могущественнее всякого Монарха. — Идеал этого рода именно и рассчитывает на высшую степень однообразия, на господство всех над каждым через посредство избранного, республикански-неограниченного Правительства.

Различие людей в таком идеальном Государстве было бы только по роду мирного ремесла. — Общее же воспитание должно бы быть вполне одинаковое для всех. — Собственности никакой. — Все фабрики, все общественные заведения — от казны. — Личному вкусу, личному характеру не оставалось бы ничего. — Единственный личный каприз, о котором упоминает Кабе и которому он покровительствует, — это скрещивание лиц с разными темпераментами и физиогномиями. — «Брюнет ищет блондинку; — горец предпочитает дочь равнин» и т. д. — Но и это ведь ведет к скорой выработке некоего общего среднего типа, который должен стереть все резкости, выработавшиеся случайно в данной стране до подобной коммунистической реформы; — т. е. тоже к однообразию. Сверх предваряющих мер однообразного воспитания, однообразной обстановки, однообразной жизни, — Государство в Икарии берет и строгие карающие меры, против всякого антикоммунистического мнения. — К однообразию, внушенному воспитанием и

поддерживаемому всем строем быта, — оно прибавляет еще упрощающее средство *всеобщего страха*.

Точно то же мы встречаем и в «Манифесте равных» известного Бабёфа.

Вот теперь выписки из Прудона.

Обыкновенно говорят, что Прудон умел только разрушать, не создавая ничего нового, не предлагая ничего положительного. — Это правда, что у него нет ни полной, готовой, законченной до подробностей картины идеального устройства общества, — нет ничего подобного социальным картинам Платона, Кабе или Фурье; нет и тех мелко-практических, паллиативных советов, которые в таком множестве встречаются у других, особенно не-радикальных писателей; — но из всех сочинений его, несмотря на все кажущиеся противоречия его, вытекает ясно одна идея, одна цель: «высшая степень равенства, в высшей степени свободного».

Особенно ясно это видно в его книге: «Исповедь революционера».

Книга эта начинается так:

«Пусть все Монархи Европы составят союз против народов.

Пусть викарий Христа (Папа) предаст свободу анафеме.

Пусть республиканцы гибнут под развалинами своих городов!

Республика остается неизменным идеалом обществ, и оскорбленная свобода воссияет снова как солнце после затмения».

Далее он отвергает правило, принятое многими радикалами на Западе: *Социальная революция есть цель; политическая революция есть средство*; — и говорит напротив того: политическая революция (т. е. окончательная идеальная выработка формы самоуправления народного) есть цель; а средство есть реформа *социальная*; т. е. надо действовать, прежде всего приготавливая массы народа правильным воспитанием, и тогда формы политического идеала создадутся сами собою, общим гением народа. — Идеал

этот — *анархия*. — Но не то, что мы переводим *безначалие*, т. е. беспорядок, бунт, грабеж и т. п., а, так сказать, постоянное правильное *безвластие*. — Поэтому Прудон и судит очень строго социалистов и коммунистов: Луи Блана, Кабе, Овена и других им подобных за то, что они хотят действовать средствами правительственными, *властью* на неприготовленные массы и в самом идеале своем не умеют обходиться без власти, «*sans un pouvoir fort*», без абсолютизма.

«Мой идеал, говорит он:

— Нет более *партий*!

— Нет более *властей* (никаких, ни даже республиканских).

— Абсолютная свобода человека и гражданина».

Этого Прудон думает достигнуть *однообразием*, *упрощением* еще большим, пожалуй, чем Бабёф и Кабе; ибо у тех еще предполагаются люди, хотя бы временно облеченные *властью* и *отделяющиеся* этим от избравших их безвластных граждан; — и подразумевается возможность недовольств или *своеобразия* мнений, за которое будут изгонять или наказывать. — У Прудона *и этого нет*. — Все будут прочным воспитанием приучены жить мирно и, так сказать, научно-правильно без помощи и страха властей.

Потом, описавши с большой ясностью и огромным талантом, как и почему не удалась социаль(ная) революция 48 года, в которой он и сам был столь видным деятелем, — Прудон кончает свою книгу *апофеозой среднего сословия* (*de la classe moyenne*). — Так названо это заключение.

«Вот уже около 2-х лет все старые партии, правой и левой стороны, более и более роняют себя, унижаются (*ne cessent de se déconsidérer*).

Правительство больше и больше разлагается. — Революция (т. е. прогресс) более и более разливается, все сильнее, по мере усиления преследований.

Старое общество, в своей тройной формуле: религии, Государства и капитала, — сгорает и пожирается с поразительной быстротою.

И всего страннее в этом всеобщем разложении то, что оно свершается, так сказать, под неким внутренним, незримым давлением, вне всяких людских советов, несмотря на энергическое сопротивление партий, вопреки протесту даже и тех, которые до последнего времени гордились именем революционера!»

«Ибо, говорит он ниже, революция (т. е. прогресс) XIX века не родилась из недр той или другой политической секты; она не есть развитие какого-нибудь одного отвлеченного принципа; — не есть торжество интересов какой-нибудь корпорации или какого-нибудь класса. — Революция — это есть неизбежный (фаталистический) синтез всех предыдущих движений в религии, философии, политике, социальной экономии и т. д. и т. д. — Она существует сама собою, подобно тем элементам, из которых она выработалась (*qu'elle combine*); она, по правде сказать, приходит ни сверху (т. е. ни от разных Правительств), ни снизу (т. е. и ни от народа); она есть результат истощения принципов, противоположных идей, столкновения интересов и противоречий политики, антагонизма предрассудков; — одним словом, всего того, что наиболее заслуживает название нравственного и умственного хаоса!»

Сами крайние революционеры, замечает не раз Прудон, испуганы будущим и готовы отречься от революции; — но «отринутая всеми и сирота от рождения — революция может приложить к себе слова Псалмопевца: „Мой отец и моя мать меня покинули; — но Предвечный принял меня под Покров Свой!”»

Какая же цель этого странного движения? — Высшая степень упрощения и больше ничего!

Для того чтобы достичь этого неслыханного равенства в быте, в образе жизни, в умственном развитии даже (см. «*Contradictions économiques*»), Прудон советует покинуть все эклектические теории умеренных людей, все полумеры, идти смело на пути всеразрушения, чтобы скорей достигнуть идеала всеобщего благоденствия и... однообразия.

«Итак (говорит он в конце той же книги) мы должны покинуть теоретическое *juste-milieu*, чтобы спасти *juste-milieu* реальное (*matériel*), этот постоянный предмет наших усилий».

«Дабы завоевать и утвердить эту золотую середину, этот залог нашего политического и религиозного равнодушия, — нам надо теперь восстать с твердой решимостью против этой нерадивости ума и совести, которой под именем эклектизма*, *juste-milieu*, умеренного либерализма, умеренного революционерства (*tiers parti*) до сих пор мы отдавали 10 преимущество перед крайностями. — Склони главу твою, дерзкий галл! — Будь теперь крайним, чтобы стать средним! — Помни, что без точности в принципах, без непреклонной логики, без абсолютизма учений нет для нации ни умеренности, ни терпимости, ни равенства, ни обеспеченности (*sécurité*).

Социализм, как все великие идеи, которые, охватывая всецелость общественного строя, могут быть рассматриваемы с разных точек зрения, — социализм не есть только уничтожение нищеты, упразднение капитала и заработной 20 платы, правительственная децентрализация, организация всеобщего голосования и т. д. и т. д. ..., — он есть во всей точности термина организация (конституция) средних имуществ, всеразлитие среднего класса».

Книга кончается следующим возгласом: «Старые партии не могут согласиться: решение ускользает от них; они бессильны. — Завтра они будут предлагать свои услуги (социализму?)... Якобинизм обращается мало-помалу к социализму; вступает на путь истинный (*se convertit*); Цезаризм колеблется (*fléchit*); претенденты Королевства заискивают у 30 народа; Церковь, как старая грешница на краю гроба, ищет

* Он, конечно, говорит здесь преимущественно об эклектизме в вопросах общественных, т. е. об одновременном желании и сохранить хоть что-нибудь из старого, и от нового не отстать, сохранить что-нибудь из преданий Церкви, власти и т. д., из привычек, капитала и т. п. и вместе с тем не отказываться и от революции...

примирения. — Великий Пан умер! — Боги удалились; Цари уходят: привилегии гибнут; весь мир идет в работники. — С одной стороны, стремление к комфорту (*bien-être*) отучает толпу от грубого санкюлотизма; с другой, аристократия, в ужасе от малочисленности своей, спешит укрыться в рядах мелкой буржуазии.

Франция, более и более обнаруживая свой истинный характер, увлекает за собою мир, и Революция, торжествуя, является воплощенной в среднем классе».

¹⁰ NB. Заметим мимоходом, что это выписано из издания 49 года. — И что же? — разве последние события на улицах Парижа не доказали, что Прудон был прав, предчувствуя все большее и большее падение той буржуазии, которая своим исключительным воспитанием, богатством и властью — не дает всем стать мелкими буржуа?

Хорошо по этому поводу, хотя и с отчаянием при виде разгрома Франции, выразился при мне один французский дипломат:

— Нет, — сказал он, — мы не возродимся более! —

²⁰ Наше дворянство правило Францией со славой около 1000 лет; буржуазия наша низвергла его и сама устарела и износилась в полвека!

Стремления Прудона к полному однообразию жизни и характеров видны более или менее во всех его книгах. (См. «*De la justice*». — «*Ce que c'est que la propriété*». — «*Contradictions économiques*».)

В одном месте последнего сочинения он хвалит расположение простолюдинов нынешних к роскоши и комфорту; говорит, что увеличение их потребностей облагораживает их и ведет человечество ко всеобщему равенству во всеобщем умеренном благоденствии.

В другом он ищет того же равенства для ума и таланта.

«Все люди равны в первоначальной общине, — говорит он, — равны своей наготой и своим невежеством». — «Общий прогресс должен вывести всех людей из этого первобытного и отрицательного равенства и довести до равенства положительного, не только состояний и прав, — но

даже талантов и познаний». — «Иерархия способностей должна отныне быть отвергнута как организующий принцип: равенство должно быть единственным правилом нашим и оно же есть наш идеал. — Равенство душ, отрицательное вначале, ибо оно изображает лишь пустоту, должно повториться в положительной форме, при окончании (?) воспитания человеческого рода!»

Еще выписки.

«Стремление к роскоши в наше время, при отсутствии религиозных принципов, движет обществом и раскрывает (révèle) перед низшим классом чувство его собственного достоинства». — «По мере развития своего ума работник будет все более и более революционером; он будет более и более стремиться изменить все основы нынешнего общественного быта».

«Без умственного полного равенства работа всегда будет для одних привилегией, а для других — наказанием».

Я полагаю, что этих цитат достаточно для объяснения, к чему стремится учение Прудона. — Идеал очень ясен и положителен. — И я думаю, что те люди, которые говорят, что он только отрицатель гениальный, говорят это не потому, что его идеал не ясен, а потому, что он им кажется невозможнее всякого другого идеала. — Хотя все в Европе уступают более или менее всеобщему стремлению к столь прославленной однообразной простоте, но здравый смысл и опыт шепчут многим, что без разнородности и антитез нет ни организации, ни движения, ни жизни вообще. — Заметим еще мимоходом, что Прудон строгий охранитель семьи, но семьи не как таинства религиозного, а как некоего рабочего контракта, в котором жена почти раба мужа. Муж раб<очий,> ж<ена> кухар<ка>; верность без страх<а> Божия, по долгу — катор<га> сем<ьи> по Герцену. Эта черта в нем очень оригинальна среди всеобщей снисходительности к женщинам.

Итак, о Прудоне мы кончили. — Мы видим, что ему не претит нисколько идеал крайней буржуазности и рассудочной простоты.

После Прудона, желающего подобно Базарову, чтобы все люди «стали друг на друга похожи как березы в роще», — я приведу мнение Герцена, его современника и бывшего даже чуть не единомышленником Прудона до тех пор, пока его не ужаснула та прозаическая перспектива сведения всех людей к типу европейского буржуа и честного труженика, которая так восхищала Прудона.

¹⁰ Герцену, как гениальному эстетичеку 40-х годов, претил прежде всего самый образ этой средней европейской фигуры в цилиндре и сюртучной паре, мелко-достойной, настойчивой, трудолюбивой, самодовольной, по-своему, пожалуй, и стоической и во многих случаях несомненно честной, но и в груди не носящей другого идеала, кроме претворения всех и вся в нечто себе подобное и с виду даже неслыханно прозаическое (еще со времен каменного периода)!

²⁰ Герцен был настолько смел и благороден, что этой своей аристократической безгливости не скрывал. — И за это честь ему и слава. — Он был специалист, так сказать, по части жизненной, реальной эстетики, эксперт по части изящества и выразительности самой жизни (так, например, ему в лорде Байроне нравилась сама жизнь его, его вечные скитания по одичалым тогда странам Южной Европы, по Испании, Италии, Греции и Турции; его молодечество, его тоска, его физическая сила в упражнениях, его капризная демагогия для демагогии, а не для настоящей политики; его оригинальная ненависть к своей отчизне, которой он, однако, был естественным продуктом с ног до головы...).

³⁰ Герцен и Прудон шли сначала вместе, но пути их быстро и радикально разошлись. Герцен — самая лучшая антитеза Прудона.

Прудону до эстетики жизни нет дела; — для Герцена эта эстетика — *все!*

Как скоро Герцен увидал, что и сам рабочий французский, которого он сначала так жалел и на которого так надеялся (для возбуждения новых эстетических веяний в истории) — ничего большего не желает, как стать поскорее

по-прудоновски самому *мелким буржуа*, что в душе этого рабочего загадочного нет уже ровно ничего и что в представлениях ее ничего нет оригинального и действительно *нового*, так Герцен остыл и к рабочему и отвернулся от него, как и от всей Европы, и стал верить больше после этого в Россию и ее оригинальное не европейское и не буржуазное будущее. — (Прав ли он в этом веров(ании) — не знаю.)

Герцен хотел *поэзии* и силы в человеческих характерах. — Того же хочет Дж.-Ст. Милль; — идеал Прудона,¹⁰ т. е. всеобщая *буржуазная ассимиляция* его ужасает; но он предлагает, как мы видели, невозможное лекарство: *дерзкую оригинальность мыслителей*, т. е. *своеобразие* и *разнообразие* мысли на социальной почве, среди общественной жизни, все более и более перестающей давать умам *разнообразные* и *своеобразные впечатления*. — Умственная оригинальность теперь в Европе возможна только на четырех путях: или 1.) оригинальность и смелость *отчаяния* в *будущности европейской*, или по крайней мере в *будущности* собственной страны, как, например, у Ренана (смот(ри) Н. Н. Страхова: «Борьба с Западом», т. I-ый) или у Прево-Парадоля* («La France démocratique»); или 2.) *отчаяние* в *будущности всего человечества*, как у последователей Шопенгауера и Гартмана; заметим, что слова забытого всеми Шопенгауера, который писал и даже печатал свои произведения еще *во время Гегеля*, возродились ныне в стране [*пропущено слово*] философии, — что в наше время *достаточной* буржуазной ассимиляции и ученик его Эд. ф(он) Гартман популяризировал это пессимистическое учение именно во времена повсеместного усиления в действительной жизни *звдемонического* прогресса *всесветной демократии*. — Или 3.) оригинальность европейской мысли должна искать себе какого-нибудь вдохновения за пределами Романо-Германского общества, в России, у мусульман, в Индии, в Китае; к чему попытки бывали уже не раз. —²⁰
³⁰

* Об нем будет еще кое-что позднее. — Авт(ор).

Или наконец 4.) в области *мистической* (спиритизм, медиумизм и т. п.; переходы в Православие или в иную не Западную веру и т. д.).

III

РИЛЬ И ГИЗО

После Кабе, Прудона и Герцена обратимся к англичанину Дж(ону)-Стюарту Миллю, который всего ждет от *своеобразия* и *разнообразия* людских характеров, справедливо полагая, что при разнообразии и глубине характеров и про-
¹⁰изведения ума, и действия людей бывают глубоки и сильны. — Его книга «О свободе» именно с этой прямой целью и написана; ее бы следовало назвать не «О свободе», а «О разнообразии».

Милль сделал это или из осторожности, полагая, что в таком более *обыкновенном* и простом названии будет более приманки современной рутине; или он и сам ошибся, считая необходимым условием *разнообразного* развития характеров *полную политическую и полную бытовую свободу*; —
²⁰устранение всех возможных препятствий со стороны Государства и общества. — Как англичанин со стороны Государства он спокоен; — но нападает на деспотизм общественного мнения, на стремление нынешнего общества «*сделать всех людей одинаковыми*».

«Общественное мнение в Англии — это не что иное, как мнение среднего класса», — говорит он. — «В Соединенных Штатах это мнение большинства всех людей *белой* кожи; во всяком случае большинство есть не что иное, как собирательная бездарность (*une médiocrité collective*)».

«Все великое, — говорит он в другом месте, — было в
³⁰истории сделано *отдельными лицами* (великими людьми), а не толпою».

Эпиграфом своей книги он ставит ту же мысль о необходимости *разнообразия*, которую первый выразил Вильг(ельм) фон Гумбольдт в давным-давно забытой и почти

неизвестной книге «Опыт определить границы влияния Государства на лицо».

«Цель человечества, — говорит В. фон Гумбольдт, — есть развитие в своей среде наибольшего разнообразия. — Для этого необходимы: свобода и разнообразие положений».

Книга В. фон Гумбольдта писана еще в конце прошлого столетия, когда государственное начало было везде очень сильно (и в руках революционного Конвента еще сильнее чем у Монархов), и потому В. фон Гумбольдт боится, чтобы Государство не задушило свободы лица развиваться своеобразно; — а Дж.-С. Милье гораздо больше боится общественного мнения и общей современной рутины, чем государственного деспотизма. — В этом он, конечно, прав, но как мы ниже видим, продолжая, как и все либералы, верить в *европейский прогресс* и не понимая, что (для самой Европы по крайней мере) прогресс есть не что иное, как неизлечимая, предсмертная болезнь *вторичного смесительного упрощения*, он изыскивает для излечения вовсе не подходящие средства.

Будем продолжать выписки из его книги:

Заботы моралистов и многих честных буржуа, заботящихся *только о том*, чтобы народ работал смирно и не пьянствовал, — эти заботы он зовет со злобой «une marotte humanitaire de peu de conséquence».

Он приводит слова Токвиля о том, что «французы позднейших поколений гораздо больше похожи друг на друга, чем их отцы и деды», и жалуется, что нынешние англичане, по его мнению, еще однообразнее французов.

И еще вот что говорит Милье об Европе.

«В прежнее время в Европе отдельные лица, сословия, нации были чрезвычайно различны друг от друга; они открыли себе множество разнообразных исторических путей, из коих каждый вел к чему-нибудь драгоценному; и хотя во все эпохи те, кои шли разными путями, не обнаруживали терпимости друг к другу, хотя все они сочли бы прекрасным сделать всех других насильно схожими с самими собою; од-

нако взаимные усилия их помешать чужому развитию редко имели прочный успех и каждый, в свою очередь, вынужден был, наконец, воспользоваться благом, выработанным другими. — По-моему, Европа именно обязана этому богатству путей своим разнообразным развитием. — Но она уже начинает в значительной степени утрачивать это свойство (преимущество). — Она решительно стремится к китайскому идеалу — сделать всех одинаковыми».

И далее:

¹⁰ «Условия, образующие различные классы общества и различных людей и создающие их характеры, — с каждым днем всё становятся однообразнее».

«В старину люди различных званий, разных областей, разных ремесел и профессий — жили, можно сказать, в различных мирах. — Теперь они живут почти в одном и том же мире. — Теперь, говоря сравнительно с прежним, они читают одно и то же, слышат одно и то же, видят одинакие зрелища, ходят в одни и те же места; их страх и надежды обращены на одни и те же предметы; права их одинаковы; ²⁰ вольности и средства отстаивать их одни и те же. — Как бы ни велики были еще различия в положениях, — эти различия — ничто перед тем, что было прежде. — И „ассимиляция“ эта все растет и растет! — Все нынешние политические перевороты благоприятствуют ей, ибо они стремятся возвысить низшие классы и унижить высшие. — Всякое распространение образованности благоприятствует ей, ибо эта образованность соединяет людей под одни и те же впечатления и делает вседоступными *общий запас знаний и общечеловеческих чувств*. — Все улучшения путей ³⁰ сообщения помогают этому, ибо приводят в соприкосновение жителей отдаленных стран. — Всякое усиление торговли и промышленности помогает этой *ассимиляции*, разливая богатства и делая многие желаемые предметы общедоступными. — Но что всего сильнее действует в этом отношении — это установленное везде могущество общественного мнения (т. е. как выше было сказано — *мнение собирательной бездарности*). — Прежде различные не-

ровности и возвышенности социальной почвы позволяли особам, скрытым за ними, презирать это общее мнение; теперь все это понижается, и практическим деятелям и в голову не приходит даже противиться общей воле, когда она известна; так что для не-конформистов нет никакой общественной поддержки. — *В обществе нет уже и теперь независимых властей, которые могли принять под свой покров мнения, противные мнению публики*».

«Соединение всех этих причин образует такую массу влияния враждебного человеческому своеобразию, что ¹⁰ трудно вообразить себе, как оно спасется от них. — Если права на своеобразие (индивидуальность) должны быть когда-либо предъявлены, — то время это делать теперь, ибо ассимиляция еще не полна. — Когда же человечество сведется все к одному типу, — все, что будет уклоняться от этого типа — будет ему казаться безнравственным и чудовищным. — Род людской, отвыкнув от зрелища жизненного разнообразия, утратит тогда всякую способность понимать и ценить его».

Какие же средства предлагает Миль к исправлению ²⁰ этого зла?

«Одно остается, говорит он, чтобы самые замечательные мыслители Европы были бы как можно смелее, оригинальнее и разнообразнее».

Возможно ли мыслителям быть оригинальными и разнообразными там, где «почва» уже однородна и не нова? — Он доказал на себе, что это невозможно, — являясь крайне оригинальным, как отрицатель того, что ему в прогрессе не нравится, именно смесительные упрощения наций и сословий и людей, он сам становится очень дюжинным челове- ³⁰ ком, когда пробует быть положительным и рисует идеалы. — В книге своей «*Le gouvernement représentative*» — он является самым обыкновенным конституционалистом; — предлагает какие-то ничтожные новые оттенки — в сущности опять-таки уравнивающего свойства (напр<имер>), чтобы и меньшинство могло влиять на дела так же, как и большинство, и т. п.); — не выносит идеи Самодержавия и кле-

вещет точно так же, как и Бокль, на великий век Лудовика XIV; — не терпит и демократической грубости наций более молодых, как Америка или Греция, у которых представители еще не совсем задохнулись от средне-джентельменского общественного мнения и потому дерутся иногда в палате. — Значит — самый обыкновенный, приличный «*juste-milieu*». — В книге «О правах женщин» он является тоже очень обыкновенным человеком; — хочет, чтобы женщина стала менее *оригинальной*, чем была до сих пор, чтобы стала меньше женщиной, чтобы более походила на мужчину. — Хочет и картину семьи *упростить* и уравнивать; только не сурово-буржуазно, как хочет этого Прудон, а с несколько нигилистическим распущенным характером. — К религии вообще он относится сухо и нередко враждебно, забывая, что ни конституция, ни семья, ни даже коммунизм без религии не будут держаться; — ибо английская и американская конституции выработались преимущественно от религиозных верований и борьбы; — и семья без иконы в углу, без пенатов у очага, без стихов Корана над входом —
10 есть не что иное, как ужасная проза и даже «каторга», по замечанию Герцена; — Милль словно и не знает того, что *общины*, которые держались твердо и держатся до сих пор: духоборцы, скопцы, монастырские киновии, анабаптисты, квакеры, мормоны — все держатся *верой* и *обрядом*, а не одним расчетом и практическим благонаравием. — Общества же вроде Нью-Лапорка Овена разлетелись в прах.

В своей политической экономии Милль очень интересен, но опять не столько там, где он является *созидателем будущего*; там он осторож(ный) лишь подражатель французским социалистам; — а больше там, где он как простой и добросовестный наблюдатель изображает *реальное положение* дел в разных странах; в тех главах, где он говорит о фермерстве разного рода, о положении крестьян и характере работников в разных странах Европы и т. п. К тому же и тут, как и у всех либералов и прогрессистов, на знамени стоит «*благоденствие*» и больше ничего. — Есть, однако, и тут у него одно место, которое, действительно, очень ори-
30

гинально и смело в книге, заботящийся об агрономии. — Это то, где Миль уговаривает людей перестать слишком тесниться и слишком заселять и обрабатывать землю...

«Когда последний дикий зверь исчезнет, — говорит он; — когда не останется ни одного дикого и свободного леса, — пропадет вся глубина человеческого ума; ибо не подобает человеку быть постоянно в обществе ему подобных, и люди извлекли давно уже всю пользу, которую можно было извлечь из тесноты и частых сообщений».

Но как же при мирном прогрессе без падения и разгрома слишком старых цивилизаций остановить бешенство бесплодных сообщений, которое овладело европейцами; как утишить это воспалительное, горячее кровообращение дорог, телеграфов, пароходов, агрономических завоеваний, утилитарных путешествий и т. п.? — Средство одно — желать, чтобы прогресс продолжал скорее свое органическое развитие и чтобы воспаление перешло в нарыв, изъязвление или антонов огонь и смерть, прежде чем успеет болезнь привиться всем племенам земного шара!

А Миль говорит там и сям, что в прогресс нельзя не верить. — И мы, правда, верим в него; — нельзя не верить в воспаление, когда пульс и жар, и даже движения судорог сильны, и сам человек слаб...

После этого прекрасного замечания Милля против заселения и обработки земного шара — нам будет легко перейти к Рилью, немецкому публицисту, который думает о том же уж не мимоходом, а целыми такими книгами, как «Land und Leute».

Я не имею под рукой теперь ни самой книги Рилья, ни чьей-нибудь статьи об этом сочинении; — и потому все, что я скажу об нем на память, будет верно только в общих чертах. В книге «Land und Leute» Риль жалуется, что в средней Германии умы, характеры и, вообще говоря, люди измельчали и как-то смешались во что-то неопределенное и бесцветное; произошло это от многолюдства, тесноты, множества городов, удобства сообщений и т. п. Он придает большое значение лесу, степным пространствам, го-

рам; одним словом, всему тому, что несколько обособляет людей, удаляет их друг от друга и препятствует смешению в одном *общем типе*. — Только крайний Север Германии и крайний Юг ее, по мнению Риль, имеют еще некоторую глубину духа (*имели*, вероятно, и едва ли иметь будут надолго; — «*претворение всего в одно — идет и идет вперед*», — как выразился с ужасом Милль). — На Юге есть высокие горы и большие леса, говорит он, и потому люди еще не совсем стали похожи на людей средней Гер-
10 мании. — У них есть еще глубина духа, даровитость и своеобразие. — В средней Германии — только в *прирейнских* виноградниках, а не в городах есть у людей что-то свое (*кажется* — он говорит, особый юмор или особая веселость).

Боюсь, чтобы кто-нибудь не принял этот вопрос за *политическую децентрализацию!*

К. Аксаков (*кажется*) жаловался на то, что северо-американцы все до одного *отравились политическим принципом, приняли слишком много государственности внутрь*.
20 Есть теперь и русские такого рода в обилии. — Боюсь, чтобы кто-нибудь не подумал с либеральной невинностью, — что стоит только на Кавказе или в Туркестане завести земские учреждения и ограничить власть Губернаторов, чтобы эта *глубина духа* явилась тотчас же. — Но Риль говорит о *своеобразии*, а не *свое-власти* или о самоуправлении! — *Раб* и [*слово пропущено*].

Земские учреждения могут быть и полезны, и хороши, но если будет у нас глубина духа и даровитость, то вовсе не от них, а от иных, более серьезных причин. — Г. Кошелев,
30 например, говорят, был полезный деятель земских учреждений, но глубины в его статьях нет никакой; — все дно видно, и премелкое дно! — Например, в статье, напечатанной в «Беседе», «Что нам нужно?» (Совсем не то нужно, г. Кошелев; — нужна *правда*, говорит он, но больше *философская*, чем *юридическая*; юридическая правда не излечит нас от европеизма!) А все снош(ения) в эт(их) зем(ствах) [*предложение не дописано*].

Риль в этом случае думал о своеобразии провинциальной жизни потому, что смешение и *упрощение* людей средней Германии в одном общем и мелком типе ему так же не нравится, как не нравится Миллю всеобщее индивидуальное *упрощение* Англии и континентальной Европы. — Риль заботится не только о своеобразии и бытовой отдельности провинций; — он заботится точно так же и об *отдельности и своеобразии сословий*. — Очень ясно это изложено у него в книге его «Четвертое сословие, или пролетариат». — В этой книге он даже приводит злорадно мнение немецких крестьян о железных дорогах; — он уверяет, что в некоторых местностях они смотрят на них, как на новый вид Вавилонского столпотворения, на пагубное смешение языков, и *дерзает даже видимо сочувствовать им*. — Быть может, были такие крестьяне в то время, когда он писал свою книгу (я не знаю, когда она вышла); но я недавно видел уже и на утесах живописного Зёммеринга *крестьян в цилиндрах, ждущих поезда с зонтиками под мышкой*. Бедный Риль! бед(ный) Зём(меринг), бед(ная) при(рода), бедн(ый) человек под лич(иной) «честн(ого) буржуа»! ¹⁰

Дж.-Ст. Милль предлагает средство невозможное и непригодное — своеобразие и разнообразие европейской мысли без разнообразия и своеобразия европейской жизни.

Риль с этой же целью советует как бы нечто лучшее: по возможности долгое сохранение *старых общественных групп и слоев*; предостерегает от дальнейшего смешения. — Действительно, только при этом условии возможно некоторое подобие того, о чем заботится и сокрушается Милль; — но, во-1-х, Риль сын своего народа и своего века; — он не в силах уже идти *далее простого охранения старого*, — имеющегося налицо. — Оттенки групп Северной Пруссии, Баварии, Тироля, Рейна и т. п. Все это больше и больше сглаживается; а *совершенно новых*, но глубоко разделенных групп и слоев он не может себе вообразить и не трудится. — И по отношению к Западу и своей отчизне — он прав. — *На старой почве, без нового племенного прилива или без новой мистической религии* — ²⁰

это невозможно. — Когда на развалинах Рима и Эллады образовались новые культурные миры Византии и Западной Европы, то, во-1-х, в основании легла новая мистическая религия; во-2-х — предшествовало этому могучее племенное передвижение (переселение народов) — на Востоке для образования Византии — меньше, на Западе — больше; и, в-3-х, образование нового культурного центра — Византии на Босфоре. — Христианство, новая религия для всех, для Востока и Запада; для Запада — центр старый, но обновленный иноземным племенным приливом; — для Востока — племя старое, греческое, гораздо менее обновленное иноземцами; но отдохнувшее, так сказать, в долгом застое идей, и центр совершенно новый — Византия.

Ничего подобного в Европе Западной нет и пока не предвидится.

Риль поэтому прав вообще, что нужны пестрые группы как для образования особых, общих, крепких типов, однородных в каждой группе отдельно взятой, своеобразных при сопоставлении с другими группами и слоями; так и для богатой формации отдельных типов и для содержательности самих произведений ума и фантазии. — Так, например — монах, похожий на других людей своей сословной группы, на монахов, — становится очень оригинален как только мы его сравним с членом другой, довольно однородной в самой себе сословной группы, положим, с солдатом; так малоросс, сохранивший все главные психические и бытовые черты своей провинциальной или этнологической группы, не особенно оригинальный у себя дома, чрезвычайно оригинален, если его сравнить с великороссом крестьянином, представителем другой местной группы и т. д.

Тип, смешанный из двух равно крепких, имевших время устояться типов, — выходит нередко в своем роде прекрасный. — Таковы, например, выходившие прежде у нас хорошие монахи из старых солдат. — Таковы бывали у нас же дворяне, Генералы из мужиков, поповичей или простых казаков: старый Скобелев, Котляревский, Граф Евдокимов; или даже Генералиссимусы из московских пирожни-

ков, подобно Меншикову. Таков был Наполеон I-ый из семьи бедных, *закоснелых корсиканских дворян*.

Чем бледнее будут цвета составных частей, — тем ничтожнее и серее будет и сложный из этих цветов психический рисунок; чем *отдельнее* будут социальные слои и группы, чем их обособленные цвета гуще или ярче, чем их психический строй тверже (т. е. обособленнее), чем неподатливее на чужое влияние, — тем и выше и больше будет случайный, *вырвавшийся* из этих групп и прорвавший эти слои — сложный психический или вообще исторический продукт. — (Например, Лютер из Католичества.) *Это и бывает, заметим, в первые года скорого смешения*; например — так было во Франции от 80-х годов XV[III] столетия до 40-х годов нашего века. — Влияния старых групп и слоев еще не погибли, требования новых идей и стремлений заявили себя с необычайно бурной силой. — Смешение насильственное произошло и дало сначала трагически — героев террора, потом Наполеона и его Генералов; Ж. де Местра, Шатобриана, Беранже и т. д. ... Смешение продолжалось; цвета обособляющие стерлись еще более; все примирились, притёрлись и *выцвели*.

Как же быть, чтобы *посредством* или сохранившихся, или образовавшихся рилевских групп достичь того, чего бы желали Герцен и Миль — силы и своеобразия характеров?

Нужно, чтобы дальнейшая жизнь привела общество к меньшей *подвижности*; — нужно, чтобы смешение или ассимиляция сама собой постепенно приутихла. — Другого исхода нет, не только для Запада, но и для России, и для всего человечества.

Вот что думает и печатает Риль.

Кажется, что я набрал довольно хорошие доказательства тому, что все европейские мыслители подтверждают факт *современного смесительного упрощения Европы*; но одни — в ужасе от этого явления (Миль, Риль); другие довольны; а третьи говорят, что недостаточно еще просто,

что надо полную свободу в полном равенстве (Прудон и вообще крайние демократы).

Посмотрим, что говорит Гизо. — Лучшим источником могут нам служить его лекции «О цивилизации в Европе и во Франции». — В них с наибольшей ясностью и силой выразился его дух.

Во-1-х, как он определяет цивилизацию?

«Цивилизация, говорит он, состоит из двух моментов; из: 1.) развития лица, индивидуума, личности в человеке и 2.) развития общества». — Идея, которая, как мы доказали на основании естественных наук, несовместима со вторичным старческим смешением и упрощением, с бесцветностью лица и с сме(си)тельн(ою) простотою, т. е. с ст(арческой) однор(одностью) общества. — Высшее развитие по-нашему (т. е. по фактам естествоведения) состоит из наибольшей сложности с наибольшим единством. — (Замечательно, что этому определению идеи развития в природе вещественной соответствует и основная мысль эстетики: единство в разнообразии, так называемая гармония, в сущности не только не исключаящая антитез и борьбы, и страданий, но даже требующая их.) Поэтому высшая степень цивилизации, если только мысль Гизо совпадает с нашей, должна бы состоять из подчинения весьма разнообразных, сложных, более или менее сильных неделимых — весьма мудрому, глубокому (т. е. сложно-задуманному или инстинктивно-уловленному и все-таки сложно-чувствуемому) общественному строю. — Из разных определений и картин, которые он предлагает в I-ой части своего труда «О цивилизации», мы видим, что он очень далек от боклевской наивности. Он находил, например, что общество ныне развито и сильно, но жаловался, что лицо современное несколько слабо. (Наши нигилисты? — Разрушители?)

Гизо верил ошибочно в прочность буржуазного порядка дел, которого он был волею и неволею представитель, и потому думал, что общество современное, его влияние и власть прочно и сильно. — 48-ой год доказал ему его

ошибку насчет общества; и вместе с тем подтвердил, что лицо стало ничтожнее. — Кто же станет сравнивать революционеров 48 года с революционерами 89 и 93 годов XVIII века? — Аристократизм реставрации со знатью прошлого в Европе? — Теперешнее положение дел во Франции подтверждает то же еще сильнее — т. е. что прогресс Франции не есть развитие, не есть пышность в единстве; а есть простота однообразия в разложении. — Ничтожные лица, полинялые люди, поверхностные, не сложные, имеющие в себе мало ресурсов, стремятся растер-¹⁰ зать общество бессильное, уже весьма упрощенное против прежнего своим уставом, своей организацией.

Есть еще другая идея в книге Гизо; — очень важная и нам крайне пригодная. — Он первый заметил, что Франция имеет в среде других государств и народностей Запада ту особенность, что у нее яснее и определеннее вырабатывались одно за другим те начала или те элементы, которые более запутанно и смутно проявлялись у Германии, Англии и т. д. Поочередно во Франции и с величайшей силой и ясностью²⁰ царствуют Церковь, Дворянство, Король и, наконец, буржуазия. — У других народов все это действует смутнее и смешаннее, и потому, действительно, правы те, которые думают, что, зная хорошо историю Франции, можно уже иметь понятие об истории всего Запада, а зная хорошо историю одной Германии или одной Испании — Европы знать не будешь, и даже и эти частные истории поймешь смутнее, чем понял бы их тогда, когда стал бы читать их после знакомства с ясной и резкой историей Франции. — Последствия оправдали Гизо; теперь хочет царствовать³⁰ работник, — и кто же верит в прочность нынешней Якобинской республики; — она должна выйти гнилее 2-ой Империи и за ней последовать должно или ужасное разорение, или торжество чрезмерной простоты уставов и быта; — гниение или окостенение; — насильственная смерть или постепенное обращение во вторичную простоту скелета, обрубленного бревна, высушенного в книге растения и т. п.

Мы сказали, что во Франции царствовали поочередно: Церковь, Дворянство, Король, среднее сословие, и теперь хочет царствовать *работник*. — Над чем же он стал бы царствовать в коммунистической республике, если бы этот идеал осуществился, хотя бы и ненадолго? — Конечно — над самим же собой; — все — более или менее работники. — Нет Церкви; нет Дворянства; нет Государя; нет даже большого Капитала. — Все над всеми; или, как уже не раз говорили: *воля всех над каждым*. — Чего же про-
¹⁰ще, если бы это могло устоять?

Гизо, мы сказали, не желал такого рода упрощения; — он был не демократ в политике и не реалист в философии; он был аристократ в политике и христианин в чувствах. — Сверх того Гизо одарен высоким классическим (т. е. латино-греческим) образованием. — Буржуазию и капитал он поддерживал только по необходимости потому, что у него не было другого лучшего охранительного начала под рукою во Франции; — он завидовал Англии, у которой еще есть Лорды. — Итак, хотя он ничего не писал *прямо* о смешении,
²⁰ничего не говорил об этом ясного, однако и его сочинения, и сама политическая роль его подтверждают наше мнение, что Франция смешивается и принижается, а за нею и вся Европа.

Гизо, в своем сочинении «История цивилизации в Европе и во Франции», приближается несомненно скорее к таким мыслителям, как Дж.-Ст. Милль, В. фон Гумбольдт и Риль, — чем к умеренным либералам и т. п. — Он не говорит прямо, как двое первых писателей, что цель человечества есть наибольшее разнообразие личных характеров и
³⁰общественных положений; и не сокрушается, подобно Рилью, об уничтожении разнородности общественных, провинциальных и сословных групп; но он гораздо больше говорит о *развитии*, чем о *благоденствии* и *равенстве*. — Не давая себе труда разъяснить специально, что именно значит слово *развитие* и чем оно в истории обуславливается, Гизо (уже в конце 20-х годов) понимал, однако, это слово правильно и, вероятно, думал, что и слушатели его

лекций, и читатели его книги, из этих лекций составленной, — тоже его понимают. — Что сложность и разнообразие, примиренные в чем-то высшем, есть сущность и высший пункт развития (а следовательно, и цивилизации) — это видно, между прочим, и из того, что, сравнивая античную Греко-Римскую культуру с Европейской, — Гизо говорит, что первая (Греко-Римская) была *проще*, однороднее, а последняя *несравненно сложнее*; — и, конечно, отдавая должную дань уважения классическому миру, — он все-таки считает Европейскую цивилизацию *высшей*. — ¹⁰ Значит, — он слово «развитие» понимает как следует, в смысле усложнения начал и форм, а не в смысле стремления к благоденствию и простоте.

При этом сравнении классической культуры с Европейской Гизо, по-моему, употребил одно только слово не совсем удачно; он говорит, что в Греко-Римской культуре было больше *единства*, чем в Европейской; — лучше бы было сказать — больше *однородности*, или меньше *разнородности*. — Ибо единство было (и есть до сих пор еще) ²⁰ и в Романо-Германской культуре; — сначала было всеобщее, высшее и сознательное единство, в Папстве, — единство как бы внешнее с первого взгляда, но которое, однако, обуславливалось *внутренним, душевным* согласием всеобщей веры от Исландии и Швеции до Гибралтара и Сицилии; — а потом, когда власть и влияние Церкви стали слабеть, осталось большею частью бессознательное единство или сходство исторических судеб, культурного стиля и приблизительное равновесие государственного возраста отдельных государств. — Однородности было в Романо-Германском ³⁰ мире меньше, чем в Греко-Римском, содержание было богаче, и потому нужно было более сильное религиозное чувство и более могучая религиозная власть, чтобы это богатство удержать в некотором порядке.

Заметим, впрочем, о Гизо две вещи. — Во-1-х, Гизо читал свои лекции в 20-х годах и печатал свою книгу, вероятно, в 30-х. — В то время Европа только что начала от-

дышать от страшной Революции и от войн Империи; в конституцию все еще верили совсем не так, как верят, например, в нее многие у нас теперь в России; верили тогда на Западе в нее совсем в другом смысле и желали ее совсем с другою целью. — У нас теперь трудно допустить, чтобы опытный и умный человек мог верить в ограничение власти Государя — советом выбранных адвокатов, капиталистов и профессоров, как в нечто в самом деле прочное и само в себе цель имеющее; русские либералы, которые по-
10 способнее, я думаю, не так уж наивны в этом отношении, как мог быть наивен даже и гениальный Гизо в 30-х годах. — Но во времена последовавшей за Венским конгрессом монархической, религиозной и аристократической реакции — конституция являлась идеалом умнейших людей. — Эгалитарно-либеральный процесс не обнаруживал еще
20 всех горьких плодов своих; — и Гизо не мог предугадать, что демократическая конституция есть одно из самых сильных средств к тому именно дальнейшему смещению, которого он, как тогдашний консерватор и как поклонник сложного и солидного развития, — желать, конечно, не мог.

Другое мое замечание касается того, как Гизо понимает развитие лица. — В его взглядах на это есть большая разница со взглядами Дж.-Ст. Милля.

О Христ<ианстве> и личности.

Мнения Гизо, благоприятные сложному развитию лица, важны между прочим и потому, что он был не только публицистом или ученым, но и деятельным государственным человеком; — он сумел удержаться первым министром в течение долгого времени в столь подвижной среде, как па-
30 рижская среда его времени.

Дж.-Ст. Милль и Гизо с той точки зрения государственно-культурной статистики, о которой я говорю, — взаимно дополняют друг друга; — первый яснее и разностороннее относится к столь существенно важному вопросу о разнородности и оригинальности людей; — второй решительнее

обращает внимание наше на начало христианского или, вообще скажем, религиозного *единства*, необходимого для сохранения тех культурно-государственных типов, которые из этого единства произошли прямо или утвердились антагонистически, но все-таки и антагонизмом способствуя общей прочности.

Если эти два писателя (или вернее сказать — те две книги, о которых я говорю) дополняют друг друга, то Риль подкрепляет их мнения с другой стороны. — Миль заботится о *силе и разнообразии* характеров и положений; Гизо¹⁰ специальное занятие христианским *единством*, долженствующим удерживать всю эту общественную и личную пестроту в определенных пределах; — а Риль доказывает, что для разнородности характеров и для крепкой выработки их нужно *обособление*, нужно *разделение общества на группы и слои*; и чем *резче отделены* эти группы и слои друг от друга природой ли (горами, степью, лесом, морем и т. д.), или узаконениями, обычаями и строем жизни своей, тем *нравственные и даже умственные* плоды подобного общественного строя будут богаче; и будут они богаче не вопреки неравномерному разлитию знаний, а *именно благодаря* этой неравномерности; благодаря разнородности взглядов, привычек, вкусов и нужд.²⁰

Опять то, что я говорил прежде: *знание и незнание* — *равносильные условия для развития* обществ, лиц, государств, искусств и даже самой науки; ибо и ученые должны же иметь *разнообразный* материал для науки.

IV

СОЦИАЛИЗМ — ГРЯДУЩЕЕ РАБСТВО

Кто-то из прежних писателей наших (если не ошибаюсь,³⁰ К. С. Аксаков) заметил, что европейская история делает крутой поворот в своем течении *ко второй* половине *каждого столетия*; — быть может, это бывало и бывает вез-

де, — но в европейской истории это не только нам субъективно заметнее, потому что известнее, но и в самом деле *apud und für sich* объективно резче, ибо Романо-Германская цивилизация самая сложная, самая резкая, самая самосознательная, самая выразительная из всех прежде бывших. — В самом деле, вспомним, что случилось в самое среднее десятилетие нашего века, т. е. от 48 до 60-го года, — или, если хотите, от 51 — до 61-го. — (Это небольшое колебание цифр, конечно, не важно.) Первые социалистические бунты на Западе; строжайшая охранительная реакция Императора Николая в России и усмирение его оружием племенного восстания в Австро-Венгрии.* Начало 2-ой Империи во Франции (51 года); наша Восточная война (53—56). — Воцарение Императора Александра II-го в России и Короля Фридриха-Вильгельма в Пруссии (оба эти Монарха, каждый по-своему, позднее произвели в России и Германии вторичное смещение групп и слоев социальных и политических). — Объединение Италии (59—60-ый); через это ослабление Франции и Австрии; через это новое усиление либерализма в обеих странах. — Приготовления к Шлейзвиг-Гольштейнской племенной (т. е. смесительной) войне в Германии и к либерально-эгалитарным реформам в России. — В 61 году начало того и другого. — В то же время начало междоусобной войны в Америке, кончившейся политическим смещением Южан с Северянами, и социальное уравнивание черных с белыми. — В этот же промежуток времени, в 59 и 60-х годах, — дальний Азиатский Восток, Индия и Китай, как бы пробудясь от тысячелетнего отдыха своего, заявили вновь права свои на участие во всемирной истории; Индия впервые восстала; Китай вступил впервые в нешу-

* Я доказывал не раз, что чисто племенные движения нашего века все до одного приносят прямо или косвенно либерально-эгалитарные плоды: усиливают лишь принижение старого и неорганическое смещение с другим, тоже, пожалуй, не особенно новым. — Например, Польша и Россия в 60-х годах.

точную борьбу с двумя передовыми нациями Запада: с Францией и Англией. — Индия была усмирена; Китай был побежден. — Но кончено — и тот и другая уже вовлечены в шумный и страшный поток всемирного смешения, и мы, русские, с нашими серо-европейскими, дрябло-буржуазными, подражательными идеалами, с нашим пьянством и бесхарактерностью, с нашим безверием и умственной робостью сделать какой-нибудь шаг, беспримерный на современном Западе, — стоим теперь между этими двумя пробужденными Азиатскими мирами, между *свирепо-государственным* исполином Китая и *глубоко-мистическим* чудищем Индии, с одной стороны, а с другой — около все разрастающейся гидры *коммунистического мятежа* на Западе, несомненно уже теперь «гниющем», но тем более заразительном и способном сокрушить еще многое предсмертными своими содроганиями...¹⁰

Спасемся ли мы государственно и культурно? — Заразится ли мы столь несокрушимой в духе своем китайской государственностью и могучим, мистическим настроением Индии? — Соединим ли мы эту китайскую государственность с индийской религиозностью и, *подчиняя им европейский социализм*, — сумеем ли мы постепенно образовывать *новые общественные прочные группы* и расслоить общество на *новые горизонтальные слои* — или нет? — Вот в чем дело! — Если же нет, то мы поставлены в такое центральное положение именно только для того, чтобы окончательно смешавши *всех и вся* написать последнее «*мани-фестель-фарес!*» на здании всемирного Государства... *Окончить историю — погубив* человечество; разлитием всемирного равенства и распространением всемирной свободы сделать жизнь человеческую на земном шаре — уже совсем невозможной. — *Ибо ни новых диких племен, ни старых уснувших культурных миров тогда уже на земле не будет.*³⁰

Поэтому-то я сказал выше так:

Группы и слои необходимы; но они никогда и не уничтожались дотла; а только перерождались, переходя из од-

ной достаточно прочной формы, через посредство форм непрочных и более подвижных, более смешанных, опять в новые, в другие более прочные формы.*

Реальные силы обществ все до одной неизбежны, неотвратимы, реально-бессмертны, так сказать. — Но они в исторической борьбе своей — то доводят друг друга попеременно до minimum'a власти и влияния, то допускают до высшего преобладания и до наибольших захватов, — смотря по времени и месту.

10 Какие бы революции ни происходили в обществах, какие бы реформы ни делали Правительства — *все остается*; но является только в иных сочетаниях сил и перевеса; — больше ничего.

Разница в том, что иные сочетания благоприятны для государственной прочности; другие — для культурной производительности, третьи для того и другого вместе; иные же ни для того, ни для другого не благоприятны. — Так форма глубже расслоенная и разгруппированная и в то же время достаточно сосредоточенная в чем-нибудь общем и вы-
20 сшем — есть самая прочная и духовно-производительная; а форма смешанная, уравненная и не-сосредоточенная — самая непрочная и духовно-бесплодная.**

Я сказал — *все остается*; — но иначе сочетается. — Я приводил примеры и сказал между прочим, что даже и *рабство* никогда не уничтожалось вполне и не только не уничтожится, но, вероятно, *вскоре возвратится* к новым и, вероятно, *более прочным формам своим*.

Говоря это, я, конечно, преднамеренно расширил понятие этого слова «рабство». — Иногда очень полезно рас-
30 ширять и сужать таким образом терминологию, — ибо и она от привычного и частого употребления перестает действовать, как должно, на ум наш. — При таких мысленных *растяжениях* открываются нередко для ума вовсе неожиданные перспективы. — Рабство есть и теперь при капита-

* Гизо: Община древняя и община феодальная.

** Прудон о Соединенных Штатах.

листическом устройстве обществ; т. е. есть порабощение годающего труда многовластному капиталу.

Это говорили очень многие и прежде меня, это выражение не ново. — Говорили также не раз, что *феодализм капитала* заменил собою *феодализм дворянства*.*

Но насколько мне кажется, — что первое выражение удачно, т. е. *что есть и теперь рабство*, настолько приложение слова *феодализм* к современному отношению капитала и труда — не совсем удачно.

Рабство есть; т. е. есть сильная невольная зависимость¹⁰ рабочих людей от представителей подвижного капитала; велика *власть денег* у богатых; — и это так; но если сравнить прежнее положение дел хоть у нас в России с нынешним, то мы увидим тоже, что и везде, где произошло словное смешение — есть *власть у богатых*: бедные зависят от них. — Но и *власть денег* не прочна, не узаконена крепко привилегией, *слишком подвижна*; и зависимость труда тоже не *прочна*, *слишком подвижна*, не прикреплена ни законом, ни даже *свободным правом* какого-нибудь *очень*²⁰ *долгого*, вечного контракта. — Вопрос — позволяет ли хоть бы наш русский закон наняться в какую-нибудь 10—15-тилетнюю кабалу? — Не знаю. — Я не юрист. — Но кажется — не позволяет. — *Пять лет* — вот, если не ошибаюсь, *законный срок*??

Но я знаю и всякий знает, что либеральный, современный закон не дает *свободы* человеку бедному, очень молодому, например, или бесхарактерному, составляя договор с богатым хозяином, дать последнему право телесного над собой наказания. — Суд не только не признает такого договора, но, пожалуй, обвинительная власть начнет за это преследовать хозяина.³⁰

Взгляните также непредубежденным взглядом на жизнь какой-нибудь нынешней помещичьей усадьбы; — лучше всего на жизнь усадьбы, еще сохранившей прежнего помещика-дворянина. — Большой дом, двор, сад, быть может,

* Н. Я. Данилевский.

и церковь даже; ряд изб на деревне. — Дворовые люди; слуги в доме; крестьяне обрабатывают господское поле. — Все-таки не помещик служит им, а они ему. — Все прежние начала налицо; все реальные силы остались; но соотношения их изменились. — *Род сочетания этих сил не так прочен, как был прежде.* — Все стало подвижнее, ровнее и свободнее... И вот все стало разрушаться — и там и здесь; и у помещика в области личной крупной недвижимости, удержанной на месте уже не собственной силой, а только

¹⁰ благодаря существованию сверх земли *подвижного капитала* или у самого дворянина, или в банке (опять-таки в непрочной ассоциации — подвижного капитала); — и в области труда, у крестьян. — Разница, впрочем, та, что у помещика все лично, все индивидуально, все свободно, и потому уже *все решительно непрочное*; а у крестьян, у представителей труда — все *движимое*, деньги, одежда, скот — тоже непрочное, а только земля, в которой он не властен, не волен, к которой он коммунистическим *общинным рабством* прикреплен, — неподвижна и спасает

²⁰ несколько и его самого, и *еще* более государственно-культурный строй самой России. — Люди, желающие из личных (капиталисты) и агрономических соображений уничтожить поземельную общину, при всей своей возможно-искренней *благонамеренности*, — могут стать, если их послушают, более вредными, чем самые отъявленные бунтовщики; ибо (да простят мне эту правду члены Общества Сельских Хозяев в Москве с почтенным председателем их Иос(ифом) Ник(олаевичем) Шатиловым во главе) — ибо бунтовщики — недуг острый и возбуждающий спаситель-

³⁰ ную реакцию; а разрушители *общины поземельной*, наивно воображая, что все дело в *обогащении лиц*, — разрушают последние опоры, последние остатки *прежней группировки, прежнего расслоения* и *прежнего закрепощения*, *прежней малоподвижности*, — т. е. уничтожают одно из главных условий и государственного *единства* нашего, и нашего *национально-культурного обособления*, и некоторого *внутреннего разнородного* развития; — т. е. одним ударом лишают

нас и своеобразия, и разнообразия, и единства. — Да, — и единства, ибо демократическая конституция (высшая степень капитализма и какой-то вялой и бессильной подвижности) есть ведь ослабление *центральной власти*; а демократическая конституция теснейшим образом связана с эгалитарным индивидуализмом, доведенным до конца. — Она подкрадется неожиданно. — Сделайте у нас конституцию — капиталисты сейчас разрушат поземельную общину; разрушите общину — быстрое расстройство доведет нас до окончательной либеральной глупости — до палаты представител¹⁰ей, т. е. до господства банкиров, адвокатов и землевладельцев не как дворян (это бы еще ничего), а опять-таки как представителей такой *недвижимости*, которую очень легко обратить в движимость когда угодно, ни у кого не спросясь и нигде не встречая препятствий.

Спасение не в том, чтобы *усиливать движение*, а в том, чтобы как-нибудь *приостановить* его; если бы можно было найти закон или средство *прикрепить дворянские имения*, то это было бы хорошо; — не *развинчивать корпорации* надо; а обратить внимание на то, что везде прежние более или менее принудительные (неподвижные) корпорации обратились в слишком свободные (подвижные) ассоци²⁰ации и что это перерождение губительно. — Надо позаботиться не о том, чтобы крестьян освободить от прикрепления их к мелким участкам их коммуны; — а дворян (если мы хотим спасти это сословие для культуры) самих насильно как-нибудь *прикрепить* к их крупной личной собственности.

V

ГЕРБ(ЕРТ) СПЕНСЕР

30

Здесь от вопроса о рабстве и прикреплении лиц к собственности — полезно нам будет перейти к разбору взглядов одного Западного писателя, о котором я еще не упоминал, — именно Герб(ерта) Спенсера; — а потом, в заклю-

чение, упомянуть о противоположных мнениях двух современных русских людей — г. Дм. Голохвастова и г. Энгельгардта ([оставлено место]).

Герб(ерт) Спенсер был мне вовсе неизвестен, когда я писал в 70 году свои статьи «Византизм и Славянство».

Не считая себя обязанным читать все, что пишется нового на свете; находя это не только бесполезным, но и крайне вредным, — я даже имею варварскую смелость надеяться, что со временем человечество дойдет *рационально* и научно до того, до чего, говорят, Халиф Омар дошел *эмпирически* и *мистически*, т. е. до сожигания большинства бесцветных и неоригинальных книг. — Я ласкаю себя надеждою, что будут учреждены новые общества для очищения умственного воздуха, философско-эстетическая цензура, которая будет охотнее пропускать самую ужасную книгу (ограничивая лишь строго ее распространение), чем бесцветную и бесхарактерную. — Поэтому и еще более потому, что судя из попадавшихся мне там и сям в газетах и журналах наших отрывков о Г. Спенсере, — я считал его обыкновенным либералом.

Недавно один из лучших моих друзей, человек весьма ученый и умный, указал мне именно на него как на более всех других писателей Запада ко мне подходящего во взглядах на сущность того, что иные зовут «прогресс», а другие — «развитие».

— Но (прибавил этот ученый друг), — несмотря на то, что Спенсер исходит вместе с вами из одной и той же точки и понимает *настоящий* прогресс именно в смысле *разнообразного развития*, — у него этот эволюционный процесс является чем-то вечным и на земле бесконечным... Он изображает, как развивается и растет общество, он называет *дифференцированием* то, что вы в статье вашей «Византизм и Славянство» зовете *социальной морфологией* и *обособлением*. — Но он не указывает на то, как *умирают* эти общества; а вы это делаете, изображая предсмертный процесс смешения сложного во имя какой-нибудь *новой простоты идеала*.

Он дал мне книгу Спенсера «Научные, политические и философские опыты», — и я нашел действительно то, о чем говорил мне мой приятель — в статьях «Прогресс, его законы и причина» и «Социальный организм». — Сверх того, я приобрел недавно и новую брошюру того же Спенсера «Грядущее рабство».

Из всех этих трех статей, специально касающихся до предмета моих размышлений, я убедился, что и рекомендовавший их мне человек был прав, утверждая, что мы со Спенсером исходим из одинаковой мысли, и я был прав,¹⁰ подозревая заранее, что Спенсер все-таки не что иное, как западный либерал. — И то и другое правда.

В 1-ой статье своей («Прогресс» и т. д.) Спенсер говорит вот что:

Итак, скажу кратко, из всех приведенных статей Спенсера явствует, что он думает только о *многосложности смешанной*, а не о *сложности, разделенной на слои и группы*. — Его верная и прекрасная мысль о социальном дифференцировании теряется потом в чем-то неясном и слитом в виде общечеловеческого или общеевропейского потока. — Он все-таки остается индивидуалистом, т. е. более или менее эгалитарным либералом. — Он, подобно В. фон Гумбольдту и Дж.-Ст. Миллю, ищет разнородности только в *лицах* и не додумывается до того, что разнообразие *лиц* или *усиление особой личности* в людях обуславливается именно *отдельностью социальных групп и слоев с умеренной лишь подвижностью по краям*. — Нужно, конечно, некоторое *общение*, некоторая *возможность перехода* из группы в группу и из слоя в слой, неизбежно взаимодействие (то дружественность, то враждебность, то солидарность, то антагонизм) между этими группами и слоями; — но смешение и взаимное проникновение содержимого этих групп и слоев есть не что иное, как *близость разложения*. — На это есть прежде всего и психические причины; — люди самые твердые по природе связываются мелкой сетью опутавшего их общества; они могут, быть мо-²⁰
³⁰

жет, делать меньше зла, но зато и добро высшего порядка им уже не дают более делать обстоятельства.* Когда же есть группы, есть опоры; есть устойчивость *психического* типа, есть выработка *воли* и т. д., есть определенные *идеалы*. — Кто *прост*, кто *нетребователен*, не *гениален*, кто не *смел*, не *даровит*, кто не носит в личной натуре своей особых залогов для бесстрашной борьбы, — тот остается в своей *среде*, в пределах своей *группы*, в недрах своего *слоя* и, не пытаясь выйти из них ни вверх, ни вниз, — сохраняет и на всей

¹⁰ внешней особе своей, и во внутреннем строе души особенности более общие, особенности группы: национальной, провинциальной, религиозной, сословной и т. д.; если соединить черты нескольких из этих групп; например, один человек: мусульманин, суннит, подданный Султана, босняк (славянин), сараевский бей; или другой человек: мусульманин, русский подданный, татарин, казанец, торговец материями, — это будет уже большая разница. — Это для натур обыкновенных. — А для натур особенных — Ломоносов: 1) славянин; 2) православный; 3) русский; 4) великоросс; 5) архангельский мужик

²⁰ и рыбак; 6) ученик Московского духовного училища; 7) германский студент; 8) член Петербургской Академии и т. д.; все вместе произвело, при известных данных *натуры*, великого человека, — который в силах был *прорвать* вширь и вверх пределы своей *крепкой* крестьянской *группы* и своего *слоя*, стесненного давлением *сверху*.

Положим, что прорывают иногда таким же образом свои группы и слои и *Пугачевы*. — Но при глубоком расслоении и при резкой группировке их действия оканчиваются скоро неудачей, и целое после этого крепнет. — А когда Мирабо

³⁰ (дворянин), Колло д'Эрбуа (актер), гениальный *расстрига* Талейран прорывают уже ослабевшие *перегородки*, — то бывает иной результат. — А при большем *смещении* умственных даров и *вообще* *натуры* нужно гораздо менее для окончательного разрушения; нужна только в зачинщиках отчаянная смелость наших Желябовых или немцев Рейнедорфов.

* Гамбетта и Бисмарк.

РЕАЛЬНЫЕ СИЛЫ

Это до крайности простое в своих основаниях, но тем не менее поразительное учение должно бы одно само по себе нанести неисцелимый удар всем надеждам не только на полное однообразие и безвластие à la Прудон, но и на что бы то ни было приблизительное. — *Реальные силы* — это очень просто. — Во всех государствах с самого начала исторической жизни и до сих пор оказались неизбежными *некоторые социальные элементы*, которые разнородными взаимодействиями своими, борьбой и соглашением, властью и подчинением определяют характер истории того или другого народа. — Элементы эти, или вечные и вездесущие реальные силы, следующие: *религия* или *Церковь* с ее представителями. — *Государь* с войском и чиновниками; различные *общины* (города, села и т. п.); *землевладение*; *подвижной капитал*; *труд* и масса его представителей. — *Наука* с ее деятелями и учреждениями; *искусство* с его представителями. — Вот они — эти главные реальные силы обществ; это, действительно, очень просто, и всякий как будто это знает; — но именно как будто. — Тот только истинно и не бесполезно знает, у которого хоть главные черты известного постоянно и почти бессознательно готовы в уме при встрече с новыми частными явлениями и вопросами.

Это почти до грубости простое *напоминание* об этих реальных силах и об неизбежности попеременного антагонизма и временной солидарности между ними, — служит еще большим подкреплением таким взглядам, каковы взгляды вышеупомянутых защитников разнообразия и разделения на группы.

Если не ошибаюсь — Роберт фон Мольте первый ясно и специально обратил внимание на эту старую истину, — эмпирически всем известную и смутно всеми чуемую, кроме таких людей, которые, подобно Прудону и некоторым анар-

хистам, безумно и ненаучно, так сказать, верят в возможность безвластного, сплошного и однородного общества, долженствующего своим земным блаженством «закончить»(!) историю или воспитание рода человеческого. — Правда — *жизнь рода человеческого на этой земле* — такое общество, осуществленное даже и приблизительно, может поневоле *окончить*; погубить даже *физически* род людской оно, конечно, может или посредством излишн(его) размножения и безумия изобретений, или посредством тоски и скуки, равномерно распределенных в борьбе с мирными и мелкими *уже ни в каком случае* неотвратимыми препятствиями. — Но *остановиться* не только что навсегда, но даже и на короткое время не может подобное общество, если бы даже оно и осуществилось когда-нибудь в виде смешанного и однообразного всемирного Государства. — Некому будет завоевать ослабевшего и через меру демократизированного соседа; соседей отдельных не будет тогда; сами себя несомненно и даже вполне легально и весьма искусно выучатся уничтожать. (Предсказ(ания) о конце света.)

Образование естественных органических групп и надавливающих взаимно друг на друга слоев или классов и действие друг на друга реальных этих, вышепоименованных сил, — неизбежно; оно было всегда и есть теперь. — Но во-1-х, распределение этих групп и слоев, род их соотношений были и *суть* весьма различны в различных государствах и в разные эпохи; а во-2-х, *степень их* обособленности природой, бытом и законом не всегда и не везде одинаково резка; *подвижность* этих групп и сила может быть слишком мала или слишком велика, или *в меру* сообразна со свойствами социального организма.

Государь или хоть слабое подобие Государя, т. е. один человек, облеченный известной высшей властью, есть и был всегда и везде. — Конечно, есть большая разница между высоким положением Китайского Императора и ничтожной ролью Президента Соединенных Штатов; большая разница была между французским Самодержцем — «l'Etat — c'est

moi» и дожем Венеции; между временным вождем народа в Греческих республиках и Великим Царем Персии. — Однако все-таки *один* человек; в Спарте, положим, было два Царя, без особой власти, и в Риме два Консула, — но в этом отвращении от единовластия, в этом двоевластии видна склонность все-таки к сосредоточению некоторых атрибутов власти на возможно меньшее количество лиц: к *централизации* власти... Рим недолго устоял в этом виде и перешел к единовластию; и маленькая Спарта, быть может, обошлась без диктаторов только благодаря жесто-¹⁰ кому деспотизму своего устройства, с одной стороны, коммунистическому, а с другой — расслоенному, аристократическому.

Великая разнородность, разумеется, существует во взаимных отношениях подвижного капитала, труда и землевладения — в разных местах и в разные времена; — но всегда эти противоположные друг другу и в то же время друг для друга необходимые реальные силы существовали одновременно и существовать будут. — Точно так же и зародыши того, что мы называем наукой, существовали всегда и существуют и теперь во многих местах в виде зачаточном. —²⁰ Конечно, трудно назвать наукой различные *наблюдения* диких и деревенских простолюдинов; наблюдения метеорологические, нравственные, в виде пословиц и поговорок, но однако и в этом же есть и некоторого рода несовершенное *наведение* и какая-нибудь *слабая дедукция*; мужик *знает*, что камень падает вниз; это, конечно, не Ньютоновское знание, но все-таки *знание, наблюдение*; это в сфере знания относится к большому знанию в науке так, например, как власть дожа относилась к власти Лудовика XIV-го; или власть Американского Президента к власти Русского³⁰ Государя.

Количественные отношения всех этих реальных сил в разных местах и в разные эпохи разные; — но совместное существование их повсеместно и вечно. — Поэтому о полном уничтожении той или другой из этих сил, или и почти всех, кроме труда и, может быть, незначительной собствен-

ности (как, например, хотел бы Прудон и как стараются сделать это теперь на практике анархисты всех стран, коммунисты Парижа и наши русские нигилисты) невозможно и думать. — Здесь кстати будет привести одно письмо социалиста К. Маркса, недавно переведенное в некоторых наших газетах. — Вот оно: [*в рукописи оставлено место*].

Оставляя здесь в стороне вопросы права, справедливости, законности относительно благоденствия, нравственности и т. д., вообще не касаясь ни до чего, что не относится прямо к социальной психомеханике (если можно так выразиться), мы, начиная с глубочайшей древности и до сих пор, видим одно: что ни мистическую религию (какую бы ни было), ни власть, ни капитал, ни труд, ни даже, если хотите, само рабство, ни науку, ни искусство, ни землевладение, ни чиновников (т. е. исполнителей предписаний власти) нельзя никак вытравить из социального организма дотла. — Можно только доводить каждую из этих сил до наименьшего или до наибольшего ее проявления. — Так, например. — У прежних венецианцев и нынешних Соединенных Штатов исполнительная верховная власть (Государь, Президент, дож) доведена до минимума; в древней Спарте землевладение было крепко устроено; а подвижной капитал доведен до наименьшей силы. — В Византии и в первоначальной Церковно-феодальной Европе реальные науки, которые к концу предыдущей Греко-Римской культуры стали было процветать больше прежнего, были низведены до ничтожества; однако все-таки не вполне уничтожены (были даже физико-химические изобретения — например, *Греческий огонь*). — Теперь в XIX веке более или менее везде в Христианских государствах капитализм (или накопление подвижных богатств) доведен до своего максимума. — И вот почти одновременно с его воцарением в Европе в конце XVIII и в начале нашего века — явилась сильнейшая ему антитеза — первые коммунистические порывы, манифест Бабёфа и т. п., и с тех пор порывы эти все растут и растут и будут расти неизбежно пока не до-

стигнут своего социально-статического предела; т. е. пока не ограничат надолго прямыми узаконениями и всевозможными побочными влияниями — как чрезмерную свободу разрастания подвижных капиталов, так и другую, тоже чрезмерную свободу обращения с главной недвижимой собственностью — с землею; т. е. свободу, данную теперь всякому или почти всякому продавать и покупать, накапливать и дробить поземельную собственность. — Коммунизм, думая достигнуть полного равенства и совершенной неподвижности путем предварительного разрушения, должен неизбежно¹⁰ путем борьбы своей с капиталом и попеременных побед и поражений привести, с одной стороны, действительно к значительно меньшей экономической неравномерности, к сравнительно большему противу нынешнего экономическому уравниению; с другой же, к несравненно большему противу теперешнего неравенству юридическому; ибо вся история XIX века, освещенная с этой стороны, — и состояла именно в том, что по мере возрастания равенства гражданского, юридического и политического — увеличивалось все больше и больше неравенство экономическое, и чем больше²⁰ приучается бедный нашего времени сознавать свои гражданские права, — тем громче протестует он противу чисто фактического властительства капитала, никакими преданиями, никаким мистическим началом не оправданного. — Коммунизм в своих буйных стремлениях к идеалу неподвижного равенства должен рядом различных сочетаний с другими началами привести постепенно — с одной стороны, к меньшей подвижности капитала и собственности, с другой — к новому юридическому неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и принудительным³⁰ корпоративным группам, законами резко очерченным; вероятно, даже к новым формам личного рабства или закрепощения (хотя бы косвенного, иначе названного). **Монахи.**

Нынешний анархический коммунизм, с одной стороны, есть не что иное, как все тот же эгалитарный либерализм, которому послужили столькие умеренные и легальные люди XIX века, все то же требование не ограниченных ничем

личных прав, все тот же индивидуализм, доведенный до абсурда и преступления, до беззакония и злодейства; — а с другой стороны — *именно потому, что он своим несомненным успехом делает дальнейший эгалитарный либерализм непопулярным и даже невозможным*, — он есть необходимый роковой толчок или повод к новым государственным построениям *не либеральным и не уравнительным*. — Когда мы говорим — *не либеральным* — мы говорим неизбежно тем же самым *не капиталистическим*,
¹⁰ *менее подвижным* в экономической сфере построениям; — а самая неподвижная, самая неотчуждаемая форма владения есть, бесспорно, богатая, большою землею владеющая община, в недрах своих *неравноправная относительно лиц*, ее составляющих.*

Вероятно, к этому и ведет история те государства, которым предстоит еще цвести, а не разрушаться.

Прочное землевладение и подвижной капитализм находятся, как известно, в существенном антагонизме;** и утвержденное землевладение сдерживает метание туда
²⁰ и сюда капитала, обуздывает его, делает весь строй общественный *менее подвижным* (а вследствие того и Государство более прочным); преобладание подвижного капитала способствует гибели *прочного землевладения* (а вследствие того позднее — и Государства), — ибо делает весь строй общественный *слишком подвижным*. — Поэтому воюя противу подвижного капитала, стараясь ослабить его преобладание — *архилиберальные коммунисты* нашего времени ведут, сами того не зная, к *уменьшению подвижности* в общественном строе; а *уменьшение подвижности* — значит
³⁰ *уменьшение личной свободы*; гораздо большее противу нынешнего ограничение *личных прав*. — А раз мы сказали: *уменьшение личных прав*, мы сказали этим — *неравноправность*, ибо нельзя же понимать это в смысле *всеобщей*

* Афон и т. д.

** Поэтому Бокль прав фактически, говоря, что торговый и промышленный класс и т. д.

го, однообразного и равномерного уменьшения прав; это было бы опять то же равенство, это форма крайнего равенства — невозможная, по законам социальной механики, и никогда и нигде не бывавшая. — Сказавши же *неравноправность* и *некоторая неподвижность* (устойчивость) — мы этим самым говорим: *сословия* горизонтальные и *группы* вертикальные (провинции, общины, семья, города), *неравномерно одаренные свободой и властью*.

Если же анархисты и либеральные коммунисты, стремясь к собственному идеалу крайнего равенства (который ¹⁰ невозможен) своими собственными методами *необузданной свободы личных посягательств*, — должны рядом антитез привести общества, имеющие еще жить и развиваться, к большей неподвижности и к весьма значительной *неравноправности*, — то можно себе сказать вообще, что *социализм, понятый как следует, есть не что иное, как новый феодализм* уже вовсе недалекого будущего. — Разумея при этом слово *феодализм*, конечно, не в тесном и специальном его значении Романо-Германского рыцарства или общественного строя *именно времени этого рыцарства* ²⁰; а в самом широком его смысле, т. е. в смысле глубокой *неравноправности классов и групп*, в смысле разнообразной *децентрализации и группировки социальных сил*, *объединенных в каком-нибудь живом центре духовном или государственном*; в смысле *нового закрепощения лиц другими лицами и учреждениями*, *подчинения одних общин другим общинам*, *несравненно сильнейшим или чем-нибудь облаго-роженным* (так, например, как были подчинены у нас в старину *рабочие селения монастырям*).

Теперь коммунисты (и пожалуй, социалисты) являются ³⁰ в виде самых крайних, до бунта и преступлений в *принципе* неограниченных, либералов; — их *необходимо казнить*; но сколько бы мы их ни казнили, по нашей прямой и современной обязанности, они, доводя либерально-эгалитарный принцип в лице своем до его крайности, обнажая, так сказать, его во всей наготе его, служат бессознательную службу *реакционной организации будущего*. — И в этом, по-

жалуй, их косвенная польза даже и великая. — Я говорю только польза, а никак, конечно, не заслуга. — Заслуга должна быть сознательная; польза бывает часто нечаянная и вполне бессознательная. — Пожар может иногда принести ту пользу, что новое здание будет лучше и красивее прежнего; — но нельзя же ставить это в заслугу ни неосторожному жильцу, ни злонамеренному поджигателю. — Поджигателя можно повесить; неосторожному жильцу можно сделать выговор и даже чем-нибудь тоже наказать его, но хвалить и награждать их не за что. — Так и в этом социальном вопросе. — Крайних либералов, положим, вешают, но либералам умеренным (т. е. неосторожным поджигателям) еще готовы во многих странах ставить памятники! — NB. (Алекс(андру) II-му.) Это бы надо прекратить и это прекратится само собою.

VII

ВЗГЛЯД НАЗАД И ГИБЕЛЬ ЕВРОПЫ

Бросим еще раз взгляд наш назад на пройденное нами, с изложения прудоновского учения об эгалитарном прогрессе, или иначе о революции, и до этих последних строк о неотстранимости основных реальных сил общества и до неизбежности нового социалистического феодализма.

У всех тех авторов, с которых я начал мой обзор, — у Bastiat, Абу, Бокля и Шлоссера мы видим, что они ставят идеалом человека, идеалом будущего не рыцаря, не монаха, не воина, не священника, ни даже какого-нибудь дикого и свежего, нетронутого никакой цивилизацией человека (как ставил Тацит в пример германца, как ставили Византия и старая Московия святого монаха, как прежняя Европа ставила и то, и другое, и монаха, и рыцаря, заставляя последнего весьма рационально склоняться перед первым; вещественную силу перед духовной*), — нет, они все ставят идеалом будущего нечто самим себе, т. е. этим авторам

подобное, — *европейского буржуа*. — Нечто среднее; ни мужика, ни барина, ни воина, ни жреца, ни бретонца или баска, ни тирольца или черкеса, ни маркиза в бархате и перьях, ни траписта во власянице, ни Прелата в парче... Нет, — они все очень довольны тем мелким и средним культурным типом, к которому по положению своему в обществе и по образу жизни принадлежат они сами и к которому желали бы для всеобщего блага и для всеобщего незатейливого достоинства свести и снизу, и сверху окончательно весь мир.

10

Мы видели, что эти люди прежде всего не знают и не понимают законов прекрасного, ибо всегда и везде именно этот средний тип менее эстетичен, менее выразителен, менее интенсивно (т. е. высоко) и экстензивно (т. е. широко) прекрасен, менее героичен, чем типы более сложные или более односторонне крайние.

Объективировать себя самого как честного труженика и буржуа в общий идеал грядущего ни кабинетный ученый, ни вообще образованный человек среднего положения и скромного образа жизни не должен; *это не научно именно потому, что оно не художественно*. — Эстетическое мерило самое верное, ибо оно *единственно общее* и ко всем обществам, ко всем религиям, ко всем эпохам приложимое. — *Что полезно всем* — мы не знаем и никогда не узнаем. — *Что у всех прекрасно, изящно или высоко* — пора бы обучиться.

20

Скромнее, достойнее и умнее было бы со стороны Прудона и ему подобных воскликнуть: «Я ученый и честный буржуа, лично я доволен моей участью, моим средним положением и моим средним типом, но я вовсе не хочу для блага человечества, чтобы все были на меня похожи, ибо это не эстетично и не государственно в одно и то же время».

30

Мы видели, что все эти авторы более или менее не знают или не хотят знать, что высшая эстетика есть в то же самое время и самая высшая социально-политическая практи-

* Бокль.

ка. — Они забывают, что в истории именно те эпохи отличались наибольшей государственной силой и наилучшей социальной статикой, в которые и общественный строй отличался наибольшим разнообразием в наисильнейшем единстве, и характеры человеческие в эти именно эпохи вырабатывались сильнее и разнороднее, или с односторонне-выразительным, или с наипышнейшим, многосторонним содержанием. — Таковы эпохи Людовика XIV, Карла V, Елисаветы и Георга III-го в Англии; Екатерины II-ой и

¹⁰ Николая I-го у нас. Стремление к *среднему типу* есть, с одной стороны, стремление к прозе, с другой — к расстройству общественному.* — Мы видели, что это стремление, внося вначале в общество нечто действительно новое, давая даже возможность на короткое время обществу выделять из себя небывалые прежде характеры, невозможные при прежнем более неподвижном и менее смешанном строе, — новые и крайне сильные в своей выразительности и влиянии типы людские (Наполеоны, Гарибальди, Бисмарки и т. п.) — слишком скоро изнуряет дотла психические

²⁰ запасы обществ и делает их неспособными к долгому после этих порывов существованию.

Всего этого в 40-х и 50-х годах нашего века не могли еще понять самые способные и самые образованные люди, и даже до сих пор едва ли многие ясно сознают, что в этом-то и состоит самый основной, самый главный «вопрос дня» — *в смещении или не смещении; быть или не быть?* — А все остальные вопросы вытекают только из этого основного психо-механического и статико-социального вопроса.

Мы видели, что Прудон в этом смысле хуже, так ска-

³⁰ зать, всех; он, как *enfant terrible* публицистики, да простят мне это слишком русское выражение, «ляпает» прямо то, около чего чуть не на цыпочках обходят, косясь боязливо, умеренные либералы и прежде его писавшие, и в его время, и после него.

* Высыхающая трава и т. д.

Итак, не только мои собственные доводы в статье «Византизм и Славянство», но и все приведенные мною здесь европейские публицисты, историки и социологи почти с математическою точностью доказывают следующее:

во-1-х) что в социальных организмах Романо-Германского мира уже открылся с прошлого столетия процесс *вторичного смешения*, ведущего к *однообразию*.

во-2-х) что *однообразие* лиц, учреждений, мод, городов и вообще культурных идеалов и форм распространяется все более и более, сводя всех и все к одному весьма простому, ¹⁰ *среднему*, так называемому «буржуазному» типу Западного европейца.

И в-3-х) что *смешение* более противу прежнего *однообразных составных частей* вместо большей солидарности ведет к разрушению и смерти (государств, культуры).

Я понимаю, что мне довольно основательно на первый взгляд могут возразить вот что: первые два вывода верны; существует и даже господствует в Романо-Германской цивилизации этот идеал *буржуазной простоты* и *социального однообразия*; и *смешение* сословий, наций, религий, ²⁰ даже полов, *смешение*, происшедшее прежде всего от *равноправности* — способствует этому *однообразию*, ускоряет это слияние всех цветов во что-то неопределенное; но где же верные признаки *окончательного падения*? — Где доказательства, что государства Запада должны скоро *погибнуть*? И как это они погибнут? — *Не провалятся же все люди, их составляющие*, сквозь землю? — ... Не выселятся же они все из Европы... И т. д.

Вопрос очень правильный, возражение необходимое, которое я сам себе мысленно предлагал уже давно. ³⁰

В статье моей «Византизм и Славянство» (писанной крайне *спешно* в 73 году в самом Константинополе под нравственным давлением Церковной, греко-славянской распри, которая на меня тогда, как на православного и русского человека, наводила духовный и гражданский страх за наше будущее) — в этой статье я сказал кратко и мимоходом: «Романо-Германские государства могут слиться со

временем в одну рабочую федеративную республику, как слились теперь в большие государственные группы отдельные государства Италии и Германии, как гораздо раньше слились в одну Испанию — Аррагония, Кастилия, Андалузия, Астурия; как в единой Франции слились: Наварра, Бургундия, Бретань...»

Я в этой статье говорил о том, что мы, русские, должны опасаться этого, должны страшиться, чтоб и нас история не увлекла на этот антикультурный и отвратительный путь; —
10 говорил, что мы поэтому должны всячески стараться укреплять у себя внутреннюю дисциплину, — если не хотим, чтобы события застали нас врасплох; что мы *не обязаны*, наконец, идти во всем за романо-германцами... Я говорил тогда в этом духе.

Здесь я прибавляю еще следующее: общеевропейская рабочая республика, силы которой могут быть временно объединены под одной какой-нибудь могучей диктаторской рукою, может быть (опять-таки очень ненадолго) так сильна, что будет в состоянии принудить и нас принять ту же социальную форму; —
20 втянуть и нас «огнем и мечом» в свою федерацию. — А этот шанс для истинно русского человека должен казаться ужасным и глубоко постыдным.

Эта последняя мысль моя, по-видимому, совершенно противоречит мне же самому, ибо доказывает, что Европа в силе еще и имеет все-таки какую-то *будущность*.

Но когда мы слово *будущность* прилагаем к государственным организмам и к целым культурным мирам, — то нельзя мерять жизнь таких организмов и миров годами, как жизнь организмов животных: эпохи геологические считаются
30 *тысячелетиями*; жизнь личная наша измеряется *годами*; жизнь историческая тоже имеет свое приблизительное мерило — *век, полвека*...

Цифры исторической хронологии, которые я привел в главах моих «Прогресс и развитие», могут *не все* быть одинаково доказательны и точны; — но, я думаю, из них по крайней мере ясно то, что больше 1200 лет не прожил в своем известном истории и определенном виде ни один го-

сударственный организм. — Почему же Англия, Германия и Франция должны стать исключением? — Они уже прожили несколько более 1000 лет, если считать, как я считал, со времен Карла Великого; а если брать (очень неосновательно) со времени падения Западной Римской Империи, то и еще больше...

Значит, с этой стороны шансы в пользу разрушения.

Какие основания в прошедшем и настоящем имеем мы для противоположных надежд на небывалую долговечность этих Западных государств, кроме нашего вечного умственного рабства перед их идеями?..¹⁰

Чем ближе начинают подходить приемы истории и социологии к приемам «естественных» наук, тем менее публицисты и люди общественной практики имеют право мечтать о *небывалом, невиданном и несуществующем в настоящем*; мечтать и надеяться мы все имеем право, но только о чем-нибудь таком, чему *бывали сходные примеры*, о чем-нибудь таком, что хотя бы и приблизительно да бывало или где-нибудь есть. — Таким образом, русские нашего времени, имея перед собою еще неоконченный Восточный вопрос, имея возможность стать во главе некоего нового политического здания, имеют, так сказать, *умственное* право мечтать об *оригинальной культуре*; оригинальные культуры были, и даже вся история, как прекрасно развивает г. Данилевский в своей книге «Россия и Европа», — состоит лишь из *смены культурных типов*; из них каждый имел свое назначение и оставил по себе особые неизгладимые следы...

Поэтому мечтать и заботиться об оригинальной — Русской, Славянской или Ново-Восточной культуре можно, и позволительно даже *искать* ее. — Позволительно и логично мечтать о государственной силе и славе, ибо это *бывало*; — позволительно и логично желать для *действительной* жизни больше поэзии, более изящных и красивых форм (например, в *одеждах, танцах, постройках* и т. д.), — ибо это бывало, и кой-где (в Азии, например) есть и до сих пор. — Позволительно надеяться на глубокие³⁰

перевороты в области философского мышления, даже на отрицательное отношение к нынешнему утилитаризму, ибо и подобные умственные перевороты, разрушительные для *прежней мысли*, создающие для *нового общества*, бывали (например, в то время, когда Христианское духовенство разрушало языческие храмы и вообще произведения Эллино-Римской культуры; *мысль царя* другая; не та, что *царя* у язычников)... Все это возможно.

Но с точки зрения *умственной*, непозволительно меч-
10 тать о всеобщей *правде* на земле, о какой-то *всеобщей* мистической любви, никому ясно даже и не понятной; нельзя мечтать о *равномерном благоденствии*. — Даже в главном теперешнем вопросе, в вопросе социально-экономическом, можно, *руководясь* примером прошлого (а кой-где и *настоящего*), ожидать образования *новых весьма принудительных общественных групп, новых горизонтальных юридических расслоений, рабочих, весьма деспотических и внутри* вовсе не эгалитарных *республик*, вроде *мирских монастырей*; *узаконения новых личных, сословных и цеховых привилегий*...; ибо все это бывало и все это не противоре-
20 чит в основании *учению о реальных силах*, от которого социальной науке уже невозможно отказаться... Можно, не изменяя науке и здравому смыслу, доходить даже до такой мысли, что *вся земля будет разделена между подобными общинами и личная поземельная собственность будет когда-нибудь и где-нибудь уничтожена*; можно думать об этой возможности и с отвращением, и с пристрастием, но каково бы ни было *чувство* наше при этой мысли, — все равно оно имеет за собою *правдоподобие*; но не имеют правдопо-
30 добия — ни психологически, ни исторически, ни социально, ни органически, ни космически — *всеобщая равномерная правда, всеобщее равенство, всеобщая любовь, всеобщая справедливость, всеобщее благоденствие*. — Эти всеобщие *блага* не имеют даже и *нравственного, морального правдоподобия*: ибо высшая нравственность познается только в лишениях, в борьбе и опасностях... Лишая человека возможности высокой личной нравственной борьбы — вы лишаете

все человечество морали, лишаете его нравственного элемента жизни. — Высшая степень общественного благодеяния *матерьяльного* и высшая степень *общей политической справедливости* — была бы высшая степень *без-нравственности* (я отделяю нарочно частицу *без*, чтобы мое слово не поняли в обыкновенном смысле разврата и мошенничеств; я предполагаю, что не будет тогда ни разврата, ни добродетелей; первый не будет допущен, а вторая будет не нужна... Так как *все равны*, и потому все одинаковы).

10

Итак, на месте стоять нельзя; дальше по пути равенства и равномерной свободы идти — значит искать невозможно. — А тот кто ищет во что бы то ни стало невозможного, — тот, конечно, рискует погибнуть. — А на Западе все усиливается анархия, — кажется, это нельзя отрицать; все это знают.

Что Романские страны пали — об этом мало нынче спорят; но военная сила Германии и могущество богатой Англии еще ослепляют умы своим величием.

Но все-таки что же может сделаться с этими нациями? — Куда же они исчезнут? — Мы бы больше верили и в нашу *Восточную* будущность, если бы у нас было хотя бы и ошибочное в оттенках и частностях, но все-таки правдоподобное представление о том, *каким способом* эти государства могут погибнуть и *куда* могут исчезнуть эти могучие народы!

Вот как и вот куда:

Во-1-х, есть книга Прево-Парадоля «*La France contemporaine? или démocratique*», — на которую здесь необходимо указать. — Она издана была в промежутке двух войн 66-го года и 70-го. — После поражения Австро-Германии одной Пруссией и прежде разгрома Франции. — Неожиданные для большинства успехи прусского оружия навели этого умного и дальновидного писателя на печальные мысли о судьбах его собственной родины, недавно еще столь блестящей и великой. — Он предвидел не только то, чего после 66-го года и после Люксембургского эпизода ожидать ста-

30

ли уже многие, то есть скорого столкновения Франции с Германией, но и прорекал победу последней. — Он находил и тогда, что его соотчичей нечем более воодушевить для истинно народной борьбы; наилучшими средствами для подобного одушевления он находит религию. — «„Dieu le veut!“ — говорит он, — *понятно всем*; истинно государственные соображения *доступны очень немногим* по своей сложности; а чувство *чести*, которое может, конечно, располагать исполнять свой долг, — господствует только в войске». — Война 70-го года доказала очень скоро как был прав в своих предчувствиях Прево-Парадоль; — и она не только оправдала его пророчества, но и превзошла их своими мрачными для Франции событиями. — Даже чувство чести в армии оказалось слабее, чем он ожидал — и тотчас же после приостановки внешней войны вспыхнуло еще в виду неприятеля коммунистическое восстание.

Прево-Парадоль, несмотря на то, что он не предсказал ни сдачи Меца, ни Седанского позора, ни кровавой борьбы буржуазии с коммуной (желающей только еще большего смешения и однообразия — и больше ничего), — однако имел печальную смелость выразить, что политическое значение Франции близится к своему концу и что ввиду возрастания Германии и России ей скоро придется быть чем-то вроде таких держав, как Португалия и ей подобные. — Великая Держава может безнаказанно оскорблять их, нарушать по отношению к ним обычаи международного права и т. д. — Что же делать французам при таких условиях?

— *Переселяться постепенно в Африку!* — говорит Прево-Парадоль. — Он, как француз, конечно, надеется при этом, что Париж останется еще надолго училищем вкуса и источником мод и обычаев для всего света, но ему этого мало, и он справедливо, с точки зрения своего патриотизма, не может помириться с мыслью о жалком прозябании и духовном медленном вымирании французского народа на прежнем месте, видевшем столько величия и заслуженной славы. — Так думает этот искренний и прозорливый патриот, и события видимо клонятся к тому, чтобы и в этом

оправдать его. — Уже и теперь сознавая свое второстепенное значение в Европе, понимая, что *все теперь* в мире зависит лишь от рода взаимных отношений между Германией и Россией и больше ни от кого (ибо и сама Англия оказывается совершенно бессильной против соглашения этих двух держав), Франция спешит прокладывать себе новые исходные пути на дальнем Юго-Востоке, а на Севере Африки она уже давно стала довольно твердой ногой. — Еще одна неудачная война, еще одно более прежнего удачное восстание анархистов; еще два-три шага вниз, еще какие-нибудь ¹⁰ раздробления, потеря еще одной или двух провинций, и движение это неминуемо усилится. — Что и вторая война с Германией будет — это, я думаю, неизбежно; — случись война России с Германией — Франции предстоит два исхода — оба невыгодные; третьего нет: война в отместку или нейтралитет и подражание России и Австрии 70-х годов. — Но в случае подобной войны Правительству Германии весьма возможно будет составить противу Франции союз из других Романских держав, соединить силы Италии, Испании и Бельгии, обещая им в награду соседние провинции Франции и другие выгоды, и, придавши им для смелости порядочный контингент своего войска, наброситься почти всеми собственными силами и силами Австрии на Россию. — Каков бы ни был исход подобной страшной борьбы на Восточном театре ее, — на Западном — он во всяком случае будет для Франции не блестящ. — «*C'est l'Autriche qui payera les pots cassés*», — говорили прежде эти самые французы про Австрию, ожидая какой-нибудь большой общеевропейской войны. — Теперь можно *навверное* предска- ²⁰ зать, что в случае подобной войны за «эти побитые горшки» заплатят и Австрия, и Франция — обе! — Когда такие две силы, как нынешняя Россия и Германия, вступят в решительную и открытую борьбу, — то эта борьба будет, конечно, так тягостна для обеих сторон и утомление при окончании будет так велико, что не только побежденному, но и победителю придется поневоле так или иначе пожертвовать хоть немного своими союзниками. — И хотя бы ³⁰

Франция и защищалась бы на этот раз гораздо лучше, чем защищалась она в 70 году, но политической судьбы своей она этим не поправит; — ибо *внутренний* строй окончательно испорчен слишком глубокой демократизацией. — И карфагеняне, представлявшие собою остаток Халдейской культуры, защищались в последний раз героически, — однако Карфаген был взят и республика их уничтожена; и последние бунты евреев противу римлян были ужасны: однако Иудея погибла; — и даже пламенная народная война испанцев противу Франции в начале этого века — не вывела уже Испании из ее международного ничтожества; не возвела ее на прежний уровень величия. — Заметим, что эти три выбранные мною примера сверх того для Франции самые невыгодные, — ибо у всех трех помянутых наций падение было обусловлено не столько *разлагающим прогрессом новых идей*, сколько — *застоем* в идеях старых; застой же в подобных случаях выгоднее чрезмерного движения; ибо застой сохраняет хоть на время в народе запасы тех начал, которые легли в основание национальных созиданий, а быстрое прогрессивное движение, подобное нынешней французской или древней афинской эпохе демагогии, дают только после *первого смещения* пламенные вспышки вроде 20-летия войн Республики и Империи и Афинской гегемонии после 1-ой войны Персидской, и как бы истощают этим все запасы народных сил.

Если же Франция останется нейтральна в случае германо-славянской смертельной борьбы, — то она этим обнаружит уж такое бессилие, что действительно после этого перейдет, по сравнению с Германией и Россией, на ту степень по отношению к ним, на какой стояла прежде по отношению к сильной Франции ничтожная Португалия. — Так что и в этом сравнении Прево-Парадоль останется прав.

Итак, повторяю, нет для нынешней Франции иного исхода, как выбор между Сциллой новой войны с Германией и Харибдой боязливого воздержания. — Третий путь — союз с Германией противу России, — всякий понимает, —

невозможен раньше каких-нибудь еще более глубоких перемен в Европе; — стать союзницей Германии Франция может или после еще большего политического унижения, *насильственно* влекомая Германией за собою, как влекомы были в 12-м году немцы Наполеоном, или, напротив того, *добровольно и охотно*, — но после некоторого нового уравниения обеих этих Западных Держав или в общем *равномерном унижении международном*, или в *сходном внутреннем состоянии нового социал-анархического смешения*... Для образования такого союза противу России¹⁰ нужно три предварительных условия: 1, разгром Германии Россией; 2, исключительно благоприятное для России разрешение вопросов о *Проливах Турции*. — И 3, наибольшее возрастание в обеих Западн(ых) странах влияния *космополитической анархии*, — ее преобладающее влияние на дела.

Но и *до тех пор*, и *после* подобных (пожалуй что и неизбежных) политических сочетаний, — Прево-Парадоль остается прав, не предвидя для своих соотчичей (а вернее, еще и для всего Романского племени Европы) лучшего ис-²⁰хода, как постепенное выселение. — Дома: все более и более угасающие надежды, утрата славы, все более и более слабеющая охранительной реакции; — безверие, возведенное в государственный догмат, и, быть может (и весьма быть может) — *вещественное разрушение* великой столицы керосином и динамитом коммунаров, что при нынешних средствах разрушения гораздо легче и скорее можно осуществить, чем во времена вандалов. — И орудия *вещественные* неизмеримо могущественнее, и *умственное* на-³⁰строение разрушителей *сознательнее*, целесообразнее, яснее, т. е. тоже *крепче*, чем у готов, вандалов и тому подобных варваров. — Варвары разрушали, так сказать, только по *страсти*; у нынешних анархистов эти *страсти* оправданы их разумом, поддержаны *теорией*, *сознательной системой разрушения*... Вот что, не только по моему мнению, а по мнению очень многих людей весьма различного направления, может ожидать теперь Францию.

Внутри все признаки разложения (ибо богатство нации одно только само по себе менее всего может спасти нацию от политической гибели), — а *извне* неизбежное при таких условиях *давление немцев*, которые при всем существенном сходстве культурных начал своих с романскими, при одинаковых элементах разложения, при одинаковом почти возрасте их государственной жизни, все-таки, положим, хоть на 50—25 лет в историческом смысле моложе французов. — Это *очень мало*, это почти ничего для обще-культурной судьбы; но для ближайших политических триумфов или вообще для переворота — *очень много*. — Двадцатилетней только деятельностью Наполеон I-ый, представитель централизованной демократии, обусловил дальнейшую историю XIX века; — в течение 20-ти тоже лет перенес центр политической тяжести на европейском материке из Парижа в Берлин и Граф Бисмарк (в сущности представитель почти того же, что и Наполеониды т. е. эгалитарного кесаризма, но, конечно, с своим оттенком и важным, и неважным, смотря по точке зрения: с обще-культурной — ничтожным, с чисто-государственной — довольно важным и пока еще выгодным для Германии). — В течение же 20-ти лет и Россия, увлекаемая западными идеалами, поспешила обратиться из Монархии сословной и провинциально весьма разобщенной в Монархию бессловную и более прежнего однородно-либеральную по строю, по быту и духу, качествам и порокам населения...

Двадцать, двадцать пять лет очень много значит в жизни государственной (не культурной); и если Германия, как кажется, хоть настолько или даже менее, хоть на пятнадцать лет моложе Франции в исторических судьбах своих, то этого вполне достаточно для еще более выразительного приложения системы *давления на Запад*, которым уже и без того столь явно заменила Германия со времени Бисмарка свои прежние мечты — о давлении на Восток. — Этот *Drang nach Osten*, положим, еще продолжается, но всякому понимающему этого рода дела ясно, что это *последние*

попытки и, сравнительно с энергическим движением противу Запада, они очень уж ничтожны. — Стоит только Франции быть еще раз побежденной (а она *будет* и еще раз), стоит ей утратить еще кусок своей *территории*, когда-то столь недоступной врагам и «священной» («le sol sacré de la France!»); стоит с другой стороны Германии присоединить себе Голландию и восемь миллионов австрийских немцев; стоит при этом еще и России благоприятно решить Восточный и Славянский вопрос (а она их *решит!*), — и вот движение немцев к Юго-Западу, к берегам Атлантического Океана и Средиземного моря усилится, Drang nach Westen увеличится, и Романскому племени волей-неволей придется или быть совсем завоеванным на месте, или действовать по программе и пророчеству Прево-Парадоля — заселять внутреннюю Африку и ее северные берега. ¹⁰

Романцы выселяются и смешиваются с неграми; Париж разрушенный и, быть может, наконец, покинутый, как покинуты были столькие столицы древности; — германцы, отчасти тоже выселяющиеся, отчасти теснимые объединенными славянами с Востока, придвигаются всё ближе и ближе к Атлантическому приморью, — смешиваясь теснее прежнего с остатками Романского племени... Неужели это одно уже само по себе взятое не есть именно то, что называется разрушением *прежних государств* и постепенным падением *прежней культуры*? ²⁰

Если и это не гибель, если и это не уничтожение, если это не перерождение даже и племенное, этнографическое, то я должен сознаться, что я ничего не понимаю!

А для обнаружения всех этих последствий нужны только следующие события: 1) более прежнего сильная вспышка анархизма во Франции и вообще в Романских странах и 2) утверждение России на Турецких проливах по соглашению ли с Германией или вопреки ей — все равно. ³⁰

А разве и то и другое не предчувствуется неким общим даже историческим инстинктом? — Везде, во всех странах теперь многие и того и другого крайне *опасаются*, и очень

многие и *того и другого* крайне желают. — Вернейший признак, что и то и другое, и анархия во Франции, и взятие нами Проливов не только сбыточно, но и *неминуемо*.

VIII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Россия — глава мира возникающего; Франция — представительница мира отходящего», — сказал Н. Я. Данилевский, сказал верно, просто и прекрасно.

«Россия глава мира возникающего»; — «Россия не просто европейское государство; она *целый особый мир*»... Да, — это все так, и только не понимающий истории человек может не согласиться с этим.

Но весь вопрос в том, что несет в тайных недрах своих для Вселенной этот, правда еще загадочный и для нас самих и для иноземцев, — колосс, которого ноги перестали на Западе считать *глиняными именно с тех пор, как они, вследствие эгалитарных реформ по Западным образцам, немного ослабели и размякли?* — Что он несет в своих недрах — этот доселе только эклектический колосс, почти *лишенный собственного стиля?* — Готовит ли он миру действительно *своеобразную культуру?* — Культуру положительную, создающую, в высшей степени *новоединую и новосложную*, — простирающуюся от Великого Океана до Средиземного моря и до Западных окраин Азии, — до этих *ничтожных тогда* окраин Азии, которые зовутся теперь так торжественно *материком Европы*; ибо все тот же Н. Данилевский доказал (неопровержимо, по-моему), что, *географически* говоря, Европы такой особой нет, — а вся эта Европа есть лишь не что иное, как Атлантический берег великого Азиатского Материка; — великий же смысл слова Европа есть смысл *исторический*, т. е. место развития или поприще особой, последней по очереди культуры, сменившей древние, предыдущие, — культуры *Романо-Германской*.

Представим ли мы, загадочные славяно-туранцы, удивленному міру культурное здание еще небывалое по своей обширности, по роскошной пестроте своей и по сложной гармонии государственных линий, — или мы восторжествуем над всеми только для того, чтобы *всех смешать* и всех скорей погубить в общей равноправной свободе и в общем неосуществимом идеале всеобщего благоденствия — это покажет время, уже не так далекое от нас...

Я повторю в заключение, быть может, уже и в сотый раз: *благоприятное для нас разрешение Восточного вопроса, или еще проще и яснее, — завладение Проливами (в какой бы то ни было форме) тотчас же повлечет за собою у нас такого рода умственные изменения, которые скоро покажут, куда мы идем — к начатию ли новой эры созидания на несколько веков, или к либеральному всеразрушению?* — Признаки благие, обещающие созидание, есть как будто у нас и теперь еще прежде подобного торжества; но они слабы, неясны, еще нерешительны, и я здесь не буду говорить о них.

Скажу только об одном чрезвычайно важном признаке, как бы роковом и мистическом (совмещающем *внутреннее* идеи со *внешним* символом ее). — Вот он: *мы не присоединили Царьграда в 1878 году; мы даже не вошли в него.* — И это прекрасно, что нас туда не допустили враги ли наши, наши ли собственные соображения — все равно. — *Ибо тогда мы вступили бы в Царьград этот (во французском кепі) с общеевропейской эгалитарностью в сердце и уме; — а теперь мы вступим в него (именно в той шапке-мурмолке, над которой так глупо смеялись наши западники); в сердце же и уме с кровавой памятью об ужасном* ³⁰ *дне 1-го марта, когда на улицах нашей европейской столицы либерализм анархический умертвил так безжалостно самого могущественного в міре и по этому самому самого искреннего представителя либерализма государственного и умеренного; предстателя революции — постепенной.*

Среди столицы, построенной Петром, нашим домашним европейским завоевателем, совершилось это преступление...

И свершители его, слепые орудия, быть мож(ет), не по их пути ведущей нас судьбы, — получили сами достойную мзду...

И не есть ли эта великая катастрофа явный признак, что близится конец России собственно Петровской и Петербургской?!... Другими словами, что на началах исключительно европейских нам, русским, нельзя уже жить!?...

Неужели и это не ясно, и это не поразительно?.. О, бедные, бедные соотчичи мои — европейцы... Как бы можно было презирать вас, если бы позволяло сердце забыть, что и вы носите русские имена и что и вы, даже и вы, защитники равенства и свободы, — исправимы при помощи Божией!.. Велик Бог земли Русской!.. (Это не мои слова; быть мож(ет), годятся тут.)

Да, заметьте, заметьте это: не только либерализм, но и кепи; не только реакция, но и шапка-мурмолка...

Не смейтесь этому;... не восклицайте: «Ах! кепи и баранья шапка рядом с великими вопросами и трагическими событиями... Ах! От великого до смешного всего один шаг!..»

Не смейтесь этому; или смейтесь от радости, что я высказал то, что вы сами, быть может, думали. — Если так, то смеяться вы можете...

Но если вы засмеетесь зло или презрительно, то вспомните французскую поговорку:

Rira bien qui rira le dernier...

Шапка-мурмолка, кепи и тому подобные вещи гораздо важнее, чем вы думаете; внешние формы быта, одежды, обряды, обычаи, моды, — все эти разности и оттенки общественной эстетики живой, не той т. е. эстетики отражения или кладбища (музеи, которые [пропуск в рукописи]), которой вы привыкли поклоняться, часто ничего не смысля, в музеях и на выставках, — все эти внешние формы, говоря я, вовсе не причуда, не вздор, не чисто «внешние вещи», как говорят глупцы; нет, они суть неизбежные последствия, органически вытекающие из перемен в нашем внутреннем

міре; — это неизбежные *пластические символы идеалов*, внутри нас созревших или готовых созреть...

Конец Петровской Руси близок... И слава Богу. — Ей надо воздвигнуть рукотворный памятник и еще скорее отойти от него, отрясая романо-германский прах с наших азиатских подошв! — Надо, чтобы памятник «нерукотворный» в сердцах наших, т. е. идеалы Петербургского периода поскорее в нас вымерли. *Sapienti sat!*

НЕВОЛЬНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ СТАРЫХ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ

Я бы и рад был иногда в удалении моем стать равнодушным ко всем волнующим ум вопросам дня...

Перед окном моим бесконечные осенние поля.

Я счастлив, что из кабинета моего такой дальний и покойный вид.

¹⁰ *Laudatur domus longuos quae prospicit agros.* — Я не знаю, какому древнему поэту принадлежит этот стих; но мне он понравился, и я выписал его из одной чужой статьи...

Прекрасен тот дом, из которого вид на широкие поля... и в этом доме я, давно больной и усталый, но сердцем веселый и покойный, хотел бы, под звон колоколов монашеских, напоминающих мне беспрестанно о близкой уже вечности, стать равнодушным ко всему на свете, кроме собственной души и забот о ее очищении!..

²⁰ Но жизнь и здесь напоминает о себе!.. И здесь просыпаются забытые думы, и снова чувствуешь себя живою частью того великого и до сих пор еще неразгаданного целого, — которое зовется «Россия»...

Передо мной, на столе моем три «отражения» этой русской жизни... Новый «Гражданин» целой грудой разом за две недели; второе, дополненное издание блестящей французской брошюры кн⟨язя⟩ Ник⟨олая⟩ Ник⟨олаевича⟩ Голицына — «Письмо к редактору Фигаро» и тот номер

«Моск(овских) Вedom(остей)», в котором, по поводу кончины Н. П. Гилярова-Платонова, преемники покойного Михаила Никифоровича восклицают так: «С его (Гилярова) смертью поборникам великих национальных интересов России приходится еще теснее сомкнуть свои ряды и удвоить свою энергию, дабы пополнить новую понесенную ими убыль в лице редактора „Современных Известий“».

Вот это правда! И дай Бог, чтобы впредь мы, т. е. все те, которых зовут обыкновенно (хотя и не совсем правильно) «консерваторами», — стали бы внимательнее прежнего друг к другу и не дожидались бы смерти того или другого из них, чтобы воздать справедливость...

Я готов верить в искренность этого возгласа г-на Петровского; но ведь искренности и добрых намерений мало... — Надо исполнять намерения... надо уметь видеть немедленно то, что стоит поддержки. Похвально, хотя иногда и рискованно, в одном случае очень легко, а в другом очень трудно — идти по тропе, протоптанной великой и славной стопою, и не раз замечено было, что продолжать как следует великое дело учителя умеют лучше те ученики, поклонники и преемники, которые сами умом смелее и самобытнее, которые, подражая высшим качествам учителя, умеют видеть и недостатки его, стараясь их избегать. — Г. Петровский человек твердый и надежный; но мы не знаем, насколько он будет беспристрастен и справедлив. В отношении же внимания и справедливости к другим «поборникам национальных интересов России» — покойный Михаил Никифорович не может служить хорошим примером.

Он был и несправедлив, и невнимателен к ним... Если писатель или целый орган печати разнился от него всего бы только на одну четверть в совокупности общих мнений, — он игнорировал его и отказывал ему даже и в той обусловленной и ограниченной печатной похвале и поддержке, которая требуется от всякой беспристрастной критики.

Покойный Маркевич, например, рассказывал мне, что однажды он написал целый большой и похвальный отчет об

одной новой и мало известной газете, которая почти поклонялась Каткову, но была в 2—3 пунктах еще охранительнее, еще реакционнее его, «plus autoritaire» — во всяком случае. Труд Маркевича пропал даром; Катков его не напечатал и сказал: «Я не могу хвалить то, с чем я *не вполне* согласен!»

За истину анекдота не мое дело ручаться; это дело совести Маркевича; но кто же не согласится (тоже по совести, а не «по тенденции»), что это похоже?

¹⁰ Славянофилов Катков тоже не поддерживал даже и в той части их мыслей и деятельности, в которой они были его более прозорливыми, хотя и менее практическими, предтечами. Он большею частью *молчал* и отзывался о них с уважением только на свежих могилах.

Аксаков был лучше его в этом отношении: он хотя и с оговорками, но печатал глубокомысленные и восхитительные (*по форме*) статьи Влад(имира) С(ергеевича) Соловьева, несмотря на все отвращение свое к Папству.

²⁰ Сказать, что наши охранители пожирали друг друга — было бы клеветой; но они до сих пор не поддерживали друг друга как следует, и нельзя не одобрить г. Петровского за это своевременное восклицание.

Но именно потому, что оно своевременно, мне хочется напомнить начинающему и почтенному редактору «Моск(овских) Вед(омостей)» известный стих Мольера, — когда подражаешь великим людям...

«Не надо кашлять и плевать, как они!»

Со стороны замалчивания людей и мыслей, хоть наполовину да согласных с нами, не следует впредь подражать ³⁰ Каткову, а надо поддерживать их отзывами своевременными, справедливыми, но, разумеется, не лишенными строгости, там, где их мнения нам претят. Отчего, например, до сих пор в «Москов(ских) Ведом(остях)» не сказано было ни слова о замечательной французской книжке кн(язя) Голицына «Письмо к редактору Фигаро», — о которой я выше упомянул? Первое издание ее вышло в августе. Ее бы следовало отрывками даже и перевести, хотя бы с некото-

рыми, так и быть, вежливыми оговорками во имя «венков», привезенных Деруледом и другими французами.

Какое же будет это «сомкнутие рядов», если мы все так будем делать?

Вот и я, отшельник, теперь в положении трудном по самому этому поводу... По поводу взаимной поддержки.

Не брошюра кн⟨язя⟩ Голицына затрудняет меня; ее хвалить мне очень легко; затрудняет меня не она, но *иные мнения того самого «Гражданина»*, для которого я это пишу и считаю писать удовольствием. Во всем я с «Гражданином»¹⁰ согласен, в одном только не совсем: во взгляде на внешнюю политику нашу за предыдущие 30 лет. «Гражданин» не одобряет ее по всем пунктам; я же нахожу ее, напротив того, в высшей степени удачной и счастливой, за исключением одного пункта — нашего потворства болгарским национал-либералам в их революционных действиях против Вселенского Патриарха.

По этому пункту, как и по многим другим, мы были всегда единомысленны с редактором «Гражданина», и он еще в еженедельном издании всегда охотно печатал многие из тех статей моих, за которые я от разных известных лиц получил столько лестных прозвищ: «мистик на хищной подкладке» (от г. Стасюлевича); «самоуверенный невеглас» (от г. Лескова); «фанатик-фанариот» (от И. С. Аксакова); «Ив⟨ан⟩ Як⟨овлевич⟩ Корейша» (кажется, от г. Родзевица в «Московском» недолговечном «Телеграфе»), и т. д.

Как же быть теперь, когда я, желая всевозможных успехов новому «Гражданину», согласен только отчасти с передовой статьей № 8, которая озаглавлена «Наши слабости»?!

Что же мне делать, если я, находя совершенно правильную ту основную мысль этой статьи, что «наш путь был так прост и ясен» (*во всех делах наших исходить из учения Церкви*), — вместе с тем не могу понять, каким образом это может относиться к *возвышению Германии*, например?

Как мне быть, если я хочу доказать другим то, что для меня было ясно с 71 года, — именно то, что возвышение

Германии для нас в высшей степени выгодно потому, что расстроило раз навсегда прежние условия европейского равновесия?

Чтобы лучше видеть и объяснить другим, что выгодно и невыгодно для России, надо прежде всего дать себе ясный отчет в том идеале, который имеешь в виду для своей отчизны. Благоденствие? Равенство? Свобода? Богатство, слава? Сохранение Церковной Святыни до скончания века? Наконец, нечто совсем особое, напри^(м)ер, создание и раз-
¹⁰витие *своей культуры* на всех, по возможности, поприщах независимой от европейской, на нее непохожей, отличной от нее настолько, например, насколько Персия Камбиза и Ксеркса была не похожа на современные ей греческие республики, или настолько, насколько Рим был не похож на подчиненные ему впоследствии восточные Царства, или, наконец, настолько, насколько Романо-Германский мир отличался и от предшествовавшего ему языческого Рима, и от современной ему вначале Византии.

Не знаю, как другим, а мне стало шаг за шагом все ясно и
²⁰в нашей истории, и в Западной, раз я проникся этим идеалом, слегка и туманно очерченным славянофилами и отчасти Герценом, а потом нашедшим себе почти научно-точное выражение в монументальной книге Данилевского «Россия и Европа».

Я думаю, что все частные, так сказать, все выше перечисленные идеалы, сохранение Святыни Православия и даже дальнейшее правильное развитие его, богатство, слава, всемогущество в делах международных, новые пути в науке и философии, новые формы и искусства — все это (за исключением ненужных *равенства и свободы*) в совокупности
³⁰заклучено в одном этом общем и всеобъемлющем идеале: *новой, независимой, оригинальной культуры*.

Но вместе с тем, я полагаю, что на старой, почти 1000-летней, великорусской почве, в старых пределах и особенно при старых *столицах*, при слишком въевшихся в нашу кровь Петровских преданиях, на $\frac{3}{4}$ европейских, нельзя осуществить эту реальную, вполне возможную (по прежним историческим примерам) мечту.

Для этой высшей цели необходимо, чтобы то движение русских умов, которое зовут обыкновенно «реакцией», — своевременно совпало бы с передвижением русской жизни на Юго-Восток, на берега Босфора.

На почве новой и гораздо более нам сродной, чем жалкая почва Балтийских берегов — русскому уму откроется новый простор, новые кругозоры...

Тусклое «окно в Европу», которое, к сожалению, так хорошо воспел Пушкин (потому, что ему самому смолodu ¹⁰ жилось хорошо и весело у этого окна), тогда потемнеет и обратится в простой, торговый «васисдас», — когда мы, так или иначе, завладеем тем, что бедные турки зовут до сих пор «Вратами Блаженства», или «Вратами счастья» (не знаю, что точнее передает их мысль).

И все, что хотя бы косвенно, но ведет нас к этой цели, — я считаю выгодным и желательным, даже и при возможности частных утрат и обид.

В этом смысле и возвышение Германии, в ущерб прежнему величию Франции и Англии, — я считал и считаю для нас выгодным, несмотря на опасности, и нам со сторо- ²⁰ ны сильного соседа грозящие.

Едва ль в основании своих мыслей и чувств кн⟨язь⟩ Мещерский расходится со мною...

Но он видимо расходится в оттенках, во взглядах на частности, — и вот тут и является вопрос: готов ли он, несмотря на эти второстепенные различия, напечатать эту статью мою? Готов ли он, «смыкая теснее ряды», оказать мне ту самую «поддержку», о которой справедливо заботится г. Петровский?

Я уверен, что кн⟨язь⟩ Мещерский готов мне ее ока- ³⁰ зать, несмотря на частное разногласие; — я уверен, что у него совсем нет потребности «кашлять и плевать» именно так, как «кашлял и плевал» в подобных случаях Катков.

Что делать! И солнце не без пятен, и Катков был небеспорочен; и я имею основание находить, имею дерзость сказать во всеуслышание, что кн⟨язь⟩ Мещерский в подобных случаях всегда был искреннее, справедливее и прямее гениаль-

ного московского самодура... (Спешу заметить, что я талантливое самодурство очень люблю, и в моих устах это слово — не брань, а только *полубрань*, смотря по случаю.)

Прошу же кн(язя) Мещерского *во имя общего дела* позволить мне развить подробнее мой тезис в его газете; с возражениями, если нужно («бей, только выслушай!»), или без них, как угодно, только чтобы труд моего одиночества не пропал бы даром...

¹⁰ Будем вливать *вино новое в мехи новые!*.. Не будем жить только «злостью завтрашнего дня», а позволим иногда развернуть свое знамя пошире и пошире поборнику тех же начал, которым и мы служим, брату по оружию, устаревшему в долгой и неравной борьбе с неправдой представителей нашей печати... Иначе ему придется молчать и сказать только: «И ты тоже, Брут!» Вот что написал я, глядя из окон моих на широкие и тихие поля...

СОЧУВСТВИЕ И СОДЕЙСТВИЕ

В политическом *содействии* той или другой державе мы, простые граждане Русского Царства, — не вольны и не компетентны. — Это — дело Правительства нашего.

Но для самого Правительства русского очень важно, *чему* мы, граждане, *сочувствуем*, какая государственная форма нам нравится, какой быт нам представляется лучшим и примерным... Сами члены Правительства суть прежде всего члены того же русского общества и живут под теми же впечатлениями, под влиянием которых развиваемся и мы, граждане, властью не облеченные... Есть нечто общее в национальной жизни для всех нас, властных и безвластных: дух времени, например, принудительная сила исторических условий, предания народные и т. д. ...

Как бы ни было высоко положение человека, как бы ни был силен его характер и самобытен ум, — но на действиях его не может не отражаться сумма всех этих влияний, впечатлений, веяний и т. д.

10

Если даже сильный и высокопоставленный человек идет наперекор сочувствиям и вкусам большинства и успевает благополучно в своих начинаниях, то это происходит оттого, что он угадал, до чего нестойки и преходящи эти вкусы и сочувствия большинства и до чего само большинство всех наций изменчиво. Он угадал — течение истории; он понял, что кажущееся направление мнений нередко обманчиво, и сильным поворотом дел в счастливую минуту изменил его, изменил с успехом, разумеется потому только, что были в обществе сильные запасы и вовсе иных мнений и сочувствий, чем те, которые с первого взгляда казались господствующими...

20

Это я говорю про людей, облеченных властью, — то есть *узаконенным правом* не только убеждать, но и *принуждать других сограждан своих*.

И там, где это законное, священное право насилия над волей нашей ослабло и в сознании самих принуждающих, и в сердцах принуждаемых, там, где утратились одинаково и умение смело властвовать, и умение подчиняться с любовью и страхом (не стыдясь последнего), там уже не будет ни силы, ни жизни долгой, ни прочного, векового порядка...

Но как ни священны те таинственные идеальные государственные узы, во имя которых один имеет право распорядиться самовластно даже и жизнью другого (судья казнить меня; военный начальник послать подчиненного на верную смерть; Государь, объявляя войну, обречь цвет общества и народа на все труды и страдания походов и сражений) — подчинение воли нашей все-таки глубже и вернее, когда оно оправдано и рассудком нашим, или по крайней мере *чем-то таким*, что каждый из нас считает своим рассудком.

Принуждение и своей воли и чужой легче и приятнее, когда есть при этом и убеждение...

Политические писатели не облечены никакою властью, — это не их назначение; их призвание не принуждать, а *убеждать* своих сограждан; руководить общественным мнением, воспитывать это мнение; — а вовсе не подчиняться ему и не потворствовать вздору только потому, что многие в настоящую минуту этому вздору сочувствуют. Когда мы взглянем так прямо и без ложной скромности на призвание политической печати, тогда нам предстанет в настоящем свете ее серьезное значение для общественной жизни; значение, искажаемое теперь всячески и на каждом шагу, то легкомыслием, то алчностью, то неправильными претензиями говорить, подобно дипломатам, для иностранных министров, для иностранной публики, для чужих газет... Прежде всего, повторяю, политическая русская печать должна, не обращая ни малейшего внимания на то, что подумают, скажут и сделают иностранцы, *своих* просвещать, своих убеждать, своим облегчать ясное разделение понятий, часто спутанных и темных в наше время при чрезмерно-быстрых и ненормально-напряженных движениях жизни.

Вот, в смысле подобного резкого и полезного для нас разъяснения понятий я нахожу, что французская брошюра князя Н. Голицына, «Письмо к редактору газеты „Фигаро“», не так давно вышедшая вторым, дополненным изданием, весьма своевременна и замечательна... Очень жаль, если она до сих пор никем не переведена по-русски или по крайней мере не передана где-нибудь вкратце и с большими цитатами.

Редакция «Гражданина», в 11 номере, сама выразилась так:

10

«Надо думать, что важные события бродят около нас, как тучи, и не сегодня, так завтра должны привести к грозе...

Гроза эта — война. Рано или поздно, никем не званная, никем не желаемая, она придет, а так как в интересах Германии ее желать как можно скорее, раз она неизбежна, то вопрос о французских симпатиях, весьма понятно, является весьма серьезною современною темою для обдуманной беседы.

С одной стороны, нельзя не считаться с сильным течением в пользу французских симпатий в иных слоях русского общества. Далеко не все серьезные люди увлечены этим течением в России, это вне сомнения, но все-таки работа газет сделала свое дело, и много людей, взирающих на политический мир под влиянием газет, или легкомысленно, мимоходом, говорят о французских симпатиях и о союзе России с Францией как о событии осуществимом.

20

Отсюда для того, кто, как мы, безусловно отрицает серьезность таких симпатий в политике, — является опасение идти для многих *против течения*, и т. д.».

Почти в том же духе говорит и кн(язь) Голицын с редактором «Фигаро», по поводу статьи этой газеты «Теории Каткова».

30

В начале своего краткого предисловия на русском языке кн(язь) Голицын говорит так:

«За последние годы в русской политической печати возбуждался не раз вопрос о необходимости для России союза с Францией, на случай могущих быть международных стол-

кновений, для сильнейшего отпора Германии, и т. под. Многие шли еще далее и, кроме политического союза, требовали возобновления прежних русских симпатий ко всему французскому, к пресловутой „прекрасной Франции“, к гражданам теперешней республики на крайнем Западе, чуть ли даже не к их учреждениям и порядкам... Такому рецепту следовать, однако, трудно, ибо нельзя любить по приказу, как бы ни был полезен „союз сердец“ для успеха политической комбинации. Сторонником последней был, как известно, и покойный Катков, но только, разумеется, в смысле политического оппортунизма; о *сердечных* же симпатиях и уважении к теперешней Франции и французам мы что-то не встречали заявлений на страницах „Московских Ведомостей“. Мы встречали, напротив, иногда жесткие речи о том, что Франция — гниющий труп и что в ней не с кем заключать союз... Весьма понятно, что во всем этом речь шла о двух совершенно различных понятиях; но многие из тех, кто желал подделаться под тон великого публициста, все исказили; да и вообще, мы мастера по части путаницы. По-²⁰ догревать симпатии после того как они постепенно ослабевали, или *decrecendo* в течение последних 25—30 лет, представляется трудным; этого не сделаешь на заказ»... и т. д.

В конце того же предисловия мы читаем следующие строки:

«Вопрос о франко-русских симпатиях и галломании, как мы сказали выше, довольно спутан, и давно настала пора попытаться воздать *sum cuique*, разграничить и разъединить элементы этой путаницы. Появившаяся недавно в газете „Figaro“ нелепая статейка под громким заглавием: „³⁰ Les Théories de Katkoff“ дает нам, между десятками подобных произведений французской прессы, повод попытаться разобраться в этом запутанном материале... Пишущий эти строки послал редактору „Figaro“ следующее письмо (с некоторыми дополнениями), которое печатается *in extenso*, так как, разумеется, оно никогда не появится в газете, куда оно послано».

В самом французском тексте, назначенном для газеты «Фигаро», в начале на стр. 8-й мы находим такое замечание:

«Вот уже скоро два года, как французы и русские жмут друг другу руки так, что только кости трещат; и недавно еще, в день вашего (французского) национального праздника (увы! этот праздник был не что иное, как годовщина взятия Бастилии), многие дома в Париже были украшены русскими флагами; итак, мы — друзья — не правда ли? Друзья искренние, нежные, преданные»...

10

Под конец статьи, на стр. 27-й, 32 и 34-й, — мы видим вот что:

«Итак, мы слово за словом дошли наконец до значения и цели нашего с вами союза — *во время войны...* Войны — с кем? — спрашиваю я! — Где неприятель? С Германией, конечно... (отвечаете вы). Германия — враг общий и несомненный. — Гм! Германия России несомненный враг? Так ли это? Кто вам сказал это?

— „Катков, Катков сказал, *le grand Katkoff!*” Да, этот вопрос мог бы стать предметом серьезного и глубокого анализа, под конец которого пришлось бы пожалуй сказать только „*est modus in rebus*”... Но не будем спорить с Катковым и допустим, что это вполне справедливо. Положим — Германия нам несомненный враг, и вот настал час обнажения меча... „В Берлин!” Прекрасно; но я еще раз повторяю: при чем же в случае подобного столкновения России с Германией — союз наш с Францией? Россия и Франция отделены друг от друга огромным пространством; — каждый из нас может жить особо и независимо; не будет даже и при одновременной борьбе ни братства по оружию, ни *общих* 30 полей битв, политых *совместно* кровью союзников; ни знамен, в одно время почерневших от дыма *тех же самых пушек*. Мы не пойдем просить у французов помощь нам ружьями и другими военными запасами; и французы не станут у нас всего этого просить. Какая же цель этого *единения* с Францией? Когда Франция найдет минуту удобной и армию свою достаточно сильной и мужественной, чтобы на-

пасть на Германию, — кто помешает ей это сделать? И Россия с своей стороны вольна воспользоваться этой же минутой для нападения на предполагаемого врага с своей стороны... Если бы случилось России прежде напасть, Франция то же самое может сделать с своей стороны, ибо неприятель, атакуемый с двух сторон, неизбежно слабее. Каждый за себя, а Бог за всех!»

«Итак, где же выгоды, в чем же приманка для подобного союза, раз уже *действительные* симпатии между обеими нациями и между двумя Правительствами более чем сомнительны?»

В заключение автор брошюры обращается к «Фигаро» со следующими четырьмя откровенными, ясными и основательными пунктами:

1) Симпатии между русскими и французами за последние 25—30 лет значительно охладели.

2) Мысль о союзе с *нынешней Францией* принадлежит безусловно к области *политического оппортунизма* и ничуть не основана на *взаимной симпатии двух наций*.

3) Покойный Катков хотя, действительно, и склонялся к подобному союзу, но взгляды его на *современную Францию* не рознились ничем от взгляда на нее всех благомыслящих русских.

4) Этот взгляд или эта оценка благомыслящей России не слишком-то благоприятна для республиканской Франции.

Наиболее важным я считаю для нас, русских граждан, во всем этом деле не вопрос о союзе, а вопрос о *сочувствиях*, а вследствие сочувствий и о *влиянии* на нас французского духа. Союз сам по себе еще не опасен и при некоторых условиях может быть и очень выгоден.

Нередко противники влияют больше союзников. Немцы и англичане, союзники наши во времена Наполеона I, не имели ни малейшего заметного влияния на наше общество, а общие неприятели — французы — в то время влияли умственно на всех, — меньше всего на англичан, конечно; больше всего на нас, вследствие нашей подлой и до сих пор еще неисцелимой подражательности.

Вот что важно: не любить, не восхищаться, не подражать; а содействовать из временных государственных расчетов можно всякому; мы удачно содействовали северянам Америки в борьбе их противу более близких, пожалуй, к нам по помещичьему строю жизни — южан; но при этом особого и заметного влияния промышленный и свирепо-буржуазный дух Американского Севера на нас, слава Богу, не имел.

Я знаю, что кн⟨язь⟩ Голицын прав, замечая довольно уже давнее и благодетельное для нашего развития охлаждение к французским либерально-эгалитарным идеалам. Он говорит, что сочувствовать у нас республиканской Франции могут только те публицисты, которых Катков называл: «мошенники пера и разбойники печати». Правда; но у этих публицистов разве мало еще и теперь читателей и подписчиков? Интересно бы было справиться, напр⟨имер⟩, хоть в Цензурном Ведомстве или на почте, сколько подписчиков у подобного духа периодических изданий?

Я думаю, что сумма всех подписчиков на эти русские по языку и отчасти и по заглавиям своим, но не русские по духу органы печати выйдет и теперь не малая, а очень большая.

Не скоро мы с этим справимся. Надо еще долго и неустанно бороться и бороться всячески, и принуждением, и убеждением, чтобы вытравить в умах самих читателей этот дух.

О русских современных читателях мне и прежде не раз случалось говорить, что я верю больше в их бестолковость и легкомыслие, чем в их сознательную злонамеренность.

Как один живой пример из сотни других, расскажу про одну встречу мою с богатым купцом в глухом уездном городе, лет десять тому назад. Я покупал что-то в лавке, когда в нее вошел пожилой и солидного вида человек, одетый по-европейски довольно щеголевато; вошел, поздоровался с хозяином и, как свой человек, сел и стал разговаривать. Не помню как разговор коснулся газет, и он начал восхищаться «Голосом», объявив, что это единственная газета, которая говорит правду, и поэтому — он только ее и читает. Я воз-

ражал ему кой-что и, приняв его за очень либерального помещика, желающего конституции, ушел из лавки прежде его. В тот же день я навел о нем справки; мне сказали, что это не помещик, а купец, и смеясь прибавили, что он сам не знает почему любит «Голос»; на деле — он человек религиозный, содержит посты, празднует церковные праздники, жертвует на храмы, а в Царские дни — один из первых всегда освещает дом свой плашками...

Для того, чтобы судить правильно многих и многих из наших читателей, — самое лучшее средство — это вспоминать почаще то, что сказал гр⟨аф⟩ Лев Ник⟨олаевич⟩ Толстой про князя Степана Аркадьевича Облонского в первой части «Анны Карениной».

«Степан Аркадьевич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика собственно не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета, и изменял только тогда, когда большинство изменяло их, или лучше сказать — не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись.

Степан Аркадьевич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука и брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не от того, чтоб он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни.

Либеральная партия говорила, что в России все дурно, и действительно, у Степана Аркадьевича долгов было много, а денег решительно не доставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо

перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставила мало удовольствия Степану Аркадьевичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или лучше подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения, и действительно, Степан Аркадьевич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было весело.

Вместе с этим, Степану Аркадьевичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смиренного человека тем, что если гордиться породой, то не следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от первого родоначальника — обезьяны».

Итак, один из подобных читателей — купец, жертвующий на храмы и украшающий дом свой плошками в Царские дни; другой — *настоящий* барин, князь, значительный чиновник — и у обоих сходная и одинаково никуда негодная политическая логика!

Логика настоящая, правильная, уже давным-давно должна бы привести нас, русских, не только к отвержению политических идеалов, подобных идеалам современной Франции, Соединенных Штатов, швейцарского деревянного «гражданства» и т. п., но ко взгляду на весь собственный наш эмансипационный период — как на время в высшей степени опасного и, быть может, и трудно исправимого опыта...

Пора же понять хоть нам, русским (если западные европейцы уже не в силах этого сделать), — что сословный строй, неравноправность граждан, разделение их на неравноправные слои и общественные группы есть *нормальное* состояние человечества и что даже и та неполная степень свободного равенства, до которой дошла вся Европа во второй половине XIX века, — есть не что иное, как разрушение этого органического, естественного строя, без замены его (*пока*) строем новым, новой, искусно организованной, так сказать, *социальной неправдой*.

Именно в этой-то социальной *видимой неправде* и таится невидимая социальная *истина*; глубокая и таинственная органическая истина общественного здоровья, — которой безнаказанно нельзя противоречить даже во имя самых добрых и сострадательных чувств. Мораль имеет свою сферу и свои пределы; политика свою. Политика (т. е. расчет), вносимая в дела личные — через меру и ввиду лишь одной личной выгоды, — убивает внутреннюю, *действительную* мораль. Мораль, вносимая слишком простодушно и горячо

¹⁰ в политические и общесоциальные дела, колеблет, а иногда и разрушает государственный строй.

Я приведу здесь по этому поводу о пользе и значении общественной неправопранности (или «*социальной неправды*», как многие выражались в *истекающем* уже XIX в.) мнения двух людей, между собою, конечно, вовсе не схожих: мнения Св. Игнатия Богоносца (одного из ближайших учеников Апостольских) и мнения — *Эрнеста Ренана*.

Мнения первого касаются рабства; взгляды последнего — сословной неправопранности вообще.

²⁰ Игнатий Богоносец в послании своем к Поликарпу, Епископу Смирнскому, говорит так: «Над рабами и рабынями не гордися; но ниже тии да возносятся: *но во славу Божию бóльше да работают, яко да лучшую свободу* (т. е. духовную) получают от Бога; *ни да избирают чрез общий искуп свободитися, да не ради обрящутся похоти*»...

Сами Апостолы, прямые истолкователи воли Христа, не только оставались равнодушными к вопросу о равенстве и неравенстве личных прав на земле, но и прямо освящали неправопранность своим словом (Ап. Павла; гл. XIII к Римл.; к Коринф. I; гл. VII, 20, 21, 22; к Ефес. гл. VI, 5, 6, 7, 8, 9; к Колос. гл. III, 22—25; к Тим. гл. VI, 1—4; Ап. Петра I; гл. II, 13—20 и т. д.).

³⁰

Ренан с своей стороны считает Францию погибшей оттого, что она *неисправима на пути равнопранности*.

«Революция» (говорит он)... «сохранив лишь одно неравенство, неравенство имущества; оставив на ногах лишь од-

ного гиганта — Государство и тысячи пигмеев, создала нацию, будущее которой мало надежно, нацию, где одно богатство имеет цену, где благородство может только больше и больше падать».

«Революция все раздробила; она разрушила все корпорации, кроме Церкви; одно духовенство осталось организованным вне Государства».

«Человеческое общество, мать всякого идеала, есть прямое произведение верховной воли, которая хочет, чтобы добро, истина, красота имели в мире созерцателей... Это трансцендентное отправление человечества не совершается посредством простого сосуществования неделимых... Общество есть иерархия».

«Мы все выходим из идеи, что дворянство имеет началом заслугу, и так как ясно, что заслуга не наследственна, то мы легко доказываем, что наследственное дворянство есть нелепость; но тут вечное французское заблуждение, что есть какая-то распределительная справедливость, весы которой должно держать государство. Общественное основание дворянства, рассматриваемого как установление, имеющее целью общую пользу, состояло не в том, чтобы вознаграждать заслугу, а в том, чтобы ее вызывать, чтобы делать возможными и даже легкими известного рода заслуги. Если бы оно (дворянство) служило даже только для того, чтобы показать, что справедливости не должно искать в официальном устройстве общества, то и это уже было бы не малое дело. Девиз „достойнейшему“ имеет в политике очень мало применения».

И еще. «Трудолюбивые поколения людей, народа и крестьян, создают существование честного и экономного буржуа, который в свою очередь создает дворянина, человека освобожденного от вещественного труда, всецело преданного предметам бескорыстным. Каждый в своем классе есть хранитель предания, нужного для успехов цивилизации».

«Превосходство Церкви (Католической) и сила, которая ручается за то, что у Церкви есть еще будущее, состоит в

том, что она одна понимает это и научает это понимать. *Церковь хорошо знает, что лучшие люди часто бывают жертвами преимуществ так называемых высших классов; но она знает также, что природа хотела, чтобы жизнь человечества имела многие степени. Она знает и признает, что грубость многих есть условие воспитания одного»,* и т. д.

«Сумеют ли холодные соображения политико-эконома заменить все это?» — спрашивает Ренан.

¹⁰ На вопрос, делаемый Ренаном, сумеют ли холодные соображения политико-эконома заменить все это, Ренан отвечает: конечно, нет! И потому Ренан свою новую, либерально-буржуазную уравненную Францию считает погибшей. Возврат к старому он справедливо считает невозможным, а для нового, для новой организации — элементов нет и не может быть в стране, издавна воинственной, *но ничуть не завоевательной* так, как завоевательна, например, наша Россия в том смысле, что она все еще растет и обновляет этим, *иногда почти невольным ростом свою социальную* ²⁰ *почву.* Постоянно присоединяя разнохарактерные страны, невозможно их вдруг *ложно обрусить*, т. е. прямее сказать — невозможно передать им сразу все *горькие плоды нашего европеизма*; трудно оказалось и при 25-летних усилиях до конца испортить наши окраины, погубить их благородное разнообразие, их мистические верования, их косвенно полезный и нам самим *фанатизм, будто бы русскими* либеральными судами, нигилистическими университетами, всепожирающим прогрессом железных путей и т. д.

Этой одной разницы между *опомнившейся* Россией ³⁰ 80-х годов и *неисправимой* современной Францией достаточно, чтобы сочувствия не переходили с чисто политической почвы на *социальную!*

У князя Голицына все это выражено иначе, но в том же направлении.

Я очень был бы рад, если кто-нибудь другой, более меня на это терпеливый, изложил бы подробно в какой-нибудь хорошей газете содержание этой брошюры и привел бы из

нее по-русски большие отрывки; — но сам я теперь не в силах этого сделать. Скажу только, что в ней, кроме того ясного различия между случайным выгодным содействием и душевным или умственным сочувствием, есть еще другое разделение понятий, несколько темнее, впрочем, первого выраженное. Это о двух разных причинах охлаждения русских людей к Франции; одну из этих причин охлаждения можно назвать политической собственно, другую скорее — культурною. И эта вторая, повторяю, гораздо важнее. У кн(язя) Голицына обе эти причины являются¹⁰ (на стр. 14—15) несколько спутанными.

Политической причиной охлаждения нашего я называю весь тот ряд противодействий вооруженной рукой и дипломатической интригой, который мы видели от всех Правительств Франции за последние 35 лет, начиная от Крымской войны до невыдачи цареубийца Гартмана и т. д.

Культурной причиной охлаждения, доходящей именно у лучших русских до отвращения, считаю упомянутую разницу в гражданских и вообще общественных идеалах, разницу, которая теперь с каждым годом, с каждым шагом роет,²⁰ к счастью нашему, между нами и французами все более и более глубокую бездну.

И Франция, и Россия глубоко изменились во второй половине XIX-го века.

Французы XVIII века и начала XIX были во многом гораздо выше современных им русских; вследствие этого русским они тогда нравились; они пленяли наших отцов и дедов не без основания. Воюя против них, вступая с ними в государственную борьбу, — тогдашние русские культурно, умственно подчинялись и подражали им. Французы конца³⁰ XIX века стали ниже нас, и нам нечему у них важному учиться.

Франция стремится неудержимо по наклонной плоскости крайней демократизации, и нет сомнения, что даже и торжествующие радикалы ничего не смогут в ней прочного устроить, ибо устройство и есть не что иное, как то организованное неравенство, которое восхваляет Ренан.

У нас опыт и *неполной демократизации общества* привел скоро к глубочайшему разочарованию. Начавшийся с *личной эмансипации крестьян* (экономически, *аграрно* они и теперь не свободны, а находятся в особого рода спасительной для них самих крепостной зависимости от *земли*), этот опыт, слава Богу, очень скоро (для истории 25 лет — это еще не много) доказал одним из нас, что мы вовсе не созданы даже и для приблизительных равенства и свободы... а другим, более понимающим и дальновидным, — этот

¹⁰ опыт доказал *еще нечто большее...*

Он заставил понять, что если славянофилы были правы, воскликнув: «Запад гниет» — то гниет он без сомнения — главным образом *оттого, что в нем везде* (даже в Англии и Германии) слишком много стало *этого равенства и этой свободы*, ведущих к высшей степени вредному однообразию воспитания и потребностей. Англия, благодаря последним демократическим реформам, подходит все ближе и ближе к типу Орлеанской Франции, а от подобной Монархии один шаг до Якобинской (т. е. *капиталистической*) республики...

²⁰ Что касается до не вполне еще объединенной Германии, то ее социальная почва слишком тоже близка к общеевропейскому типу XIX века, чтобы иметь надолго особую будущность. — Гражданское равенство, однообразие, парламент (с которым, *пока жив*, еще кой-как справляется великий человек); гражданский брак и т. д. А после смерти двух могучих и популярных старцев, Императора Вильгельма и Бисмарка — будет непременно все то же, что и везде на Западе — все эти полурадикальные, сильные для разрушения и бессильные для созидания, Ласкеры и Вирховы

³⁰ восторжествуют наверно, но не надолго! Все западные страны Европы осуждены *историческим роком своим*, своей органической жизнью — идти позднее за Францией и повторять ее ошибки, даже и ненавидя ее! Неужели не избегнем этого и мы?

Будем надеяться, что *теперешнее движение русской мысли, реакционное* — скажем прямо, движение — не эфемерно, а надежно; будем помнить, что прогресс не все-

гда был *освобождающий*, а бывал *разный*; будем мечтать, наконец, чтобы условия внешней политики позволили бы нам окончить скорее Восточный вопрос в нашу пользу и чтобы неизбежное тогда расширение исторического кругозора нашего, совпадая счастливо с этим реакционным течением мысли, вынудило бы нас яснее прежнего понять сложные и мудрые законы социальной *статики* и все смелее и смелее прилагать их к жизни...

«Франция, — сказал Данилевский, — есть истинный практический проявитель европейских идей с начала европейской истории и до настоящего дня. — Россия представительница Славянства».¹⁰

Франция, прибавлю и я, есть передовая нация Романо-Германской культуры, понемногу отходящей в вечность; Россия — глава мира, возникающего для самобытной, новой и многосложной зрелости.

Какое же возможно тут сочувствие?!

Если же нет; если мы ошиблись, — то и Россия погибнет скоро (исторически — скоро), слившись так или иначе со всеми другими народами Запада в виде жалкой части какой-нибудь рабочей, серой, безбожной и бездушной, федеральной мерзости!²⁰

И не стоит тогда и любить ее!

SUUM CUIQUE

В брошюре своей кн⟨язь⟩ Голицын очень ясно различает три степени возможных отношений к Франции русских людей и России во всецелости ее: сердечное сочувствие, формальный союз и случайное взаимное содействие. Он признает полезным только последнее; — да и то с оговоркой, если Германия действительно окажется *отъявленным* нам врагом.

¹⁰ О Каткове ему приходится говорить много, потому что его возражение не попад пламенным французским публицистам написано непосредственно под впечатлением глупой статьи «Фигаро» — «*Les théories de Katkoff*» (нашли — *теоретика!*). — «Катков искренний друг французской республики, Катков противник и враг русского дворянства, говоривший о нем с презрением» и т. д.

Кн⟨язь⟩ Голицын обличил «Фигаро» в невежестве и пустословии; — он хотел растолковать французам (жаль, что не русским), «что Катков не восхищался строем их государства, не сочувствовал республике их, не видел в нынешней ²⁰ Франции почти ничего достойного уважения или подражания, а только как русский практический политик находил временное сближение с Правительством Франции выгодным для наших собственных целей».

Кн⟨язь⟩ Голицын защищает Каткова от *нареканья* в симпатиях к Франции; — он говорит, что «зная Каткова было *белизны незапятнанной*»; что «красной, пунцовой — республике» этот русский патриот сочувствовать не мог. — Он очень высоко вообще ценит Каткова, хотя и замечает в ³⁰ одном месте, что страстность покойного «опортуниста» нашего и в деле чисто практического соглашения с представителями *деятельной* французской политики перешла в последнее время за должную черту... Кн⟨язь⟩ Голицын утверждает, что «по слухам, Катков вступил в ненужные перегово-

ры с влиятельными людьми вашей (французской) нации; он дозволил некоторым друзьям своим свидания с вождями ваших партий... *действия, которые у нас (в России) в высших сферах не были бы одобрены*»...

И, конечно, если эти слухи справедливы, то одобрять тут нечего; — особенно в наше время «благодетельной гласности» и т. д. Если бы Катков был не публицист, а прямо и просто человек *власти*, министр *напр(имер)*, то это было бы, может быть, очень полезно.

В старину — ни публика, ни газеты, ни депутаты национальных собраний не мешали своему Правительству делать дело тайно, не спеша и солидно. — Теперь не то. Какое-то жужжание вокруг, неясное, глухое, но несносное... Всем надо судить, говорить, писать, советывать, ораторствовать; надо изумляться, как еще нынешние дипломаты могут вести серьезные дела! То друг друга опровергающие слухи, то повторение одного и того же известия с ничтожными поправками; — все мелькает, все рябит в глазах, сливается в какой-то бледной, полинявшей пестроте... Никогда почти нельзя понять ясно, *кто именно* чего ищет и желает; — 10
Государь ли той или другой страны? Правительство ли то или другое в совокупности своих главных сил? — Нация ли? и какая часть нации... «Франция ищет»... «Россия желает»... *Какая Франция? Какая Россия?* Все это так сложно и темно! 20

Если бы мы писали: «я думаю; я для России желаю; я нахожу»... право, было бы гораздо прямее и полезнее!

В те времена, когда дипломатические дела и вообще высшую политику ведали только Цари с министрами и могучие советы аристократических держав, подобных Венеции и Старой Англии, — для посвященных все было ясно, для непосвященных — темно. И великие дела совершались без газетного и парламентского празднословия. 30

Мне скажут, что великие эти дела совершаются и теперь, и под эту демократическую кошачью музыку... Ведутся победоносные войны, распадаются или поглощаются це-

лые государства; заключаются искусные и сложные трактаты, подобные Берлинскому, напр(имер).

Все это так; у людей есть огромная способность применяться к новым условиям, и государственные люди применились к этому ежедневному мельканью полуистин, полужли и общепринятых фраз, к этому нескладному концерту передовых статей и политических брошюр, они даже под рукою (у нас в России, не понимаю, с какой ясной целью и для кого именно?!)... по делам внешним влияют на печать, ¹⁰ внушают, возбуждают, сами даже иногда без подписи пишут...

И при этом иногда делают именно то, что внушали и писали, а иногда совершенно обратное.

Журналисты тоже часто пишут не то, что думают, но совершенно противоположное; они принимают на себя роль дипломатов; но здесь это гораздо вреднее; возьмем журналиста — независимого, честного, положим, русского... Он пишет, положим, общепринятую фразу: «Россия желает прочного мира в Европе...» Предположим при этом, что какой-нибудь из друзей и единомышленников этого журналиста ²⁰ говорит ему вечером: «Надо желать войны на Западе; она нам развяжет руки на Востоке; еще рано класть предел даже и завоеваниям нашим; мы не приобрели еще главного — Босфора; — Босфор и Дарданеллы до того важны, до того нам для дальнейшего даже и духовного развития нам нужны, что я бы с радостью отдал бы, кажется, за них Германии почти всю Польшу, и чехов еще с большей радостью и, пожалуй, даже и Курляндию. На что этого рода ³⁰ гордость — ничего не уступать, ничего не отдавать! Есть соображения глубже и возвышеннее этого: все то благотворно, что нас удалит от европейского Запада; все то спасительно, что отодвинет нас от того несчастного „окна“, которое Петр I-й прорубил в Европу — „среди тьмы лесов и топи (финских) блат“.

Если же такой простой и щедрый с нашей стороны обмен невозможен по каким-нибудь соображениям, которых я не понимаю, то я желал бы войны; — сокрушаюсь даже,

что Турция с нами кой-как ладит, и молю Бога о том, чтобы Англия или Австрия вовлекли ее в какой-нибудь союз противу нас в добрую для нас минуту!»

— Да, это правда (отвечает журналист), но у нас еще общество не дошло до этого высшего понимания. Великое религиозное и культурное значение Восточного вопроса очень немногим доступно. Если бы лет десять тому назад кто-нибудь из нас, пишущих, начал бы проповедовать, что ни болгары, ни сербы *сами по себе* не стоят наших жертв, даже и простой народ, потому что он сам из себя, без нашей помощи, кроме пошлых демагогов, ничего выделять не может (как и всякий народ без национальной Монархии, без сильного духовенства и без блестящего дворянства), но что воевать и победить турок, и освободить, и усилить юго-славян нам все-таки нужно, чтобы самим сделать еще один шаг к окончанию Восточного вопроса; если бы мы писали так, нам бы ответили: «На что нам ваш Царьград и ваши Проливы? Куда нам?! У нас и без них трудно». А для освобождения юго-славян одушевились. И потому нужно было славян хвалить, превозносить и возлагать на них в будущем прекрасные надежды. ¹⁰

Положим, друг возражает на это журналисту так: «Все это — ложь и ложь, все искажение правды в глазах читающей публики. Велело бы Правительство воевать, пошли бы без всякого одушевления, одушевились бы *там*, на месте, как и случилось на деле со многими. — Вольно же Правительству слишком много обращать внимания на газеты; оно и без них положением своим и силой своей научается, *что нужно делать* по внешней политике. А для публики нашей, не специально посвященной в дела дипломатии, полезнее ³⁰ было бы говорить пояснее правду более *общую*. Нам надо публику воспитывать, нам, больше ее во всем этом смыслящим и этому себя посвятившим, а не Правительство учить, которое само, я думаю, знает, или должно знать, что возможно и что удобно *теперь*. И не иностранцам мы призваны *отводить* глаза, а своим *открывать* их. Сколько ни брани мы за что-нибудь иностранцев, напр<имер>, францу-

зов за их нравы и быт, это не помешает их начальникам заключить союз с нашими дипломатами, когда нужно и можно; сколько ни тверди мы, что надо взять Царьград, ни турки и никто другой за это войны нам не объявят... А свои читатели будут *заранее* подготовлены; будут понимать, чего хотят от них... Согласны ли вы, еще раз спрашиваю, что война между Францией и Германией желательна и что надо внушать это заранее публике, а Правительство наше останется при своем и будет делать то, что ему угодно (быть может, впрочем, радуясь, что на *всякий случай* умы подготовлены)? Эта подготовка, ясная, всем доступная, есть действительная помощь властям, а лживые и всем известные фразы, которым нельзя придавать практического значения — кому они нужны? Свои верят и сбиваются: это дурно; а иностранцы, для которых как будто это пишется, — не верят. Редактор — не официальное лицо, не дипломат, не министр, под пером которого, пишущим *уже прямо для одних иностранцев*, — такое простое выражение, что „Россия желает всеобщего мира”, имеет действительное значение, хотя, быть может, и временное и только приблизительное, но все-таки действительное. Если даже дипломат напишет это в официальной ноте за неделю не больше до *решенной уже мобилизации*... то он сбивает этим только противников, а редактор путает своих! Согласны ли вы?»

Так говорит друг.

— Да, это правда; все это печальная правда современной запутанной жизни... Босфор нам необходим... и война желательна; — восклицает редактор.

И, сказавши это вечером другу, редактор тою же ночью садится и начинает передовую статью так: «Россия желает европейского мира; мир на Западе ей необходим; завоеваний ей не нужно...» и т. д.

Для кого же это? Для цензуры? — Если так, то это еще самое резонное, не потому, что цензура может карать, а потому, что ни один публицист, будь он мудр как Катков и благороден как Аксаков, не должен приписывать себе ка-

кую-то исключительную монополию патриотизма вот *такого-то* и *такого-то*; может быть, люди, власть имеющие и несущие на своих плечах ответственность, настолько же превосходящую тяжестью своею ответственность журналиста, насколько вообще дело превосходит весом своим слово, может быть — эти люди власти в данную минуту патриотизм-то именно полагают в уступчивости, которой причины мы и не знаем?..

Для цензуры так писать позволительно и нередко похвально; но успокаивать иностранцев, отуманивая своих, едва ли полезно. ¹⁰

А так нередко делал, мне кажется, и сам Катков.

Положим, что Катков был судьбой своей поставлен в особое положение: он не мог не понимать силы и значения своего слова; он знал, что он имеет непосредственное, нередко почти *немедленное* влияние на дела. То же самое, что говорил он почти всегда *вовремя* и *кстати*, заботясь лишь о действиях завтрашнего дня, — проповедывали, положим, другие гораздо раньше его; иногда выражая все это гораздо шире и глубже его, остроумнее, несравненно прозорливее; но он ничуть не стесняясь игнорировал все сказанное этими другими и в периодических изданиях и в целых особых книгах. — Умалчивая о том, что прежде его это самое сказали Хомяков, Аксаков, Н. Я. Данилевский, Тютчев, в иных случаях даже Герцен,* он повторял чужие мысли в такие только минуты, когда становилось возможным их *немедленное* приложение, и был вообще, как превосходно выразилась о подобных деятелях Жорж Санд, не «инженером человечества», составляющим планы построек, теории, как думает «Фигаро», а «сапером», приводящим в ²⁰ исполнение эти планы. ³⁰

Оттого Катков так часто и менял свои мнения, оставаясь всегда верен одной основной цели: принести пользу Русскому Государству, принести ему пользу так, как он сам в данную минуту понимал эту пользу.

* О Герцене я после скажу подробнее в тех же статьях.

Я привел Ж.-Санда, мне хочется привести еще и Карлейля, который сказал: «жизнь похожа на спряжение неправильных глаголов».

Катков знал отлично эту грамматику жизни и соображался с ней постоянно.

Из кабинета своего — его великий, но вовсе не оригинальный и в смысле общих взглядов ничуть не творческий ум — умел с необычайной остротой угадывать то, что *можно сделать теперь* для достижения непосредственных целей; умел указывать всем на то, что *должны делать сейчас* люди, облеченные официальной властью. А может быть, иногда и наоборот...

Мне кажется, — будто он знал иногда наверное, что его в петербургских высших сферах в *данном, особом* случае (преимущественно в делах внешней политики) не послушают; что, взявши в расчет, между прочим, и его мнения — пойдут иной, противоположной даже дорогой, и писал все-таки свое, уже не для высших *наших* сфер на этот раз и не для *нашей* публики, не для направления русского общественного мнения, а для устрашения или успокоения иностранцев, знавших силу его влияния в России.

Быть может, я с этой стороны (с практической обшественно) пристрастен к Каткову до предрассудка или до суеверия, — но мне давно уже казалось — будто его эмпирический такт так велик, что он всегда стремится толкать с своей стороны и в пределах своего влияния, хотя бы и косвенно, события именно на ту среднюю диагональ сил, по которой эти события *могут* идти в данную минуту.

Как гениальный практик-врач нередко сам не знает ясно, почему он в одном случае предпочел холодный компресс, а в другом, весьма с первым схожим случае, — избрал теплые припарки — и в обоих случаях с успехом; так, мне сдается — делал и он.

Мне, в моей вере в совершенно особое призвание Каткова, промыслительное в одном отношении, роковое (кто знает!) в другом, не раз казалось, что он и сам не всегда знает вполне — *какая именно* польза истекает из его речи в

иных случаях; — но польза есть; — хотя и не та, которую он искал, но есть и нередко высшая. Например, я помню мои собственные впечатления при чтении «Моск(овских) Ведом(остей)» в конце 60-х и в начале 70-х годов, когда я служил в Турции консулом... В газетной литературе нашей не раз уже и тогда поднималась борьба противу немцев и в смысле сопротивления международному преобладанию нового Германского государства, и в смысле стремления «обрусить», как говорится, Остзейский край. И в то время, про которое я упоминаю, происходило нечто подобное. Так как сборник статей Каткова, издаваемый теперь редакцией «Моск(овских) Вед(омостей)», — до этой эпохи еще не доведен, то я и не могу, разумеется, указать, когда и по какому именно поводу сохранилось у меня в памяти, что Катков начал тогда нападать на немцев и Германию; — но я уверен — память не изменяет мне в том, что его беспокоили и раздражали неслыханные победы Германии в 70-м и 71 году и что он даже желал не раз чем-нибудь и как-нибудь поддержать Францию. Заметно, что он был и тогда не совсем доволен действиями нашей дипломатии или *притворялся* недовольным. В самых высших политических сферах наших, напротив того, радовались жестокому поражению Франции и действовали, видимо, сообразно с этой радостью.

Я вполне сочувствовал тогда Правительству и ничуть не был согласен с Катковым. Считая Каткова в то время выше себя как практического деятеля (уже за одно то, что он сумел так хорошо и скоро обделать свои личные дела) — я удивлялся, как это он не понимает того, что для меня с 66-го года уже стало понятно, а после 71 года ясно как день, и приписывал в нем это *нижнее теоретическое* постижение какой-нибудь *высшей практической казуистики*. — «Или он притворяется непонимающим ввиду каких-либо безотлагательных целей; — или, если он заблуждается искренно, то и в этом есть какой-нибудь косвенный, таинственный, ему самому недоступный смысл».

Так думал я тогда, служа на чужбине и с жадностью читая даже и те статьи его, с которыми я был несогласен. Во

мне говорил при этом не один только общий патриотизм русского гражданина, но к этому чувству присоединялись еще и более личные, так сказать, интересы политического агента на Востоке.

Общие политические дела отзывались беспрестанно на наших местных делах в Турции; сильные колебания в высших дипломатических сферах влияли иногда очень заметно на наше положение в доверенном нам крае. Всякому хочется служить хорошо; и всякий рад, когда одно из главных ¹⁰ препятствий его деятельности устраняется или слабеет. — Например, после унижения французов в 71 году, не только многие из нас, русских политических агентов в Турции, но и турецкие паши, и австрийские консула, и многие др(угие) вздохнули свободнее. До того французские консула и дипломаты были наглы, дерзки, тяжелы и несносны... После Седана они стали скромнее. Кроме того, самый разгром Франции я находил для России в высшей степени выгодным, и пока шли переговоры о мире между Бисмарком и Тьером — я боялся до крайности, чтобы французы не сохранили бы как-нибудь целостность своей территории. Все ²⁰ мы до того привычны были прежде считать Францию сильной, что мысль об отторжении от нее двух провинций все еще казалась тогда несбыточной мечтой. Но мечта сбылась — и я перекрестился!.. Государство более демократическое побеждено жестоко державой, в то время менее уравненной; республика — Монархией; полезный пример; Севастополь и грубое потворство польскому бунту отомщено хотя бы «чужою рукой», но сторицей. Все эти нестерпимые фразы о величии буржуазной Франции, наконец, окончены и вероятно... ³⁰ навсегда!.. Теперь — это будет нечто вроде Афин после Пелопонесских войн — только с несравненно меньшим культурным значением. Республика 70 года, вообразившая, что она, отказавшись от Императора, будет в силах повторить великие подвиги прошлого века, — унижена до того, что представители ее плачут в кабинете графа Бисмарка...

И наконец — (и это важнее всего) — временное преобладание Германии нам выгодно.

При существовании жестоко оскорбленной Франции, которую (точно так же, как Карфаген или Афины, даже как Иудею или Польшу) сразу добить невозможно, Германия на долгие года с Запада обеспечена не будет ни на миг. И это положение дел, это новое, *дотоле* невиданное на Западе перемещение сил для нас в высшей степени предпочтительнее прежних, *вековых* порядков в Европе — при раздробленной Германии и при единой, преобладающей и почти всегда (кроме немногих случаев) всепобеждающей Франции.

Предпочтительнее в том простом и ясном смысле, что¹⁰ при существовании на материке Европы двух почти равно-сильных и друг друга постоянно борющихся наций, нам гораздо будет легче, чем было прежде — окончить Восточный вопрос, — то есть перенести, наконец, центр тяжести нашей религиозно-культурной жизни с *европейского Севера на полуазиатский Юг*.

Что же делать, если мне религиозно-культурное обособление наше от современного Запада представляется *целью*, а политические отношения наши только *средством*!? Так что если нам в чем-нибудь приходится пока играть и второстепенную роль, в чем-нибудь уступить, что-нибудь утратить, когда-нибудь и где-нибудь даже быть и оружием побежденными (...например...), то и это все моему гражданскому чувству ничуть не обидно; ибо за изворотами извилистого исторического пути нашего — я вижу ясно цель его: зеленые сады, разноцветные здания и золотой крест Св. Софии над прекрасными волнами великого Фракийского Босфора. На берегах его нам возможно будет, наконец, содрать с себя ту европейскую маску, которую намазала на лицо наше железная рука Петра I-го, — дабы мы²⁰ могли неузнанными или полуузнанными пройти шаг за шагом то вперед, то как будто назад — до заветной точки нашего культурного возрождения.

Так думал я уже тогда (в 70-м году), так верю и теперь...

В то время, когда что ни день, то приходило новое известие о поражениях Франции, сперва — буржуазно-импера-

торской, а потом и просто буржуазной, я жил на острове Корфу. Один тамошний греческий банкир, к России весьма расположенный, пораженный этими вестями, спросил меня:

— А вы как думаете обо *всем этом*?.. Ведь это так неожиданно!

— Для меня это просто, — сказал я ему, — Франция — это Афины, Пруссия — Спарта, а Россия — Рим.

Грек был в восторге от моего наглядного объяснения... Я знаю, что многие из людей, уважаемых мною и по образу мыслей даже очень мне близких, думают (или, по крайней мере, пишут) несколько иначе об этом...

И, может быть, они и не могут думать (или хотя *писать*) иначе, находясь под влиянием каких-нибудь сильных, близких, непосредственных впечатлений; вблизи — они видят, что изворот только что пройденного нами политического пути направился как будто назад от главной цели (Берлинский трактат, болгарская конституция и т. д.), я же из «моего прекрасного далека» вижу «*qu'on n'a réculé que pour mieux sauter!*...» и спокойно *пророчествую*, как и следует «безумному мистiku».

Но я уверен, что противоречие между мною и близкими мне по духу людьми только кажущееся.

— Когда мы ходим вместе с Кювье по Jardin des Plantes, — говорил Geoffroi S-t-Hilaire, — Кювье все видит *многих обезьян*, а я вижу все *одну обезьяну*.

То есть один из них любил наблюдать частности и отличия, а другой прозревал лучше общие черты. И ни тот, ни другой не ошибались в основах своих; и тот, и другой были своему научному делу полезны...

Так и тут...

МОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАТАЛИЗМ

Александр Суццо, новогреческий поэт, был в родстве с другим Суццо, дипломатом, который состоял одно время посланником в Петербурге. Не знаю за что, посланник, говорят, не любил поэта и удалялся от него. Поэт был, по-видимому, добрее и не платил ему за это отчуждение дурными чувствами. Когда у него случайно кто-нибудь спрашивал: «родня ли он посланнику?», Александр Суццо любил отвечать так: «Да, я — ему родня; но он не родня мне!»

10

В таком же точно отношении нахожусь и я к славянофилам Аксаковского стиля; я их ценю; они меня чуждаются; я признаю их образ мыслей неизбежной ступенью *настоящего* (т. е. культурно-обособляющего нас от Запада) мышления; — они печатно отвергают мои выводы их общих с ними основ. А. А. Киреев недавно (в «Московском Сборнике» г. Шарапова) прямо сказал, что «я не славянофил», хотя и имею с славянофилами много общего.

Я, пожалуй, готов с этим согласиться, если принимать название славяно-фил в его *этимологическом* значении, — то есть: славяно-любцу, славяно-друг и т. п. Я не самих славян люблю во всяком виде и во что бы то ни стало; я люблю в них все то, что считаю *славянским*; я люблю в славянах то, что их отличает, отделяет, *обособляет* от Запада. Люблю Православие; люблю патриархальный быт простых болгар и сербов; их пляски, песни и одежды; люблю даже свирепую воинственность черногорцев (хотя нахожу, что было бы лучше как-нибудь направить ее, если можно, не на бедных идеалистов-турок, но на славянских же демагогов и безбожников); черты византийских преданий и турецкие оттенки в их быте предпочитают, конечно, «фрако-сюртучным», так сказать, сторонам их небогатой собственными запасами жизни.

30

Я бы любил их законы, их учреждения, их юридические и политические идеи, если бы таковые были очень оригинальны, очень выразительны и прочны... Но ведь этого нет у них; и даже знаменитая «Задруга» юго-славянская тает везде под веяниями европейского индивидуализма.

Все кой-как еще охраняемое прежде — гибнет у них особенно быстро при усилении политической свободы; зависимость политическая у них (теперь — это стало ясно) была (увы!) ручательством за сохранение независимости бытовой (культурной); зависимость церковная точно так же задерживала хоть немного наклонность их к духовному рабству перед безбожием Запада.

Старое свое у них гибнет; *нового своего* — они создавать не умеют и *без нашей русской помощи* (пожалуй, что и *без некоторого насилия нашего*) *никогда не создают...*

Хотелось бы пламенно любить это развивающееся и растущее вширь и глубь самобытно-славянское... Да где же оно? И отказываться России от связи со Славянством невозможно уже по той одной причине, что другие втянут их в «сферу своей мощи», если мы их оставим; и не бояться нам нельзя их религиозного равнодушия, их демагогической эгалитарности, их несравненно большего, чем у нас — грубого и сухого, *последнего, вчерашнего европеизма*. За все это, конечно, я «интеллигенцию» славянскую презираю и не люблю, на простой народ плохо надеюсь, ибо он везде рано или поздно поддается «интеллигенции» и быстрее поддается там, где нет и тени сословий, где общество очень смешано и уравнено. Но повторяю, что отказываться от них и от некоторого политического потворства им мы все-таки не можем, и вся надежда наша в этом трудном деле должна быть только на Россию, на самих себя, на так называемый русский «дух». Будем мы всё самобытнее и самобытнее духом этим; будем всё меньше и меньше на всех поприщах руководиться примерами Европы, — пойдут за нами позднее и болгары, и сербы, а еще позднее, вероятно (не будем же отчаиваться), и австрийские славяне...

Тому, кто утратил веру в столь быстро устаревшие теперь либерально-европейские идеалы, кто возненавидел это бесплодное и разрушительное стремление Запада к *однообразию и равенству*; тому пока осталась одна надежда, — надежда на Россию и на Славянство, *Россией вемое*.

Будь я не русский, а китаец, японец или индус, но с тем же запасом европейских и русских сведений, — европейских и русских пережитых уже фазисов развития, — я, взглянув на земной шар в конце XIX века, сказал бы то же или почти то же. Я сказал бы: «Да, кроме России — пока ¹⁰ я не вижу никого, кто бы в XX веке мог выйти на новые пути и положить пределы тлетворному потоку западного эгалитаризма и отрицания; — мы, люди крайнего Востока, мы, чистые азиатцы, только теперь вступаем в тот период подражания, в который русские вступили уже при своем Петре, 200 лет тому назад. Они уже почти переварили все это; — они этим пресыщены... А мы? мы — еще только кинулись на это... И если всасывание всего европейского без разбора у нас продлится не слишком долго, то и этим мы будем обязаны без сомнения *примеру России*, которой ²⁰ поэтому надо желать в XX веке (от *этого* века что ж осталось!) не только — умственного, но и политического преобладания — в Европе. Если Славянство затмит Запад постепенно на всех или хоть почти на всех поприщах, то тогда, быть может, и у нас, китайцев и японцев, скоро пройдет начавшаяся из Японии зараза всеразрушения. Политическое же преобладание Славянства необходимо потому, что, к несчастью, толпа в наше время нигде хорошо не умеет различать *культуру от государственности* и некоторое уменьшение политического веса, хотя и вовсе не последовательно, ³⁰ но часто влечет за собою и унижение культурного идеала».

Вот бы я что сказал, если бы я, зная все то, что я знаю теперь, — был бы не русским, а настоящим коренным азиатцем.

В этом, в собственно-культурном смысле я славянофил; и даже имею дерзость считать себя более близким к исходным точкам и конечным целям Хомякова и Дани-

левского, чем полулиберальных, эмансипационных, всепо-
творяющих славянофилов *неподвижного* Аксаковского
стиля.

Старые славянофилы говорили, что они *не партия*, но
малочисленные представители особого *учения*; — в послед-
нее время эти славянофилы стали больше похожи на пар-
тию, ввиду практической *цели* не позволяющую себе откло-
няться от полулиберальной доктрины; хотя, я полагаю, сами
в нее не верят вполне. Они преследуют *цели* просто пансла-
10 вистические, не замечая, что неосторожный, великодушный
и слишком простодушный Панславизм (хотя бы только
идеальный, еще не созревший на практике до славянской
федерации) грозит все-таки не чем иным, как все большей и
большей и весьма пошлой буржуазной европеизацией; *ибо*
вся славянская интеллигенция, — сплошь от Софии и
Филиппополя до Праги — с ничтожными оттенками [как]
две капли воды похожа на *среднего европейца*.

Надо, чтобы свои краски сначала стали как можно у
нас гуще, а потом — и невольно будем влиять на других
20 славян; даже, быть может, и на чехов, насквозь, как извест-
но, в *бытовом* духе, в привычках и вкусах своих, «проевро-
пеенных»...

А если густота этих национальных красок, эта культур-
ная независимость будет куплена ценою некоторого органи-
зованного насилия, сложного деспотизма, хотя бы даже це-
ною какого-нибудь внутреннего *рабства* в новой форме, то
это не беда; к тому уж надо нам приучить нашу мысль. И я
даже полагаю, — что *только какой-нибудь подобной це-*
ною — эта самобытность духа и может быть куплена в
30 XX-м веке.

Неприятно, жалко, быть может, того или другого. Но
как же быть!?

Во всяком случае славянофилы, я думаю, согласны со
мною в том, что, по примеру Данилевского, Россию надо и
культурно, и политически противопоставлять в идеале не тому
или другому западному государству, а *целой Европе в ее*
совокупности.

И вот, мысля так, противопоставляя идеально Россию не Франции, не Англии, не Германии и т. д., а *всей Европе*, как особый мир, как назревающий новый культурный тип (только временно для целей быстреего развития впавший в чрезмерную подражательность), — я переношу этот взгляд и на внешнюю политику и говорю так (все не уклоняясь от славянофила Данилевского): «Если прежний Запад во всецелости своей был всегда, когда только мог, инстинктивно даже, нам враждебен, то нам выгодно всякое нарушение его равновесия... Всякая перемена в том распре-¹⁰делении политических сил, которое, несмотря на частые войны, прочно продержалось на Западе несколько веков, — нам желательна; ибо ни одна из главных держав и наций Европы (Франция, Германия, Австрия, Англия) недостаточно еще сильна и теперь, чтобы, подчинив себе все остальные вполне, — образовать противу нас единое, согласное, непобедимое целое...»

А так как самое величайшее ниспровержение этого старого распределения сил произвело возвышение Германии, то значит, что, несмотря на всякие нам чинимые этой новой Германией затруднения, в общем для дальнейшего нашего развития — это возвышение выгодно.²⁰

Я убежден, что путем ли дружбы и мира, путем ли вооруженной борьбы, победой ли нашей или даже поражением, прямым ли союзом или только взаимным равнодушием и одновременной борьбой *вовсе* в разных сторонах, — но это возвышение Германии приведет нас *туда, куда следует!*..

Если меня спросят: «Как же так — *даже и поражением?*» Я отвечу: «Я в поражение наше немцами ничуть не³⁰ верю; не верю даже и *в войну с ними** и, предполагая только, со слов других, подобную войну, верю в нашу победу. Верю я не по гордости русской, а все по тому же историческому фатализму моему („Наш черед!!“). Но я сказал „даже и поражением“ для убеждения тех читателей моих,

* Теперь — в 91 г. — *верю*.

которые моей веры в ближайшее будущее России не имеют. И для них же напомним здесь о том, что не всякое поражение (или — вернее — полупоражение) практически бесплодно, хотя и всякое обидно. И побежденные иногда выигрывают; это зависит нередко от побочных условий дела. Итальянцы, как у них водится, были разбиты австрийцами при Кустоцце и Лиссе (на море), а Венецианская область все-таки досталась им.

¹⁰ Мы в 56 году хотя, конечно, и со славой отстаивали Севастополь и Крым в течение почти года, но все-таки были побеждены и связаны Парижским трактатом.

Однако самое существенное для ускорения развязки Восточного вопроса было нами достигнуто: турецкое Правительство, побуждаемое не только нами, но, под нашим влиянием, и другими державами, произвело у себя *уравнительные в пользу христиан реформы*, и с тех самых пор и начались одно за другим в Турции восстания ободренных реформами христиан. Эти восстания довели Турцию шаг за шагом до войны с нами и до теперешнего ее безвыходно-
²⁰ го положения не между двумя, а между многими огнями».

И т. д.

С этой-то широкой (органической, фатальной, «мистической», пожалуй) точки зрения я и не могу находить внешнюю политику России за истекшее 30-летие плохой, невыгодной или ошибочной.

Ошибкам как не быть; они были в частностях, и, быть может, и грубые, но во всецелом — внешняя политика эта была хороша, то есть *целесообразна*. Теперь необходимо стало переменить *методу*, и мы переменили. И это хоро-
³⁰ шо.

Кому суждено еще расти и развиваться — тому и ошибки на пользу: он их исправит; кому гибнуть — того и правильные действия надолго не спасут!

Этот исторический фатализм мой, как я сам уже называл мое чувство, эта моя «мистика», как выражаются иные, — тем уж хороша, что она ободрительна, что она излечивает от нашей уже слишком тяжелой и охлаждающей привычки

все у самих себя то так, то иначе осуждать... Когда помнишь о невидимых силах, таинственных и сверхчеловеческих (Божественных или органических — *на этот раз*, положим, все равно), тогда не можешь не смотреть серьезнее и сочувственнее и на дипломатию нашу, на которую за последние года, я не знаю, кто только не нападал! И я, между прочим, чрезвычайно признателен «Гражданину», что он, говоря о «наших слабостях», винил не одну только дипломатию, но и все русское общество, с дипломатией в иных потворствах согласное. И политики наши — орудие незримых сил, ведущих Россию *пока еще все к высшему и к высшему!*.. И кто знает (я давно это думаю), люди более смелые в политике, предприимчивые, упорные (напр<имер>), непреклонные в постоянно *одностороннем* патриотизме своем, как Аксаков, или изворотливые, но страстные и отважные, как Катков) — кто знает, не погубили ли бы они Россию, *если бы они прямо стояли у власти?*

Я думаю, что погубили бы...

И какие же были сделаны нашей дипломатией очень *большие ошибки?* — Я этого не вижу...

Только одно: *слишком явное* и неосторожное потворство болгарам в их незаконной и неправославной борьбе противу Вселенской Патриархии. Мы помогали кой в чем старове-рам на Дунае; могли бы поддерживать и болгар иначе, дру-гими путями и не так *скандально*; — это правда. Но прав-да и то, что дипломатия наша была гораздо в этом деле сдержаннее, осторожнее, — через что и *православнее* на-шей публицистики. За исключением «Гражданина», поме-щавшего тогда статьи Т. И. Филиппова, — и позднее «Востока» (Н. Н. Дурново), кто же у нас не рвал и не ме-тал за «братьев-славян» и противу греков? Оба столпа на-шей патриотической печати, Катков и Аксаков, писали об этом точно будто в «Голосе», а *не у себя*; — оба гремели противу «фанариотов» каких-то; оба, присвоив себе как бы монополию патриотизма, обязывали всех иметь непременно *тот сорт* патриотизма, который был у них и который на этот раз оказывался самым дюжинным, общеевропейским,

то есть *либеральным*. Некоторые наши дипломаты, с *иностранной* фамилией и даже протестантского исповедания, щадя и оберегая хоть сколько-нибудь греческое духовенство и его вековые принципы, — были, право, гораздо православнее их на деле!.. Мне ли всего этого не знать, когда я во всех этих делах сам принимал, как чиновник, участие!

Оба они, и Катков, и Аксаков, так и скончались в этом заблуждении; разница только та, что у Аксакова заблуждение было, вероятно, более искреннее и вместе с тем более близорукое, опять-таки, либерально-славянское по существу его *собственной веры*; а у Михаила Никифоровича — едва ли! Он имел тут, по всем приметам, *другие виды, гораздо более дальнзоркие и вместе с тем более для Церкви вредные*. Ему, видимо, хотелось вообще заблаговременно сокрушить силы всех *Восточных* (привыкших к самобытности) Церквей, чтобы, в случае скорого разрешения Восточного вопроса, русскому (т. е. полувосточному) чиновнику не было бы уже там ни в чем живых и твердых препон...

Дух Феофана Прокоповича и подобных ему!..

Действия противу канонов Церкви и патриаршей власти в пользу славянских демагогов более чем ошибка — это *личный грех*! И этим грехом Аксаков и Катков согрешили больше, чем многие «русские немцы» наши.

Итак, и в худшем из дел своих, *петербургская* дипломатия была, по крайней мере, безвреднее (*патриотичнее* поэтому) для будущего нашего, чем наши московские патриоты. («Жизнь похожа на спряжение неправильных глаголов»*!.. Что делать!)

Какие же другие крупные ошибки? Франции не подано помощи в 1870 году? Война с Турцией и освобождение болгар? Уступка Боснии и Герцеговины Австрии? Берлинский трактат? Болгарская конституция?

О помощи Франции в 1870 году я не стану и говорить. Помочь тогда Франции было бы с нашей стороны просто

* Слова английского писателя — Карлейля.

безумием! — Другое дело — наши действия в ее пользу в 1875 году и наше теперешнее с нею сближение. Политика в обоих случаях *сознательно*-правильная и превосходная: сперва дать ее унижить, а потом поддерживать. Войны с Турцией, разумеется, не по нашей вине *нельзя* было избежать. — И Боснию с Герцеговиной *нельзя* было не уступить *заранее* Австрии, чтобы она не устроила нам нечто вроде Седана, напавши на нас с тылу во время плевенских затруднений. Изгнать австрийцев оттуда позднее, когда найдем это удобным, тоже нетрудно... И, разумеется, это имело¹⁰сь в виду при переговорах об уступке.* Освобождение болгар было тоже необходимо, не из либерализма одного, а для дальнейшего ослабления Турции, для облегчения нашего собственного пути на Юго-Восток. Теперешнее положение дел все-таки в этом смысле для нас выгоднее прежнего.

Берлинский трактат? — Я думаю, что Аксаков пылал на него искренним негодованием, потому что он верил в неиссякаемые родники русского духа и полагал, вероятно, в одушевлении своем, что Россия в силах была после войны с Турцией немедленно выдержать со славой и вооруженное ²⁰ нападение целой коалиции, которой, может быть, явно и не угрожали, но которая все-таки была возможна. (А может быть, и угрожали! Тайны архивов нам еще неизвестны...) Но мне что-то плохо верится, чтобы Катков точно так же искренно, как Аксаков и многие другие, пылал бы этим самым негодованием. Неужели он не понимал такой простой вещи, что люди, правившие в те года Россией, не могли взять на свою ответственность подобную дерзкую попытку — так же легко, как легко, например, нам, писателям, решиться написать ряд громовых статей в нашей газете? ³⁰ Обидно, конечно, было идти на суд Европы; но хороший политик должен уметь и обиды переносить *кстати*... Самое худшее, разумеется, во всем этом деле была старая метода наша признавать в принципе высшие права какой-то совокупной Европы... И в нападках на этот обвет-

* Я мог бы привести и доказ(ательства), что имело^{сь}.

шалый метод патриоты были правы, ибо, конечно, с точки зрения принципов, лучше уступить временно насилию одной западной державы или двух-трех разом, чем благоприятствовать столь губительной для нашего будущего общеевропейской солидарности... Допускать охотно бескровное давление на себя этой *отвлеченной* Европы хуже, в смысле общего метода, чем *перенести* кровавое поражение от одной державы или от явного и вооруженного, *но всегда не полного*, союза нескольких западных держав. Конечно, было бы крайне желательно избегать этого впредь. Но все-таки и то сказать: а кто бы понес главную и жестокую перед историей и отечеством ответственность, если бы, отказавшись «идти в Берлин», мы, вместо торжества 12-го года, наравались бы на 56-й? Не робкая же Франция Ваддингтона стала бы нам тогда помогать? И к тому же, разве легкомысленное «общество» наше, которое всегда не прочь обвинять во всем Правительство, так уже надежно? Неизвестно еще, какими бы личными жертвами стали поддерживать тогда Правительство те люди, которые так были недовольны

10

20 Берлинским трактатом.

«Общественное» мнение наше недовольно было «дипломатией»; но надо еще спросить, довольны ли были дипломаты нашим обществом в то время? Журналисты осуждены каждый день все говорить и говорить о политике; дипломаты со своими согражданами публично о ней не говорят, но я знаю, как *иные из них* (и весьма умные, весьма много для России в молчании этом потрудившиеся), как *они* о нашем обществе в лето 78-го года думали и как мало они на него надеялись!.. Почему же я публицистам обязан больше верить, чем дипломатам или чиновникам, людям слова больше, чем людям дела?..

30

Вернемся к Берлинскому трактату. — Забудем об обиде, забудем даже и о действительно дурной методе — смиряться перед «Европейским концертом» этим; — и взглянем на *результат*, взглянем хоть раз на дело прямо. После какой кампании, после какой борьбы с Турцией с самых времен Екатерины — мы приобрели столько? — Главными

препятствиями нашими были издавна: Карс, Дунай, Балканы... Карс теперь наш; устье Дуная опять наше; а берега его в руках единоверных и слабых держав. Балканы во власти болгар, с которыми справиться нам легко, если бы они и вздумали нам сопротивляться. — Турция почти не существует как держава самобытная. — Все Христианские государства Балканского полуострова более или менее усилены и возвышены на развалинах Турции. — Если они все неблагодарны, то, во-1-х, это другой вопрос, и на безусловную благодарность Греции, Сербии, Румынии и самой Болгарии кто же мог серьезно и простодушно рассчитывать?¹⁰ Надо рассчитывать в политике прежде всего на бессилие их, потом на их между собою несогласия; — *потом* уже на то, что принцип *единоверия* не может быть в короткое время дотла уничтожен; и, наконец, «отчасти» на признательность. — Словом, на все худшее, низкое (на страх, бессилие, раздоры) надо надеяться больше, на все высокое (единоверие, благодарность) меньше. — Если в *публике* думали иначе, может быть, и очень умные и опытные люди; то уж в Азиатском Департаменте, напр(имер), всякий молодой помощник столоначальника понимал, я надеюсь, все это как следует.

Одним словом плоды последней войны нашей, по-моему, очень велики, даже и по Берлинскому трактату.

Нас от С.-Стефано отодвинули назад шага на три. Но противу исходной точки 75—77 годов мы сделали десять шагов вперед.

Чем же это плохо?

Остается болгарская конституция. — Ну это, конечно, ошибка; — это более чем ошибка; если я сказал, что действия наши противу Вселенской Патриархии можно назвать грехом, то дарование Болгарии — Бельгийской какой-то конституции я уж и не знаю как назвать. — *Не смею!*³⁰

Но вот что достойно внимания: с точки зрения политики сознательной это было очень дурно; а с точки зрения исторического *предопределения* — превосходно!.. Дипломатия наша, вероятно, не хотела тогда уготовить в освобожденной

Болгарии современную анархию. Если бы она имела в виду подготовить этот путь Родославовым, Стамбуловым и т. п., то она была бы гениальнее пяти Меттернихов и Бисмарков! Ибо *только теперь* болгарский народ поймет наглядно, что ему без нас нельзя жить и управляться. После этой анархии и наши строгости будут по сердцу многим там; а не переживи Болгария этой свободы и этой от нас независимости, останься она в то время без конституции, с русским генералом-диктатором во главе, — все был бы глухой ропот, даже и у мужиков болгарских (я ведь лично имею удовольствие их знать); все было бы воображение, что *свои лучше*. И на мужиков, т. е. на консерватизм только *серый*, на охранение *незнания* никогда надеяться не надо. Болгарский мужик сам из себя, при соприкосновении с общеевропейским, общеплебейским образованием ничего, кроме смелого и настойчивого хама Инсарова, не может выделить... Теперь о царстве этих Инсаровых, «из народа же вышедших», какой-нибудь Брайко или Петко в бараньей шапке слишком жалеть не будет.

Я верю, что наша дипломатия этого не предвидела; она, при тех общезападных (тайных) идеалах, от которых столь многих русских, даже и высокопоставленных, так трудно излечить, — вероятно, находила, что болгарская нация, вследствие глубокой эгалитарности своего из-под турка прямо вышедшего строя, *зреее* для «идеальных» (!??), «передовых» европейских порядков, чем наша более сложная и более сословная, по привычкам, народность.

Конечно — болгарская конституция — *cela n'a pas de nom!*

Но это зло, «не имеющее даже вежливого имени», — по Божьей к нам милости — принесет превосходные плоды, которыми мы *теперь-то*, вероятно, уж сумеем воспользоваться... Наказал нас Господь — милостью Своей и щедротами!

И духовенству болгарскому все это на пользу... Они, болгарские Епископы и священники, играли тогда каноническим правом и вековым строем Церкви в угоду своей не-

важной и бессодержательной «народности». Теперь их бьют и секут, и после такого испытания, вероятно, и нам будет легче примирить их с Великой Цареградской Церковью...

Нам, конечно, нам!.. Кто ж кроме нас может сделать искренно это великое дело. И мы его сделаем, если у нас будет побольше веры в дисциплину Церкви и поменьше веры в атеистическую свободу Запада!

Кому еще есть надежда расти и развиваться — тому все идет *до поры до времени* впрок. — Даже и ошибки! 10

Господу нашему слава!

СУДЬБА БИСМАРКА И НЕДОМОЛВКИ КАТКОВА

По моему мнению, если и была во всей политической истории истекшего тридцатилетия крупная и непоправимая ошибка, то эта ошибка была сделана гениальным Бисмарком, а никак не нашей более скромной, но видно Промыслительно ведомой Свыше дипломатией.

Пока мы не свершили того, что нам в истории назначено свершить, у нас, как говорится, «и лапоть прорасти будет». А великие люди лично творят великие дела, но от своевременной гибели своего отечества не спасают.

Бисмарку нужно было после 66 года, соединившись с Австрией и уступивши Франции то, что она пожелает, нас раздавить (если бы немцы смогли это сделать); а потом уже, обессилив нас и усилив Австрию на наш счет, обрушиться на Францию...

Неужели он этого не понимал? В 67 году один прусак, инженер, служивший в Турции, говорил мне самому, что война с Россией была бы в то время у них очень популярна. Если так, то как же Бисмарку было не понимать того, что я сказал выше. — Я убежден, что он об этом думал, и будущая история, вероятно, покажет, какие соображения или какие неодолимые препятствия помешали ему это сделать. — Теперь это уже невозможно. — Теперь уже немцам со славянским движением не справиться, и все преграды, которые они будут ставить на пути нашем, будут только раздражать нас, не принося им существенной пользы.

Разумеется, и это князь Бисмарк понимает, — и оттого, вероятно, политика его, прежде столь прямая, ясная, в одно и то же время — и насильственная и правдивая, теперь стала такой запутанной, изворотливой и, при всей сложной тонкости своей, — бесплодной. Что же ему делать? По-

жертвовать Турцией, Проливами, быть может, даже частью Австрии (Галицией, например) и утешить себя только 8-ю миллионами австрийских немцев? Дать вырасти во всеоружии всеславянскому федеративному колоссу? Добиваться для такой невыгодной цели соглашения с Россией, почти вынуждать ее к совместной наступательной политике, которую по какому-то врожденному чутью русские государственные люди вообще не очень любят?

Трудно решиться на это!..

Пытаться создать две славянские сильные державы¹⁰ (т. е. отдать Австрии, если нельзя весь Балканский полуостров, то хоть всю его западную половину); дышать их антагонизмом, подливать масла в огонь их естественной и явной тогда вражды? — Это еще лучше всего для будущего Германии... Бисмарк *слегка* и пытается это сделать... Но ведь он знает, что чем дальше протянется Австрия к югу, тем скорее тогда произойдет у нее борьба на жизнь и смерть с Россией и тем скорее (*и против воли даже нашей*) разрешится не только Восточный, но и Все-славянский вопрос в нашу пользу.²⁰

В гибельном для Австрии исходе подобной борьбы возможно ли сомневаться?

К чему же ведут все эти, в сущности, слабые попытки? Только к тому, что раздражают русских; к тому, что удаляют Правительство наше от германского; — что верных политических друзей обращают в национальных врагов, во врагов страшных, ибо в самом деле долготерпеливый и уклончивый великоросс становится страшен, когда предел его терпению прейден.

Что ж делать?³⁰

Воевать смело на оба фронта? Вызвать на это соседей? — Но ведь это безумие!

Конечно, еще Россия может, если хочет, оставить Францию без помощи, но и то лишь *один на один* с Германией, а не противу целой коалиции; но Франция не может, даже и при величайшей ненависти к России, оставить ее *один на один* с Германией. Даже и при ненависти к нам

другого подобного случая отомстить и возвратить утраченное — ей едва ли найти. Если Франция и в минуту предполагаемого столкновения России с Германией — не будет воевать, так ей останется только считать себя с того времени чем-то вроде Португалии, которую всякий может оскорблять, как предсказывал один из ее лучших публицистов Прево-Парадоль. Трудно предполагать, чтобы и теперь уже для этой державы приспело время подобного смирения! И неизбежное падение требует постепенности при подобном великом прошедшем, каково прошедшее Фран-
ции...

Я повторяю — даже при ненависти к нам — французы исторической необходимостью вынуждаются нам помочь.

Но об ненависти *нынче* (и *до поры, до времени*) не только не слышно, но — французы — эти исконные противники и вечные порицатели наши, воспылали теперь к нам симпатией, такой пламенной и такой ничуть не нужной ни для их действительных целей, ни для наших, что остается только с сожалением пожимать плечами!..

Итак, вот к какому тяжелому и чуть-чуть не безвыходному положению привели новую Германию и блестящие победы ее и... я не хочу сказать — сам предприимчивый гений — великого Канцлера... Нет! Личное величие во всяком случае останется за ним... но привел Германию к такому положению — ее исторический рок, в незримой руке которого и великие умы, и самые мощные души — не что иное, как послушные и чуть-чуть не слепые орудия!..

Кто-то, чуть ли не Шопенгауер, где-то уподобляет великих людей тем деревянным изваяниям, которыми в старину
украшали носы кораблей. Когда дикие жители каких-ни-
будь дальних островов видели подходящий впервые к их берегам европейский корабль, то они принимали это деревянное изображение за божество, влекущее за собой судно своей собственной силой. Это уподобление, в простоте своей, слишком преувеличено. Изваяние на носу само *ничего не делает*. Замечательных деятелей вернее уподобить капитану или рулевому на том же корабле. Они действу-

ют, они направляют корабль, и между ними встречаются люди разных врожденных способностей и разного полуневольного опыта; они, конечно, в основаниях своих действий не свободны; деятельность их обусловлена и ограничена как внешними обстоятельствами — погодой, течениями, свойствами воды и воздуха, законами гидростатики и т. п., так и оттенками собственного характера, законами личного духа, — разными степенями смелости, навыка, ума, осторожности и т. д.

Уподобление, говорю я, верно по идее, но оно слишком¹⁰ уже просто и грубо. Великие люди остаются во всяком случае великими; замечательные во всяком случае замечательны; без исторической вменяемости невозможен исторический суд; нельзя же не заметить некоторой разницы между первым консулом Бонапарте и президентом Гриви. — Бонапарте более похож на капитана; а г. Гриви более подходит к изваянию: но как тот, так и другой действительно произведения данной Свыше эпохи и среды, роковым ходом развития определившейся. При общем поднятии духа необходимым был гений — он явился; — понадобился человек,²⁰ скромный и неопасный для народа усталого, изверившегося, в самом себе разочарованного — отыскался г. Гриви.

Замечу кстати, — великие или вообще замечательные люди бывали всегда двух родов: одни из них довели успешно до конца жизни своей свое главное, *сознаваемое* ими дело; другие под конец жизни видели крушение своих надежд; но если они сознаваемой и главной цели своей не достигли или обманулись в ней — след их в истории все-таки не изгладился, и плоды их могучей деятельности все-таки вечны, хотя плоды эти вышли не совсем те или даже совсем³⁰ не те, о которых эти замечательные деятели мечтали.

Август Римский, Святой Константин, Петр I, Фридрих II, Елисавета Английская, оба Питты, Вашингтон, Ришелье — вот люди, которые скончались, не видя крушения своих надежд; Александр Македонский, умирая, сам раздробил свое великое, но эфемерное Царство. Оба Наполеоны не только были низвергнуты сами, но и успели видеть

ниспровержение тех порядков, которые они завели. Над усилиями Суллы, Брута и Помпея история насмеялась, и монархическая демократизация Рима, вопреки их подвигам и жертвам, продолжалась безостановочно.

Ни М(арк) Аврелий, ни Диоклетиан уже не могли спасти *старого* Рима; — нужен был Рим *Новый*, Христианский, и с утверждением этого Нового Рима Константин благополучно соединил свое имя. Вот разница.

Недалеко уже то будущее, которое покажет всем, какого разряда человек князь Бисмарк; — на кого он больше похож *судьбой* своей: на Фридриха II, который скончался, поладив и с Россией, и с Австрией, на лаврах, ничем не смятых; или на одного из Бонапартов, — начавших деятельность победами и окончивших ее жестокими поражениями. На лорда Чатама, начавшего жизнь свою при возрастающем величии Англии и окончившего ее среди того же величия;* — или на Меттерниха, дожившего до печальной катастрофы 1848 года, после которой Австрия — уже не та *felix Austria*, что была прежде — и безвозвратно не та!

Для меня, похваюсь, ясно даже и то, что может сохранить если не силу самой Германии очень надолго, то по крайней мере личную славу стареющего Канцлера незапятнанной, и то, что может и эту славу мгновенно омрачить навеки, и самую силу Германии сокрушить надолго. Сохранить все это может явное содействие русским целям на Востоке (хотя бы и с ограничением); погубить все это может, конечно, не война с одной выдохшейся Францией, а *вооруженное сопротивление славянскому развитию*; — ибо, повторяю, слишком трудно предположить, чтобы при подобном нападении на Россию французы остались бы нейтральными.

Так называемое «национальное», а по-моему *племенное* политическое движение по существу своему везде есть движение революционное, разрушительное и для побежденных,

* Маколей. «Прелюдии».

и для победителей одинаково; культурно к тому же в современных своих последствиях это движение совершенно бесплодно: ибо оно и освобождающихся и освобождающих, и побеждающих и побеждаемых одинаково демократизирует, одинаково опошляет и принижает, делая всех с каждым часом, с каждым годом *друг на друга более похожими* в нравах, учреждениях и вкусах, всех все более и более приближает к какому-то *отрицательному общему типу среднего европейца*.

Но как бы то ни было, как бы вредно ни отзывалось на ¹⁰ *национальном характере* несколько позднее это племенное движение; в отношении *государственных собственно* успехов и поражений мы ясно видим следующее: пострадали жестоко все те державы, которые хотели противиться этому *племенному объединяющему и уравнивающему демократизирующему, эмансипационному, пожалуй даже опошляющему движению*. — Австрия хотела воспротивиться освобождению и объединению Италии; она была побеждена и обессилена; — она же хотела помешать тому же *всесливающему* процессу в Германии; — опять была поражена, и ²⁰ еще сильнее; — Франция, воюя противу смещения немцев; Турция, препятствуя славянскому движению, тоже пострадали. И новая Германия, сколоченная наскоро железной рукою, разобьется вдребезги, если попытается преградить *безусловно* путь славянскому потоку...

Потворствуя России на Востоке, с некоторыми, конечно, ограждениями (напр<имер>), с таким условием, что Австрию позволительно победить, если нужно, но *нельзя разрушать* ее), князь Бисмарк, по крайней мере, может умереть со спокойной совестью и с непомянутой славой. Он мог ³⁰ бы в этом случае сказать себе, умирая: «Я сделал, что мог; — а если Германия органически уже стара и бюргерское общество ее немногим только моложе французского истасканного либерального мещанства, — так это уже вина не моя, а всей прежней европейской истории!»

Иначе — горе ему! Даже и не доблесть наших войск, не таланты наших генералов, — не русские подвиги решат тут

дело, а множество роковых и неожиданных, а отчасти и ожидаемых, но неотвратимых в случае борьбы с Россией обстоятельств.

Одно из таких ужасных для Германии и неотвратимых обстоятельств — это жажда «отместки» на западной границе...

Неужели князь Бисмарк всего этого не знает и не понимает? — Не может быть.

Не может быть, чтобы и Катков не понимал всего сказанного мною, несмотря на то, что он в такой именно связи мыслей, как у меня, и с подобными выводами — никогда этого не высказывал...

Если я это так ясно понимаю, как же было не понимать всего этого ему, Каткову, который был гораздо способнее меня?

Отчего же он не любил никогда настаивать на том, что возвышение новой Германии над прежней Францией для нас выгодно, выгодно *в высшей степени*, выгодно, несмотря на то, что мелкие препятствия и требования и даже иной раз — и оскорбления со стороны возросшего в силе соседа неизбежно умножатся, несмотря и на то даже, что случайность тяжкой войны с подобным соседом гораздо опаснее и страшнее, чем с прежней сильной и всепобеждающей, но удаленной от нас Францией или чем с прежней небольшой и осторожной Пруссией.

Отчего Катков этого не любил говорить? Отчего вообще он многого ясно не договаривал?

Оттого ли, что он не всегда писал то, что думал в самом деле?

Или оттого, что истине высшей, широчайшей, он всегда почти предпочитал истину низшую, более близкую и более узкую; правде более общей и основной — правду *завтрашнего дня* и потребность *немедленного* приложения?

Не знаю.

Человек в высшей степени страстный, он жаждал быстрого воплощения своей мысли в дело; человек в то же время чрезвычайно хитрый и ловкий, он умел и не боялся притворяться, что будто бы даже и не понимает того, чему еще

осуществиться по его практическому чутью не настала пора. — Быть может, он думал так:

— Пусть лучше думают немногие, избранные, *что я не понимаю*, чем чтобы многие и влиятельные *меня бы не поняли. А они не поймут, если срок не пришел!*

К тому же он не мог же не сознавать, до чего он влиятелен; до чего сильно действуют его слова; и потому обращался со словами и мыслями своими разборчиво.

«Gloire oblige!» — скажу я, а он знал свою славу, возрастающую даже и за границей. Я, служа в Турции, видел сам, в 10 какое бешенство приводили нередко, например, хоть бы английских консулов его статьи, переданные в иностранных газетах.

Вспомнив об этом, понимаешь, в каком смысле он однажды в частном разговоре сказал одному из наших известных ученых: «Нельзя писать все то, что думаешь... Они (читатели) — Бог знает как еще все это поймут!»

Катков писал, мне думается, с разными целями: иногда, имея в виду одни лишь высокопоставленные в России лица, иногда собственно для русского общественного мнения, для его возбуждения; — иногда преимущественно для ино- 20 странцев.

Так, напр<имер>, когда Правительство наше потворствовало Германии, а он писал противу немцев, мне все кажется — что он, возбуждая наше общество в духе, противном официальному духу, совсем не желал, чтобы в Петербурге его послушались, а желал только, чтобы покойный Государь, подавая одну руку Германскому Императору, мог другою всегда указывать на ту бурю народных русских страстей, которую Он всегда может поднять на Германию, если *Ему это будет угодно!* 30

Сам непосредственно не находясь у власти; — надеясь, что там понимают дело как следует, — он в таких случаях (мне все кажется) — старался лишь побочными, но важными средствами облегчить это дело людям, стоящим у кормила правления.

Если это так; если он с подобной целью писал иногда не то, что думал, то эту ложь можно назвать благородной ло-

жью; и хитрость эту следует назвать патриотической, даже самоотверженной хитростью; ибо многие могли основательно сказать, что он совсем не дальновиден.

Если же нет — то в подобных случаях он был уж слишком страстен, упрям и часто непрозорлив.

Почему, например, он не употребил с своей стороны всех возможных усилий, чтобы помешать дарованию Болгарии конституции? Или он предвидел необходимость пережить современную анархию? Или он допускал в тайне души своей *опыт* над Болгарией? — Как доктора: «*in amina vili!*»

Тогда еще это не слишком дурно, хотя все-таки опасно. Или (*неужели?*) у него в *глубине души* еще оставалась кой-какая вера в те самые европейские идеалы, которым он при начале деятельности своей так усердно служил и от которых позднее шаг за шагом, опыт за опытом *поочередно* отказывался?

Кто знает! Он систематически и с полной ясностью ничего не любил выражать... Он *что-то* как будто всегда приберегал в себе на *всякий случай*...

Или, напротив того, он уж слишком исключительно заботился о злоте текущего дня, — и воображал ошибочно, что все можно опять поправить заново, если и перейдешь через край.

И еще пример: почему он, за последние года такой твердый и формальный защитник Православия и прежде никогда явно противу Церкви не враждовавший, почему он так упорно травил греческое духовенство? И травил иногда из-за пустяков.

Это может казаться загадкой для того, кто из личных с ним разговоров случайно не узнал (подобно тому, как узнал я) его задней и серьезной мысли.

Феофан Прокопович, повторяю, — вот кто в нем жил. А греческое духовенство — это Стефан Яворский в своем роде.

Государство — прежде; — Церковь — после; видимо думал Катков.

Дальше идеалов Петра I он не шел.

Как будто Русское Государство может жить долго без постоянного возбуждения, или *подогревания*, так сказать, *церковных чувств!*..

Я подчеркиваю *церковных* именно, — а не просто христианских... В наше время слово Христианство стало очень сбивчивым. Зовет себя кощунственно христианином даже и Л. Н. Толстой, увлекшийся сентиментальным и мирным нигилизмом. «На старости лет *открывший вдруг филантропию*», как очень зло выразился про него тот же Катков.

10

Гуманитарное лже-христианство с одним бессмысленным всепрощением своим, со своим космополитизмом — без ясного догмата; с проповедью любви, без проповеди «страха Божия и Веры»; — без обрядов, живописующих нам самую суть правильного учения... («Возлюбим друг друга, да *единомыслием исповемы*». Для крепкого единения в вере прежде всего, а потом уже и для взаимного облегчения тягостей земной жизни и т. д.) — такое Христианство — есть все та же революция, сколько не источай оно меду; при таком Христианстве ни воевать нельзя, ни Государством править; и Богу молиться — незачем... «Бог — это сердце мое, — это моя совесть, это моя вера в себя, — и я буду лишь этому гласу внимать!» (Да! — и Желябов внимал *своей совести!*)...

20

Такое Христианство может лишь ускорить всеразрушение.

Оно и в кротости своей — преступно; я не о нем (избави нас, Боже!) говорю; — я говорю, что для Русского Государства необходимо постоянное подогревание, подвигиванье *церковности православной* и поэтому, чем богаче будет запас этой церковности, чем сильнее будет — *самобытный* заряд живых православных чувств *где-нибудь* во всей совокупности Церквей Восточного Исповедания, тем в *общем смысле* выгоднее и для Государства Русского даже в том случае, если сила этого самобытного заряда и будет его в частных столкновениях *обжигать иногда*. — Пусть обожжет, — лишь бы сама не слабела!

30

Как часто, живя в Москве, я думал именно об этом, проезжая вечером мимо электрических фонарей у Храма Спасителя. Меркнет, меркнет свет фонаря... чуть светится; — и вдруг какая-то невидимая сила, где-то, я не знаю (*там, конечно, где сосредоточен заряд электричества*), что-то свершает мне непонятное, и свет опять начинает сиять все сильнее и сильнее, так сильно, что глазам тяжело...

Мы живем века в озарении этого света, не думая ничего об его источниках, но попробуйте ослабить эти источники... что будет?

Восточные (Греческие) местные Церкви привыкли издавна под турком к самобытности... Они бедны; они были по внешности унижены под Мусульманским владычеством; особенно в старину; но в сфере своей собственной, специальной жизни, в среде Христианской они были властны и независимы; иноверная светская власть требовала от них только политической покорности и на духовные дела не искала (до последнего времени) посягать. Со времени большей «европеизации» Турецкой Империи, правда, началось противоположное движение: возрос внешний, видимый почет, оказываемый турецкими властями православному духовенству; но независимость власти и влияние в среде Христианской начали слабеть.

Рассказывали мне, что в старину Шейх-Юль-Ислам сидел на диване, а Вселенский Патриарх на коврике на полу; а теперь они сидят рядом по-европейски. Но зато Порты не прочь (по-европейски же) забрать в свои руки и многие из атрибутов епископской и патриаршей власти, подобно тому, как светская власть забрала себе эти атрибуты в Сербии и свободной Греции. Прежде турки легче решались из-за политической причины повесить или заковать в цепи Епископа, чем вмешаться в его духовные дела; теперь — наоборот. Православные государства (большие и малые) научили и Порту — как надо вежливо и почтительно ослаблять и расстраивать Православие. Оборот дел, конечно, невыгодный, и прежние условия внешнего угнетения и духовной властно-

сти были лучше; но с другой стороны, ведь и дни Турции сочтены, и близко уже то время, когда тому, кому *следует*, будет поставлена дилемма: «воздвигнуть рог христиан православных» или нет? Воспользоваться остатками силы и независимости Восточных Церквей и особенно Вселенской-Цареградской — или не воспользоваться? Усилить их или ослабить еще больше?.. Вдохнуть в Православие новую жизнь, делая повсюду членов «учительствующей Церкви» более смелыми и предприимчивыми; Иерархию более независимой и властной? Или оставить все по-прежнему? ¹⁰ *Сосредоточить*, объединить в искусном и сложном устройстве всю Восточно-Православную Церковь или дать местным Православным Церквам таять понемногу в племенном разъединении и под влиянием разнообразных давлений, иногда прямо враждебных, а иногда и благонамеренно вредных в робком охранении *существующего* и *только одного существующего*? («J'y suis — j'y reste!» — Мак-Магона.)

Вот что предстоит — вероятно — вскорости; и вот о чем думал, конечно, Катков, когда писал, как будто бы ²⁰ иногда и ни к селу, ни к городу, противу Восточных Патриархов.

Я говорю: ни к селу, ни к городу потому, что вспоминаю его, *будто бы*, чисто моральные негодования и разные эмансипационные выходки даже в пользу сирийских арабов... Ну, положим, болгары — так и быть... Тут важны не столько сами болгары, сколько *местность*, в которой они живут, на заветном пути нашего *Drang'a*. Хотя, по моему мнению, *антиканоническая* политика для русских деятелей не только грех, но и ошибка (грех — для людей, ошибка — ³⁰ для Государства), а все-таки в этом антиканоническом болгаробесии был не один же эмансипационный (т. е. революционный) смысл; а был и некоторый расчет политического (*обязательного* для Государства) своекорыстия... Политика, положим, слишком уж простая, грубая, топорная — освободить, мол, братьев-славян от «ига фанариотов»; вместе с тем весьма опасная, рискованная политика, которая еще

благополучно сошла нам с рук (благодаря тому, что власти были осторожнее публицистов); — и держаться, конечно, такого пути Каткову уже по тому одному не следовало, что в том же духе проповедывал и сам «Голос»... (Подозрительно и страшно!) Но все-таки поддержка болгарских претензий была хоть сколько-нибудь понятна. Однако Каткову болгар было недостаточно; ему занادобились даже и сирийские арабы с г. Муркосом во главе... Эти нам зачем?.. — Чем они лучше или ближе греков? Неужели одна защита «угнетенных»?.. Едва ли... Ведь особой мягкости или сентиментальности в покойном льве нашей журналистики никто не замечал?.. Напротив... (И за это «напротив»... ему даже вечное спасибо в наши нелегкие времена!)

¹⁰ Итак, как же объяснить эти резкие выходки против Иерусалимской Иерархии; эту веру на слово, хотя бы г. Елисееву, напр<имер>, эти корреспонденции и все эти крики, «фанариоты, фанариоты» вроде того, как в 77 году — противу турок — «орда, орды, орде, ордою, об орде»... (даже читать было стыдно; «воюй, побеждай, убивай, освобождай, и я тебе сочувствую»; — но зачем же фраза и вздор гениальному человеку?).

²⁰ Чем же объяснить эти излишние попечения об арабах сирийских, которые во всяком случае не славяне, не обитатели Балканского, столь нужного нам полуострова; — об арабах, которые этнографически нам не ближе греков, а исторически сравнительно с греками — для нас ничто?

Иначе нельзя все это объяснить, как желанием поколебать заблаговременно и всячески авторитет тех самых Вос-
³⁰ точных Церквей, от которых мы получили свет Православия и у которых, как я выше сказал, есть вековые привычки и предания независимости.

Какая-то неуместная боязнь за наше будущее влияние на Востоке; за нашу власть в случае скорого разрешения нами Восточного вопроса (он верил в это разрешение); какое-то опасение препятствий, вроде тех, которые оказывали на Западе Папы Римские светским властям... Церковь «не от

міра сего»; — пусть учит детей; пусть совершает Таинства; пусть говорит проповеди, благословляет знамена и... довольно с нее! — Пусть остается все так, как сложилось у нас со времен Петра и как сложилось позднее в Греции, Сербии, Румынии. — Чувства православные надо поддерживать; уставы соблюдать; в догматы верить; молиться надо; надо духовенство почитать; надо Православие любить всем сердцем... Но переустраивать даже и в пределах, допускаемых прежними примерами, древними, — не надо; — не только не надо централизовать Восточную Церковь, не то-¹⁰лько не нужно созидать ничего *дальнейшего* (того, что возможно без нарушения прежнего); но полезно даже *заранее* поколебать те древние опоры, которые могут, при благоприятных условиях, — еще более вознестись и расшириться в основаниях.

Эти опоры, эти центры (эти, по-моему, места запасов, *фокусы** Православной силы) — Патриархаты Востока. Их поэтому — надо компрометировать, ослабить, унижить, и одно из самых верных средств для подобной цели — это поддержка во всем и везде всех тех неважных племен²⁰ Православного исповедания, которые где-нибудь и как-нибудь сталкиваются с греками, (по праву!) преобладающими на Востоке. Болгар, арабов, Муркоса, грузин на Афоне. — По поводу дела грузинских монахов на Афоне, — я нынешним летом заметил в «Моск(овских) Вед(омостях)» даже такого рода стилистический оттенок: «грузинские *иноки*, теснимые греческими *монахами!*» Это почему же? Почему не греки — иноки, и не грузины — монахи? (Не помню, жив ли в то время был Мих(аил) Никиф(орович) или уже скончался; — но это его дух, его ме-³⁰тода.)

Ну а когда мы, русские, в чем-нибудь национальном грузинском начнем стеснять этих грузин не во имя *чистого*

* (Для незнающих значения этого слова.) *NB* Фокусом, то есть очагом (focus, foyer) в физике и др(угих) науках называется точка сосредоточивания силы, огня, света, теплоты, электричества.

Православия, а во имя только чего-нибудь русского — это не беда? Тогда мы будем иноки, а уж грузины станут, верно, монахами?

Мне даже мерещится, как будто не так уже давно «Моск(овские) Вед(омости)» несколько сочувственно относились к самому Султану в его последней борьбе с Вселенской Патриархией. — Боюсь ошибиться... Кто знает: быть может, это только игра моего воображения, подозрительно с этой стороны настроенного; однако мне все кажется, что

¹⁰ я, пораженный коварной заметкой, вырезал и спрятал ее, но так далеко, что не могу теперь ее найти... Неужели это какой-то сон? Очень трудно судить решительно о мнениях писателя, которого газетные статьи еще не собраны в книгу... А думать об Каткове хочется... Хочется самому себе уяснить его совершенно особую, исключительную роль в нашей новейшей истории. Забыть его нельзя; и свет, и тени были так резки в его духовном образе. И заслуги его, и неприятные качества, и доблести гражданские, и грубые ошибки — были так крупны, так велики, что долго, очень

²⁰ долго он будет невидимо жить во всех нас... Мы все ему неоплатно обязаны, но... все-таки... Когда мы хотим идти по стопам великих людей, совсем не нужно «плевать и кашлять, как они!» И если моя «вырезка» не фантазия подозрительности, а факт, то разве это не вредный остаток какого-то революционного, — западного недуга, находить, что Султан есть представитель дикой «орды» тогда, когда против него незаконно бунтуют его вассалы и подданные (единокровные нам), а когда против него же отстаивают не-

³⁰ некоторые свои права единоверный (но не единокровный) нам Патриарх, — писать о том же Султанине сочувственно и поучительно, как о лице не только царственном, но и в этом деле — вполне правом?

Вот то-то и дело, что тут вовсе не чувствительность в политике, Каткову не свойственная, не защита «угнетенных», а нечто гораздо более государственное по скрытой идее; хотя по существу своему ошибочное и даже в ошибочности своей очень вредное и опасное.

Вообще Катков был великий практик, но что касается до теорий, то нужно быть действительно французом, чтобы озаглавить свою статью, как «Фигаро» — «Теории Каткова».

Покойный, как человек высокого философского образования, бывший даже и сам философ по профессии, уважал (хотя и довольно холодно) — теории других; допускал, что могут быть полезные и блестящие гипотезы и глубокие обобщения, — но сам не имел уже ни времени, ни охоты ими заниматься. Вырастая на рубеже огромного перелома в нашей общественной жизни, принимая с 56 года и до кончины своей во всех движениях и колебаниях русской жизни и русской мысли по временам истинно исполненное участие, ему было вообще не до теорий. Сначала он думал, что для Государства полезно почти все старое ломать по западным образцам, лишь бы ломка шла не снизу, а сверху, — и тогда на этот рубеж исторический он выходил с топором и ломом. Потом он с ужасом понял, что славянофилы, которых он звал «доктринерами», а доктрину их — даже «гримасой», — оказываются почти что правыми; что «Запад, кажется, и в самом деле гниет», — и, спохватившись вовремя, бросил лом и топор и, схвативши смелой и сильной рукой своей молот и доски, и гвозди, и все, что попало под эту руку, начал, не стесняясь своим прошлым, чинить и приколачивать то, что прежде ломал.

Ему было не до систем, не до теорий...

Нечто подобное теории у него образовалось, видимо, только в последние года. Это именно та смутная несколько и нигде ясно не выраженная теория преобладания Русского Государства над Восточной Церковью.

Он отчасти высказывал ее на словах и мне, но печатно не успел, не хотел или не умел ее выразить, ограничиваясь только от времени до времени непонятными в нем без этой задней мысли нападками на «фанариотов».

И если не хотел, то почему?

Полезна ли была и эта недомолвка его — или вредна?

Не лучше ли было (хоть в «Русском Вестнике») выяснить эту теорию, чем зря чернить Православную Иерархию, духовным обменом с которой мы дышали века? Или опять то же: «*Не время*; теперь не так поймут... *Выясню позднее*»?

Не берусь сейчас это решить, не подумавши еще много об этом деле, столь важном для всей нашей будущности... Склоняюсь, впрочем, к тому мнению, что эта неясность, эта скрытность, эти недомолвки его — принесли на этот раз
¹⁰ больше пользы, чем вреда.

Дерзаю даже предполагать, что, в виду *грядущих событий*, великий «оппортьюнист» наш вовремя умер, что он и в самой кончине своей оказался невольным «оппортьюнистом».

В случае водружения креста в храме Св. Софии он мог бы стать страшно вреден своим влиянием и своим личным счастьем в делах.

Впрочем, ведь все умирают вовремя, хотя у одних эта *телеологическая* своевременность заметнее, чем у других. Можно бы целую книгу написать об этом: почему Пушкин и Лермонтов убиты были вовремя? Зачем Скобелеву нужно было так рано погибнуть? Почему Наполеон I прожил достаточно, а самый даровитый из его сверстников и соперников — более его *благородный*, более его *добросовестный* и более *умеренный*, Ноше (Гош) — умер так рано и случайно от какой-то горячки? Гош не пошел бы в Москву и на острове Св. Елены не умер бы!

А это было нужно!

ДВА ГРАФА: АЛЕКСЕЙ ВРОНСКИЙ И ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Было время, когда и я не любил военных. Я был тогда очень молод; но, к счастью, это длилось недолго!

Воспитанный на либерально-эстетической литературе 40-х годов (особенно на Ж.-Санде, Белинском и Тургеневе), я в первой юности моей был в одно и то же время и романтик, и почти нигилист. Романтику нравилась война; нигилисту претили военные.

Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в неопытной душе моей самые несовместимые вкусы и мнения! Удивляюсь себе; но зато понимаю иногда очень хорошо и нынешних запутанных и сбитых с толку молодых людей.

И одних ли молодых только?.. Разве у нас мало и старых глупцов?

До этих людей теперь только дошло многое из того, что нас (немногих в то время) волновало, утешало и раздражало тридцать лет тому назад... *Прогресс*, напр<имер>. *Какой* именно прогресс?.. Разве я понимал в 20—25 лет ясно — какой? *Прогресс*, образованность, наука, равенство, свобода! Мне казалось все это тогда очень ясным; я даже, кажется, думал тогда, что все это одно и то же... *Даже и революция* мне нравилась; но, припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время нравилась только романтическая, эстетическая сторона этих революций: опасности, вооруженная борьба, сражения и «баррикады» и т. п. О *вреде* или *пользе* революций, о последствиях их я думал в те молодые годы гораздо меньше. Почти совсем не думал.

Я, сам того не сознавая, любил и в гражданских смутах их военную, боевую сторону, а никак не *штатскую* цель их... Воинственные средства демократических движений нравились моему сильному воображению и заставляли меня

довольно долго забывать о прозаических плодах этих опасных движения. Я оказывался в глубине души моей гораздо более военным по духу, чем мог того ожидать в то время, когда настоящих военных не любил. Я сказал: «довольно долго» воинственные средства революции заставляли меня забывать — их уравниательные *пошлые* цели. От досады на тогдашнюю путаницу моих мыслей я сказал — «долго». — Но по сравнению со многими другими людьми, пребывшими, быть может, на всю жизнь в стремлении к всеобщему мирному и деревянному преуспеянию, — я исправился скоро...¹⁰ Время счастливого для меня перелома этого — была смутная эпоха польского восстания; время господства ненавистного Добролюбова; пора европейских *нот* и блестящих ответов на них князя Горчакова. Были тут и личные, случайные, сердечные влияния, помимо гражданских и умственных. Да, я исправился скоро, хотя борьба *идей* в уме моем была до того сильна в 62 году, что я исхудал и почти целые петербургские зимние ночи проводил нередко без сна, положивши голову и руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья... Я *идеями* не шутил и не легко мне было «сжигать то», чему меня учили поклоняться и наши, и западные писатели... Наши — путем искусного и тонкого отрицания или ложного, одностороннего освещения жизни (хотя бы и сам Гоголь — «Как все у нас скверно!»), а западные — открыто и прямо (хотя бы Ж. Санд: — «Как прекрасен демократический прогресс»)... Но я *хотел* сжечь и сжег!.. Догорела последняя тряпка гоголевских обносков; истлела последняя ветка той фальшивой, искусственной оливы мира, которую так мило и так долго подносила мне обворожительная, но *хитрая* Аврора Дюдеван.³⁰ Я стал находить, что Гоголь какой-то гениальный урод, который сам слишком поздно понял весь вред, приносимый его могучим комическим даром... Я стал подозревать очень зло, что Дюдеванша (у которой я прежде жаждал поцеловать туфлю или подол и серьезно мечтал — съездить за этим во Францию, в Берри и в самый *Nohant*...), я стал подозревать, что она бывает поочередно *то сама собою*, то нет; то искренна,

то притворна... В Лукреции искренна; в Теверино и милых пасторалях своих искренна; в «Грехе г. Антуана» и в других социалистических романах своих притворна; ибо она слишком умна, чтобы не понимать, что уничтожение повсюду Монархии, дворянства, мистических, положительный религий, войн и неравенства — привело бы к такой ужасающей прозе, что и вообразить страшно!..

Эстетика жизни (не искусства!.. Чорт его возьми, искусство — без жизни!..), поэзия действительности невозможна без того разнообразия — положений и чувств,¹⁰ которое развивается благодаря неравенству и борьбе...

Эстетика спасла во мне гражданственность... Раз я понял, что для боготворимой тогда мною поэзии жизни — необходимы почти все те общие формы и виды человеческого развития, к которым я в течение целых десяти лет моей первой молодости был равнодушен и иногда и недоброжелателен, — и что надо противодействовать их утилитарному разрушению, — для меня стало понятно, на которую сторону стать: на сторону всестороннего развития или на сторону лже-полезного разрушения.²⁰

Я стал любить Монархию, полюбил войска и военных, стал и жалеть и ценить дворянство, стал восхищаться статьями Каткова и Муравьевым-Виленским; я поехал и сам на Восток с величайшей радостью — защищать даже и Православие, в котором, к стыду моему, сознаюсь, я тогда ни бельмеса не понимал, а только любил его воображением и сердцем.

Государство, Монархию, «воинов» я понял раньше и оценил скорее; Церковь, Православие, «жрецов» — так сказать — я постиг и полюбил позднее; но все-таки постиг; и они-то, эти благодетели мои, открыли мне простую и великую вещь, — что всякий может уверовать, если будет искренно, смиренно и пламенно жаждать веры и просить у Бога о ниспослании ее. И я молился и уверовал. Уверовал слабо, недостойно, но искренно.³⁰

С той поры я думаю, я верю, что благо тому государству, где преобладают эти «жрецы и воины» (Епископы, ду-

ховные старцы и генералы меча), и горе тому обществу, в котором первенствуют «софист и ритор» (профессор и адвокат)... Первые придают *форму* жизни; они способствуют ее охранению; они не допускают до расторжения во все стороны общественный материал; вторые по *существу* своего призвания наклонны способствовать этой гибели, этому плачевному всерасторжению...

С той поры я готов чтить и любить так называемую «науку» *только тогда*, когда она *свободно и охотно* служит не сама себе только и не демократии, а религии, как служит самоотверженная и честная служанка царице; как служит, например, и в наше время эта благородно-порабощенная вере наука у Еписк(опа) Никанора в его книге «Позитивная философия» или у Владимира Соловьева в его «Критике отвлеченных начал», как служила она у Хомякова хотя бы и несколько своевольному, но все-таки в основе глубоко-православному его чувству. Я уважаю науку тогда, когда она посредством некоторого *самоотрицания*, посредством частых сомнений в собственной пользе и полезной силе, ¹⁰ *приготавливает* просвещенный ум человека к принятию *положительных* верований; то есть таких верований, при которых духовные, таинственные (мистические) начала не могут выразиться в одной отвлеченной и скучной какой-то морали, но ищут *воплотить* себя даже и в *вещественных* явлениях внешнего богопочитания. Пожалуй — я скажу, если хотите, в том самом «ханжестве», которого почему-то так боится г. Ф. Г—в, недавно негодовавший в «Моск(овских) Вед(омостях)» на «обскурантизм» «Гражданина».

И что такое в самом деле это «ханжество»? Всякий, я ³⁰ надеюсь, знает, что «ханжество» и «лицемерие» не одно и то же. «Ханжество», как слово порицательное, значит (в устах людей, употребляющих его) *излишняя*, до мелочности доведенная преданность всей совокупности внешнего церковного культа, а совсем не притворство. Поклонение иконам и мощам, частое хождение в храмы, молитвы «по правилу», а не по одному порыву; исповедь и причащение; уважение к монашеству, даже и к слабому (*какое есть* —

что делать!) и т. д. Да ведь это-то и *есть Православие* и больше ничего; один верующий может больше проникнуться любовью к таинственным, духовным началам Христианства и чувствовать потребность чаще вступать с ними в общение посредством вещественной, воплощенной, так сказать, святыни; другой — поменьше; третий — изредка; четвертый — не только сам влечется к этому всему, но и проповедует все это другим; положим, хоть так, как делал покойный Аскоченский. Я «Домашней Беседы» никогда не читал, но если Аскоченский предпочел христианскую набожность общеевропейской учености, то это делает ему великую честь, и тут нет никакого «обскурантизма» (как это старо и глупо — «обскурантизм!»), а напротив того, просветление русского ума, свергнувшего с себя вериги чужого рационализма... Не знаю наверное, кто это писал под этими буквами: *Фита* и *Глаголь*.

Боюсь догадаться!.. Мне стыдно за него, если действительно это тот, на кого я думаю. О, умный и почтенный друг мой, прошу тебя, умный и добрый мой О... не печатай ты впредь такого легкомысленного вздора!.. В глазах истинного христианина — обращение к Богу и Церкви, хотя бы и вследствие страдания спинного мозга, как у Аскоченского, по словам твоим, после страстно прожитой молодости — ничуть ведь обратившегося не роняет. Пути у Бога разные. Энергический натуралист Северцов стал молиться от *страха* в плену у кокандцев; гениальный врач Пирогов — молился в горькие минуты жизни, а потом уже нашел, что не молиться в дни спокойствия и радости — неблагоприятно и низко. Тот стал молиться потому, что потерял любимую женщину, с которой был счастлив; другой оттого, напротив, что с женщиной — несчастлив; третий — стал пламенно-искренно набожен, потому что у него *у самого отвратительный нрав* и его никто не любит, и никого у него нет на свете, кроме Бога... С Ним он беседует в храме и один в комнате своей к Нему простирает руки и плачет, и говорит: «Боже, Боже мой! — я знаю, как я несносен, как я неуживчив, как я слаб и сердит; понимаю, что люди тяготятся

мною, — но Ты, Господи, — Ты пощади меня, подкрепи и утешь, и прости мне!» А людям он и не без основания противен. Быть может, он даже и лукав по природе с людьми, но с Богом нельзя ведь лукавить верующему в Него... И тут опять случается ошибка; — говорят, путая понятия и слова: «Ханжа, лицемер, набожный и лукавый». Лукавый с людьми — не значит лицемер перед Богом... Это значит только, что сила веры этого человека недостаточна для одоления силы его врожденных и приобретенных пороков... И¹⁰ только; а Господь на страшном и справедливом Суде Своем, зная его *врожденные* свойства, будет, вероятно, судить его, лукавого и несносного, снисходительнее, чем многих из нас и добрых, и любезных и искренних с людьми... Все это «таланты» и «проценты» на них... Да, «у Бога путей много!»... *Tout chemin mène à Rome*, — моя почтенная и ученая Θ —а!.. И эту азбуку *ученому* русскому человеку надо *знать* даже и в том случае, если он бесовщину спиритизма предпочитает православной набожности. Довольно, однако, об этом. Я отвлекся.

²⁰ Я думаю теперь о другом...

Теперь, — в уединении моем, уже близясь к могиле, — успокоенный и, благодаря идеалам и утешениям этого самого «ханжества» (московской Фите неприятного), гораздо более счастливый, чем во дни моей мечтательной, тщеславной и отвратительно-страдальческой юности, я стараюсь иногда отдать себе отчет, что портит больше и что воспитывает лучше русских юношей: семья, школа или чтение... И мне опять приходится немного разойтись с редактором «Гражданина»... Или не то чтобы совсем разойтись, а, ³⁰ быть может, к тому же прийти, только более окольными путями. В области чувства и действия я понимаю и люблю пути прямые: — в области мысли я прямым путям не доверяю... «Гражданин» все это время говорил о школах; я хочу сказать несколько слов о литературе по тому же самому поводу, по поводу влияния на молодые умы. — По-моему, так: семья сильнее школы; литература *гораздо* сильнее и школы, и семьи.

В семье своей, как бы мы ее ни любили, есть нечто будничное и фамильярное; самая хорошая семья действует больше на сердце, чем на ум; в семье мало для юноши того, что зовется «престижем». В многолюдном учебном заведении — всегда есть много официального, неизбежно формального и тоже — будничного...

И не может этого не быть... Поэзии (души-то этой) во всякой большой школе мало... Самая стеснительность неизбежной дисциплины; самая принудительность учения, столь полезная для выработки терпения, воли и порядка, все-таки скучны; забывать этого не надо, когда судим об юности.

Только одна литература из всех этих трех орудий влияния всемогуща; только она одарена огромным «престижем» важности, славы, свободы и удаления. Родители свои люди, в большинстве случаев весьма обыкновенные: их слабости, их дурные привычки нам известны; и самые добрые юноши чаще любят и жалеют отца и мать — чем восхищаются ими. Очень хорошие дети чаще *почитают* родителей сердцем, чем *уважают* их умом. И надо сказать правду, что в большинстве случаев большего и требовать нельзя. И в заповеди ветхозаветной, переданной и Христианству, сказано: «*чти* отца твоего и мать твою»; а не сказано: *люби* их во что бы то ни стало; или *уважай* их *внутренно*, *наильно*, даже и тогда, когда они очень порочны, глупы или злы. Религия требует от нас много трудного, но невозможного она не требует. *Чтут* в человеке не характер его, *чтут отца*. Из *почтения* добрый и честный сын *уступает* отцу даже и тогда, когда он им ничуть не убежден; ибо уступить в моей воле, но убедиться не в моей...

Школа тоже не может так всевластно подчинить ум и волю юноши, как посторонний и удаленный от него во всем величии своей славы писатель.

От семьи и школы, даже и довольный ими юноша — рад все-таки в известное время эмансипироваться; от литературы ему нечего освобождаться — он сам ее ищет, сам избирает, сам с любовью подчиняется ей. Вот в чем разница!

А что делала наша русская литература с того времени, как Гоголь наложил на нее свою великую, тяжелую и отчасти все-таки «хамоватую» лапу?..

Я оставляю теперь в стороне публицистов и ученых: я буду говорить только о романах и повестях.

Что же делала со времен «Мертвых Душ» и «Ревизора» наша будто бы «изящная» словесность?

— Изображала правду жизни, — скажут мне...

Ах! Полно — так ли?

¹⁰ Нет, не так! Жизнь, изображаемая в наших повестях и романах, была постоянно ниже действительности... Я обрываю тут нить тех более общих мыслей, которые бы естественно должны следовать за этим решительным моим определением... и перейду пока прямо к военным героям в русской литературе.

В действительной жизни для того, у кого извращенный в основах дух отходящего скоро в вечность XIX века не искал изящного вкуса и не убил здравого смысла, — *военный будет всегда выше штатского*, конечно, при всех ²⁰ остальных равных условиях со стороны ума, характера, воспитания, красоты и силы телесной и т. д. ... Хорошо нам, штатским гражданам, *писать* о политике и войне, позволено нам подчас и *желать* даже этой войны для пользы отчизны и даже человечества; но недаром же спокон века ценились и чтились особенно те люди, которым выпадает на долю нести за всех нас труды, болезни и все тягости походов и подвергаться всем ужасам и опасностям битв...

Это до того ясно, до того старо и до того вместе с тем вечно-ново (ибо вечно-справедливо), что я, напоминая об ³⁰ этом, не хочу и обращаться на этот раз к тем, которые бы потребовали от меня более подробных доводов. Я обращаюсь лишь к тем, у которых есть хоть зародыш согласия со мной в основании и хоть тень сочувствия моей этой главной мысли: *военный (при всех остальных равных условиях личных) выше штатского по роли, по назначению, по призванию*. При всех остальных равных условиях — *в нем и пользы, и поэзии больше...* Это так просто и верно, как то,

что во льве и тигре больше поэзии и величия, чем в воле и обезьяне (даже и в большой, как горилла); как то, что Шекспир есть величайший драматург всех времен, или как то, что Лев Никол(аевич) Толстой в «Анне Каренине» и в «Войне и Мире» выше всех романистов нашего времени и за все последние тридцать-сорок лет во всем мире.

(Прошу при этом понять, что я различаю *этого* прежнего, *настоящего* Льва Толстого, творца «Войны» и «Анны», от его же теперешней тени... Тот Лев — живой и могучий; а этот, этот — что такое?.. Что он — искусный притворщик или человек искренний, но впавший в какое-то своего рода умственное детство?.. Трудно решить... Расчет, однако, верный на *рационалистическое* слабоумие читателей!..

Да если бы он не стал теперь тенью прежнего «Льва», то *он-то именно*, он, который так любил все *простое*, он прежним сильным умом своим давно бы понял такую *простую вещь*: какая же это любовь — отнимать у людей шатких *ту веру*, которая облегчала им жестокие скорби *земного бытия*? Отнимать эту отраду из-за чего? Из-за пресыщенного славой и все-таки ненасытного тщеславия своего?

Что-нибудь одно из двух: если *новый* Толстой не понимает такой *простой вещи*, что колебать веру в Бога и Церковь у людей неопытных или слабых, или поверхностно воспитанных есть не любовь, а жестокость и преступление, то как ни даровит был Толстой прежний — этот *новый* Толстой и в *этом частном вопросе* просто выжил из своего ума! Или же если он и тут не совсем спутался в мыслях, а *придумал* только, чем бы еще неожиданным на склоне лет прославиться, то как это назвать — я спрашиваю? Назвать легко: но боюсь, что название будет слишком нецензурно — и умолкаю.

Впрочем, спрошу себя еще: *не оттого ли он так много пишет о любви, что сам по природе вовсе не слишком добр?*

Случается и это.)

Итак, сделавши эту необходимую и мне, и читателю оговорку, я возвращаюсь к прежнему. *Блестящий военный должен быть, как он прежде и бывал, по преимуществу героем романа.* Во всей же нашей литературе — военный высшего круга не был истинным героем романа со времени Лермонтова и до больших сочинений Толстого.

Между «Героем нашего времени» и «Войною и Миром» прошло более тридцати лет. Между злым, но поэтическим скептиком Печориным и спокойным, твердым и в то же время страстным Вронским высится мрачный призрак Гоголя (не Гоголя «Тараса Бульбы», «Рима» и Вакулы, а Гоголя «Мертвых Душ» и «Ревизора»); призрак некрасивый, злобно-насмешливый, уродливый, «выхолощенный» какой-то, но страшный по своей все принижающей силе.

Из этого серого мрака едва-едва высвобождаются (и то не вдруг, а постепенно) — где Тургенев с честным Лаврецьким и энтузиастом Рудиным; где Писемский с благородным масоном своим и привлекательными «Людьми 40-х годов»; — где Гончаров, не с Обломовым, конечно (ибо Обломов это тот же Тентетников «Мертвых Душ» — только удачнее и симпатичнее исполненный), а скорее уже с бессильным, но тонким и умным Райским. Где — Достоевский с несколько бледным и далеким сиянием христианского креста над клоакой окровавленного гноища; а где и сам Толстой в своих первоначальных повестях, как односторонний, еще тогда не слишком самобытный поклонник чрез меру потом прославленных «простых и скромных» русских людей.

Больше всех от Гоголевского одностороннего *принижения жизни* освободился, я говорю, все-таки он же — Лев Толстой — и дорос сперва до военных героев 12-го года, а потом и просто-напросто до современного нам флигель-адъютанта — Алексея Кирилловича Вронского.

О Вронском-то я и хочу поговорить подробнее и, между прочим, о том, почему нам Вронский гораздо нужнее и дороже самого Льва Толстого.

Без этих Толстых (то есть без великих писателей) можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не

проживем и полувека. Без них и писателей национальных не станет; ибо не будет и самобытной нации.

Роман «Анна Каренина» имеет в себе такое множество достоинств самого высшего разбора, что о нем стоит написать целую особую книгу и даже большую, как и сделал недавно умерший молодой и даровитый критик Громека (Последние произведения гр{афа} Л. Н. Толстого. Москва, 1885 года).

Я не могу этим заняться; и если бы мог, то, конечно, заключения мои были бы совсем иные, чем у Громеки. Во многих отношениях они были бы даже совсем противоположны.

Громека, начав с эстетического разбора этого великого произведения, очень искусно перешел потом к собственному сочинению: он придумал свой эпилог для «Анны Карениной». В этом эпилоге критик будто бы сам посещает постаревшего Левина в его имении и беседует с ним «о любви»... (Разумеется — не о романтической или о плотской любви к женщинам; но о «любви» всеобъемлющей, всечеловеческой, или, как выражаются и Левин, и сам Громека, — о *христианской любви*). Из главных действующих лиц романа в эпилоге Громеки мы встречаем только Китти, жену Левина, и его свояченицу Долли, уже вдовой... Легкомысленный и обворожительный муж Долли, князь Облонский, умер; скончался также и граф Вронский от тифа во время последней нашей войны. Я нахожу, что без них стало гораздо скучнее на свете и пустее, и мрачнее. Если бы я вздумал подражать Громеке, я бы распорядился иначе судьбою действующих лиц. У меня Вронский непременно был бы не только жив, но и прославлен подвигами под Плевной, на Шипке и в Балканских снегах. Облонского судьбу я, право, не знаю, как бы решить; но если уж в эпилоге моем нужно кому-нибудь умереть, то у меня умерла бы скорее эта незначительная и практическая Китти; а Левина, который (как часто бывает с людьми исключительными) сильно привязан к этой весьма обыкновенной и не всегда приятной женщине, я после этого удара или заставил бы смириться

перед Церковью, ездить по монастырям, поститься, поднимать икону Иверской Божией Матери и как можно больше *делать действительного, ощутительного добра*, иногда даже и весьма неохотно, принудительно, сухо, не всякий раз по искреннему движению сердца, не всякий раз по доброте, по «любви человеческой», а и по «по страху Божию», по боязни согрешить, по *любви ко Христу*, по любви к послушанию и т. д. ... Или, если уже оказалось бы, что он (Левин) решительно неисправим, что он помешан на любви только к собственным сердечным движениям, к своему «нравственному равновесию», как иные выражаются, что для него по-прежнему не Бог — *любь* есть, а *собственная его любовь*, его мгновенные добрые движения — *суть Бог* и больше ничего; если бы он (Левин) не только бы продолжал так упорно *веровать в себя и свое сердце*, но и открыто проповедывать это самообожение (наивное или притворное — не знаю); если бы он проповедывал эту безбожную автолатрию, а веру в учение Церкви разрушал бы явно без всякого сострадания к незрелым и шатким умам, — то я ²⁰ поскорее назначил бы Вронского губернатором в ту губернию, где Левин живет, и велел бы сперва зорко следить за ним, а потом заключил бы его надолго в один из самых отдаленных монастырей. Кто знает, быть может, он там бы опомнился и одумался... Бывали примеры! — Первая великая скорбь не сокрушит гордыню нашу, сокрушит вторая. У покойного Громеки в его книге (к сожалению, очень хорошо и благородно написанной) мировоззрение совсем другое. У него Вронский назван «бессодержательным» человеком; а на Левина он смотрит, как на некоего благодатного старца, ³⁰ который может нам открыть даже и то, чего желает сам Бог!

«Раскройте нам тайны открывающейся вам новой, величайшей области прекрасного! Говорите о Боге, о том, *какие законы оставил Он нам, и как их нам можно исполнить*»...

Вот что восклицает под конец своего эпилога молодой и восторженный критик! Левину присвоивается какая-то уже не только умственная или нравственная, но и *мистическая*

сила. Его изъяснение Закона Божия — есть новый катехизис, пожалуй даже и улучшенное очищенное Евангелие.

Да, можно сказать, «не поздоровится (духовно) от этих похвал!»

Легко Левину забыть, слыша подобные возгласы, и счесть себя действительно священным сосудом нового откровения!

«Едва обретается человек, могший терпеть честь (то есть принимать почести, не повреждаясь от гордости), негли же (а может быть) и отнюдь не обретается!» — говорит Исаак Сирийский в самом начале своего глубокомысленного творения: «Слова духовно-подвижнические».

Но оставим пока Левина с его нравственными немощами (а по предлагаемому мною эпилогу — и с его религиозными преступлениями) и обратимся к самому создателю его характера, — графу Толстому, к великим его эстетическим достоинствам и даже к политическим (быть может, и нечаянным) заслугам его — в двух больших его сочинениях «Войне и Мире» и «Карениной».

Трудно решить, который из этих романов художественно выше и который политически-полезнее.

И тот и другой во всем так прекрасны; и тот и другой — хотя и не во всем, но во многом так полезны, что не знаешь, которому отдать предпочтение во всецелости его.

Я невольно останавливаюсь беспрестанно, и мысль моя, подавленная обилием разнообразных достоинств Толстого в этих трудах, недоумевает, с чего начать!..

Положим — с эпохи. Великое время народной войны, эпоха, неизгладимая из памяти русской... Конечно, задача выше, содержание в этом смысле грандиознее, чем в «Карениной».

Так; но зато второй роман ближе к нам, и потому его красоты могут иметь на нас, современников, более прямое влияние. Хорошо чертами в одно и то же время крайне реальными, внушающими полное доверие, и чувствами идеальными, нас возбуждающими к лучшему, увековечить

в памяти потомства годину всенародного героизма; но чрезвычайно похвально и современное нам *высшее русское общество* изобразить *наконец-то по-человечески*, то есть беспристрастно, а местами и с явной любовью... Как не ценить этого, после того, как в течение целых тридцати и более лет никто не мог, не хотел и не умел за это взяться! Так называемый «мужичок», «солдатик», раздраженный завистью студент или разночинец, угнетенный чиновник Акакий Акакиевич, или, напротив того, чиновник-грабитель Щедрина; Тит Титыч Брусков, и в самом лучшем случае — благородный, но все-таки смешной Бородин, или некрасивый Каратаев Тургенева,* — вот кто был почти исключительно вправе занимать собою читателей в течение этих истекших тридцати или даже сорока лет. Что касается до людей более или менее высокопоставленных и «благовоспитанных» (другого слова никак не подыщу), то все подобные более изящные или более привлекательные герои у Тургенева, у Гончарова и отчасти даже и у Писемского — или нестерпимо бесхарактерны, или робки, или крайне нерешительны, или во многих случаях даже низки (Калинович), или не патриоты, или неловки и ленивы до карикатурности (Обломов), или физически слабы и не очень красивы и т. д.

Скольким читателям, я уверен, в течение стольких лет приходила на ум такая мысль:

— В частном случае, вот в том или этом, это, конечно, правда и прекрасно изображено. Но что ж мне делать, если я в действительной жизни сам встречал нередко русских людей и более твердых, и более смелых, и более красивых, и блестящих, и более полезных государству и обществу, чем все эти полуотрицательные герои... В частности все эти романисты правы, *во всецелом отражении* русской жизни — они не правы.

А прав был тот немецкий критик, который сказал про героев Тургенева, кажется, так: «не думаю, чтобы все рус-

* «Записки Охотника».

ские мужчины были бы таковы; — одна *одинадцатимесячная осада Севастополя* доказывает *противное!*»

Было ли очень много у нас таких независимых и прозорливых читателей — не знаю; но, разумеется, были и такие.

Не все очень умные люди пишут и печатают; и не все те люди, которые пишут и печатают, настолько умны, чтобы вовремя на все это хорошо указать. Только у Толстого действительность русская во всей полноте своей возвращает свои права, утраченные со времен *серых «Мертвых Душ»* и *серого «Ревизора»*. Только его *реализм* (в этих двух больших творениях, повторяю, а не в прежних более слабых повестях) — только реализм Толстого *есть реализм широкий и правдивый*.¹⁰

Только его творчество равняется русской жизни, а не стоит много ниже ее по содержанию и освещению, как у всех других. Справедливость требует, конечно, упомянуть здесь еще о *«Четверти века...»* и *«Переломе»* Маркевича... Но эти два, тоже правдивые, тоже изящные и тоже весьма высокие романы появились все-таки позднее *«Войны»* и *«Анны»* Толстого, так что *инициатива восстановления*,²⁰ так сказать, *эстетических прав русского высшего общества* все-таки принадлежит не Маркевичу, а Толстому.

Искусство имеет свойство делать нам многое в жизни яснее прежнего. Мы часто сами или вовсе не замечаем чего-нибудь в действительности, или запоминаем явление только бессознательными силами души, а художник более резким каким-то выделением этого явления делает нам его иногда неожиданно совершенно ясным, и мы сами удивимся, как мы прежде этого не замечали.

Вспоминаю по этому поводу многое из моего личного опыта.³⁰ В Крыму, например, служа военным врачом во время Севастопольской войны, я впервые увидел море. (В Петербурге я даже и не желал никогда его видеть, забывал о нем.)

«Я видел море, я измерил очами жадными его...» Я видел его тихим; видел в бурные дни, купался в нем, катался в лодке, видел и во время мелкой зыби; многие отливы цве-

тов, много красок я в нем сам сразу заметил; но никогда не замечал, что во время мелкой зыби *наверху каждой маленькой, аквамариновой, зеленоватой волны образуется на мгновение голубой овальный кружок*; появится, мелькнет, исчезнет, и опять появится, и опять исчезнет... Я и не замечал этого; но с тех пор, как я увидал эти голубые кольца небесного отражения уже не мелькающими, не рябящими в глазах моих, а художественно-неподвижными на одном из морских видов Айвазовского (и даже не на подлиннике, а на копии), — я стал видеть их сам и в действительности, даже без всякого напряжения внимания. Эти голубые кружки на зеленоватой зыби вошли уже раз навсегда после этого в неизгладимый запас моей психической жизни. То же было и с *тенью на снегу в ясный зимний день*. Кто-то при мне сказал: «так нельзя писать снег; это мел какой-то; у снега в солнечный день — *тень голубоватая*»... И вот я забыл даже, кто и где это сказал, а голубоватую тень снега вижу с тех пор...

То же бывает и с хорошими портретами; мы лучше понимаем даже свое собственное лицо, когда оно изображено *неизменно и удачно*, хотя бы и на хорошей, искусной фотографии, не говоря уже о прекрасной акварели или талантливом полотне...

То же и с характерами людскими. Давно сказано, что не всякий умеет *наблюдать* то, что он *видит*. Не только большинство, менее способное, но и все самые способные люди нуждаются в помощи чужого ума, чужого наблюдения, чужого творчества для более всестороннего и ясного понимания природы и жизни.

Оригинальность, умение видеть и *показывать* другим нечто новое, само по себе редкость, но и для оригинального, для нового освещения жизни — необходимы предшественники. Разница между умом оригинальным и неоригинальным та, что первый не останавливается сразу только на том, что указали ему предшественники его в области мысли, но ищет уже прямо в жизни *чего-то еще иного*, и не только ищет, но и *находит* его. Напротив того, человек не ориги-

нальный, наблюдатель без *творчества* удовлетворяется — если не на всю жизнь, то надолго — чужим освещением явлений, чужим мировоззрением, усвояя его себе иногда до такой глубины и силы, что и жизнью за эту чужую (по происхождению) мысль иногда жертвует.

Робеспьер был несравненно сильнее волей и духом, чем Ж.-Ж. Руссо, но он жил *его* мыслями.

В литературе это особенно заметно, и мы видим часто, что люди, весьма твердые характером, самобытные *волей*, оригинальные, пожалуй, и независимые *в жизни*, являются¹⁰ литераторами вовсе не оригинальными, слабыми, почти вполне подчиненными своим знаменитым предшественникам и во взглядах, и в выборе сюжетов и лиц, и даже в языке и внешнем стиле.

Совсем других, не тронутых еще характеров, иных, новых, вовсе не виданных у других авторов положений они в жизни или совсем не замечают (так, как я долго не замечал голубых колец на зыби); или хоть и видят их *кой-как*, но не смеют и не умеют их изобразить.

У таких писателей достаёт независимости на то, чтобы к²⁰ образам, уже всем знакомым, прибавить еще две-три черты своих, но для того, чтобы хоть попытаться выбраться из *современной* им толпы и осветить жизнь хотя бы и ложным светом, но на общепринятый способ освещения не похожим, — для этого у них уже нет силы. Было время, когда о мужике, например, у нас никто не писал; писали о *военных героях*; потом явился Гоголь, — и запретил писать о героях (разве о древних, вроде Бульбы), а о мужиках позволил. И все стали писать даже не о мужиках, а о «мужичках». Гоголь разрешил также писать о жалких чиновниках, о смеш-³⁰ных помещиках и о чиновниках вредных. Потом прибавился еще к этому так называемый «солдатик» и в особенности «заскорузлый» солдатик. Еще купец-деспот — по образцу Островского — и, наконец, бесхарактерный, вечно недовольный собою, расстроенный «лишний человек» Тургенева. И множество молодых русских, если не героев, так «jeunes premiers», так сказать, и в жизни самой, и в повестях стали

рвать на себе волосы, звать себя прямо из Гоголя «дрянь и тряпка» (болваны!) и находить себя ни на что не годными.

Комедии?.. Я в последнее время, по роду занятий своих в Москве, *вынужден* был перечесть много новых комедий и драм из русской жизни. И, признаюсь, несмотря на то, что у меня память хороша, я невольно только и запомнил, что два перевода, два веселых либретто: «Веселая война» и «Жирофле-Жирофля». По крайней мере пусто, живо, весело и в сущности невинно; гораздо невиннее разных *известных* драм русских авторов. (Я говорю: известных *другим*,¹⁰ очень многим, но мною, клянусь, тотчас же забытых и уже теперь и не различимых драм).

Помню, что вообще какая-то молодая, «страстная», или «чистая душою» женщина бросается в реку, отравляется, закалывается; и все оттого, что все другие люди очень дурны, а она очень хороша, *искренна* (особенно — эта искренность у них в почете! Да чорт ее поberi, эту искренность, если она или вредна, или бестолкова)... Встречается также много добрых, но *слабых* отцов; мужей добрых но «непрактических»... (один совсем практический, другой совсем непрактический человек — какая верная и точная классификация — подумаешь!). Граф или князь, щеголь и т. п., — это уж непременно подлец... Студент, учитель, какой-нибудь «честный труженик» (произносите, прошу, это великое слово позначительнее!) — это все благородные, умные люди. Ну что за вздор! Ведь это вовсе неправда; это вовсе *не реально*... Я сам (да и всякий поживший человек) знавал князей и графов, и франтов разных, и даже *фатов* отчасти, которые были при этом благороднейшие и очень умные²⁰ люди, и сам же я встречал и смолоду, и теперь учителей и студентов таких мерзавцев и таких ничтожных, что Боже упаси; несмотря на то, что они были «труженики» и что ногти у них были черноваты или пальцы жолты от папирос.³⁰

Я уверен даже, что многие из авторов тех бесчисленных драм, которые мне пришлось, к несчастью (тоже по обязанности «честного труда»), просматривать за последние семь лет в Москве по литографированным тетрадкам г. Рассохи-

на и др<угих> театральных издателсѣй, я уверен, говорю, авторы эти знают, что бывают студенты мерзавцы (и даже очень часто), а флигель-адъютанты, камер-юнкера — прекрасные люди, «оно так, положим, но поди опиши-ка это!» Ну, а «лев» негодяй и «труженик» благородный — это уж верный сбыт... Нужно только две-три черты своих — и довольно!..

Впрочем, что и говорить о людях бездарных, когда даже и у таких умных писателей, как Глеб Успенский, Немирович-Данченко, искусственно прославленный некогда «Современником» Помяловский и т. д., — Гоголь так и дышит из каждой строки! Все *не грубое, не толстое, не шероховатое, не суковатое* им и не дается. «Буржуй», — «борода копром», «прет» и т. д. *Сами в жизни* они, вероятно, слишком опытни и умны, чтобы не видеть иногда и нечто другое, но как писатели — как же могут они высвободиться из тисков той сильной, но в своей силе неопрятной и жесткой руки Гоголя, о которой я уже говорил, когда ни Достоевский, ни Тургенев, ни Писемский, ни Гончаров не могли не подчиниться ей, один *так, другой иначе?* 10

И у Льва Толстого можно найти даже в «Анне Карениной» следы этой *гоголевщины*; конечно, не в мировоззрении общем, не в избрании лиц и среды, — но в некоторых мелочах, в иных выражениях, в иных подробностях, *нужных* Гоголю для его целей, ему же, Толстому, *вовсе ненужных*. Я об этих весьма характерных мелочах упомяну после и укажу на них тогда. 20

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ ПРОТИВ ДАНИЛЕВСКОГО

I

Почти в одно и то же время я получил № 6 «Русского Дела», в котором встретил горячую защиту взглядов Н. Я. Данилевского против внезапного нападения на него В. С. Соловьева, и оттиск самой статьи г. Соловьева из «Вестника Европы».

¹⁰ В защитительной статье «Русского Дела» основательно замечено, что наше русское национальное чувство представляется г. Соловьеву самым главным препятствием для достижения его высшей цели: соединения Церквей под главенством Папы.

Не скрою, что видеть имя Соловьева на страницах г. Стасюлевича мне было тяжело.

Но что делать? Ввиду *других целей*, тоже ничуть не низких, можно и примириться с этой неожиданностью.

²⁰ Этим поступком г. Соловьев доставил возможность более свободного возражения всем тем, которые до этого *отрицательного* нисхождения его в «студенец истления» не решились бы резко противоречить положительным сторонам его учения, его главной, *духовной* цели: *спас-ти посредством воссоединения Церквей наибольшее количество христианских душ и приготовить христианское общество к эсхатологической борьбе, к пришествию антихриста и страшному последнему Суду Божию.*

³⁰ Нет спора, это так просто, ясно и возвышенно, — сделать первый шаг к примирению двух Церквей, разделенных и давно враждующих, но внутренне соединенных общей «благодатью», как доказывал еще прежде сам Соловьев.

Конечно, стоит только христианину вообразить себе на мгновение, что обе Церкви — Восточная и Западная —

вместо того, чтобы изнуряться в борьбе друг с другом, соединили бы свои разнородные силы против общего врага, против *неверия*, против всемирной революции, стоит, говорю я, христианину только на миг вообразить себе это, чтобы сердце его исполнилось радости!

Этой главной цели стремлений г. Соловьева противоречить надо, мне кажется, с величайшей осмотрительностью, чтобы не *согрешить*. Желанию примирить обе Апостольские Церкви противоречить грубо и резко могут, по моему мнению, люди только двух родов: или те, у которых лично¹⁰ духовное чувство слишком слабо в сравнении с другими чувствами (национальным, утилитарно-либеральным и т. д.), или те, напротив, которые так просты в своем крепком Православии, что боятся и не смеют разделять в уме своем настоящее от будущего: современную, *личную и безусловную*, принадлежность нашу к Восточному исповеданию от *возможностей изменений* церковной жизни в более или менее отдаленном грядущем. Но отделять в самом себе эти два движения можно. Я могу, в личных действиях моих и даже в помыслах относительно настоящего, быть в пол-²⁰ ном подчинении духа у представителей Восточной Иерархии и вместе с тем могу говорить себе так: «Если это соединение Церквей, в какой бы то ни было форме, даже и в форме простого подчинения Папе, находится в предначертаниях Божиих, то *придет время*, когда наши Восточные Епископы найдут это возможным и правильным, и верующие *потомки* наши обязаны будут идти за ними хотя бы и „в Каноссу“. А если нет — нет! И тогда лишь будет решено и ясно, что такое был в свое время Владимир Со-³⁰ ловьев, великий ли пророк истины, или лжепророк, захотевший, на поприще духовном, стать выше духовных властей.

А пока этого еще не случилось, нельзя решить, что он такое, с этой точки зрения».

Что касается меня лично, то я нахожу, что и в настоящем даже проповедь г. Соловьева скорее полезна, чем вредна.

Она полезна двояко: во-первых, *общехристианским мистицизмом* своим; во-вторых, той *потребностью* ясной дисциплины духовной, которая видна всюду в его возвышенных трудах.

Мистицизм (т. е. расположение верить в нечто таинственное, выше видимого мира и выше нашего разума стоящее) до того *теперь нужен* человечеству, что не только мистицизм какого бы то ни было христианского оттенка приносит пользу, отвлекая ум от господствующей утилитарной пошлости и мелочной практичности нашей, но даже и всякий мистицизм, — мусульманский, буддийский, индивидуально-фантастический, спиритический и т. д., — может косвенно быть полезен, как вообще для подъема приниженных помыслов наших, так и в частности для переноса этих высшего порядка мыслей и ощущений в область православного мировоззрения. Ибо чем больше я располагаюсь к вере в *сверхчувственное вообще*, тем легче мне и к своему Православию возвратиться; тем легче мне облечь мою *общую веру ума* в одежды моей сердечной любви. Вера родит любовь, и любовь родит веру. Если же допустить эту общую, хотя бы и косвенную, пользу мистицизма *какого бы то ни было*, — то как же не признать еще более действие того полукатолического (или, если хотите, и вовсе католического *в конце*) мистицизма, которым дышат прекрасные книги нашего молодого и глубокомысленного феософа.

Широкое основание духовно-церковной пирамиды — *общее*; вершина ее должна быть *в Риме*, по мнению г. Соловьева. Мы можем не соглашаться с этим последним выводом (Владимир Соловьев не Собор Восточных Епископов); мы можем и, вернее даже, мы должны теперь, как православные, думать и надеяться, что *вершина эта отклонится скорее на Восток*, чем на Запад... Это само собою разумеется. Но то, что он говорит об этих *основаниях общих*, привлекательно и возвышенно до гениальности; отвергнуть этого мы не имеем права. Самое своеволие и самая оригинальность его первоначальных объяснений подкупает в его пользу даже и зрелый ум, даже и богобоязненное сердце.

Его своеобразное освещение всем известных фактов священной и церковной истории, изумительная прелесть его изящного изложения, местами его тонкое, философское остроумие, — все это невыразимо освежает наш ум, привыкший к несколько тяжелым и сухим приемам нашей духовной литературы, и открывает перед нами новые и светлые перспективы.

Читая его, начинаешь снова надеяться, что у Православной Церкви есть не одно только «небесное будущее» (ибо только в этом смысле мы обязаны безусловно верить, что ¹⁰ «врата адовы не одолеют ее»), но и земное; что есть надежда не ее дальнейшее развитие на правильных и древних Св(ято)отеческих основаниях.

Возможность появления у нас этого русского самобытного мыслителя дает верующему право мечтать и о других более правильных возможностях в области церковно-мистического мышления.

Одно то, что Владимир Соловьев первый осмелился так резко «поднять», как говорится, целую бурю религиозных мыслей на полудрежущей поверхности нашего церковного моря, есть заслуга не малая! Эта буря не скоро уляжется... И не дай Бог ей утихнуть! Это не рационализм, не пашковская вера, не штунда какая-нибудь, не медленное течение по наклонной плоскости в бездну безверия, это наоборот, *против* *давнего течения*, против привычного полупротестантского (со времен Петра) уклонения нашего; это против нашей «русской шерсти» даже... Но и это не беда. Мы будем свое отстаивать: он только сильнее возбуждает нас к отпору... Свое, органическое, предопределенное, возьмет ²⁰ верх; то, что в учении Соловьева не нужно, то будет всеми отвергнуто, а то, что было нужно (по-моему, например, нужна его теория *развития Церкви*), то останется и войдет в состав дальнейшего нашего мышления. ³⁰

Я выше сказал еще о потребности духовной дисциплины. Другое дело добрый пример подчинения, другое дело *самоподчинение*. Никто у нас не желает подчиняться самому Бисмарку или Императору Германскому; но подчинение

германцев своему Императору и своему Бисмарку (даже при существовании жалкой конституции этой) есть один из благодетельнейших примеров современной истории. Зачем я пойду к самому лучшему из римско-католических директоров совести, когда могу, если мне нужно, подчинить мою волю русскому или греческому духовному старцу?.. Но пример хорошего образованного католика может, в подобном случае, дать мне невольно сильный и душеспасительный толчок.

¹⁰ Зачем я пойду в Рим за Соловьевым? Мне ни для личного спасения, ни для процветания нашей отчизны этого не нужно.

Если бы мне было категорически объявлено *свыше*, иерархически объявлено, что вне Римской Церкви нет мне спасения за гробом, — и что для этого спасения я должен отречься и от русской национальности моей (которая так мне драгоценна), то я бы отрекся от нее не колеблясь, как отрекались первые христиане и от узкой иудейской народности, и от слишком широкой римской государственности (там, где она посягала на их внутренний мир).

Но возможность личного спасения видимо признает Соловьев и на лоне Восточного Православия. Зачем же я пойду в Рим, когда никто, имеющий право духовно мне повелевать, этого мне не предписывает? Ни Всевосточный Собор, ни Восточные Патриархи, ни Св. русский Синод — мне этого еще не сказали!

Владимир Соловьев для меня не имеет ни личного мистического помазания, ни собирательной мощи духовного собора.

³⁰ Я признаю за ним с радостью и любовью силу личного духа, но духовной силы благодати не признаю за ним. В этом смысле, в смысле обязательности, катихизис самый краткий, сухой и плохо составленный, но духовною цензурою просто-напросто одобренный, для меня, православного, в миллион раз важнее всей его учености и всего его таланта!

Я не пойду в Каноссу до тех пор, пока «катихизис» мне этого не прикажет. Я пойду с Соловьевым безбоязненно,

быть может, и до половины пути его «развития»; но может ли его гений помешать моему православному разуму проститься с ним на этом распутии и, протянув ему руку признательную (и за наслаждение *многим*, и даже за поучение *многому*), сказать в последнюю минуту: «*Боязнь согрешить* не позволяет мне идти с вами дальше. Епископы и старцы наши еще нейдут, и я не пойду. Вы не бойтесь ставить себя выше их: это ваше дело и ваш ответ пред Богом. Я же привык молиться: „Утверди, Боже, страх Твой в сердце моем!“»

10

Если хотите, я люблю даже Папу Римского; я чту его; я готов бы был, если бы мог, своими руками уничтожить и г. Криспи, и всех других противников Папства... на Западе... Но я не смею, я не имею права дать волю моему личному вкусу, пока мне это не разрешено! Да и вы сами — еще вопрос — туда ли вы нас ведете? Быть может, вы подобны Колумбу... Он искал морского пути в Восточную Индию и не нашел его, а открыл нечаянно нам Америку...

Ищите, ищите на свой страх путей к феократическому устройству жизни. Пробуждайте в наших почтенных охранителях и в плачевных либералах наших живую и высокую богословскую мысль! Я люблю ваши идеи и чувства, уму вашему я готов поклоняться со всей искренностью моей независтливой природы, — но, я... не только сам не пойду за вами, — я всякому, кто захочет знать мое мнение, скажу так: читайте его; восхищайтесь им; восходите за ним до известного предела на высоту его *духовной пирамиды*; но при этом храните строго в глубине сердец ваших боязнь согрешить против той Церкви, в которой вы крещены и воспитаны. Если в сердце вашем крепок этот *мужественный страх Божий*, — не бойтесь и Соловьева; любите и уважайте его. Это твердое православное чувство научит вас само, где остановиться!»

30

Так я скажу тому, кто захочет знать мое мнение. Я не богослов, с меня и этого довольно. Я этими соображениями удовлетворен и успокоен вполне. Таково мое мнение о выс-

ших положительных целях Владимира С(ергеевича) Соловьева.

Таково мое краткое предисловие к отрывочному (сознаюсь) и недостаточно еще обдуманному разбору его отрицательных взглядов на Россию, славянофилов и Данилевского.

Здесь конец моему преклонению и пред талантом его, и пред его оригинальным и важным призванием — направлять *куда-то* религиозную нашу мысль. Может быть, и совсем *не туда, куда бы он желал!*

Здесь я могу быть решительнее: я могу тут сказать без колебаний, что г. Страхов гораздо правее его в своей оценке замечательных трудов Данилевского. Я даже постичь не могу, что может сказать г. Соловьев против общей теории существования и смены *культурных типов?* Увидим!

Что Романо-Германский государственно-культурный мир разлагается, по крайней мере, в антихристианской среде своей, — в этом нет никакого сомнения, и сам г. Соловьев *прежде и недавно* еще признавал это (см. «Национальный вопрос в России», стр. 86, 87). Что нужен *поэтому* новый культурный тип для истории, это тоже несомненно. Что славянам именно предназначена *какая-то* особая роль, — это тоже признает и сам Соловьев, ограничивая, впрочем, это назначение преимущественно религиозным призванием — стать и почвой, и орудием для соединения Церквей.

Ведь и это, пожалуй, было бы вроде *нового культурного типа!* Особенно при больших взаимных уступках вышло бы нечто такое, что было бы и не «древнее Православие», и не Римский Католицизм. Что Россия и Славянство нечто еще *полузагадочное* и *особое* — тоже, кажется, нельзя сомневаться.

Можно сомневаться разве только в том, *насколько* *особо*, *насколько* *своеобразно* выйдет это полузагадочное? Насколько ли, насколько была резко своеобразна Персия Зо-роастра между халдеями, греками, евреями и Египтом; или

гораздо менее оригинально, наприм(ер), хоть бы вроде языческого Рима, который вначале был очень похож на разросшуюся в единстве муниципальную греческую республику, а потом стал все ближе и ближе подходить к стилю Восточных Царств; до тех пор подходил, пока вовсе переродился на 1000 лет в восточно-жреческую по социальной форме, христианскую по идеям, Византию.

II

По мнению Влад. Соловьева, у России нет и не должно быть никакого особого культурного призвания. Назначение русской (и вообще славянской) цивилизации одно: *служить почвой для примирения Православия с Папством*. Призвание исключительно религиозное; все остальное и безнадежно, и неважно. Поэтому всякая попытка резко обособить Россию от Запада в других отношениях: в государственном, экономическом, в научном, философском и эстетическом, есть попытка не только тщетная, но и прямо вредная, как помеха и задержка на главном пути — религиозного слияния всех христиан во единую истинно Вселенскую Церковь (и не только всех христиан, но и евреев — ибо «весь Израиль спасется»).

А если так, то надо противоборствовать всему тому, что способствует национальному и культурному обособлению, к которому теперь замечается у нас такая несомненная склонность. Надо прежде всего поколебать основы того учения, которое зовется «Славянофильством», и поразить именно тех из его представителей, у которых эти основы выражены яснее, точнее, научнее, чем у других.

Прежде всего поэтому надо начать с Н. Я. Данилевского и его систематической и ясной книги «Россия и Европа», с его теории культурных типов.

Замечательный человек этот скончался, не доживши не только до заслуженной им славы, но и до справедливой оценки большинством своих русских сограждан. Даже сами

главные представители Хомяковского старого Славянофильства очень долго при жизни Данилевского почти не упоминали об нем. Только один серьезный голос Н. Н. Стрхова одиноко и мужественно звучал в его пользу с самого начала появления книги «Россия и Европа». Все другие небольшие и невнимательные разборы, заметки об этом *шедевре* или «катихизисе» Славянофильства в начале 70-х годов были пусты, легкомысленны, пожалуй, даже и довольно глупы. Таков, между прочим, и пустейший отзыв Щебальского в

¹⁰ «Русском Вестнике» Каткова. Стыдно читать! За самые последние годы настойчивость г. Стрхова стала видимо приносить плоды; имя Данилевского стало повторяться чаще и чаще, а его идеи стали входить понемногу и полусознательно в моду даже и у тех, которые с самим источником этих идей, с его классической книгой, не знакомы. Вот прекрасный случай повторить старое изречение: «И книги имеют свою судьбу!»

Сам г. Соловьев говорит, что прежние славянофилы: Киреевский, Хомяков, Самарин, Аксаковы — были скорее

²⁰ поэты, мечтатели, и только один Данилевский предъявляет более других научные притязания.

У него все точнее, яснее, и потому он может стать *действительнее, влиятельнее*, при условиях все большего и большего успеха, все большей и большей популярности. Торжество и распространение идей Данилевского, их дальнейшее развитие, возвышая нашу русскую национальную гордость, надмевая нас *культурно*, может стать значительной помехой на пути того исключительно религиозного призвания, на которое указывает нам Влад. Соловьев.

³⁰ Ведь всякая национальная религия есть (по Данилевскому) самая существенная основная черта культурного обособления: ибо весьма многие даже из тех людей, которые в глубине сердец своих в догматы своей народной религии не веруют, учению ее в своей личной жизни строго не следуют, *гордятся* все-таки ею, как национальным знаменем, находят полезным *поддерживать* ее и для государственной дисциплины, и для национальной своеобразности, и вдобавок

еще нередко любят всей душой ее формы, обряды и т. д., потому что выросли на них и сроднились с ними.

Итак, национальная религия главная помеха на дороге в Рим.

Однако нападать на нее прямо не совсем удобно с практической стороны; нельзя ли взяться иначе?

У Данилевского признаются в каждой особой культуре четыре основы, четыре столба: религиозная основа, государственная, экономическая и культурная в тесном смысле (наука, философия, искусство). Государственная основа русская самому Влад. Соловьеву необходима для его высших целей (как явствует достаточно из его прежних сочинений). *Римский Папа, Русский Царь Самодержец* и хорошее гуманное экономическое устройство: вот что нужно нашему даровитому богослову.

Расшатывать основы государственной силы нашей поэтому г. Соловьеву *ничуть не желательно*. Касаться прямо Православия, для подчинения его Папству, повторяю, практически неудобно (хотя, быть может, *слегка и желательно*).*

Что же делать? Надо (все для расчищения того же пути к «высшему») пошатнуть более доступные опоры; потрясти основание *собственно культурных надежд*; надо развенчать Данилевского и обезнадежить раз навсегда его учеников и поклонников.

Пусть «Вестник Европы» не может сочувствовать мистическому стремлению в Рим; он Вестник не *действительно великой* Европы Григория VII, Иннокентия III и Пия IX; он Вестник другой Европы, — новейшей (в смысле времени), дряхлейшей (в смысле разложения), он Вестник Запада легально-революционного, прилично-мещанского и плоско-отрицательного. Этот Вестник, который не принял бы на свои страницы изложения положительных теологических взглядов г. Соловьева, примет на них с радо-

* Писано ранее книги «La Russie et l'Eglise Universelle». *Примечание* автора, 1891 г.

стью все то, что будет, в мало-мальски цензурной форме, отрицательно относиться к русской национальности.

И вот появилась статья под тем же самым заглавием, под каким напечатана была книга Данилевского: «Россия и Европа».

«Поражу пастыря и разыдутся овцы!»

Посмотрим, как поразил он этого «пастыря»?

По моему мнению, в первой, по крайней мере, статье он поразил его довольно слабо, в увлечении *умственной*
10 *страсти* своей!

Некоторые указания его можно обратить против него самого. Например, о *теориях крылатых и ползучих*.

Все это весьма умно подведено, но ничуть еще не убедительно для опровержения славянофильских надежд на особую культурную роль России и Славянства.

Г. Соловьев начинает так:

«Леопольд Ранке в своей „Всемирной истории“, излагая идеал Государства у Платона, замечает, что идеал этот, решительно и намеренно противопоставляемый основам тог-
20 *дашней* греческой государственности, был в главных своих чертах, через много веков после Платона, осуществлен в общем политическом строе средневековой Европы. Идеальное Государство Платона основывается, как известно, на разделении трех классов: 1) рабочего, питающего общество; 2) военного, защищающего или охраняющего и 3) духовного или философского, управляющего обществом. И именно это основное политическое деление, говорит Ранке, было в полной силе в Европе Средних веков: подчиненное рабочее население; над ним особый класс, имевший исклю-
30 *чительное* право носить оружие, и, наконец, во главе всего общественного организма, духовенство, которое обладало всем тогдашним знанием, но с „перевесом идеи божественного“ (как и у Платона), и воспитывало народ в этом направлении».

«Тут (продолжает г. Соловьев), в этом идеальном Государстве Платона, мы имеем таким образом блестящий пример *крылатой* теории общества, такой теории, которая,

расходясь с данным и местным и временным видом общежития, имеет, однако, внутреннюю силу реальности в более широких размерах» и т. д.

Правда — что Платон написал свою «Республику» лет приблизительно за 400 до Р. Х., а то состояние Романо-Германского мира, в котором теория Платона нашла свое осуществление, продолжалось, примерно, от падения Западно-Римской Империи до Реформации и Возрождения — значит до XV (положим) века по Р. Х. Прошло 400 лет до Р. Х. и 500 по Р. Х., то есть почти 1000 лет¹⁰ между обнаружением «Республики» Платона и первыми признаками тех социальных порядков в Европе, при которых она (Европа) должна была прожить еще около 1000 лет. Впрочем, все это счисление верно, если считать начало таких Платоновских порядков прямо с той минуты, когда бедный Ромул-Августул поверг свою багряницу к ногам Одоакра. Но это, мне кажется, будет не совсем точно. Порядок более определенный в Романо-Германской Европе надо считать установившимся гораздо позднее, со времен Карла Великого. *Отделение формальное от Восточной Церкви (особая религиозная культура)*, начало светской власти Пап; явное преобладание духовенства (мудрецов Платона) и т. д., значит X, XI век—до XV, 400 лет с чем-нибудь. До этого строй не был еще ясен в сознании; после этого он понемногу и сознательно стал разрушаться.

Действительно, мысль Платона была и «крылата», и реальна; но почему же мысль Данилевского (и вообще славянофильская мысль) и *неосуществимая*, и *ползучая*, как называет ее г. Соловьев? И в ней есть и полет, и реальность. Потому ли только она нехороша и поверхностна, что³⁰ она мешает «крылатой» тоже мысли г. Соловьева о необходимости соединения Церквей?

Это ясно не выражено здесь у автора. Говорится только о том, что задачи должны быть — *всемирными*, а не *обособляющими*.

Яснее выражено другое вышеприведенное обвинение; вот оно: «Существуют другого рода общественные теории,

которые, в противоположность *крылатым*, следует называть *ползучими*. Они крепко держатся за *данные* основы общества и никогда не поднимаются на значительную высоту над *современную* им жизнью. Они умирают там, где выросли, и в будущие века переходят, лишь как историческое воспоминание».

И дальше:

«Обыкновенно такие теории, привязавшись к *современному* им типу общественных отношений, выдают его за нечто окончательное и непреложное»... «Они вступают в гибельное противоречие с ходом истории». «Стараются подкрасить *данный* жизненный строй и, сохраняя неприкосновенными его основные черты, требуют исправления второстепенных подробностей». «Малая доля *поверхностного идеализма*, которым приправлены подобные „трезвые“ взгляды, дает легкое удовлетворение ленивой и робкой мысли».

Так ли это? «Данная действительность» в России, к несчастью, во многом до сих пор почти совсем европейская. Я не говорю во *всем*, я говорю лишь во *многом*. И осуществление славянофильских теорий вовсе не близко; на *практике* — Славянофильство еще в детстве; мы это все понимаем; понимал это, конечно, и Данилевский. Как определить срок подобному, хотя бы приблизительно, осуществлению? Это очень трудно; однако не совсем уж невозможно. Например: через 25 лет? Нет, это неосуществимо! Через 50? Возможно, но все-таки трудно. Через сто, полтора — пожалуй... (подробнее я скажу об этом дальше). Конечно, то, что я здесь говорю об этих числах и сроках, очень грубо и поверхностно. Но все-таки и в этом грубом виде мысль становится определеннее. *Есть же* приближительные, правдоподобные сроки всему: это несомненно. всякий, следящий, например, за политикою и понимающий историю, чувствует, что борьба за разрешение Восточного вопроса, при нынешних обстоятельствах, не может быть отложена на 50 и даже на 25 лет. На пять, быть может. Но и это мало вероятно... Чувствуется, что разрешение ближе!

Через сто, полтораста лет, быть может, я сказал, начнется пора этого славянофильского *плодоношения*. Это состояние, если оно осуществится, продержится, положим, в самом счастливом случае несколько веков (не 10, не 8, а каких-нибудь 4—5 веков) и начнет потом более или менее быстро изменяться, склоняясь в свою очередь к гибели. Вероятно, будет так. Однако ни неизбежность этой гибели, ни сравнительная отдаленность того *плодоношения*, о котором я только что говорил, не должны нас теперь смущать. Делай, что должен (обособляйся от Европы); верь, что это ¹⁰ *сбудется*; но когда — точно определить нельзя. Кто будет тогда жить, увидит и вспомнит, быть может, добром и о нас, которые умели, не видевши, веровать.

Какая же это «ползучая» теория? Это тоже очень крылатая мысль.

Сравним теперь теорию самого г. Соловьева, с точки зрения этого полета, и с теорией Платона, и с надеждами всех славянофилов, без различия в них личных оттенков на этот раз (сам Аксаков допускал *перерождение* Славянофильства в иные формы). 20

III

Итак, мы видим, что у Влад<иміра> Серг<еевича> Соловьева различие теорий «крылатых» от теорий «ползучих» основано на двух довольно простых признаках: на разнице их отношений к *будущему* и на разнице их отношений к *прошедшему* и *современному*.

Относительно прошедшего и современного (я на первый раз их соединяю в одно, противопоставляя их совместно более или менее *гадательному* будущему), г. Соловьев сам высказывается, как уже было приведено прежде, так: «они ³⁰ (ползучие теории) крепко держатся за данные основы общества и никогда не поднимаются на значительную высоту над *современною* им жизнью». Такие теории, «привязавшись к современному им типу общественных отношений,

выдают их за нечто окончательное и непреложное»... И дальше: «малая доля поверхностного идеализма, которым приправлены подобные „трезвые“ взгляды, дает легкое удовлетворение ленивой и робкой мысли».

Это относительно современных или данных основ. Когда мы говорим: современные или данные основы, то само собой разумеется при этом и *прошедшее* той нации, того государства или той культуры, о которой идет речь; ибо основами называются в этом случае те из начал, правящих жизнью современного нам общества, которые *неизменное* других продержались или с самого зарождения данного общества, или с эпохи его утверждения до наших дней, до современности. Православие — это основа с зарождения (с Владимира). Удельный же и вечевой порядок не основа; никто не станет считать его основой ни современной, ни вообще русской жизни; а *Самодержавие* как Иоанна III, так и ныне царствующего Императора всякий считает основой, хотя оно утвердилось позднее, на развалинах более древнего удельно-вечевого строя. Эмансипационный, либеральный порядок, водворившийся у нас с прошедшего царствования, также никто не станет называть основой. Самый умеренный, *средний* в этом вопросе человек не скажет, что принцип *личной свободы* крестьян есть основа. И если даже он считает эту реформу безусловно благодетельной, то все-таки он мыслит так, противопоставляя несколько гуманность и свобододолюбие *государственности*; т. е. он понимает, что нельзя такое *новое и недавнее* состояние освобожденного народа равнять, с точки зрения прочности (*основности*), с состоянием того векового порабощения, при котором Россия из полудикого агрегата Княжеств возросла до степени великой и провещенной мировой Монархии. Такой человеколюбивый и средне-либеральный человек *нашего времени* должен будет все-таки признать, что личная свобода крестьян никак не основа, а скорее несколько *противоосновное состояние*. Она, эта свобода, может быть (по его мнению, положим) Государством Русским *переносима* надолго, но и то лишь благодаря крепости других основ: Православия,

Монархии; благодаря прикреплению крестьян к земле, какому-то подобию социалистического рабства, вместо лично феодального, как было прежде, и, пожалуй, еще благодаря кой-каким, хотя и слабым, но ничем у нас пока не заменимым остаткам дворянской *властности* и дворянских *привычек*. Все основы стеснительны для большинства: это должно быть признано, я думаю, социологической аксиомой. Все, что усиливает личную свободу (т. е. своеволие) большинства, не есть основа, а большее или меньшее расшатывание основ. Это тоже, мне кажется, пора признать¹⁰ вполне ясным. Перенести кой-как свободу — можно, считать ее основой — нельзя.

Итак, все то, что можно назвать основой, в данной современности есть нечто и *стеснительное*, и *связанное неразрывно с прошедшим* государства и нации.

И тот, кто обвиняет другого за то, что этот другой крепко держится за *современные основы*, обвиняет его в тесной связи и с прошедшим нации, государства и целой культуры.

«Крылатая» теория поэтому та, которая наименее связана с прошедшим, с историей, с бывшим и существующим; «ползучая» — связана теснее мыслями своими с этим существующим и прошедшим, с этим уже бывшим в истории или пребывающим в ней.²⁰

Это по отношению к современному и прошедшему.

Об отношении этих противоположных теорий к будущему Владимир Соловьев сам так прямо не высказывается; но из приведенного им примера Платоновой республики и средневекового строя Европы мы имеем право вывести, что «неползучей» мыслью он считает ту, у которой нет возможности осуществиться раньше, как через 1000 лет.³⁰

Положим, что это с моей стороны небольшая придирка — считать так грубо и точно. Чтобы быть справедливее, скажу общее: у которой нет возможности скоро осуществиться, во всяком случае, например, на глазах автора теории.

Попробуем же с этих двух точек зрения: *качественной* связи с прошедшим и существующим и *количественной* (по течению времени) связи с отдаленностью будущего

сравнить между собою данные нам три примера: республику Платона, славянофильство Данилевского и феократию самого Владимира Соловьева.

Окажется, с одной стороны, что и Платон, и Соловьев тесно связаны и с современными им историческими обстоятельствами, и с представлениями о *прошедшем*; с другой же стороны, что Данилевский (да и вообще славянофилы всех оттенков) вовсе не такие простые консерваторы, какими их представляет автор.

¹⁰ Как ни высоко думали подняться над почвой Соловьев и Платон, но все-таки их приковывают к этой почве какие-то узы.

И с другой стороны, как бы ни желали держаться *видимых* основ Данилевский и его единомышленники, им ползать все-таки нельзя, а приходится и взлетать, подобно мудрому Дедалу, освобождаясь из лабиринта теснящей мысль современности.

²⁰ Разве Платон совсем уж не держался в теории своей более или менее готовых основ? Разве не видал он в современной ему Спарте некоего подобия своей республике? *Тройственное расслоение при строгой набожности*: спартиаты, лакедемоняне, илоты. Было еще у него и другое готовое представление, тоже почти современное: касты Египта. Египет был уже завоеван тогда персами, но внутренний строй египетской жизни еще не был настолько расшатан, чтобы не осталось от него и следов, как не осталось их позднее.

³⁰ Значит, и Платон в своем идеале держался отчасти за современные ему данные; и в этом отношении он был гораздо «трезвее» многих нынешних утопистов, желающих *антистатического равенства*. Платон в полете своем держался ближе их к «почве». Его теория в простом схематизме своем приложима, по-моему, даже и ко всем временам, ко всем нациям, ко всем культурам. Она находила себе оправдание в дальнем прошедшем Египта, отчасти в современном *религиозно-воинственном* состоянии Персии, отчасти в современном же богомольно-казарменном строе Спар-

те. И она же нашла себе оправдание и в будущем: менее ясное, конечно — в языческом Риме, где *воин-царь стал богом*; в Византии, где преобладало священство ученостию и умом; еще несколько более ясное в старой России (православной, дворянской и крепостной); самое же ясное, это правда, в Романо-Германском мире, до начала его разложения посредством восстания и торжества *средних и низших классов, назначенных самой природой для повиновения, а не для господства и необузданного рассуждения.*

К схематической республике Платона можно прибавить¹⁰ многое, но существенно расстраивать ее трехосновный план нельзя, не разрушая всего. Можно прибавить Царя (из *касты воинов непременно*); можно из среды духовных мудрецов выдвинуть выше всех первосвященника; можно допустить по краям сословным гораздо больше движения. Можно с успехом сделать таким образом политический чертеж гораздо сложнее, как и сделала его история после Платона и в Риме, и в Византии, и в России *времен сословных и особенно в Романо-Германской Европе.*

Но как бы ни был сложен и разнообразно переплетен этот социально-государственный узор в действительной жизни *развитых* (но еще не разлагающихся государств); *трехцветность* эта, эта *трехосновность* платоновская до того неотвратима, что она в искаженном, расстроенном, смешанном виде доживает с самим государством до его последнего издыхания под ударами завоевателя.

Возьмем хоть бы Францию современную. В ней все смешалось, все приблизительно уравнено; однако никак и с Католичеством (с духовными мудрецами) вполне прервать не удастся, и сдерживать толпу *работающих и торгующих* без помощи *воинов* (полиции и армии) невозможно.³⁰

Итак, Платон, составлявший свой план идеальной республики как будто для греческих республик, *под влиянием современных ему представлений и прошедших основ*, написал его для *всего мира*; ибо, по моему мнению, если все современное нам человечество (считая и спасенные до сих

пор от либерального европеизма Ост-Индию и Китай) еще не осуждено на скорую гибель (сравнительно скорую), то где-нибудь опять да явится эта трехосновность или трехцветность Платона, в новом и сложном виде: жрецы, воины, труженики; духовное рассуждение, храбрость и власть, вещественный труд и повиновение.

Его теория реализуема приблизительно везде и всегда, вследствие самой схематичности своей и неопределенной общности: она «трезва», если оглянуться назад, потому что уже неоднократно было и прежде реализовано то же самое, хотя бы и не в одинаковой частной форме. В Египте очень схоже, но богаче; в Спарте беднее, грубее, но близко; в начале афинской истории гораздо слабее, но тоже вроде этого (воинственностью правила религия); в современной Платону Персии попестрее, но на тех же основах, с перенесением *большой силы жречества*, так сказать, на Царя из воинов.

Значит, и Платон не чужд ни своей современности, ни основам прошедшего, знакомого и понятного ему. Это Платон; теперь г. Соловьев.

Разве Влад. Соловьев совсем оторван от основ данной ему современности? Разве он вовсе свободен от представлений, благоприятных прошедшему?

Напротив того, он в некоторых отношениях еще гораздо больше связан *готовыми данными* жизни, чем Платон, с одной стороны, чем Данилевский и его последователи, с другой.

IV

Как бы ни был самобытен полет нашей мысли и нашего воображения, но совершенно оторваться от исторических представлений и от современной почвы нам невозможно; и сам г. Соловьев облек, наконец, свои первоначально неясные мистические потребности в весьма конкретную и практическую форму примирения двух современно существующих Апостольских Христианских Церквей. От *готового*,

от данного прошедшей и современной историей и он не избавился. И не только он не избавляется от этого готового, но почти *предрешает* заранее *форму* этого примирения, склоняя весы свои явственно в пользу Рима, то есть прямо в пользу *старой*, давно помимо его фантазии существующей формы, быть может, с самыми ничтожными изменениями в уступку Православию.

В этом отношении он гораздо выше и практичнее Макса Мюллера, желающего примирения всех религий земного шара в какой-то общей и никому непонятной вере.¹⁰ М. Мюллер надеется, «что будущие люди покинут многое из того, чему поклоняются и что проповедуют в храме индусов, в буддийской „вихаре“, в мусульманской мечети, в синагоге еврейской и в христианской церкви; но каждый принесет с собою все лучшее из своего наследства, все высшие драгоценности души своей».

«Индус — свой врожденный скептицизм по отношению к этому миру и свою непобедимую веру в *другой* (невидимый) мир.

Буддист — видение вечного закона; свое повиновение²⁰ этому закону, кротость свою, сострадательность.

Мусульманин — серьезность своей души.

Еврей — свою непобедимую привязанность, и в светлые, и в черные дни, к тому Единому Богу, Который любит правду и Которого имя есть „Сущий“.

Христианин, наконец (и это лучше всего), — любовь к Богу, каким бы именем вы Его ни называли: Бесконечное, Невидимое, Отец, Высшее, которое и выше всего и во всем».

Вот «Церковь будущего», по Мюллеру: без догмата, вся³⁰ лишь из нравственных, добрых свойств и умственных смутных наклонностей составленная.

Разумеется, в этих строках М. Мюллера выражена одна из тех *морально-аморфических* европейских мыслей, которые доказывают и в этом случае умственную безвыходность современного прогрессивного Запада. Это место из М. Мюллера годилось бы в дополнение к той прекрасной

книге г. Страхова «Борьба с Западом», на которую тоже, кажется, готовится возражать г. Соловьев.

Пожалуй, эта мечта еще «крылатее», чем идеальное по стремлению к совершенству, но весьма реальное по *основам* Государство Платона и чем подчинение *определенного* существующего, *современного*, *данного* уже нам Православия, тоже *современному*, тоже *данному* и *еще более*, пожалуй, *выработанному* и *определенному Папству*... Но этот полет ученого европейца есть уже прямо полет Икара, у которого воск на прилепленных крыльях растаял, и он потонул в темной бездне.

Г. Соловьев не таков: он несравненно практичнее, он предлагает нам дело ясное, простое и, по-видимому, осуществимое. Стоит нам, Восточным, признать только, что Патриархи Фотий и Михаил Керуларий были менее правы, чем Римские Папы их времени, и при этом смирить нашу *национальную* гордость, и примирение подготовлено.

Признаем ли мы это? Смиримся ли? и *когда?*.. Это, с его точки зрения, вопрос только практических препятствий: «*ce qui est differe n'est pas perdu!*» Это вроде разрешения Восточного вопроса: «*Carthago est delenda*» — «*Царьград должен быть взят*». «*И будет взят*», но *когда?* Через год, через два? Или через 20 лет? Это расчеты приложения; это сроки практических препятствий. Во всяком случае, проповедь Соловьева, по крайней мере, в общем представлении уже совершенно ясна.

Пади пред ним (пред Папою), о Царь России!
И встань, как Всеславянский Царь!

И за эту почти до грубости доходящую ясность цели мы, русские (в области *национальной* мысли ясностью вовсе не избалованные), должны быть Соловьеву как нельзя более признательны.

Наконец-то что-нибудь по осязательной цели *понятное!* Против ясного, против понятного и спорить легче. Знаешь,

с чем соглашаться и чему противиться. Извольте, например, понять, чего хочет гр⟨аф⟩ Л. Н. Толстой, хотя бы по вопросу о «невоспитании детей» или о «непротивлении злу». Я отказываюсь понять и знаю, что очень многие даже сомневаются, *думает ли в самом деле гр⟨аф⟩ Толстой то, что говорит*; слишком это уж бессмысленно и темно! Или потрудитесь также постичь Достоевского в его Пушкинской речи об *окончательной мировой гармонии*! Не о космической, не об мистической всеобщей гармонии он, видимо, тут говорит. Нет! не о какой-то таинственной «новой земле под новым небом» он пророчит; в таком пророчестве, о таинственном, эта неясность была бы уместна... Но Достоевский, видимо, пророчит *окончательную гармонию социальную, историческую, международную*, имеющую водвориться только благодаря некоторому преобладанию русского народа с его «смирением» и вообще с его высшими нравственными качествами. Неужели эти высшие *специально-нравственные* качества у народа нашего уж так несомненны? Так ли надолго они устойчивы, если они даже и существуют в самом деле? *Хорошие русские духовники* и вообще монахи, зная народ, например, не хуже литераторов, не слишком-то с этим согласны; они, между прочим, находят, что у крестьян смирение значительно уменьшилось *со времен эмансипации*. Они находят еще, что там, «где недостаточен непосредственный страх Божий, посредственное влияние *страха человеческого*, т. е. начальства, весьма полезно». Дворянство от эмансипации много смирилось — это правда; мужик же значительно вознесся. Удобно ли это для обучения в будущем всего человечества *любви и гармонии*, не знаю! Туманно это, как и многое в области русской мысли и, должно быть, *именно благодаря этой патетической туманности* речь Достоевского имела такой успех. Из туманного и слишком общего выходов много и это многим нравится. «Как хочу, так и пойму». Из этого же тумана великорусских нынешних мечтаний в свое время и даже очень скоро вышел на прямую дорогу и Вл. Соловьев. Известно, что он прежде до того поклонялся Достоевскому, что даже прида-

вал большое значение одному из самых слабых его романов, на крайне избитую тему написанному: «Униженные и оскорбленные».

— Хорошо! — сказал, быть может, сам себе г. Соловьев. — Хорошо! Для реального осуществления этой благородной мечты учить других любви посредством смирения необходима *форма*. Без ясной и духовно-принудительной формы туман самый благоухающий и позлащенный рассеется. Надо его кристаллизовать; русское нравственное содержание (вера, смирение, любовь) должно быть замкнуто в крепкую догматическую и *властную форму*. У нас, восточных, веры еще много; но власть церковная слаба. Я возьму с собою все, что у нас есть хорошего: теплоту веры в народе, еще не иссякшую; распушенную доброту нашу; это самое «смирение», которым восхищались так справедливо (?) и Тютчев, и все славянофилы, и Достоевский, и которое мы столько раз проявляли даже и в политической жизни нашей (призвание варягов, европейские реформы Петра и т. д.). Я отнесу все это в Рим и повергну к стопам западного Первосвященника. Восток всегда давал содержание, Запад — форму!..

Не так ли думал Соловьев, выходя из «облаков» Достоевского на свою твердую дорогу?

— Ясно, по крайней мере!

Желательно или нет — это другое дело. Осуществимо или нет, тоже другой вопрос. Я говорю — слава Богу, что ясно, наглядно донельзя, вполне *целе-осмысленно*, так сказать. А мы давно уже от ясных и твердо стоящих на пути нашем целей отвыкли. Если нам это желательно, пойдем за ним; если нет, будем ему препятствовать всячески.

Ради Бога, дайте нам освежиться хоть сколько-нибудь на этом понятном, оформленном, ясном. Довольно с нас, довольно всей этой *испаряющейся* теплоты, всей этой *общей морали*, всех этих слов и чувств: *любви, смирения, гармонии*; всех этих благих и великих «журавлей», несущихся за облаками и без того еще помраченного и серого славянского неба.

Г. Соловьев дает нам *в руки нечто существующее*, реальное, хотя и освещенное мистическим началом и не мелкое что-нибудь, а в высшей степени интензивное и широкое.

Мистический дух Соловьева воплотился. Без сильной духовной (церковной) власти не будет прочности даже и в той любви, в той моральной гармонии, о которой другие русские идеалисты так благородно заботятся! Вот решение.

С этим (вторым) основанием нельзя не согласиться.¹⁰ Для всенародной морали необходима опора мистики. Твердость видимой этики зиждется прочно на вере в невидимое. «Начало премудрости (нравственно-практической) — *есть страх Божий*». Страх Божий поддерживается превосходно страхом человеческим (жрецами в союзе с воинами); душа наша, и в особенности собирательная душа многомиллионных народов, удобопревратна и требует беспрестанно осязательных коррективов. Она требует безусловного авторитета и сильной власти как духовной (Церкви), так и мирской (государственной, Царской)...²⁰

И тогда, успокоенные в совести нашей, обеспеченные более теперешнего в нашем *вещественном бытии*, мы, русские, научим и всех других людей: «гармонии, смирению, любви». Вот идеал.

Правда, что *после этого церковного примирения* мы, вслед за Соловьевым, опять вступаем *недоверчиво* в область слишком привлекательных моральных миражей, и *полет* наш дальнейший (под его руководством) снова становится слишком уж *бесплотным*; но, во-первых, мы хоть на короткое время отдохнули на *вообразимом*, отвели душу на *осязательном* (на Папстве в сочетании с русским Монархизмом и т. д.); а во-вторых, все *дальнейшее*, все то прекрасное, что за примирением последует, может иметь уже несколько *апокалипсическое* значение. Значит, все-таки более *определенное*, чем хорошие чувства, «любовь, гармония» и т. д. Предостерегающий во всем этом нечто апокалипсическое видит все-таки пред собою какие-то *пределы*, хотя³⁰

и весьма растяжимые, как известно, но все-таки пределы, данные нашей ненадежной морали *извне Откровением*, или той же «Церковью». Мы видим опять *форму*, правда, еще загадочную, таинственную, но в существенных чертах все-таки ясную: *будет конец свету земному, надо готовиться*; надо усилить Христианство; надо возвеличить Христову Церковь; надо в ней слить воедино: чистоту предания (Православие), духовную властность (Рим) и хоть некоторую свободу богословского движения (Протестанство). И так далее. И это все-таки гораздо яснее и тверже русского «смирения», всеславянской «любви», всечеловеческой «гармонии» и т. д.

Разумеется, если бы в нынешних человеческих обществах хотя бы в течение нескольких веков все реальные силы соединились (насколько это возможно), дружно стремясь к одной цели — утверждению Вселенского Христианства, то была бы и наша, эта земная, реальная жизнь иная!

Если бы философия стала вся, более или менее, богословскою, если бы наука стала вся более *пессимистическою*, чем теперь, если бы она говорила людям так: «да, это правда, что я очень сильна, но всегда ли *полезна* вам была эта сила моя? *Едва ли!* Конечно, и мое *новое* теперешнее *самоотрицание* есть плод науки; и это самоотрицание есть тоже наука; но мой грустный вывод не надмевает вас такими пустяками (машинами, напр<имер>, и т. п.), как надмевала людей XIX века *прежняя* их *мещанская*, улыбающаяся своему будущему всеторжеству наука. Мой вывод лучше, — он смиряет вас пред Непостижимым, перед Богом, перед Верой!» И еще: *если бы побочный плод* векового христианского воспитания — сравнительная мягкость современных нравов, нелюбовь наша к *телесным* терзаниям ближнего (и даже врага), если бы гуманность эта наша (от которой, вероятно, и отделаться снова вполне мы уже не в силах), если бы она сопрягалась в глубине души новых людей не с самодовольством морального буржуа, как сопрягается она теперь, а со страхом Божиим и верою, если

бы при этом власти уже смягченные (историей, гуманностью и т. д.) прониклись бы надолго сами больше нынешнего все тем же «страхом Божиим» вследствие более духовного всеобщего воспитания... Ну конечно, жизнь будущих веков стала бы и легче, и благороднее, и душеспасительнее.

Элементы неверия не были бы, разумеется, дотла уничтожены (да они и нужны, вероятно, как противники для последних апокалипсических битв за Церковь Божию. «Враг» нужен вообще); но они были бы подавлены жестоко даже и гуманными людьми и восстали бы в силе своей много позднее для предсмертной, иступленной борьбы, лишь пред вторым пришествием Христа.

Довольно с меня этого. В этом общем взгляде своем Соловьев несомненно прав, если только я его правильно понял. Усиление Церкви крайне нужно; проникновение мистико-христианскими идеями спасительно даже и для приблизительного, для временного, для относительного земного благоденствия нашего. Россия, быть может, и в самом деле призвана сослужить именно этом поприще службу всечеловечеству. Но относительно формы, но относительно пути, Соловьев только ясен. Это я вижу; но я не знаю, прав ли он? И даже мне иногда кажется, что он вовсе не прав. Мне все кажется, повторяю это еще раз, что он полезный, гениальный Колумб, стремящийся в Восточную Индию, не то чтобы не зная вовсе Америки, но умышленно игнорируя ее. А быть может, эта Америка ближе; быть может, она на Босфоре? Быть может, она (усиление Церкви) не в папоцезаризме, а в каком-нибудь тоже очень ясном, тоже очень практическом, тоже весьма вообразимом, прочном и небывалом еще соборно-патриаршеском устройстве. Это будущее устройство и с духом нашей Церкви сообразнее, и в нем могло быть и нечто всеобще-реальное, органическое, так сказать, вот почему: на Западе (во всецелости взятом) централизация единоличная была только в Церкви; государственное начало было всегда и есть до сих пор многолично и многовластно. Не естественно ли по

всеобщему закону полярности, что на Востоке Царь будет один над всеми, даже и над мелкими царями; а развившаяся дальше Церковь станет многолична и многовластна, даже и при некоторой соборно-аристократической централизации на Босфоре? По моему мнению, к этому ведут события; дух времени у нас веет прямее в эту сторону, чем на Запад. Если успею, я разовью эту мысль мою позднее; она прямо истекает из того самого Данилевского, который так мешает Вл. С. Соловьеву. Здесь пока прибавлять нечего. Я, кажется, доказал, что и оба окрыленные мыслители, Платон эллинский и наш молодой мистик, вовсе не чужды ни современным им основам, ни «коренным» грехам данной действительности. Член демократизированной республики мыслил об идеальной и весьма сословной республике. Христианин нашего времени мыслит не о чем-нибудь действительно новом и небывалом, он мечтает о возвращении вспять к частной форме, к воссоединению Церквей, уже проживших вместе веков десять и потом ощутивших неотразимую потребность разделения.

Что касается до выражения «коренные грехи данной действительности», то оно, вероятно, относится не к политическим основам России и не к экономическому расстройству нашему, которое (г. Соловьев это знает) никто у нас увековечить не желает, а напротив того, все почти бьются о том, как бы исправить его. Вероятно, и это выражение «коренные грехи» обращено к строгим и слишком неподвижным, по его мнению, охранителям Православия, к славянофилам прежде всего (ибо они люди мирские, не связанные саном подобно духовенству, могли бы смелее двигать богословскую мысль, например, в тот же Рим).

Но тут как же быть: если я не ошибся, и под словом «коренные грехи данной действительности» Вл(адимир) Серг(еевич) Соловьев понимает косность наших охранителей в идеях и формах Восточного исповедания, то с ним совсем не согласны все четыре Восточные Патриарха и многие подчиненные им Епископы в своем «Окружном послании 1848 года».

Грехом они считают именно *Католицизм Римский* и даже дерзают его называть без стеснения *ересь* (стр. 9, русский перевод 1850 года).*

Как же быть? Кого же нам слушаться?..

Блестящего мыслителя и своевольно-вдохновенного про-рока русского или этих великих греческих Патриархов?

В этих Патриархах, даже в случае величайших личных каких-либо немощей, преемственно (по теории самого Соловьева) от Апостолов и Святых соборных отцов несомненно живет и действует Дух Святой.

10

В этом же благородном, симпатичном, обворожительном, я готов сказать, философе русском, *неизвестно еще, какой дух обитает.*

«Не всякому духу верьте!»

Можно, конечно, при помощи Божией, и действие сомнительных (я говорю пока *только сомнительных*, а не прямо вредных) духов обращать на пользу в будущем... Это правда...

«Но с величайшим самоохранением»... Да не преткнем об этот «камень» (tu es Petrus!) несвоевременно и без того нетвердую ногу нашу!

* Если с таким резким определением Окружного послания Восточных Патриархов не совсем совпадают менее решительные и более снисходительные взгляды некоторых представителей русской Иерархии, не раз приводимые г. Соловьевым (наприм(ер), мнения Митрополита Филарета и друг(их)), то это доказывает только, что *богословская работа Восточной Церкви еще не окончена* и что предстоящее, при видимо благоприятных политических условиях, более тесное сближение с греками может произвести значительное оживление в области Православной мысли. Та самая теория «развития Церкви», которую, по-моему, основательно защищает г. Соловьев, может быть приложена с большими надеждами к ближайшему будущему Восточной Церкви. Этим надеждам благоприятствует как некоторая неоконченность ее системы, так и долгое *неподвижное хранение истины* ее, с одной стороны, в наших русских доселе нетворческих руках, с другой же, в утомленных могучим прежним творчеством руках греков. Мне часто думается, не было ли в этом неподвижном хранении до поры до времени *особого высшего смотрения?*

Все три теории: теория Платона, теория Влад. Соловьева и теория Данилевского имеют свое достоинство, свою относительную приложимость в будущем и свое оправдание в прошедшем. Их вовсе не трудно примирить, все три, между собою; но примирение это легко только в самых общих их чертах. Данилевский говорит нам: Европа разлагается; *нужен новый культурный тип, новая государственная культура.*

¹⁰ Платон указывает нам, что без некоторого порабощения промышленного и земледельческого классов *мудрецам (жрецам) и воинам* не будет прочна никакая государственная система.

Влад. Соловьев убежден, что без обновления *теократических сил* дальнейшая жизнь человечества будет почти бессмысленна, а может быть, даже и невозможна надолго.

Все три взгляда как нельзя более согласуются и в этих общих основаниях, и в общем их практическом выводе: *нужен новый культурно-государственный тип.* Для того, чтобы он продержался несколько веков, ему нужна более *твердая, чем теперь, сословная организация; во главе этой сословной организации должна стоять духовная Иерархия, более независимая и от светской власти, и от народа, чем теперь.*

³⁰ Это относительно общих основ трех теорий. Только они, *эти общие основы, верны, или по крайней мере правдоподобны, в том печальном смысле, что если уже нигде на земном шаре невозможны более ни новый культурный тип, ни крепкая сословность, ни покорность теократии: то все человечество осуждено сперва на демократическое всесмешение, а потом на медленное вымирание или на внезапную гибель.*

Если же этому всесмешению должен быть на долгое время, примерно на 10 веков или несколько менее, положен предел; то иного средства нет к воздвижению подобного

предела, как целым рядом изменений, колебаний, смут, войн и примирений дойти до утверждения самобытного культурного типа, с *новой* сословностью и с *обновленной* теократией.

Все это так. Но когда мы обращаемся к частным, к прямым целям этих трех теорий, тогда у нас возникают основательные сомнения; тогда невольно хочется еще раз спросить: не в *Америку* ли они все нас ведут, *вместо Ост-Индии*?

С Платоном это и случилось. Вместо Эллады приблизительное осуществление его идеала произошло через 1000¹⁰ лет после него, в Европе.

Впрочем, Платон, видимо, составлял *теорию для теории*; он писал для удовлетворения только собственной философской потребности определить вообще условия государственной *стойкости*. Когда современники его предлагали ему стать Ликургом или Солоном своей собственной теории, то он отказался, видимо не веря в ее *чистую и точную* приложимость. Веря в правильность общих оснований своих, он, значит, не верил в близкую возможность найти для своей общей идеи частную, конкретную форму. Он сам признавал в этом бессилие свое; понимал сам, в чем его собственной недостаток.

Частную эту форму, при всей верности общего положения, так трудно заранее определить, что и в том наиболее подходящем проявлении, на которое справедливо указывает Ранке, встретилось следующего рода противоречие.

С одной стороны, действительно похоже: Папа и католическое духовенство, рыцари, подчиненные общины и рабочее. Но с другой стороны, эта самая эпоха, наиболее на Государство Платона похожая, большинством историков³⁰ считается *малогосударственной* эпохой, сравнительно с теми позднейшими временами, когда началось значительное перемещение социальных сил. Государственность европейская, в строгом смысле, начала более определяться и уясняться под конец этого *средневекового* периода; именно тогда, когда монархическая власть, с одной стороны, а среднее сословие, с другой, стали приходить в некоторое приближите-

льное равновесие и с Иерархией, и с дворянством, то есть к эпохе Возрождения и Реформации, во времена Карла V, например, Франциска I, Генриха VIII, Елисаветы Английской, до времен Людовика XIV и Вильгельма Оранского в Англии включительно.

Значит, и *то вышло*, но не совсем то; и даже если взглянуть на дело с вышеуказанной точки зрения строго-государственной, то и *вовсе не то*. А все-таки основания верны. И при Людовике XIV, и при Вильгельме Оранском и *религия* была еще очень могущественна, и *воинственное дворянство* еще везде преобладало над средним и рабочим классами.

Платон, я говорю, и не определял с точностью ни *мesta*, ни *времени*, ни *частной* формы для осуществления своего идеала. Но Данилевский и Соловьев гораздо более его определяют своим надеждам и *место*, и *частную* форму. О времени же они не говорят; они оба понимают, что это самый опасный камень преткновения. В *жизни* в этих *временах* и *сроках* иногда вся сила, но как их уловить и предречь в будущем?

Эта большая определенность пророчеств Данилевского и Соловьева и составляет их сравнительную слабость. В этой именно *большой конкретности* скептический ум и может усмотреть их ахиллесову пятю.

Нужен новый культурный тип; *но славяне ли разовьют его*, как надеется Данилевский?

Можно ожидать обновления теократического начала, но будет ли эта теократия *непреренно Римско-Католическая*, как верит Влад. Соловьев?

Вот два вопроса!

Что славяне, с Россией во главе, произведут на время *некоторое уклонение* в русле всемирной уже *истощающей* свои силы, уже стареющей истории, это довольно правдоподобно. Что в уклонении этом будет довольно много *анти-европейского* или, точнее сказать, *анти-либерального*, *анти-современного*, это для успеха подобного отклонения даже *необходимо*.

Но дадут ли славяне действительно резкий и очень живучий, хотя бы и односторонний, культурный тип, или только будут кратковременно преобладать, в виде явления переходного к чему-нибудь более выразительному, это уже гораздо труднее, при нынешних данных, решить.

История представляет нам несколько степеней подобных перерождений и уклонений. Возьмем три степени: 1) *греко-македонское владычество*, 2) *Рим и Византия*, 3) *Романо-Германская Европа*.

Греко-македонское владычество над соседним Юго-Востоком было сравнительно краткое. От Александра Македонского (323) до окончательного покорения Царства Птоломеев римлянами (30 л<ет> до Р. Х.), всего 293 года. Следов культурной самобытности это владычество почти никаких не оставило. Было много учености, творчества не было. Вся задача этого времени была, кажется, в том, чтобы смешать воедино посредством внешней государственной власти Эллинизм с бытом восточных Царств. Отчасти и в том, чтобы посредством взаимного проникновения эллинской республиканской муниципальности с азиатским мистическим Царизмом приготовить почву римскому освященному религией Кесаризму.

Македонской литературы, македонской философии нет; есть только *греческая литература* и *греческая философия*; при македонском владычестве нет и македонского государственного учения, нет македонской государственной культуры; были только македонские государства.

Другое дело Рим и Византия. Эти оба типа уклонились несравненно дальше, чем македоняне, от всего предыдущего. Перерождение в них уже глубокое. Обе культуры, оба государства, прилагая к ним терминологию Данилевского, *одноосновные*.

У Рима своя великая государственная система, свое политическое учение, своя культурная государственность, а не просто Государство, как было у македонских Царей. У Византии небывалая дотоле великая религиозная система, свое резко от всего отделившееся мистическое уче-

ние, свое первое, по времени, в мире Христианское Государство.

В изящной литературе Рим языческий был еще довольно самобытен и лиризмом, например, пожалуй, что и превосходил Элладу; красноречием тоже славился. Но о философии римской и не говорит никто; *быт* римский очень походил на *быт* эллинов, проявляя, однако, под конец все сильнее и сильнее склонность к более богатым азиатским внешним формам (модам, обычаям и т. д.) и к восточному, более сердечному, мистицизму. Но в сфере юридической, политической, государственной Рим был вполне культурен, т. е. самобытен и могуч. Он был с этой стороны не только владыкой мира, но и наставником ему. Это его великая одноосновность.

Одноосновная же, подобно языческому Риму, была и Христианская Византия. Это было, как уже сказано, первое в истории государство Христианского исповедания. Это обстоятельство, не знаю почему, очень многими забывается.

Даже сам Данилевский, перечисляя все культурные типы, забыл Византию. Говоря именно об одноосновных культурах: еврейской, эллинской и римской, он должен был к этим трем прибавить и четвертую одностороннюю цивилизацию, именно эту византийскую.

Всех культурных типов у Данилевского перечислено десять: 1) египетский, 2) китайский, 3) халдейский (ассиро-вавилоно-финикийский), 4) индийский, 5) иранский (персидский), 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) ново-семитический или аравийский (мусульманский) и 10) романо-германский (европейский).

Не могу понять, почему одиннадцатый тип, византийский, им пропущен? Он упомянул даже особо о двух скоро-погибших культурах нового света, мексиканской и перуанской, которые находились в еще большем, чем китайцы, обособлении от всего остального исторического мира. О китайцах древние все-таки имели смутное понятие и звали их *серами*...

«Дрожат ли пред мощным в восточной пустыне индейцы и серы?» — говорит Императору Августу Гораций.

Но об Америке никто до Колумба не знал.

По-моему, оставляя в стороне Перу и Мексику, *исторических* культурных типов надо считать *одиннадцать* с *Византией*.

Впрочем, говоря о религиозной одноосновности византийской культуры, в государственном отношении бывшей в значительной мере продолжением Рима, не надо забывать о богатой ее литературе догматически-философской, богослужебно или молитвенно-лирической, нравственно-аскетической и церковно-исторической (*Жития*, например). Все это было в *высшей степени* самородно, оригинально, ново. Дух во всей этой литературе единый, творческий и *дотоле небывалый*: роды литературные почти все: от лиризма акафистов, канонов и тропарей, пожалуй, даже до некоторого подобия драматизму в богослужебных действиях.

Если про римскую лирику и красноречие можно сказать, что они и рядом с греческими образцами не теряют ничуть своего достоинства и даже имеют за собою некоторое преимущество (лирика римлян несомненно очень романтична, горяча, развита, искренна), то как же можно было забыть об этой *духовной* византийской литературе, которая до сих пор, конечно, *живет* и при этом неизмеримо *популярнее* и Гомера, и Шекспира.

Если вспомнить и обо всем этом, то хотя, пожалуй, тип Византии все-таки останется *одноосновным*, ибо литература эта от религии в этом новом типе так же неотделима, как и у евреев, но признать вообще особое и величайшее *культурное значение* этого типа станет очевидно необходимым. Наконец можно ли было забыть, что та же Византия дала миру неподражаемые и недостижимые образцы всех родов церковного искусства: в зодчестве — Св. Софию, в иконописи — Панселина, в пении — все бесчисленные божественные напевы, коими оглашаются и — как можно верить — до конца мира будут оглашаться во всей вселенной православные храмы?

Византия прожила с лишком 1000 лет, подобно Риму, так что ни Византию, ни Рим нельзя считать только чем-то переходным, вроде греко-македонского владычества. И продолжительная жизнь, и внутреннее *самобытное содержание* у них, всякий знает, неизмеримо высшее.

За Римом и Византией возникла Романо-Германская культура, гораздо более их сложная, богатая и, во *всецелости взятая*, по отношению к *прошлому*, в высшей степени оригинальная!

¹⁰ Не две основы, научно-художественную и государственную, надо признавать в ней, как признает Данилевский, *но три*, ибо нравится ли нам Католицизм или нет, но не признавать его истинно великой религией было бы большой и *тенденциозной* натяжкой.

Исказил ли Римский Католицизм Христианство, по Данилевскому и другим славянофилам, или он развил его правильно, по Соловьеву; во всяком случае, чего же еще могущественнее, самобытнее в истории, *новее в свое время* и *влиятельнее*, как Папский этот Рим! И косвенные его *воздействия*, и самые *антагонистические отражения* бесчисленны и в культурном смысле многоплодны.

Итак, относительно будущего России весь вопрос сводится к тому, чем она может быть при устарении Европы: государством ли без *особой*, без поражающей ум *государственной системы*, наподобие македонских Царств, или *одноосновным культурным миром*, какими были Рим языческий и христианская Византия; или *трехосновным столь же содержательным типом*, как Романо-Германский мир.

³⁰ Или, наконец, превзойти и этот последний богатством своим, дать вселенной впервые пример *типа четырехосновного*: то есть *решить лучше* (не окончательно — это невозможно — *а только лучше*), чем смог в свое время решить мир Романо-Германский, *все четыре* главные, основные вопроса исторической жизни: религиозный вопрос, государственный, экономический и художественно-философский.

Над всем этим можно и должно задуматься.

Данилевский надеется на то, что Россия и Славянство призваны дать по его же теории неслыханный доселе этот *полный четырехосновный тип, с преобладанием, впрочем, специально-экономического самобытного призвания.*

Я же, не распространяясь на этот раз более, сознаюсь здесь только, что из перечисленных выше *четырёх* *призваний* нахожу *первое* (македонское) для России слишком ничтожным, а *последнее* (*полную четырехосновность*) слишком богатым и самобытным. *Не похоже; лестно, но неправдоподобно что-то. Похожее всего Россия на языче-¹⁰*
ский Рим по своей судьбе. Не слишком оригинальна; име-
ет в себе нечто действительно примиряющее крайности и в
то же время медленно, но неотразимо и неустанно завоева-
тельна. Правда, сходные с римлянами по судьбе, мы не
похожи на них по характеру. Римляне гордились и открыто
похвалялись своей завоевательностью; мы же, по крайней
мере теперь, ужасно стыдимся в этом сознаваться. Но этот
ложный стыд, слава Богу, — ничуть не мешает нам делать
то же самое, что делали римляне.

Кто знает, быть может, *так и нужно!* Быть может, это ²⁰
лицемерие наше, или наш этот непостижимый самообман
сообразнее с «духом времени», чем была бы нынче рим-
ская, более откровенная метода.

VI

Я сказал, что размышляя о книге Данилевского «Россия и Европа» и принимая за истинное открытие его общую мысль, его *теорию смены культурных типов*, можно все-таки иногда усомниться в том: *мы ли — славяне, спо-*
способны дать истории истинно новый культурный тип, или
надо ждать его позднее из обновленного Китая или про-³⁰
бужденной Индии? Можно также повторить себе вопрос, что мы такое: в высшей ли степени свежие и потому оригинальные варвары, вроде германцев, бессознательно определивших (лет 1000 и более тому назад) своими нашествиями

и завоеваниями будущий стиль западной цивилизации, или же только несравненно менее оригинальные (и очень схожие с эллинами) римляне, которые уже в полном развитии государственных сил своих стали преобладать политически над соседями разного рода и проникаться их культурными и религиозными началами?

На такие вопросы, конечно, можно дать в разной степени отрицательные ответы; на *второй* решительнее, чем на *первый*. Увы! Конечно, мы давно уже не варвары в *хорошем* (в корень обновляющем) смысле этого слова! Мы *разве только римляне*, и то не характером души нашей, а судьбами нашей истории.

Но ведь и римская Республика была не совсем похожа на эллинскую; и Римская Империя была слишком многим непохожа на Восточные Царства. Помириться можно и на этом; и с этих точек зрения не только можно, но и следует возражать Данилевскому, чтобы избежать глубокого и горького разочарования в будущем.

Но уверять, что Данилевский «пресмыкается» мыслью, что он держится слишком сильно за *данную* действительность; находить, что идеализм его такой уже «поверхностный», как находит и уверяет автор «Национального вопроса» и «Религиозных начал», — это непостижимо!

Неужели Данилевский в самом деле так привязан к современности русской!?

Сам Данилевский, положим, с точностию и прямо об этом вопросе не высказывается; ибо ему, естественно, и в голову не могло прийти в то время, когда он писал свою книгу, что его кто-нибудь может обвинить в простом консерватизме. Он сам понимает, что нужно много усилий для *сворачивания нынешней России с пути того европеизма*, на который ввел ее своими реформами Петр I. Значит, он готов даже и на такие крайности, которые бы противоречили *основным* стремлениям Петра и состояли бы с ними в естественном антагонизме. Явно из этого, что Данилевский стоит за *движение вперед*, за сильный и бесстрашный процесс *развития*, а не за одни «данные» современности.

Понятно, кроме того, что под развитием он понимает все не «конституцию», — не дальнейший и неуклонный эгалитарный процесс и не какое-нибудь пустое распространение так называемых «знаний» в народе. Это было бы с его стороны слишком глупо и уж совсем по-«европейски», совсем в дурном смысле «современно».

Правда, Данилевский в некоторых местах сбивается еще на нечто почти общепринятое у нас в 60-х годах; он не в силах отрешить вполне свою мысль от впечатлений того эмансипационного периода, в котором он сам жил, развивался и писал свою книгу. Сочинение это обширно, изложено систематически и зрело обдуманно. На это нужно было время. Сочинение было напечатано впервые в «Заре» 69 года.

Допустим, что оно было обдуманно и писалось в промежуток между польским мятежом и Франко-Прусской войною, пред началом которой оно и появилось. Эти года от 63 до 69-го были временами наибольшего средне-либерального самодовольства нашего, и Данилевский (человек 40-х годов) не мог не заплатить этому дань. Реформами и он был доволен; с европейскими судами он мирился, утешая себя даже весьма ребячески тем, что и в англо-саксах когда-то было много славянского, что у нас в древней России были когда-то «губные старосты» и т. п. Отзываясь с большою историческою благодарностию о крепостном (уже уничтоженном) праве, считая это право в свое время необходимым для устройства Руси, он, однако, не разделял в перевороте 19 февраля 61 года двух противоположных сторон: лично либеральной (европейской) от консервативно-коммунальной (русской). Рискованное освобождение от власти помещиков он еще не различал глубоко от спасительного при-крепления народа к земле; не различал в том смысле, что, основательно восхваляя последнее, слишком доверчиво, сочувственно относился и к первому. Он говорил, что, пройдя сквозь вековое и необходимое воспитание крепостничества, народ теперь созрел для «гражданской свободы». Это все, конечно, остатки современного «европеизма», и в этих случаях его мысль действительно «пресмыкается» и даже бес-

сильно бьется в либерально-эгалитарных силках. Но кто же в то время был от этих силков свободен? И Катков, и Хомяков, и Аксаков, и Самарин — все так или иначе были ослеплены и запутаны в них! Катков полжизни был полулиберальным европейцем.

У всех умов есть предел понимания, дальше которого они шагнуть уже сами не могут. Кто бы подумал, например, что поэт Гёте мог сочувствовать мысли о *прорытии Суэзского канала*! Поэт объективный, пантеистический жрец
¹⁰ разнообразного развития жизни, не мог понять, что все эти пути сообщения любимому им разнообразному развитию — гибель через то вавилонское *смещение*, которое от них происходит.

Вот так и Данилевский. Он и не мог еще в *то время* понять, что весь эмансипационный период наш есть не что иное, как горький политический опыт, и что для будущего и самой России, и всего Славянства предстоит неизбежно жестокий выбор между двумя путями: или создать в недрах своих новые формы определенной и ясной *общинности и сословности* (опять нечто вроде Платона), развить и утвердить над своим социальным миром нечто подобное той самой *теократии*, которую ищет и г. Соловьев (только не непременно в Риме, как он), или же вступить, после непродолжительной и неудачной *реакции*, снова на тот «пространный» путь, по которому шаг за шагом готовы вести нас наши «средние» западники в объятия интернациональной Европы (и уж конечно, не в догматический и авторитетный Рим). И много, очень много с этой точки зрения фальшивого и необдуманного можно найти, к сожалению, в
³⁰ книге Данилевского. Сюда еще относится его доверчивое *славянолюбие* в тесном смысле, его вера в само племя славянское; тогда как нужна вера не в само это отрицательное племя, а в счастливое сочетание с ним всего того *получужого, преимущественно восточного* (а кой в чем и западного), которое заметнее в России, чем у других славян. Нужна вера в дальнейшее и новое развитие Византийского (*Восточного*) Христианства (Православия), в

плодотворность *туранской* примеси в нашу русскую кровь; отчасти и в православное *intus-susceptio* властной и твердой немецкой крови и т. д.

Чем больше в нас, славянах, будет *физиологической* примеси и чем больше в то же время *религиозного единства* между собою и *бытового обособления* от Запада, — тем лучше! Будет и гораздо больше *идеализма* для себя, и несколько больше той *насильственности* для других, на которую вовсе неосновательно нападают и сам Данилевский, и все остальные славянофилы. Я дальше надеюсь до-¹⁰казать, что и самому г. Соловьеву необходима некоторая доля этой *насильственности* в русских для его же собственных планов.

У Данилевского таких либерально-европейских ошибок очень много, и не в них, конечно, его заслуга. Заслуга его в том, что он той самой теорией *культурных типов*, которую Вл. Соловьев собирается опровергнуть, дал нам нечто вроде научной основы для избрания дальнейшего *самобытного исторического пути* (если возможно), или по крайней мере дальнейшего *исторического мышления*, если паче ча-²⁰яния мы даже и в *римляне* не годимся, а имеем только одно, почти механическое (македонское) призвание очень большой и неотразимой метлы *всесмещения* от Великого Океана до Атлантического и от родины орангутанга и слона до отчизны моржа и белого медведя.

И для такого почти отрицательного признания нужны идеи *антиевропейские*.

Я сказал «паче чаяния» и, конечно, спешу это еще раз повторить.

Пессимист, так сказать, *космический*, в том общем³⁰ смысле, что зло, пороки и страдания я считаю и неизбежными, и косвенно полезными для людей «дондеже отыметса луна», я в то же время *оптимист* для *России*, собственно для ее ближайшего будущего, оптимист *национально-исторический*, и только.

Я не могу, например, просто отогнать мысли, что Данилевский прав, полагая, что *Россия* (или *Всеславянство*) ре-

шит со временем наилучшим образом *собственно экономический* вопрос. *Ведь он на очереди; этого скрыть нельзя; и мы на очереди...*

Глубина нашего хозяйственного расстройтва, надеюсь, приведет нас не к гибели, а к *вынужденному* обстоятельству *самобытного творчества*. Решение это может приобрести позднее и всемирное значение, хотя все-таки не *окончательное*, как желали бы многие; ибо ничего окончательного в смысле всеобщего и вечного удовлетворения на земле ¹⁰ *никогда и не будет*. Не будет этого окончательного до тех пор, пока не случится то, о чем говорит сам г. Соловьев в прекрасной книге своей «Религиозные основы жизни». «Наука (говорит он на стр. 4 и 5), занимающаяся общими законами и свойствами вещественных явлений (физика), приходит в наиболее глубокомысленных своих взглядах к тому откровению, что как все явления в мире суть лишь различные виды движения, обусловленные *неравномерностью* того общего движения в телах, которое называется *теплотою*, и как это последнее непрерывно уравнивается, то, при ²⁰ окончательном его уравнивании, *всякие явления в мире неизбежно прекратятся, и вся вселенная разрешится в одно безразличное и неподвижное бытие*».

Вот это в самом деле *окончательно!* И к подобному *концу* мы должны непрестанно обращаться с религиозными помыслами нашими, подчиняя им наши исторические взгляды... При этом, однако, и о *временных решениях, улучшениях и утверждениях* мы не только имеем право думать, но мы, по самой подвижной природе нашей, *вынуждены* о них заботиться.

³⁰ Раз же предположивши, согласно с Данилевским, что мы решим наилучшим (то есть *сносным* и в сносности этой *довольно прочным*) образом *экономический* вопрос, мы можем уже на одном этом основании приравнять себя по крайней мере к римлянам, односторонним творцам неслыханного до них *государственного и гражданского права*, а уж не к македонским завоевателям, которых вся задача, кажется, состояла только в том, чтобы греческих республи-

канцев приучить к жизни *под Царями*, а восточным людям показать, что, кроме богов и царей, бывают еще на свете Софоклы и Сократы, Платоны и Фукидиды.

Нет! этого нам уж слишком мало!

VII

Человечество стало теперь несравненно самосознательнее против прошлого, и *теории* ему в наше время нужнее, чем когда-либо.

Покойный И. С. Аксаков любил говорить, что «историческое сознание следует теперь по пятам за событиями». Эта неустранимая потребность сознательного отношения к жизни не может (именно вследствие силы своей) удовлетворяться только одними объяснениями прошедшего, но ей естественно нужны и реальные пророчества будущего, хотя бы ближайшего.

Без какого-нибудь, хотя бы и неясного, плана и в старину не действовали, тем более необходимы теперь эти планы, эти теории. Они должны быть в *наше время* даже много яснее прежних, избегая только с одной стороны излишнего предрешения *подробностей*, а с другой — *не забывая* ²⁰ *силы сроков*.

Данилевский дает нам твердый фундамент в Православии, в Царстве, в общине поземельной. Он не запрещает нам строиться выше, *по-нашему*, на этом основании. Он окрыляет нас надеждами на твердом народном якоре. Держась за некоторые *общие, готовые данные* «почвы», он не стесняет ничем дальнейшего полета русской мысли. Напротив того, он рассчитывает на этот полет; он его подразумевает, и нигде не видно, чтобы он считал *формы* русской жизни *60-х и 70-х годов окончательными*. Хорош был бы такой *культурный тип*. ³⁰

У нации с истинно культурным типом и самая одежда, и самые обычаи должны быть оригинальны; моды, пляски, приличия, вся эта внешность должна стать более или менее

своею. Это *вернейший* даже признак созревающей само-бытности. Эта внешность вовсе не пустяки, не форма без содержания, как ошибочно думают многие. Это такой же важный признак, как *формы цветов на растении*.

Нет еще ничего подобного — значит, *мысль своя не созрела*; значит, *вкусы свои еще не страстны и не смелы* в своем *своенравии*; потребности *свои* не сильны, робки, *недостаточно идеальны...* Вот то, например, в чем мы *самобытнее* всего, *сильнее*, *независимее* всего, *в области церковной*, тут у нас, у *восточных*, и все это внешнее оригинально и красиво.

И Данилевский, этот серьезный, отчасти нелюдимый (как слышно было про него) человек, *заботится об этой общественной внешности*. Он посвящает этим модам и внешним обычаям несколько превосходных страниц.

Он понимал, что это *внешнее*, не говоря уже об эстетическом значении своем, имеет еще и другое значение, значение субъективное: оно есть признак зрелости национального духа, вступающего наконец *во все свои права*, ищущего во всем живой индивидуализации своей.

Я не имел счастья знать лично Данилевского, я никогда не встречался с ним; но г. Страхов, бывший ему другом, может, вероятно, дополнить многое недостающее в книгах его из тех бесед, которые он с ним вел в последние годы.

Был ли Данилевский эстетичен в *личной жизни* своей, я не знаю, и это другой вопрос (иные поэты и даже художники сами прескверно живут в отношении вкуса); но из книг его явствует, что во взгляде на жизнь он был и эстетик. Могла ли ему нравиться, особенно в последние года отрезвления, современная ему Россия, на три четверти, я думаю, европейская, и не на рыцарский, конечно, или католический лад, а на прогрессивно-мещанский и в высшей степени пошлый, даже нередко и в самых добрых наклонностях своих! Я уверен, что и самое уединение его в Крыму, кроме близости к столь хорошо понимаемой им природе, нравилось ему еще и тем, что отдаляло его от центров нашей мелкой, но подавляющей европеизации!

Нет, он не ползал! Он вперед рвался мыслью, и если он в своей книге и увяз одной ногой в реформенной трясине, то что же делать — *предел!* Можно простить это ему за тот умственный фундамент, который он нам дал, за тот общий очерк плана, который он нам начертил, предоставляя нам самим развивать, что можем, дальше, не выступая из основных его границ!

Что Данилевский имел в виду преимущественно *будущее*, и даже во многом *небывалое*, доказывается, между прочим, и тем, что он считал невозможной выработку этого *нового культурного типа прежде разрешения Восточного вопроса*, прежде присоединения Царьграда и образования конфедерации славянской (так он говорил), *восточной* — как я выражаюсь.

Разве это *данная действительность?*

Пусть и в представлениях этого союза вкрались у него и либеральные, и старо-славянские, и даже некоторые общеευропейские привычки, но где же тут застой мысли? Где «данная действительность»? Не знаю! Напротив, скорее у г. Соловьева действительность и *данная*, и *бывалая*, и даже значительно *старая*. Папство есть и было; *общая жизнь* у двух Церквей уже была и расторглась с *полным и страстным сознанием своей правоты с обеих сторон*.

Но конфедерации славянской (или восточной, считая и греков, и румын, и, вероятно, и турок с персами) под гегемонией Русского Царя — не было никогда. Царьград русским никогда тоже не был. Русские с греками никогда в прямом, узаконенном союзно-политическом общении еще не жили. Церковной тесной и совместно-равноправной жизнью тоже еще не пытались жить; ибо в первоначальной зависимости России от Вселенского Патриарха не было ни физической близости, ни идеальной равноправности. Идеально Россия была подчинена тогда грекам вполне; реально в подробностях жизни была от них независима. После разрешения Восточного вопроса это *тесное, новое и равноправное* общение станет неизбежным.

Какой бы то ни было, хотя бы и постоянно соборной централизации Восточных Церквей также никогда не бывало. А это в той или другой форме тоже станет необходимым, ибо одним союзом любви к общим преданьям теперь плохо стало жить; предания тают, под влиянием всех этих «Вестников» и провозвестников Европы!

Придется *стягивать* все, или дать волю *таянию* и гниению. Все это вовсе новое, небывалое положение дел. Оно имеет свои ужасные опасности (особенно со стороны многочисленной общелиберальной интеллигенции юго-славянской, русской, греческой, румынской); но где же тут «ползание», пресмыкание мысли? Не вижу!

Где же одна лишь *данная* действительность? Разве в сохранении Православия, но и то с подразумеванием, конечно, возможности развития *вглубь*, а не только распространения *вширь*?

Разве в признании необходимости вечного Самодержавия (для России и Славянства *вечного*, а не для всего мироздания, разумеется)?

Но «Восточный Царь» необходим и самому г. Соловьеву для его высшей цели. Самодержавие наше должно пребыть сильным и даже возрасти для внешней и наилучшей опоры Папству.

А может ли само Самодержавие продержаться до столь не близкого еще дня примирения без силы веры Православной в народе? Может ли сила этой веры в народе держаться теперь долго без сильной организации нашей Церкви? Едва ли! Значит, если для Папы нужен «Восточный Царь», если для «Восточного Царя» нужен восточно-православный народ, то для пользы Папства даже надо поберечь Православие.

Я сказал — «не может продержаться долго» сила веры без силы Иерархии. Тут вся трудность в *сроках*. И определить их с точностью редко возможно, и не признать их могущества нельзя.

Неужели высока и достохвальна только та теория, которой нужно, подобно Платоновской, ждать 1000 лет для

своего наияснейшего осуществления? А если пророчество, хотя бы и в приблизительной форме, осуществляется через 200—100 или 75 лет, то неужели это пророчество будет вовсе поверхностное в идеализме своем?

Неужели всегда только та теория выше, которая *менее правдоподобна*, по признакам текущего времени, у которой меньше реальных намеков в современности, меньше надежды в *ближайшем будущем*?

Это было бы уж слишком идеально! Сообразно этому взгляду, моральная всерелигия М. Мюллера — самая лучшая из теорий.¹⁰

Для осуществления *чего-то подобного* тому зданию, которое можно строить на фундаменте Данилевского, много есть признаков уже и теперь, есть много весьма благоприятных условий...

Где же в нашей жизни *теперь* признаки благоприятные для успеха у нас католической проповеди? *Их вовсе нет*. И я, который пишу отчасти тоже против г. Соловьева, еще один из самых благоприятных его идеям русских людей. Другие, по разным причинам (не всегда одинаково умным и хорошим), отступают чуть не в ужасе от его мыслей, даже и восхищаясь его талантом. Я же, хотя и не без оговорок обязательной православной богобоязненности, но считаю все-таки его проповедь не только гениальною по таланту, но и *весьма полезною* по общедуховному, ко внутренней дисциплине склоняющему, влиянию. Много ли в настоящее время русских, относящихся к трудам г. Соловьева так, как я отношусь, восхваляя *общий дух* и не смея сочувствовать его прямой цели? Много ли? Знаю еще двух-трех людей — не более... А число приверженцев Данилевского все растет и растет...²⁰

Я скажу даже, что я не счел бы себя вправе, если бы и мог, *самолично* и *своевольно*, без повеления Иерархии нашей, слишком грубо противиться этим идеям о соединении Церквей. Ибо, *что не нужно*, то откинется, а *что хорошо*, то останется от этой проповеди и от этих пророчеств.³⁰

Я сознаюсь только, что я не верю в возможность этого рода соединения, — в форме смиренного подчинения Папству. Не верил бы даже и тогда, когда имел бы право находить это (ни у кого высшего не спросясь) безусловно правильным.

Не все правильное сбывается и не все желательное правдоподобно.

Гораздо более близким и вероятным, по всем признакам времени, мне кажется иное...

¹⁰ Вот что:

Внешние *вещественно-исторические*, так сказать, толчки были всегда необходимы для внутренних переворотов: душевных, умственных, духовных. Петру I, для легчайшего проведения европейских реформ, понадобился новый центр — Петербург. Св. Константин, перед водворением Христианства, перенес столицу свою из Рима в Византию. Небольшое *светское владение* Папы, давшее вначале Римскому Епископу большую *вещественную* свободу, позднее, длинным рядом умственных движений и психических туда ²⁰ и сюда толчков, привело к провозглашению догмата его *духовной* непогрешимости. Падение Византии и бегство из нее ученых греков, через одно только *физически-облегченное распространение* древних книг, ускорило наступление времен «Возрождения». Один ученый богослов в частном разговоре сообщил мне однажды вот что: «На Западе до крестовых походов почитание Божией Матери было вовсе не так развито, как у греков; во время крестовых походов, *под влиянием* греков, *враждебные* им латиняне стали относиться к этой стороне веры иначе и, ³⁰ вскоре после этого, по присущей им страстности, далеко превзошли восточных христиан в превознесении Св. Девы Марии».

Не знаю, был ли этот ученый человек прав; я беру на себя ответственность не за *самый факт*, а только за вывод из него, или за *приложение*. И это пример внешнего толчка, глубоко и неотразимо потом воздействовавшего на изменения сердечные, умственные и духовные.

Теперь чувствуется везде потребность обновленной дисциплины, и если только возможно — *внутренней*, из согласования убеждения с понуждением исходящей.

В России, сам г. Соловьев это признает, только начинаются и растут религиозные, мистические «веяния»...

Если при этих психических, при этих умственных условиях в скором, исторически скором, а не лично-человечески, времени произойдут те *перемещения политических сил*, о которых я не раз говорил, на которые и Данилевский так надеялся: то многочисленным, но мягким, русским и мало-¹⁰численным, но твердым, грекам придется из самосохранения неизбежно искать друг в друге точку опоры. Вражда греков к юго-славянам совпадет при этом с нашим (слава Богу!) в них современным разочарованием.

Вот внешний политический толчок! Вот новое поприще действий и чувств! И таких разнородных толчков в эту сторону будет много.

Русские славяне из кучи мелких, диких и несогласных княжеств создали сами новое великое и просвещенное Царство.

Византийские греки, на основании евангельских и апостольских данных, хотя и Божественных, но (*разумеется* — промыслительно) еще общих и для подробного приложения неясных, создали гораздо раньше латинян *новую, мировую, ясную и сложную ортодоксию*.²⁰

Пусть эти русские, *столь государственные*, и эти греки, *столь церковные* в истории своей, пусть они *тогда* протянут искренно друг другу руку в *небывалом* еще доселе физически *тесном общении*!

Пусть случится это на том самом Босфоре, про который Наполеон I говорил: «*c'est l'Empire du monde!*» и где, ³⁰кажется, и Фурье хотел основать резиденцию своего Всеземного Омниарха как главы *градивно* друг над другом возносящихся общин.

И тогда? Тогда отчего ж и не произойти *все тому же* соединению Церквей?

Только иным обратным движением: *духовной победой Востока над Западом*.

— Мы перетянем к себе тогда католиков.

И такое соединение не будет уже, вероятно, иметь в себе вида ни знакомого и уже давно *данного* нам Римского Католичества, ни «старого», так сказать, Русского Православия, *неподвижного и безвластного*.

А будет это Православие *полуновое*: догматически по-прежнему верное, на *своем* корню незыблемое, исторически же и канонически глубоко-измененное и широко над всем разросшееся.

¹⁰ Припомним: все влияния Запада на Восток были эфемерны и поверхностны; все же воздействия Востока на Запад были прочны и хотя тоже не вечны, но оставили глубокие следы.

Не лучше ли нам пока *поберечь* с любовью это Православие, хотя бы для *личного* спасения *по-нашему* и «западных» душ. Хотя бы и для того, чтобы лет через сто (положим) в случае неудачи самобытного развития церковных сил, нам было бы с чем (а не с пустыми руками безверия) и в Рим пойти.

²⁰ Не будем мы тогда православными, так и не власти наши духовные и светские пойдут «в Каноссу»; а поедет туда скорее всего один из потомков Захария Стоянова или гг. Стасюлевича с Пыпиным, чтобы убить последнего преемника Папы Льва XIII.

Желательно ли это?

VIII

Назвавши теорию Данилевского «ползучей» за то, что он крепко держится за современные основы русского общества, г. Соловьев начинает по частям уничтожать его надежды на будущее.

³⁰ В напечатанной первой статье, сверх этого общего обвинения в «пресмыкании» по своей национальной почве, есть четыре особых отдела: 1) об *общине поземельной*; 2) о русской *науке*; 3) о русской *философии* и 4) о русском *искусстве*.

Г. Соловьев ни на что из перечисленного не рассчитывает. Поземельная община не спасает земледельческий класс от пауперизма. Она существовала у многих других народов в первобытный период их истории и потому ничего *особого славянского* собою не представляет.

Русская наука *теперь* в упадке. Русские ученые становятся собирателями материала, чернорабочими.

К *чистой философии* русские не расположены. Они *хотят жизни*. К мистической философии они более склонны; но и та уже не может процвести на почве *национального мистицизма* (на почве Православия).¹⁰

Искусство наше есть лишь отрасль общеевропейского искусства; это во-первых. А во-вторых, и оно *в настоящее время в упадке*.

Время процветания литературы нашей г. Соловьев считает (включительно) от «Евгения Онегина» до «Анны Карениной».

Есть во всем этом много печальной правды относительно настоящего; есть и по отношению к ближайшему будущему много неприятного правдоподобия в отрицаниях автора.²⁰

Но с другой стороны, так как в самых отрицательных явлениях жизни кроется всегда зародыш чего-нибудь им *антитетического* или *положительного*, то некоторым из этих отрицательных полуистин г. Соловьева можно прямо радоваться, а насчет других быть в благоприятном сомнении и спросить себя: так ли это?

В оправдание Данилевского, можно прежде всего сказать, что он по всем признакам никак не мог смотреть на *современную* нам земледельческую общину, как на идеал.³⁰ В. Соловьев говорит, что «общинное землевладение *само по себе*, как показывает статистика, совсем не благоприятствует успехам сельского хозяйства. Община обеспечивает каждому крестьянину кусок земли; но она никак не может обеспечить ему урожая или возратить производительные силы истощенной почве». Это все правда; но само собою разумеется, что и Данилевский нынешнее положение общи-

ны и сельского хозяйства в России не мог считать чем-то неподвижным и окончательным.

Вот собственные слова Данилевского:

«В отношении к общественно-экономическому строю, Россия составляет единственное обширное государство, имеющее под ногами твердую почву, в котором нет обезземеленной массы, в котором, следовательно, общественное здание зиждется не на нужде большинства граждан, не на необеспеченности их положения, где нет противоречия между идеалами политическими и экономическими».

«Условия, дающие такое превосходство русскому общественному строю над европейским, доставляющие ему непоколебимую устойчивость, обращающие те именно общественные классы в самые консервативные, которые угрожают Европе переворотами (социалистическими), заключаются в крестьянском наделе и в общинном землевладении».

«Европейский социализм есть учение революционное не столько по существу своему, сколько по той почве, где ему приходится действовать. Если бы он ограничивался приглашением мелких землевладельцев соединять свою собственность в обширное владение, так же точно, как он приглашает фабричных работников соединить свои силы и капиталы посредством ассоциаций, то в этом не было бы еще ничего преступного или зловредного. Но дело в том, что в большинстве случаев земли нет в руках тех, которые ее обрабатывают, что, следовательно, европейский социализм, в какой бы то ни было форме, требует предварительного передела собственности, полного переустройства землевладения и всего общественно-экономического строя. Беда не в социалистических теориях, которые имеют претензию быть лекарствами для излечения коренной болезни европейского общества. Лекарства эти, может быть, действительно вредны и ядовиты, но какая была бы в них опасность, если бы они могли спокойно оставаться на полках аптек, по неимению в них надобности для здорового организма? Лекарство вредно, но вредна и болезнь сама по себе. Планов для перестройки здания много; но нет материала, из которого его

можно было возвести, не разрушив предварительно давно законченного и завершеного здания. У нас, напротив того, материал в изобилии и сам собою органически складывается под влиянием внутренних, зиждательных начал, не нуждаясь ни в каких придуманных планах постройки».

«Эта-то здравость общественно-экономического строя России и составляет причину, по которой мы можем надеяться на высокое общественно-экономическое значение славянского культурно-исторического типа, имеющего еще в первый раз установить правильный, нормальный характер той отрасли человеческой деятельности, которая об-¹⁰нимает отношения людей между собою не только как нравственные и политические личности, но и по воздействию их на внешнюю природу, как источник человеческих нужд и потребностей, — установить неотвлеченную только правомерность в отношениях граждан, но реальную и конкретную».*

Я обращаю внимание не некоторые места в этой выписке: «Планов для перестройки здания много (на Западе), но нет материала» и т. д.²⁰

«У нас, напротив того, материал в изобилии и сам собою складывается под влиянием внутренних зиждательных начал, не нуждаясь ни в каких придуманных планах постройки». И дальше, где Данилевский выражается так: «имеющего еще в первый раз установить», а не «установившего». Разве эти места не указывают на то, что и для общинного начала он ждал «развития», а не удовлетворялся теперешним положением дел. Человек, который говорил об условиях, благоприятных и неблагоприятных для перестройки здания, мог рассчитывать на то, что его не запо-³⁰дозрят в неподвижном охранении и в самообольщении насчет совершенства «настоящего» строя.

Несчастья же собственно хозяйственного порядка, неурожая или изнурения почвы, о которых упоминает г. Соловьев, прямо к общинной форме землевладения не относятся.

* «Россия и Европа» 1871 г., стр. 523—525.

Эти неудобства могут быть уделом и личной, *отчуждаемой* собственности, и никто не может доказать, что, с переходом общинных порядков к индивидуальным (участковым, с правом отчуждаемости), крестьянское хозяйство процветет немедленно. Хозяева и земские люди, более нас с г. Соловьевым во всем подобном сведущие, находят столько различных причин современному упадку крестьянского хозяйства, что по *меньшей мере* было бы неосторожно возлагать всю ответственность за этот упадок на общинную форму землевладения.

Тут участвуют в значительной степени и пьянство, и другие причины более морального, чем вещественного свойства, и потому прежде чем посягать на *строй общины*, надо позаботиться как можно более о *настроении самого общинника*. При власти помещиков была та же община, но люди, ее составлявшие, были другие: они *вынуждены* были вести себя иначе, и хозяйство их шло гораздо сноснее. Мы все думали лет 25—30 тому назад, что крестьяне без нас будут хозяйничать гораздо лучше *нас самих*; но пришлось разочароваться в их практической мудрости...

Дело теперь в том, стало быть, чтобы, сохраняя общинный строй нерушимым, действовать на крестьян и хозяйство их всеми другими *возможными* путями и посягнуть на общину разве только тогда, когда после целого века или полувека стараний агрономических, административных, религиозно-нравственных и т. д. окажется что-нибудь более ясное. Например, если бы после таких долгих попечений, опытов и усилий, оказалось несомненным, что при одинаковых урожаях, при сходной почве, при равном уровне нравственности, трезвости, предусмотрительности и т. д., крестьяне-общинники живут гораздо беднее и развратнее тех русских людей, которые владеют мелкой собственностью на правах свободной отчуждаемости и безусловной личной неотъемлемости (т. е. без опасения *пределов*). Впрочем, г. Соловьев ничуть и не предполагает ускорять внешними мерами разложение нашей общины, он даже одобряет то, что Правительство русское, сохраняя общину, позаботилось

о том, чтобы после освобождения не произошло внезапного обезземелия.

Не уничтожить общину он предлагает, он советует только не надеяться на нее особенно. «Сельская община (говорит автор) никак не есть исключительная особенность русского или славянского культурного типа; она соответствует одной из *первобытных ступеней* социально-экономического развития, через которую проходили самые различные народы». «*Это не есть задаток особо-русского будущего, а лишь остаток далекого общечеловеческого прошлого*».*¹⁰

Это верно: «сравнительная история учреждений доказала это неопровержимо», как утверждает г. Соловьев.

Но я не знаю, брала или нет в расчет эта история учреждений следующее условие: «одна и та же реальная сила общества, одно и то же учреждение, даже сходные события истории, вообще сходные социальные явления, в разные времена и при различных других побочных общественных обстоятельствах, приносят совсем разные плоды».

Я не слыхал о специальном наследовании подобной задачи. Для того, чтобы судить о чем-нибудь, я ни себя, ни других не считаю обязанными знать всю литературу по предмету суждений. В наше время нестерпимого многописания трех жизней не достало бы на это. Да это и не нужно.

Есть факты всем известные. Например: английская конституция, начавшая свое развитие *во времена крестовых походов*, дала совсем иные исторические плоды, чем все первые французские конституции *прошлого века*.

Государственное объединение Франции, подготовленное постепенно веками и завершившееся при Людовике XIII и XIV, отзывалось совершенно иначе и на истории самой Франции, и на истории всей Европы, чем современное и внезапное государственное объединение Германии и Италии. *По существу* с первым однородное объединение этих двух последних стран дает на наших глазах совершенно

* Стр. 747 и 748.

другие результаты: международные, внутренне-социальные, религиозные, литературные, экономические...

Монархические ранние начальные задатки существовали одинаково и в эллинских республиках, и в римской; но в первых из них ничего не вышло, а в Риме позднее восстановление Царской власти дало великие результаты. В Китае давно существовало учреждение чиновничества или власти не по роду, наследству и т. п., а по экзамену (*грамматократия*); в демократической Европе и в крепостной

¹⁰ России сходный по существу порядок ввелся гораздо позднее, и если мы возьмем *общие картины*: с одной стороны Россию за истекшее столетие и за первую половину XIX века, с другой хоть Францию, одинаково бюрократическую при всех правлениях *этого* века, и, наконец, современный Китай; то я думаю, что во многих отношениях эти три картины будут весьма различны, несмотря на сходство *административного пути*: карьера по экзамену.

Эмансипация французская в конце XVIII века, при других *побочных обстоятельствах*, приняла совсем не тот характер, который приняла наша русская во второй половине XIX.

²⁰

Вообще не надо претендовать отличаться от других наций и культур одним каким-нибудь *строго-специфическим признаком*. Реальные науки *безусловно* специфическим признакам не доверяют. Медицина не признает *неизбежно* специфических признаков в болезнях; наиболее специфические часто изменяют, не обнаруживаются врачу; он вынужден судить по всецелости и совокупности признаков. Естественная система, введенная в ботанику Б. де Жюссие,

³⁰ основана именно на этом приеме разбора по *всецелости* и *совокупности*. У всех позвоночных животных должен быть *остов* (оттого они и зовутся позвоночные); но у некоторых низших рыб, похожих на червей, мы его не найдем. Однако, несмотря на отсутствие скелета, все зоологи, по совокупности остальных признаков, причисляют их к *позвоночным животным*, а не к червям. Все рыбы дышат жабрами; но жабры *одни* не смогут служить *отделяющим* при-

знаком для рыб; потому что и гады или *амфибии* (то есть: лягушки, жабы, саламандры) в начале своей жизни (в виде головастиков) тоже дышат жабрами, как рыбы, а позднее легкими, как ящерицы, змеи и черепахи.

И Христианство имеет много общего и много схожего с другими религиями; с одной оно сходно *единобожием* (Еврейство и Мусульманство), с другой — воплощением Бога (Браманизм), с третьей — строгим аскетизмом (Браманизм и Буддизм), с четвертой — допущением изображений (Буддизм, Браманизм) или верой в вечную индивидуальную загробную жизнь (Мусульманизм); но *совокупность* во всех этих религиях совсем иная. ¹⁰

На этом основании и общину нашу, конечно, не надо считать *специфически русской* по отношению ко всем временам и народам, но можно, во-первых, считать ее пока весьма важным и резким признаком нашим относительно Европы (ибо это главное и даже в высшей степени необходимое соображение, сходство же в чем-нибудь с Азией не погубит нашей оригинальности, а только сохранит ее надолго), а во-вторых, можно надеяться на общину в России именно потому, что у нас она сохранилась теперь вовсе не при тех побочных условиях, при которых она существовала давным-давно в Западной Европе. ²⁰

У нас есть и другой пример, сходный с этим. Наш Государь и в наше время может, если Ему это угодно, сказать: «L'Etat c'est moi!», как говорил великий Лудовик Французский 200 лет тому назад. И мы будем Ему за это признательны. Однако и общая картина современной России с ее духом, бытом, учреждениями, совсем не похожими на Францию XVII века, и множество результатов исторических и социальных для этих двух равносильных и в *принципе однородных Монархизмов*, получаются разные, ибо эпоха другая и побочные обстоятельства совсем не те. ³⁰

Кстати, напомним здесь об одном очень для нас важном мнении некоторых западных публицистов. Они полагают, что легально-принудительная («коммунистическая» — так сказать) форма нашей сельской общины теснейшим об-

разом связана с самодержавной формой нашей государственности и поэтому, посягая на первую, мы можем расширять и вторую.

IX

Владимир Сергеевич Соловьев находит, что наука в настоящее время в России в упадке. Он говорит об этом так: «лучшие наши ученые (как в естественных, так и гуманитарных науках) частью окончили, частью кончают свое поприще. *Работников* науки в настоящее время больше, чем прежде, но *настоящих мастеров* почти вовсе нет. Благодаря непрерывному накоплению научного материала, наши молодые ученые знают больше, чем их предшественники, но они хуже их умеют пользоваться своим обильным знанием. Вместо цельных научных созданий, мы видим лишь разрастающуюся во все стороны груды строительного материала, и труд ученого все более превращается в черную работу ремесленника».

Я не берусь возражать г. Соловьеву на эту мысль его *прямо*.

Прямой и самым лучшим возражением я назвал бы простой перечень *прежних* ученых трудов и новейших, [с] определением их относительного значения. Не берусь я за это вовсе не потому, что я сам не «ученый» и не считаю себя, конечно, ни по какой науке специалистом: для такой цели, как перечислить некоторые книги и указать значение их, специальность вовсе не нужна; нужна только некоторая степень *общей* начитанности и привычка *думать обо всем этом*. Я не берусь за подобное перечисление лишь потому, что я теперь *не в столице* и что здесь нет тех книгохранилищ и музеев, в которые необходимо было бы для некоторых мелких и, пожалуй, даже и презренных, справок самому съездить или послать за себя кого-нибудь другого.

Нужна *точность* заглавий, нужны года изданий и т. п. Иначе всегда найдутся люди, которые будут рады восполь-

зоваться самой неважной ошибкой подобного рода. Я всегда вспоминаю, как во время известного процесса г. Солодовникова в газетах накинулись на него за то, что он, упомянув к чему-то о сочинениях Бокля, назвал его книгу не «История цивилизации в Англии», а «История цивилизации в Европе». Но, по существу дела, г. Солодовников вернее озаглавил эту книгу, чем сам Бокль, ибо в ней очень много говорится об истории Франции, Испании, Шотландии, Англии, упоминается даже не раз о Соединенных Штатах и Германии (о «накоплении и распространении 10 знаний», напри(м)ер, и т. д.). Положим всякий, кто «пишет», должен быть готов перенести всякие ненужные придирки, но на все есть мера; и не боясь чересчур чужой недобросовестности, надо опасаться, из уважения к истине, собственной неосторожности.

Вот почему я перечислять, называть, указывать прямо и составлять списки теперь не могу; надеюсь, впрочем, что это не лишает меня права ни на общие размышления, ни даже, когда будет нужно, на некоторые приблизительные указания, просто на память. 20

«Накопление и разрастание ученого строительного материала», — говорит г. Соловьев. Правда, накопление этого материала на полках библиотек производит соответственное накопление фактов в умах молодых ученых и нередко внушает им даже некоторый вредный умственный страх (именно вроде того, чтобы не сказать «цивилизация Европы» вместо «цивилизация Англии»); а это излишнее накопление фактов в уме и бесконечная погоня за новыми и новыми, но чужими и мелкими фактами мешает и самобытной постановке новых точек зрения, и глубине выводов. 30

Конечно, и для умов нужен простор, нужно время, нужны сроки.

Недостает времени мыслить свое, когда беспрестанно изучаешь чужое. Недостает в голове простора для вольного мышления, когда она подавлена избытком фактов. Человек приучается все более и более бояться ошибок и убивает этой боязнью в себе ту силу фантазии и то дерзновение

мысли, без которых невозможны ни замечательные открытия, ни великие гипотезы.

Это подавление живой и личной мысли чрезмерным обилием чуждого и большею частью однородного материала действует не только на самого трудящегося, но и на публику; не только сами ученые подавляются этим бременем, но они подавляют им и читателей. Ужасаешься иногда при виде всех этих библиотек и книжных лавок! Даже и в России! Какое множество написанного и напечатанного! И как¹⁰ мало во всем этом действительно хорошего, оригинального, остроумного и глубокого!

Когда на меня самого находила тоска при мысли об этих пудах печатной бумаги, я всегда вспоминаю с удовольствием одну умную статью в «Современнике», которая в свое время возмутила наших поклонников «книжности», но мне она тогда же (в 60-х годах) очень понравилась. Автор говорил в ней смело против многописания вообще. Он находил, например, вовсе ненужным и бессмысленным существование наших журналов и газет *среднего* направления. Он²⁰ допускал значение «Русского Вестника», который действовал против «Современника» и, надо сказать правду, в то время был гораздо занимательнее и цветнее, чем стал впоследствии; но он признавал, и не без основания, ненужными «Отечественные Записки» гг. Краевского и Дудышкина и другие, ни то, ни се журналы. Относительно изящной литературы или «беллетристики», как говорится, смелый автор был снисходительнее, хотя находил, что и в ней авторы слишком скоро начинают повторяться. Но особенно он был строг к многотомности в науке. Помнится мне, он между³⁰ прочим выражался так: «я теперь занимаюсь политической экономией и нахожу, что для того, чтобы основательно ознакомиться с нею, мне достаточно четырех авторов». Всех четырех названных им ученых я наверное не помню. Наверное я помню только *первого* и *последнего*: Адама Смита и Дж.-Ст. Милля; двух средних забыл. Нечто подобное я испытал и на себе, когда был, в течение 7—8 лет моей первой молодости, практикующим врачом. Большие

слишком подробные, особенно немецкие руководства вроде Канштата и Вундерлиха, бывшие тогда в моде, только путали и сбивали у постели больного. Невозможно было всего «вместить»; читалось из самолюбия, из боязни отстать, отчасти из любознательности, — пользы же действительной было гораздо больше или от краткого чисто практического «Энхиридиона» Гуфеланда, или от каких-нибудь брошюр о новом особом наблюдении; или, наконец, от таких общих и кратких, можно сказать *идеальных* руководств, как старое руководство патологии Шенлейна. Там болезни были ¹⁰ всё идеальные: водянка, пневмония и т. д., чистые, без подробных оговорок и многоречия; все было ясно и понятно, а сама жизнь, клиническая действительность, делала свое дело, усложняя и отклоняя болезнь от чистого и ясного прототипа.

Давно уже были люди, скорбевшие о многописании и многокнижии; давно уже они понимали, что и для самого специального дела от этого мало пользы.

Помню, еще гимназистом VII класса (в 48 или 49 году) я восхищался одной статьей Грановского в том же «Современнике» и выписал ее для себя почти всю в особую тетрадь. Есть там вещи ошибочные и странные; например, говоря уже и тогда о множестве исторических сочинений, появляющихся на Западе, Грановский объясняет это тем, что «*праздным** европейцам XIX века нужны сильные ощущения», и находят их в чтении рассказов о драматических событиях прежних времен. Хороша *праздность!* В Европе XIX века! Талантливый и сам досужий москвич 40-х годов в 49 и 48 году забыл и об драматизме современной ему западной истории, и еще о том, что не праздность вредит ²⁰ обществам нашего века, а напротив того, слишком напряженная быстрая производительность предметов, как искусственно вещественных, так и умственных. Разумеется, что не в праздности можно обвинять европейцев, а в излишнем и ³⁰

* Не ошибся ли я? Не сказал ли Грановский «*скучающим* европейцам», а не *праздным*. 1890 г. К. Леонтьев.

вредном обоготворении производительности и того, что так богомольно зовут французы «la travail»!

Но есть в статье Грановского и много прекрасного: такова, например, его поэтическая защита исторических и вообще гуманитарных наук противу тех, которые и тогда уже хотели все силы ума человеческого приложить к одному естествоведению.

И в этой статье, уже почти полвека тому назад писанной, замечен некоторый ужас перед многотомностью.
¹⁰ «В одной Германии, говорит Грановский, за один прошедший год напечатано столько же книг, сколько их было напечатано со времени Гуттенбергова изобретения»... Это в самом деле отвратительно! И это еще раз доказывает, как правы те, которые думают, что разложение Романо-Германского мира, приостановленное лет на 30 реакцией, выразившейся на Венском конгрессе, именно со второй половины века (с 48 года) пошло опять быстрыми шагами!

²⁰ *Вот уж когда* сами ученые люди начинали понимать, какой бич это пустое умничанье, находящее себе два равно глупые и равно крайние выражения: одно в самоуверенном дилетантизме многотысячной толпы, другое — в специалистическом или монографическом, так сказать, отупении.

Но еще и много прежде всего (в 1750 году) Ж.-Ж. Руссо говорил вот что в своем известном, увенчанном Парижскою Академиею сочинении «Discours sur les sciences et les arts»: «Но если прогресс наук и искусств ничего не сделал для нашего истинного счастья (говорит Руссо); если он развратил наши нравы, а развращение нравов испортило чистоту нашего вкуса, то что скажем мы об этой толпе элементарных авторов, которые удалили от храма муз все преграды, затруднявшие к нему доступ; преграды, которыми сама природа как бы преднамеренно защищала вход в этот храм для испытания сил у людей, жаждущих познаний! Что подумаем мы об этих компиляторах, неосмотрительно взломавших врата науки? Они пропустили сквозь эти врата чернь, недостойную даже и приблизиться к ним, ибо было

бы гораздо желательнее, чтобы люди, неспособные далеко пойти на поприще письменности, чувствовали себя отринутыми на первых же шагах и обратились бы к ремеслам, более полезным для общества. Те, которые самой природой были назначены создавать учеников, в учителях не нуждались. Бэконы Веруламские, Декарты и Ньютоны, эти наставники человечества, сами наставников не имели, и какие руководители привели бы их туда, куда привел их собственный обширный гений. Обыкновенные учителя только бы сузили их постижение, стеснив его по собственной бедной мерке. Первые затруднения научили этих гениев делать усилия ума и, упражняясь таким образом, они преодолели необходимые пространства предстоявшего им пути. Если уж нужно разрешить некоторым людям занятия наукой и искусствами, то исключительно только тем, которые почувствуют себя в силах идти без чужой помощи по стопам этих великих людей и превзойти их: только подобным людям следует позволить воздвигать памятники славы человеческому уму!»

Ж.-Ж. Руссо был идеальный и оптимистический утилитарист, т. е. он желал сделать всех людей весьма счастливыми и весьма моральными и верил в возможность осуществить этот идеал. Он находил, что мелкая многокнижность и, говоря по-нынешнему (т. е. скверно, по-хамски), «интеллигентность» — не дает обществу ни того, ни другого — ни благоденствия, ни морали. Конечно, он был прав, хотя в наше время большая часть его доводов кажутся почти детскими. Понятие «развития» в наше время стало более ясным, чем понятие «счастья».

«Большинство людей, общество, не станет ни нравственнее, ни счастливее оттого, что будет много людей „письменных“, людей бумаги, много чернорабочих науки и литературы» — вот главная мысль Руссо.

Теперь я приведу еще здесь мнение одного из наших весьма известных современников Эд. ф(он) Гартмана о том, что самим ученым будет в трудах их предстоять все меньше и меньше удовольствия, отрады, утешений, счастья, по

мере размножения все тех же *средних тружеников* и по мере дальнейшей разработки ученого матерьяла.

Гартман тоже идеалист, как и Руссо, но он не *утилитарный* и *ифический оптимист*; он *эволюционный пессимист*. Он признает «развитие», он и ценил бы его, но, во-1-х, он полагает, что процесс развития человечества уже близится более или менее к своему концу; развитие начинает переходить уже заметно в *эсхатологическое разложение*. В счастье человечества, как известно, Эд. ф(он) Гартман ¹⁰ ни при каких условиях не верит. В мораль он верит, но в какую? Он верит в ту мораль, по которой один мой знакомый раз в Москве совсем было заказал молодому слуге своему, хорошему кулачному бойцу, крепко побить на улице одного неприятного ему газетного сотрудника; но после раздумал при мысли о мировом суде и о петербургском начальстве своем. А потом досада сама прошла.

Моральны люди станут (по Гартману) поневоле, фаталистически, вследствие полного господства общества над лицами; сперва внешняя воспитательная дисциплина, конечно, ²⁰ потом все большее и большее усыпление воли и страстей. *Не будет уж и хотеться побить*. И тогда-то, когда все люди станут в таком несносном роде моральны, настанет такая ужасающая тоска и скука, что человечество будет желать только одного — всеобщей смерти, полного уничтожения. Я думаю, что Гартман прав отчасти и что все те нынешние трудолюбцы, которые способствуют разными средствами к тому, чтобы люди как можно менее зависели от природы («открыватели», «прорыватели», разные Лессепсы, Эддисоны, Яблочкины) и как можно более от общества ³⁰ (нигилисты, демократы, легальные революционеры), вовсе не полезные люди, а вредные; пожалуй, более вредные, чем всякий Атилла, не говоря уже про того умного халифа (Омара), который в Александрии велел сжечь много книжной дряни и освежил надолго умственный воздух.

О том, что разрастание научного материала будет, между прочим, способствовать и уменьшению самого удовольствия от научных занятий, Гартман говорит вот что: «нуж-

да в гениальных людях будет чувствоваться все меньше и меньше и бессознательное будет все реже и реже их производить. Все классы общества нынче смешаны под одним всемирным черным фраком, и в умственном отношении мы идем к такому же уравниванию, к общему идеалу солидной посредственности. Поэтому и наслаждение научным творчеством будет все слабеть, и человечество, наконец, будет пользоваться удовольствием лишь одного пассивного знания».

Все это так: многописание, многопечатание, многоучение¹⁰ становятся ужасными и несносными. Но, вопреки Гартману, мне все кажется, что и этому излишеству назначен в истории свой предел; я думаю, что хотя бы на время, но отшатнется человечество и от этого. Отвращение от излишней и вредной книжности пока (в конце 19 века) есть еще удел немногих; весьма возможно, что при тех грядущих социальных переворотах и при глубоких политических потрясениях, которые близятся и коих человечеству избежать невозможно, это отвращение со временем станет более популярным.²⁰

Но и тут я должен (опасаясь даже наскучить читателям) опять и опять напомнить о сроках... Мерки общие и приблизительные есть для жизни; жизнь человека считается годами, жизнь наций и государств веками. Годами нельзя мерить ни политическую, ни культурную жизнь народов. Замечали многие, что 20, 25, 30 лет ($1\frac{1}{4}$ века) приносят видимое, значительное изменение в духе и в положении общества, вследствие созревания поколений; но в три года, в пять лет и даже в десять еще не видны обыкновенно ясные последствия перемены в обстоятельствах и умах. Точки как³⁰ исходные, так и кульминационные, разумеется, надо принимать несколько искусственные, иначе ни в чем и разобраться было бы нельзя. Пусть они будут искусственны; достаточно того, если они будут искусно избраны.

Итак, давно ли было то время, когда у нас жаловались, что именно этой сухой, мелкой, но точной учености было в России мало? Для многих, или постаревших,

или слишком еще молодых, как будто бы это было давно. Для нации же русской это было очень недавно. Все в тех же 60 годах. Писатели, мыслившие подобно тому публицисту «Современника», которого я цитировал, были тогда исключением; и к тому же многие из тех, которые сочувствовали его мысли (о многокнижии и т. д.), имели в виду только одну непосредственную практическую сторону жизни, социальную, материальную, хозяйственную, то есть они находили, что вообще надо заботиться о нищете и страданиях,¹⁰ а не об «науке для науки». В высших же сферах русской мысли почти все тогда заботились о распространении и утверждении именно той «черноробочей» научности, на которую г. Соловьев жалуется и на которую он почти обрекает молодое поколение наших ученых. Жаловались на нашу в этом отношении отсталость от Запада не только в начале 60 годов; но я сам уже в 68 году (значит, всего 20 лет тому назад) имел об этом самом предмете довольно любопытный разговор с Мих(аилом) Ник(ифоровичем) Катковым. Передам его в точности.

Х

²⁰ В 68 году, проживши подряд пять лет в Турции, я приехал в Россию в отпуск, несколько раз виделся с Катковым и подолгу беседовал с ним. Он расспрашивал меня о Турции, я его об России. Живя в Турции, я читал его статьи в пользу классического образования и желал еще больше разъяснить себе его цели. Я сказал ему, между прочим, так:

— На что эти насильственные труды в школе, когда в хороших переводах дух греческих и латинских авторов вполне доступен. Хотя бы я сам, например: я древнегреческому языку вовсе не учился; по-латыни знаю плохо, Софокла я³⁰ читал в переводах П. М. Леонтьева, читал его «Пропилеи», оды Горация в переводе Фета, Аристофана по-французски с толкованиями, а Гомера знаю по Гнедичу. И не только восхищаюсь ими; но, право, мне кажется, что я и понимаю их получше многих из тех, которые твердили все это в учи-

лице и потом бросили без внимания. Похваляюсь также и другим, уж извините, я перезнакомился на Востоке более чем с сотней разных европейцев и нахожу их ничуть не умнее, не образованнее себя и других моих русских товарищей. Напротив!

На это Катков отвечал так:

— Дело не в том только, чтобы понимать дух древних авторов, а в том, чтобы с ранних лет привыкнуть к упорному и последовательному умственному труду. И я не отвергаю, что в России много умных людей; *только и из них* ¹⁰ *очень немногие умеют продержатъ пять минут в голове одну и ту же мысль. А европейцы умеют!*

Кажется, он говорил и еще что-то о самом духе древности; но этого я не запомнил, вероятно, потому, что для меня оно было менее ново и поразительно, чем это прямое указание на *умственную гимнастику*. После я вспомнил, что и в статьях его упоминалось о том же, но другими, менее живописующими словами.

Потом мы перешли к Славянофильству по поводу одного для обоих нас занимательного практического вопроса. Незадолго перед этим я прислал ему для «Русского Вестника» небольшую статью «Очерки Крита». Я был в восторге от Крита и критских простолюдинов и находил в них множество поэзии. Особенно восхищало меня то, что я почти совсем не видал там на мужчинах *европейской одежды*, которую я с ранних лет возненавидел всем сердцем и за возмутительную неживописность ее, и за пошлость, и, наконец, за самую нестерпимую *всеобщность ее*. Последняя глава в моих «Очерках Крита» была посвящена именно этому. Я рассказывал о радостных впечатлениях моих еще дорогой на острове Сире, когда я в первый раз после Петербурга, Варшавы, Вены и Триеста увидал *не черную и не серую толпу, а голубую и синюю с пунцовыми большими фесками и красными кушаками*. В Крите народ стал еще красивее и пестрее: и греки, и турки. Глаза и душа моя отдыхали, и только цепи службы моей (эти доселе неисцелимые предания Петра I-го!) воздерживали меня от того, чтобы одеться или

по-русски в цветную рубашку и цветной бархат, или даже прямо не то по-гречески, не то по-турецки. Я написал обо всем этом откровенно в моей последней главе; выражался, между прочим, так: «Вот пикник. Едут на хороших больших мулах, убранных кистями, несколько кавассов, греков и турок в расшитых золотом разноцветных одеждах, темно-зеленых, красных, голубых; а за ними верхами же консула в черных и темно-серых пиджаках и сюртучишках, точно стоя отвратительных ворон и галок вслед за райскими птицами! Какое подавляющее господство европейской прозы над восточной поэзией! Как же может процветать живопись из современной жизни, когда в образованных странах люди (особенно мужчины) своим присутствием могут только обезобразить и омерзить самый прекрасный вид природы!»

Так я и выражался.

И все в этом роде. Потом, проведя по странице моей вертикальную черту, я представил следующий ряд параллельных антитез для русских художников, которых звал в Турцию:

20 *Восток* (писал я это уже позднее, в Адрианополе, где увидел еще и другие оттенки восточных одежд).

1) Похороны богатого турка на острове Крите.

2) Схватка критского повстанца (в бурнuse на красном подбое, в высокой красной же феске, в голубых шальварах) с арнаутом-мусульманином (в белой фустанелле, серой бурке, расшитой белым и красным, в низкой и круглой феске с густой синей кистью).

Европа.

1) Похороны какого-нибудь Шульца Делича в Германии.

2) Борьба русского пехотинца с французским линейным «трупье» под Севастополем (оба гладкие, оба темные, оба в ужасном кепи и в облизанных панталонах и т. д., мизерные фигуры их известны).

3) Монах учит городско-го мальчика-болгарина грамоте (на мальчике куртка из палевого ситца с большими яркими цветами; оливковые шальвары короткого зау-ского фасона и красный ку-шак).

4) Отшельница старуха в пещере на острове Крите (я знал там такую).

3) Учитель европейский (вообще) учит русского гим-назиста.

4) Набожная старая нем-ка, читающая в праздник Евангелие, на Васильевском острове.

10

И так далее. Катков, печатая мои очерки, *выкинул всю эту главу*. И когда я спросил его, зачем же он это сделал, он ответил: «признаюсь, ваше Славянофильство мне претит». Потом прибавил: «рассказывайте, описывайте; мы всегда будем рады печатать ваши рассказы; но *зачем же вы хотите нас учить?* Что такое Славянофильство? Это док-тринерство, натяжка, гримаса. На что надо этому учить?»²⁰ Сама жизнь наведет на все это, *когда будет нужно*». Не вступая тогда с ним в слишком горячий спор, так как уже понял, что ни он меня, ни я его переубедить не в силах, я сказал на это только следующее.

— Проповедь есть также существенная принадлежность жизни, без нее нельзя. Она prepares решения действительности. И к тому же взгляните, какой стыд. Вот эти чашки (я указал на расписную деревянную чашечку, кото-рая стояла на его письменном столе). Эта русская утварь очень оригинальна и красива, отчего мы не обращали на нее³⁰ внимания до тех пор, пока французы не восхитились ею на прошлогодней выставке. Разве хорошо не иметь никакой национальной изобретательности? Стыдно нам все быть то-лько большим государством, пора стать и великой нацией.

На это Катков возразил с жаром: «Мы не умеем ни це-нить своего, ни изобретать, потому именно, что мы варва-

ры. Когда у нас будет больше действительной образованности, когда у нас наука окрепнет, у нас сама собою явится та самобытность, которая вам так желательна. А пока надо уметь учиться».

Я замолчал, задумался и позднее убедился, что с этой стороны он был прав. Для большинства нужно прежде почувствовать себя умственно равным в большинстве иностранных, а потом можно стремиться или превзойти других на том же пути, или еще лучше ощутить в себе смелость и 10 уменье выйти на вовсе новую стезю. Раз уже утрачено свежее и наивное творчество незнания, другого пути нет.

Катков был прав с своей точки зрения — ближайшей педагогической цели. Неправ он был в том, что не желал никакой заблаговременной проповеди. Я говорю: неправ как мыслитель непрозорливый; а как практический редактор, опять-таки он был прав, не допуская на страницы своего издания то, что он считал еще несвоевременным. Интересно, между прочим, вот что: года за два, за три до кончины Каткова один из близких ему людей говорил мне, что он 20 теперь думает, «нельзя ли сочинить для лицеистов какую-нибудь форму — *в русском вкусе!*» Вот уж кто сроки эти чуял и любил!

Из этого разговора следует, что Катков, во-1-х, признавал за классическим обучением значение педагогическое, воспитательное, гимнастическое, пожалуй, еще больше, чем общеобразовательное; а во-2-х, что достичь некоторой самобытности (культурной) он для нас, русских, полагал возможным только при большей противу прежнего усидчивости, именно в том чернорабочем ученом труде, который, как 30 мы видели, не особенно сам по себе восхваляется г. Соловьевым. Оговорюсь: г. Соловьев не то чтобы прямо порицал его; он порицает его гораздо меньше, например, чем я; он находит только этот род труда, во-1-х, недостаточным, а во-2-х, уж конечно, неспециально-русским, не могущим дать сам собою никаких национально-культурных результатов.

Оговорившись, продолжаю:

Кто же прав из этих двух замечательных русских людей? Старший или младший? Человек «сороковых годов» или человек «семидесятых»?

Прежде чем ответить на это, скажу, что я не имел случая говорить второй раз о том же с Катковым 20 (19) лет спустя после первого нашего разговора, например, в 87 году. Я думаю, если б я напомнил ему о той нашей беседе, то оказалось бы, что он теперь доволен успехами, сделанными нами за это короткое (в историческом смысле) время. 10

«Тружеников» науки стало гораздо больше; исполнилось то, чего он желал: *увеличилось значительно число русских людей, которые могут продержатъ одну и ту же мысль в голове своей гораздо дольше пяти минут.*

Кто же правее? И в чем правее? Начать с того, что их мнения ничуть не состоят в прямом антагонизме. Катков в 68 году желал, чтобы у нас было больше ученого труженичества. Г. Соловьев утверждает, что теперь желание Каткова исполнилось. Разница, быть может, только та, что Катков, вероятно, в последние дни своей жизни был бы этим состоянием русских умов *более доволен, чем г. Соловьев.* 20
Что Катков был довольнее состоянием русской учености к концу 80-х годов более, чем 20 лет тому назад, доказывается особенно тем, что он сам становился под конец своей жизни все более и более славянофилом, и в том смысле, что больше прежнего стал верить в возможность русской умственной самобытности. Он надеялся и на то, например, что наука государственного права может у нас стать, наконец, на свои ноги и т. п.

Впрочем, когда я говорю и про г. Соловьева, что он менее Каткова этим простым труженичеством доволен, то это надо понимать с одной довольно тонкой оговоркой. Г. Соловьев с другой точки зрения, пожалуй, и доволен современною бедностию нашей науки, но он доволен не потому, чтобы находил труженичество без творчества вообще достойным и делающим нам особую культурную честь. Нет! Если он и рад этой бедности, то лишь потому, что ему хо- 30

чется всем нам сказать между строчками и по этому поводу *все то же и то же*.

— Оставьте всякую надежду на самобытность *и с этой стороны*.

— Наше призвание иное: теплая вера, сильное Государство и смиренная, самоотверженная уступка Риму!

Отчасти с г. Соловьевым можно и согласиться: Рим не Рим (а что-то иное восточное), но, разумеется, усиление *подвигов мистицизма и высшей этики* в России гораздо ¹⁰ желательнее чрезмерного разрастания чисто ученого труженичества.

Но вот у меня почти нечаянно сорвалось с пера *именно то слово*, которое здесь нужно: *чрезмерное разрастание*. Где же эта мера? О мере этой надо сказать то же, что и о сроках. Определить ее заранее нет средств; помнить о ней необходимо во всем.

²⁰ *Весьма возможно, что у нас еще не достигнута та черта насыщения ученым материалом, при котором создаются капитальные вполне самобытные труды, проливающие совсем новый свет на общечеловеческую науку, и появляются такие поражающие открытия, какими в свое время были: открытие кислорода Лавуазье, гипотеза Гюйгенса (световые волнения эфира) или открытие ячеек в тканях животных и растительных, или палеонтологические прорицания Кювье и т. д.*

³⁰ Прежние старые наши ученые, уже окончившие или кончающие свое поприще, о которых с похвалой упоминает г. Соловьев, в свое время запасшись вдоволь европейским материалом, принялись за несколько самобытную работу ума и, как и следовало ожидать, самый первый и видный всем шаг на этом поприще сделали не натуралисты или доктора, а *гуманисты, историки, богословы*. Самобытная работа этих русских умов обратилась прежде всего на наши исторические, религиозные и национальные особенности. Умы эти, достаточно, говорю я, запасшись чужим (западным) материалом для приобретения необходимой самоуверенности, обратились по естественному чувству прежде все-

го к тому, что и западным людям было менее доступно или совсем неизвестно и что у нас самих было вовсе сознанием еще не осмыслено именно вследствие той непривычки долго думать об одном и том же, на которую сетовал когда-то Катков.

Шаг за шагом эти труды привели к и той теории культурных типов, которую автор ее (Данилевский) справедливо приравнивает сам к открытию Бернардом де Жюсье естественной классификации растений. Данилевский был тоже человеком 40-х годов, надо это помнить. Крепкий, сословный, крепостнический строй, при котором росли все эти люди 40-х годов, покойное течение жизни при Императоре Николае I дали им возможность развиваться не спеша и зрело.

Все они роптали на этот строй, все они более или менее пламенно прилагали руки к его уничтожению; но как они, так и лучшие поэты наши и романисты обязаны этому сословному строю в значительной мере своим развитием. Всем им: Каткову, Герцену, славянофилам, Данилевскому было уже за 40 или под 40 лет в 61 году, когда вдруг произошел известный перелом. Они его встретили уже вполне зрелыми, но вовсе еще не устаревшими людьми. Некоторые из них (Катков, И. С. Аксаков, Данилевский, отчасти Самарин) именно после переворота и принесли жатву тех семян, которые посеяны были в них при других условиях; другие же, как, например, Хомяков, хотя и свершили свое назначение прежде перелома, но на свет, так сказать, вышли все-таки после него (вследствие цензурных и других облегчений). Я говорю, до 40 лет все эти люди жили в прежней, крайне неравноправной и жестокой, России, созревали на ее спокойном и досужном просторе. В них совершилось одно из тех таинств психического развития, которые наука еще не в силах до сих пор удовлетворительно формулировать; в идеале, в сознании — они все более или менее ненавидели этот крепостнический и деспотический строй (и напрасно, конечно), но в бессознательных безднах их душ эпоха эта, благоприятная досужной мысли, свершила свое органическое независимое от их воли дело.

При таких ли условиях росли и развивались младшие люди 60-х годов, *то есть те, которым теперь только за 40 лет?* Нужно ли распространяться о том, в каком смятенном состоянии они зрели? Сперва было не до науки. Сначала от напряжения радостной мысли, что мы «свободны», что мы теперь «настоящие» европейцы, что нам перед Европой уже не стыдно, как было прежде (до эмансипации); потом от изумления перед вовсе неожиданным в такую, казалось бы, счастливую минуту безграничным отрицанием «Современника», «Русского Слова» и т. п. Все ки-¹⁰ нулись в борьбу социальную и политическую... Раздавались даже крики, что нам вовсе и не нужны науки, а нужен «хлеб и благоденствие общее». Г. Соловьев был тогда ребенком; но нам, имевшим в 61 году около 30 лет, все это очень памятно. Из молодых в то время наибольший успех и славу имели только революционеры вроде Добролюбова и Писарева. И знамя борьбы против них подняли не ровесники их, а всё люди прежней зрелости: Катков, Аксаков, от-²⁰ части Достоевский (в журнале «Время»), Аполлон Григорьев, насколько успел; кое в чем Краевский и Дудышкин (в «Отечественных Записках» 60 годов) — всё люди 40 годов; все почти 40-летние люди или старше еще. Мало-помалу умственный хаос стал приходить в более ясное состояние: революционерство сознательное, ясное, крайнее покинуло поприще мысли (считая, конечно, раз и навсегда, по-своему — в принципе *все это* решенным и неподвер-³⁰ женным даже сомнению) и обратилось к действию, к заговорам и убийствам. Революционерство же мирное и умеренное, законное и постепенное, у большинства его приверженцев бессознательное, продолжало (до 80 гг.) преуспевать и господствовать на всех поприщах нашей жизни, доводя почти до отчаяния тех немногих тогда прозорливцев, которые хорошо понимали, *куда это нас ведет*. Эти, частью бес-
сознательные, частью прямо злонамеренно легальные разрушители, повинувшись старому преданию *верить в примеры Европы*, продолжали свое губительное дело на всех поприщах жизни нашей и по всем ведомствам, так сказать, нашей го-

сударственности, в делах церковных, в войске, в школах (особенно низших), в судах и журналистике... Так шло дело от рокового 61 года до ужасного 81 г.

Наконец «бездна», зиявшая давно в дали (довольно близкой, однако, для глаз дальнзорких), разверзлась даже и пред слабыми умственными очами бессознательных и «добрых» наших либералов. И они наконец-то в ужасе отступили. К счастью, другие люди (Аксаков, Катков) приготовили нам убежище под кровом государственно-церковной национальности нашей, которой столь многие из нас прежде не дорожили, не понимая ее. Умеренный либерализм стал выходить из моды. Умеренный либерализм для ума есть прежде всего *смута*, гораздо больше смута, чем анархизм или коммунизм. Анархизм и революционный коммунизм враги открытые и *знающие сами чего хотят*; одни хотят только крайнего разрушения, ищут дела ясного и даже осуществимого (на время); другие имеют идеал тоже очень ясный, хотя и неосуществимый, полнейшее равенство и счастье всех. Во всяком случае и они знают чего хотят, и мы знаем это; и взаимное понимание возможно, и борьба на жизнь и смерть поэтому легче. Либерализм же умеренный и законный, *лично и для себя, и для других в настоящем безопасный и покойный, для государства в будущем*, иногда и очень близком, *несравненно опаснее открытого анархизма и всех возможных заговоров*. И он не только опасен, он *умосмутителен*, так сказать, по своей туманной широте, по своим противоречиям, по своей безопасности.

И вот в этом-то умственном хаосе, от 60 до 80-х годов, росли и зрели именно те умы, которым теперь пора бы уж было принести те научные плоды, на отсутствие коих не столько сетует, сколько просто указывает г. Соловьев. (Просто ли, впрочем? Не с удовольствием ли человека, убежденного, «что не в этом и дело наше».)

Преобладающее в обществе направление умов не только действует на выбор карьеры молодыми людьми, на их личные взгляды и т. п., но оно сверх того действует неотразимо

и не теоретическую сторону жизни юношей, на выбор точек зрения, на освещение фактов при умственной работе и т. д. Чем же таким национальным, самобытным, оригинальным могли освещать за все это двадцатилетие свой научный материал умы младшие, когда умы старшие, зрелые более или менее, так или иначе почти все стремились к уничтожению у нас всех прежних остатков национального, оригинального, самобытного в самой жизни? Надо дивиться еще, как такое свое еще сохранилось кой-как у нас! Надо восхищаться тем, что оно (это свое) оказывает еще такую способность к возрождению!

Нечем своим было и вдохновляться юношам за все это время опытов разрушения всего русского. А какое-то вдохновение, какое-то наитие нужно для великих шагов даже и в естественных науках, не только в гуманитарных.

Но с другой стороны, в это же самое время (от 60-х до 80-х годов) в среде той же русской молодежи распространялась все больше и больше и та привычка к ученому труженичеству, к собиранию материала, о котором идет наша главная речь. Чрезмерность этого труженичества, конечно, вредна (как я говорил уже) смелому, не боящемуся частных ошибок творчеству мысли; но без некоторого упрочения этой привычки у многих, в наше время, вероятно, уже и невозможно творчество мысли у избранных. Необходимо же знакомство с предшественниками для того ли, чтобы превзойти их, для того ли, чтобы опровергнуть. И сам г. Соловьев (которого можно, как я сказал, считать человеком 70-х годов) хотя, конечно, избранник по творчеству, однако потрудились же очень много и над чужим материалом, понес много и «чорной работы».

Наши младшие (70-х и 80-х годов), видимо, еще не разобрались.

Они готовятся сказать свое слово, и шансы у них теперь уже очень выгодные:

1) Знаний гораздо больше прежнего.

2) Благоговения пред Западом несравненно меньше.

3) В воздухе вокруг них: жажда самобытности не политической только (давно уже имеющейся у нас), но и умственной, национальной, *духовной самобытности*. Имя Данилевского узнается все больше и больше. Книги Н. Н. Страхова читаются все больше и больше молодыми людьми.

Когда же это бывало прежде?

Вот куда теперь дует ветер! Надолго ли, не знаю наверное. Но похоже, что надолго.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ ПРОТИВ ДАНИЛЕВСКОГО

⟨НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ГЛАВЫ⟩

IX

Читаешь — и не веришь глазам своим. — Перечитываешь — и начинаешь сомневаться в своем собственном понимании слов и мыслей автора! — Такого безнадежного взгляда на Россию, такого отрицания — мы еще не встречали ни у кого! — Даже — социалисты русские (за исключением тех из них, которые по складу личного ума и характера — верят только в силу всеразрушения) и те надеются по крайней мере на возможность экономического благоденственного у нас переустройства... Мне пишут из Москвы, что некоторые молодые люди патриотического настроения повержены были на первых порах в глубокое уныние по прочтении статьи г. Соловьева. — Чувство их понятно; но оно неосновательно. — Пусть утешатся. — Г. Соловьев — *хочет верить* в то, что ему *желательно*; — но мы, не ослепленные его философской страстностью, — его пламенной любовью к избранной им идее, не имеем никаких побуждений или оснований для соглашения с ним в его *особого рода* пессимизме: пессимизме *национальном*, так сказать. — Если даже допустить, что он прав в главном пророчестве своем, в конечной цели своей проповеди, — то есть в том, что рано или поздно произойдет соединение двух ныне враждующих сестер-Церквей, то до этого еще далеко. — Еще много до тех пор воды утечет; — и произойдет до тех пор многое множество таких событий, которые должны будут сильно отразиться на деятельности русской мысли.

Если допустить, что г. Соловьев, говорю я, и прав в своей «крылатой» прозорливости, — то все-таки он прав только относительно, так, как бывает прав человек, устре-

мивший взор свой издали на очень высокую и величавую гору. — Что видит ясно такой человек? Он видит хорошо две крайности: он видит с одной стороны общее очертание этой синей и дальней горы; и еще — он видит у ног своих траву, камни, мелкие кусты и немного впереди — на какие-нибудь версты две, до вершины *первой возвышенности*, *заслонившей ему весь остальной вид*, *быть может*, на несколько десятков верст до подошвы той самой дальней и самой высокой горы, на вершину которой он устремил свой взор. — Ничего промежуточно^{го} он ¹⁰ не видит и не хочет знать. Но те, которым придется идти (сознательно или бессознательно, охотно или невольно) к этой высшей и дальней горе, сколько изворотов, сколько трудных подъемов и крутых спусков они встретят на пути своем именно по тому промежуточному пространству, которое отделяет точку современ^{ного} отправления от этой окончательной (положим) цели! — Какие дикие пропасти, быть может, какие стремнины, какие красивые виды и успокоительные долины для временн^{ого} утешения и от- ²⁰ дыха!

Мы думаем об этих ближайших изворотах историческ^{ой} дороги нашей, об опасностях этих ужасных и недалеких уже ущелий и обрывов и об веселых и зеленых долинах, которые мы еще не отчаяваемся встретить — на пути этом. — Г. Соловьев ничего этого знать не хочет. — Он видит в *настоящую минуту* под ногами своими песок и камни, плохой кустарник и мелкую траву — и ему кажется, что до самой большой горы — все будет так.

Но это просто невозможно! Если бы было даже похоже на то, что примирение Церквей в духе Соловьева произой- ³⁰ дет лет через двадцать, не более, так и в таком случае, разве это возможно — сделать *вдруг*? — Разве не будет полемики? А если будет полемика, то будут же писаться очень хорошие (быть может, даже и великие) — сочинения в защиту Православия; — будет же значительная деятельность в области *национальной мистики*. Разве не будет предварительных совещаний, съездов, соборов, — борь-

бы?... Конечно, предполагая именно конец в духе Влад. Соловьева, — надо предположить и предварительную, в высшей степени пламенную умственную борьбу....

Но ведь борьба подобного рода невозможна без некоторого, приблизительного равенства сил. — Допустим даже, что победа выпадет на долю Папству; — разве эта победа будет куплена дешевой ценой, при том глубоком у нас (до несправедливости даже, я согласен) отвращении к Католицизму, которое г-ну Соловьеву по личному опыту хорошо известно; — при возрастающей образованности и учености Восточного духовенства; и при несомненной теперь склонности и светских людей в России принимать к сердцу вопросы религии? — Можно ли вообразить, что при таких условиях умственная «почва национальной мистики» в России будет бесплодна? Не в молчании же будут следовать православные люди по дороге в Рим?

Вернусь опять и к уподоблению моему (*горé* — издали видной) — и к тем политическим, ожидаемым событиям, о которых мне уже столько раз приходилось напоминать, и которые для г. Соловьева как будто бы и вовсе не существуют.

Увлеченный созерцанием той дальней исполинской горы примирения Церковного, к которой стремится его душа, — он не хочет и вспомнить — о другой весьма крутой и величественной возвышенности, которую нам никак миновать нельзя. — Эта возвышенность все то же и то же, — разрешение Восточного вопроса, о котором я вынужден непрерывно напоминать, ибо этот переворот будет до того велик и влиятелен, по своим последствиям, что — на первое время и весьма надолго должен будет захватить все наше внимание, потребовать от русских еще небывалого напряжения умственных сил. — Я говорю: умственных сил; именно умственных; я об них говорю; я указываю на то напряжение ума, воображения, внимания, которое потребуется от русских тотчас после благоприятного для них исхода политической и военной борьбы. — Вот что будет и трудно, и плодотворно. — Умственная наша деятельность — после

благоприятного исхода этого, — вот где и надежды, и сомнения, и опасности величайшие и возможность творческого торжества. — Сравнительно с этими последующими, медлительными потрясениями и с этой новой и неустанной работой духа, — политическая и военная борьба наша за обладание в той или другой форме Проливами — представляется делом легким, трудностью скоропреходящей и даже легко разрешимой при некоторых мало-мальски благоприятных условиях на Западе. — Мы имеем достаточное основание надеяться, что западн(ые) европейцы сами с ¹⁰ этой стороны позаботятся о нас, или лучше сказать о дальнейшем развитии всемирной истории, требующей, вопреки г. Соловьеву, — какого-то, славянского или не славянского — все равно — но [во] всяком случае нового, не европейского культурного типа.

Война, конечно, будет; и не рассчитывая ничуть ни сравнительной силы войск, не взвешивая даже и финансовых обстоятельств наших, — исход военной борьбы будет нам *наверное* благоприятен, судя по всем слишком уже явным историческим приметам. — Трудность (историческая) не в ²⁰ этой острой и всегда более или менее кратковремен(ной) борьбе, — истинная трудность в борьбе дальнейшей, более медлен(ной); культурной, конечно! — И тогда-то и окажется — почти с *первых же шагов наших*, достойны ли мы были высоких надежд Данилевского (и Славянофилов вообще) или недостойны. — Химическое ли начало — русский дух — перерождающее и содержание и форму, или только механическое (перемещающее силы)? Огромное ли мы только всесокрушающее Государство, или истинно великая и зиждительная нация? ³⁰

Я говорю — *первые шаги покажут*, что мы такое? Куда мы идем? — И эти *первые шаги* (худые ли они будут или хорошие) — неизбежно должны быть тогда сделаны на почве Церковного домостроительства; — ибо весь вековой дух Восточного вопроса — был дух единоверия, Церковности, а не дух племени, не тот дух голой национальности (аморфической, — разрушительной), — кото-

рый создал лишенное всякой культурной независимости единство новой Германии и единство Италии, — уже совершенно пошлою и даже как бы комической и подлою в своей международной роли. — Церковность — культурна; созидательна; — голый племенной национализм разрушительно-плоск. — Мы попытались было ему послужить (да и то не без оглядки, слава Богу!) в 60-х и 70-х годах и до сих [пор] — не знаем, как поправить те беды, которые сами наделали на Востоке.

¹⁰ Разумеется — что-нибудь одно: или Церковность, или быстрое, очень быстрое, нигилистическое разложение после кратковременн(ой) напыщенности и громких газетных фраз — политического торжества!

Но разве — эта неотступность Церковной работы — которую г. Соловьев не может отвергнуть, разве она не потребует новых и просвещен(ных) трудов по части национальной мистики?

Х

²⁰ Отношени(я) самих ученых людей к науке могут еще, говорю я, решитель(но) измени(ть)ся. — Примеры этому были.

В глубокой древности наука была так тесно связана с религией, что об ней, как о самостоятельной жизненной категории, можно и не говорить. — Первое более ясное дифференцирование, первые достаточные признаки выделения науки из теософии или теологии мы видим в греко-римском языческом мире (Гиппократ, Плиний, историки и т. д.).

³⁰ Под конец греко-римской жизни самостоятельная наука видимо всё более и более уважалась. — Но настал великий переворот: воцарилось Христианство, и положительная наука утратила цену в глазах общества; она была почти забыта.

Была ученость; не было науки в нынешнем значении этого слова. — Ученость была, конечно, значительная. Без

великой ученой и философской подготовки Св. Отцов невозможны были бы ни глубокомысленные догматические отвлечения Соборов; ни такие книги, как Богословие Иоанна Дамаскина и «Весь Господня» Блаж(енного) Августина, ни проповеди Григория Богослова и Златоуста.

Без этой учености и без этого философского воспитания невозможно было бы создание Церковного Богослужения, столь наглядно и поэтически живописующего христианской пастве и философию Церкви и ее историю. Ибо Церковные песни, возгласы, моления обдуманно пользуются всяким по-¹⁰ водом, чтобы напомнить о Троичности Единосущного Божества, о воплощении Второго Лица, о девственности Богоматери, об Ангелах, о характере и заслугах того или другого святого.

Этому пластическому, поющему и движущемуся воплощению, как философии Христианства, так и его истории, этой художественной материализации их, мы, православные, обязаны тем, что многое множество даже безграмотных простолюдинов наших достаточно для их умственных сил знакомы с основными догматами христианского уче-²⁰ ния. — Если в высших умственных сферах Христианства в свое время догмат создал обряд и, так сказать, воплотился в нем столь прекрасно, если догмат наш в обряде нашем дышит, то в дальнейшей практической жизни Христианства несомненно обряд хранил догмат; видимое искусство Церкви обучало народ — скрытой в нем и мало доступной большинству — богословской науке, популя(ри)зировало ее. Обряд православный есть предмет до того важный по непосредственному психическому действию своему не толь-³⁰ ко на простой народ, но и на образованных людей, что исключительно ему мы несомненно в наше время обязаны тем, что многие полуверующие и даже вовсе в сердце своем неверующие — не отпадают окончательно от Церкви. — Так как мягкость и впечатлительность современных сердец, сопрягаясь у многих с умственным (вовсе впрочем неосновательным) самомнением, — делает то, что потребности любви в людях нынче гораздо сильнее потребностей веры,

то и не веруя, или очень слабо веруя, многие *сердцем* продолжают Церковь любить. — Любовь эта к Церкви легче и удобнее всего находит себе исход в сердечной привязанности к обрядовой стороне; к богослужению. Как ни ленивы наши современники на все то, что не приносит им немедленной практической пользы, но все-таки хоть изредка хочется им постоять у *поздней* обедни в церкви, причаститься, полюбоваться на Крестный ход, прослушать «Христос воскрес» на Пасхе, *поглядеть* на какой-нибудь монастырь. — Господь знает, скольких людей эти второстепенного достоинства чувства сохранили для Церкви и впоследствии обратили к ней! — Если сильная вера в Церковь — непременно хоть сколько-нибудь (смотря по характеру личному) усиливает любовь к ближнему, к Православной родине, к семье, то любовь к Церкви (выражающаяся обыкновенно в любви к ее обрядности) — рано или поздно — может привести к вере. Захочется жить и руководиться тем, что так нравится.

Теперь — мы все пользуемся и без учености, и без философствования всем готовым в обрядовых формах Церковности и большею частию через любовь к обряду — соглашаемся подчиняться хоть слегка и мудростям догмата.

Но вначале необходима была огромная работа ученой и отвлеченной мысли для упорядочения, для создания и воплощения всего того, чем мы теперь как готовым и конкретным пользуемся.

Была, значит, и после времен Аристотеля, Гиппократ, Плиния, Цельзия большая ученость, требовался большой умственный труд; но не было тогда науки такой, какую мы ее теперь понимаем. — Не было ни настоящей, сознанной и возведенной в принцип науки для науки (не было монографий «о нервной системе морского таракана», например); не было и вытекающей из нее науки прикладной, утилитарной, дошедшей, наконец, почти до безумия и разврата — своими телефонами, фонографами, электрическими освещенными и т. д.

Человечество ко временам Ария, Николая Мир-Личкинского, Василия Великого и Юлиана-бogoотступника отказалось надолго и сознательно, философски отказалось от дальнейшего движения по пути Гиппократов, Плиниев, Аристотел(ей) и т. д.

Барварские нашествия благоприятствовали, правда, этому настроению умов, но разлившись во всей силе гораздо позднее, *не они его создали.* — Создало его отрицательное отношение новых и вполне сознаваемых ученых идей — к результатам и к практике предыдущей образованности. ¹⁰

Вопрос — не близится ли то время, когда человечество снова откажется от предыдущих выводов и предыдущих (европейских) пристрастий? — Это было бы весьма желательно.

Конечно — теперь времена не Римские, а «Романо-Германские». — *Матерьял науки в наше время* огромен; влияние ее теперь в иных отношениях истинно ужасно по силе и по кажущейся неотразимости своей.

Предрассудок в пользу науки нынче в среде так называемой «интеллигенции» представляется с первого взгляда всемогущим и необорим(ым). — Но не ошибка ли это? ²⁰

Ведь «угол отражения равен углу падения»; — крайность одного — вызывает крайность противоположного. Сильные укрепления вызвали усиленную стрельбу; сильная стрельба вызвала еще более сильную оборону, — обшивание крепостей и кораблей броней, а с другой стороны, развитие земляных укреплений, которые легче чинить. Дальняя ружейная и пушечная стрельба в поле — вызвала и новые приемы атаки, снова успешные. ³⁰

Во всем есть точка насыщения, и после этой точки, после этого предела, — реакция.

Там, где точка насыщения — есть точка вымирания или разложения, — реакция уже невозможна; там где реакция возможна, возможно превращение, выздоровление, усиление и т. д.

Не могло, повторяю, то Христианство, которое мы знаем, готовое, выработанное, живое, — стать таковым без крайнего и сознательного отвержения многого из плодов *предыдущей* цивилизации.

Я думаю, что и для ближайших, наступающих веков (а не годов) есть также признаки чего-то подобного, и если мои предчувствия когда-нибудь сбудутся, то переворот этот угрожает больше, по моему мнению, торжествующей ныне *прикладной науке*, чем скромно-кабинетным изучениям «хартий» или горячим спорам «тружеников» об «образе жизни русских дождевых червей».

Эти невинные (а, быть может, кто их знает — и полезные) занятия могут быть пощажены и тогда (ибо ничто *до тла* и бесследно не уничтожалось *никогда*), но едва ли тот дух, который подарил нам пар, электричество, телефон, фонографы и т. п., имеет бесконечную будущность. Этим путем — может дойти до прежде(временной) гибели все человечест(во). — Это слишком — *противоестественно*. — Ничто, гово(рю) я, не пропадает бесследно на этой ²⁰ земле; но ничто и не держится без конца.

Если же все имеет свой предел, то почему же и точным наукам не наткнуться, наконец, на свои геркулесовы столпы?

И отчего же в особенности этой проклятой оргии прикладных фи(зико-)хими(ческих) усовершенствований не найти свою точку насыщения в разумном же и не совсем уже позднем негодовании человечества?

А если так, то отчего бы нам, русским — не стать нововводителями в таком великом, умственном деле?

³⁰ Отвержение (сначала в учен(ой) теории, а потом и в обществен(ной) практике) этой веры в пользу слишком страстного обмена, движения и всесмещения состоит в самой тесной связи с теми возможностями более прикрепленного, более расслоенного, менее подвижного общественного строя, о котором я в прошлый раз говорил.

Как в самой жизни все разрушительные явления современности: парламентаризм, демократизм, слишком свобод-

ный и подвижной капитализм и не менее его свободный и подвижной пролетариат — неразрывно связаны с ускорением вообще механического и психического движения (с паром, электричеством, телефонами, *«нрзб»* газетами и т. д.), так и умственное течение конца XIX века в России, начавшееся с противодействия тем из этих антистатических явлений, которых вред больше бросался в глаза (т. е. парламентаризму, пролетариату (безземельности), безверию и т. д.), может по мере созревания самобытности нашей добраться наконец — и до всего этого, несомненно, весьма ¹⁰ опасного — торжества химии, физики и механики над всем живым, органическим, над миром растительным, животным и над самим человеком — даже...

Ибо человек, воображая, что он господствует над природой посредством всех этих открытий и изобретений, — только еще больше стал рабом ее; — убивая и отстраняя одни силы природы (вероятно, высшие) посредством других более стихийных и грубых сил; — он ничего еще не создал, кроме лишь средств разрывания, а разрушения многого и прекрасного, и освободиться ему теперь от подчинения всем ²⁰ этим машинам будет, конечно, нелегко!

Если излишняя подвижность общественного строя, неустойчивость личного духа и излишняя поспешность сообщений — связаны в жизни тесно, — то почему именно русским молодым ученым не могла бы предстоять такого рода двоякая широкая и самобытная деятельность: Отрицательное отношение ко всей этой Западной подвижности; — Положительное — искание более организованного строя — для своей отчизны? — И тут — опять возможно ³⁰ некоторое приблизительное примирение: нового культурного типа Данилевского; трехосновности Платона; теократии Соловьева. — Если же этим теориям из тиши кабинетов придется когда-нибудь выйти и на поля международной брани, тем лучше! Избави Боже — Россию безумно подчиниться идеям «вечного» этого мира!

Теперь вопрос; — если возмо⟨жна⟩ — вообще нацио⟨нальная⟩ наука, то что в част⟨ности⟩ делает русскую науку *именно русской наукой?*

Нельзя, конечно, по поводу таких обширных и глубоких вопросов распространяться слишком в тесных пределах фельетонной статьи; — но можно и здесь кратко напомнить об очень простых вещах по данному поводу.

Русским научный труд может назваться: во-1-х, просто ¹⁰ *по происхождению* (по национальности автора); во-2-х, *по матерьялу, по предмету*; — в-3-х, *по особенностям духа*, по освещению этого матерьяла. — Последнее глубже всего, и то сочинение, открытие или изобретение, в котором более чем в других выразилась оригинальность автора, происшедшая из счастливого сочетания его индивидуальных сил с особенностями его исторической среды, — имеет право назваться по преимуществу национальным.

Два первые рода трудов, изобретений и открытий — называемые русскими, положим, ²⁰ *по происхождению* автора и *по предмету* исследования или открытия — едва ли заслуживают — такого названия.

Электрические свечи Яблочкина — ничего ни *по предмету*, ни *по духу* — русского в себе не имеют; — это не русское, а общебуржуазное пошло-космополитическое изобретение европейца, носящего (к сожален⟨ию⟩) русскую фамилию. — Это крошечный шажок русского человека на общепринятом нынче европейском пути — с высших точек зрения не заслуживающий никакого серьезного внимания.

³⁰ Несколько иначе уже можно взглянуть на *движение* посредством *сжатого воздуха*, которого опыты производились у нас — в 60-х годах около Петербурга. — Изобретение это тогда приписывалось не специалисту-инженеру, а русскому учителю *Барановскому*.

Это, разумеется, многозначительнее электрических свечек; — вообразим, в самом деле, что эти опыты русского

человека возобновились бы в больших размерах и с величайшим успехом; — разумеется — переворот в практической жизни произошел бы великий. — Не лишаясь столь привычной нынешнему человечеству быстроты движения и общения, мы могли бы избавиться от той необходимости уничтожать леса (и вообще топливо), которая столь основательно приводит многих в ужас и отчаяние.

Переворот в сфере хозяйственной, экономической мог бы произойти большой и во многих отношениях — быть может, и полезный. — Это изобретение имело бы уже и по 10
многозначительности своих последствий, и по некоторой самостоятельности своей больше бы прав назваться русским, чем электрические свечи.

Автор *русский* и переворот глубокий — произведенный первоначально в *России*.

Сущность главного дела (быстрота сообщения) не изменилась бы, положим, но изменились бы значительно — способы, средства, приемы.

Теперь — сделаем мысленно еще больший шаг.

Почти в одно и то же время два русских весьма ученых челове(ка) предпринимают соверше(нно) независимо 20
один от другого — каждый свой долголетний и солидный труд.

Один, — влекомый жаждой умствен(ой) независимости от Запада, — задает себе обширную задачу: исследовать законы всех этих сообщений, движений и передвижений — в человечестве.

Он различает в нынешней лихорадке общения две стороны: 1) само ускорение движения и 2) средства, орудия 30
этого ускорения.

Предположим при этом, что этот будущий русский ученый, человек, как говорится, *живой*; имеющий и *сердце*, одаренный *фантазией*; — прозу и механику нынеш(ней) жизни ненавидящий, но в науке желающий все-таки быть нетенденциозным и точным. — Он патриот, он нечто вроде Славянофила, положим; ему приятно было бы видеть, что его русская отчизна не слишком общается с Европой, —

что, бесполезная в большинстве случаев, поездка «за границу» — становится все затруднительн(ее), дороже, неудобнее. — Он хочет, чтобы русские не только *управлялись* бы по-своему, не только бы *мыслили* самобытно, но даже и *жили* не по-европейски, а своеобразно. — Поэтому он боится и не любит *самого* этого быстрого *общения*; — пустое слово «застой» — его не пугает; — он очень бы желал, чтобы его большое долготетнее сочинение навело бы просто ужас какими придется точными расчетами, доказательными угрозами, неопровержимыми цифрами и т. д. ... Это его *гипотеза*, это его «благочестивое желание»; но он *ученый*. — Он должен сдерживать свою мечту; он вынужден не слушаться слепо своего сердца; — он желал бы веровать тому, что ему по сердцу; но он *хочет* быть строгим скептиком. — Он вспоминает при этом историю одного американского ученого — Мортон.

Мортон был человек гуманный; во время существования рабства в Соединенных Штатах он, движимый добрым сердеч(ным) чувством, задумал доказать посредством измерения многих черепов, что *негры* совершенно равны белым по способностям своим и что неправы те люди, которые хотят их держать в зависимости, на основании их будто бы *низшей природы*. — В начале своих занятий Мортон был доволен; измерение многих черепов — дало результат положительный: *общая вместимость черепов европейского племени не превосходила* вместимости африкан(ского) черепа. — Но Мортон, — при всем человеколюбию своем, был настоящий ученый по настроению ума; он *усомнился* в своем выводе. Он вспомнил, что современ(ные) ему физиологи готовы согласиться в том, что *передние части* мозга соответствуют *высшим душевным* процессам, а *задние* — *низшим*, более — стихийным, волевым, животным. — Он придумал вделывать какую-то перегородку внутри черепов и стал тогда сызнова измерять относительную вместимость передней и задней половины; результат тогда — получился иной, — *отрицательный*. — У европейского племени — передние части были обширнее, у негров — задние. — И

Мортон, публикуя результат своих наблюдений, сознался, что его исходная точка была ложная и что рабы-негры своим белым господам вообще не равны по природе своей. — Точно так же хочет действовать и воображаемый мною русский ученый.

— Пусть у меня будет *наклонность* к уничтожению или замедлению этой общечеловеческой подвижности вообще, — но я не дам ей воли над *выводами* моими. — Увидим!

Подумавши так, он приступает к своему многолетнему¹⁰ труду и для приготoвитель(ной) проверки себя самого прежде всего приступает к истинно исполинскому исследова(нию) такого вопроса:

— Были в истории эпохи глубоких переворотов и разрушений. *Перед* этими разрушениями и падениями не усиливались ли точно так же как и теперь *подвижность* и *обмен*? — Положим (я говорю, *положим*), что история последних дней Египта (при Псамметихе, Нехао и Псаммении); история Афин, Карфагена и Рима — утверждают его в этой мысли. — Положим, что история новейших Восточных Царств — приводит его к тому же. — Но остается нетронутым еще главный вопрос:

Западные Германские Варвары разрушили Западную Римскую Империю; — Мусульмане разрушили сперва Персидское Царство огнепоклонников, — потом Христианскую Византию... Их самобыт(ные) вкусы, их новые потребности способствовали уничтожению — многих форм предыдущей исторической жизни, но действительно ли приостановились при этих завоеваниях и разрушениях те движения обмена и общения, которые были приобрете-³⁰ны человечеством перед концом предыдущих культурн(ых) периодов. Или нет? Положим — изменились — формы, цели, средства, направления и пути — этого общения; — но изменилась ли количественно сама уже приобретенная прежде скорость и учащение этого общения? И если же она уменьшилась, — то насколько и надолго ли?

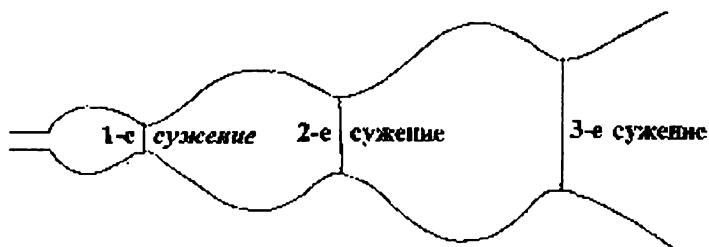
И потому есть ли надежда и нам, русским, — еще раз повлиять сильно на это разрушительное, *антиста(ти)ческое ускорение?*..

(В подобном *практическом* выходе, допустим, что снова просвечивает несколько тенденциозный луч — сердечного *национализма*; — не строго-научный отблеск *переродившегося* (с разрешен(ия) самого И. С. Аксакова, *смотри* предисл(овие) к биограф(ии) Тютчева) — в живом развитии своем *Славянофильства*. — Но мой ученый —
¹⁰ все не дает этому душевному свету ослепить свой ум и все усиливается быть сухим скептиком.)

После долгих трудов, разочарований, успехов, надежд и даже страданий — он, подобно Мортону, наконец, получает результат, который, удовлетворяя его *умственно*, огорчает — *сердечно*.

Нельзя очень сильно повлиять на замедление этого движения. Можно, но мало и ненадолго. — Движение это скоро (в историческом смысле скоро) — возобновится с новой силой.

²⁰ Правда, в истории оно замедлялось *несколько*, после истощения старых государств(енно)-культурных сил, но ни разу уже до *прежних ранних* степеней медленности не доходило обратно. — *Размах* — обменного движения, сужаясь несколько после культур(но)-государственных погромов, уже не мог ни разу сузиться до *размера* более ранних сужений и, *разрастаясь* снова, всякий раз разрастался шире и интензивнее; — в виде следующего чертежа:



Так (вообразим для примера) действует один будущ(ий) русский ученый.

Конечно, этот труд (даже и с таким полуотрицательным для самого автора выводом) — уже несравн(енно) больше заслуживает названия — *русского* труда, *русского* открытия, русской науки, чем казенно-европейская выдумка Яблочкова, и даже чем более самобытный опыт Барановского.

Я сказал выше, что предполагаю в будущем *двух* русских ученых, *одновременно, но независимо* друг от друга предпринявших серьезные труды. — О первом из них я кончил. — Теперь о другом. 10

Я воображаю, что этот второй страстный орнитолог и птицевод. Допустим, что он имеет большие средства и умеет создавать новые *типы* и разновидности птиц; обладает в высшей степени умением заниматься искусственным подбором. — Так как мыслящие люди никогда не могут быть все одного мнения, то я готов разрешить этому второму ученому быть приверженцом Дарвина, несмотря на все собствен(ное) отвращение к этой *теории случайностей*, как называют систему Дарвина его противни(ки). — Он последователь Дарвина и верит в возможность весьма значи- 20
тельного перерождения видов и даже родов. — Он, сказал я, богат; он окружает себя учеными помощниками с целью выработать *большую птицу для быстрого, безопасного и покойного сообщен(ия)*.

Он не враг сообщений, как предыдущий; но он находит опасным для человечества — это нынешнее господство неорганических, *отвлеченных* каких-то сил над силами живыми, органическими. — Пусть будет быстрое и частое общение, но иными средствами, не паром, не железом, не воздухом даже, но *по воздуху, невысоко над землею* (если кто 30
не желает) и не *машиной*; — а *птицей*. — Он делает долго опыты над страусом, с одной стороны, над альбатросом и фрегатом, с другой...

Он даже умирает, не окончивши вполне своей задачи; но мысль подана, путь проложен; *перерождение* этих птиц *началось*. — Другие dokonчат его дело в каком бы то [ни] было смысле; в благом или нет — все равно.

Ибо даже и тщетно искать эт(ой) идеальн(ой) птицы — не обойдется без как(их)-нибудь многопредметных результа(тов). — Оригинальность и смел(ость) задачи больше чем вероя(тна) по так(ой) мысли.

Там ли успех. И такой ученый стоил бы названия русского ученого.

Предположим еще и в заключение третьего мыслителя русского или вообще славянского, который бы пошел бы еще дальше и глубже — и сказал бы потомкам нашим: ¹⁰ это все вздор. — Оно не беда, положим; занимайтесь, пожалуй, и этим — но важно то, что *всему близок конец*. — И стал бы с поразительным успехом доказывать, что «хотя мы, славяне, и положили некотор(ый) кратковременный предел всечеловеческому, прогрессивному гниению; но даже самые великие политические успехи наши и в Азии, и в Европе — таят в себе нечто трагическое и жестокое. — Скоро и неизбежно, фатально мы будем господствовать над целым Старым Светом; но, господствуя, — мы расплывемся — в чем-то неслыханно космополитическом. — ²⁰ Это неслыханное не будет ли последним? — Не повторяем ли мы в новой форме историю старого Рима? — Но разница в том, что под его подданством родился Христос, — под нашим скоро родится — Антихрист?..

Бодрству(йте) же.

Предполагая и такого славян(ского) мыслителя, я предположил в то же время, что он будет иметь успех; — а для такого успеха в наше ли время или через целый век позднее — все равно нужна ему большая ученость.

³⁰ Такое сочинение не было бы собственно научным по цели; но оно, чтобы иметь действительн(ое) влияние, должно быть ученым, должно владеть более или менее всеми средствами наук естествен(ных), историче(ских) и богословских.

Так как я возражаю не одному из тех «чернорабочих» науки, о которых упоминал г. Соловьев и которые всегда и черес(чур) уж точны и строги к другим потому — что им больше и делать нечего, а возражаю само(му) г. Соловье-

ву, человеку с мыслью широкою и «крылатою» — то не надо и взыскивать с меня, что я слово *наука* понимаю слишком пространно, включая в это понятие, например, и высокую публицистику. — Ведь и лучшие сочинения г. Соловьева (его «История и будущность Теократии», положим), при всей их учености — сочинения только полунаучные по духу, а по цели совс^{ем} уж не научные. — Я и такие книги *будущего* отношу, разумеется, сюда же, к моим мечтам и надеждам на независимость *русской мысли* вообще.

10

XII

Еще несколько слов о возможности самобытной славянской науки.

Изо всех категорий жизни — положительная наука есть, конечно, самая космополитическая категория. — Пока кто-нибудь не доказал с убедительностью, равной убедительности Коперника, Галилея и Ньютона, что не солнце находится в известном центре, а земля (как была она во времена Птолемея), — что земля неподвижна, а солнце вокруг нее ходит, — что тяготение не тяготение, а что-то вовсе другое, — до тех пор — всякий человек, китаец он или житель Индии, раз обучившись началам физики и астрономии в училище, — будет думать так как все, а не иначе. — Что у всех животных есть такие-то и такие-то свойства, всем более или менее известные — этого тоже нельзя отвергать. — Что существует так называемый кислород; что растения *выдыхают* его, а животные *вдыхают*... Что существуют микроскопические *ячейки*; что *движение* состоит в определенном, теснейшем отношении с тем, что зовется теплотою. — И так далее. — Эти истины, конечно, для всего человечества одни и те же.

Вероятно, и для социальных наук будут найдены также какие-нибудь общие основы. — Отчасти они уже и существуют: в понятии *организма* общественного; в общепринятом представлении его *развития*; в сознании *неизбежного*

существования так называемых *реальных сил общества* (собственность, Государь (хотя бы президент, дож и т. п.) с войском и чиновниками, капитал, труд, религия, наука, искусство). Дерзаю даже снова настаивать на том, что мы, русские, *если только у нас водворится более твердый, менее противу нынешнего подвижный социальный строй*, — будем иметь скорее всех других народов возможность дать и более противу прежнего сознательную постановку будущей *социологии*.

¹⁰ И социологические, и психологические, столь тесно связанные с ними истины могут стать, я полагаю, столь же точными, как и физические.

И тогда и они сделаются для всех общими, одними. — Разница тогда между нациями будет только в возможности *практического их приложения*. — Более *по-европейски* образованные нации тогда уже не в силах будут *самовольно* без помо(щи) завоевателя их в недрах своих приложить. — *Новому успеху рационализма научного* будет сопротивляться у них *рационализм общественный* (индивидуализм, закоренелые привычки личной свободы, личного плохого рассуждения и т. д.). — Избавл(енная?) воля и слабый разум большинства будет противиться ясному разуму немногих, постигших научную необходимость новых оттенков *теократии, сословности, монархизма, аристократизма и порабощения*.

Те же нации (славяне, напр(имер,) или азиатцы), которые еще уберегут себя несколько к тому времени от *нынешнего передового Европеизма*, могут еще надеяться на подобное практическое приложение общих начал — *прикрепленного неравенства, неравноправности, малоподвижности, духовного подчинения и т. д.*

³⁰ Что русские на этом поприще (*социологическом и связанным с ним столь тесно — психологическом*) могут сделать еще многое, — это весьма вероятно. — Им еще есть время захватить движение на этом пути в свои руки. — Они еще могут увенчать этим здание всемирной науки.

Дальше — когда и для социологии буду(т) утверждены неко(торые) общи(е) законы, относительно общи(х) основ в отдельных науках, вероятно, мало остане(тся) уж(е) делать, конечно. — Не останется — вероятн(о) — ничего уже сделать для глав(ных) извест(ных) основ физики, астроном(ии), сравнит(ельной) анатомии, геологии и т. д. — Ибо, если даже предп(оложить), что найдут средст(во) видеть и даже изучить человекообра(зные) существ(а) на Марсе или других планет(ах) — то в деле изучен(ия) их организм(а) и жизн(и) предста(нут) опять-таки прил(о-¹⁰жимыми) к ним уж(е) извест(ные) нам истины физик(и), хими(и) и физиоло(гии). — Подробн(ости) будут поразите(льно) малы, основы — будут все те же, уж(е) знаком(ые).

Что касается до каких-либо все более и более высоких обобщений, то как бы эти высшие обобщения ни были новы и широки — они все-таки предыдущих, низших и теснейших не уничтожат, если эти последние были в своей сфере удовлетворительны.

Наприм(ер): если бы даже химия доказала, наконец, на-²⁰верное то, что у иных существует теперь как предположение (гипотеза Прюта), именно, что все тела суть превраще-ния одного и того же водорода (вода Фалеса, см.: «Мир как целое» г. Страхова, стр. 484—485), то ни кислород, ни азот, ни золото, ни серебро от этого не утратили бы еще тех частных свойств своих, которые за ними признавала наука до этого открытия. Процесс горения не перестал бы происходить оттого, что кислород бы явился одним из пре-³⁰вращений водорода; золото, ставши другой формой водорода, вероятно не сделалось бы синим и мягким. — Практи-ческие последствия для жизни, конеч(но), могли бы быть неисчислимые от подобной новости. — (Да и то, если бы Незримая рука, нами правящая, не воспротивилась бы это-^{му} путями б(ольшей) ч(астью) непрям(ыми), побочными средствами, котор(ые) не переста(ет) видеть ум нередко.)

Но извест(ная) нам теория кислорода сама не изме-нилась бы ни от как(ой) практи(ческой) цели, — точно

так, как не изменились основы *крупной*, описательной *анатомии* после открытий анатомии более глубокой и общей: *целлюлярной* или *гистологической* (микроскопической).

Наука, как и все, едва ли на этой земле безгранична; самые успехи ее (до сих пор по крайней мере было так) кладут ей *непреодолимые пределы сзади на пути ее*. — В этом смысле нельзя *возвращаться*. — Нечего *открывать открытое*. — Нечего объяснять хорошо объясненное. — Можно только *популяризировать* его. — Есть предел *сзади*; вероятно — и *впереди* есть пределы; есть вещи, которых мы никогда с полной *научной* точностью не поймем. (И тем — лучше!)

К слову здесь же сказать: едва ли может таким образом и г. Соловьев уничтожить посредством своих *богословских* надежд *историческую* классификацию Данилевского.

Десять, одиннадцать культурных типов останутся навсегда. Изменения могут быть допущены неважные.

Почти так же, как при всевозможных успехах естественных наук разделение позвоночных животных на: *млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, амфибий* или *гадов* (лягушек, саламандр и т. п.) и *рыб* — должно пребыть нерушимо, — так и теологическое освещение истории г. Соловьевым может стать по отношению к разделению человечества на культурные типы в то же самое положение, в котором будет стоять любая блестящая и глубокая химическая гипотеза к открытию и утверждению геологических пластов или формаций.

Такая химическая гипотеза может объяснить нам лучше прежнего внутреннюю атомистическую жизнь гранита, порфира, известняка, каменноугольных пластов — и т. д. — Она может даже изменить наш взгляд на дальнейшее *будущее* земного шара; но в *прошедшем* как самой науки, так и самого земн(ого) шара *эти пласты она с места не сдвинет*.

Это мимоходом — к слову. — А главная мысль моя здесь та, — что с одной стороны, *безграничному* развитию

науки уже сами успехи ее полагают пределы в прошлом, уже приобретенном ею самой совершенстве.

А с другой — и в будущем, вероятно — есть у нее неодолимые преграды, и одною из сильных преград на ее пути может быть, между прочим, более противу прежнего неприязненное к ней отношение самого ученого человечества. — Наука для всех наций одна; но отношения к ней людей могут значительно изменяться.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

I

Я снова берусь за перо...

Недавно в наш Оптинский скит поступили послушниками двое молодых людей из лучшего нашего дворянства: Ш—ский и Чер—в. Они двоюродные братья. Оба женаты; супруги их молоды и красивы; средства их настолько хороши, что г-жа Ш—ская в своем воронежском имении устроила на свой счет женскую общину, в которой, как слышно, и будет сама назначена настоятельницей.

И мужей, и жен одели здесь в Оптиной в монашеское платье, и обе молодые дамы уже уехали в Воронеж, а мужья остались в скиту.

В последний раз, уже облеченным в подрясники, им позволили сходить на гостиницу проститься с мужьями, братьями, и прощанье это, говорят, было до того трогательно, что старый монах-гостинник, человек торговый и вовсе не особенно чувствительный, плакал, глядя на них, и восклицал: «Господи! Да что же это вы делаете! Да как же вы это такие молодые расстаетесь! Да разве это так можно! Боже мой!»

Жили обе молодые четы между собою в полном согласии, и когда одна приезжая дама спросила у г-жи Шид—ской, (которой, кажется, принадлежит инициатива во всем этом деле), что побудило их решиться на такой геройский шаг, — она отвечала: «а мы были слишком счастливы!»

Вот это — истинно христианский страх! Страх от избытка земного благоденствия. Это высшее проявление

того аскетизма, без некоторой доли которого и в мірской жизни нет настоящего Христианства.*

Впрочем, набожны они все четверо были давно. Шид—ские и живя еще дома, в имении своем, соблюдали посты и сохраняли строгое молитвенное настроение. Слышно было даже (не знаю, насколько это справедливо), что они с мужем, по молодости и духовной неопытности своей, брали на себя прежде «неудобоносимые бремена». Сами ли они позднее поняли, что без опытного руководителя легко сбиться в этом отношении с правильного и разумного пути, или кто-нибудь надоумил их, но они уже несколько лет тому назад начали ездить в Оптину и советоваться со старцем о. Амвросием. Они все, и Чер—вы и Шид—ские, приезжали сюда часто и гостили подолгу, стараясь, видимо, испытывать себя и приучаться постепенно к вечной разлуке. То мужья приезжали одни и жили в монастыре месяца по два и более, то обе молодые супруги гостили здесь без мужей...

Наконец, решение назрело, час пробил — и все четверо вступили на тернистый путь: посвятили себя на служение Богу и Православной Церкви нашей!

Не я один изумляюсь и радуюсь этому событию. Многие здесь и радуются, и дивятся.

И надо, конечно, радоваться на такой пример!

Надо радоваться этому случаю, как одному из самых поразительных примеров того религиозного обновления, которое становится у нас все заметнее и заметнее за последние года.

* *Аскисис* (или *Аския*) греческое слово — значит всякого рода *упражнение* (упражнение атлетов, например, или в другом ремесле). Поэтому и *упражнение* в духовной, религиозной жизни, *подвижничество*. Можно выразиться так: человек посредством постоянных телесных и душевных *упражнений* *подвигается*, старается *постепенно приблизиться* к религиозному своему идеалу. Это в известной мере доступно и мірянам.

Важность не в том самом, как обе эти четы совершат весь свой иноческий путь; не в том именно — хорошие ли, примерные ли выйдут из них монахи и монахини, или средние.

Это вопрос личный, индивидуально-духовный. Я же радуюсь теперь на них, думаю не столько о *плодах подвижничества*, сколько о *потребностях веры и подвига веры*; я думаю об идеале, к которому наконец-то стали многие русские люди на глазах моих стремиться, а не о том, насколько они к этому святому и ничем не заменимому идеалу могут приблизиться на практике земной жизни своей. Один приблизится больше, другой — меньше, но важно то, что *религиозное настроение все растет и растет в высших общественных и умственных сферах наших*.

Вот я живу уже скоро три года в уединении; вижусь с людьми редко; читаю только одну, иногда две газеты: новостей поэтому много знать мне трудно. А между тем я один на свою долю знаю много примеров, утешительных не только для человека лично верующего, но и для всякого русского, умеющего *правильно* любить свою родину. Ибо что такое Россия без устойчивости Православия, без искренности православных чувств в сердцах ее лучших граждан?

Я знаю Оптину пустынь давно, уже скоро 16 лет, с 1874 года. В течение этих 16 лет я посещал ее часто; проживал и прежде в ней подолгу, и зимой и летом, и теперь живу около нее безвыездно, скоро будет четвертый год. И вижу большую разницу, большую перемену к лучшему. Потребность приближения к Церкви, к ее преданиям, потребность духовного руководства возросли на моих глазах.

Все чаще и чаще стал с годами встречать людей, которые приезжают сюда не из одного любопытства и по одному только национальному чувству, которое влечет полюбоваться на нечто действительно русское, на нечто живущее теми началами, которыми жили предки наши, на русский благоустроенный монастырь. Нет! Доказательств очень много тому, что *лично-религиозные* нужды усилились много за последние года.

Желание видеть старцев, побеседовать с ними, посоветоваться, благословиться у них, — это только одно из проявлений того настроения, про которое я говорю.

Общество наше все более и более начинает интересоваться религиозными вопросами не для того только, чтобы «Православием, как камнем, бросить в нигилиста», по выражению Ю. Ф. Самарина, а для собственного просвещения. Чаще и чаще за последние десять лет видишь образованных людей, которые начинают понимать, что одна добрая нравственность, одна чистая этика не есть еще¹⁰ Христианство: что основа Христианства, *прежде всего*, в правильной вере, в правильном отношении к *догмату*. Молодые люди высшего образования и лучшего общества, родовитые дворяне хотят учиться богословию, слушают лекции в духовных академиях, желают стать священниками или монахами, — иные и становятся. Другие, всмотревшись ближе в условия монашеской жизни, пугаются трудностей этого пути; но, тем не менее, на них оправдываются слова И. В. Киреевского: «Кто хочет понять истинный дух Христианства, тот должен изучить монашество». Следы этого изучения,²⁰ этого общения с хорошими монахами не пропадают и для мирской нашей жизни, озабоченной и рассеянной.

Идеал высшего отречения, раз усвоенный и разумом, и сердцем, непременно отразится у одного больше, у другого меньше — на личных житейских вкусах, на государственных чувствах, на семейных правилах.

Монашество уже тем полезно для мирян, желающих утвердиться в Христианстве, что оно учит прежде всего себе *внимать*, о своем загробном спасении заботиться, а «все остальное приложится». И как бы мы дурны ни были³⁰ по натуре ли нашей, или по неблагоприятным условиям нашего прежнего развития, мы при подобном к себе *внимании*, при боязни согрешить, при памяти о Страшном Суде Христовом, станем все-таки и по отношению к другим людям хоть сколько-нибудь справедливее и добрее.

Монашество учит не стыдиться страха Божия, как стыдятся его многие люди XIX века даже наедине с самими

собою. Оно не находит, что этот мистический страх перед несоизмеримой силой уменьшает достоинство наше, — оно полагает, напротив, что этот особый род страха возвышает его, способствуя усилению природных добрых качеств в человеке хорошем и регулируя их; для человека же природно-порочного или слишком грубо воспитанного монашество этот мистический страх справедливо считает единственным спасением, не только в смысле высшем, загробном, но и для наилучших (по мере сил его) практических отношений к лю-
10 дям. Без этой духовной богобоязненности он был бы еще хуже. Это так ясно и просто, так старо и вечно ново, так верно и так глупо забывается нами. Положим, что все эти взгляды принадлежат не одному только монашеству, а церковному Христианству вообще, но время наше, наш сложный, спешный образ жизни в мирском обществе мало благоприятствует сосредоточению мыслей на духовных вопросах, и с этой-то стороны монастыри и полезны, как такие цент-
ры, в которых это собирание мыслей воедино и поднятие их до нужной высоты и бесплотности достигается несравненно
20 легче, чем в миру.

Истинное Христианство есть, между прочим, и сильнейший противник того рационалистического (но ничуть не рационального, не умного), мещанского индивидуализма, который, всех в одинаковой мере освобождая и всякого всем подчиняя, желает всех сделать одинаково достойными и одинаково счастливыми.

Истинное Христианство (не *выдуманное*, а церковное) признает одно только равенство — равенство всех перед судом Божиим, одну только свободу — свободу воли лич-
30 ной в избрании добра и зла.

И на небе нет и не будет равенства ни в наградах, ни в наказаниях, — и на земле всеобщая равноправная свобода (даже и в той неполной форме, в которой она доступна теперь) есть не что иное, как уготовление пути анти-христу.

Лет еще пятнадцать тому назад я спросил у одного великого духовного старца:

— Почему бы теперь-то и не процветать Христианству? Нравы несомненно стали мягче; люди стали как будто жалостливее: боятся жестокостей, стыдятся их совершать. Отчего бы не соединить это с верой? Говорят много о любви; но разве любовь состоит в одном только опасении причинить физическое страдание ближнему: не пытаться, не казнить, не сечь, не бить? Отчего же не любить и власть, начальство, духовенство? — И богослужение, и родину, и войско, и государство? И во всех этих отношениях найдется место добрым и мягким чувствам... Озарить бы¹⁰ все этой верой и любовью к вере... Это так естественно, так самому приятно, и даже поэзии в этом чувстве так много!

— Нравы, правда, много смягчились (отвечал старец). Но зато самомнение у множества людей чрезмерно возросло, — увеличилась гордость. Не любят уже повиноваться никаким властям — ни духовным, ни светским: не хотят. Постепенное ослабление и упразднение властей есть признак приближения царства антихриста и конца мира. Одной мягкостью нравов Христианства заменить нельзя.²⁰

Вот вся совокупность подобных монашеских влияний и полезна мирянам, желающим, как я сказал, утвердиться в истинном Христианстве, не заменяя его сентиментальным учением *неверующей любви*, которое не только не приложимо на практике запутанной жизни нашей, но даже противно своей фальшивостью и ложью.

II

Когда речь идет о современном русском монашестве, нельзя не вспомнить о жалобах, которые приходится нередко на него слышать. Осуждения недоброжелательства в либеральном духе, как придиричivé и глупые по существу, — я оставляю в стороне; я хочу сказать несколько слов лишь о тех жалобах, которые можно назвать жалобами доброжелательного усердия.³⁰

Люди умные, религиозные люди, желающие видеть в иноках образцы добродетелей, досадуют (и часто весьма основательно) на то, что большинство монахов нашего времени слишком уж *недалеко понятиями*, слишком грубо, серо, жестко, нередко гораздо жестче благовоспитанных и тонких чувствами мирян.

Это отчасти правда.

Но кто же, прежде всего, виновен в этом, как опять *не мы же?*

¹⁰ Мы, представители передового сословия, — мы люди благовоспитанные, привычками тонкие, сердцем гуманные. Не мы ли отступились от монастырей? Не мы ли забыли о громадной, о ничем другим не заменимой важности *их учения* не только для нашей личной дисциплины, но и для строения государственного, и даже для умственной независимости нашей от Запада, неуклонно и слепо стремящегося к *той самой всеобщей равноправности*, к той самой ненависти к подчинению, на которую указывал старец, как на вернейший признак *приближения конца?*

²⁰ Не мы ли, люди с «рыцарскими» преданиями, воспитанные на благородных, романтических и утонченных идеалах, — не мы ли, увлекшись вослед за стареющей Европой во все ее новейшие, пошлые и плоские вкусы и мечты, — предоставили господство в монастырях купцам Островского и сыновьям церковных причетников?

И не их корить надо, а нас, дворян, за то, что русские монахи грубее и ограниченнее, чем они могли бы быть, если бы в их среде естественно преобладали люди высшего образования.

³⁰ Конечно, святые люди выходили и будут выходить из всех сословий; но истинные святые были всегда исключениями; а хорошо бесспорно и то, чтобы средний уровень монашества (и вообще духовенства) был бы повыше. С этим нельзя не согласиться.

Монастыри — учреждения хотя и *священные*, но все же так и *человеческие*. (*Богочеловеческие*, как любит обо всем религиозном выражаться Влад. Соловьев.) Поэтому и

в них, как и во всей церковной жизни, человеческое начало остается верно и своим душевно-естественным законам. Как бы ни проникался инок общим и даже наивысшим духом монашества, он непременно сохраняет в себе некоторые привычки и склонности своего времени, своей национальности, своего сословного воспитания и своей личной натуры.

Купцы Островского и сыновья церковных причетников, господствовавшие последние два века в русских обителях, послужили как *умели и как могли* Православию верой и правдой. Они работали Богу (а косвенно и Царю, и народу) — по совести, *по мере своего разума* и по характеру своих сословных привычек и вкусов...

А мы? Много ли было из нашего круга за последнее столетие — великих подвижников, замечательных настоятелей, духовных старцев? Известные чем бы то ни было за все это время монахи из дворян — все наперечет. Я говорю *только известные* чем бы то ни было, — я уже не говорю *прославленные* святостью, — заметьте.

К тому же не надо упускать из виду и то обстоятельство, что когда количество людей, переходящих из одного сословия в другое, очень мало, то они неизбежно подчиняются привычкам и понятиям подавляющего большинства. И если при этом самобытная работа мысли у человека не особенно сильна, то он очень легко смешивает то *существенное*, что принадлежит и *должно принадлежать* новому обществу, которого он стал членом, со всем несущественным и случайным, могущим, не расстраивая основ известной социальной группы, изменяться к худшему и к лучшему. Монастыри суть учреждения весьма устойчивые и малоподвижные по *основам* своим — по преданиям, уставам, по духу учения, но они весьма подвижны по *личному составу* их членов.

Всякий может стать монахом и всякий вносит в монастырь кой-что от привычек, вкусов и понятий того сословия или класса, в котором он родился и рос; особенно это резко, если он поступил не слишком молодым. Дворян родовитых, образованных по-светски и умственно, в уровень века развитых, было у нас до последнего времени в монастырях

очень мало, и потому естественно, что и они, погруженные в толпу крестьян, торговцев, мещан и церковников, утрачивали много и таких свойств, которые, при других условиях, они могли бы сохранить с пользой для общества и без вреда для личного своего спасения. В монастырях такого рода утратам благоприятствует к тому же и *самое учение*; надо отсекал волю донелзя, надо повиноваться, надо смиряться. И вот, в среде преобладающих и *иначе воспитанных людей* (вообще *посерее*) вместе с плевелами личными вы-
10 дергивается и кой-что из той *пшеницы*, которую посеяло в людях более тонкое и высокое домашнее и сословное воспитание.

А если бы дворян и вообще людей высшего образования было бы в обителях наших больше и *они заслугами своими и подвигами удостоивались* бы почаще начальствования, то, конечно, это отразилось бы неизбежно на привычках целых монашеских общин и на само *мирское общество монастыри* имели бы больше влияния.

Мы, дворяне русские и представители высшего воспитания в России, — мы более всех виноваты в том, что монашество наше, руководимое или купцами старого закала (т. е. людьми вовсе неучеными), или детьми церковников (людьми, пожалуй, и учеными, но вовсе не благовоспитанными), серо, отстало, грубовато и непонятливо.
20

Разумеется, средний уровень монашества нашего много бы поднялся, если бы оно находилось под влиянием и руководством людей, которые сами бы стояли на высшем современном уровне и, совмещая в себе образованность и благовоспитанность с искренней верой, смотрели бы на обе пер-
30 вые силы свои лишь как на служебные — для второй, для веры.

Это несомненно так. Но при этом, однако, не надо забывать и того общего правила, что монашество всегда было и будет при самых лучших условиях все-таки исполнено нравственных несовершенств.

Оно было таковым еще во времена святоотеческие, и мы можем найти по этому поводу много поучительного не да-

лее, как в житиях. (Напр<имер>, в житии Св. Пахомия Великого. См. сон его — монахи, идущие из оврага в гору и падающие снова вниз.)

Несовершенство и греховность монашеского большинства *даже необходимы для высших целей иночества.*

Если бы все монахи были ангелоподобными, не только по стремлению, по идеалу, но, так сказать, по достижению, — то не могли бы вырабатываться в монастырях святые люди, великие подвижники и старцы. К телесным понуждениям человек привыкает скоро, особенно если он рано поступил в обитель; но скорби душевные, несправедливости, насмешки, клеветы и обиды — переносить очень трудно во все года. Если бы в монастырях не было вовсе грубости, жесткости, вражды и обид, то как же бы вырабатывались примерные и мудрые иноки, которые, достигши полной духовной зрелости своей, служат светочами и для своей братии, и для нас, мирян? Ведь самолюбие и тайная гордость преследуют до могилы всякого человека, и святые не могут быть *вполне* чужды их движениям. Но они умеют быстро и мгновенно тушить в себе их огонь сознанием, покаянием, смирением. И алмазы находятся не в куче дорогих и близких к ним по цене изумрудов и рубинов, а в каких-нибудь простых и грубых камнях.

Для большинства монахов при самых лучших условиях со стороны того мирского общества, из которого они выходят, достаточно искренней веры в святость того учреждения, которому они служат, и преданности ему. И среднего уровня в монашестве не легко достичь, а очень трудно. Мы замечаем только слабости; Бог же видит все тайные усилия, все болезненные внутренние жертвы — и самых слабых подвижников, и самых грубых людей. Только *поймите* монашество, и оно будет полезно вам даже и в теперешнем составе своем.

Общие взгляды у большинства монахов узки, формы грубы; дух управления и отношений к мирянам слишком уж *хозяйственный*, но основы учения у всех у них правильны, и предания, свято хранимые, в высшей степени наставительны.

Я даже позволяю себе думать, что в наше время нужно считать не совсем оконченным христианское воспитание того человека, который не дал себе труда познакомиться с монашеским учением, не искал общения с истинно духовными людьми.

И вот в этом-то смысле, между прочим, поворот за последние года у нас весьма благоприятный. Примеров у меня много, и мне очень жаль, что обычай не позволяет мне называть все имена. Еще живя в Москве пять-шесть лет тому
10 назад, я знал студентов, которые обращались за советами и благословением к отцу Варнаве в Троицкой лавре и следовали его указаниям.

Отдадим здесь, кстати, еще раз честь и Каткову. Студенты его Лицея особенно склонны к религиозности.

Приезжают и сюда многие молодые люди посоветоваться со старцами. Один, кандидат Московского Университета, человек по всем признакам с будущностью, приехал сюда два года тому назад благословиться на неравный брак с девушкой простого звания, которую он любил. Он и ее
20 привез с собою. Старец благословил охотно; они обвенчались и живут теперь счастливо. Другой, тоже окончивший университетский курс в Москве, юноша весьма даровитый и характером смелый и самобытный, страстно желал пойти в священники, но он не хотел отдаться своему влечению, не испросив здесь на этот шаг благословения. В семье его были этому серьезные препятствия, — отец его православный, но мать католичка, и она приходила в ужас от мысли, что сын ее будет схизматическим священником. Она тревожила совесть религиозного сына угрозой, что ей перед
30 смертью ксендзы не дадут причастия.

Старец сказал, чтобы он этого не боялся.

Теперь этот молодой человек уже скоро год как священником в одном из значительных городов Западного края и судьбой своей доволен.

Был недавно здесь еще и третий юноша, тоже москвич, студент первого курса, всего двадцати лет, из хорошей семьи, видимо со средствами и связями, живой, горячий, сим-

патичный, собою красивый. Он тоже мечтает так или иначе послужить Церкви — обдумывает проект общества для усиления Христианства в образованной среде и до того увлечен своими широкими мечтами, что для пользы самого дела нужно его немного охлаждать и учить терпению.

Со всех сторон слышишь вести этого рода.

Тут — молодой еще, богатый, блестящий и влиятельный помещик, который даже и на Страстной неделе постоянно ел мясо, с нынешнего года стал соблюдать посты, хоть на рыбном.

10

Там — тридцатилетний богач-фабрикант весьма известного имени, прекрасно образованный, служивший в ранней молодости в лейб-гусарах, после почти случайного посещения Оптиной и после двух-трех уже решительно случайных встреч, хочет впервые вникнуть в смысл православного учения и запасается богословскими книгами.

Один публицист из дворянского рода, человек тоже средних лет, способный и увлекающийся, давно уже писал пламенные статьи в духе Славянофильства и Православия; сам же до запрошлого года не только не соблюдал постов и в церкви редко бывал, но даже *пятнадцать лет подряд* не говел. Один из его знакомых вздумал показать ему письмо постороннего лица. В этом письме шла речь о вере вообще и, между прочим, и о нем самом, об этом публицисте. «Он пишет статьи в защиту Православия, — это, конечно, хорошо (говорилось в письме); это гораздо лучше, чем писать в ином духе. Но сам-то он православен ли? Ведь он, я знаю, поступает так-то и так-то (как выше сказано). Не подражай ему. Прежде чем учить других, учитесь сами быть православным» и т. д.

30

Нескромность знакомого, решившегося без спроса показать писателю это чужое письмо, сделала пользу. Славянофил принял все это умно и добросовестно. Сознался в своей вине, говел, исповедовался весьма серьезно у одного из лучших столичных священников и после этого даже обращался письменно к старцам с вопросами по своим семейным делам.

Очень недавно, прошедшей осенью, приехал сюда из другой губернии молодой пруссак-агроном, — очень развитой, способный, а не какой-нибудь — «несчастный». Он управлял имением у г. Б—ва и был принят дружески в его семье. Семья религиозна и благовоспитана. Пруссаку Православие этой семьи так понравилось, что он по совету г-жи Б—ой приехал сюда надолго, почти каждый день ходил к старцу; читал книги, указанные им, и принял Православие. Теперь он нашел себе в этой стороне хорошее место и задумал даже стать русским подданным. Подозрительные люди есть везде, — и здесь нашлись такие лукавствующие умы, которые не хотели отнестись к этому случаю прямо и просто, а стали придумывать тайные поводы и расчеты; говорили, что у него где-то есть невеста, богатая русская барышня, которая согласна за него выйти, но только в том случае, если он переменит веру. Оказалось, что никакой подобной невесты у него нет. Я познакомился с ним, и он производит на меня впечатление искреннего и очень умного человека. Он говорил мне, между прочим, что приходское наше духовенство никогда бы не могло обратить его: оно ему очень не нравится; но подействовали на него прежде всего люди прекрасной и набожной дворянской семьи, а потом — оптинские старцы.

О пострижении в монахи на Кавказе князя Бориса Петровича Туркестанова, еще недавно полагавшего начало тоже здесь, в скиту, в «Гражданине» печатали. Я и его знаю, конечно, — и он тоже весьма образованный и умный молодой человек.

Прошлого года мне писали из Западного края, что там двое гвардейских офицеров рукоположены во священники.

Теперь оттуда же сообщают, что один офицер инженерной академии желает того же.

О *враче Оболенском*, который в Петербурге постригся в монахи, я вчера прочел в «Гражданине» (№ 54).

На днях здесь был еще один гвардеец. Он, как слышно, советовался с духовником — тоже о принятии священства.

Уверяют, что в Калуге такое же намерение имеет один офицер Киевского полка.

Прошлым летом здесь гостил с неделю и принимал участие в соборном богослужении 20-тилетний священник от⟨ец⟩ Сергей Веригин (женатый на граф⟨ине⟩ Мусиной-Пушкиной); он состоит приходским в своем собственном имении, Пензенской губ⟨ернии⟩. Он посещал и меня, и мы с ним не раз подолгу беседовали. Я был до крайности утешен этим знакомством.

Один вид *такого* юноши в рясе, один вид такого изящ-¹⁰ного иерея — русского — и тот донельзя приятен.

Разве это не *добрые вести*, если все взять в совокупности?

Ведь все эти частности, все эти отдельные случаи и примеры — они признаки и проявления чего-то общего и в высшей степени замечательного.

III

Есть и другие признаки.

Еще в бытность мою в Москве я видел (да и не я один, конечно, а многие) этот поворот к лучшему. Студенты, еще²⁰ года четыре тому назад, говорили мне, что очень многие из университетских товарищей их уже не относятся к религии столь враждебно и столь презрительно, как относились прежде; прежде большинство их отвергало Бога; теперь они говорят: «*нельзя* отвергать бытие Божие *рациональным* путем; *нельзя* научными приемами доказать, что *Бога нет*».

И эта перемена основной точки зрения в молодом уме — очень важный факт!

Эти юноши, эти неопытные люди будут через два-три³⁰ года полноправными гражданами — супругами, отцами, воинами, судьями нашими, наставниками, правителями.

Эта сначала как бы едва заметная точка философского поворота в молодом уме может со временем повести далеко.

Точка эта подобна стрелке на железных путях; один поворот какого-то колеса — и путь предстоит иной, быть может, совсем противоположный.

На чистом деизме остановиться надолго не может человек живой, человек с сердцем, и потому именно, что он с сердцем — склонный страдать и все в жизни сильно чувствовать. Такого человека скорее удовлетворит полное отвержение: оно, по крайней мере, по-своему покойно и последовательно.

¹⁰ Но чистый деизм холоден и сух. Раз я допустил личного Бога, раз я признал, что механизм мироздания должен подразумевать сознательного механика, я вынужден уже одним холодным разумом допустить и постоянное вмешательство этой Миротворящей Силы, постоянное исправление и направление механизма... И я сам — частица этого необъятного целого; частица и бессильная, и в своих пределах могучая, и такая ничтожная и всеобъемлющая, вечно томящаяся и чего-то ищущая и жаждущая, — не захочу ли я скоро и сердцем приблизиться к этому уже признанному моим разумом Живому и Личному Божеству? Не захочу ли я Его помощи и защиты в тайниках и глубине вечно болеющего сердца моего? Не захочу ли молиться? Не захочу ли скоро знать, чего именно от меня требует Бог? Не пожелаю ли потщиться исполнять Его требования, Его заповеди?

²⁰ И вот еще шаг — приближение к «алтарям» Его! Иначе не будет ли этот Бог тем «бесполезным Богом, который не требует алтарей», как прекрасно выразился несчастный Альфред де Мюссе, всю жизнь тосковавший о своем бессилии и неумении возвратиться просто, прямо и твердо в лоно

³⁰ Католической Церкви.

Когда мы слышим, что молодые люди высшего образования говорят так: «нельзя доказать, что нет Бога; нельзя научными приемами опровергнуть возможность Его бытия», — что это значит?

Это значит, что сердцам их желательно, чтобы Бог был, и они рады, что разум их разрешает им верить в Него.

— Можете верить! — говорит им этот разум (который они так еще глубоко чтут по неопытности своей)... Можете верить: этим вы не погрешите против моих законов!

Итак, разум позволил бедному, молодому и горячему сердцу верить...

Оно вольно теперь! Самолюбивому юношескому стыду перед «наукой и современностью» уже нет теперь места...

И если сердце, в самом деле, *хочет* веры, если оно жаждет единения души с Божеством, то ему и нетрудно будет сделать еще один небольшой шаг, легко будет допустить¹⁰ еще одно движение:

— Боже! Я жажду верить! *Помоги моему маловерию!*

И вот уже молитва... Самая первая и самая лучшая в наши дни... Вот уже первый шаг приближения к Богу.

«У Бога путей много», говорят справедливо набожные люди... Те из них, которые наблюдательнее, могут привести много примеров обращения, под влиянием самых разнородных впечатлений и событий, встреч, разговоров и чтения. У многих забытое, пренебреженное чувство чего-то высшего, таинственного, мистического тaitся, однако, на дне души, как огонь под пеплом — по старому и верному уподоблению, тaitся до первого случая, до тех пор, пока какое-нибудь сильное впечатление не поможет этому огню разгореться.²⁰

Давно, уже лет с лишком двадцать тому назад, я ехал на дунайском пароходе с одним русским моряком. Мы были давно знакомы, почти дружны. Разговор, при других свидетелях, зашел между нами о вере. «Я ничему этому, по правде сказать, не верю!» — воскликнул моряк.

Я сам тогда был еще вовсе не утвержден как следует;³⁰ я едва-едва стал выходить тогда из какого-то красивого, но неясного пантеистического тумана, в котором долго жил, безнравственно и весело; но я уже желал из него выйти и чувствовал, что во мне не вовсе умер, а где-то глубоко тaitся православный человек. И, руководясь этим смутным, но неугасимым внутренним чувством, я возразил ему так:

— Не ручайтесь, что в вас вовсе угасло религиозное чувство, — быть может, оно только уснуло. Я попрошу вас, например, подумать и ответить мне откровенно, что бы вы избрали, на которую из двух жестоких вещей вы бы согласились, если бы третьего пути не было: убить человека, на поединке, на войне ли или просто из личного гнева, или взять чашу со Святыми Дарами, положим, вылить на землю и растоптать ногами? Скажите?

Моряк покраснел, пожал плечами, улыбнулся и сказал:
¹⁰ «Ну, конечно, убил бы человека. Я об этом не подумал... Пожалуй... Кто знает... может быть, вы и правы...»

Сохраняется это чувство в глубине сердца нашего не только благодаря семейным влияниям, но иногда и вопреки им. Я знаю одну очень умную и весьма образованную русскую женщину, которая росла в 60-х годах и была воспитана отцом-безбожником и ненавистником всего церковного; мать же ее была ничтожная и почти слабоумная женщина. Отец любил ее страстно и самоотверженно; но ей — своя семья, сухая и мрачная, не нравилась и ее тянуло ко всему
²⁰ тому *именно*, что на дух ее семьи было не похоже. Так шаг за шагом она еще в молодых годах начала стремиться к Церкви и очень скоро сделалась пламенно и просвещенно-религиозной женщиной.

Раз молодому человеку в наше время (еще не совсем от-
решившемся от старой привычки чрезмерно поклоняться разуму и своему, и коллективному), раз этот самый разум дал, так сказать, рациональное разрешение верить, все ресурсы воображения, сердца, воли и опять ума же могут пойти на пользу. «Путей много!» Любовь к семье, если она
³⁰ религиозна и привлекательна; потребность иной душевной опоры, если в семье тяжело; любовь к народу и народному; жажда сближения с этим простым народом на общей идеальной почве. Поэтическое влечение к образам и формам жизни родной старины, которую, слава Богу, и до сих пор еще не дотла вытравил у нас европейский прогресс. Вообще чувство прекрасного, художественное чувство, которое, с одной стороны, не может не оскорбляться глубоко-прозаич-

ческими формами европейского прогресса и его деревянными, однообразными идеалами, а с другой—не может же не видеть, сколько есть поэзии и в морали евангельской, и в богослужении православном, и в учении аскетическом.

Путей много, повторяю я. Самые противоположные чувства могут способствовать утверждению веры в том, кто уже ищет ее, в том, кто перестал избегать ее, кто перестал ее стыдиться.

К вере могут привести и любовь, и отвращение, и радость, и горе, и сильные внезапные потрясения, как у энергического натуралиста Северцова, который открыто признавался, что стал в первый раз молиться тогда, когда попал в плен к жестоким коканцам и был ими заперт в каком-то ужасном месте. И с тех пор, освобожденный, он уже Бога не забывал. Воспоминание о Боге, о помощи Его свойственно людям и без внезапных, сильных опасностей и потрясений, но вообще в более тяжелые минуты жизни; так случилось с гениальным Пироговым. Пирогов, сверх того, говорит в записках своих, что, молясь Богу в трудные минуты, он нашел потом уже *противным человеческому достоинству забывать о Нем в довольстве и радости*.

Вникнем в это признание великого врача и спросим себя, какого рода чувство заключено в этих словах его? Конечно, некоторого рода *гордость* или, пожалуй, самолюбие перед самим собою; *стыд* перед собственной самооценкой. Не надо пугаться подобного анализа: он ничуть не унижает самого Пирогова и не обесценивает характера его религиозности. Конечно, это «немошь», как любят выражаться монахи, но *немошь* такого общечеловеческого, неискоренимого рода, от которой не всегда свободны и самые высшие духовные подвижники. И святые, как я уже напоминал прежде, не были вполне бесстрастны, а на первых и даже на средних ступенях обращения такого рода тонкое движение гордости, или такого рода тайный самолюбивый стыд — могут быть в высшей степени полезны для дальнейшего развития религиозности. Чувство, в котором так честно и мило сознается Пирогов, не особенно *духовно*, но оно ве-

дет к духовному. Человек не хочет унизиться в собственном мнении: он считает низостью — не молиться в довольстве и радости тому Богу, Которого он призывал, когда ему было тяжело. Это чувство *понудит* его, положим, в церковь сходить лишний раз; в церкви он сосредоточится, получит еще несколько лишних и, быть может, новых религиозных впечатлений. После этого он захочет и еще раз себя понудить; вспомнит, что только *«нудящие себя»* восхищаются Царством небесное», и привыкнет мало-помалу все больше и больше понуждать себя для Бога. А это, мне кажется, *третий* из самых важных начальных шагов для утверждения религиозности в колебавшемся дотоле образованном человеке нашего времени.

Первый шаг (для такого человека, я не говорю: для всех людей) — это то *разрешение* разума искать веры и верить, о котором я говорил. Второй шаг: *приобретение страха Божия*, а третий — *привычка к понуждению себя*, вопреки лени, вопреки развлечениям, вопреки слишком дерзкой надежде на всепрощение Божие, вопреки напрасной и чрезмерной боязни потерять на молитву и другие дела веры время, дорогое для нескончаемых житейских дел.

Поэтому, говорю я, все чувства наши, не только самые высокие и чистые, но и такие *средние*, как небольшая гордость* и самолюбие, в связи с другими, лучшими, и растворенные страхом Господним, боязнью согрешить, могут

* Я говорю здесь не о высшей или *собственно духовной* гордости, — это уже не *средняя* немощь, а самый великий и самый опасный по своим последствиям грех. Духовная гордость, т. е. непоколебимая уверенность в своей нравственной чистоте, в своей безгрешности или в своей умственной вечной правоте, — к несчастью, свойственна очень часто людям хорошим, честным и благородным и склоняет их обходиться без Бога или без Церкви. Я не про эту, так сказать, *хроническую* гордость говорю здесь, а лишь про небольшое и минутное движение свойственной всякому человеку потребности хоть сколько-нибудь уважать себя. И, уважая себя как человека, как характер, как ум, за то-то и за то-то, я могу в то же время считать себя перед Богом великим грешником.

нередко сослужить нам прекрасную службу на пути христианском. Иногда и самая большая гордость *ума против других людей* может, при добром изволении, укреплять человека в его стремлении к Богу и располагать его к смирению перед учением Церкви.

Я люблю приводить живые и наглядные примеры.

У меня был друг. Его уже нет теперь в живых. Он был человек чрезвычайно умный, мыслящий, весьма начитанный и выросший смолоду на естественных науках. Но ему рано стало душно в «их рамках», как он сам любил выражаться.¹⁰ Он начал с того, что стал читать метафизические сочинения и радовался, что горизонт его расширился. Богословием он еще в то время тяготился и об аскетических писателях только слышал изредка от других; *умственная* почва его была готова; была у него и *любовь к русской вере*; были и кой-какие, хотя и довольно слабые, религиозные воспоминания детства. Не было ни страха Божия, ни любви и доверия к учению Церкви.

Позднее посетили его жестокие утраты и скорби. Я встретил его опять уже вполне христианином по убеждениям. В жизни он был все-таки очень страстен, влюбчив, чувствен, неводержан, честолюбив, сердит, и он не только бил себя в грудь, как евангельский грешник, — он боролся, старался исправиться, молился постоянно об усмирении страстей своих. Он признавался мне со всем жаром искренности и дружбы, что он донельзя развратен воображением, и не раз случалось, что, предпринимая какое-нибудь весьма грешное дело, он или один в комнате своей, или даже на улице, остановясь перед церковью, восклицал: «Боже праведный, *не могу иначе!* Прости мне!» Шел — и грешил.³⁰ Господь послал ему хорошую, мирную и христианскую кончину живота. Последние десять лет он прожил, разумеется, не безгрешно в духовном смысле (это невозможно), а по-житейски говоря — безукоризненно.

Я уже тогда, когда мы второй раз в жизни встретились с ним и видались часто, и сам стал понимать, *что чувствует* человек многострастный, но искренно верующий; я стал

понимать и жестокую боль, и неизъяснимую радость глубокого покаяния, — и потому борьба этого рода (столь редкая в наши времена) меня не удивляла. Я понимал, что человек, перейдя в деле веры некую таинственную и *ему одному понятную черту*, не может уже вернуться назад к безверию; я знал вместе с тем уже хорошо и по теории аскетической, и по личному опыту, что от этой черты еще очень далеко и не только до бесстрастия духовного, но и до приблизительного умения управлять душевными влечениями своими в христианском духе. Это я все понимал и с этой стороны не требовал у него объяснений, довольствуясь тем, что ему угодно было самому о себе мне рассказать.

Но меня особенно интересовал тот вопрос, как он справился с прежними *идеями* своими и со своей разнообразной и обширной начитанностью. Я спросил его об этом.

— Как, например, пошатнулась в вас вера в тех западных мыслителей, которым вы прежде так сочувствовали?

— Помогла мне гордость моего ума и отчасти моя природная безнравственность, — сказал он. — Я видел, что они все противоречат друг другу и все дополняют друг друга; видел, что все они в чем-нибудь правы и во многом неправы. Ошибки их были мне ясны. Простые материалисты грубы и никогда не удовлетворяли меня. Дж.-Ст. Милль хорош, но он непоследователен до невероятной степени. Прудон последователен, но он в выводах своих, по-моему, почти глуп. Кто ему сказал, например, что история человечества есть история постепенного утверждения правды или справедливости на земле? Разве я обязан этому верить? Я этого не только не вижу, но, по совести сказать, ничуть и не сочувствую этой скучной всеобщей казенной морали. И почему еще, другой вам пример, обязан я сочувствовать его рационально-нравственной семье?.. Да, по-моему, чорт ее возьми совсем, такую семью! Шопенгауер местами мне вовсе недоступен: я просто не понимаю, о чем он говорит. Но почему же (думал я) мне непременно предполагать, что в этом непонимании я виноват, а не он, своей неясностью? Я рассказывал вам о моих страданиях, о моих сердечных

потрясениях... И когда я захотел найти опору, отраду и руководство в Боге Христианском, в Боге догматическом, позовьте мне так выразиться, — ни один из этих мыслителей не оказался в силах помешать мне. Ни один из них не смог вполне подчинить себе мой разум. Он был свободен, и я из этих же мыслителей стал брать для большего утверждения моей веры то, что находил пригодным. И все они стали служить моей вере, стали по моей дудке плясать. У Шопенгауера была *воля*, было *желание* не верить в Личного и Триединого Бога, а *моя воля* верить в Него. Неизвестно¹⁰ еще, кто правее. Ошибались все мудрецы и ошибками своими были, заметьте, очень довольны. Если и моя вера ошибка — не беда: я ею доволен, утешен, счастлив ею... И конечно! Я понимаю, что могу мой разум безусловно покорить началу Высшему и Невидимому или Церкви — вещи в одно и то же время и живой, и безлично отвлеченной; но по какому побуждению я покорю мой своенравный ум такой или другой человеческой школе, или такому или другому умному и ученому человеку? Я еще это, пожалуй, и унижением нахожу; во всяком случае гораздо большим, чем покорить его мистическому началу не только в лице добродетельного и разумного священника, но и в лице какого-нибудь юродивого, если меня влечет к нему сердце. Умные и ученые люди! Я сам, вы знаете, умен, ну, а большая ученость — тоже известно — не всегда ума прибавляет...²⁰

Вот каким образом даже и гордость ума, и природное нерасположение к морали могут способствовать к утверждению веры. «Сила Божия и в немощах наших познается».

И если правы были те студенты, которые несколько лет тому назад уверяли меня, что многие из товарищей их начинают склоняться к тому, что «научно нельзя отвергнуть Личного Бога», то это, конечно, весьма утешительный признак!³⁰

Нужно только, признавши разумом, что сердце имеет право веровать в Него, делать так, как делал мой покойный друг: все познания свои, все теории и взгляды и мнения людей знаменитых ученостью или гением, и даже сла-

бости свои обратить смело и свободно на служение этому Богу. Совершенством не будешь, а помоги нам, Господи, только внимать себе и молиться!

IV

До сих пор я говорил почти исключительно о мужчинах, потому что их религиозность несравненно важнее женской. Надежды серьезные надо основывать на такой религиозности, которая в силах *перерости* рационализм и отрицание, а не на такой, которая *еще не доросла* до них, — на такой
¹⁰ вере, которая умеет справляться с требованиями научно-образованного ума, а не на такой, при которой эти требования слабы.

Религиозность мужчин почти настолько же важнее религиозности женщин, насколько вера людей ученых, богатых и благовоспитанных важнее веры людей простых, бедных, невлиятельных и неученых.

Женщины рано или поздно идут вослед за мужчинами точно так же, как сельский и вообще рабочий класс рано или поздно уступает идеям и вкусам классов, более образо-
²⁰ ванных и богатых.

Конечно, и религиозность простого охранения, религиозность одного сердца хороши, за неимением лучшего. Когда уже иссякла всякая надежда на религиозность *развития*, на религиозность *мысли*, то и они полезны, как тормоз, задерживающий разрушение.

И так как это уже всеми признаваемая аксиома, что у мужчин (и тем более у мужчин современно образованных) ум преобладает над чувством, то разумеется, вся сила в них. Куда склонится течение мыслей у наиболее развитых и вли-
³⁰ ятельных мужчин, туда позднее пойдут за ними и женщины, и народ.

Но если мы признали, что вера чистосердечная (женская и народная) полезна даже и в те времена, когда передовые мужчины охлаждаются к религии, то в такую эпоху, когда,

напротив, у этих передовых мужчин начинает замечаться отвращение к рационализму и безбожию и является поворот к вере, — женская религиозность своей беззаветностью и симпатичностью может удесятерить возрастание религиозных сил в целом обществе нашем.

Религиозное же движение теперь и среди женщин усиливается.

Женские общины, например, у нас открываются беспрестанно, и они полны. Идут в них теперь с большим увлечением не только вдовы или пожилые девицы, но девушки —¹⁰ очень молодые, красивые, благовоспитанные; иные даже с весьма хорошими средствами.

Здесь, например, в 15 верстах от Оптиной, при помощи и попечительстве оптинских старцев в течение каких-нибудь 5 лет из ничего создалась Шамардинская Казанская община, и теперь в ней уже более 400 сестер. Число образованных и обеспеченных женщин и девиц в настоящее время уже очень велико — и все растет. Есть и курсистки, есть обращенные из нигилизма. Я полагаю, что и это может служить доказательством тому, как возрастают в нашем обществе²⁰ православные чувства за последние года.

Дело, конечно, не в том, чтобы большинство девиц, вдов и жен, расставшихся с мужьями, стало монахинями, — это не нужно, невозможно и никогда не случится.

Но расчет здесь тот, и очень ясный, что монашество (даже по признанию людей вовсе не особенно церковных) есть *высший идеал* Христианства. Если есть довольно много умов и сердец, ищущих идеала высшего, то непременно будет в обществе еще несравненно больше таких характеров, которые удовлетворятся средним идеалом — идеалом³⁰ Христианства семейного и в этой средней сфере будут достигать *своего рода наивысшего* совершенства и достоинства.

Охлаждение к идеалу высшему, отвращение к его крайностям влечет за собою очень скоро глубокий упадок и того среднего состояния, которое сначала большинству казалось достаточным.

Протестантство отвергло все то, что в Римском Католицизме ему казалось крайностями, и в первое время своего торжества оно действительно было как будто искреннее, чище, святее и возвышеннее Католичества. Но прошло всего четыре века, и что же мы видим? Протестантство угасает и разлагается само собою и само в себе, без всяких почти внешних посягательств. А кто возьмется решить: какая еще будущность предстоит Католичеству? Протестантство сохранило в себе только все среднее; оно лишило себя всех

¹⁰ тех центров накопления религиозных сил, которые в Католичестве сохранились: монашеских орденов, папской и *действительной* епископской власти, обрядов и т. д., — но именно из этих-то «крайностей» и исходит в эпохи охлаждения то подновляющее действие, которого средние формы никогда дать не могут.

В обществе все живет в глубокой связи и движется во взаимном, нередко весьма тонком, мимолетном и сразу едва заметном, но глубоком психическом влиянии.

Одна молодая, красивая и вовсе не бедная девица идет в монастырь; другая — приезжает туда молиться, знакомится, узнает и начинает уважать основы учения, которое до тех пор казалось ей чуждым и даже противным; она выходит замуж; привозит потом с собою мужа и детей и т. д.

²⁰

Многие монахини находятся под духовным влиянием игуменьи (если она сумела внушить к себе доверие). Хорошая игуменья всегда ищет себе старца-руководителя. Через все эти прямые и косвенные воздействия — и семейные мiрыне приобщаются аскетическому учению и вносят его в свои дома. А что такое это аскетическое учение, как не учение воздержания вообще и *регулирование* наших чувств и действий во Имя Господне?

³⁰

Я знаю довольно коротко одну почтенную и примерную столичную семью. Отец — практический деятель, высоко стоящий на ступенях нашей государственной Иерархии. И он сам, и достойная глубочайшего уважения супруга его, и молодые дочери, и сын, сам уже женатый, человек светский, превосходно и утонченно образованный, — все они

искренно православные люди и все издавна состоят в сердечном общении с духовными старцами.

Глядя на эту семью и любясь на нее, я часто думал, что она сама по себе, по характеру людей, ее составляющих, быть может, и без религиозности, была бы нравственна и согласна. Может быть; но сколько бы поэзии и сколько смысла утратила бы она без этой религиозности, без этого мистического озарения, без этого общения со старцами, без этой любви к монашеству! Когда видишь, что этот бодрый семидесятилетний сановник спешит с радостью преклонить колена пред кроватью болезненного старца, чтобы принять его благословение, когда видишь, что этот светский, смелый, остроумный и начитанный сын (и сам уже отец семейства) превосходно читает в скиту шестопсалмие и не смеет выпить чаю пред обедней, чтобы иметь право вкусить антидора; когда видишь их веру и любовь к Церкви и монашеству, то восхищаешься той мыслью, что вот ни образованность, ни начитанность, ни многосложные заботы столичного труда сами по себе ничуть не могут быть препятствием ни горячей вере, ни даже той набожности, которую многие зовут «внешней», но которая неизбежно должна истекать из глубины внутреннего убеждения, если оно сильно, правильно и ясно.

И что такое, скажу еще раз, семья без религии? Даже Герцен, и тот признал, что строгая семья без религии, семья, построенная на одном рассудке и отвлеченном долге (по Прудону и немецкой философии), — это какая-то *ка-торжная* семья.

Я позволяю себе выразиться так: семья рационалистическая вовсе не рациональна. На что мне ее обязанности, если она равно чужда и страху Божию, и всей драгоценной поэзии внешнего культа? Этот последний до того важен, что я знал русских людей, которые в Бога не верили, но без светлой Пасхальной заутрени и без пасхи и красных яиц в семье обойтись не могли и не желали.

Я говорил сейчас про семью счастливую в житейском отношении. И прибавлю еще вот что: если члены этой счаст-

ливой семьи находят для души своей полезным общение с монашеством, то что сказать о семьях несчастных, несогласных, бедных, расстроженных?

От скольких бы несчастий, недоразумений, безумств, самоубийств могло бы предохранить людей влияние аскетического учения и вообще то, что можно назвать православной мистикой!

Надо правду сказать, в многолюдном и так и сяк образованном среднем классе нашего русского общества жизнь стала очень теперь тяжела. Физические силы вообще сла-
10 бы, вещественные условия часто жестоки, потребности и претензии велики, убеждения шатки, правила неясны.

Отчаяние, тоска или озлобление овладевают молодыми умами при первой же встрече с жизнью, при первых препятствиях и неудачах.

Нигилизм — так ясен и так выразителен!

Нигилизм ли наступательный — революция, убийства, смерть на виселице. Нигилизм ли пассивный — револьвер, хлороформ, дигиталин и морфий, — все это прямо, сильно,
20 ясно! Против ясного, сильного и прямого нельзя действовать средствами средними, осторожными и умеренными. Нельзя надеяться на внушения практического рассудка, на родительские и учительские советы своекорыстного житейского благоразумия, на одну долбню классического воспитания, на умеренно «консервативные» статьи газет и журналов.

Против крайнего и прямого нужно другое — крайнее и прямое.

Христианская мистика (я говорю именно мистика, а не
30 одна мораль), учение аскетизма, вера в мою, в мою личную загробную жизнь, учение страха Господня, страха, неизбежно перерождающегося в любовь в сердцах благородных, — это весь тоже прямая, ясная, сильная. Она может воспламенять молодые сердца, она может покорять характеры сильные и умы независимые!

А не эта жалкая чистая этика; не эта презренная и умеренная, немного стоическая, немного эпикурейская мо-

раль — рациональной буржуазности! «Что мне до нее!» — скажет смелый русский юноша, и будет прав.

Я приводил в пример семью религиозную и живущую в согласии и любви.

Но нетрудно вообразить себе и таких супругов, которые оба благочестивы, оба веруют, но не в силах любить друг друга и не могут жить в согласии. Никакой искренний человек не станет уверять, что для семейного согласия и мира достаточно одной религиозности. Это, конечно, была бы бесполезная ложь. Простолюдины наши, например, вообще¹⁰ религиозны. Но много ли в их среде семейств, которые нам покажутся счастливыми? Мы знаем, что творится в их семьях! Но, во-первых, в большинстве случаев простолюдины наши представляют собою крайнюю противоположность нашей «интеллигенции». Как бы дурно ни вела себя на практике жизни эта русская «интеллигенция», она все-таки (за последние полвека) привыкла думать больше о морали, чем о вере; простолудин же русский, наоборот, больше думает о вере, чем о нравственности, из нее истекающей. «Интеллигенция» готова по мере душевных сил своих (ве-²⁰сьма, впрочем, теперь незначительных) принимать моральные выводы Христианства, но неохотно доверяет его мистическим основам. Простолудин наш — наоборот; не сомневаясь ничуть в этих мистических основах, он уж слишком мало заботиться о моральных выводах. Я не на то указываю, что он дает своим страстям (конечно, более сильным и грубым, чем наши) побеждать свои правила: это случается беспрестанно со всеми христианами без исключения. Все грешны, все должны бороться и все падают! Я указываю на то, что русский простолудин очень мало думает даже о³⁰ правилах христианской морали. Он ею недостаточно пропитан. Интеллигенция же наша, конечно, более мужика чувствительная к этой морали, слишком отстала от мистических основ ее — и только теперь начинает как будто бы к ней возвращаться.

Идеал же Христианства есть гармоническое сопряжение того и другого. Или точнее сказать: ясное понимание мисти-

ки христианской и сердечная ей преданность неизбежно повлечет за собой улучшение и морали.

Светская литература в течение долгого времени приучала общество наше смотреть на брак и семью слишком идеально. *Но романтический и моральный идеализм и христианский спиритуализм — большая разница.* Брак есть духовное таинство, а не достижение сердечного идеала. Последний может легко обмануть, а таинство для верующего человека — все будет таинством. Верующий человек и в¹⁰ несчастливом браке о святине этого таинства не забудет. И если жить вместе станет уже невозможным, то недовольные друг другом, но оба сильно верующие супруга разойдутся по обителям, а не станут ни убивать друг друга, ни развлекаться на стороне. И детям даже, если они есть, — пример будет совсем иной.

Для семьи нужна православная мистика. Она смягчает горести несчастной семьи, она озаряет счастливую семью светом наивысшей поэзии.

Для сохранения основных начал этой мистики, для на-²⁰копления ее объединяющих преданий необходимы монастыри. Их влияние на семейную жизнь, прямое и косвенное, незаменимо *ничем* — никакой иной педагогией, никакой своевольно-мягкой моралью.

Поэтому хорошо, что столь многие образованные и благовоспитанные девушки и женщины (вдовы или в семье уже слишком несчастные) идут теперь в женские общины; хорошо, что они постригаются; хорошо, что они подчиняются старцам и живут их наставлениями.

Хорошо это не только для них самих, для спасения их³⁰ собственных душ, — это хорошо и для мірян, это для всех нас полезно, это для целей России благотворно и, усиливаясь, может стать для нее и спасительно, ибо отразится неизбежно на всей мірской жизни.

Честь и слава этим труженицам благого примера. Бремя добросовестного монашества — не легкое бремя. Они сеют, а мы только жнем; мы только «входим в их труд!»

И это новое движение русских женщин также признак немалого значения!

И оно хотя и не так многоценно, по моему мнению, как религиозный поворот в умах образованных мужчин, но все-таки свидетельствует сильно о подъеме православных чувств в современной нам России.

Прочно ли все это? Кто знает!

Вера в истину Церкви Божией не требует непременно веры и в *постоянное торжество Церкви земной*, «воинствующей», а тем более, когда речь идет об одной местной¹⁰ Церкви, о русской, и даже точнее выражаясь — о русском обществе.

Верить безусловно в прочность и глубину этого прекрасного движения я не обязан (хотя бы и пламенно желал верить); однако, судя по общему ходу европейской истории и особенно по безвыходности мысли западной* перед вступлением в новый XX век, можно надеяться, что все большее

* Когда речь идет о безвыходности западной мысли во второй половине XIX века, то необходимо прежде всего указать на книгу г. Страхова — «Борьба с Западом». Я убежден, что тот, кто не прочел внимательно оба тома этого замечательного труда, не может понять, в чем же именно состоит эта безвыходность, с тою ясностью, с которой он поймет это после прочтения. Положим, что и в этой книге, как и вообще в сочинениях г. Страхова, *тоже* нет ясных «выходов в жизнь»; нет никакого положительного, осязательного, так сказать, идеала; но зачем требовать от писателя непременно того, чего он дать не может; гораздо лучше извлечь себе пользу из того, в чем он силен. Г. Страхов — прежде всего критик. И «Борьба с Западом» есть только критика почти всех европейских воззрений, систем, идеалов и надежд за последние полвека. Но критика эта превосходна и верна до неотразимости! Перед читателем проходят друг за другом: Фейербах, Дарвин, Ренан, Дж.-Ст. Миль, Штраус, Герцен (как разочарованный в Западе — западник), коммунары и т. д. И всюду вывод отрицательный по отношению к тем идеалам, которым Европа так пламенно начала служить с половины прошлого столетия и, по роковой инерции, продолжает на практике жизни служить до сих пор, уже чуя их несостоятельность.

Другого труда в этом роде и близкого по достоинству у нас нет.

и большее разочарование наше в этой западной мысли будет много способствовать тому, чтобы *супернатурализм** в умах наших надолго бы взял верх над утилитарной рациональностью, износившейся за сто лет господства.

10 А в этом-то супернатурализме и состоит вся главная и основная сила движения. Ибо при расположении ума ко всему сверхчувственному и при возрастающем у нас отвращении к последним плодам всеуравнивающего и всепринижающего прогресса, — церковное учение наше и *настоящая* церковно-христианская мораль (т. е. не оскобленная со всех сторон до мертвенной сухости) найдут себе легкий доступ в русское теплое сердце, не напрасно тоскующее!

Жаль только, что заглавие этой книги крайне неудачно и не соответствует содержанию. Ее нужно бы назвать не — Борьба с Западом, а — *Самоосуждение Запада*. Только один Герцен еще у места при таком заглавии. Если бы вслед за Герценом являлись бы не Ренан, Фейербах и т. д., а Киреевский, Хомяков, Аксаков, Данилевский, Катков (*последнего периода*) и др(угие) русские, боровшиеся в литературе, политике против западных идеалов, то тогда название книги было бы правильно; а теперь оно ошибочно. Но эта беда, конечно, небольшая, и если бы от меня зависело, то я бы *молодых людей прежде всего ее бы заставлял читать!*

* Для непонимающих: «супер-натурализм» — учение обо всем сверхъестественном, вера в сверхъестественное. Будет это вера правильная или нет, все равно. Православная или Католическая вера в чудеса и таинства, Хлыстовщина, Мусульманство, спиритизм, вера в домовых, оборотней, ведьм, в колдовство, гаданье: все это одинаково относится к *супер-натурализму* и все это (как ни различно) но несравненно лучше, чем *общечеловеческая земная польза* (рассудочный *утилитаризм*), идеалы которой в том, чтобы *все люди* от полюса до полюса стали *мирны, образованы, счастливы* и похожи на нынешних западных буржуа.

НАД МОГИЛОЙ ПАЗУХИНА

Сколько бодрых жизнь поблекла
Сколько низких рок щадит!
Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терзит!

(Жуковский,
«Торжество победителей»)

Умер Пазухин, которого имя так неразрывно связано с великим *исправительным* движением 80-х годов. Давно ли мы погребали и гр(афа) Дмитрия Толстого, который сумел¹⁰ оценить Пазухина и избрал его себе в помощники в то время, когда решился так смело и почти неожиданно приступить к перестройке расшатанного эгалитаризмом российского государственного здания?

Рухнули в вечность два столпа Церкви Русской — Алексей и Никанор.

А «Вестник Европы» жив. Издаются по-прежнему «Новости», и все тем же Нотовичем. Даже Шелгунов, и тот еще печатает свои творения.

И все эти русские и полурусские Терзиты не только²⁰ живы и действуют, но даже за последние два года им посчастливилось втянуть в свою заразительную трясику и такого Аякса мистической и философской мысли, как Владимир Соловьев!..

И старый безумец Лев Толстой продолжает безнаказанно и беспрепятственно проповедывать, что Бога нет, что всякое государство есть зло и, наконец, что пора прекратить существование самого рода человеческого на земле.

И он не только жив и свободен, но и мы сами все, враги его бредней, увеличиваем его преступную славу, возражая³⁰ ему!..

Как же быть? Что делать? Чему верить? На что нам надеяться?

Разные течения жизни и мысли русской теперь так противоположны и так сильны.

Начнешь думать, начнешь вспоминать то, что видел, что слышал, что читал за последние пять лет... И не знаешь — какому чувству дать волю: радости или скорби за родину? — надежде или унынию? — стыду или гордости? Правильные, здравые, целительные русские чувства и понятия, правда, растут, растут с давно неслыханною силой; но и силы разрушительные, идеалы космополитической пошлости ничуть еще не хотят сдаваться... А в соседней и, к несчастии, уже столь близкой нам по духу Европе все чаще и чаще слышны глухие удары подземного огня.

Медленно, но *верно* растет вглубь и вширь сила *последней* революции, наслыханной до нашего века в истории попытки все сравнять в однообразии «среднего» рабочего человека.

В Португалии, в Бельгии, в Италии, в Англии, во Франции, в Германии — везде на глазах наших все зреет и зреет социальный вопрос.

Религия везде почти в презрении или открыто гонима.

В значение монархического начала для Европы XX века (который все ближе и ближе к нам с каждым днем) кто, по совести говоря, может верить? Разве тот, кто не умеет читать живую книгу современной истории...

Все западные континентальные державы на глазах наших легко могут стать такими же умеренно-якобинскими республиками, как Франция.

Даже *лично* все современные нам Монархи Запада не обещают ничего особенного; все они, за исключением Вильгельма II, или бездарны, или малолетни, или бессильны. Ни об одном из них не слышно ничего знаменательного.

Вот и мудрейшие из всех людей на Западе — представители римского духовенства — и те, в лице Кардинала Лавижери, предлагают Церкви своей примириться с республикой...

В Европе теперь единственная, пока еще действительная, монархическая сила видна только в положении Герман-

ского Императора. И то благодаря лишь тому, что «военные лавры» Гогенцоллернов еще свежи и не помяты жестокой рукой исторического рока. Но Император Вильгельм хочет мчаться «на всех парах» к мечтательным целям, и пошатнись только он, потерпи только он одно серьезное поражение на поле какой-нибудь битвы, — что останется тогда в разъединенной либерализмом Германии от Монархии Гогенцоллернов, кроме исторической памяти?

Да! Европа идет все быстрее и быстрее теперь к осуществлению того идеала всеобщей «мещанской» республики, о котором многие только мечтали и писали полвека тому назад. ¹⁰

Мне могут возразить, что социализм рабочих есть злейший враг того капиталистического мещанства, которое исключительно господствует в таких республиках, как нынешняя французская, и все без исключения республики Нового Света; и что, признавая неотвратимый и непрерывный рост социализма, нельзя верить в будущность того якобинизма, который по сию сторону Атлантического Океана осуществлен пока лишь в одной Франции... ²⁰

На это я отвечу так: конечно, повсеместное господство мещанского капитализма может быть весьма непродолжительно. Но *пережить* его придется всей Европе неизбежно. С чистой повсеместной капиталистической и «рациональной» республикой социализму, выждав свое время, гораздо легче будет справиться, чем с таким более сложным обществом, в котором Церковь, Монархия и высшие сословия еще не совсем утратили свое влияние.

Окончательная победа социализма или совершенная его негодность одинаково могут обнаружиться с полной ясностью только тогда, когда, по выражению Карлейля, «голод и дендизм (богатство, роскошь) станут лицом к лицу». Только тогда возможно будет решение этой страшной тяжбы, когда, кроме этих двух антагонистических сил, богатства и нужды, труда и капитала, не будет уже никакой третьей, вне их и над ними стоящей, регулирующей и примиряющей общественной силы. ³⁰

Религия играет теперь везде на Западе второстепенную и служебную роль; серьезные привилегии сословий и общин почти все давно уничтожены; еще держится кое-как Монархия.

Но и она должна погибнуть.

Еще в 40-х годах большинство представителей теоретического социализма утверждало, что демократическая республика есть та политическая форма, при которой единственно возможно осуществление социальных задач.

¹⁰ Вот почему я говорю, что меланкскую всеобщую и, быть может, и федеративную (т. е. *международную*) республику придется Западу скоро переживать.

Слова Прудона, сказанные им в 51-м году, оказываются теперь пророческими словами. «Церковь, — говорит он, — как умирающая старая грешница молит о примирении; боги ушли; цари уходят; привилегии исчезают; все хотят быть тружениками, „рабочими“. С одной стороны — потребности удобств и некоторого изящества отвращают в наше время уличную толпу от прежнего грубого „санкюлотизма“; с ²⁰ другой — аристократия, ужасаясь своей малочисленности, спешит укрыться в рядах буржуазии... Франция, выражая все более и более свой истинный характер, дает пример и толчок всему свету, и революция торжествует, *воплощенная в среднем сословии*».

Я совершенно согласен с Прудоном. Революция XVIII и XIX веков вовсе не значит террор какой-нибудь и казни (террор может быть и «белый»); она не есть ряд периодических восстаний (восстания Польши; восстания басков в Испании, Вандея во Франции были *реакционного*, а не ³⁰ *революционного*, не *уравнительного* характера); революция не есть какое-нибудь вообще *антилегальное* движение (не все *легальное* зиждительно, и не все с виду *беззаконное* разрушительно); такие определения *современного нам революционного движения* односторонни, узки и сбивчивы.

Если же мы скажем вместе с Прудоном, что революция нашего времени есть стремление ко *всеобщему смешению* и

ко всеобщей ассимиляции в типе среднего труженика, то все станет для нас понятно и ясно. Прудон может желать такого результата; другие могут глубоко ненавидеть подобный идеал; но и врагу, и приверженцу станет все ясно при таком определении революции. Европейская революция есть всеобщее смещение, стремление уравнивать и обезличить людей в типе *среднего*, безвредного и трудолюбивого, но безбожного и безличного человека, — немного эпикурейца и немного стоика.

Для Запада это ясно. Но кто возьмется решить теперь, ¹⁰ будет ли эта ассимиляционная революция *неотвратимо всемирной*, или найдет и она свой естественный и непреодолимый предел?

И если встретит она, наконец, могучий и победоносный отпор, — то откуда ждать его?

От «потрясенного Кремля»? Или от «стен недвижимого Китая»?

Подумаем, вспомним, окинем умственным взглядом нашим весь земной шар.

Где *новые*, сильные духом неизвестные племена? ²⁰

Их нет нигде. Азиатские народы — древни, африканские — бездарны, Америка — это все та же Европа, только более грубая и более бедная историческим содержанием. Америка, молодая государственно, — национально и культурно очень стара.

Все человечество старо. И недаром у него сухой рассудок все растет и растет; а воображение, чувство, фантазия и даже воля — все слабеют и слабеют.

Не молоды и мы. Оставим это безумное самообольщение! ³⁰

Быть в 50 лет моложе 70-тилетнего старика — еще не значит быть юным.

Быть исторически немного (быть может, лет на 100) моложе Франции, Англии, Германии — еще не значит быть молодым государством, а тем более молодой нацией, как думают у нас многие.

Печальная иллюзия! Опасная ошибка!

Не вернее ли, не полезнее ли, ничуть не падая духом, но и не ослепляясь привычными фразами, «не обростая словами»* (как любят обростать ими, например, все «чистые» славянофилы), сказать себе так:

— Нет, мы не молоды! В некоторых отношениях мы даже дряхлы и не чужды всем тем недугам, которыми обыкновенно страдают стареющие народы. Но есть старость — и старость. Есть организмы, которые очень долго могут бороться с одолевающими их недугами последующего разрушения, и есть другие, которые не в силах вынести такой долгой борьбы. И мы не молоды уже, но благодаря тому, что Правительство наше не отступилось от Церкви, и благодаря тому, что Церковь Восточная всегда считала и считает монархическую форму правления наилучшей формой для осуществления воли Божией на земле, — мы еще не скоро сдадимся. Мы не осуществили еще в истории назначения нашего; мы можем думать и мечтать об этом назначении весьма различно. Но несомненно и то, что мировое назначение у нас есть; ясно и то, что оно еще не исполнено.

¹⁰ Мировое не значит — сразу и просто космополитическое, т. е. к своему равнодушное и презрительное. Истинно мировое есть прежде всего свое собственное, для себя созданное, для себя утвержденное, для себя ревниво хранимое и развиваемое, а когда чаша народного творчества или хранения переполнится тем именно особым напитком, которого нет у других народов и которого они ищут и жаждут, тогда кто удержит этот драгоценный напиток в краях национального сосуда!? — Он польется сам через эти края национализма, и все чужие люди будут утолять им жажду

³⁰ свою.

Я говорю: важно и спасительно для стареющей России не только то, что Государство у нас не отступает от Церкви, но и то, что Восточная Православная Церковь монар-

* Это удачное выражение «обростать словами» принадлежит не мне, а Каткову. Катков про И. С. Аксакова говорил: «он весь оброс словами!» Удивительно верно!

хическую форму правления вообще почитает за наилучшую для *задержания* народов на пути безверия, для наиболее позднего наступления *последних времен*. И это не только у нас, в России, но и в среде восточных единоверцев наших так думали еще недавно все те люди, у которых религиозные чувства не были подавлены и совращены с прямого пути эмансипационным национализмом. Например, было время, когда именно самые умные и самые религиозные из греков находили власть Султана более полезной для *веры*, чем власть афинского парламента. Если все это позднее¹⁰ значительно изменилось, то, конечно, не *по существу* дела, но потому, что турки стали теперь слишком современными «европейцами», в самом дурном, антирелигиозном значении этого слова. Они стараются *ослабить* веру своих православных подданных, чего в старину они вовсе не имели в виду. В старину они угнетали *их самих*, как людей, но их *веры*, их церковных порядков они не касались.

Есть у меня небольшое поучение Епископа и затворника Феофана* под названием «Отступление в последние дни *міра*». 20

Вот как понимает этот мыслящий аскет великое, *мистическое* значение *какой бы то ни было* монархической власти, а тем более, конечно, православной.

Изобразивши сначала, как будут возрастать все больше и больше и неверие, и *разноверие*, до того, что, наконец, почти у каждого будет своя вера, Преосвященный Феофан продолжает так:

«Древние толковники Св. Писания силою, удерживающею явление антихриста, считали, между прочим, и Римское Царство. В их время, когда Римское Царство еще существовало, можно было на него указывать, основываясь на пророчестве Даниила. В наше время, если можно давать какой-нибудь вес подобной мысли, то разве в том отношении, если под Римским Царством будем разуметь Царскую власть вообще. Царская власть, имея в своих руках способ³⁰

* Тамбовского или Воронежского — не помню.

удерживать движения народные и держась сама начал христианских, не попустит народу уклониться от них, будет сдерживать его.

А так как антихрист главным делом своим будет иметь отвлечение всех от Христа, то он и не явится, пока будет в силе Царская власть. Она не даст ему развернуться и помещает ему действовать в его духе. Вот это и есть удерживающее.

¹⁰ Когда же всюду заведут самоуправство, республики, демократию, коммунизм, — тогда антихристу откроется простор для действия. Сатане нетрудно будет подготавливать голоса в пользу отречения от Христа, как это показал опыт во время французской революции прошедшего и нынешнего столетий. Некому будет сказать властное „veto” (не позволяю), а смиренного заявления веры и слушать не станут. Вот когда заведутся всюду такие порядки, благоприятствующие раскрытию антихристовских стремлений, тогда явится и антихрист. До того же времени подождет, удержится.

²⁰ На эту мысль наводят слова Св. Златоуста, который в свое время представлял Царскую власть под видом Римского государства. „Когда, — говорит он, — прекратится существование Римского государства (т. е. Царской власти), тогда придет антихрист; а до тех пор, пока он будет бояться этого государства (т. е. Царской власти), никто скоро не подчинится антихристу. После же того, как оно будет разрушено и водворится безначалие, — он устремится похитить власть и Божескую, и человеческую”. Можно бы возразить при этом, что народ сам будет блюсти свою веру. Но трудно допустить, чтобы вера с течением времени ³⁰ *расталась в своей силе все более и более. Приятно встречать у некоторых писателей светлые изображения Христианства в будущем,* но нечем оправдать их.* Точно, благодатное Царство Христово расширяется, растет и полнеет, но не на земле — видимо, а на небе — невидимо, из

* Напр<имер>, у Достоевского и Влад. Соловьева. (Примеч<ание> К. Леонтьева.)

лиц, и там, и здесь, в Царствах земных, приготовляемых туда спасительною силою Христоваго. На земле же Самим Спасителем предречено господство зла и неверия; оно и расширяется видимо, и когда уже очень возобладает, тогда дело будет только за почином; подай только кто-либо влиятельный пример или голос сильный, и отступление от веры начнется.

Этот почин и сделает антихрист. Отсюда можно заключить, что удерживающее явление его есть еще и то, что нет должной подготовки к принятию его, еще не взяли перевес неверие и нечестие, еще много веры и добра в роде человеческого» (Душеполезные размышления. Выпуск 7-й, 1881 г. «Отступление в последние дни мира» — Преосв<ященного> Еп<ископа> Феофана, стр. 9—14). Так думает Еп<ископ> Феофан.

Что же следует из этого? Какое отношение имеет это широкое, всемирное и печальное пророчество к тем скромным, по-видимому, практическим и даже будничным задачам, которые имели в виду граф Д. Толстой и Пазухин?

Отношение весьма тесное, по-моему.

Если стать на духовно-церковную точку зрения Епископа Феофана; если принять вместе с ним, что республика (в наше время, конечно) неизбежно, через равномерную и слишком большую личную свободу, ведет к безбожию, к торжеству антихристианских начал, ибо при этой форме правления нет уже никакой внешней силы, которая могла бы, посредством множества разнообразных мер ограждения, задерживать ход внутренней заразы, если вспомнить при этом о взглядах тех государственных людей и мыслителей, которые не верили в прочность Монархий смешанных, бессловных, эгалитарных, то станет ясно, что и с точки зрения истинного Христианства, духовно-церковного, именно в наше время неправомерность политическая (и даже отчасти гражданская) в высшей степени полезна и спасительна для самой личной веры.

Для задержания народов на пути антихристианского прогресса, для удаления срока пришествия антихриста (т. е.

того могущественного человека, который возьмет в свои руки все противохристианское, противоцерковное движение) необходима сильная Царская власть. Для того же, чтобы эта Царская власть была долго сильна, не только не нужно, чтобы она опиралась прямо и непосредственно на простонародные толпы, своекорыстные, страстные, глупые, подвижные, легко развратимые; но — напротив того — необходимо, чтобы между этими толпами и Престолом Царским возвышались прочные сословные ступени; необходимы боковые опоры для здания долговечного Монархизма.

Я позволю себе сказать даже нечто большее и совершенно противное преобладающему течению мнений и дел в XIX веке.

Сами сословия или, точнее, сама неравноправность людей и классов важнее для государства, чем Монархия.

Мы видели в истории долговечные, сильные, цветущие республики, более или менее аристократические; мы не видели долговечных демократических Монархий. Их, строго говоря, и не было никогда до начала XIX века, до воцарения Наполеона I. Были в древности Монархии более или менее демократизованные под старость; чисто-эгалитарных государств не могло быть уже по тому одному, что во всех них допущено было рабство. И, однако, далеко не полная равноправность последних веков Греции и Рима, например, была достаточной для их расслабления.

В могучей и столь культурной Венеции не было Монархии; власть дожа была ничтожна.

Англия (ныне уже демократизованная и столь уже похожая на все другие державы европейского материка) — исполнила в истории свое великое назначение не благодаря конституции своей, а вопреки ей. Если бы прочность, сила, творчество и т. д. зависели от самой конституции, то, перенимая у Англии только эту сторону ее жизни, все государства Западной Европы должны были бы возрасти во внутреннем могуществе своем. Однако мы видим, что все эти западные государства испортили конституцией свой древний и прочный государственный строй и шаг за шагом

идут к республиканской федерации, к утрате действительной самобытности. Из этого уже одного мы вправе заключить, что величие прежней Англии зависело гораздо более от политической *неравноправности*, чем от политической *свободы*. Политическая *неравноправность* была в Англии противоядием, противовесом политической свободе; лишь благодаря долгой *неравноправности*, Великобритания так долго, так успешно и поучительно *переносила* свободу!

В прежней Франции Монархия была самодержавна и ¹⁰ сословна; в Англии Монархия была издавна ограничена, но строй общества весьма *неравноправен* — где по закону, а где только фактически, но глубоко; в Венеции истинного Монарха вовсе не было, но была аристократия. И все три государства эти были в свое время великими, не по боевой только силе, а внутренне могучие, своеобразные (т. е. культурные) государства.

Общая черта политической жизни у них была только одна — *неравноправность*.

Вот прямая и откровенная постановка государственного ²⁰ дела, без всяких лжегуманных жеманств.

Кто может отвергнуть такие грубые факты?

Сословная Монархия, конечно, лучше и тверже аристократической республики, но аристократическая республика все-таки *надежнее* эгалитарной Монархии, воздвигнутой на *смешанной*, зыбкой общественной почве.

Нация, когда-то сословная, нация, которая росла и развивалась (то есть *разнообразилась жизнью в возрастающем единстве власти*), может, конечно, *доживать* свой ³⁰ государственный век в виде вовсе бессословной Монархии; она, эта смешанная и уравненная нация, может даже свершить еще великие и громкие деяния в последний период своего *отдельного* существования. Прежнее долговременное сословное развитие, разумеется, оставляет еще на некоторое время множество таких следов, таких *душевных на-выков*, преданий, вкусов и даже полезных предрассудков, что уничтожить все эти плоды сословности не могут сразу

новые впечатления и влияния бессословности; но если бессословность зашла уже слишком далеко; если *привычки* к ней вошли уже в кровь народа (а для этого гибельного баловства времени много не надо), если никакая *реакция* в пользу сословности уже не выносятся, то самодержавный Монархизм, как бы он силен с виду ни казался, не придаст один и сам по себе долговечной прочности государственно-му строю. Этот строй будет слишком *подвижен* и *зыбок*. Тьер уверяет, будто что еще Наполеон I жаловался на то, что эгалитарная почва Франции — *песок*, на котором ничего прочного построить невозможно. Быть может, руководимый гениальным инстинктом своим, он и к завоеваниям стремился не для того только, чтобы прославить себя и славою укрепить свою династию, но вместе с тем и для того, чтобы неравноправностью *национальной*, внешней, *провинциальной* возместить недостаток неравноправности внутренней, сословной, *горизонтальной*. Французы, все политически и граждански между собою равные, могли бы, в случае успеха, стать привилегированными людьми в среде всех других покоренных наций. Великие представители великих движений стремятся ко многому и бессознательно, повинувшись историческому инстинкту своему, которому они сами нередко и настоящего названия не умеют найти, и в разговорах своих указывают на другие побуждения, часто гораздо более узкие или низменные. Счастливо и не совсем еще дряхло то государство, где народные толпы еще могут терпеливо выносить *неравноправность* строя. Я даже готов сказать и наоборот: счастливо то государство, где *народные толпы* еще не смеют, где они не в силах уничтожить эту неравноправность, если бы и не желали ее терпеливо выносить.

Самой земной Церкви, или, говоря прямее и точнее, *самому спасению* наибольшего числа христианских душ, — по мнению духовных мыслителей, подобных Епископу Феофану, нужен могучий Царь, который в силах надолго *задержать* народные толпы (на неизбежном, впрочем) пути к безверию и разнородному *своеверию*. Чтобы этот Царь,

даже и *непреднамеренно*, положим, мог таким косвенным путем способствовать личному, загробному спасению многих душ, чтобы даже и в том случае, когда он, заботясь прямо лишь о силе земного Христианского Государства, мог этим самым *косвенным действием* увеличивать число избранных и для небесного Царства (как говорит Преосвященный Феофан), ему необходима опора неравноправного общественного строя. И потому всякий, кто служит этой неравноправности здраво, то есть *в пределах возможного и доступного по обстоятельствам и духу времени*, — тот, ¹⁰ даже и не заботясь ничуть о спасении хотя бы моей или другой живой души христианской, а делая только свое, как бы сухое и практическое дело, *служит бессознательно, но глубоко, и этому спасению*.

Прочны ли будут плоды теперешней исправительной реакции нашей; окажется ли дворянство русское на высоте своего не только национального, но, быть может, и мирового (по дальнейшим последствиям) призвания, — мы этого не знаем. Европеизм и либеральность сильно расшатали основы наши за истекший период уравнительных реформ. ²⁰ В умах наших до сих пор царит смута; в чувствах наших — усталость и растерянность. Воля наша слаба; идеалы слишком неясны. Ближайшее будущее Запада — загадочно и страшно... Народ наш пьян, лжив, нечестен и успел уже привыкнуть в течение 30 лет к ненужному своеволию и вредным претензиям. Сами мы в большинстве случаев не кстати мягки и жалостливы, и невпопад сухи и жестки. Мы не смеем ударить и выпороть мерзавца и даем легально и спокойно десяткам добрых и честных людей умирать в нужде и отчаянии. Из начальников наших слишком многие роб- ³⁰ ки, легально-церемонны и лишены горячих и ясных убеждений. Духовенство наше пробуждается от своего векового сна уж слишком нерешительно и медленно. Приверженцев истинно-церковного, богобоязненного, прямого, догматического Христианства еще слишком мало в среде нашего образованного общества; число их, правда, растет и растет... Но желательно видеть нечто *большее*. Писатели наши, за

немногими исключениями, фарисействуют и лгут. Пишут одно, а думают и делают другое.

Но сила Божия и в немощах наших может проявиться!

И недостатки народа, и даже грубые пороки его могут пойти ему же косвенно впрок, служа к его исправлению, если только Господь от него не отступится скоро.

Чтобы русскому народу действительно пребыть надолго тем народом-«богоносцем», от которого ждал так много наш пламенный народолюбец Достоевский, — он должен¹⁰ быть *ограничен, привинчен, отечески и совестливо стеснен*. Не надо лишать его тех *внешних ограничений и уз*, которые так долго утверждали и воспитывали в нем *смирение и покорность*. Эти качества составляли его душевную красу и делали его истинно великим и примерным народом. Чтобы продолжать быть и для нас самих с этой стороны *примером*, он должен быть *сызнова и мудро стеснен* в своей свободе; *удержан* свыше на скользком пути эгалитарного своеволия. При меньшей свободе, при меньших порывах к равенству прав будет больше *серьезности*, а при²⁰ большей *серьезности* будет *гораздо больше* и того истинного *достоинства в смирении*, которое его так красит.

Иначе, через какие-нибудь полвека, не более, он из народа-«богоносца» станет мало-помалу, и сам того не замечая, «народом-богоборцем», и даже скорее всякого другого народа, быть может. Ибо, действительно, он способен во всем доходить до крайностей... Евреи были гораздо более нас, в свое время, избранным народом, ибо они тогда были одни во всем мире, веровавшие в Единого Бога, и однако они же распяли на кресте Христа, Сына Божия, когда Он³⁰ сошел к ним на землю.

Без строгих и стройных ограничений, без нового и твердого *расслоения общества*, без *всех возможных настоящих и неустанных попыток к восстановлению расшатанного сословного строя нашего*, — русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути *всесмещения* и — кто знает? — подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их

выйдет Учитель *Новой Веры*, — и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь, из наших государственных недр, сперва бессословных, а потом бесцерковных или уже слабо-церковных, — родим того самого антихриста, о котором говорит Еп(ископ) Феофан, вместе с другими духовными писателями. Не надо забывать, что антихрист должен быть еврей, что нигде нет такого множества евреев, как в России, и что и до сих пор еще не замолкли у нас многие даже и русские голоса, желающие смешать с нами евреев посредством убийственной для нас равноправности. Покойный Аксаков тоже находил, что тот, кто способствует равноправности евреев в России, *уготовляет путь антихристу*. Я сам слышал от него эти слова.

Замедление всеобщего предсмертного анархического и безбожного уравниения, по мнению Еп(ископ) Феофана, необходимо для задержания прихода антихриста.

Для замедления всеобщего уравниения и всеобщей анархии необходим могучий Царь. Для того, чтобы Царь был силен, то есть и страшен, и любим, — необходима прочность строя, меньшая переменчивость и подвижность его; необходима устойчивость психических навыков у миллионов подданных его. Для устойчивости этих психических навыков необходимы сословия и крепкие общины.

Честь же и слава тем немногим «бодрым» людям, которые, подобно покойным гр(афу) Толстому и Алексею Пазухину, не «отчаялись в спасении отчизны» и сделали первые попытки, первые смелые шаги на пути нового органического и целительного расслоения нашего общественного материала. Плоды попыток этих еще зелены, самые попытки еще недостаточно, быть может, глубоки и решительны; но пять каких-нибудь лет для государства — немного времени. Будем ждать и надеяться...

В наше время одно уже решение *вступить* на подобный путь есть само по себе великое решение!

Слава Толстому! Слава Пазухину! Не их будет вина, если то доброе семя, которое они так честно и смело сеяли, не взойдет, как следует, и не даст хорошей жатвы русским

людям XX века. Не правительственные деятели, нам современные, будут виною этого бесплодия, а те земские сословия наши, о которых идет здесь главная речь, дворянство, если оно окажется недостойным стать опорой Царской власти, крестьянство, если оно до того уже развращено недавней полусвободой своей, что не сумеет ни стать хозяйственно на ноги, ни политически терпеливо понести более строгое и спасительное подчинение дворянам, даже и плохим.

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО ТЕОРИИ И СЛАВЯНОФИЛЬСТВО ЖИЗНИ

Думая все это время о гр(афе) Дмитрие Толстом, о Пазухине и о попытках укрепить снова общественный строй наш, до сих пор еще не совсем расшатанный, я вспоминал не раз и о славянофилах наших.

Я думал о взглядах Хомякова на дворянство и другие сословия наши; о статьях И. С. Аксакова в «Руси», в которых он признавал за дворянством нашим большое значение.

10

Вспомнил и о том, что Достоевский (которого также нельзя не причислить к славянофилам) говорил благоприятно об этом самом дворянстве русском в своем романе «Подросток». Но больше всего я думал о той «запальчивой» (по выражению цензурного ведомства) статье Н. П. Аксакова, за которую «Русское Дело» г. Шарапова было надолго запрещено (в 89-м году, если не ошибаюсь).

И я не только думал обо всем этом, но даже и сызнова многое перечел.

Хомякова надо оставить пока в стороне; все, что он писал о наших сословиях, «о служилых людях», о «дружине» и т. д. — было высказано около полувека тому назад, при существовании крепостного права и вообще при так называемых «Николаевских» порядках, которые в сущности были лишь твердым охранением общественных устоев, заложенных еще Петром I и Екатериной II.

Хомяков был бесспорно человек и глубокомысленный, и остроумный, и Россию в некоторых отношениях удивительно понимавший. Понимавший ее (в некоторых, повторяю, отношениях) так, как никто, быть может, ее тогда не понимал. Но ему не суждено было видеть не только всех тех ядовитых и гнилых плодов, которые принесли с собою но-

30

вые порядки (более европейские); но он не дожид даже и до удовольствия полюбоваться на те первые всходы нашего либерализма, которые, действительно, были свежи, благородны и прекрасны по искренности и здравомыслию своему.

Размышляя о недавнем и нынешнем состоянии русского общества и об истинно спасительной *дифференцирующей реакции*, на которую столь мужественно решилось вступить Правительство 80-х годов, на Хомякова оглядываться мно-
¹⁰ го — нет повода.

Его богословские труды и его взгляды на общекультурные отношения России к Западу несравненно важнее и жизненное его мнений по внутренним нашим делам. Мне кажется, что некоторые стороны первых никогда не утратят своего значения в истории русского сознания и во многих еще случаях будут служить опорой дальнейшему ходу как религиозного, так и национального у нас мышления. Когда же дело идет о наших внутренних порядках и об нашем современном общественном строе, то в его сочинениях мы
²⁰ найдем иногда полезные и остроумные указания исторические, но не найдем никаких, даже и отдаленных предчувствий того, что нам пришлось пережить со дня его ранней кончины.

Совсем иное дело оба гг. Аксаковы — покойный Иван Сергеевич и ныне живущий Николай Петрович (если не ошибаюсь).

Последний — человек еще вовсе не старый и на реформенных порядках возросший; Иван же Сергеевич лет тридцать до смерти своей провел в деятельной борьбе и в близком
³⁰ соприкосновении с действительною жизнью либеральной эпохи.

Они оба должны были бы видеть бессословную (или почти бессословную) жизнь России не из «прекрасного» мечтательного и теоретического «далека», не сквозь искусственные стекла какой-то национальной археологии («изба воеводская»; «изба земская»; «губные старости»; «целовальники» и т. д. ...); — а прямо таковою, какова она

есть, т. е. раз и навсегда или испорченную, или благоустроенную Петром Великим — в ее общественных основах.

С вековыми сословными преданиями надо считаться и надо как можно более дорожить многими из тех именно психических навыков, которые образуются у людей под влиянием долго повторяющихся (и быть может, даже наследственно передающихся) впечатлений разнородного сословного воспитания.

Дворянин, даже и не слишком «столбовой» — гораздо¹⁰ более чем купец, церковник и разночинец, — привык начальствовать над крестьянином; эта власть ему сродна и нередко даже приятна; он не прочь так или иначе «командовать» над мужиком; но всякий справедливый человек согласится с тем, что он же, дворянин, — и пожалеет мужика, и заступится за него, и даже иногда и побалует его гораздо охотнее, чем «коренной» купец, разночинец, церковник и в особенности чем свой же брат, разбогатевший мужик.

Мужик — привык испокон веку повиноваться «господам». Купцы, церковники, разночинцы — со своей стороны — издавна были привычны к мысли, что и они могут становиться дворянами и пользоваться дворянскими преимуществами, — один, достигая почетного гражданства, другой — государственной выслугой, третий — учеными и художественными трудами. Даже полководцы у нас при старых порядках бывали из «простых»; Граф Евдокимов был из простых казаков; Котляревский, «бич Кавказа» — был сын неважного священника.

В настоящее же время и дети крестьян освобожденных³⁰ (раз и навсегда, конечно!) от личной крепостной зависимости, имеют возможность, подобно людям всех других классов, достигать до высших общественных положений, если только выполняют необходимые для того образовательные условия.

И все русские люди, начиная от придворного сановника и до последнего батрака, давно знали и знают теперь, что

они повинуются одному и тому же Самодержавному Государю.

Что же тут худого?.. Это прекрасно, — это именно то, что нужно для долговечности государства: *разнообразие не смешанное, но организованное в единстве; разнородность положений и воспитания*, поставленные в некоторые юридические пределы для избежания *разнородности хаотической*, для предотвращения слишком быстрого смешения *социальных типов* и неопределенности, неустойчивости тех¹⁰ простых и основных *душевных навыков*, которыми главным образом определяется роль человека в жизни и сила его к ней приспособления... (Например, навык смело и умело повелевать, охотнее или неохотнее подчиняться; с любовью хозяйничать, или торговать; жить охотно в деревне или предпочитать город; служить военным или по гражданской части и т. д.).

Были неудобства в старых (дореформенных) порядках; некоторые тяготы их стали казаться чрезмерными и неудобноносимыми; их изменили; изменили прежде всего для *избежания худшего*; ибо *уступки после* какой-нибудь пугачевщины, даже и с чисто политической точки зрения, конечно, несравненно хуже тех эмансипационных мер, которые принимаются великодушно и предупредительно с²⁰ высоты Престола; первые унижают власть в глазах народа и раз навсегда компрометируют ее престиж; последние же, независимо от непосредственных плодов своих, уже тем спасительны, что, сохраняя этот престиж и силу за верховной властью, дают ей возможность, ничем не рискуя, приступить когда нужно и к исправлению того, что было через³⁰ край переделано в левую, слишком либеральную или уравнительную сторону.

Были в дореформенном строе неудобства, были тяготы неудобноносимые («по духу времени» больше, чем по *существу* самого дела), были несомненные опасности, — их постарались устранить, предотвратить, обезвредить... Чего же больше?

Почему же новейшая сословная реакция так не нравится «чистым славянофилам», «старым по духу», хотя и моло-

дым по годам?.. Славянофилы ведь всегда хотели независимости от Запада. «Запад гниет». Согласен. Но почему же непременно думать, что гниение это выражается только безбожием и рационализмом; а бессословность и равенство самых гражданских прав есть безусловное благо? Гниение это выражается и тем, и другим: безверием и безбожием в области философской; бессословным строем и спутанностью социальных типов в деле государственном.

Итак — уже одно то, что современная Россия (Россия 80-х годов) пытается и как бы инстинктивно стремится ¹⁰ свернуть и в деле привилегий и прав с *общеевропейского пути*, есть уже само по себе — и в славянофильском смысле хороший признак; может быть, даже самый лучший, не во гнев славянофилам будь сказано.

Славянофилы желают, чтобы Русское Государство было прочно, долговечно. Сословный строй в десять раз прочнее бессословного. При существовании крепких и *самоуверенных* высших сословий, привычных к власти и нетяготящихся ею — государства живут дольше. (Даже Турция, в которой, ²⁰ строго говоря, сословий не было ни у мусульман, ни у христиан, начала быстрее склоняться к упадку, как только права христиан стали расширяться, а права мусульман, бывших чем-то вроде иноверного дворянства, начали уменьшаться.)

Славянофилы всегда хотели, чтобы Россия жила своим умом, чтобы она была самобытна не только как сильное государство, но как своеобразная государственность.

Разве не самобытно, разве не своеобразно решение восстановить в *новой форме сословия в то самое время, когда и Германия значительно демократизована, благодаря соединению своему, — и в самой Англии право первородства лордов едва-едва держится?* ³⁰ С этой стороны, — с сословной, — старые славянофилы были и сами ничуть не оригинальны и для России не умели видеть самобытность и умственную независимость там именно, где она оказалась особенно нужной.

С этой стороны славянофилы представлялись мне всегда людьми с самым обыкновенным европейским умеренно ли-

беральным образом мыслей. И Государь Николай Павлович был прав, подозревая постоянно, что под широким парчовым кафтаном их величавых «вещаний» незаметно для них самих скрыты узкие и скверные панталоны обыкновенной европейской буржуазности.*

И еще о самобытности. Николай Петрович Аксаков в своей, к счастью,** не одобренной начальством статье («Русск(ое) Дело»; 89 г. № 6) вознегодовал на сословную реформу графа Дмитрия Андреевича Толстого.

¹⁰ «У нас не было настоящего дворянства, — говорил он. — Что такое русское дворянство? Оно больше ничего, как *наследственное чиновничество*». «Екатерина II только причислила коренные древние роды к тем новым родам дворянским, которые таковыми стали вследствие пожалования или выслуги». «Моему роду (Аксаковых) 600 лет, а мне только позволено быть наравне с Меншиковыми, Кутайсовыми» и т. д.

²⁰ В том же почти роде писывал и И. С. Аксаков о дворянстве. Статьи обоих Аксаковых очень хороши и с исторической точки зрения, быть может, совершенно справедливы. Но, с точки зрения *современной самобытности*, что же за беда, что это все было так, а не иначе? Тем лучше, что история нашего дворянства не похожа на историю западного; тем лучше, что оно выросло *органически*, сообразно потреб-

* См. сообщения о взглядах И. С. Аксакова на идеалы первой французской революции г-на Spectator'a («Русское Обзор(ение)» 90 года, октябрь). Я, с своей стороны, также могу (и готов при случае) рассказать о некоторых в высшей степени «европейских» выходах знаменитого славянофила.

** Я говорю — «к счастью», не по враждебному какому-либо отношению к пострадавшему «Русскому Делу» или к самому г-ну Аксакову. Избави Боже! Напротив того, я всегда ценил ум и ученость последнего; и «Русск(ому) Делу», как изданию весьма живому, во многом сочувствовал, и до сих пор жалею, что оно прекратилось. Я в свое время потому лишь порадовался цензурной каре, что по строгости этой меры мог судить, — как мало правительство расположено «шутить» дворянским вопросом.

ностям государственной жизни. У нас завоевания иноземного не было. Татары не остались жить между нашими предками, а ушли и брали дань. Если бы они, во времена Батыева, еще язычниками, расселились бы между русскими густо и обрусели бы, приняв вместе с Ханом своим Православие, то по естественным социальным законам у нас была бы, вероятно, аристократия *более постоянная*; более военная и по устройству своему более даже схожая с западной, несмотря на азиатскую кровь завоевателей.

Но этого не случилось; а потребности расслоения и *гра-*¹⁰
дательной дисциплины существовали, как существуют они всегда у растущего общества, как слабеют и пропадают они всегда у общества стареющего.

В России лет 300, 200, 100 тому назад были две нестерпимо-сильные общественные потребности: потребность этой градовой дисциплины, и с другой стороны, потребность освежать верхний общественный слой притоком новых сил из других сословий. И Государи наши удовлетворяли этим двум потребностям. Удовлетворяли они не всегда удачно; иногда слишком пристрастно или жестоко; но ошибаясь (быть может, даже и нередко) в частных случаях, — они, Цари наши, в общем и *существенном*²⁰
смысле исполняли свое историческое назначение — так или иначе расслоить Россию и этим самым возвеличить ее.

Да! возвеличить! Ибо пора же, наконец, сознаться громко, что и вся Россия, и сама Царская власть возрастали одновременно и в тесной связи с возрастанием неравенства в русском обществе, с утверждением крепостного права и с развитием того самого «наследственного чиновничества»,³⁰
которое так не нравится столбовому, 600-летнему — Н. П. Аксакову.

Ну, хорошо! Пусть это правда! «Русское дворянство не аристократично, не родовито», — как он говорит. Но что же дальше? Татары не остались у нас, к сожалению; не крестились — и пришлось обходиться домашними естественными средствами, придумывать *суррогаты* завоева-

нию — для подчинения всей этой простодушной, но беспутной и нередко буйной «меньшей братии» нашей. И это вошло уже в кровь нашу, — *прошедшее неизгладимо и порывать вполне с его преданиями было бы опасно и ошибочно*. Ведь вся история Европы в XIX веке есть не что иное, как история разочарования в рационалистических и эгалитарных идеалах XVIII века. Слава Богу, что мы стараемся теперь затормозить хоть немного свою историю, в надежде на то, что можно будет позднее свернуть на все иной путь. И пусть тогда бушующий и гремящий поезд Запа¹⁰да промчится мимо нас к неизбежной бездне социальной анархии.

Славянофилы всегда стояли горой за Самодержавие. Это прекрасно. Но они ошибочно думали, что этот величественный столп единоличной власти может долго стоять не колеблясь после того, как будут приняты все боковые его опоры, друг на друга столь государственно налегавшие.

Так ошибались старые славянофилы.

Зачем же младшим ученикам их подражать им во всем²⁰ *так просто?*

Нет! Не просто *продолжать* надо дело старых славянофилов; а надо развивать их учение, оставаясь верными главной мысли их — *о том, что нам по мере возможности необходимо остерегаться схождения с Западом; надо видоизменять учение там, где оно было ни с чем не сообразно. Надо уметь жертвовать частностями этого учения — для достижения главных целей — умственной и бытовой самобытности и государственной крепости.*

Сам И. С. Аксаков понимал, что глубокое видоизменение первоначальной славянофильской теории — неизбежно.³⁰ Он превосходно это выразил в своем предисловии к жизнеописанию Тютчева.

«Не как учение, воспринимаемое в полном объеме послушными адептами (говорит он там), а как направление, освобождающее русскую мысль из духовного рабства пред Западом и призывающее русскую народность стать на ступень самостоятельного просветительного органа в челове-

стве, славянофильство, можно сказать, уже одержало победу, т. е. заставило даже и врагов своих признать себя весьма важным моментом в ходе русской общественной мысли. Мы, с своей стороны, думаем, что оно не только исторический момент, уже отжитый, но и пребывает и *пребудет в истории нашего дальнейшего умственного развития как предъявленный неумолкающий запрос*... И далее: «Может потеряться из виду преемственная *духовная связь между первыми деятелями и новейшими*; многое, совершающееся под общим воздействием, но совершающееся в данную известную ¹⁰ пору, при известных исторических условиях, будет даже уклоняться, по-видимому, от чистоты и строгости некоторых славянофильских идеалов». «Некоторые, слишком поспешно определенные формулы,* в которых представлялось иным славянофилам будущее историческое осуществление их любимых мыслей и надежд, оказались или окажутся — ошибочными, и история осуществит, может быть, те же начала, но совсем в иных формах и совсем иными неисповедимыми путями. Но тем не менее раз возбужденное народное самосознание уже не может ни исчезнуть, ни прервать начатой работы»... и т. д. (Ф. И. Тютчев; М. <18>74; стр. 77—78). ²⁰

Какое верное, ясное понимание дальнейших судеб славянофильского учения!

Почему же славянофилы младшие, новейшие, не хотят узнавать той же теории *русской самобытности* — в *рас-
сложивших и прикрепляющих к земле (дифференцирующих
и объединяющих)* начинаниях 80-х годов?

Разве эти начинания, эти смелые и настойчивые усилия — *подражательны*? ³⁰

Разве они не вызваны неотложными практическими потребностями самой будничной нашей действительности?

* Как, например: либеральный панславизм — равенство прав и бессословность; поддержка болгарских безбожников в их восстании против церковных прав Вселенского Патриарха; свобода печати и т. д.

Разве они не связаны тесно с *русской историей последних двух веков?*

Разве они не соответствуют тем исторически приобретенным *душевному навыкам* населения, о которых я уже выше говорил не раз?

Я думаю, славянофилы согласятся, что национальное культурное Государство есть своего рода живой и развивающийся организм. Так думал и Данилевский, один из наиболее чтимых славянофильских учителей.

¹⁰ Он, видимо, находил, что организм культурно-государственный имеет много общего с организмами *физическими* (с растениями и животными).

Посмотрим же, что говорит об этих последних другой ученый (тоже, заметим, славянофил).

«Организм всегда содержит в себе не только свое настоящее, но и свое прошедшее и свое будущее. Отсюда легко заключить о границах нашей власти (над организмами). *Над прошедшим организма у нас не может быть никакой власти*, ибо мы не можем заставить организм иметь ²⁰ *других предков*, принять не тот тип, который он от них *наследовал*» (Н. Н. Страхов: «Об основных понятиях психологии и физиологии»; стр. 207).

Как мы отречемся от того *душевного* наследия, от тех *вековых привычек*, которые перешли преемственно к нашему народу и к правящим классам нашим от времен Михаила Феодоровича, Петра I-го, Екатерины II-й и Государя Николая Павловича?

Как мы от них отречемся?

³⁰ Мы не можем, *не разрушая* Россию, «заставить организм ее иметь *других предков*, принять не тот тип, который он от них *наследовал*».

С резко разграниченными сословиями Россия, в течение веков, стала той Россией, которую мы все знаем.

Россия же вполне бессословная не станет ли скорее, чем мы обыкновенно думаем, во главе именно того — *общереволуционного движения*, которое неуклонно стремится разрушить когда-то столь великие культурно-государственные

здания Запада? Наши Добролюбовы, Писаревы, Желябовы, Гартманы и Кропоткины — уже «показали» себя. Ведь и это своего рода призвание; и это — историческое назначение *особого* характера.

Но этого ли могут желать православные патриоты славянофилы?

Конечно, нет! Этого могут желать «деятели» и писатели совсем *иного* рода.

Но, разумеется, подобное «призвание» не может быть по сердцу таким честным русским людям, как Н. П. Аксаков, г. Шарапов или, например, сотрудники «Благовеста» (к сожалению, что-то притихшего).¹⁰

Почему же они держатся за всю *теорию* сполна до сих пор так упорно?

Зачем они хотят быть только «послушными адептами» учения о русской самобытности, такими адептами, какими *не быть*, в случае нужды, разрешил, так сказать, и сам И. С. Аксаков?..

Что за неумение узнавать свой *собственный идеал* в *иных и неожиданных формах*; не в тех, к которым приучила их *заблаговременная* теория!²⁰

«Истинная социальная политика есть та, которая не жизнь развивает из учения, а *учение из жизни*».

Это сказал Риль в своей книге «Страна и люди» — Риль, который своими «почвенными» наклонностями должен быть по душе славянофилам.

ДОСТОЕВСКИЙ О РУССКОМ ДВОРЯНСТВЕ

В последний раз, рассуждая о Славянофильстве и об отношениях его представителей к русскому дворянству, я упомянул о том, что Достоевский в своем романе «Подросток» отзывался об этом высшем сословии нашем довольно благоприятно.

Молодой герой его, незаконный сын помещика Версикова, описавши все приключения отца своего и борьбу своих собственных разнородных чувств, посылает свою рукопись в Москву, к *некому Николаю Семеновичу* на прочтение.

Я старательно искал в романе фамилию этого Николая Семеновича и не нашел ее. Сказано просто (в конце): «Николай Семенович, бывший мой воспитатель в Москве, муж Марии Ивановны»... и т. д.

Возвращая эти «Записки» молодому человеку с одобрением, Николай Семенович, между прочим, пишет ему вот что:

«Замечу кстати, что прежде, в довольно недавнее прошлое, всего лишь поколение назад, этих интересных юношей (т. е. подобных „подростку“) можно было и не столь жалеть, ибо в те времена они почти всегда кончали тем, что с успехом примыкали, впоследствии, к нашему высшему культурному слою и сливались с ним в одно целое.

И если, например, и сознавали в начале дороги всю беспорядочность и случайность свою, все отсутствие благородного в их, хотя бы семейной, обстановке, отсутствие родового предания и красивых законченных форм, то тем даже и лучше было, ибо уже сознательно добивались того потом сами и тем самым приучались его ценить. Ныне уже несколько иначе — именно потому, что примкнуть почти не к чему.

Разъясню сравнением или, так сказать, уподоблением. Если бы я был русским романистом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя. Говоря так, во все не шучу, хотя сам я совершенно не дворянин, что, впрочем, вам и самим известно.

Еще Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих в ¹⁰ „Преданиях русского семейства”, и поверьте, что тут действительно все, что у нас было доселе красивого. По крайней мере тут все, что было у нас хотя сколько-нибудь законченного.

Я не потому говорю, что так уже безусловно согласен с правильностью и правдивостью красоты этой; но тут, например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато. Я говорю как человек спокойный и ищущий спокойствия. ²⁰

Там — хороша ли эта честь и верен ли долг — это вопрос второй; но важнее для меня именно законченность форм и хоть какой-нибудь да порядок, и уже не предписанный, а самими, наконец-то, выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь да свой, наконец, порядок! В том заключалась надежда и, так сказать, отдых: хоть что-нибудь, наконец, построенное, а не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и сор, из которого вот уже двести лет все ничего не выходит.

Не обвините в славянофильстве; это я лишь так, от мизантропии, ибо тяжело на сердце! Ныне, с недавнего времени, происходит у нас нечто, совсем обратное изображенному выше. ³⁰

Уже не сор приростает к высшему слою людей, а напротив, от красивого типа отрываются, с веселою торопливостью, куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядкующими и завидующими. И далеко не единичный случай,

что самые отцы и родоначальники бывших культурных семейств смеются уже над тем, во что, может быть, еще хотели бы верить их дети.

Мало того, с увлечением не скрывают от детей своих свою алчную радость о внезапном праве не бесчестье, которое они вдруг из чего-то вывели целою массой.

Но все это философия; воротимся к воображаемому романисту. Положение нашего романиста в таком случае было бы совершенно определенное: он не мог бы описать в другом роде, как в историческом, ибо красивого типа уже нет в наше время, *а если и остались остатки, то, по владычествующему теперь мнению, не удержали красоты за собою.* О, и в историческом роде возможно изобразить множество еще чрезвычайно приятных и отрадных подробностей! Можно даже до того увлечь читателя, что он примет историческую картину за возможную еще и в настоящем.

Такое произведение, при великом таланте, уже принадлежало бы не столько к русской литературе, сколько к русской истории. Это была бы картина, художественно законченная, русского миража, но существовавшего действительно, пока не догадались, что это мираж. Внук тех героев, которые были изображены в картине, изображавшей русское семейство средне-высшего культурного круга в течение трех поколений сряду, и, в связи с историей русской, этот потомок предков своих уже не мог бы быть изображен в современном типе своем иначе, как в несколько мизантропическом, уединенном и несомненно грустном виде.

Даже он должен явиться каким-нибудь чудачком, которого читатель с первого взгляда мог бы признать как за сошедшего с поля и убедиться, что не за ним осталось поле.

Еще далее — и исчезнет даже и этот внук мизантроп; явятся новые лица, еще неизвестные, и новый мираж; но какие же лица? Если некрасивые, то невозможен дальнейший русский роман. *Но увы! Роман ли только окажется тогда невозможным?*

Не будет ли справедливее вывод, что уже множество таких несомненно родовых семейств, русских, с неудержимой силою переходят массами в семейства случайные и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе. Тип этого случайного семейства указываете отчасти и вы в вашей рукописи. Да, Аркадий Макарович, вы член случайного семейства, в противоположность еще недавним родовым нашим типам, имевшим столь различные от ваших — детство и отрочество.

Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства!¹⁰

Работа неблагодарная и без красивых форм. Да и типы эти, во всяком случае, еще дело текущее, а потому и не могут быть художественно законченными. Возможны важные ошибки, возможны преувеличения, недосмотры. Во всяком случае, предстояло бы слишком много угадывать. Но что делать, однако ж, писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему?

Угадывать и... ошибаться».

20

Так говорит у Достоевского *недворянин* «Николай Семенович» о русском дворянстве, и автор, видимо, сочувствует ему.

Признаюсь, что при чтении «Подростка» меня поразила *неожиданность* этого благоприятного для дворян общего вывода из рассказа, которого подробности производили на меня отрицательное, местами даже до болезненности тягостное и отвратительное впечатление.

II

Припомним — каковы эти русские дворяне в романе «Подросток».³⁰

Это, начиная с главного героя — Версилова, все какие-то расстроенные или запутанные люди; «психозные», как нынче любят называть. Старый князь Сокольский бес-

характерен и жалок. Старший, законный сын Версилова является на минуту в очень непривлекательном виде (когда он в пунцовом халате дает деньги своему незаконному брату, не допуская его даже к себе во внутренние покои дома, и тому подобное). Молодой военный, тоже князь Сокольский, который кутит, путается и, наконец, попадает в Сибирь. Все эти лица, кажется, не таковы, чтобы располагать кого бы то ни было к политическому, так сказать, доверию. Сам Версиров — это человек совершенно исключительный. Но исключительный не в том смысле, в каком могут считаться исключительными Рудин и Лаврецкий, Печорин и Вронский; Рудин своим энтузиазмом и красноречием; Лаврецкий прямою своих чувств и безукоризненностью; Печорин своей демонической страстностью и умом; Вронский здоровьем духа и силой воли; — нет, Версиров исключителен своей ненормальностью, своей неимоверной изломанностью, своей неестественностью. Это тоже «психопат», как почти все главные действующие лица Достоевского. Про таких людей, как Рудин и Лаврецкий, Печорин и Вронский, не только думается, что сами авторы знали их лично, но иногда читатель воображает даже, что он сам с ними был в действительной жизни знаком и близок. Не знаю, как другие, а я, по крайней мере, *так чувствую*, когда вспоминаю о *лицах* Толстого, Писемского, Тургенева, Островского, Маркевича и даже многих других, менее знаменитых, писателей. Из главных же лиц Достоевского я не помню ни одного, которого я мог бы вообразить действительным знакомым моим. Все главные характеры Достоевского представляются мне вариацией почти на одну и ту же психологическую тему: вариацией чрезвычайно талантливой, конечно, но все-таки вариацией на одну и ту же весьма субъективную и болезненную тему. В этом, конечно, и сила Достоевского; сила его лиризма и субъективности; но в этом и художественная слабость его. Тургенев, Писемский, Толстой, Маркевич, Островский ясно и верно *отражают* русскую жизнь. Достоевский глубоко *преломляет* ее, сообразно своему личному устройству. По романам первых че-

тырех писателей и по комедиям Островского иностранец, например, может весьма верно воображать себе самую действительность русскую; по романам Достоевского — он не узнает правды о *самом обществе* русском второй половины нашего века; он поймет только известное течение чувств и мыслей. По другим писателям можно изучать нормальную жизнь; по Достоевскому можно изучать только ее психопатию, ее крайние уклонения, быть может (я говорю: *быть может*), а главное — можно изучать самого автора, его идеалы, его собственные душевные извороты, его собствен-¹⁰ные горести, борьбу и мечтания.

От лиц Достоевского не веет правдой жизни; от них веет только правдой собственного сердца автора, его пламенеющей искренностью. За исключением разве преступников «Мертвого дома», весьма объективно изображенных, все лица Достоевского суть в самом точном смысле слова *создания* его воображения. И мне, например, прожившему весьма разнообразно до 60 лет и в самых разнообразных слоях русского общества, *ни одно из его лиц* никого из знакомых не напоминает. Чувства знакомы, хотя и с несравненно²⁰ меньшей напряженностью, и с меньшей исключительностью ухищренных изворотов; но *лица не знакомы* вовсе.

Поэтому я и «дворян» романа «Подросток» никак не могу считать хоть сколько-нибудь представляющими *действительное* дворянство русское. Ни Версилов, ни старый князь, ни офицер Сокольский, ни другие лица романа не годятся в *совокупности* своей в представители этого сословия; скажу больше: совокупность, составленная из таких людей, как все дворяне в романах Достоевского, не только не соответствует реальной совокупности, составленной из³⁰ точно такого же числа дворян, самых лучших, самых худших и средних, взятых из действительности, но она не соответствует даже и другой, *менее реальной* совокупности, составленной из дворян Тургенева, Толстого, Маркевича и Писемского.

Совокупность дворян Достоевского и нереальна, и ненормальна...

Но если так, мне скажут, на что же мне было мнение Достоевского о дворянах?

Дорого мне в этом вопросе мнение Достоевского и даже очень дорого потому, что публициста и моралиста я ценю в Достоевском несравненно выше, чем повествователя. «Дневник Писателя», не во гнев будь сказано поклонникам покойного романиста, — для меня во сто раз драгоценнее всех его романов.

¹⁰ Насколько мало у Достоевского в романах его и здоровья, и истинного чувства русской реальности (сравнительно с другими упомянутыми романистами нашими), настолько, напротив того, как моралист и даже иногда как политик, — он здрав и одарен в высшей степени «чутьем» того, что для России нужно.

Я помню то наслаждение, которое я сам испытывал, читая в 70-х годах его «Дневник Писателя», особенно во время борьбы христиан против Турции и во время нашей с нею войны.

²⁰ Его патриотизм, столь искренний и умный; его монархическое чувство; его религиозные стремления, не всегда правильные и ясные, положим, — но всегда глубокие и сильные; этот местами столь милый юмор (например: «За границей уверяют, что наши офицеры, которые сражаются в Сербии под начальством Черняева, — *социалисты*. Что за вздор, — говорит Достоевский, — *выпить* лишнее — это правда, русский человек слаб; ну а социализм — это неправда»). Если цитата не точна — прошу простить. Пишу на память.

³⁰ Он даже *тогда* предсказывал, что болгары будут благодарны нам. Предсказывал это и я, положим, в то же время; но ведь я прожил в Турции 10 лет и *видел*, что *такое* болгары! Мне было нетрудно это угадать. Но он, не выезжая из Петербурга, говорил это во время всеобщего увлечения славянами и являлся, таким образом, истинным прозорливцем с этой стороны.

Как верно понимал он (давным давно!), что без веры, без веры православной именно, народ русский, да и вся Россия станут никуда негодными. Он не только умом и любовью понимал эту истину, но и особого рода художественным чувством. Чтобы это стало яснее, стоит только вспомнить, с какой непривычной ему объективностью изображены и в самых романах его набожные простолюдины и купцы. Хотя бы в том же «Подростке» крепостной Макар Долгорукий, *номинальной* отец героя; или в рассказе этого же Макара деспот-купец, который загнал мальчика в реку, а потом, раскаявшись, женился на его матери и кончил жизнь, странствуя по монастырям. 10

Правда, в религиозных представлениях своих Достоевский не всегда строго держался тех общеизвестных катехизических оснований, которыми руководится все восточное духовенство наше, и позволял себе переступать за пределы их, то влагая в уста русских монахов предсказания о повсеместном превращении государств в одну на земле торжествующую Восточную Церковь («Братья Карамазовы»), то сам пророчествуя о какой-то непонятной и «окончательной» всеобщей «гармонии» земной жизни под влиянием некой особенной русской или славянской любви! 20

Его необузданное творческое воображение и пламенная сердечность его помешали ему скромно подчиниться стеснениям правильного богословия и разрывали в иных случаях его спасительные узы. Он переходил своевольно, положим, за черту общеустановленного и разрешенного, но зато он и всему тому поклонялся и все то читил и любил, что находится по ту сторону черты. Он только прибавлял нечто свое, излишнее и неправильное; но он ничего правильного, ничего издавна Иерархией освященного не только не отвергал, но и готов был всегда горой стоять за это правильное и освященное. 30

Мужика он любил не потому только, что он мужик, не потому, что он человек рабочий и небогатый; нет, — он любил его еще больше за то, что он *русский* мужик, за то, что *религиозен*.

Он звал русский народ «народом-богоносцем», подразумевая, вероятно, под этим словом не одних простолюдинов, но всех тех и «простых» и «не-простых» русских людей, которые искренно веруют во Христа.

¹⁰ «Народ-богоносец» это совсем не то, что «la sainte canaille» (*святая сволочь, святая толпа*) французских демагогов; у них уличная толпа свята *по тому самому, что она уличная толпа*, бедная, угнетенная и всегда будто бы правая. У Достоевского народ хорош не потому только, что он *простой* народ и бедный народ, а потому, что он народ *верующий*, православный.

²⁰ И вот этот-то «народник» православного стиля, этот всеми инстинктами своими столь *русский* человек, в заключение романа, исполненного дворянских слабостей и глупостей, дворянского беспутства и дворянской непрактичности, дворянской «психопатии», наконец, — говорит, что *дворянство нужно* и что только у одних дворян в России есть истинное *чувство чести*.

Вот что мне дорого!

Как он извлек это политическое нравоучение *из этого именно романа*, — я понять не могу.

Но даже и самое недоумение это для моей главной мысли выгодно.

³⁰ Если из «Подростка» можно нечто подобное извлечь, то тем более, я надеюсь, можно извлечь это из «Дворянского Гнезда», «Рудина», из «Войны и Мира», «Карениной», из «Масонов» Писемского или из «Перелома» Маркевича.

Если позволительно поставить подобный вывод в конце такой истории, где все главные дворяне изломаны, бесхарактерны и почти что ненормальны, то тем более это будет уместно по прочтении других вышеперечисленных романов, где мы встретим рядом со *всеякими* дворянами и дворян се-

рьезных, благородных, твердых, весьма образованных, честных и смелых, а главное — *нормальных* и вполне *правдоподобных* в изображении, *почти* лично знакомых каждому из нас. Глубоко верный *русский* инстинкт подсказал Достоевскому, что дворянство русское нужно, что нужен особый класс русских людей, более других тонкий и властный, более других изящный и рыцарственный («чувство чести»), более благовоспитанный, чем специально ученый и т. д.

Быть может, кончая этот роман свой, в котором дворяне так бестолковы и слабы, — Достоевский почувствовал в ¹⁰ глубине правдивой души своей, что он не совсем *прав* против русского дворянства; что *реальное* дворянство не виновато в том, что он сам не мастер изображать *возможно положительные* характеры из высших слоев общества, характеры, которые попадают у всех других хороших писателей наших, с которыми он и сам, наверное, в жизни встречался и знакомился и какими (прибавлю я) следует даже вполне *удовлетворяться* здоровому человеку, не гонясь за вздорными идеалами невозможного совершенства! Почувствовал это и прибавил: «а все-таки дворянство нужно!» ²⁰

Не такое, разумеется, какое в «Подростке», а *какое-то* все-таки нужно.

Нужен для России *особый* высший класс — людей. А кто говорит *особый* класс, этим самым говорит, что необходимы такие или иные *юридические ограды*. Без этих юридических оград все очень скоро смешивается и теряет силу, формы, выразительность.

Нужны *привилегии*, необходимы и особые *права на власть*. Достоевский был славянофил, но он был человек ³⁰ жизни, а не теории.

Если из того убеждения, что дворянство нужно, он не вывел нигде, что необходимы и политические *привилегии* для его сохранения, то это ничего не значит; не успел, случайно не додумался, не дожил, наконец, до 1-го марта, ни до предприятий графа Д. Толстого и Пазухина, ни до всего того, до чего мы дожили.

Хотите вы сохранить надолго известный тип социального развития? Хотите, — так оградите и среду его от вторжения незванных и избранных, и самих его членов от невольного выпадения из этой среды, в которой держаться им уже не будет никакой охоты, не будет ни идеальных поводов, ни вещественных выгод.

ЧУЖИМ УМОМ

II

Досуга у меня, слава Богу, много — и я думаю о чем хочу. — Именно думаю, а не мыслю.

Мыслить — скучно; — думать — даже и о грустном — приятно.

Мыслить — работа; думать — наслажден(ие).

«Мыслить надо как можно последовательнее», говорят люди, более моего привычные к этой *работе*. — Но ведь это иногда очень трудно; — потому что для всякого ума не все одинаково ясно и доступно; — одно яснее одному; — другое яснее другому. — И даже одному и тому же человеку в разное время одна и та же вещь кажется то понятнее, то непонятнее. — Поэтому для сохранения той строгой последовательности, которую требуют иные люди, — я вынужден насильственно и тяжело вникать умом и в самые темные для меня пункты; — обращать напряжен(ное) внимание именно на те звенья мысленной цепи, которые мне хочется пропустить... Это несносно, — и ничто меня к этому не обязывает; ни религиозн(ый) долг; ни патриотизм, ¹⁰ ни любовь к ближнему.

Я полагаю даже, что в такой манере — т. е. в привычке думать, не *мысля строго*, и к ближнему (т. е. в данном случае к читателю моих «Записок») — больше любви, чем в манере более строгой и связной. Для большинства читателей (да и для меня самого в *роли читателя*) — гораздо нужнее ясность и наглядность, чем все эти непрерывные и часто ложные и натянутые извороты отвлеченной диалектики.

У каждого ума своя «интимная», так сказать, последовательность — и последовательность *чужая* — дается нелегко, а иногда и вовсе не дается. ³⁰

Бог с ней с этой чужой последовательностью и строгостью так называемых «философск⟨их⟩ обоснований».

Бог с нею, — чтобы не сказать хуже!

Но отдельн⟨ые⟩ чужие мысли и даже целые отрывки чужой умствен⟨ной⟩ цепи... А! это другое дело!

Фет — еще 40 лет тому назад сказал:

Только пчела узнает в цветке затаенную сладость;

Только художник на всем — видит прекрасного след!

10 Я люблю иногда быть такой пчелой чужих мыслей; — порхающей с книжки на книжку. — Часто ни с того, ни с сего беру я с полок моих какого вздумается автора и раскрываю его наугад или где попало... И редко случается, чтобы это обходилось без пользы и без удовольствия для меня.

20 Вот и на днях думая все о том же, о Гр⟨афе⟩ Дм. Толстом, о Пазухине, о брошюре Кн⟨язя⟩ Цертелев⟨а⟩ «Свобода и Либерализм», о неравноправности, о сословиях, о необходим⟨ых⟩ условиях государствен⟨ной⟩ крепости и живучести, о разнородных путях личного человеческого развития, и т. п., я в задумчивост⟨и⟩ и почти нечаянно снял с полки двух известных писателей; раскрыл сперва одного; потом другого; — сперва русского, — г. Страхова, потом англичанина Герб⟨ерта⟩ Спенсера. — И тотчас же нашел в них обоих ту «затаенную сладость», которая мне нужна.

30 Потом — уже возбужденный ими, я отыскал мудрого и ясного Гизо, вспомнил о Дж.-Ст. Милле — который в одной книге своей уничтожает то, что превозносит в другой, — об аристократических наклонностях Ренана, о Риле, который говорит, что «не учением надо..... жизнь; а из жизни извлекать учение...» Об Ап. Павле, который сказал: «Кому честь — честь; кому оброк — оброк» и т. д. ...

Для того, чтобы вместе со Спенсером дойти до тех однородных, либерально-механических и добродушно-деревянных выводов — до которых он дошел — исходя из той мысли, что всякое человеческое общество живет и должно жить — организованным разнообразием, — я думаю, нуж-

но непременно родиться и вырасти в Конституцион(ном) государстве; да и то не во всяком; а в *нынешнем*; в демократизированном, в испорченном уже совокупным(и) усилиями Кобденов, Брайтов и Гладстонов... Только при долгом пребывании в атмосфере — такой узаконенной путаницы можно дойти до веры в то, что разнородное развитие отдельных лиц может продолжаться долго без прочной разнородности наций, классов, сословий, общин, провинций и т. д. То есть без неравноправности и отдельности — разных общественных групп и союзов.

10

В основе теории неотвратимая, *органическая* — *разнородность* строя общественного; — в результате — как идеал — всеобщая личная свобода и эгоистический альтруизм, т. е. такое более или менее схожее настроение всех людей, при котором сделать другим добро и удовольствие — будет — естественным состоянием каждого.

Если всякое общество *неизбежно* должно жить разнородностью; если главный признак возрастающей жизни и развития — есть *стройная разнородность* (как думает Спенсер), то как же будет держаться какая бы то ни было *стройность* без внешних принуждений? — Какая же возможна *разнородность* при всеобщей *равномерно(й)* личн(ой) свободе и при *однородной* у всех потребности и механиче(ской) привычке к эгоистическому альтруизму?... Что за бред! — истинно «европейский» бред, — достойный отживающего мира...

20

Читал я в детстве об одном морском раке, который зовется Бернард-Пустынник. — Он живет в раковинах; — но он не моллюск, а настоящий и даже хищный рак: из раковины выставлены на вид и глаза, и усы, и клешни крепкие, острые; но если вытащить его всего из раковины, то увидим, — что все остальное тело его мягкое, слизистое, незащитное... Оттого — он и прячет его.

30

Вот хорошее подобие теории Спенсера... Сначала — твердость, сила, жесткость даже — а дальше — незащитная слизь. — Сначала ясность и образность, под конец — хаос и туман...

Как же можно идти за ним до такого конца? — И кто ж мне велит — за ним туда следовать...

Что касается до нашего соотечественника, до г. Страхова, то с ним связать себя окончательно — еще труднее. У Спенсера — есть по крайней мере — одна выходная дверь — отверзтая прямо на скучную и опасную по бездонности своей трясину — политическ(ого) либерализма и того, что он зовет эгоистическим альтруизмом. — Другой двери и нет. Окупись — если хочешь.

¹⁰ Н. Н. Страхов совсем другое дело.

Он написал, например, книгу «Мир как целое»; — мне же все хочется и эту книгу и все друг(ие) труды его назвать: «Мир как круглое». Нигде — края нет; — никакого ясного, жизненног(о) вывода. — Его умственное здание прекрасно в подробностях; — но оно без плана и двери его открываются — во все стороны и тоже в какую-то туманную бездну. — То слышишь от него «Православие», «Православие» (и даже больше этого; — напр(имер), «гораздо понятнее и успокоительнее верить, что человек, внезапно убитый молнией, Богом наказан, чем объяснять это электричеством... Последнее гораздо обиднее...»). И в то же время — он разрешает Гр(афу) Толстому — своевольн(о) касаться высших святынь Христианск(ой) веры. — Он говорит в одном месте: «Народы, живите мирно» и т. д. ...

А сам поклонник Данилевс(кого), который прямо советывал нам подражать Бисмарку... А мы знаем, что значит подражать Бисмарку...

³⁰ Он хочет, чтобы песни и обычаи сохранял(ись) свято; а не хочет вспом(нить), что эти песни и обычаи охотнее создаются и лучше сохраняются у народов завоеван(ных), чем — у освобожденных и торжествующих... И т. д. И т. д. ...

Г. Страхов — это глубоко вдумчивый эпикуреец — мысли; — он любит и понимает все умное, все прекрасное, все глубокое, все остроумн(ое); но у него — нет ясного и твердого избрания. — Он может много способст-

вов(ать) развитию умов в смысле *расширения* взгляда, но этой ширине и разнообрази(ю) не он, конечно, даст *единство*.

Это единство практическо(го) выхода в жизнь — надо искать у других...

Разнородность его — это «разнородность хаотическая», как выражается Спенсер.

Но зато, как хороши и поучительны многие отдельно взятые страницы и строки его книг! — Как драгоценны, как изящны — отборные обломки его недостроенн(ого) ¹⁰ здания...

Как я люблю их выламывать и вставлять в мою собственную умственную цепь!

Вот, например, хоть бы этот отрывок об *организмах* из статьи

И далее:

«Можем ли мы распоряжаться типом?»

У нас есть две огромные области таких опытов, самый принцип которых состоит именно в *пользе* организмов и в избавлении их от вреда. — Первая область — медицина, ²⁰ старающаяся сохранять здоровье и излечивать болезни». (Надо бы сказать тут — *вторая*, т. е. «состоящая в избавлении от вреда».) Вторая область, — домашние животные и растения, которые человек постоянно стремится улучшить. — (Это скорее *первая*, т. е. та, которая относится до *наилучшего осуществления типа*.) Мне кажется, — это не одно и то же. — Другое дело усовершенствованные садоводство, цветоводство и огородничество; и стремление *улучшить породы*, усовершенствовать типы лошадей, собак, быков, голубей и кур; — и другое дело — медицина, ³⁰ ветеринарное искусство и защита растений от вреда. — Медицина, ветеринарное дело и заботы о том, чтобы устранить болезни винограда, картофеля и т. д. — это действительно *только устранение зла*. — Но — выработать *преднамеренно* — орловского рысака, английскую скаковую лошадь и какой-нибудь особый род голубя; — создать

великолепный, новый вид махрового цветка или плод небывалых размеров и прекрасного вкуса — это уже не есть одно *устранение* зла; а именно *положительное добро* для организма, которое по словам г. Страхова может состоять только в одном — «в наилучшем осуществлении его типа».

В смысле этого *положительного* улучшения, или *наивысшего развития* данного природой типа мы, конечно, можем им распоряжаться; но, разумеется, не в смысле создания типов небывалых и, вероятно, — невозможных.

Г. Страхов говорит еще вот что:

«Организм всегда содержит в себе не только свое настоящее, но и свое *прошедшее* и свое *будущее*. — Отсюда легко заключить о границах нашей власти. — Над прошедшим организма у нас не может быть никакой власти, ибо мы не можем заставить организм иметь других предков, принять не тот тип, который он от них наследовал. — Точно так же, мы не имеем власти над будущим организма. Нельзя вложить в организм новые задатки, направить его развитие в такую сторону, для которой в нем нет возможностей».

Меня опять не вполне удовлетворяет такое определение — дела.

Есть разница между прошедшим и будущим организма. — Прошедшее организма — правда — вовсе уже недоступно для нас; — но его будущее мы все-таки можем видоизменить, значительно повысить и понизить это будущее в пределах типа, данного прошедшим. — Разумеется — не только из дуба не сделаешь яблони; но даже и из яблони [*предложение не дописано*].

III

Прошедшее Церкви, государства, культурного типа, условия, нации, — решительно не в наших руках; — но на будущее этих общественных групп мы (дети прошедше-

го, — живущие в настоящем) — можем все-таки влиять значительно в пределах данного прошедшим типа, — мы можем способствовать *повышению и понижению* их дальней^{шего} развития или разложения. — И конечно — понижению типа, расстройству организма и даже его окончательной гибели — служить гораздо легче, чем служить повышению этого типа, чем укреплению этого организма.

Употребляя слово «легче», — я имею тут в виду — не тот вопрос, *когда отдельным людям сподручнее или безопаснее* свершать те дела, которые ведут к развитию или к разложению того или другого общественного организма; в период ли повышения типа или в период его понижения или разложения. — Этот вопрос очень сложен; — скорбей, труда и даже опасностей бывало и бывает много во все времена.

Я говорю об организмах социальных то же, что говорит г. Страхов об организмах физических. — Сами организмы легче поддаются порче и расстройству, чем наилучшему развитию и выздоровлению.

Чтобы *дорасти* от Гуго Капета до Лудовика XIV-го Франции потребовалось — около 500 лет; — а чтобы *низвести* ее государствен^{но-}культурн^{ый} тип от времен Наполеона I до республики Тьера, Гриви и Карно — достаточно было — только с небольшим *полвека* (от 1815—1871) 56 лет.

И наша дорогая отчизна развивалась (то есть *дифференцировалась, расслоилась — объединяясь* в то же время в вере и власти) — очень медленно. — Со времен Св. Владимира до времен Императоров Александра I-го и Николая — протекло — около 800 л^{ет}).

При Св. Владимире — впервые обозначились те культурные особенности, которые назначен был развивать (то есть *осложнять, объединяя*) — в недрах своих национально-государственный русский тип. — Православие и родовая удельная система, которая естественным ходом истории — должна была разрешиться в родовое Единодержавие — вот — существенные черты или особые признаки

будущего исторического типа нашего, которые первоначальными контурами своими обозначились уже 900 лет тому назад.

От Князя Владимира до Иоаннов; от Иоаннов до Петра; — от Петра до XIX века — организм России все более и более расслоился, объединялся, креп и рос. — В XIX веке после Екатерины II-й — он продолжал *расти*, обогащаясь новыми окраинами, новыми приобретениями, чуждыми русскому племенному ядру; — *единство — власти и господствующей веры* остались незыблемыми; но *внутреннее расслоение после Екатерины окончилось*. — При двух последующих Императорах (не считая кратковременн^{ого} царствования Павла I-го) — *дифференцирующий* процесс русской исторической жизни — продолжался только в направлении *вертикальном* (провинциальном), если можно так выразиться; процесс же *горизонтального* (сословного) *дифференцирования* — прекратился более чем на полвека. — Те незначительные изменения — которые вносились в сословные отношения наши при Николае Павловиче и Александре I-ом — можно пропустить без внимания, — по сравнению с такими актами или такими ступенями развития, как Табель о рангах Петра или Дворянская Грамота Екатерины. — Расслаивающие мероприятия Петра и Екатерины охватили всю жизнь огромного государства железной сетью систематической дисциплины; — дисциплина эта, приучавшая одних ко власти, а других к повиновению, способствовала развитию во всех слоях и подразделениях общества характеров сильных, страстных и выдержанных, сложных и цельных, тонких — и мужественно-грубых. — Переходы, переезды, скачки с должности на должность, от одного занятия к другому, частые перемены образа жизни, быстрые карьеры и внезапные падения — были редки и затруднительны. — Все это доступно было только избранным; самым богатым и знатным, или самым даровитым и сильным волей (хотя бы и на зло).

Если мы назовем трех великих представителей той эпохи, которую можно назвать *историческим раздыхом* на-

шим, — трех великанов религии, государственности и национальной поэзии — *Филарета, Николая Павловича и Пушкина*; — то этим будет сказано всё. — Как много у них общего в основах и как мало сходства и в *темпераментах* и в *роде развития*!

Внутреннее дифференцирование приостановилось — в отдыхе после долгой борьбы со внешним врагом (демократической Францией — отказавшейся раз навсегда от дифференциров^(а)ания).

Оно остановилось и дало в этом роздых^(е) на всех поприщах великие плоды.

А дальше — что?

Дальше я не решусь сказать так, как сказал в «Анне Карениной» Лёвину один умный и прямой помещик: «Эмансипация погубила Россию!»

И не скажу я этого не потому, что даже и лучшие реакционеры наши не решаются этого «жестокоего слова» произнести; — а потому что я сам не уверен в безусловной правоте этого помещика...

Что значит — «погубить» в подобном случае?

Погубить значит — приблизить посредством опасных мероприятий срок окончательного падения державы, срок ее окончательн^(ого) подчинения иностранцам или ее добровольного слияния — с какими-нибудь соседними государствами. — Иначе слово «гибель» — для государства понять нельзя.

Разумеется — всякий видит ясно, что России не только далёко до этого, но что она, напротив, даже вступает к XX веку в период *разностороннего* перевеса над другими.

Это *чувствуется* — не нами одними, но и теми народами, которых в одно и то же время — мы называем политическими соперниками нашими и нашими учителями в деле умственного развития.

Это ясно; — но ясно и то, что преобладание может быть прочное и может быть — непрочное; м^(ожет) б^(ыть) долговременное и м^(ожет) б^(ыть) скоропреходящее. — Унижение, падение бывают быстры и неожид^(анны) — в та-

кой поздний государстве(нный) возраст, в каком несомнен(но) уже находится Россия.

Мы не можем желать для родины нашей такого искусствен(ого) и эфемерного преобладания — каким наслаждалась Франция при Наполеоне III-м всего в течение 20 каких-нибудь лет!

Судьба древ(ней) Афинской Республики с этой стороны — тоже не может быть завидна. — Ее преобладающее положение продолжалось только полвека от Платейской победы до кончины Перикла (479—429).

Современная нам Германия — возвысилась политически на наших глазах и теперь тѣтено напрягает последние силы свои, чтобы сохранить свое высокое международное положение.

Долго за величественной фигурой Бисмарка — не замечались слабые стороны — построенного им здания; но великан удалился — и Германия — перестает мало-помалу быть страшной...

Не о таком эфемерном и пожалуй ненужном даже преобладании здесь идет речь.

Я сказал: ясно, что не только до гибели нам далеко; но — Россия вступает к XX веку в период разностороннего перевеса или преобладания над другими.

Однако из того, что я, подобно многим другим, вижу этот возрастающий перевес; — не следует, чтобы я собственно ему, *перевесу этому* — безусловно радовался.

Ибо только тот внешний перевес желателен, который будет способствовать — нашей *внутренней независимости* от демократической и несомнен(но) «гниющей» Европы. — Внешние успехи и удачи нужны нам для того, что зовется внутренним «подъемом духа»; они нужны для укрепления народного самосознания нашего; — для восстановления — расшатанных устоев внутреннего развития, внутренней дисциплины.

Не Афины — времен Фемистокла и Перикла, не Франция — двух Бонапартов — должны служить нам образцами; — а Рим и *прежняя* Англия, — всегда «медлительно спешившие».

Когда-нибудь погибнуть нужно; — от гибели и разрушения не уйдет никакой земной общественный организм, — ни государственный, ни культурн(ый), ни религиозный. — Самому Христианству — Спаситель — предрек на земле разрушение, и те, которые пророчат нам на этой Земле — некое небывалое и полнейшее торжество «воинствующей» (т. е. земной) Церкви — проповедуют нечто вроде ереси, противной не только учению Правосл(авного) Духовенств(ва), но и Евангельскому учению.

Погибнет и Россия когда-нибудь. — И даже когда,¹⁰ окидывая умствен(ым) взором — весь земн(ой) шар и весь состав его населения, видишь, что новых и неизвестн(ых) сильных духом племен ждать неоткуда, ибо их уже нет в среде несомнен(но) устаревшего человечества, — то можно — почти наверное предсказать, что Россия может погибнуть только двояким путем — или с Востока от меча пробужденн(ых) китайцев, или путем — добровольного слияния с общеевропейской республикан(ской) федерацией. — (Последнему исходу — чрезвычайно может посо-²⁰бить образование либерального, бессословного — Все-славянского союза.)

Есть и третий возможный исход, на который уже давно и не раз с ужасом и отвращением указывали враждебные нам европейцы: — «Россия это нечто вроде исполинской Македонии, которая пользуясь — раздорами Западных народов, — постепенно подчинит их всех своей монархичес(кой) власти».

Римом — нас не удостоивали, насколько я знаю, называть.

И с первого взгляда, подобн(ые) европейцы могут пока-³⁰заться правыми.

Македония не имела ни своих учреждений, ни своих нравов и вкусов. — Она имела только одну — силу — привычку к сильной Царской власти; со всех остальных сторон мы не видим в ее истории никакой характерности.

Рим, слабый и податливый в деле быта, нравов и вкусов, — был силен не столько — единоличной властью —

сколько самородными и глубокими учреждениями. — Благодаря воспитательному влиянию этих самородных учреждений, — в Римском государстве *вовремя* утвердилась единоличная власть и продержалась на Западе *целых 500 лет* (от Августа — до Ромула-Августула); на Востоке же — передана была Византии — еще на *целое тысячелетие*. — Религия и нравы изменились; законы — остались.

У нас нет — таких самородных и превосходящих все окружающее законов и учреждений; — с этой стороны мы ¹⁰ никого и ничему учить не можем. — Наша Царск(ая) власть прочна (*теперь*, после *уравнительных* реформ) не столько мудрыми и самородным(и) учреждениям(и), сколько — *чувствами* и живым(и) *потребностями* нашими. — С этой стороны мы действительно ближе к Македон(ии) чем к Риму; — но у нас сверх вошедших в кровь большин(ства) русских людей привычки и любви к Самодерж(авию) — есть еще нечто — великое, чего у Македонии не было — у нас есть *своя религия*, которая может получить с течением времени и *мировое на-* ²⁰ *значение*.

В настоящее время Православие имеет — только по существу своего учения — *мировой смысл*; — но оно еще не выразило в руках наших такого *назначения*, которое бы имели основание и право — назвать истинно *мировым*. — Ни Западные народы, ни Азиятс(кие) — толпами не переходят в него.

И будут ли переходить — мы этого не знаем...

Но мы чувствуем и даже знаем, что — близятся быстро времена, когда — два великих вопроса, два мощных течения ³⁰ — овладеют и увлекут человечеств(о) — быть может, до забвения всего остального...

«Хлеба и зрелищ!» — кричали римские толпы.

— Хлеба и Веры! хотя бы ценою новых видов рабства! — будут скоро кричать все народы Европы!.. Счастлив и могуч будет в такие времена тот народ — у которого Вера и привычка к повиновению будут сильнее, чем у других...

Будут ли они у нас к тому времени сильнее чем у всех других?..

Есть указания, что будут; есть надежды. — Есть и всем известные признаки обратного.

Примеров и тому и другому за последние года так много, — что одним только кратким и сухим перечнем таких примеров можно бы наполнить довольно большую книжку.

И если бы у меня спросили по совести — какой же мой — самый сокровенный сердечный, так сказать, вывод из этого множества противоположных примеров — я не ¹⁰ знал бы, что ответить! — Я говорю сердечный вывод — потому — что ясный *умственный* вывод в наше время так же невозможен, как невозможно было, напр(имер), во времен(а) иконоборств(а) — решител(ьно) пророчить — о том, какие убежден(ия) возьмут верх — убеждения Льва Исаврянин(а) или убеждения Феодора Студита. — И даже тот *смутный* сердечный вывод — который в наше время доступен — у меня — нерешителен.

На вопрос, *что*, по чувству сердца моего, должно взять верх в не слишком отдаленном будущем — *то, что я люблю, или то, что я ненавижу* (т. е. вера, власть и неравенство прав; или безверие, безвластие и дальней(шее) равенство?) — я бы ответил искренно: «Не знаю!» — Ибо другое дело сильная *любовь* — к идеалу веры, власти и неравенств(а); и друго(е) дело — твердая *надежда* на его осуществ(ление) в жизни, даже и неполное.

«Организмы обществ(енные) под(обны) орган(измам) физиче(ским)».

«Им необходимо гарм(оничное) дифференцирование; они живут разнообр(азием) жизни в един(стве) веры и ³⁰ власти».

«Вреди(ть) — организму легче, чем делать ему пользу».

Легче изурод(овать) организм, чем способств(овать) наивысш(ему) развит(ию) его типа!..

Организ(м) же наш с 61-го [года] это(го) века заболел эгалит(арным) либерализм(ом) — т. е. стрем(лением) к тому хаотичес(кому) и слиш(ком) подвижн(ому) разно-

образ⟨ию⟩, котор⟨ое⟩ Спенс⟨ер⟩ назыв⟨ает⟩ разложе-
ни⟨ем⟩.

Теперь — мы его лечим.

И не только лечим, но и мечтаем — довести его тип до того высшего развития, о котором говорит г. Страхов.

Вылечить же надо прежде от равенств⟨а⟩ и смешен⟨ия⟩ — сословия...

Без утвержд⟨енного⟩ разнородн⟨ого⟩ типа развит⟨ия⟩ внутрен⟨него⟩ нации, без это⟨го⟩ общ⟨ественного⟩ диффе-
10 рен⟨цирования⟩ в един⟨стве⟩ веры и власти — не будет устой⟨чивости⟩, не будет и того внеш⟨него⟩ предвари⟨те-
льного⟩ национ⟨ального⟩ обособл⟨ения⟩, без котор⟨ого⟩ и миро⟨вого⟩ назнач⟨ения⟩ своего невозм⟨ожно⟩ народу и государ⟨ству⟩ исполнить.

Вылечим ли?

Глупцов и легкомысленных люд⟨ей⟩ — так много!

Крепких и действит⟨ельно⟩ умных — так мало!

Бодр⟨ые⟩ Патроклы реакци⟨и⟩ умирают.

Презрен⟨ные⟩ Терситы — демок⟨ратического⟩ про-
20 гре⟨сса⟩ — живы и здоровы...

Помяни в паж⟨итех⟩ Твоих, Господи, малодуш⟨ный⟩ дух мой.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОРУДИЕ ВСЕМИРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

(ПИСЬМА К О. И. ФУДЕЛЬ)

I

Все то, о чем я здесь буду писать, самому мне давно уже ясно. И ясность эта, прибавлю, до того печальна, что я счел бы за счастье ошибаться. Я праздновал бы великий праздник радости, если бы сама жизнь или чьи бы то ни было убедительные доводы доказали бы мне, что я заблуждаюсь. Боюсь, однако, что я останусь правым... Боюсь, как бы история не оправдала меня...¹⁰

Я говорю, что эта мысль моя о разрушительно-космополитическом значении тех движений XIX века, которые зовутся «национальными», мне самому давно уже казалась столь поразительною, что я в известном вам сборнике моем («Восток, Россия и Славянство») не счел и нужным даже подробно ее развивать. Я полагал, что и так она всем будет понятна. — Стоит только *указать* на нее. Однако в этом я ошибся, как видно. — Оказывается, что нужно больше фактов, больше примеров.²⁰

Я понял это из вашего ко мне последнего письма. Вы пишете мне так:

«...Необходимо прежде устранить некоторые задерживающие мою мысль препятствия. — Так, например, на стр. 106-й, I т{ома} вашей книги встречаемся с такою мыслью: „Идея национальности в том виде, в каком ее ввел в политику Наполеон III, в ее нынешнем модном виде, есть не что иное, как тот же либеральный демократизм, кото-

рый давно уже трудится над разрушением великих культурных миров Запада". — Вы очень часто высказываете эту же мысль, но опять-таки везде также сжато и *кратко*. — И эта мысль мне очень симпатична. Я чувствую, что она истинна, но только чувствую это, а не понимаю логически, ибо вы не даете никакого ключа к уяснению ее. Очень часто я обдумываю эту мысль; придумывал несколько гипотез в объяснение ее, но задачи все-таки не решил и поэтому обращаюсь к вам с просьбой о помощи. — Почему именно можно сопоставить вместе идею национализма и либеральный демократизм, — когда, по-видимому, они так противоположны: демократический процесс сравнивает, равняет все разнородное, упрощает его, а национализм обособляет разнородное, разъединяет разные народности. — По-видимому, это так; но я чувствую, что в сущности тут одно стремление к смешению и слитию. Почему же?»

Я хотел было ответить кратко на эти ваши вопросы, но это оказалось невозможным. Я не мог удержаться. Обилие фактов, подтверждающих мою грустную мысль, до того велико, что одни только они, эти факты (как вы увидите), почти без рассуждений потребовали не письма, а целой статьи.

Вы хорошо сделали, однако, что предложили мне все эти вопросы. Без вашего письма едва ли бы мне пришло когда-нибудь на ум взяться за этот труд. Я благодарен вам за этот неожиданный толчок. В мои года писать прямо и преднамеренно для печати, какая, скажите, может быть особая охота, если не видеть сильного сочувствия, если не *ощущать* ежедневно своего влияния.

Когда *есть охота*; когда *пишется* — прекрасно. А не пишется и даже не думается о том-то и том-то... И это хорошо! Может быть, даже это и лучше.

Не говорите мне о «долге» или о «пользе» общей! Для этого опытному человеку нужна та *иллюзия*, которую может дать только большой, невольно возбуждающий нас успех... Не говорите также по этому поводу и о Христианстве. Долга *своевольной* индивидуальной проповеди Хрис-

тианство не признает. Церковь от верующего *такого* долга не требует; она, вы знаете, требует совсем иного; скорее противоположного. Не надо писателю-христианину воображать себя слишком полезным даже и тогда, когда его труды ни прямо, ни косвенно не противоречат церковному учению.

Значит — строгой религиозной *обязанности* писать политические статьи, даже и крайне консервативного духа, не существует... Простительно, положим, было бы увлечение; но для подобного увлечения нужна, повторяю, *та* иллюзия, ¹⁰ которую может дать только огромная популярность. Подобной иллюзии у меня нет, вы это знаете. Ее и быть не может. Зачем же мне принуждать себя к писанию? Зачем твердить все то же? В России, которую мы с вами оба так любим, *в общем* дела теперь идут довольно хорошо. Признаков утешительных, обещающих все большую и большую независимость духа нашего от либерального (т. е. революционного) Запада, пока очень много. Прочно ли все это, покажет будущее, которого мне уже *не увидеть!*.. Значит, ²⁰ если Богу угодно, обойдутся отлично и без нас. Если же Богу *не угодно*, чтобы все эти добрые (антилиберальные) начинания наши принесли в этом будущем богатые и прочные плоды, то что же мы-то с вами можем противу этого сделать? Особенно я, на краю могилы?

Итак, в случаях, подобных этому, у меня нет ни свыше предписанного долга, ни иллюзии.

Остается — охота или неохота и больше ничего! Не грех, конечно, писать о чем-нибудь в известном духе, не противном учению Церкви; но еще менее грех молчать, когда никто не обращается к вам настоятельно с просьбой *вра-* ³⁰ *зумления*.

Было время, лет десять, пятнадцать тому назад я еще мечтал своими статьями сделать какую-то «пользу»... Я верил тогда еще наивно, что я *кому следует* «открою глаза»... Вспомните мои *пророчества* о болгарах и сербах. Я постоянно оправдан позднейшими событиями, но не людской догадкой и не своевременной справедливостью критики.

Теперь я разучился воображать себя очень нужным и полезным; я имею достаточно оснований, чтобы считать свою литературную деятельность если не совсем уже бесплодной, то во всяком случае *преждевременной* и потому не могущей влиять непосредственно на течение дел.

Вот почему, не обратись вы ко мне с вопросами, не пришло бы мне и в голову вернуться еще раз к этому, как мне казалось, уже исчерпанному мною вопросу о *непонятом значении и вредных плодах той племенной политики, которую обыкновенно называют национальной*.

Для вас же собственно, для людей молодых и начинающих жить, я готов писать с удовольствием. Я стал писать охотно, письмо разрослось в целый ряд писем... И вот — я решился напечатать их.

Быть может вам, юношам, удастся то, что мне не выпало на долю; удастся заставить себя не только внимательно слушать, но и *отчетливо понимать*.

Дай Бог! И для вас, *пока еще немногих*, но искренних и надежных молодых людей, я буду с радостью распространяться о том, о чем много и рассуждать бы по-настоящему не следовало, до того все это ясно *по фактам*, по практическим результатам современной истории.

Ясно вот что:

«Движение современного политического национализма есть не что иное, как видоизмененное только в приемах распространение космополитической демократизации».

У многих вождей и участников этих движений XIX века цели действительно были национальные, обособляющие, иногда даже культурно-своеобразные, но результат до сих пор был у всех и везде один — *космополитический*.

Почему это так — не берусь еще сообразить...

Этот вопрос: *почему?* вернее всего должен быть обращен к особой, не существующей, кажется, еще в отдельности науке, которую можно бы назвать *социальной психологией*. Я за подобное психологическое объяснение не берусь; я хочу здесь просто напомнить только в общих чертах, как все это происходило и происходит еще в наши дни.

Как это люди ищут одного, а находят постоянно совсем другое? Я намереваюсь начертить краткую политическую историю этого великого и почти всеобщего самообмана, но не берусь объяснять те внутренние, душевные процессы (у главных ли политических деятелей нашего века, или у целых тысяч и миллионов ими руководимых), процессы — которые могли бы дать ключ к уразумению этой не только странной, но даже страшной истории.

Для меня самого это остается самой таинственной психологической загадкой, которую разрешит только время и ¹⁰ упорная, свежая мысль.

Политические результаты *видны*; течение событий — ясно, хотя и весьма извилисто. *Причины загадочны...*

II

Первое по времени движение национального характера в XIX веке было греческое восстание 21 года. Правда, что сербы нынешнего Княжества еще раньше греков восстали против Султана, но и освобождение их было вначале весьма неполное, и по шуму и влиянию своему в Европе — это движение было несравненно ничтожнее и бесследнее. ²⁰

Я не стану говорить ни слова о долгой и геройской борьбе православных и полудиких в то время элинов, я полагаю все это достаточно известным.

Борьба была жестокая и неравная; она потребовала вооруженного вмешательства держав и завершилась Наваринской победой Европы над Азией, Забалканским походом Дибича и Адрианопольским миром в 29 году. Маленькая, *весьма оригинальная* тогда Эллада достигла ближайшей *национальной* цели своей. Не будучи еще в то время в силах объединить *все свое племя** и освободить его из-под ³⁰ власти турок и англичан (на Ионических островах), — элины удовлетворялись пока небольшим свободно-нацио-

* Миллиона 4 или 5.

нальным государством в один какой-нибудь миллион. Но что же вышло? Большинство эллинофилов того времени ждали от этих возрожденных эллинов чего-то особенного в бытовом и духовном отношении. *Ждали и ошиблись.*

Творчества не оказалось; новые эллины в сфере высших интересов ничего, кроме благоговейного подражания *прогрессивно-демократической Европе*, — не сумели придумать. Как только удалились *привилегированные турки*, которые изображали собой нечто вроде чуждой аристократии, в среде греков, кроме полнейшей *плутократической и граммотократической эгалитарности* ничего не нашлось. Когда нет в народе *своих* привилегированных, более или менее неподвижных сословий, — то богатейшие и ученейшие из граждан, конечно, должны брать верх над другими. В строе эгалитарно-либеральном неизбежно развиваются поэтому весьма подвижные и не имеющие преданий и наследственности плутократия и граммотократия. Новая Греция не могла тогда вынести Царя своей крови, до того вожди ее, герои *национальной свободы*, страдали *демагогической завистью*! Она, эта новая Греция, не вынесла даже власти *президента* родной греческой крови — графа Каподистриа, и его скоро убили.

На чем же она, эта Греция, надолго (и доселе) примирилась? На королях *европейского и неверного* происхождения, во-1-х, а во-2-х, на конституции более либеральной, чем самые либеральные из западных. Греция оказалась даже неспособной иметь две палаты; пробовали учредить какой-то более охранительный сенат — не удалось! Все наи-либеральнейшие государства Запада (и в том числе и Соединенные Штаты Америки) выносят две палаты. Греки (а кстати сказать, и сербы, и болгары) не могли к этой более консервативной форме привыкнуть. Итак, если в главных чертах своих учреждений греки (а также и юго-славяне) разнятся чем-нибудь от Европы, то разве тем, что, не имея великих охранительных преданий (католических, национально-аристократических, не имея легитимистов, ториев, прусского юнкерства, польской и мадьярской магнатории

и т. п.), они еще легче европейцев делают во всем лишний шаг — на пути того же *сословного всесмещения*, которое разъедает Запад со времени провозглашения «прав человека» в 89-м году!

Вообще оттенки в *учреждениях*, отличающие новую Грецию от Запада, очень ничтожны и не характерны.

Посмотрим теперь, как отозвалась в Греции национальная свобода на быте и религии. Быт, положим, еще довольно оригинален (смотри «Одиссея», «Аспазию Ламприди» и др^(угие) мои повести); но он еще пока оригинален кой-где¹⁰ благодаря турецкому владычеству; кой-где благодаря спасительной дикости и грубости сельского и горного населения даже и в независимой Греции.

Это — оригинальность *охранения (старого)*, это — неоригинальность *творчества (нового)*. Охранение же от неразвитости, от отсталости ненадежно; надежно только созидание чего-либо *нового* или *полунового* высшими, более развитыми классами, за которыми рано или поздно, хотя или не хотя, идет народ.

Православие в селах очень твердо (тверже, пожалуй,²⁰ чем в России), но оно неосмысленно, просто, серо и не в силах бороться с афинским поверхностным рационализмом.

Греческое духовенство жалуется, что в Афинах религия в упадке (значит, ослабело главное обособляющее начало): она (религия) гораздо больше дает себя чувствовать в Царьграде, чем в Афинах, и вообще под турком больше, чем в чистой Элладе. Есть и анекдоты по этому поводу очень выразительные.

Итак, *национально-политическая независимость* у греков оказалась вредной и более или менее губительной для *независимости духовной*; с возрастанiem первой — падает вторая.³⁰

Разумеется, духовная зависимость от Запада, в которую впадают современные греки, остывая к Православию, не Католицизм (для искреннего стремления в Рим нужно быть все-таки религиозным; надо предпочитать одну мистическую веру — другой вере, такой же мистической и церков-

ной). — Но греки впадают в самую обыкновенную общеевропейскую рационалистическую пошлость... Опять *смешение, сближение, сходство; космополитизм идей и чувств.*

О быте, о жизни общественной не стоит много и говорить. Здесь — опять одни отрицательные отличия. Городской быт греков — та же Европа, — только суше, поскучнее, поглупее и т. д. Замечу кстати, что в общественном отношении есть даже весьма заметная разница между ¹⁰ фанариотами и афинянами, — *не к выгоде последних.* Фанариоты изящнее, тоньше, умнее в обществе... Афиняне немного пошлее.

Со дня освобождения эллинов и образования независимого Греческого Королевства (из одной только четверти всех подчиненных чуждой власти греков) до 59 и 60 годов ничего особенного на почве политического национализма не произошло. Было за это время два национальных восстания: Польское 31 года и Венгерское 48 года. Они оба носили *аристократический характер* и оба не удались. ²⁰ Заметьте это: эта черта будет повторяться.

В 59—60 годах совершилось освобождение Италии. Наполеон III, воображая, что создает для Франции вечного союзника, достаточно сильного, чтобы быть полезным, и достаточно слабого, чтобы не быть опасным, — победил Австрию, но хотел остановиться на полдороге: оставил Австрии всю Венецию (область), держал в Риме войско для защиты светской власти Папы и т. д. Эти меры его не привели ни к чему. По-видимому, они были еще *слишком консервативны; они недостаточно служили процессу эгалитарного* ³⁰ *всесмешения и всеплоскости.* Виктор-Эммануил и Кавур обманули хитрого Наполеона посредством весьма сложного приема. На юге Италии Гарибальди завоевал Неаполитанское Королевство и изгнал *древних охранителей Бурбонов.* На севере — сардинские войска разбили войска Папы и отняли у него часть территории; в Тоскане и других местах произошло подстрекаемое Пьемонтом *народное движение* — в пользу объединяющей короны Викто-

ра-Эммануила, и в очень короткое время объединилась вся Италия, за исключением части Папской области с Римом и Венецианской области, оставшейся пока у Австрии! Через 6 лет (в 66 году) эта почти объединенная Италия заключает союз с Пруссией против Австрии и получает в награду Венецианскую область. И, заметьте, опять каким сложным путем: итальянцы разбиты наголову австрийцами при Лиссе и Кустоцце; но союзные им прусские войска в это же время стоят уже под Веной. В порыве отчаяния Франц-Иосиф, желая освободить для защиты Австрии те свои войска, которые должны действовать в Италии, дарит по телеграфу Венецианскую область Наполеону III. Италия этим парализована, ибо Наполеон отдает немедленно эту территорию Виктору-Эммануилу, и война в той стороне останавливается. Пруссия также прекращает военные действия на севере Австрии (она боится между прочим того, чтобы Франция не вмешалась со свежими силами в борьбу). Мир заключен. Но как? Все в том же направлении *племенного объединения*, влекущего за собою большее *однообразие как в самой объединенной среде, так и по отношению сходства с соседними государственными обществами*. Силен ли или слаб был прежний Германский Союз с двумя большими державами во главе (Австрией и Пруссией) — это другой вопрос; но он был в высшей степени оригинален; то есть истинно национален и по внутреннему политическому устройству, и по внешней политической роли, и в особенности по общественным, бытовым формам. Пруссия не отнимает ни пяди земли у Австрии (она бережет ее на всякий случай, особенно противу будущего славянского объединения); она только по мирному договору изгоняет ее из старого Германского Союза и образует новый, более чистый, более племенной. (Австрия пестрила его, так сказать, своим участием в нем.) Пруссия, в разной степени подчиняя себе государства севера и заключая секретные (до поры до времени) договоры с немецкими государствами юга (Баварией, Вюртембергом и Баденом) — почти уже тогда объединяет все германское племя, за исключением 8 миллионов

австрийских немцев и Эльзас-Лотарингии (действительно немецких и отторгнутых прежде Францией).

Настает 70-й год. Франция побеждена; Австрия парализована угрозами России, которая основательно хотела предоставить дело судьбам единоборства.

Объединение германского племени сделало еще огромный шаг; Эльзас-Лотарингия отвоеваны; внутренний союз теснее; прусский Король избран Императором всей Германии.

¹⁰ Итальянское Правительство, пользуясь разгромом Франции, тоже угрожает своей освободительнице, и *французские войска уходят из Рима, предоставляя Папу его судьбе*. Итальянские войска вступают в Рим после незначительной стычки — и, как прекрасно выразился Данилевский, «*всемирный город Римского Первосвященника обращен в столицу неважного государства!*»

Объединение Италии и Германии теперь почти окончено. Италии остается приобрести еще лишь небольшой клочок от Австрии (признаюсь, забыл, как даже он и называется). ²⁰ Германии остается присоединить 8 мил(лионов) австрийских немцев и, пожалуй... наши Остзейские провинции. (Ибо если на нашей русской стороне, так сказать, идея демократическая, право *этнографического большинства* (эсты и т. п.), то на стороне немцев идея высшая, культурная и аристократическая в этом вопросе. Когда *настоящее*, искреннее Православие сделает в этом крае действительно большие успехи, тогда на нашей стороне будет право еще более высшего порядка; а пока, разумеется, один остзейский породистый барон сам по себе стоит целой сотни эстского и латышского разночинства. ³⁰ Пока мы еще в Остзейском крае служим все той же системе всеобщего уравниения. Все это так; я желаю говорить правду; но Германия, ввиду русской силы и Панславизма, с одной стороны, оберегает Австрию и не спешит отнять у нее ее немцев; а с другой, ввиду той же опасной русской силы, она при жизни Бисмарка не позволит себе воевать с Россией из-за одного Прибалтийского края. Это было бы слишком глупо! Напа-

дение на Остзейский край может быть *результатом* войны, одной из ее случайностей; но не будет ее *причиной* до тех пор, пока немцы управляются умными людьми.)

Таковы факты международной внешней политики. Но что же мы видим во внутренней жизни всех перечисленных народов и государств, которые боролись перед глазами нашими с 59 до 89 года? (Я пропускаю здесь нашу войну с Турцией, которая была тоже более племенного, чем религиозного или чисто государственного характера, и вернусь к ней после.)

10

Все эти нации, все эти государства, все эти общества сделали за эти 30 лет огромные шаги на пути эгалитарного либерализма, демократизации равноправности; на пути внутреннего смещения классов, властей, провинций, обычаев, законов и т. д. И в то же время они все много «преуспели» на пути большого схождения с другими государствами и другими обществами. Все общества Запада за эти 30 лет больше стали похожи друг на друга, чем были прежде.

Местами более *противу* прежнего крупная, а местами более *противу* прежнего чистая группировка государственности по племенам и нациям есть поэтому не что иное, как поразительная по силе и ясности своей подготовка к переходу в Государство космополитическое, сперва всевропейское, а потом, быть может, и всемирное!

20

Это ужасно! Но еще ужаснее, по-моему, то, что у нас в России до сих пор никто этого не видит и не хочет понять...

«Кто хорошо распознает болезнь, тот хорошо ее лечит», говорит старая медицинская поговорка...

30

Попытаемся же скорее, пока еще не поздно, распознать внимательно и смело тот недуг, которым страждет Запад; попытаемся распознать его во всех его видоизменениях и нередко обманчивых формах...

И тогда только, когда мы и с трепетом пророческого страха за свою дорогую родину, и с мужеством неизменной решимости взглянем печальной истине прямо в глаза, —

тогда только мы будем в силах судить, во-1-х, не болеем ли и мы, русские, той же таинственной и сложной болезнью, которая губит Западную Европу, *неорганически*, так сказать, *все в ней равняя?* — А во-2-х, далеко ли зашло у нас это самое разложение и есть ли нам надежда на исцеление? И как? И когда?

Ведь у нас на Востоке Европы идея либерального Панславизма тлеет под пеплом... Как с ней быть? И отказаться нам от нее нельзя, невозможно, невыгодно и опасаться ее
¹⁰ необходимо по аналогии.

Поэтому прежде всего, я говорю, *надо внимательно и подробно проследить эту племенную идею во всех ее проявлениях.*

III

Поговорим теперь подробнее об Италии и о тех плодах, которые созрели в этой классической стране на почве *национальной политики.*

Италия еще в 1-й половине этого века славилась и своеобразием и разнообразием своим. Близкая по племенному составу и языку к Франции и Испании — она весьма резко отличалась от них законами, духом, нравами, обычаями и т. п. Добродушная патриархальность и дикая жестокость; беспорядок и поэзия; наивность и лукавство; пламенная набожность и тонкий разврат; глубокая старина и вспышки крайне революционного духа...
²⁰

Все это сочеталось тогда в жизни разьединенной и отчасти порабощенной Италии самым оригинальным образом. И кого же она тогда не вдохновляла?!

Байрон, гениальным инстинктом прозревший грядущее демократическое опошление более цивилизованных стран Европы, бежал из них в запущенные сады Испании, Италии и Турции. — Там ему дышалось легче!
³⁰

О Франции он совсем почти не писал, и сколько помнится, и не был в ней; Англию ненавидел; на Германию тоже мало обращал внимания.

Самое лучшее и самое самобытно и зрелое его произведение «Чайльд-Гарольд» — все наполнено картинами этих одичалых южных стран...

Гете Италии обязан «Римскими элегиями» и знаменитым характером «Миньоны»; Пушкин мечтал об Италии и писал об ней. У Жорж-Занд в романах есть множество итальянских характеров, обработанных с особою любовью и даже с пристрастием.* Alf. de Musset любил Италию не менее других художников и поэтов. Италии же обязан Ламартин одним из лучших и живых своих произведений — романом «Грациелла». «Рим» Гоголя вам, конечно, известен. ¹⁰

Самая отсталость Италии, полудикость ее восхищала многих. Прочтите, если можете, у Герцена об Италии; у Герцена все, что касается политики — бредни; но все, что касается жизни — прекрасно. Все были согласны, что Италия не сера, не буржуазна, не обыкновенна, не пошла. Все путешественники восхищались разнообразием не только природы ее, но и жизни, быта, характеров. За Альпами начинался для англичан, французов, русских, немцев какой-то волшебный мир, какая-то прелестная разнovidная панорама от Ломбардии до Рима и Сицилии. Говорят даже — экипажи, способы сообщения, упряжь — все было в то время разное. При этом Италия тогда была сравнительно бедна. Не было железных дорог, гостиницы были плохи; разбой, лень на юге и т. д. *Но все эти недостатки были необъяснимым и неразрывным образом сопряжены с теми именно привлекательными чертами, которые составляли отличительные признаки итальянской самобытности (культурной, бытовой, эстетической).* Искусства замечательного уже давно не было в Италии (за исключением музыки), ²⁰ *пластика отражений* в духе самих итальянцев иссякла; но *пластика жизни* зато вдохновляла иностранцев. Вот это настоящий обмен духовный, возможный только при сильной разнovidности!

* Теверино, Лукреция Флориани, Пиччинино, Даниелла и т. д.

Раздробленная и подчиненная где Австрии, где Церкви, где деспотическим Монархам Италия стала на наших глазах Италией единой, политически независимой; политически уравненной от Альп до Этны; однородно конституционной; несравненно более индустриальной, чем прежде, с железными дорогами и фабриками.

Она стала больше прежнего похожа на Францию и на всякую другую европейскую страну. Изменения внешнеполитического положения и внутренних учреждений с удивительной¹⁰ быстротой отразились в изменении жизни, быта, нравов и обычаев; вообще в опошлении тех самых картин духовно-пластических, на которых так блаженно и восторженно отдыхали вдохновенные умы остальной Европы.

Усилившись, Италия почти немедленно обезличилась культурно. Как политическая сила она все-таки остается презренной и неважной и не имеет будущего. Как явление культурное она на глазах наших утрачивает смысл свой; ибо, конечно, не ей предстоит впредь вести за собою Европу, не²⁰ ей творить; нового творчества у нее впереди не будет; сохранить же поучительную поэзию старого своего творчества, великие остатки свои (я говорю не о камнях, а об жизни) она не смогла, увлекшись жаждой приобрести ту политическую силу, которая целые века не давалась ей при раздроблении и зависимости.

Но, увы! Раздробленная, она царила многим над другими (Папством, искусством; странным соединением тонкости с дикостью и т. д.). Объединенная — она стала лишь «мещанин во дворянстве» сравнительно с Россией, Германией,³⁰ Францией и т. д. В политике — какая-то «переметная сума», у всех на пристяжке и всеми и везде побеждаемая.

В быту — шаг за шагом — как все!

Я не могу подробно вам рассказывать здесь, как неприятно я был поражен уже 20 лет тому назад (в 69 году) в Болонье контрастом между остатками средневекового величия в соборе, в феодальном университете и т. п. и видом се-

ро-чорной, такой же, как везде, уличной, отвратительной, европейской толпы! С какою радостью я, переехавши море, увидал в турецком Эпире, куда я назначен был консулом, иную жизнь, не эту всеобщую, проклятую жизнь пара, конституции, равенства, цилиндра и пиджака.

Да, впрочем, кто же из знавших Италию прежнюю теперь жив?

Никто. Но книги есть, картины есть, рассказы прекрасные есть. Сравните. Отыщите, напр<имер>, описания *прежних* пышных Папских процессий; *прежних* карнавалов *прежней* Венеции; *прежнего* развратного и набожного, деспотического и ленивого, но обворожительного Неаполя. Природа та же оригинальная, характер жизни, меняясь и меняясь, постепенно приближается все более и более к *общеевропейскому среднему уровню, к среднему типу*.¹⁰

Замечу, что, живя еще в Турции, я вырезал из одной иностранной (не помню какой) газеты статью о том, что теперь, после войны 71 года, предстоит Риму (т. е. после вступления в Папский Рим итальянского войска). В этой статье (быть может, клерикального происхождения) справедливо пророчили общеевропейское опошление жизни вечного города. И в ней говорили: «Процессий не будет, будет обилие фабрик и стачки голодающих рабочих, обычный комфорт заменит живописный беспорядок старого Папского Рима и т. д.».

Мне очень жаль, что эта вырезка потеряна или уничтожена.

Об Италии я кончил. Очень полезно было бы привести побольше картин и примеров, но я не в силах этого сделать, ибо тогда эти письма обратились бы в серьезную работу, которая потребовала бы бездну цитат и справок.³⁰

Но нет никакого сомнения, что все эти справки поразительно бы подтвердили то, что я говорю.

Теперь о Германии.

«A priori» тоже без всяких справок и примеров можно сказать, что если какая-нибудь нация была долго разделена

на множество государств, то в духе и быте ее, в ее нравах, учреждениях, обычаях и т. д. будет много разнообразия и своеобразия; а когда эта раздробленная нация сольется в единое государство, то неизбежно начнется процесс ассимилизации, сначала в верхних слоях, а позднее в низших. И факты подтверждают это. Стоит только вообразить католическую Баварию и Пруссию времен хоть Фридриха II или даже Наполеона I и между этими двумя крайностями Юга и Севера, Католицизма и Протестантства, представить себе Ганновер, С(аксен)-Веймар, Вюртемберг, Гессен-Дармштадт и т. д. Стоит только поискать в библиотеках прежние описания тех стран и государств и прежние о них суждения, как самих немцев, так и иностранцев, и сейчас будет ясно, как много и как скоро стала изменяться Германия после 66 и 71 годов; *изменяться к худшему в отношении собственно национальном — культурном, по мере возрастания политического единства, независимости и международного преобладания.*

(Я говорю, «независимости» в смысле относительном, ²⁰ ибо хотя все германские государства и самый Союз и прежде были *в принципе* так же независимы, как Россия, Австрия, Франция, Англия и Турция, но на деле старый Германский Союз был в международной политике слаб, нерешителен, зависим то от России, то от Франции (при Наполеоне I-м) и т. д. *Объединение*, значит, и в этом случае было солидарно с некоторой *эмансипацией*.)

Была у Каткова одна очень большая и превосходная передовая статья о том, как прежнее разъединение Германии было плодотворно для ее богатой, разнообразной ³⁰ культуры и как трудно ожидать, чтобы при новых порядках это богатство сохранилось. Что статья такая была — это верно, но была она напечатана в 71 или 72 году, этого я указать не могу. Конечно, не ранее 71 и не позднее 72 г. (Едва ли даже и в 73 г.) Хорошо бы найти ее вам в музее.

Есть также у меня три небольшие тома под заглавием: «Обзор современных конституций». Первые две части были изданы еще в 1862 году *людьми весьма либеральными*, как бы в «пику» нашему Правительству, «что везде, мол, даже и на Сандвичевых островах, есть конституции, а у нас нет». Конституционно-демократическое Королевство с двумя палатами в этом сборнике представляется почти идеалом; я говорю «почти», ибо и республики вроде швейцарской и северо-американской пользуются у авторов большим уважением. Но как бы то ни было, факты остаются фактами, и так как эта книжка впервые была издана в начале 60-х годов, когда о германском единстве не было и помина, то и она, изображая разницу между учреждениями разных немецких государств, даже и в $1\frac{1}{2}$ нашего века может также служить для подтверждения того, что нынешнее национальное единство принимает неизбежно нивелирующий, всеуравнивающий, более и менее эгалитарный характер; сводит с первых же шагов всех и все на путь чего-то среднего; сперва на путь большего противу прежнего сходства составных частей между собою, а потом и на путь большего сходства с наияснейшим первообразом новой Европы, с эгалитарно-либеральной Францией, уже с 89 года прошлого века стремящейся у себя уничтожить все сословные, провинциальные и даже личные в людях оттенки. Токвиль в своей книге: «L'ancien régime et la Révolution» первый стал жаловаться на то, что французы его времени, т. е. 30—40 годов, несравненно более между собою схожи, чем были их отцы и деды. В 50 годах Дж.-Ст. Милль издал замечательную книгу: «О свободе»; книга эта, положим, весьма неудачно озаглавлена; ее надо бы назвать: «О разнообразии», или: «О разнообразном развитии людей». Ибо она написана прямо с целью доказать, что однообразие воспитания и положений, к которому стремится Европа, есть гибель. «Свобода» тут у него вовсе некстати; ибо от него как-то ускользнуло то обстоятельство, что именно

нынешняя свобода, нынешняя легальная эгалитарность больше всего и способствует тому, чтобы все большее и большее количество людей находилось бы в однородном положении и подвергалось бы однообразному воспитанию. Однако, несмотря на эту грубейшую и непостижимую ошибку, в этой книге Дж.-Ст. Милля есть драгоценные страницы и строки, его же собственный либерализм беспощадно опровергающие; он тоже цитирует Токвиля и жалуется на современное однообразие англичан. В 50-х же

¹⁰ годах (кажется) вышла немецкая книга Риль «Страна и люди» (Land und Leute). Риль говорит, что в средней Германии слишком все уже *смешалось*, что там нет глубины и оригинальности и что остатки этой глубины духовной и оригинальности бытовой надо искать или на юге Германии, или на крайнем севере. Книгу эту, впрочем, я читал так давно, что не хочу указывать самоуверенно на те частности, которые остались у меня в памяти (не считаю себя вправе вполне доверять ей); помнится только, что природа (лес, пустые места, горы и т. п.) играют в этой книге Риль более значи-

²⁰ тельную роль, чем учреждения. Но это не беда; природа (до изобретения паровых и электрических сообщений) влияла, как всякому известно, глубоко не только на общие нравы и личные характеры, но и на учреждения. И наоборот, учреждения (особенно при нынешних средствах сообщения) глубоко влияют на природу. Общество везде нынче жестоко подчиняет природу (в том числе и личный характер, *натуру* отдельного лица). Например, при глубоко сословном строе времен Государя Николая Павловича едва-едва решились построить железную дорогу между двумя нашими

³⁰ столицами. *Не было потребности*; было меньше междусословного *уравнивающего движения*; было гораздо меньше надежд и мечтаний *переменить свое положение* и меньше поэтому потребности *переменить свое местожительство*. Движение всякого рода было тогда умереннее; положения были устойчивее, образ жизни в каждой общественной группе (у дворян, купцов, у белого духовенства и крестьян) были постояннее, тверже и вследствие этого обо-

собленнее в каждой группе. Только самые сильные в худом и в хорошем направлении, даровитые или особенно счастливые и хитрые люди или особенно оригинальные вырывались из своей группы так или иначе, добром или злом, но вырывались. Вместе с усилением свободного движения *личной воли*, хотя бы и дурацкой, *личного рассуждения*, хотя бы и весьма плохого, с освобождением и от духа сословных групп, и от общенациональных старых привычек усилилась и потребность физического движения; большее количество людей захотело ездить и ездить скоро; *скоро менять и место, и условия своей жизни*. Построилось вдруг множество железных дорог; стали вырубаться знаменитые русские леса; стала портиться почва; начали мелеть и великие реки наши. *Эмансипированный русский человек* восторжествовал над своей родной природой, он изуродовал ее быстрее всякого европейца. Таких примеров и обратных бездна.

Природа, «*натура*» человека, учреждения, быт, вера, моды — все это органически связано.

Едва ли, напр(имер), *слишком уравненная почва* нынешней Франции даст достаточный ход какой-нибудь *сильной натуре*, какому-нибудь новому Наполеону. Мы видели, как паутина демократической легальности запутала еще недавно даровитого и смелого Гамбетту.

Возвращаюсь опять к состоянию современной Германии.

Наполеоны и Бисмарки, т. е. люди, на других не похожие, само собою разумеется, нужны для того, чтобы дать толчок дальнейшему смещению, где сословий и классов, где провинций или независимых государств одного племени; но *результат* их деятельности все тот же *еще огромный шаг* ко всеобщей ассимиляции.

Германия объединенная, единая, сплошная, сохранившая только кой-где тени прежних Королей и Герцогов, общеконституционная, с одним общим ограниченным Императором, тесно связанная теперь одинаковыми военными, таможенными и т. п. условиями, *не только стала внутренне однообразнее прежнего, но и гораздо больше стала похожа строем своим на побежденную ею Францию*. Стоит то-

лько в контраст нашему времени вообразить картину и жизнь *единой и монархической* Франции хоть в XVIII веке и жизнь *тоже монархической, но раздробленной* Германии того же времени, — чтобы ясно увидеть, до чего *теперь культурная, бытовая, национальная* собственно разница между двумя этими странами уменьшилась.

Впрочем, я полагаю, и проверить все то, что я говорю, не особенно трудно человеку молодому, трудолюбивому и не ослепленному каким-нибудь предубеждением. Побольше
10 разных фактов, разных справок, и я, без сомнения, буду ими вполне оправдан.

Говорить ли здесь много об Испании? Я думаю — не стоит. Испания давно уже не была *раздроблена* политически на отдельные государства, как Германия и часть Италии. У нее не было, как у Италии, *целых областей, подчиненных* иностранной власти. Ей не нужно было ни *освободиться*, ни стремиться к *политическому единству*. Она просто прямо, *без изворотов*, шаг за шагом, подобно Франции и Англии, *демократизировалась* *внутренно* и
20 *стала сходнее с другими нациями* в течение этого исходящего XIX века. Есть у нее, правда, родственная по племени и независимая от нее Португалия; точно так же, как есть у Франции независимая (*пока еще*) *французская* же Бельгия; «время терпит!» Современные оттенки очень неважны с той высшей точки, с которой я смотрю. И эти оттенки могут легко сгладиться при первом внутреннем перевороте, ведущем к дальнейшей разрушительной ассимиляции или после какой-нибудь новой международной борьбы, в *наше время* *везде влекущей за собою бытовую бесхарактерность* как
30 победителя, так и побежденного, как поглощенного, так и поглотителя, как освобожденного, так и завоеванного.

Все идет к одному, к какому-то среднеевропейскому типу общества и к господству какого-то среднего человека. И будут так идти, пока не сольются все в одну всеевропейскую республиканскую федерацию.

Поэтому ни о Португалии, ни о Голландии, ни о Швейцарии, Дании или Швеции не стоит и распространяться по

поводу того широкого и серьезного вопроса, который нас занимает.

В культурно-бытовом отношении во всех этих небольших государственных мирах без того с каждым годом остается все меньше и меньше своеобразного и духовно, независимого. А политическая, внешняя независимость их держится лишь соперничеством или милостию больших держав.

V

Если бы случалось всегда так, что плоды политические, социальные и культурные соответствовали бы замыслам руководителей движения или идеалам и сочувствиям руководимых масс, то умственная задача наша была бы гораздо проще и доступнее какому-нибудь реальному и осязательному объяснению.

Но когда мы видим, что победы и поражения, вооруженные восстания народов и если не всегда «благодетельные», то несомненно *благонамеренные* реформы многих Монархов, освобождение и покорение наций, одним словом, самые противоположные исторические обстоятельства и события приводят всех к одному результату — к демократии ¹⁰ *внутри* и к *ассимиляции вовне*, то, разумеется, является потребность объяснить все это более глубокой, высшей и отдаленной (а может быть и весьма печальной) *телеологией*.

Лет десять тому назад, огорченный и оскорбленный не столько Берлинским трактатом, сколько той всесветно-европейской пошлостью, которая немедленно после войны воцарилась в освобожденной Болгарии, я хотел было писать большую статью под довольно затейливым заглавием: *«Протей общеевропейского разложения»*. Заглавие это ³⁰ нравилось мне потому, что указывало как на сложность и обманчивость этого процесса, так и на какую-то таинственную силу, стоящую вне человеческих соображений и несравненно выше их.

Но печатать такую статью в то время было негде, и я не написал ее... Я только мимоходом упомянул об этом «Протее» моем в конце одной заметки, помещенной в газете «Восток», малоизвестной, бедной и *всеми (даже и Катковым!)* гонимой за крайний ее консерватизм. Вы можете найти, если хотите, это место в первом томе моего сборника (См. «Письма отшельника», «Наше болгаробесие» и т. д.).

Но оставим пока эти общие рассуждения. Припомним лучше еще раз ближайшие события европейской истории с того года (с 59-го), в который Наполеон III вздумал «официально», так сказать, написать на знамени своем этот самый девиз «*политической национальности*».

Я не боюсь повторений. Раз решившись писать об этом, я боюсь только неясности.

Факты же современной истории до такой грубости наглядны, до такой вопиющей скорби поучительны, что они сами говорят за себя, и я не могу насытиться их изложением.

В 59 году Наполеон III сговаривается с Пиемонтом и в союзе с ним побеждает Австрию, которая противится этому национально-политическому принципу.

Этот приговор истории повторяется с тех пор неизменно; все то, что противится политическому движению племен к освобождению, объединению, усилению их в государственной отдельности и чистоте — все это побеждено, унижено, ослаблено. И заметьте, все это противящееся (за немногими исключениями, подтверждающими лишь общее правило) носит тот или другой охранительный характер. Побеждена Австрия: католическая, монархическая, самодержавная, аристократическая, антинациональная, чисто государственная; Австрия, которую недаром же предпочитал даже и Пруссии наш великий охранитель Николай Павлович. (Заметьте, что и безучастие России в 59 году, ее почти что потворство французским победам и ее все возрастающее нерасположение к Австрии доказывает, что в начале 60-х годов и позднее не только в обществе русском, но и в правительственных сферах племенные чувства на-

чинают брать верх над государственными инстинктами. Это одно, по-моему, уже не делает чести племенному чувству; нехорошо рекомендует его. Все то, что начало нравиться в 60-х годах, — подозрительно. Это станет еще понятнее, когда вы вспомните, что пробуждение этого племенного чувства у нас совпадает по времени с весьма искренним и сильным внутренне-уравнительным движением (эмансипации и т. д.). Мы тогда стали больше думать о славянском национализме и дома, и за пределами России, когда учреждениями и нравами стали вдруг и быстро ¹⁰ приближаться ко все-Европе...

Мы даже на войско надели тогда французское кепи; это очень важный символ! Ибо, имея в духе нашем очень мало склонности к действительному творчеству, всегда носим в сердце какой-нибудь готовый западный идеал. Прусская каска Николая I, символ монархии сословной, нам тогда разонравился, и безобразное кепи, наряд эгалитарного Кесаризма, нам стал больше по сердцу! Прошу вас, задумайтесь над этим!

Итак, в 59 году ослаблена Австрия, государство весьма ²⁰ охранительное. У Папы в то же почти время отнята часть земли. Вместе с тем готовится издали поражение Франции и обращение ее в республику; ибо Италия выросла не в помощницы ей, а во врага, не всегда даже тайного, она выросла в союзницы Пруссии, которой будущие победы должны были привести Францию к разочарованию в Кесаризме и к якобинской (мещанской) республике.

Посмотрите: когда нужно было (по решению и мановению невидимой десницы) победить в Крыму Россию, Монархию крепко-сословную, дворянскую, консервативную, ³⁰ самодержавную, а в 59 году Австрию, державу тоже (и даже более, чем Россия) охранительную, у Наполеона III, у министров и генералов его нашлись и сила, и мудрость, и предусмотрительность, и все нашлось! Когда же потребовалось создание весьма либеральной, естественно-конституционной, антипапской и давно уже слабо-аристократической Италии (вдобавок, глубоко разъедаемой социа-

лизмом), то противу Австрии, мешавшей этому, сила нашлась, но противу Италии *не нашлось мудрости*. Старик Тьер, говоривший уже тогда противу итальянской эмансипации, был гласом вопиющего в пустыне!

Обратите еще внимание и на то, что случилось вслед за этим с Францией в 62 и 63 годах. Вzbунтовалась *весьма дворянская и весьма католическая* Польша противу России, искренно увлеченной в то время своим разрушительно-эмансипационным процессом. У Франции не нашлось тут уже не только одной мудрости, но и силы. Она подняла на Западе в пользу *реакционного* польского бунта пустую словесную бурю, которая только ожесточила русских и сделала их строже к полякам; Россия же после этого стала смелее, сильнее, *еще и еще либеральнее* сама и в то же время насильственно демократизировала Польшу и больше прежнего ассимилировала ее.

Войну объявить России за Польшу — Франция не решилась, не могла. *Таинственная десница не допустила ее*. Для этого тайного двигателя достаточно было настолько ободрить католическую, дворянскую, реакционную Польшу и настолько раздражить Россию (еще не совсем уверенную тогда в своих *общеευропейских* начинаниях), чтобы вторая, победивши, поверила бы больше в свою эгалитарно-либеральную правоту и чтобы первая была бы насильственно демократизирована. Словом, чтобы обе разом еще на несколько больших и ускоренных шагов приблизились бы к *общесмесительному* стилю нынешних западных обществ.

Старайтесь не забывать при этом, что они обе, и Польша, и Россия, боролись под знаменем *национальным*. В России давно уже все *русское общество* не содействовало Правительству с таким единодушием и усердием, как во время этого польского мятежа. *Русское* это общество, движимое тогда оскорбленным *национальным*, *кровным* чувством своим, при виде неразумных посягательств поляков на малороссийские и белорусские провинции наши, стало гораздо строже самого Правительства и... и... послужило,

само того не подозревая, все тому же и тому же космополитическому всепретворению!

До 63 года и Польша, и Россия, обе внутренними порядками своими гораздо менее были похожи на современную им Европу, чем они обе стали после своей борьбы за национальность.

Почти в то же время Наполеон III потерпел еще и другую неудачу. И потерпел ее потому, во-первых, что хотел создать новую и сильную *Монархию* в Мексике. Французы защитники *Монархии* были почти позорно изгнаны из Америки республикой Соединенных Штатов; Император Максимилиан был убит демократами Мексики.

Республика же Соединенных Штатов в то время только что вынесла упорную междуусобную брань, к концу которой Север промышленный, более буржуазный, более эгалитарно-демократический (освободивший кстати и рабов) победил и подчинил себе помещичий и рабовладельческий, то есть несколько более аристократический Юг.

Россия при этом нравственно поддерживала Север... Эгалитарная Франция и либеральная Англия, напротив того, помогали южанам!

Любуйтесь же, любуйтесь на хитрые извороты моего «Протея»!..

Все к тому же! Все к тому!..

VI

Истинно нерасторжимая связь всеуравнивающих событий продолжает обнаруживаться во 2-й половине XIX века все с новой и новой силой, благодаря поразительному ослеплению самых умных и практических людей, которые почти все сами не понимают, чему они служат...

В 66 году возгорается война между Пруссией и Австрией. На стороне Пруссии освобожденная Францией Италия; на стороне Австрии весь остальной Германский Союз.

Здесь ближайшие причины как начала борьбы, так и ее непосредственных исходов — сложнее, чем во всех предыдущих примерах, но мы и не станем входить в подробное рассмотрение, почему кто кого победил и какой идеал носили в уме своем вожди и двигатели этой борьбы. Нам нужно показать только *однообразие дальнейшего результата для всех наций, принимавших в ней участие, а больше ничего.*

¹⁰ Вообще сказать, — если мы будем смотреть внимательно на производящие и предрасполагающие причины побед и поражений, то нам будет труднее разобраться; а если мы обратим больше внимания на причины *конечные*, то есть все на ту же *всесмесительную и всеуравнивающую телеологию*, то нам опять станет все понятно.

Изменим для этого порядок мыслей наших и самого нашего изложения. Станем с точки зрения современного нам положения дел смотреть на прошедшие события и мы увидим, что *именно такие, а не другие события мы бы придумали сами, если бы имели целью создать современное*

²⁰ *положение.*

Предположим, что у нас было бы намерение как можно глубже и скорее уравнивать в духе, в учреждениях и в обычаях всю Западную Европу, привести ее всю прежде всего шаг за шагом к той непрочной, эгалитарно-либеральной и централизованной, *общедоступной* форме правления, которая зовется *бессловно-конституционной Монархией* и которой самым типическим выражением была июльская (Орлеанская) Монархия Людовика-Филиппа (от 30 до 48 года). Обществу, подготовленному этой эгалитарно-монархической конституцией, — не трудно перейти от этой формы к конституции *эгалитарно-республиканской*, которая по слабости власти есть форма, самая удобная для проявления анархических (т. е. все более и более разрушительных) наклонностей в народе. (При этом, конечно, и об идеях, теориях, учениях и т. п. забывать не надо... Все эти мысли и мечты могут быть везде; но надо также помнить, что одна форма правления, один строй общества более благоприятны

³⁰

для практических попыток приложить анархические теории к делу, а другие менее.)

Какими же путями нам достичь этой цели нашей: *везде ослабить влияние Церкви* (какой бы то ни было), *духовенства, религии, везде принизить монархическую власть; опутать ее мелкой сетью демократической легальности, везде стереть последние следы дворянских преимуществ, и без того везде более или менее умаленных и почти уничтоженных как долгой и мелкой реформенной работой, так и проповедью идеальной в течение целого полу-*¹⁰
века (и более, считая от 89 года, до 59, 60, 61, например)? Как же это сделать? Положим, что мы с вами даже всемогущи, но мы не хотим показывать этого и потому, с презрительной улыбкой сожаления глядя на заблуждения людские, мы предоставляем им делать... делать... что... делать!? Мы, конечно, предоставили бы им делать именно то, что они делали в политике за последние года!

До 60, 66 и 71-го года этого века группировка главных политических сил на Западе была старая. Несмотря на *мелкие пограничные изменения, она была в главных чертах почти все та же в течение каких-нибудь 400 лет.*²⁰ Единая, одноплеменная Франция, — единая Англия (по племенному составу, не считая даже колоний, более Франции пестрая); единая, но разнородная Австрия; — однородная, но раздробленная Италия и такая же однородная и раздробленная Германия.

Общественная почва всей Западной Европы достаточно уже разрыхлена, как я выше сказал, вековой подготовительной работой рационализма, безбожья, гражданской равноправности, индустриального движения, неоднократными³⁰ анархическими вспышками и т. д. — У Царей ослабела вера в их божественное право; знать везде предпочитает деньги прежней власти, везде более или менее ищет популярности; — среднее сословие («средний человек») везде так или иначе давно у дел; если он учен и богат, он давно гораздо больше значит, чем знатный человек... работник тоже поднял голову; и права, и потребности, и самомнение его

возросли неимоверно, а вещественная жизнь стала и дороже, и труднее, и положение поэтому обиднее для его как раз кстати возросшего самолюбия.

Итак, почва хорошо подготовлена. — Однако многого еще недостает для дальнейшего (разрушительного) прогресса на искомом нами пути.

Многое недостаточно еще *уравнено* и недостаточно *деорганизовано* для достижения того идеала *разложения в однородности*, к которому мы с вами, *по предполагаемому*
¹⁰ *выше уговору*, стремимся. (Организация ведь выражается разнообразием в единстве, хотя бы и самым насильственным, а никак не свободой в однообразии; — это именно дезорганизация.)

Что же нам делать? Как обмануть людей? А вот как:

Во многих местах люди власти и влияния, как будто наученные грубым опытом истории, *не хотят и не могут идти дальше на пути прямой и открытой демократизации...* Они понимают, что это будет немедленная гибель...
²⁰ Желая (как я предположил) предоставить им волю *воображать*, что они сами придумывают что-то полезное и делают именно то, чего бы они желали, т. е. или возвеличить *надолго* свою национальность там, где она свободна, или освободить там, где она не свободна (тоже все-таки возвеличить), и т. д., мы обманываем их миражом какого-то особого «национального призвания», культурной независимости и т. д.

Той мелкой предварительно прогрессивной работы реформ, пропаганды, вспышек, интриг, принижения высших и возвышения низших в собственных недрах всех наций, о которой была речь, становится для нашей цели в половине
³⁰ XIX века уже недостаточно. *Демократическая идея по нашему наущению прикидывается идеей национальной; идея политическая воображает себя культурной.*

Все готово! — *Нужен только еще великий переворот векового равновесия великих держав на Западе.* И он почти внезапно совершается!

Последствия далеко превзошли ожидания! Возникли две новые великие державы, на Юге и Севере. Прежние две

главные вершительницы судеб континентального Запада — Австрия и Франция — унижены и ослаблены... Но они не уничтожены. Запад стал еще *ровнее теперь и по распределению национально-государственных сил*. — Сама Германия никогда уже не будет иметь той первоклассной силы, которую имела когда-то Франция. Превенная Франция весила страшно не только оружием, но и таким общекультурным влиянием, которого нынешней Германии как ушей своих не видеть! Ибо Франция, постоянно что-нибудь *выдумывая и творя* (не по-«нашему»), была этим самым в высшей степени оригинальной. А в нынешней Германии ничего такого оригинального нет, что можно бы равнять с Францией Людовика XIV; Вольтера, первой революции, Наполеона I и даже Людовика-Филиппа. Это раз, а во-вторых, и внешнее политическое положение не то, и внутренняя почва не та у современной Германии, какая была у прежней Франции. «Далеко кулику до Петрова дня». Сам Бисмарк велик, но Германия стала мелка; со смерти этого истинно великого, но рокового мужа — ничтожество слишком уже *уравненного и смешанного* немецкого общества обнаружится легко в государстве, наскоро сколоченном его железной рукой. ¹⁰ ²⁰

Я уверен, что Бисмарк сам это чувствует.

Внешнее же величие Германии непрочно, во-1-х, уже потому, что ее географическое положение очень невыгодно (между Славянством и Романским миром); а во-2-х, потому еще, что, вырастая сама под покровом России, она никогда не могла, в мере достаточной для своих грядущих выгод, препятствовать и ее усилению.

Пыталась всячески, но всегда слабо, нерешительно; даже и при Бисмарке. ³⁰

Почему, например, — не *послать* было нам Австрию в тыл, когда мы стояли под Плевной? Это была бы мера сильная и своевременная!.. Почему? Могучая совокупность обстоятельств не *дозволила, не допустила!*

А теперь уж поздно!

Поздно для австро-германских действительных торжеств на Балканском полуострове.

Этого торжества теперь не бойтесь...

Бойтесь другого... Бойтесь, напротив того, чтобы наше торжество не зашло сразу слишком далеко; чтобы не распалась бы Австрия и чтобы мы не оказались внезапно и без подготовки лицом к лицу с новыми миллионами эгалитарных и свободолобивых братьев-славян! Это будет хуже самого жестокого поражения на поле брани!

VII

Итак, продолжаю предполагать, что мы с вами всемогущи и желаем ускорить на Западе ход всеобщей ассимиляции.

В таком предположении, что бы нам предстояло сделать?

Нам предстояло бы, во-первых: передовую страну Запада, Францию (по стопам которой все идут позднее), переделать поскорее в сравнительно прочную якобинскую (капиталистическую, буржуазную) республику с бессильным президентом. Я говорю *сравнительно*, а не прямо прочную: первая якобинская республика (республика Конвента и Директории) просуществовала только семь лет (от 93 года до 1800, т. е. до Наполеона, до Консульства); вторая республика такая же, но с склонностью к социализму, продолжалась еще меньше (от 48 до 51 года); социальная почва Франции в те времена содержала еще в себе слишком много идеализма, чтобы нация надолго могла удовлетвориться такой скромной, прозаической (прямо сказать) формой правления. Но долгий ряд неудачных опытов и разочарований поневоле делает людей более сухими и опять-таки тоже более средними. Якобинская республика без террора и с бессильными президентами — это именно и есть господство «средних людей», «средних состояний», «средних способностей», «средней власти». И для того, чтобы еще больше понизить (то есть уравнять) социальную почву этой передовой Франции, необходимо было и продлить несколь-

ко подольше прежнего существование этого скромного и плоского «режима» средних людей. И вот эта *третья* республика держится пока на наших глазах уже не 7 лет, как первая, и не 3, как *вторая*, а *целых восемнадцать лет* (от 71 до 89 года)!

Такова и была бы наша первая цель, если бы желали и могли разрушить скорее культурно-государственное величие старой Европы.

Во-2-х, нам бы нужно было еще и еще ослабить всячески Папство, — этот главный очаг или точку коренной опоры европейского охранения.¹⁰

В-3-х, нужно бы заставить все западное человечество сделать еще несколько шагов на роковом пути *эгалитарного всепретворения*; *подогнать*, так сказать, *отсталых*; коснеющих еще в более благородных формах прежнего государственного быта: немцев, австрийцев, итальянцев, чтобы и они ближе подошли к идеалу французского, передового общества.

— Как же это сделать? С чего начать?

Еще раз спрашиваю себя!

Вот с чего:

Французский Император, почти самодержавный, но обязанный своей властью не наследственности и божественному праву, а *демократической подаче голосов*; победивший недавно в Крыму Россию (*в то время столь консервативную*) и снова needing в военной славе для своей популярности, придумывает пустить в ход «национальную» политику, которой идея давно, впрочем, была уже в воздухе. Он, побеждая Австрию (давнюю соперницу Пруссии) и создавая большую Италию, подготавливает этим самым — сперва союз этой Италии с Пруссией, а потом и свое собственное поражение рукой этой возвеличенной Пруссии. Он подготавливает поэтому: *якобинскую республику во Франции — раз; политическое падение Папства — два; более противу прежнего уравнинную, смешанную, однородную эгалитарную Империю в Германии — три, более наконец противу прежнего либеральные конституци-*³⁰

онные порядки в самой Австрии — четыре. Об Италии я сказал много прежде и потому здесь ее пропускаю. Замечу, впрочем, что она при всем своем ничтожестве, быть может, самая вредная для Европы страна; ибо она самый главный враг Папству.

Во внутренних делах всех помянутых стран (делах, органически связанных с внешней политикой) мы видим немедленно усилившееся движение на пути все той же всео-
10 крушительной ассимиляции. В Германии (вскоре после 71 года) начинается борьба противу Католичества. Великий Бисмарк поступает тут так, как шло бы поступать самому обыкновенному вульгарному атеисту-профессору. Что делать! Либеральная конституция (с 48 года) так уже ввела-
20 лась в кровь и плоть немецкого общества, «национал-либеральная» партия так стала сильна в объединенной Германии, что даже и Бисмарку занудобилось ей угодить, ее привлечь! (Все для более успешной ассимиляции всего.) Для подобных случаев либерального искательства на Западе есть всегда готовая жертва: Римский Папа. Эту жертву тем
30 легче и приятнее травить, что она физически ослабела, а нравственный вес свой не вполне еще утратила. Подлых чувств противу Рима (ослиных чувств противу ослабевшего льва) так много в этой «нынешней» Европе!! — Нельзя ли и Бисмарку ими воспользоваться? Нельзя ли и ему замарать руки в грязи мещанских бравад? — «Среднее хамье» это шумит, хорохорится! Физической опасности никакой. — Самые ревностные католики уже не бунтуют за Святого Отца! Это ведь не социалисты, полные упований
30 на окончательную мертвенную неподвижность всеобщего мира и благоденствия. За настоящую веру уже не прольется нынче кровь. Чтобы разогреть людей и заставить их пролить кровь будто бы за веру, надо под веру «подстроить» как-нибудь племя. (Так было и у поляков в 62 году; так было и у нас в 76 и 78-м).

Католицизм, положим, еще не сдался тогда в принципах, и позднее Бисмарк пошел сам на уступки. — Но разве эти потрясения и эта борьба причинили мало вреда охранению?

Разве мы не помним, как тогда было испугано этим движением само протестантское духовенство?

Оно, обыкновенно столь неприязненное Риму, вспомнило тогда, что эта борьба направлена *противу общехристианского мистицизма*; что через эти либеральные затеи понижается уважение к таинствам крещения, брака и т. д. (Или хоть бы к «священным обрядам» *по-ихнему*.) Протестантство, пиэтизм есть ведь мистическая основа германского общества, и на протестантском обществе граждански-либеральные действия германского Правительства отозвались хуже, чем на среде католической. Взбунтоваться, защитить свои церковные принципы рукой вооруженной католики *теперь уже не могут*; но они сплотились все-таки крепче и не оставили таинств своих, а в протестантской среде нашлось тогда, благодаря новым, всеравняющим в отрицании законам — множество людей, которые перестали крестить своих детей. Я помню, как тогда ужаснулись многие и в Германии, и у нас; у Каткова писано было об этом; есть о том же превосходные места в письмах Тютчева, изданных Аксаковым.

Против *великого мистического охранения* новое Правительство *объединенной и смешанной, чисто-племенной* Германии повело немедленно сильную борьбу; зато *социализму* оно *сделало огромную уступку*, признавши *социалистов* *легальной партией*...

Социализм же есть *международность по преимуществу*, т. е. *высшее отрицание национального обособления*. (Значит, и тут национальная политика ведет ко всенародному, антикультурному смешению.) *Сверх того в аристократической дотоле (до 71—72 года) Пруссии «юнкерство»* стало падать; последовали демократические реформы. Старая Пруссия демократизируется; пусть и она гниет как мы! — воскликнул тогда Ренан с восторгом патриотического злорадства.

Еще уравниение, еще смешение. Даже еще два-три шага на пути приближения к типу новой французской государственности: чистое племя, централизация, эгалита-

ризм, конституция (достаточно сильная, чтобы и гениальный человек не решился бы ни разу на Coup d'Etat), усиление индустрии и торговли, и в отпор этому — усиление, объединение анархических элементов, *наконец, милитаризм. Точь-в-точь Императорская Франция!* Оттенки так ничтожны перед тем широким и высшим судом, о котором здесь речь, что об них и думать не стоит.

Итак: торжество национальной, племенной политики привело и немцев к большей утрате национальных особенностей; Германия после побед своих больше прежнего, так сказать, «офранцузилась» — в быте, в уставах, в строе, в нравах; значительные оттенки ее частной, местной культуры внезапно поблекли.

Ну, не рок ли это? Не коварный ли обман? Не наивное ли это самообольщение у самых великих умов нашего века, уже истекающего в неразгаданную и страшную бездну вечности?..

VIII

После разгрома 2-й Империи Франция, минуя обычную и уже прежде (от 30 до 48) перейденную ею ступень Орлеанской, умеренно-либеральной Монархии, прямо переходит к практическому осуществлению той самой мешанской (т. е. не социалистической, а *граммато-плутократической*) республики, которую тщетно старались утвердить террористы в 90-х годах прошлого века. Тогда (в 93 и т. д. годах) Конвент, несмотря на свое кровавое всемогущество, боялся еще аристократов, католиков, легитимистов, и он боялся не без основания; тогда еще была возможна Вандея; возможны были эмиграция, восстановление Бурбонов; возможен был, наконец, «белый террор» 20-х годов и т. п. Оттого проливалась так безжалостно кровь свирепая буржуазия в конце XVIII века, что охранительные или реакционные (*задерживающие разложение*) силы были еще не так изношены, как теперь, в конце XIX-го. Якобинская республика во Франции 71 года устроилась легко и просто. — «Пра-

вая» сторона, и без того давно устранявшаяся от настоящих дел, и не подумала противиться. Напротив того, *древнее французское дворянство потворствовало этой республике*. Все продолжая упорно мечтать о возможности новой реставрации под белым знаменем Генриха V-го, оно надеялось, что с республикой легче будет справиться, чем с Империей. Многие из легитимистов впервые со времени июльской революции удостоили принять высшие должности из рук Тьера, которого они не уважали; они приняли их в надежде низвергнуть его. Последнего они достигли и помогли маршалу Мак-Магону занять кресло президента, точно так же воображая, что он будет для старого Генриха V тем, чем 200 лет тому назад был в Англии Монк для Карла II-го Стюарта. Но увы! Времена не те; почва социальная изменилась глубоко. Никакой аристократический *сoup d'Etat* не может удасться на разрыхленной столетним эгититаризмом почве Франции! Мак-Магон уходит, а в президенты попадает сперва безличный буржуа Гриви, а потом Сади-Карно, тоже неважный, вдобавок, как уверяют, *некрещеный*. Я, конечно, справок метрических не наводил, но со всех сторон слышу об этом. Если это правда, то как вам это тоже кажется? Я нахожу, что у нас на это в высшей степени важное обстоятельство слишком мало обратили внимания.

Впервые с того великого дня, когда Хлодовик крестился и положил начало христианской государственности на Западе, впервые с тех пор во главе во всем передового европейского государства стоит нехристианин, человек некрещеный.

Папа узник! — Первый человек Франции не крещен! — И мы, русские, молчим об этом; вероятно, из соображений внешней политики! — (Опять-таки в сущности через племенной вопрос — через славянский!)

Итак, через племенную национальную политику, благодаря торжеству Италии и Германии, благодаря внезапному и глубокому перевороту в 400-летнем распределении государственных сил на Западе, повторяю еще раз, — Папа

лишен той вещественной силы, которою он пользовался в течение 1000 лет; во Франции стал возможен некрещеный председатель народовластия, попытки в ней возврата к *настоящей охранительной Монархии* оказываются ничтожными и почти смешными.

И всего этого мало: история *новых школ* во Франции вам известна! Республика, бессильная противу соседей, благоразумно уступающая Германии, *находит, однако, в себе силу противу своей народной Церкви*. Она выбрасывает ¹⁰ Распятия из училищ; она хочет учить детей только чистой гражданской этике и законам природы, не подозревая, что атеистическое государство так же противно законам социальной природы, как жизнь позвоночного животного без остова, без легких или жабр. — Мистицизм практичнее, «рациональнее», так сказать, чем это мелкое утилитарное безбожие! — Вот где кстати будет воскликнуть с Царем Давидом: *«Живый на небесах посмеется им, и Господь поругается им!»*

²⁰ Республика Франции в домашних делах своих не боится ни Бога, ни Папы, ни безбожия; она справедливо боится только *социалистической анархии*, которая дала уже себя знать в 71 г. — и даст знать себя еще сильнее... Подождите!

И в самом деле, какая еще новая ближайшая историческая ступень может предстоять Франции в *ее внутренней жизни?*

³⁰ Я думаю так: ничего, кроме новых попыток имущественного, хозяйственного уравнивания. В Монархию французскую я не верю серьезно. Можно верить в какое-нибудь кратковременное усиление единоличной власти во Франции — не более. И при этом замечу (по аналогии со всеми предыдущими и перечисленными мною событиями), — если эта единоличная власть диктатора или Монарха и утвердится на короткое время в этой уже столь расслабленной равенством стране, то историческое назначение ее будет главным образом, разумеется, в том, чтобы *ускорить боевое столкновение с Германией и все неисчислимые социальные и внешнеполитические последствия его.*

И конечно, все в том же *ассимиляционном направлении*, от которого не спасают в XIX веке, как вы видели, ни мир, ни война, ни дружба, ни вражда; ни освобождение, ни завоевание стран и наций... И не будут спасать, пока не будет достигнута точка насыщения равенством и однородностью.

Борьба с Германией в близком будущем неизбежна для Франции, и в громкую победу ее трудно верить. Если бы даже случилось именно то, о чем французы мечтают, — если бы им пришлось воевать в союзе с Россией, то, мне¹⁰ кажется, с ними случилось бы то же, что с итальянцами в 66 году. Сами они будут опять разбиты немцами, но кой-что, быть может, и выиграют, благодаря тому, что немцы будут, вероятно, побеждены русскими. И заметьте, я верю в нашу победу не потому, что знаю хорошо нашу боевую подготовку, и не по расчету на то, что совокупность напряженных франко-русских военных сил превзойдет численностью военные силы «средне-европейской лиги», а потому, что Россия в этом случае будет служить все тому же племенному началу, все той же национально-космополитической политике, все тому же обманчивому Протею всеобщего смешения. Война у нас будет все-таки через славян, через наши права на Болгарию и на Сербию. Война будет с Австрией, положим; но если Германия не догадается вовремя обмануть свою союзницу, а в самом деле вступится за нее, то она пострадает жестоко, как пострадали все те, которые противились племенному потоку. Но побитая Франция побита будет теперь не так легко, как в 70 году. Далеко опередившая Германию на пути гражданского уравнивания, она только что сравнялась с нею в военном отношении. Империя Германская, правда, по гражданскому строю пока (до русских над нею побед) стала, как я говорил, уже более похожа на Империю Наполеонов, чем на самую себя, на свое прошедшее; но зато республика Франции в военном отношении стала теперь более похожа на эту новую Германскую Империю, чем была при своем Императоре.

(Еще черта сходства и уравнивания сил!)

Германия 80-х годов — это нечто вроде Франции 50-х и 60-х годов. Франция 70-х и 80-х годов — *это Германия будущего*; Германия, безвозвратно побитая славянами. Вот и все...

Что же может случиться во Франции после этой борьбы? Допустим даже, что дело выйдет иначе. Допустим, что Франция будет победительницей.

Разве это возможно без временной военной диктатуры?

Конечно, нет. Пример тому 71 год. Штатский Гамбетта¹⁰ при всей силе своего характера оружием победить не мог, не было единства власти. Якобинская Франция теперь видимо колеблется между диктатурой и Монархией. Воспользуется ли диктатор анархией для достижения власти и потом победит немцев, или прежде победит, а потом умиротворит внутренние волнения; во всяком случае можно пророчить, что и усмиряя, и побеждая, он послужит *хоть отчасти все тому же внутреннему уравнению и внешнему сходству, — заграничному международному сближению гражданских идеалов и социальных привычек.*

У себя во Франции диктатор или даже и Король непременно вынужден будет сделать что-нибудь для рабочих и для партии коммунистов. В побежденной же Германии (кем бы то ни было, справа или слева, или с обеих сторон) *непременно поднимет голову крайне либеральная партия, общественное мнение обрушится на Бисмарка, на «милитаризм» и повторится здесь история Бонапартов, с той, вероятно, разницею, что при старой династии и при въевшейся уже в кровь конституции и не меняя Монарха, Германское государство станет только больше похоже на искренно**
³⁰ *конституционное Королевство Людовика-Филиппа или современной нам Италии Савойского дома, т. е. сделает сильный шаг к мещанской республике.*

Что касается до социализма, так он, говорят, в Германии еще глубже, чем во Франции.

* Чем искреннее дарована конституция; чем строже выполняются ее параграфы Правительством — тем хуже для будущего страны.

Заметьте еще одно, опять-таки фатальное стечение обстоятельств для этой передовой Франции, которая первая в Европе ровно сто лет тому назад противопоставила Церкви, Королю и сословности идею уравниения и воплощенной в «среднем сословии» нации. У нее в течение этих ста лет были три династии. Где же теперь даровитые представители этих династий?

Кто слышал о талантах и величии графа Парижского (представителя либеральных Орлеанов)? Честный Генрих V, последний из настоящих Бурбонов, скончался *почему-то непременно бездетным!* (И физиология даже помогает революции!)

Бедного мальчика Наполеона IV убили дикие. Это удивительно! Я не говорю: «зачем он поехал сражаться в Африку?» Это понятно, он хотел отличиться подвигами ввиду будущего трона. Я спрашиваю себя о непонятном: «почему именно он, бедняжка, не попал скоро ногой в стремя и дал время дикому нагнать и заколоть себя?» Ведь он, конечно, умел ездить верхом? Почему не случилось того же с другим, с каким-нибудь неизвестным англичанином, а *непременно с ним?*

Кто же еще остался из претендентов у Франции? Не старый ли герцог Монпансье, которого мы видели в Москве на коронации? Или два Бонапарта. Старый же принц Наполеон — *свободолюбец* не хуже Орлеанов, и его несогласный с ним и ничем не отличавшийся сын, воображающий вдобавок, что в 90-х годах этого века можно идти по стопам Наполеона I. Все они непопулярны — это раз, а во-вторых — все они не представляют собою никаких особых новых начал, которых приложение не было бы уже и прежде испытано во Франции. Разница между всеми нынешними претендентами только в имени, в фамильном значении прошедшего, в звуке пустого предания, *а не в существенном*, — не в основных социальных принципах. Все то же: равенство прав и т. д.; «Белый колпак, — колпак белый», как выражаются эти самые французы (Bonnet blanc, — blanc bonnet!).

Великий человек, истинно великий вождь, могучий диктатор или Император во Франции может нынче явиться только на почве социализма. Для великого избранного вождя нужна идея хоть сколько-нибудь новая, в теории уже назревшая, на деле не практикованная; идея выгодная для многих; идея грозная и увлекательная, хотя бы и вовсе гибельная потом.

На такой и не на иной почве возможен во Франции великий вождь, хотя бы и для кратковременного торжества.
¹⁰ Но чем же это отзовется? Какою ценою купится? И к чему дальнейшему привел бы подобный исторический шаг?

Не будем больше предсказывать; не будем как потому, что в общих чертах все это математически ясно, так и потому, что частности и подробности, все изгибы и неожиданности этого пути, ясного по главному направлению, предвидеть никак нельзя. Я скажу здесь только об одной еще возможности: о победе Франции над Италией. Все также прилагая индуктивно к будущему примеры и поучения
²⁰ прошлого.

IX

Признаюсь, мне почему-то, сам не знаю, все кажется, что на этот еще раз войны между Германией и Россией не будет и что сила обстоятельств вынудит их пожертвовать друг другу Австрией и Францией. Мне кажется, что ввиду все той же таинственной телеологии довольно сильная Германия еще нужна. А если ее сила еще нужна (хотя бы для того, чтобы пассивно или полупассивно задерживать Славянство на пути гибельного, преждевременного объединения), то она не должна так рано следовать убийственному примеру Австрии, Франции и Турции, которые противустали племенному началу открытою и вооруженною рукою (в 59, 66, 70 и 77-м годах). Умри завтра Бисмарк, я бы воскликнул: — «погибла Германия!» Без Бисмарка она не найдет подлежащего ей безвредного пути.

Но пока Бисмарк жив, инстинкт его практического призвания, быть может, подучит его не противиться слишком явно и сильно славянскому племенному движению.

Все это так, но предположим даже истинно всеобщую войну: Францию и Россию с одной стороны; «Лигу» — с другой.

В таком случае, я уверен, случится вот что: австрийцы и германцы будут побеждены русскими (с помощью французов); французы же будут разбиты германцами, хотя и не так легко, как в 1870 году, и этот лучший противу прежнего отпор облегчит, конечно, русское дело.

Что касается до итальянцев, то они будут французами, я надеюсь, побеждены без особого труда. Французские войска в таком случае могут дойти и до Рима. Что же должно тогда произойти с Италией после подобного разгрома, с демократической, антипапской, — но пока еще кой-как монархической Италией? Можно ли надеяться хоть в этом случае на серьезную реакцию в пользу Церкви?

Нет — нельзя!

Если бы на престоле самой Франции сидел Генрих V, ²⁰ или если бы был жив молодой Наполеон IV, то от них, сообразно с их идеалами и преданиями, можно было бы ожидать хоть попытки — восстановить светскую власть Папы, которая была столь полезна для его нравственного веса. Но этого нельзя ожидать ни от Сади-Карно, ни от Буланже, ни от принцев Орлеанского рода, ни от боковой линии выродившихся Бонапартов.

Как бы не пал скорее в этом случае Савойский дом? Как бы не воцарилась и там такая же якобинская радикально-либеральная республика? А раз будет и там республика, как бы не уехал вовсе из Рима сам Папа? Как бы не выжили его? А что это будет значить? Ведь это истинное начало конца, начало 5-го акта европейской трагедии! ³⁰

Папство связало принципы свои с одним городом; с переменной места — едва ли в среде самого западного духовенства устоит надолго и принцип!

Вот куда привел Европу псевдонациональный этот, или племенной принцип!

Он привел шаг за шагом к низвержению всех тех устоев, на которых утвердился и процвела западная цивилизация. *Итак, ясно, что политика племенная, обыкновенно называемая национальной, есть не что иное, как слепое орудие все той же всесветной революции, которой и мы, русские, к несчастью, стали служить с 61 года.*

¹⁰ В частности поэтому и для нас политика чисто славянская есть политика революционная, космополитическая, и если в самом деле у нас есть в истории какое-нибудь особое истинно национальное, мало-мальски своеобразное, другими словами культурное, а не чисто политическое призвание, то мы впредь должны смотреть на Панславизм как на дело весьма опасное, если не совсем губительное!

Истинное (то есть культурное, обособляющее нас в быте, духе, учреждениях), Славянофильство (или точнее культурофильство) должно отныне стать жестоким противником опрометчивого, чисто политического Панславизма.

²⁰ Если славянофилы не желают повторять одни только ошибки Хомякова и Данилевского; если они не хотят удовлетворяться одними только эмансипационными заблуждениями своих знаменитых учителей, а намерены служить их главному, высшему идеалу, то есть национализму настоящему, оригинальному, обособляющему и утверждающему наш дух и бытовые формы наши, то они должны впредь остерегаться слишком быстрого разрешения Всеславянского вопроса.

³⁰ Идея православно-культурного Руссизма действительно оригинальна, высока, строга и государственна. Панславизм же во что бы то ни стало — это подражание и больше ничего. Это идеал современно-европейский, унитарно-либеральный; это стремление быть как все. Это все та же общеевропейская революция.

Нужно теперь не славяно-любие, не славяно-потворство; не славяно-волие; нужно славяно-мыслие, славяно-творчество, славяно-особие. Вот что нужно теперь...

Русским в наше время надо, ввиду всего перечисленного мною прежде, стремиться со страстью к *самобытности духовной, умственной и бытовой...* И тогда и остальные славяне пойдут со временем по нашим стопам.

Эту мысль, простую и ясную до грубости, но почему-то у нас столь немногим доступную, я постараюсь подробнее развить в следующем особом ряде писем: об опасностях Панславизма и о средствах предотвратить эти опасности.

Я полагаю, что одно из главных этих средств должно быть, *по возможности, долгое, очень долгое сохранение Австрии, предварительно, конечно, жестоко проученной.*¹⁰

Воевать с Австрией *желательно*; победить ее необходимо; но *разрушать* ее — избави нас Боже! Она до поры до времени (*до православно-культурного возрождения самой России и восточных единоверцев ее*) — драгоценный нам карантин от чехов и других уже слишком «европейских» славян. Ясно ли?

Довольно бы... Все существенное сказано, но я хочу прибавить еще несколько слов об Испании и Румынии, чтобы та картина всеобщего демократического разложения, которую я только что представил вам в предыдущих письмах, была бы полнее.²⁰

В 70-х годах в Испании произошло *реакционное* восстание басков в пользу *Бурбона Дон-Карлоса*. Баски бытом своим до сих пор еще не совсем похожи на остальную Испанию. Они *консервативнее*, поэтому-то у них и оказалась еще возможность, нашлось еще побуждение восстать против тогдашней Испанской республики.

Но и это реакционное движение также не удалось, как не удавалось за последние 30—40 лет все церковное, все *самодержавное, все аристократическое, все охраняющее* *прежнее своеобразие и прежнюю богатую духом разнообразность.* Испанская Вандея не удалась, как не удалось полякам их дворянское восстание, как не удалась Наполеону III защита Папства, как не удался во Франции позднее государственный переворот в пользу легитимизма и т. д.³⁰

Это о басках и Дон-Карлосе.

Теперь о Румынии. В «доброе, старое время», как говорится, эта Румыния была Молдо-Валахией. — «Молдо-Валахия»! — По-моему, это даже звучит гораздо приятнее, важнее, чем «Румыния»! Молдавия имела свои оттенки; Валахия свои. — После Крымской войны и молдаване с валахами почувствовали потребность послужить племенной политике. Оба Княжества избрали себе впервые одного Господаря Кузу, из *среднего круга*. (Помнится, просто полицеймейстера города Галаца.)

¹⁰ Куза *тотчас же демократизовал* эту Все-Румынию; он освободил крестьян от давней крепостной зависимости и сокрушил этим прежнюю силу молдо-валашского боярства. Конституция, общая двум Княжествам, начала функционировать, как везде, довольно правильно по форме и, конечно, либерально (*разрушительно*) по духу.

И что же? Почти немедленно это либеральное, *национальное* Правительство стало закрывать монастыри, разогнало монахов и отобрало издревле пожертвованные этим обителям земли. Тяжесть этой меры падала преимущественно на греческие Патриархаты и Св. Места, которым были подведомственны («преклонены») эти обители и земли. (Кстати замечу, русское Правительство *хотя и неудачно*, но поддерживало в этом случае Патриархаты, ибо *славянское племя не было тут замешано в дело, как в позднейшем движении болгар*. В болгарском деле мы были либералами, мы поддерживали болгар *против Патриарха*, и успех наших славянских питомцев превзошел даже далеко наши желания. В румынском деле «преклоненных» монастырей мы были охранителями и *ничего в пользу Церкви*

³⁰ не могли сделать.)

Сверх того, в Румынии, вскоре после национального объединения, случилось в миниатюре почти то же, что и в Испании в 70-х годах. Вспыхнуло небольшое *охранительное* восстание. К Румынии, по Парижскому трактату, отошла от России часть старых бессарабских болгарских колоний. У них были свои особые местные уставы и привилегии, дарованные им Россиею. Они желали сохранить эти свои

особенности и — восстали. Демократическое конституционное правительство новой национальной Румынии усмирило их оружием и заставило их *стать как все; уравнило, смешало их с остальным своим населением.*

Видите, и здесь, даже и в Румынии отражается вполне это зарево всемирного демократического и безбожного пожара, которого неосторожными поджигателями являются не всегда только либералы и анархисты, а по роковому стечению обстоятельств нередко и могущественные Монархи, подобные Наполеону III и Вильгельму I Германскому! ¹⁰

Неужели прав был Прудон, восклицая: «Революция XIX века не родилась из недр той или другой политической секты, она не есть развитие какого-нибудь одного отвлеченного принципа, не есть торжество интересов одной какой-нибудь корпорации или какого-нибудь класса. *Революция — это есть неизбежный синтез всех предыдущих движений в религии, философии, политике, социальной экономии и т. д., и т. д.*

*Она существует сама собою, подобно тем элементам, которые в ней сочетались. Она, по правде сказать, приходит ни сверху (т. е. не от разных правительств), ни снизу (т. е. и не от народа).** Она есть результат *истощения принципов, результат противоположных идей, столкновения интересов и противоречий политики, антагонизма предрассудков, одним словом, всего того, что наиболее заслуживает названия нравственного и умственного хаоса!*» ²⁰

«Сами крайние революционеры (говорит Прудон в другом месте) *испуганы будущим и готовы отречься от революции, но отринутая всеми и сирота от рождения — революция может приложить к себе слова псалмопевца: „Мой отец и моя мать меня покинули, но Господь восприял меня!“*» ³⁰

Неужели же прав Прудон не для одной только Европы, но и для *всего человечества?* Неужели таково в самом деле *попущение Божие и для нашей дорогой России?!*

* Вернее бы сказать: *и сверху, и снизу.*

Неужели, немного позднее других, и мы с отчаянием почувствуем, что мчимся бесповоротно по тому же проклятому пути!?

Неужели еще очень далека та точка исторического насыщения равенством и свободой, о которой я упоминал и после которой в обществах, имеющих еще развиваться и жить, — должен начаться постепенный поворот к новому расслоению и органической разновидности?..

Если так, то все погибло!..

10 Неужели нет надежд?

Нет, пока есть еще одна надежда — надежда именно на Россию!

Есть признаки не по ослеплению пристрастия, но «рационально» ободрительные!

Но они есть только у нас одних, а на Западе их нет вообще!

Х

20 Передо мною книга М. П. Погодина «Историко-политические письма и записки в продолжение Крымской войны; 1853—1856 гг.». — Издан этот сборник четырнадцать лет тому назад, в 74-м году, то есть через двадцать лет после Крымской войны. — Теперь — скоро 89-й год...

Боже! Сколько успехов и сколько разочарований за эти тридцать лет! Успехов внешних, успехов политических и сколько разочарований в своем «разночинном» (смешанном) обществе, в своем освобожденном народе, в юго-славянах, в их признательности, в их «любви», в самом культурном Славизме...

Новые политические друзья; новые враги...

30 Все изменилось!

За последние восемь лет — какой все возрастающий возврат к прежним, вековым русским идеям, но на новой почве, уже разрыхленной европейскими реформами и упорной, до сих пор не умолкающей проповедью либерального прогресса...

Куда мы идем?.. Куда приведет нас неотразимая сила не от нас зависящих общих событий?

Многознаменательна цифра *восемьдесят девять* — для европейской истории за последние века ее... Ровно *два века* тому назад Вильгельм Оранский воцарился в Англии. — В 1689 году по изгнании Иакова II-го был издан так называемый «Bill of rights». — Права национальной Англиканской Церкви и все главные основы Великобританской конституции были утверждены надолго, после тяжелой вековой борьбы. — И у нас в *том же 89-м* году — воцарился¹⁰ Петр I-й. — *Сто [лет]* тому назад и все в том же 89-м году Франция, объявивши «права человека», — придала как бы легальный характер тому процессу разрушения, которому мы все до сих пор и волей и неволей продолжаем служить, — *освобождая, ровняя, смешивая, объединяя; приемами весьма сложными* стремясь к психическому обеднению человечества, — к идеальному упрощению его в жалком образе «среднего европейца»...

Что готовят нам в грядущем эти *последние года истекающего века?*²⁰

Не готовится ли европейское человечество свести свои последние *племенные* расчеты для того, чтобы потом еще свободнее прежнего приняться за ту борьбу *социально-экономическую* — которую, по свидетельству Герцена, Прудон назвал однажды «ликвидацией европейской культуры»?

Не спешит ли вся Европа, и Западная, и Восточная — уничтожить всю прежнюю, веками сложившуюся *племенную чересполосность* свою, — которая, препятствуя окончательной равноправности и окончательному смешению, —³⁰ подавляя одних и непомерно возвышая других, — так долго обогащала европейский дух — разнообразными и сложными антитезами?

Когда будут везде сглажены последние остатки и религиозных привилегий, и сословной неравноправности, и племенных преобладаний, не встретятся ли тогда, по низвержении всех этих задерживающих преград, лицом к лицу, по

пророчеству Карлейля, только два элемента — капиталистический «дендизм» и «голод»?

«Электричество положительное и электричество отрицательное...» — как выражается этот английский идеалист...

А беспрепятственная встреча их — это *такая* гроза, которой люди, быть может, со времен нашествия варваров на Рим не видали...

Но *прежде* чем встретятся в этом страшном единоборстве капитал (или «дендизм»), *ничем идеальным* не оправданный, и голодный труд, тоже лишенный всякого *идеального* представления, — необходимо *упростить все другие отношения*, — чтобы они не мешали этой *окончательной* встрече...

Надо уничтожить скорее в Европе всю ту *чересполосность*, веками сложившуюся, о которой я говорил...

И все готовятся к этому; все этого ждут!

Чувствуется, что все народы сами как бы желают этого взрыва.

Газеты все твердят о мире; но сами пишущие не верят в него.

Все нации друг друга обвиняют в воинственных замыслах, а самих себя выставляют поборниками этого «мира»!..

Говорится: для того чтобы был возможен мир — *вооружайся*.

Теперь — стараются о мире только для того, чтобы *еще лучше вооружиться!*

И не может быть иначе...

Франция *не может* не думать о «реванше»; — о возврате провинций своих.

Германия *не может* не опасаться этого; *не может* не желать отбить у Франции раз навсегда охоту думать об этом.

Австрия, изгнанная из Германского Союза, *не может* не пытаться нового счастья на Востоке, *не может* не желать стать во главе великой Юго-славянской федерации.

Германия *не может* не желать образования на развалинах Турции двух великих славянских держав, обреченных на долгую между собою борьбу.

Италия *не может* не стараться уверить всех, что она в самом деле тоже великая держава; *не может* отказаться от той роли политической проститутки, которую она, цепляясь везде за сильнейших, привыкла играть со времен этого даже и с виду противного Кавура, Графа по званию, хама по политическим вкусам своим.

Россия *не может* отказаться от древнего призвания, от своего давнего «Drang nach Süd-Osten», за который она пролила столько драгоценной крови своей...

Не болгары, не сербы *там*, не фрачишки афинской «говорильни». — Чорт бы их взял совсем, если мы им более не нужны. — *Там* «Святые Места», там Царьград, Афон, Синай... *Там* близко и Гроб Господень... *Там* еще не угасли вполне — Святые и великие очаги Православия...

Не можем мы отдать всей этой нашей Святыни и древних источников Силы нашей — на пожрание мадьярам, жидам и немцам...

Россия, как старей боевой конь — вся вздрагивает при каждом новом шаге Австрии на этих полях, политых нашей кровью...

«Мы сеяли — она вошла в наш труд»...

Все ждет только искры одной...

И эта искра вспыхнет... *Где* — мы не знаем, но знаем, что вспыхнет...

Слава Богу, что Россию теперь уже не застанет грядущее как глупую деву с угасшим светильником политического разума в руках!.. Слава Богу, что мы разочаровались, наконец, в юго-славянах и что сентиментальному периоду нашей новейшей истории они сами, эти славяне, положили ³⁰конец!..

Россия, не отказываясь от них (ибо это тоже невозможно) — подумает *прежде всего о себе самой*; — сумеет теперь — распутать лучше прежнего тот узел, в котором, к несчастью, спутался вопрос Православно-Восточный (дисциплинирующий) с вопросом Славяно-племенным (эмансипационным)...

Иначе и ей *туда же дорога*, куда в наше время все Западные нации так неудержимо рвутся и так презренно ползут...

Передо мною книга Погодина...

Боже! Как этот умный человек верил *тогда* (тридцать лет тому назад) в славян! В их *залог*и, в их «Шафариков» этих, в их признательность, в их великое и независимое *по духу* от Запада назначение...

Как роптал он на «австрийскую» тогдашнюю политику нашу... Как он на чехов этих рассчитывал...

¹⁰ — Что ж, — скажут мне, — разве он не был прав? Что делает теперь Австрия?

— Австрия, — отвечу я, — *прекрасно делает!* Спасибо ей! — Она готовит нам триумф, себе жестокое поражение. — И готовит она это в *такое время*, когда и во *внешней политике* *возможнее* прежнего стал для нас *тот синтез*, о котором я уже говорил: взаимное дополнение идей «николаевских» идеями «аксаковскими», стремлений погодинских — взглядами времен Нессельроде... Это не теория, не «политические фантазии досужего» политика-

²⁰ на. — Это указания и факты самой жизни.

В конце книги Погодина приложен французский мемуар Графа Нессельроде, написанный именно по поводу тех писем и записок Погодина, которые волновали русское общественное мнение во время Крымской [войны].

Мемуар этот ясен и прост в дипломатическом спокойствии своем. — Сам Погодин воздал ему должное, говоря: [пропуск в рукописи].

Сущность же доводов Гр(афа) Нессельроде в защиту старой политики нашей — следующая:

³⁰ 1) Как ни сильна Россия, она не может действовать всегда, не опираясь ни на кого и [ни] на что во внешней политике своей.

2) Правительство Импер(атора) Николая опиралось на монархические и вообще охранительные силы Запада. — «На кого же еще было опираться нам на Западе? Не на гг. ли Кошута и Мадзини?»

3) И Россия не могла предупредить всех неблагоприятных событий; и она не всемогуща.

4)

«И то правда, — думал Погодин в 74 году, издавая свой сборник; — быть может, было [бы] и еще гораздо хуже, *революция* везде сделала бы слишком большие успехи, если бы *революционеры* не боялись России»...

Мне скажут: «Погодин ослабел, упал духом в ту минуту, когда он уступал устаревшим соображениям Нессельроде. — Надо было предоставить не только Австрию 48-го года, но и всю Западную Европу ее судьбе».

Возможно ли такое полное невмешательство?..

Не возвышались [ли] у нас голоса еще недавно, укорявшие Прави(тельст)во 70-го года за то, что оно не поддерживало Франции и дало образоваться германскому единству?.. Не хвалят ли у нас же теперь действия дипломатии нашей в 75 году за то опять, что она вмешательством своим не дала тогда Германии нанести неоправившейся Франции вторичный удар?..

Если бы мы были по исторической натуре нашей давно уже настолько *отличны* от Европы, насколько Персия Дария и Ксеркса была *отлична* от современных ей Греческих республик; или настолько, насколько Китай отличен от Мусульманского мира, то и тогда по соседству мы иногда вынуждены бы были *под-держивать* одного и *при-держивать* другого. — Но при нашей исконной подражательности! При не испытанных *еще у себя, на деле*, в 40-х годах всех «прелестей» либерального прогресса, бессословности и т. д. — Что бы было, если бы Государь Николай I-й и его сподвижники (хотя бы и *немецкой* крови) не придерживали бы *на время* и ³⁰ *везде* — этого прогресса?..

У нас тогда *все* передовые и умнейшие люди *не правящей части общества* были либералы и почти рационалисты (за исключением трех-четырех *вовсе тогда не влиятельных* Славянофилов). Они все были действительно передовыми людьми в том смысле, что *приложение их взглядов к жизни было еще впереди*.

И та общая сумма и тягость либеральной подражательности, которая у нас *теперь* на плечах — велика и страшна; — что же было, если бы, например, Николай Павлович в 48-м году позволил бы разрушить хоть ту же бы Австрию, которую я сам теперь (сознаюсь!) жду не дождусь увидеть жестоко проученной за наглые дела ее за *Дунаем*? — Что было бы?

Ведь мы *естественные ее наследники*, и до *бóльшей части* ее наследства мы *никого иного допустить не можем*...

Но если даже и *теперь* мы имеем и будем иметь столько еще затруднений от славян Восточных, единоверных; то что было бы *тогда* — когда нам пришлось бы поневоле составить сорок лет тому назад нечто вроде конфедерации со славянами Западными и мадьярами?

Весь период либеральных увлечений был еще впереди тогда... *Жизнь еще не успела нас разочаровать* ни в равноправности, ни в племенном принципе...

Либеральные увлечения *лучших людей* еще впереди и в *то же время* — миллионы только что освобожденных единоплеменников, долго подавленных, привыкших к протесту и интригам; — миллионы католиков, протестантов и атеистов, к которым пришлось бы нам быть при преждевременном разрушении Австрии в более тесном общении...

Устояло ли бы тогда и столь драгоценное всем нам — Самодержавие наше? Едва ли!

ПЛОДЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ НА ПРАВОСЛАВНОМ ВОСТОКЕ

I

В письмах моих «О национальной политике» я старался доказать, что на Западе в XIX веке она до сих везде и при всех условиях вела к тому всеобщему *однообразию и смешению*, которые представляют собою самую сущность *всемирной революции* или ее *полусознательный* идеал. — Если бы все вожди, деятели и участники этих политических движений разделяли бы мнение тургеневского Базарова, что *«все люди должны со временем стать между собою схожи, как березы в роще»*, и дружно стремились бы к этой цели, то я назвал бы идеал их прямо *сознательным*. *Полусознательным* я его называю потому, что очень многие из «инициаторов» этой политики, из вождей и участников этого движения — *вовсе этого однообразия не ищут, но неожиданно находят его при конце своего пути*. — И наоборот (вследствие сложности исторических приемов, долженствующих разрушить прежний культурный строй европейских обществ), случалось нередко, что *эгалитарные демократы*, т. е. именно те люди, которые ищут *наиполнейшего однообразия всемирной жизни, препятствовали*, противились этим национальным движениям и этой национальной политике, не *подозревая даже*, что политические националисты будут им превосходными союзниками, предтечами, уготовляющими и уравнивающими им дальнейший путь.

Примеров тому и другому роду заблуждений много, и я делаю над собою большие усилия, чтобы не увлечься подобными «иллюстрациями» из современной истории и не отклониться далеко от главной моей здесь задачи: проследить хотя бы в самых лишь общих чертах действия *того же племенного принципа на Востоке Европы, то есть в России, в Турции и в странах Христианских, освобожденных в XIX веке из-под власти последней.*

Заключение мое и здесь, к сожалению, то же самое!

¹⁰ Плоды племенной политики и национальных движений на Православно-Мусульманском Востоке *ничем существенным* до сих пор не отличаются от плодов того европейского *государственного национализма*, который шаг за шагом разъедает великие и столь разнородные прежде культурные формации Запада, — видоизменяя их в пользу всеобщей демократизации и эгалитарного всепретворения.

Европейский Восток *на глазах наших в менее резких и ясных формах, с приемами менее решительными* до сих пор повторял в недрах своих только то, что делал Запад.

²⁰ Каковы бы ни были второстепенные оттенки, отличающие новейшую историю Православной России и Мусульманской Турции от современной истории Католической и Протестантской Европы — главный, несомненный результат один: *большее противу прежнего равенство личных прав и общественных положений; ослабление религиозных чувств и влияния духовенства, усиление индустриального движения и конституционных вкусов; торжество общеевропейских демократических мод и обычаев над местными привычками, предубеждениями и пристрастиями;* — *большее противу прежнего всеобщее сходство воспитания в классах правящих, при неотстранимом все-таки ничем (и всего менее равенством и равносилием) антагонизме интересов.*

³⁰ Одним словом — космополитизм духа, вкусов, нравов и т. д., ничуть не исключаящий при этом ни взаимной ненависти, ни всякого рода ожесточенной борьбы, ни даже кровавых схваток вроде недавней войны между сербами и

болгарами, столь сходными между собою, — как в низших, еще патриархальных, слоях общества, так и в высших, «объевропеенных», так сказать.

Мысли, подобные этим, я знаю, — должны радовать наших «европейцев» и либералов; — славянофилов и просто — «консерваторов», — напротив того, они должны возмущать или огорчать. Возмущать — если все то, что я говорю, представляется им грубой ошибкой; — огорчать — если они находят все это печальной правдой.

В минуту утраты веры в наше особое от Запада историческое призвание, конечно, и я прежде всего огорчаюсь...¹⁰

И как уберечься от таких минут, когда видишь, что, за очень немногими исключениями, люди образованные и умные у нас, в России, ни жить, ни мыслить — иначе как по-европейски — до сих пор не могут...

Ведь и любя Россию всем сердцем, гражданин не обязан *веровать* в ее долгую и действительно славную будущность, без колебаний и сомнений.

Это не религиозная вера, не *личное* Православие, где колебания и сомнения *повелено* считать «искушением», малодушием и где существует прямая обязанность их с молитвою отгонять.²⁰

В гражданском деле — зачем иллюзии?

Быть может, иллюзии эти в свое время были нужны и сослужили свою службу в общем ходе дел; но раз мы начинаем прозревать понемногу, на что же себя искусственно ослеплять? Какая польза?

Я не говорю, что я отчаиваюсь вовсе в особом призвании России. Я признаюсь только, что я нередко *начинаю* в нем сомневаться. — Во всяком случае, недаром же простерся этот колосс между древними цивилизациями Азиатского Востока и Романо-Германской Европой. — Последняя *вся* несомненно шаг за шагом все более и более близится к идеалу безбожной и однообразно-рабочей федеративной республики.³⁰

Никакие Бисмарки, никакие Гогенцоллерны Европу от этой будущности ее не спасут. Они сами даже, войнами и

победами своими видоизменяя глубоко социальную почву и в среде своей нации, и у побежденных соседей, только ускоряют осуществление этого отвратительного идеала.

Они усиливают *сходство строя и быта*; они ускоряют всеобщую *ассимиляцию нравов*... Современная политическая борьба, *оканчивая по очереди один за другим все племенные вопросы, приготовляет этим путь республиканскому космополитизму*. Какую же роль должна играть Россия в этой трагедии явного всеразрушения, которому
10 еще гораздо более динамита и крупновских пушек способствуют так называемые «всеполезные» изобретения: железные дороги, телеграфы, телефоны, всемирные выставки и т. д.?

Какую? Что должна она избрать?

Уступить всеобщему движению?

Стать во главе его, покончив, подобно другим, как можно скорее и как попало все племенные счета свои?

Пожертвовать дальнейшим будущим своим ближайшему и полному племенному торжеству, которое, связав судьбу нашу *преждевременно с судьбою западных славян*, непременно повлечет за собой окончательное потрясение и без того поколебленных *истинно национальных* устоев наших?..

Или, различив глубоко в политическом идеале своем вопрос *Православно-Восточный* от вопроса *Всеславянского*, считать первый единственным якорем спасения, а второй — лишь неизбежным (либеральным) злом, «крестом», испытанием, ниспосланным нам суровой историей нашей.

Если люди *власти и влияния* дойдут у нас до этого глубокого различия, если они приложат все силы свои на служение делу *Православно-Восточному* и с величайшим недоверием станут впредь смотреть на дело *всеславянское*, если они, эти русские люди власти и влияния, будут последнее чисто племенное дело считать обыкновенным и весьма опасным либеральным делом в *общеевропейском вкусе*, — тогда наша культурно-государственная будущность спасена, даже и при Панславизме.

И, быть может, и вся Европа со временем будет нам признательна за то, что *наконец-то мы дерзнули стать и пребыть сами собою*, ни на чьи вредные примеры не взирая; быть может, тогда вся Европа будет простирать к нам руки почтения и любви с мольбою о помощи, как простирала их теперь Франция, во всем, и в первых шагах развития, и в первых попытках разрушения, *шедшая впереди других* государств и наций...

Иначе!!

II

10

В тех прежних письмах моих, где я занят был преимущественно Европой Западной, — я вынужден был, однако, прежде всего вспомнить об эллинском восстании 20-х годов. Здесь же мне для ясности изложения необходимо повториться.

В первом случае я руководился тем соображением, что национальное восстание и освобождение греков из-под долгого ига мусульман было в XIX веке *первым по времени движением* этого рода. Теперь же, имея в виду Россию и Турцию, мне опять нельзя обойти греков вследствие их *особо-²⁰ значения* среди народов Востока.

К тому же в этом движении греков идея свободного *национализма* особенно тесно была связана с идеей *демократической* и по *источникам*, и по *результатам*.

Еще раньше 20-х годов, когда еще все греки находились под властью Султана, у них был весьма популярный поэт Рига-Фереос. — Он неудачно агитировал против Турции и был расстрелян.

Греческие биографы его утверждают, что он, не находя еще возможности выделить хоть часть своих соотечичей в *особое национальное государство*, действовал в духе *космополитических* идей XVIII века. То есть он хотел поднять в Турции движение против *деспотизма и неравенства вообще* и призывал к восстанию против Султана и его пашей не одних только греков и даже не одних только христиан, но и

ту значительную часть мусульманского населения, которая представлялась ему тоже страдающей от самовластия пашей и янычар. Рига-Фереос был напитан теми самыми идеями личного равенства и личной легальной свободы, которые выразились французской революцией XVIII века. Имя его у греков было, я сказал, весьма популярно. Значит, эти либерально-эгалитарные идеи предшествовали в умах эллинских «предтеч» (*précurseurs*) мыслям об эмансипации собственно национальной. Другими словами: последняя

10 возросла на первых; она была подготовлена ими. Общелиберальные веяния XVIII века проникли еще заранее и в греческие умы, хотя, быть может, и смутно.

Религиозную идею (Православие) эллинское движение взяло себе только в *пособницы*. Систематических гонений на само Православие в Турции не было; но существовали сильнейшие и грубые гражданские обиды и стеснения вообще для лиц не мусульманского исповедания. Понятно, что при таком положении дел легко было не отделять веры от племени. Естественно было даже ожидать, что свобода

20 племени повлечет за собою возвеличение Церкви и усиление духовенства через возрастание веры в пастве; ибо сильная вера паствы имеет всегда последствием любовь к духовенству, даже и весьма недостаточному. При сильной вере (какого бы то ни было рода, — дикой ли и просто-душной, или сознательной и высоко развитой, — все равно) мистическое чувство и предшествует нравственному и, так сказать, увенчивает его. Оно — это мистическое чувство — *считается главным*, и потому живо верующая паства всегда снисходительнее и к самим порокам своего духовенства, чем паства равнодушная. Сильно верующая паства

30 готова всегда с радостью усиливать права, привилегии, власть духовенства и охотно подчиняется ему даже и не в одних чисто церковных делах.

Во времена, когда освобождающиеся от чуждой власти народы были руководимы вождями, еще не пережившими «веяний» XVIII века, — эмансипация наций не только не влекла за собой ослабления влияния духовенства и самой

религии, но имела даже противоположное действие: она усиливала и то, и другое. В русской истории, например, мы видим, что со времен Димитрия Донского и до Петра I-го значение духовенства, даже и политическое, все растет, и само Православие все более и более усиливается, распространяется, все глубже и глубже входит в плоть и кровь русской нации. Освобождение русской нации от татарского ига не повлекло за собою ни удаления духовенства с поприща политического, ни уменьшения его веса и влияния, ни религиозного равнодушия в классах высших, ни космополи-¹⁰ тизма в нравах и обычаях. Потребности русской племенной эмансипации во времена Св. Сергия Радонежского и Князя Ивана Васильевича III сочетались в душах руководителей народных не с теми идеалами и представлениями, с которыми в XIX веке сопрягается национальный патриотизм в умах современных вождей. Тогда важны казались права веры, права религии, права Бога; права того, что Владимир Соловьев так удачно зовет *Бого-властием*.

В XIX веке прежде всего важными представляются права человека, права народной толпы, права *народо-влас-²⁰ тия*. Это разница.

Подобных же сравнительных примеров обоего рода мы можем найти несколько и в истории Западной Европы. И там, раньше провозглашения «прав человека», ни племенные объединения, ни изгнания иноверных или иноплеменных завоевателей не влекли за собой либерального космо- политизма; не ослабляли религии; не уничтожали дотла и везде ни дворянских привилегий, ни монархического всевла- стия... Религия (какая бы то ни была) везде усиливалась и как бы обновлялась после этих объединений и изгнаний.³⁰ Что касается до Монархии и аристократии, то, хотя в одной стране первая усиливалась на счет второй, а в другой — вторая на счет первой; но нигде они ни религию, ни друг друга до полного бессилия не доводили. Всего этого достиг в конце XVIII века и в XIX «средний класс»; все это совершили те «средние люди», в которых теперь все, и *сверху и снизу*, волей или неволей стремятся обратиться.

«Собрание» Франции начало быстрее совершаться при набожном Лудовике XI, после изгнания англичан при отце его Карле VII, и окончилось (если взять в расчет централизованную деятельность Ришелье) приблизительно ко времени тоже набожного Лудовика XIV.

Это объединение ничуть не поколебало во Франции католических чувств... Напротив того, — эти чувства во время борьбы с заносным Протестантизмом дошли, как известно, до фанатических крайностей.

¹⁰ Протестанство едва-едва добилось, наконец, до равноправности, но до преобладания ни разу не достигло...

Национальное объединение Франции не поколебало в ней *тогда* ни одной из национальных основ. Сочетания этих основ между собою, изменяясь значительно в XV и XVI веке, не только не сделали Францию более схожей с остальным миром, но, напротив того, яснее и гораздо выразительнее прежнего обособили ее культуру.

И в Англии, и в Шотландии одинаково преобладало издавна англо-саксонское племя над кельтическими остатками.

²⁰ В начале XVII века,* при Иакове I, эти две державы соединились. Династия Царства слабейшего вступила на престол сильнейшего Царства.

И это было племенное объединение; и это было благоприятное решение национального вопроса. Но оно ничуть не сделало великобританцев эгалитарными космополитами в нынешнем общечеловеческом смысле. Напротив того, либерально-аристократический характер учреждений определялся после этого постепенно все яснее и точнее. Характер Церкви Англиканской в эти именно времена, последовавшие за слиянием, выразил вполне свое исключительное местное, чисто национальное значение, обособился.

³⁰ Религиозные чувства в протестантской Англии (подобно католическим чувствам в «объединенной» Франции) не только не ослабли, но стали даже исступленными и произвели одну за другою две революции. Первая была ужасна, но

* (1603—25).

вторая (против Иакова II, в 1688 г.) была легка, ибо к этому времени национально-культурные особенности Англии стали до того резки и прочны, что защитить их уже не стоило большого труда и кровопролития.

На Пиренейском полуострове долгая борьба христиан с мусульманскими завоевателями, которые несколько веков господствовали на юге этой страны, окончилась в XV веке покорением Гренады. Это завершительное торжество испанцев над иноверными пришельцами произошло почти одновременно с национальным объединением их при Фердинанде и Изабелле, которых брак соединил Арагонию с Кастилией.¹⁰

Но и здесь национальное единство, одновременное с очищением всей национальной почвы от чуждого владычества, не послужило к обезличению и космополитизму испанского характера.

Именно со времен Фердинанда и Изабеллы стали еще резче прежнего обозначаться государственные, бытовые, литературные, художественные и вообще национальные особенности испанского народа.²⁰

Худы или хороши были эти особенности; удобны ли или тягостны они были для большинства, — я в это здесь и не вхожу. Для моей цели достаточно напомнить, что они, как известно, были во многом очень резки.

Я здесь не занимаюсь ни утилитарными, ни гуманитарными соображениями. — Я не отказываюсь уважать их вообще; ибо и я не изверг; я только их в этом труде устранию мысленно, как геометр устраниет в линиях ширину, которую, однако, в действительности имеет всякая линия. Вопрос культуры и политики и без того очень сло-³⁰жен, и входить еще в соображения о том, что было жестоко и что несправедливо — значило бы еще более затемнять его.

Для меня достаточно напомнить и заявить: вот как действовали в веках XV, XVI, и XVII — все эти национальные объединения, все эти изгнания иноземцев и иноверцев, все эти очищения племенных государств от посторон-

ней примеси. — Национального не искали тогда сознательно, но оно само являлось путем исторического творчества.

Каждый народ в то время шел своим путем и своей независимостью обогащал по-своему великую сокровищницу европейского духа.

Не то мы видим теперь!

Теперь (после объявления «прав человека») — всякое объединение, всякое изгнание, всякое очищение племени от ¹⁰ посторонних примесей дает одни лишь — космополитические результаты.

Тогда, когда национализм имел в виду не столько сам себя, сколько интересы религии, аристократии, Монархии и т. п., тогда он сам себя-то и производил невольно. — И целые нации, и отдельные люди в то время становились все разнообразнее, сильнее и самобытнее.

Теперь, когда национализм ищет освободиться, сложиться, сгруппировать людей не во имя разнородных, но связанных внутренне интересов религии, Монархии и привилегированных сословий, а во имя единства и свободы ²⁰ самого племени, результат выходит везде более или менее однородно-демократический. — Все нации и все люди становятся все сходнее и сходнее и вследствие этого все беднее и беднее духом.

Национализм политический, государственный становится в наше время губителем национализма культурного, бытового.

Неузнанная сначала в новом виде своем демократическая ³⁰ всесветная революция начинает после каждого нового успеха своего все скорее и скорее сбрасывать с себя лже-национальную маску свою; — она беззастенчивее прежнего раскрывает с каждым шагом свой искусно избранный псевдоним!

Не ходя далеко, мы увидим прекрасно новейшую беззастенчивость эту из сравнения греческого освобождения 20-х годов с болгарским семидесятых. — Чем дальше — тем хуже!

Всё-равняющий дух XVIII века уже пронесся по всему Христианскому миру, когда греки подняли знамя своего государственного-национального восстания, взяв идею Православия лишь в сильные пособницы своему эгалитарному либерализму. Без народа нельзя бунтовать, а народ греческий и до сих пор весьма православен.

Выражение *эгалитарный либерализм* я здесь употребляю не в смысле стремления греков к свержению власти *неравных* с ними, *привилегированных*, — *стеснявших* их мусульман, — а по отношению к социальному составу их собственной греческой среды и *под турком*, и *без турка*.¹⁰

В Турции и в то время не было глубоко выработанного сословного строя. Не входя в подробности, можно вообще сказать, что в этой Империи были только два главных слоя: мусульмане и «райя». Эти два слоя, *оба весьма равственные в своей собственной среде*, были очень просто и грубо наложены завоеванием один на другой. Были в среде христиан привилегии, дарованные там и сям иноверной властью; но эта неравноправность имела характер более *провинциальный*, чем *сословный*; более *местный*, *областной* или *муниципальный*, чем *родовой* или *наследственный*. Имела, конечно, в старину и там родовитость некоторый вес, но очень шаткий. Действительно же прочные привилегии противу массы мирского населения имело «под турком» только *православное духовенство* (в то время почти сплошь греческое). Патриархи и Епископы являлись перед Портой официальными представителями, заступниками христиан и в то же время начальниками их и даже во многих случаях бесконтрольными судьями... Что касается до мирян православных — то, кроме духовенства, определенных юридических слоев в их среде не было. Все держалось обычаем, и преобладали, конечно, только богатство и грамотность, — как преобладают они везде, где нет ни силой, ни законом утвержденного дворянства...²⁰
³⁰

И вот в южных частях Балканского полуострова и на некоторых островах иго мусульман свергнуто (с помощью России) к 30-му году.

Греки новой Эллады свободны...

Повторять ли и здесь то, на что я уже указывал прежде... Я думаю — не нужно?

Дворянства нет; Синод вместо Патриарха (т. е. форма противу светской власти более слабая), духовенство устранено от прямого влияния на гражданские и политические дела... Конституция в высшей степени либеральная с одной только палатой, т. е. без тормоза... Неслыханное множество газет на столицу, которая меньше нашей Одессы... *Фрак и сюртук* европейской буржуазии, господствующие *de facto* над дикой и своеобразной поэзией *шальвар* и *фустанеллы*. «Корсар» — Байрона стал чернорабочим или простым мошенником проезжих дорог. Он ездит на козлах кареты или коляски *европейского иноверного* Короля, *по-европейски одетого*. Король Оттон и супруга его еще любили оба носить греческую одежду. Это им не помогло, и

20 Король Георг уже не находит это нужным для популярности. *Никто уже из греков, видно, не нуждается в этом*. В европейском «проще»; «все так нынче одеваются». — «Это удобнее!» И так далее. *Пышная, изящная фустанелла с престола попала на козлы!..*

Это тоже символ времени; символ все большего и большего претворения всех местных, истинно национальных особенностей, столь живописных и возбуждающих дух любви к своему — в одном всеобщем стиле общеевропейской прозы.

30 Эдм(он) Абу писал свой памфлет «Современная Греция» против свободных греков в 50-х годах, под влиянием досады на них за то, что они были на русской стороне во время дунайской и севастопольской борьбы. В его книге много преувеличений, но много и злой правды.

Абу прежде всего сам именно то, что я предлагаю называть для ясности «*средним европейцем*». Умеренно-либеральный француз; нравами и обычаями европейской буржу-

азии вполне довольный; религии демократического прогресса поклоняющийся; ко всякой «ортодоксии» равнодушный; любящий, как многие, эстетику искусства, не понимая ничего в эстетике жизни... и т. д. ... Одним словом, это несколько более других способный и довольно даже остроумный представитель именно того общеевропейского типа, одна мысль о котором приводит иногда в истинное отчаяние того, кто вообразит, что этот тип есть разгадка и венец всей истории человечества.

Абу это именно тот несколько более других «средних людей» крупный «средний человек», «genge» которого так справедливо ненавидел бедный и гениальный Герцен, сбившийся со столь естественного в нем, московском барине, религиозного и аристократического пути.

Этот Абу в своей книге гневается на то, что греки свободной Эллады слишком любят Россию; на то, что они слишком набожны и православны; на то, что про западных христиан они говорят: «Это худо крещенные собаки» (это его слова, а не мои). Он издевается над афинскими молодыми людьми того времени (50-х годов) за то, что они на вопрос: «Куда вы идете?», отвечают очень просто и не смущаясь: «Я говею: иду к своему духовнику». Ему это прямое и простое отношение к религии отцов, эта набожность в человеке, кой-чему обучившемся и по-европейски чисто одетом, кажется и глупой, и даже удивления достойной!..

Абу пророчит между прочим, что «через сто лет не останется ни одной фустанеллы на свете». «Не будет больше палика́ров» (то есть молодцов, носящих греческую одежду).

Теперь этот развязный шелкопер, называющий себя учеником Вольтера, был бы, вероятно, гораздо довольнее греками свободной Эллады. Самодержавную Россию они разлюбили (отчасти по нашей вине, отчасти же и по собственной).

Если они нейдут, и не пойдут, вероятно, противу нас слишком открыто и слишком сильно, то это лишь потому,

что болгары теперь идут противу нас и что мы болгарам недовольны. *Говеть и не стыдиться говенья* (я заглазно уверен в этом!) многие за истекшие 30 лет уже перестали. «Фустанелла» попала на козлы...

И, конечно, если не будет у нас в России (да, *главное в России!*) глубокого поворота в духе по окончанию Восточного вопроса (*на Босфоре и Дарданеллах*); если у нас в России *взгляды, подобные моим*, не возьмут верх надолго... Если не станет ненавистен нам именно тот тип разви-
10 тия, к которому принадлежит сам Абу, то не нужно ждать и ста лет!

Гораздо раньше этого не только «фустанеллы» и православной набожности в Греции, но и вообще ничего в ней греческого, кроме языка, не останется!

Только русские, *переменивши центр своей культурной тяжести*, могут стать во главе *нововосточного* движения умов и перерождения жизни...

Греки *очень хороши*, очень содержательны, очень сим-
патичны даже, пока их сравниваешь только с юго-славяна-
20 ми. Они во всех отношениях выше их. Но и только!

Ведь это похвала не высокая — «в царстве слепых признать кого-нибудь *кривым лишь на один глаз*».

Мой идеал ясен, если не в подробностях положительных форм, то по крайней мере в отрицательной основе своей: *как можно меньше современно-европейского во всем*.

Греки же новые в высшей степени падки до *стиля Абу* и даже не видят и не сознают того, до чего они европейцы, в самом дурном значении этого слова.

Дух свой они полагают только в языке и в *сильном пле-*
30 *менном* государстве, о котором они мечтают издавна и тщетно.

Я говорю о *государстве*; я не говорю о *государствен-*
ности, т. е. о *своеобразном, глубоком строе политиче-*
ских учреждений. Это уже культурная точка зрения.

Этого у них вовсе нет и едва ли будет...

Я, впрочем, о греках еще не все сказал.

Прошу терпения.

Из всех видных и влиятельных деятелей 20-х годов только один Меттерних понял истинный исторический дух греческого восстания. Он один только «чуял», что в сущности это движение — все та же всемирная эгалитарная революция, несмотря на религиозно-национальное знамя, которым оно прикрывалось. Люди движения могли быть искренни в намерениях своих; но само движение должно было стать обманчивым, благодаря уже пронесшимся над всей Европой духом разрушительного опошления. 10

Быть может, Меттерних понимал яснее других тайный дух и будущее значение этой национальной инзуррекции лишь потому, что он был защитником и представителем интересов самого не племенного в мире государства. Существуют инстинкты и психические навыки звания и положения.

Он не имел насчет греков тех иллюзий, которые имели в его время столькие другие замечательные люди: лорд Байрон, Шатобриан, даже дипломат Каннинг. У Каннинга за соображениями чисто государственными (вроде того, что нельзя допустить Россию одну, без нашего английского вмешательства, распоряжаться судьбами Востока) стояло, видимо, еще и личное сильное культурно-эстетическое эллинофильство. 20

Почти все видные деятели того («романтического») времени ждали от освобожденных эллинов чего-то особенного, творчески-национального, неслыханного и поучительного.

Надо помнить, какое тогда было время! «Властителями дум» были в те года не Лессепсы и Эддисоны, а Байрон и Гете! 30

Все ждали... и дождались самой обыкновенной рационалистической европейской демократии во фраке и с неслыханным множеством пустопорожних газет!

Нынешние греки бесспорно имеют важное в современной истории значение, но это благодаря лишь своему древнему и славному монашеству, которое владеет че-

тырьмя Патриаршими Престолами и являет и теперь еще образцы великого аскетизма на Святой Афонской Горе и на Синае.

Но с истинным ужасом надо сознаться, что и эти столпы Православия поколеблены несколько за последние тридцать лет совокупными усилиями: болгарской *революционной интриги*, русской *племенной политики* и *рационализмом собственной эллинской интеллигенции*.

10 О вреде, который могли причинить Восточным Церквям за это же время естественное здорадство турецкого Правительства и враждебные действия иноверных держав — я умалчиваю; ибо силу этого «внешнего», так сказать, вреда нельзя сравнивать с тем злом, которое сделали греческому духовенству и Православию сами восточные христиане (*европейского духа*) своей *племенной борьбой*, — начиная от 60 года (когда болгары в первый раз прекратили возношение имени Вселенского Патриарха в своих церквах) и до нашего времени, когда жалкий сербский Король позволяет себе так безбоязненно и нагло обращаться с уставами Цер-
20 кви!

Это истинно ужасно!

И ужасно оно тем более, что у нас, русских, при нашей вялости и при каком-то всевыжидающем бесстрастии (*именно там, где страстность была бы спасительна*), нет умения вовремя узнавать в организме своей Церкви и своего Государства *те же самые болезни, которые губят Запад!* Мы не узнаем того же худосочия лишь потому, что у нас весьма второстепенные припадки его имеют несколько иной внешний вид, чем на Западе.

30 Мы у себя, на Востоке, медленно подтачиваем и подмываем *то*, что в западных странах ломали ломом и взрывали порохом люди, более нас убежденные, страстные и энергические! И ко всему явно или тайно, но примешан этот *племенной принцип*, в *чистоте* своей губительный для всего того, что дает истинную жизнь человечеству; губительный для религии, для государственности и даже для эстетики!.. не для эстетики «отражений» на полотне или в книгах, а

для эстетики *самой жизни*, — ибо без мистики и пластики религиозной, без величавой и грозной государственности и без знати блестящей и прочно устроенной — какая же будет в жизни поэзия?.. Не поэзия ли всеобщего *рационального мещанского счастья*?

Возвращаясь опять к более и более освобождающейся в этом веке новогреческой национальности, — необходимо прибавить еще, что и тот в высшей степени важный элемент, греческое монашество, об ослаблении которого я с сокрушением сердца только что говорил, — держится еще и ¹⁰ сильно иногда влияет в греческой мирской среде, преимущественно благодаря тому, что *греки еще не достигли своего полного национального освобождения и объединения*.

Я уже прежде гораздо подробнее и нагляднее, чем здесь, объяснял в I томе моего сборника (в статье «Русские, греки и юго-славяне»), что «интеллигенция» греческая гораздо «рационалистичнее» и суше в деле религии, чем наша, и потому тот, кто желает знать ближе мои на нее взгляды, может прочесть ту статью...

Здесь я упоминаю об этом лишь для того, чтобы сделать ²⁰ одно предположение — и вывести из него естественный вывод.

Если бы предположить, что греки достигли своего наиполнейшего (возможного в их мечтаниях и невозможного, слава Богу, на деле) объединения *даже со столицей в Царьграде*, то чего бы можно было ожидать по прежним примерам?..

Конечно, глубочайшего падения Православия — и больше ничего!

Теперь греческая «интеллигенция» еще держится за ³⁰ Патриархов, за духовенство свое и на монастыри не может посягнуть прямо, минуя турецкую (столь часто, увы, спасительную для Христианства) власть! Эта, самодовольная в мелком европеизме своем, интеллигенция держится за *Церковь в Турции* лишь потому, что она до поры до времени ей оплот и удобный представитель среди иноверных сил и иноплеменных влияний...

Я сам знал лично и таких людей между образованными и весьма влиятельными греками, которые пламенно желали в 72-м году церковного разрыва не только с болгарскими, но и с Россией, и употребляли все усилия, чтобы довести до этого безумия свое духовенство. Духовенство же, хотя и недовольное русскими за их эмансипационное болгаробесие, не позволило себе такого неканонического шага.

¹⁰ Некоторые из мирских греков мечтали даже, что именно оторвавшись от Славянства, они создадут новую, свою особую оригинальную религию! Как это на них похоже! Таков, между прочим, был в 72-м году г. Марули, человек очень образованный и способный, восседавший немного позднее на Боннской конференции как представитель строго догматического Православия.

В 72-м году в городе Серресе, в доме г. Контó, русского «ad honores» вице-консула, он сказал мне так:

— Какая нам потеря от полного разрыва с Россией? Я уверен, что греческое племя, уже давшее миру прежде две великие религии — древнеэллинскую и Православную, — ²⁰ в силах создать и третью, тоже великую...

На это я ему ответил так:

— Для того, чтобы создать, как вы говорите, новую веру, надо самому сильно верить; нужно иметь глубокие мистические порывы и потребности. А я именно этих-то порывов и потребностей не вижу вовсе ни в вашем образованном классе, ни в народе, хотя и живу с ним здесь в дружеском общении вот уж скоро десять лет. В России этих чувств в высшем классе общества гораздо больше, чем у ³⁰ вас. Мы начинаем пресыщаться рационализмом, а у вас он только что начал расти. Отделясь от России, вы только разрушите свою Церковь и повергнете скоро нацию вашу в безбожие. У нас и мужики создают секты, под влиянием мистических стремлений, а у вас, кроме чистого деиста Кайра, в этом роде не было никого.

Умный Марули внимательно поглядел на меня через золотые очки свои и задумчиво замолчал. Года через два-три

(кажется) он был послан в Бонн для рассуждений об «исхождении Св. Духа» и т. п. предметах.

Это один из лучших представителей греческой интеллигенции, большого ума человек.

«Отрицание», до поры до времени, до желательного окончания либерально-национального вопроса, отрицание относительно религии, довольно, впрочем, осторожное. И больше ничего. Не по-болгарски дерзкое и преступное...

И во всех других отношениях ничего особенно национального, кроме политического патриотизма; ничего творческого, ничего поражающего. Ничего, кроме самой обыкновенной европейской демократии...

Современная, довольно грубоватая французская буржуазность, переведенная на величавый язык Иоанна Златоуста и Фукидида — и только... Вот плоды так называемого национального возрождения греков.

V

Я сказал, что Меттерних, кажется, один только из всех влиятельных современников первого греческого восстания понимал истинный характер этого движения. Если при этом он имел и другие соображения, собственно как австрийский министр, если он боялся, что, потрясая и ослабляя Турцию, это движение греков слишком усилит (со временем) Россию, то такого рода частное политическое соображение чисто австрийского рода ничуть не уменьшает силы его общеисторической прозорливости. *Плоды национально-греческого движения оказались общедемократическими европейскими плодами.*

Многие эллинофилы того времени, ожидавшие от «возрождающихся» эллинов чего-то особенного, были впоследствии глубоко разочарованы.

Байрон скончался, не издавши той демократической казенщины, которая воцарилась очень скоро у подножия Акрополя; но другие филэллы 30-х годов дожили и до на-

шего времени. Покойный Михаил Николаевич Муравьев-Виленский, уже старцем встречая в Западном крае молодого Короля эллинов, когда он ехал в Петербург (в конце 60-х годов), сказал ему приветственную речь и в ней, между прочим, упомянул и о том, что он в молодости сам был эллинофилом и что «греки обманули ожидания всех своих прежних друзей».

Разочаровался в «свободных» греках и Государь Николай Павлович, который сделал так много для их эмансипации.¹⁰

Во время трехлетней борьбы нашей с Турцией и ее союзниками на Дунае, в Крыму и за Кавказом (53—56) свободные греки, даже и стоявшие за нас, жаловались, что Государь не хочет для Эллады ничего сделать. Греческий публицист Реньери, вообще в то время благоприятный нам, приводил даже следующие слова Государя Николая I-го (слова, сказанные, кажется, Сеймуру): *«этому демагогическому народу я не дам ни пяди земли»*.

Документов у меня под рукою нет, пишу на память, и если вкралась какая-нибудь неточность, прошу мне ее извинить.²⁰

Но как бы то ни было, как бы ни изменил своего взгляда на греков Свободного Королевства Государь Николай I ко времени Крымской войны, в 29 году он им помог освободиться больше, чем кто-либо другой на всем свете. Не Наваринская битва окончила неравную, жестокую и долготную борьбу их с Турцией, но взятие Дибичем Адрианополя. Начнись подобное движение не в 21 году, а десять лет позднее — в 31 г., едва ли бы Николай Павлович стал бы ему благоприятствовать. Вернее, что он постарался бы утешить его вначале.³⁰

Государь Николай I-й был истинный и великий «легитимист».

Он не любил, чтобы даже и православные «райя» позволяли себе бунтовать противу Султана, он самому лишь себе основательно предоставлял законное право побеждать и подчинять Султана, как Царь Царя.

Но и у великих людей определенный образ мыслей сла-
гается не вдруг, и для них нужны время и опыт, необходи-
мы сильные впечатления жизни.

Вооруженное заступничество его за греков благополучно
окончилось *прежде* июльской революции во Франции и
польского восстания 30 года.

Эти последние события имели, видимо, сильное влияние
на его взгляды и, конечно, определили дальнейший, в вы-
сшей степени охранительный характер его блестящего цар-
ствования.

10

Неудачный и легкомысленно-либеральный дворянский
бунт декабристов не мог еще внове так повлиять глубоко на
его царственный ум, как потрясли и вразумили его позднее
происшествия 30-х годов. С этих годов Государь стал про-
тивником всякой эмансипации, в сякого *уравнения*, всякого
смещения и у себя, и у других. Уверяют, будто бы он же-
лал освободить наших крестьян, но не успел. В пользу этого
мнения есть много важных указаний. Но я все-таки думаю,
что, и не скончайся он в 55-м году, все бы он не решился
этого дела начать. У замечательных государственных людей²⁰
есть чутье, есть какой-то эмпирический инстинкт, подобный
тому, какой бывает у хороших врачей-практиков. Этот ин-
стинкт, не зная еще соответственной делу теории, уже пред-
чувствует ее и действует сообразно с нею. И точно так же,
как у хороших врачей-практиков, — недостаточные и даже
ошибочные объяснения, по незрелой и неясной еще теории,
ничуть не мешают правильным действиям, так бывает и у
государственных людей. Теперь, к концу XIX века, теория
социальная должна начать склоняться мало-помалу опять к
идеалу неравноправности, мистической дисциплины, силь-³⁰
ной власти и т. д. Это особенно разительно, если сравнить
конец XVIII века с концом нашего. Вспомним, какая тогда
была *вера* во благо эгалитарного и демократического про-
гресса! Какие *надежды* на индивидуальный и собиратель-
ный *разум* человечества! Вспомним, как в Париже празд-
новали праздники в честь этого «разума». На какие только
жертвы и на какие только ужасы не были готовы тогда са-

мые даровитые и искренние люди во имя «равенства и свободы»!

И теперь толпы еще стремятся к наибольшему уравниванию и будут еще долго стремиться к нему, проливая даже кровь... Будет еще много людей способных и прямых, которые станут охотно служить этим стихийным инстинктам толпы, не говоря уже о людях только честолюбивых и коварных, готовых стать во главе всякого движения... Все это так, но все-таки *чувствуется*, что в высших умственных сферах этой прежней пламенной веры во благо демократического прогресса уже давно нет и что розовым надеждам этой вчерашней старины уже не вернуться более! И во всемогущество и всеблагость «*разума*» человеческого кто же из нас в эти последние года XIX века верит так безусловно, так *богомольно*, как верили в него прежде самые великие умы? *Никто!*

Можно и в наше время, положим, верить в еще бóльшие успехи демократии и всеобщей ассимиляции в одном общем типе «среднего европейца». Можно верить, но *только* в самые *успехи*, а не во *благо* этих успехов. Мы верим и в неизбежность старости и смерти своей, и в неотвратимость множества других бедствий, скорбей и разрушений. Мы верим, но не любим их.

Что касается до социальной науки, то раз она принуждена была допустить, что всякое общество и государство, всякая нация и всякая культура — суть своего рода организмы, — а во всяком организме развитие выражается *дифференцированием* (органическим разделением) в *единстве*, то она должна допустить и обратное, то есть что близость разложения выражается *смещением* того, что прежде было *дифференцировано*, а потом, при большой однородности положений, прав и потребностей, *ослаблением единства*, царившего прежде в богатой разновидности составных частей.

Распадение же на части как результат ослабления единства есть конец всему.

Ибо «состояние однородности есть состояние неустойчивого равновесия».

И Наполеон I, по свидетельству Тьера, находил, что на французской почве (даже и его времени) трудно было что-нибудь строить, ибо она «как песок». Он мечтал создать военное дворянство; советовал ученым образовать крепкие корпорации наподобие монашеских и т. д.

Он тоже, не зная таких теорий, которые становятся возможными только в наше время, государственным инстинктом своим — чувствовал эту истину общественной статистики. Эгалитарное смешение сословий и сильное стремление к сплошной и вольной однородности вместо 10
прежнего деспотического единства в разнообразно и сдержанно антагонистической среде — вот первый шаг к разложению.

Будем же и мы продолжать служить этому смешению и этой однородности, если хотим погубить скорее и Россию, и все Славянство!

VI

В октябрьской книжке «Русского Вестника», в отделе критики, есть чрезвычайно любопытная статья под заглавием «И. С. Аксаков в его письмах». Особенно интересна 20
объяснительная записка, которую вынужден был молодой Аксаков представить в ответ на вопросы III отделения в 49 году. На этом ответе некоторые места подчеркнуты Государем Николаем Павловичем, и против них Государем же сделаны собственноручные заметки. Против того места, где Аксаков пишет о «сердечном участии так называемых славянофилов к западным славянам и вообще к положению единокровных и единоверных своих братьев», Император сделал следующую заметку:

«...Под видом участия к мнимому утеснению славянских 30
племен таится преступная мысль о восстании против законной власти соседних и отчасти союзных государств и об общем соединении, которого ожидают не от Божьего произволения».

Автор статьи дальше от себя указывает на то, что Государь признавал «мнимым» утеснение славян иноплеменными властями и, допуская славянофильское *чувство*, не терпел славянофильской *агитации*.

«Государь (говорит тут же автор) дает здесь доказательство своего политического рыцарства, объявляя преступною мысль о восстании против законной власти соседних и отчасти союзных государств».

¹⁰ Под этими «государствами» следует разумеать, конечно, прежде всего Австрию, а потом отчасти и Турцию. И я напоминаю уже о том, что Николай Павлович признавал за собою право производить давление на Султана в пользу единоверцев своих, право воевать с ним и даже подчинить его себе, но за подданными Султана права своевольного освобождения не признавал.

²⁰ Одно ли «рыцарство политическое» руководило им, когда он не допускал славянской агитации ни в Австрии, ни в Турции, когда он вступался против венгров за Австрийского Императора и за Султана противу Мехмед-Али Египетского?

Едва ли! «рыцарство» это, свойственное ему лично, как натуре сильной, благородной и весьма идеальной, не было ли формой, в которой (с личным именно оттенком) выражались его великие государственные инстинкты?

Я говорю нарочно — «инстинкты», чтобы яснее освятить мою веру в важность *бессознательных* или *полусознательных* начал при совершении замечательных дел.

³⁰ В предыдущей главе я говорил о врачах и об их эмпирических инстинктах, нередко предупреждающих и предугадывающих в своей практике будущую теорию. Такие же эмпирические, полусознательные чувства мы замечаем и у великих полководцев, и у истинно даровитых художников. Надо признать нечто подобное и у государственных людей.

Они могут сами объяснять свои действия одним способом; но история может объяснить это иначе и глубже. Сознательное побуждение великого человека, его собственный

взгляд на предстоящее дело — очень важны для его биографии, для определения его личности, для общей психологии, наконец. Но для политической истории важнее результат действия, *влияние* политического поступка на дальнейший ход дел.

Так, например, когда Император Николай вступился за Султана противу Египетского Вице-Короля и послал высадку в Константинополь для помощи законному *Государю*, весьма вероятно, что он сам имел в виду лишь охранение господствующего порядка и противодействие всему тому, что имеет вид бунта, восстания и т. д. Но со стороны, иные подозревают и в этом поступке преднамеренное, сознательное коварство русской политики; ее прославленную за границей «дальновидность». Во время службы моей в Турции у меня была в руках книга покойного австрийского интернунция Прокеш-Остена (заглавия ее не помню). Тонкий австрийский дипломат уверяет, будто Россия вступилась за Турцию потому, что боялась возрождения ее под рукою новой, неизносившейся, более даровитой египетской династии. Очень может быть, что Прокеш-Остен и прав, судя по *результату*. Может быть, что победы египтян над турками и вступление Ибрагима-паши (сына и военачальника вице-королевского) в Царьград произвели бы там дворцовый переворот: Мехмед-Али воцарился бы на Босфоре, и Турция обновилась бы надолго под управлением этого гениального человека. Во всяком случае, более тесное объединение Египта с Турцией обогатило бы и значительно усилило бы последнюю. Русская высадка на Босфоре пресекла все эти возможности. Поэтому я и говорю: быть может, австрийский дипломат и прав в оценке этого исторического события по роду его влияния; но, чтобы судить о том, действительно ли все это имелось в виду тогдашним русским Правительством, чтобы решить, что оно вполне сознательно руководилось именно этою целью, надо было или подслушать просто секретные разговоры Государя с его приближенными, или иметь в руках какой-нибудь секретный же русский мемуар или доклад того времени. Ни я, ни Про-

кеш-Остен и разговоров таких не слыхали, и мемуаров таких не читали. И потому в области предположений мы оба одинаково свободны и равноправны.*

Он, как австриец и, вдобавок, лично известный за человека коварного, видел сознательное коварство там, где я, русский, вижу нечто гораздо большее и несравненно высшее: именно тот великий государственный инстинкт,** который, при сознательном стремлении к цели ближайшей и нередко даже низшей, достигает бессознательно целей дальних и глубочайших.

Прямота и твердость Царя-охранителя, Царя-легитимиста достаточны сами по себе для объяснения всего этого события. Он имел право воевать с Султаном; он имел право разделить Турцию с кем хотел. Но он не желал позволить, чтобы вассалы и подданные (и православные и другие) восставали противу законной власти даже и того, кого он называл «больным человеком». Если, защищая больного этого человека противу взбунтовавшегося вассала, он еще больше повредил ему, то это лишь одно из замечательных проявлений того «чутья», того гениального эмпиризма, о котором я говорю.

В 30-х и 40-х годах легальный либерализм и его исчадие — демократическое парламентарство не износилось

* Примеч(ание) авт(ора). — Оказалось, что Прокеш-Остен был правее меня. — Все это было уже напечатано, когда я приобрел книгу г. Татищева «Внешняя политика Императора Николая». — Из нее документально явствует, что Госуд(арь) руководился не одним «рыцарством», но имел в виду весьма важные государств(енные) интересы. — На стр. 348 помещены отрывки из письма Гр(афа) Нессельроде к Орлову (?); — в этом офиц(иальном) док(ументе) говорится следующее: «Если бы Мехмеду-Али удалось низвергнуть Султана, то это обстоятельство имело бы для нас самые вредные последствия»..... «Замена соседа слабого и побежденного торжествующим и сильным могла бы состояться только нам во вред».

** Значит — я ошибся: не один «инстинкт», но и ясное сознание полит(ических) выгод. — Такая ошибка приятна.

так, как изнашивались они теперь. Гражданское равенство, ведающее скоро и к политическому равенству, не обнаружило тогда еще вполне своего антигосударственного характера. Национально-эмансипационная политика также не принесла еще в то время всех своих горьких и вовсе неожиданных плодов. Сословность у нас в России была тогда не только очень крепка на деле, но и мысли либеральные и всеравняющие были в то время достоянием очень немногих русских людей. Все остальные находили, *что и так хорошо*. Сами крестьяне об освобождении редко позволяли себе мечтать.¹⁰ В других государствах, за исключением Франции, также господствовали в то время более или менее аристократические и монархические порядки. Но государственный инстинкт Императора Николая точно будто предвкушал все ядовитые плоды *эмансипационного прогресса!*

Малейшее влияние либерализма ему основательно претило! Неудивительно, впрочем, что эгалитарный либерализм *у себя внутри государства* представлялся ему все той же революцией, откуда бы она ни пришла: сверху или снизу; в какой бы она одежде ни явилась: во фраке ли французском²⁰ или в хомяковском кафтане!

Гораздо, по-моему, удивительнее то, что Николай Павлович постигал *в то время*, что эмансипационная политика и *за пределами своего государства* есть дело, хотя бы и выгодное вначале, но по существу крайне опасное и могущее, при малейшей неосторожности, обратиться на собственную главу эмансипатора.

Он постигал полвека тому назад то, чего и теперь еще многим у нас никакими силами не втолкуешь, несмотря на всю грубую наглядность событий, несмотря на то, что во-³⁰ круг нас все так и «трещит по швам» и в старой Европе, и в православных странах Востока!

Император Николай, по смотрению свыше, был призван задержать на время то всеобщее разложение, которое еще до сих пор никто не знает, чем и как надолго остановить.

И он, с истинным величием *гения-охранителя*, исполнил свое суровое и высокое назначение!

Я говорил выше, что Государь Николай Павлович, не доживши до конца XIX века, когда «реакция» начинает, мало-помалу, приобретать себе теоретические оправдания и основы, — чувствовал, однако, политическим инстинктом своим не только то, что Запад на пути к заразительному и для нас разложению, но что и сама Россия наша при нем именно достигла той культурно-государственной вершины, после которой оканчивается живое государственное созидание и на которой надо приостановиться по возможности и надолго, не опасаясь даже и некоторого застоя. — И этим гениальным инстинктом охранения объясняются все его главные политические действия и сочувствия: отвращение от либеральной Монархии Людовика-Филиппа; защита «коварной», но *необходимой еще надолго*, быть может, Австрии; венгерская война; заступничество за Султана противу Мехмед-Али; расположение его к весьма еще в то время аристократической и охранительной Англии; нежелание его, чтобы восточные христиане самовольно восставали против законного и самодержавного турецкого Правительства наконец; наконец и то разочарование в освобожденной Элладе, которое выразилось в словах его (легендарных или исторических, все равно): «Этому демагогическому народу я не дам ни пяди земли».

Государь, как известно, не благоволил и к славянофилам московским, несмотря на то, что видимо сам имел с ними много общего в идеалах и верованиях. Хомяков, Аксаковы, Погодин были приверженцами Самодержавия и врагами обыкновенной демократической конституции; единственную конституцию, которую они на своем месте чтили, была тогдашняя английская, ибо в Англии она выросла вместе с нацией постепенно и естественно, — точно так же, как в России утвердилось Самодержавие.

Государь сам был такой идеальный Самодержец, каких история давно не производила. Великобританию и ее порядки он тоже, как и славянофилы, по всем признакам, уважал.

Николай Павлович, как рассказывают люди знающие, молился даже иногда по ночам. Славянофилы все были люди более или менее верующие. Кирсеский был даже монахолобец и друг знаменитых Оптинских старцев — Моисея и Макария (скончавшихся) в 60-х годах).

Православные убеждения Хомякова известны; и, если в богословских сочинениях своих он позволял себе некоторые тонкие уклонения от общепринятых духовенством взглядов, то в жизни он был просто послушным и искренним сыном Церкви. В семье Аксаковых соблюдались обряды и обычаи ¹⁰ Православия.

Славянофилы были все пламенными патриотами; они находили только недостаточным в русском человеке тот род патриотизма, который они звали «государственным», и требовали и от себя, и от других большего патриотизма, «культурного, бытового».

Проблески тех же самых вкусов можно было заметить у Государя. При нем впервые после Петра архитектура церквей наших стала снова стремиться к столь естественному в России византийскому стилю. Даже относительно русской ²⁰ одежды можно подметить одну интересную черту совпадения: в кругу Аксаковых мужчины носили русскую одежду, а женщины сохраняли европейскую; при Дворе Николая I для женщин была введена парадная русская одежда, а мужчины являлись в мундирах европейского стиля.

Что-то как бы неполное с обеих сторон; что-то как бы стихийно стремившееся дополнить друг друга в истории и жизни.

В чем же была глубокая разница? Где была та бездна, которая разделяла московскую мысль от петербургской ³⁰ власти? В чем же главном проявлялась склонность московских патриотов к некоторого рода оппозиции, и почему именно так подозрительно взирали на них при Дворе?

Существенная и простая разгадка этой розни в том, что славянофилы были все либералами, а Государь этого не любил. Сами себя они никогда либералами на европейский лад признать не хотели и против этого рода европеизма

даже постоянно писали (когда позднее им писать стало возможным).

Но быть противу конституции, против всеобщей подачи голосов, против демократического индивидуализма, стремящегося к власти, и быть в то же время за бессословность, за политическое смешение *высших классов с низшими* — значит отличаться от *новейшей Европы* не главными и существенными чертами социального идеала, а только *степенью их выразительности*. При мало-мальски благоприятных условиях для демократических сил, равноправность гражданская переходит в равенство политическое, и свобода *личная* присваивает себе скоро власть конституционную.

Если у нас *теперь* в России сравнительная с прежним личная свобода миллионов крестьян не привела еще ко всем жестоким результатам своим, то это благодаря тому, что они находятся в некоторого рода *новой крепостной зависимости от неотчуждаемой земли и общины*.

Но и это, и все подобное этому стало ясно *теперь*, после опытов самой русской жизни и благодаря общемировому движению умов, почуявших к концу XIX века, что идеалами XVIII долгие жить невозможно. Что простой и безусловный *звдемонический* (всеблагоденственный) либерализм отживает свой век, видно уж из того, между прочим, что детище его — *социализм* — все больше и больше, и в теории, и на практике раскрывает свой деспотический характер. Либерал Спенсер в наши дни печатает против социализма свою книгу «Грядущее рабство». Он предсказывает, что социализм может быть осуществим только в виде *рабского* подчинения общинам и Государству. И я думаю, — что он прав.

Да, говорю я, все это становится яснее теперь, через сто лет после объявления «прав человека», но в 40-х годах все это было еще очень темно и неопределенно. И наши славянофилы высказались полнее и яснее (насколько им это было дано по роду их талантов) в последние 20—30 лет.

В то время, в 40-х и 50-х годах они печатали мало, они могли только говорить и проповедывать, и то с осторожностью. Государь Николай Павлович *чувствовал*, что под боярским русским кафтаном московских мыслителей кроется обыкновенная блуза западной демагогии. «Кроется» — не в том смысле, что они, эти славянофилы, *преднамеренно и лукаво* сами скрывают ее. Вовсе нет! Но в том смысле, что они не сознают на себе присутствия этой западной блузы.

Благородные патриоты эти не замечали вредных сторон ¹⁰ своего учения; они не могли еще отличить этих вредных сторон его от тех истинно спасительных указаний на прошедшее и на будущее наше, которое они нам в других отношениях давали.

Они не догадывались, что прекрасный, оригинальный патриотический кафтан, непрочно (т. е. *слишком эмансипационно*) сшитый, спадет со временем неожиданно с плеч России и обнаружит печальную истину во всей ее наготе: «И мы такая же демократическая и пошлая Европа, как и самая последняя Бельгия». ²⁰

Государь Николай видел по некоторым, едва, быть может, заметным тогда признакам, что в старом Славянофильстве есть одна сторона, весьма, по его мнению, и европейская, и опасная: *это склонность к равноправности*, и поэтому не давал ему хода.

Государь был прозорлив и прав.

Дай, Боже, нам надеть наконец-то какой-нибудь свой красивый, удобный и даже пышный кафтан, но надо, чтоб он был прежде всего прочно (т. е. *не равноправно и не либерально*) сшит!.. ³⁰

VIII

В 40-х и 50-х годах петербургская власть и московская мысль дополняли, как я сказал, друг друга в новейшей нашей истории. Они были тезис и антитезис нашей культурной жизни, оба неполные в идеале своем и оба полез-

ные, — они и теперь ждут еще своего синтеза, который, по прекрасному пророчеству Тютчева, возможен «не в Петербурге и в Москве, а в *Киеве и Цареграде*».*

Конечно, борьба в то время была слишком неравна, не только по силам вещественным, но и по степени идейной выразительности.

Петербургская власть тех годов, возросшая на непрерывных Петровских преданиях, уже выразила в жизни вполне свой государственный идеал, — до того вполне, что
10 всякий дальнейший шаг, всякое дальнейшее движение неизбежно должно было, хоть до некоторой степени, разрушать веками сложившийся сословный строй государства. Например, у Екатерины II было еще, что дать дворянству, что прибавить ему; она утвердила его вольности, дала ему большую противу прежнего независимость от государства, от службы и т. д. Увеличивать власть его над крестьянством было бы бессмысленно и жестоко; ибо эта власть и без того была очень велика. После Екатерины надо было или при-
20 остановить насколько возможно течение всеизменяющей жизни, или приступить к действиям, противоположным всему тому, что делалось по сословному вопросу со времен Петра и до начала XIX века. Государь Александр Павлович склонялся, как известно, к последнему направлению; но борьба с Наполеоном, в которой протекла почти вся его жизнь, не дала ему возможности увлечься либерализмом. Николай Павлович поэтому застал Россию именно в том законченном и высшем сословно-монархическом строе, в котором она сохранилась без существенных перемен со времен Екатерины.

30 Екатерина могла еще *созидать*; ибо созидание и утверждение государств есть всегда *расслоение* («дифференцирование», как говорит Спенсер); расслоение же это, это «дифференцирование», т. е. усиление разницы или разнооб-

* Это пророчество Тютчева относится собственно к примирению Польши с Россией; но я им воспользовался здесь в другом, более общем смысле. *Примечание автора*. Леонтьев.

разия в положениях, само собою подразумевает неравноправность лиц, классов, областей, вероисповеданий, полов и т. д. Николаю Павловичу после нее оставалось только одно из двух: или приступить к уничтожению этого расслоения, к *смещению того, что было резко дифференцировано* (разделено) вековым историческим процессом, или удержать все по возможности *in statu quo*, предохранить все полученное им в наследство от этого смесительного всераспоржения. Он предпочел последнее. Охранение существующего, даже и со всеми неотвратимыми недостатками его —¹⁰ было его идеей, и эта идея выражена была тогдашним петербургским Правительством и во внутренних делах, и во внешних с необычайной силой и последовательностью.

Славянофильское ученье, напротив того, обнаружило истинное значение свое гораздо позднее. Оно только теперь, в 80-х годах, начинает распространяться и действовать! (пока еще, впрочем, на одни *умы*, а не на жизнь) не одними только либеральными, эмансипационными, протестующими и отрицательными сторонами своими, но и положительными,²⁰ религиозными, культурными, эстетическими. От 60-х годов и до нашего времени, от Аксаковского и Самаринского Славянофильства, в жизнь, во вкусы общественные, в политику внешнюю и внутреннюю переходило почти исключительно лишь то, что в нем было общего с новейшим европейством, то есть: идеи бессословности и смещения; верования в то, что равенство гражданское не повлечет за собою политического народовластия; надежды на то, что дорогое ему (Славянофильству) Самодержавие может очень долго простоять без тех боковых опор, которые дают ему *гражданское и постоянное, организованное надавливание вы-*³⁰
сших классов на низшие (так ведь думают и во Франции поборники демократического Кесаризма); — во внешней политике — слепая вера в славян и племенной национализм, даже и в ущерб Православию, как было в греко-болгарской распре.

Одним словом, *в жизнь* от 60-х до 80-х годов из Славянофильства переходило все то, что было в этом учения

русским только по языку, а по духу и плодам своим от эгалитарно-либерального западничества мало отличалось.

Одна только ветвь этого учения пустила в действительности за истекшее тридцатилетие живые (и, Бог даст, прочные!) ростки. Это мысль о наделении крестьян землею и особенно о сохранении у них поземельной общины. Но ведь эта прекрасная идея и это спасительное учреждение — не либеральны! Они именно носят на себе тот характер промышленности о народе, которого требует от высших властей

¹⁰ истинное Христианство: не либерально-гуманный, принудительно-любящий, деспотически заботливый, разуму личному и собирательному рабочей толпы недоверяющий характер.

Честь и слава вечная славянофилам за эту их глубокомысленную и православную измену либерализму! — Православие жаждет личной гуманности, но на общественную свободу оно взирает в высшей степени недоверчиво еще со времен Апостольских. — «Учреждения пусть будут суровы; человек должен быть добр» — вот Христианство!

²⁰

Об общине славянофилы думали издавна. Что же касается до петербургского Правительства, то оно до самой эмансипации не имело и причины заниматься ею, и обращаться на нее особенное внимание, ибо эта община, по выражению И. С. Аксакова, «находилась тогда под предохранительным колпаком помещичьей власти». Когда пришло время, — славянофилов послушались или только совпали с ними, — я не знаю — но взгляды их, к счастью, восторжествовали в этом отношении.

³⁰ Дух славянофильского учения и дух петербургской власти 40-х годов, повторяю еще, дополняли друг друга во многом.

Вообще можно сказать, что когда дело касалось Церкви, то правее были и остаются до сих пор славянофилы, — они желали Церкви более сильной и более свободной, чем Церковь, реформированная Петром. — Это правильное стремление свое к Церкви сильной и независимой они портили

только племенными пристрастиями. — Ибо вместо того, чтобы издали и заблаговременно подготавливать обновление Церкви посредством какого-нибудь *соборно-патриаршего сосредоточения ее власти в недалеком уже будущем на Босфоре*, они воевали противу греческого духовенства, заступаясь без всякой действительной крайности за болгарских рационалистов-раскольников.

С этой последней точки зрения надо опять-таки указать на то, что и в годы наисильнейшего своего либерализма (в 70-х годах) Правительство наше исправило несколько своим охранительным инстинктом славянофильскую, в этом деле, немощь. Оно сумело остановить поток опасных племенных сочувствий на краю пропасти и пока обошло ее в главном пункте благополучно. *Возможность централизующего на Босфоре синтеза еще не совсем потеряна.* (Надо бы только теперь уже и спешить!)

Это касательно Церкви.

Что же касается сословности, дворянства и т. д., то теперь стало ясным, что прежние идеи петербургской власти были правильнее идей славянофильских. Как бы ни рассматривали мы эти сословные идеи «Николаевского» периода, с самой ли простой и будничной практической точки зрения (т. е. полицейской), или с высшей государственной, или с еще высшей, — с культурной, со всех этих трех точек зрения петербургская власть окажется исторически гораздо правее московской мысли тех времен. Для того, чтобы понять, что власть эта оправдана с первой (низшей, но зато *настоятельной*, как хлеб насущный) точки зрения, достаточно вспомнить о тех корреспонденциях, которые мы читаем теперь из всех провинций, и еще лучше *пожить самому* в русской деревне (как пожил и я семь лет, от 74 до 81 года, и как живу в ней теперь).

Для того же, чтобы оценить правоту Николаевского Правительства с точки зрения более глубокой, — государственной, — лучше всего перечесть ту краткую и превосходную по ясности и силе статью г-на Пазухина: «Современное состояние России и сословный вопрос», которой

основные мысли совпадают так хорошо с законодательными новейшими начинаниями. — И по этой книге г-на Пазухина, и по течению современной истории, и по урокам самой жизни оказывается, что Петр Великий, во-первых, не изломал вдруг весь строй русской жизни (*с этой, — сословной стороны*), а развил только то, что было уже приготовлено его предшественниками, Царями старо-московского духа, славянофилами столь любимого. — А во-вторых, что мы теперь, испытавши на деле (даже и далеко не вполне) то ¹⁰ бессословное смешение, которому славянофилы сочувствовали заодно с либеральными западниками, *принуждены* возвращаться к восстановлению дворянства; *принуждены* искать новые формы для доставления ему снова спасительного преобладания в народной среде. Мы вспомнили даже о тех *неотчуждаемых дворянских землях*, которые так желал закрепить все тот же Петр! (Ведь все это, слава Богу, нелиберально.)

Успеет ли нынешнее Правительство в своих здоровых и практических начинаниях, или нет; сумеет ли современное ²⁰ дворянство русское стать на истинной высоте своего будущего призвания; свыкнется ли русский мужик с новой *государственной зависимостью* от дворян, как свыкся он прежде с *лично-хозяйственным подчинением* своим, — все это, конечно, наверное решит только грядущее. Но тот, кто хочет верить, что Православно-монархическая Россия простоит не распадаясь лет хоть 200 еще, — тот должен надеяться и на какое бы то ни было новое сословно-корпоративное расслоение и разграничение общественных элементов наших.

³⁰ Иначе нарушенное социальное равновесие несколько раньше, несколько позднее, но даст себя знать самыми жестокими и плачевными результатами — «ягодами» нынешних «цветов»!

«Северный исполин» заболел либеральной горячкой; он заразился «бактериями» западной демократии. Припадки неясны, непостоянны, запутаны, переменчивы. Это какая-то febris versatilis, как выражалась старинная медицина.

Организм его еще очень силен. Врачи у него нашлись твердые, спокойные, опытные; сами, видимо, без дальних мечтаний, но к *ободряющим* мечтам у других достаточно благосклонные. Они успели уже пробудить в больном гиганте первые признаки крутой и сильной реакции...

Ни торопливости в их борьбе незаметно, ни излишних восторгов, всегда влекущих за собою скорое пресыщение.

Будем надеяться!

Будем *тем еще более* надеяться на успех, что окружающий воздух наэлектризован уже «грозою военной непогоды», и есть слишком много шансов на то, что пробужденная реакция совпадет, быть может, скоро с перенесением всех сил великого пациента *на другие, более теплые, здоровые и прекрасные берега!*

IX

Итак, мы видим, что при Императоре Николае I Правительство русское славянской эмансипации и славянскому объединению не потворствовало. У себя строго монархическое и дворянское, оно не желало расшатывать этим потворством и охранительную, чисто государственную, ничуть не племенную, Австрию. Что касается до действий нашей дипломатии в тогдашней Турции, то и без изучения архивов того времени можно утверждать вообще, что в 30 и 40 годах политика наша на Востоке *имела гораздо более вероисповедный характер, чем племенной.*

Разумеется, что и при Николае Павловиче наши посланники и консула заступались за всех христиан без различия племени, когда было возможно, за славян, румын и греков одинаково. Но *главным орудием наших действий в то время были или сами турки, или православное греческое духовенство, преобладавшее тогда над всем Восточно-Христианским миром.* Турки в то время боялись русского Правительства; христиане, подавленные турецкою властью, повиновались русским дипломатам и консулам. Дружа с «больным человеком», не позволяя никому, ни

грекам, ни славянам, ни египетскому паше противу него бунтовать и вместе с тем беспрестанно давая ему чувствовать свою силу, — опираясь, с другой стороны, в случаях прямых действий на христиан, на тысячелетний авторитет греческих Патриархов и Епископов, русская дипломатия того времени могла делать много частного добра православным подданным Султана — и делала его. В Салониках, например, существует такое предание.

Своими победами в 29 году и Адрианопольским миром
10 Россия много облегчила участь христиан во всей Турецкой Империи, но сразу и она не могла достичь всего того, чего желала и требовала. А требовала она тогда для единоверцев своих лишь некоторой, приблизительной обеспеченности жизни и имущества и вообще обыкновенных гражданских прав.

Во многих местах самоуправство пашей и после подвигов Дибича было еще жестоко, и подавленный фанатизм мусульман давал себя там и сям все-таки сильно чувствовать.

20 В Салониках один паша в 30-х годах, в угоду мусульманской черни, имел обыкновение каждую пятницу вешать публично по несколько христиан. Весьма возможно и даже вероятно, что их не хватали зря на улицах и не брали без причины в домах; они, быть может, были заключены в тюрьму и судимы за какие-нибудь провинности и небольшие преступления, ни в каком случае не заслуживающие смертной казни. В Салониках в то время был консулом грек, русский подданный, Мустоксиди. Узнавши об этих ужасах, г. Мустоксиди поехал к паше и сказал ему: «Удивляюсь я,
30 как теперь, когда у Императора нашего мир и дружба с Султаном, вы решаетесь вешать каждую пятницу единоверцев наших как собак! Я буду вынужден написать об этом посланнику». Этих простых слов консула было достаточно. — Жестокий обычай немедленно был оставлен и никогда не возобновлялся более.

Еще пример... Когда во время сирийских волнений 41 года друзья подступили к христианскому городу Захле

(в Ливане), — христиане обратились с просьбою о помощи к русскому консулу Базили, который был в то время в Дамаске для переговоров с пашою о защите христиан. Базили был человек энергический. — С небольшой конной стражей он внезапно явился в лагерь друзов, готовых напасть на Захле и предать в нем все мечу и огню. — Вождь друзов Шибли-Ариан тотчас же заключил с жителями Захле перемирие и отступил. По настоянию того же Базили был пашою немедленно назначен особый отряд для защиты этого города.

10

Консула наши в то время имели огромное влияние. Христиан в частных случаях, подобных этому, они могли с успехом защищать; но все это делалось во имя *единоверчества, человеколюбия и нашей силы*, а не во имя *принципиальной свободы их*. Греческая демагогия и сербские либерально-чиновничьи инзуррекции не могли быть по вкусу нашему строгому Правительству, и оно вовсе не спешило эмансипировать христиан политически, не находило удобным создавать из них новые независимые государства или усиливать их и увеличивать уже существующие территориальными приращениями.

20

Самая война 53 года возгорелась не из-за политической свободы единоплеменников наших, а из-за требований преобладания самой России в пределах Турции.

Наше покровительство гораздо более, чем их свобода, — вот что имелось в виду!

Сам Государь считал себя вправе подчинить себе Султана, как Монарха Монарху, — а потом уже, по своему усмотрению (по усмотрению России, как великой Православной Державы), сделать для единоверцев то, что заблагорассудится нам, а не то, что они пожелают для себя сами. Вот разница — весьма, кажется, важная.

30

Наши права, права Государя; права России имелись тогда в виду гораздо более, чем права самих крещеных подданных Султана. Политика того времени имела характер более религиозный и государственный, чем эмансипа-

ционный и племенной. Это была политика православного *Руссизма*, так сказать, политика, справедливо недоверчивая ко всем *чисто племенным* движениям.

Война 53 года была конечным результатом этой прекрасной по духу и прямой политики.

Она была несчастлива — это правда — как война; но она была уже тем хороша, что в глубоких основаниях имела характер более *государственный*, чем *племенной и освободительный*.

¹⁰ Служа сам в Турции, я не раз слышал и от христиан, и от турок, что не вмешайся тогда в спор Европа и победи Россия Турцию, то и Святые Места стали бы почти в прямую от нас зависимость, и все православные подданные Султана оказались бы настолько же под нашим покровительством и под нашею властью, насколько находились католики Турции под фактической властью и покровительством Франции.

²⁰ Но (прибавляли мои восточные собеседники) *католиков мало в Турции*, и потому, по исключению для них, и можно было допустить значительные привилегии. Православных же очень много, и в Европейской Турции они — *большинство*.

Россия при таких условиях, при таком договоре, — и не присоединяя значительных земель, господствовала бы в Турецкой Империи почти так же, как Англия в Индостане. Султан стал бы скоро Великим Моголом. Христиане были бы тогда и малым надолго довольны... Для них в то время достаточно было бы и того, чтобы их не убивали без суда и безнаказанно, чтобы не били и не грабили их зря.

³⁰ Вот что говорили мне уроженцы Турции.

Чем же это было бы дурно для нас?

Подобные мысли, конечно, руководили политикой нашей и тогда, когда мы в 33 году, после усмирения египетского восстания, заключали с Султаном союз и тайный договор о закрытии Дарданелл для военных судов всех наций, оставляя Босфор открытым, и тогда, когда в 53 году мы предъявляли те требования наши, которые повели к войне.

Мы потерпели неудачу. Неудача эта не была последствием политики, ложной *по существу своему*. Эта политика была, положим, не особенно *в духе века*. Но в XIX веке, за немногими исключениями, *все то именно и хорошо, что не в его специальном духе*; то, что сохранилось и сложилось *вопреки* его главному (*всеравняющему*) направлению. Специальную эту идею XIX века можно и должно иногда эксплуатировать в пользу идеалов высших, можно ей уступать *по нужде*, но служить ей *искренно и преднамеренно*, избави нас, Боже — отныне и впредь! Довольно с нас! ¹⁰

Неудача нашей Дунайской и Крымской войны была скорее всего результатом того, что мы неверно разочли тогда *вещественные* силы наши, преувеличили их себе.

К тому же я опять, при подобном обсуждении, предпочитаю отступить подальше от подробностей и взглянуть и на эти события с точки зрения моей общей гипотезы *таинственно движущих историю сил*.

Важны тут не стратегические ошибки русских генералов, не ошибочные расчеты *видимых* сил, — важна сила *невидимая*; важно то, что *либерализму и эгалитарности* ²⁰ суждено было сделать еще несколько успешных и больших шагов и по Западной Европе, и по восточным ее странам.

Х

Либерализму суждено было еще раз пройти по свету вихрем... На этот раз — по Турции и по самой России...

Здесь, на Востоке Европы, уже в 50-х годах случилось то же самое, что позднее и с несравненно большей (к нашему счастью!) выразительностью, происходило во всей Западной Европе. *Не узнана была никем всемирная демократическая революция*. ³⁰

Два восточных самодержавных государства, — Православное и Мусульманское, оба к тому же весьма не эгалитарные и не либеральные по принципам и по строю своему; оба дотоле каждое по-своему весьма охранительные, —

были одновременно, хотя и не в равной мере, побеждены и унижены.

Турция была уже тем унижена, что слабость ее была признана всем Западом, который соединился для ее спасения противу нас. Одну, без посторонней помощи, ее уже не считали способною устоять.

Россия, после геройской обороны Крыма, должна была тоже сделать уступки и подписать Парижский трактат. Обе эти охранительные державы, обе, можно сказать, по-своему церковные, — Россия, дотоле *столь давно и крепко-словная*, и Турция, в *недрах своих столь неравенственная* (по преобладанию мусульман над христианами), обе были разом развенчаны; обе, более или менее, усумнились в пригодности своих прежних порядков и приступили, так или иначе, вольно или принудительно у себя дома к эмансипационным реформам новоевропейского стиля.

Либерализм и тут восторжествовал над охранением силой европейского оружия.

Англия, в то время еще довольно аристократическая, еще не расстроенная так, как теперь, уравнительными реформами Гладстона и его единомышленников; Императорская Франция и самодержавная еще тогда, и католическая Австрия соединились как будто бы только для того, чтобы обуздать на Востоке тоже самодержавную и дворянскую Россию и спасти Турцию, *столь нелиберальную и неравенственную в принципах своих*. Но вся эта западная коалиция, ведомая охранительными силами противу охранительных же сил России, привела только к тому, что обе восточные державы, каждая по-своему, демократизовались.

Я сказал: «как будто бы только для того, чтоб обуздать». Этим я вовсе не хотел сказать, что Наполеон III, лорд Пальмерстон и австрийские государственные люди все притворялись, что они «будто бы» только хотят ослабить Россию и оградить Турцию, а в самом деле они все желают лишь либеральных реформ в обеих восточных Империях.

Разумеется я, выражаясь так: «будто бы», выражение это относил в этом случае не к личному или дипломатическому притворству руководителей западной коалиции, а напротив того, к той поистине странной ошибке, которой в подобных случаях страдают несколько более, несколько менее все, даже самые великие деятели XIX века. Все они с этой стороны являются лишь слепыми орудиями той таинственной воли, которая шаг за шагом ищет демократизировать, уравнивать, смешать социальные элементы сперва всей Романо-Германской Европы, а потом, быть может (кто знает!), и всего человечества. Этот уравнительный, ассимиляционный процесс будет неудержимо продолжаться до тех пор, пока не достигнет, как и все в природе, своей точки насыщения. Когда человечество достигнет до этой точки, когда дальнейшее уравнивание окажется уже нестерпимым, то где-нибудь, в каком-нибудь уголке земного шара люди опомнятся прежде других и найдут средства опять расслоиться и разбиться на группы в новых частных формах, но повинуюсь древним, исконным, непобедимым законам социальной жизни.

XI

20

Коалиция западных монархических, католических и аристократических сил победила в 56 году самодержавную, православную и дворянскую Россию; она ее стеснила в пользу мусульманской, тоже самодержавной и к христианам нелиберальной Турции. — Кажется, что бы за беда для общих дел охранения? Где же тут торжество либерализма и демократии?

Нет! Моя таинственная Сила разрушения свое дело знает! — Она действует то прямо, то изворотами; она меняет образ свой; она ведет дело свое издалека! И какими же жалкими игрушками оказываются под ее глубокомысленным руководством все эти Кавуры, Наполеоны, Бисмарки!.. Все они покорные и слепые слуги всемирной революции — и только!

30

Россию победили. — Она заключила Парижский мир. — Но на совещаниях этого парижского съезда было сообща решено: облегчить участь христианских подданных Султана, усилить их гражданские права, то есть сравнять их более прежнего с мусульманами Турции.

Эту уступку державы все-таки сделали Православной России. — Она была побеждена, положим; но, во-1-х, все державы понимали, что она не вполне истощена и может снова бороться; а во-2-х, моя таинственная «сила» подучила французских политиков поддержать Россию в этих требованиях.

Представители демократической Франции, потомки людей, провозгласивших так громко в 89 году «права человека», — не хотели идти слишком резко против человеколюбивых требований России и вдобавок — находили в то время для Франции выгодным, обуздавши Россию, осадить и Англию, которая гораздо грубее и прямее Франции хотела поддерживать Турцию.

Для Турции же равноправность христиан, даже и такая неполная, какую им дал тогдашний Гатти-Гумайюн, была гибелью.

В 56 году этими уступками были органически неизбежно подготовлены события 76 и 78 года. — Из Парижского трактата истек трактат Берлинский. Последний же, хотя и вторично пытался ограничить Россию, но в сущности отодвинул назад ее мало, а только раздражил русских надолго.

Турцию же он окончательно вычеркнул из ряда сильных держав, с которыми надо считаться один на один.

Гражданское возвышение христиан в 56-м году привело Турцию к ряду политических восстаний, к бессилию, к войне 77-го года и расчленению...

Сходит со сцены еще одно из тех великих и неравенственных государств, которые крепко сложились в монархической и аристократической Европе времен возрождения (т. е. в веках 15-м и 16-м).

Исчезает из истории еще одно старое, знакомое зло; или вернее полузло, полублаго, — ибо этот враждебный Хрис-

тианству турецкий мир, построенный сам на весьма идеальном начале, был все-таки значительным препятствием к распространению зла *несравненно большего*, — *то есть общеевропейского утилитарно-безбожного стиля общественной жизни.*

Посмотрим, каким это более чистым благом заменят полузлой старой Турции все эти Стамбуловы и Христичи!

Дни Турции на самом Босфоре сочтены уже...

Организм ее, перенесенный в Европу четыре века тому назад лишь географически, связанный с историей Европы¹⁰ лишь по внешности равновесия, а не по сущности основ, не вынес и слабых приемов европейского, навязанного ему либерализма.

Это ясно, как ясно и то, что, побеждая Россию в Крыму и уступая ей несколько в Париже, западные державы подготовили *невольно* современное положение дел.

Все это разматывается неотвратно, как непрерывная нить клубка.

Турция противу воли, я сказал, приступила с 56 года к некоторой неполной эмансипации христиан. Она делала это неохотно, неискренно, с основательным страхом за будущность свою. Она была, таким образом, всех менее наивна; она уступала только необходимости и не верила во благо европейского прогресса.

В этом она была права. Она была только несчастнее, слабее всех, как государство; но она *в основаниях своих была всех мудрее, всех правильнее* смотрела, таким образом, на вещи.

Турция, подобно Римскому Папству, подобно всем аристократическим элементам Запада, легитимистам, Бурбонам, юнкерству, лордам, подобно старой самодержавной Австрии — была *слишком консервативна* — *в духе, чтобы победить или выйти в наше время из борьбы целой.*³⁰

Посмотрим же теперь, что случилось с Россией после того же 56 года.

Самобытную духом, оригинальную нравами, *недоверяющую европейским идеалам* Турцию державы демократизировали насильно после Крымской войны. Россия, с самых времен Петра I, как бы влюбленная во все без разбора западные идеи, демократизировалась с увлечением сама.

Придержанная в течение 30 лет на вершине наклонной плоскости тем великим инстинктом охранения, который был отличительной чертой Николаевского царствования, эта побежденная Европой, *старая, почти тысячелетняя* Россия — ринулась теперь с каким-то не по годам юношеским пылом — вниз по этой плоскости все-свободы, все-равенства.

Я помню это время! Это действительно был какой-то рассвет, какая-то умственная весна... Это был порыв, ничем не удержимый!

Казалось, что все силы России удесятерились! За исключением немногих рассудительных людей, которые нам тогда казались сухими, ограниченными и «отсталыми», все мы сочувствовали этому либеральному движению.

Одни потому, что гордились сходством новых учреждений с европейскими, другие, напротив того, радовались потому, что в этих ничуть не оригинальных «новшествах» они сумели как-то распознать «дух древнего благочестия» (!!).

И так как правота людская в истории всегда бывает условна, то мы в *то время*, пожалуй, и правы были. Мы были, — я скажу, даже не только сердечно, но и *умственно правы*. Мы основательно находили, что силы России удесятерились от этого толчка. Неправы мы были только в том, что *простирали нашу веру слишком далеко во времени*. Польза государственная была — это несомненно, но прочна ли эта польза? — вот новый и неожиданный вопрос!

Это всегда и везде так бывает. За долгое время неравноправности сословной, провинциальной, вероисповедной и т. д. накапливается, наконец, множество умственных, душевных и экономических не израсходованных, сдержанных

сил, которым нужен исход, нужна только воля для наисильнейшего их проявления.

И даже, мне кажется, чем гуще в смысле разнородного неравенства было прежде замешано вековое это социальное тесто, — чем сложнее и глубже была предыдущая и долговременная неравноправность, — и с другой стороны, чем сильнее и внезапнее эмансипационный толчок, тем несокрушимее и бурнее бывает общий взрыв сил, накопившихся в нации за все долгое время этой неравноправной разнородности, просуществовавшей века, где волей, а где и неволей,¹⁰ под общим единством власти и преобладающей религии.

Во Франции конца XVIII века все это выразилось с наибольшей резкостью, в России половины XIX века с несравненно меньшей, но все-таки довольно большою; в Англии и в остальной континентальной Европе — с гораздо меньшей, чем во Франции и России, ибо там везде неравноправный строй — не был ни внезапно взорван снизу, как во Франции сто лет тому назад, ни видоизменен на скорую руку сверху, как у нас в 60-х годах, а таял медленнее и постепеннее. Что лучше и что хуже с исторической точки зрения — не чувствую себя в силах разобрать и решить. Одно могу сказать, что для ближайшего будущего наш прием был, кажется, лучше и того, и другого, и слишком пламенного французского, и слишком медленного английского и немецкого. И лучше он не только потому, что движение шло сверху, а не снизу (хотя и это в высшей степени важно, и для настоящего и для будущего), но еще и потому, что слишком медленная и постепенная демократизация, хотя бы и посредством реформ сверху, — больше входит в плоть и кровь народа, чем тот дух уравниения, который бывает плодом реформ, не совсем удачных и сделанных кой-как на скорую руку. (Помнить прошу, что я постоянно имею в виду так называемое *развитие*, а никак не благоденствие общее на земном шаре, в которое я не верю и которого деревянный идеал нахожу даже низким.)²⁰

Разумеется, если даже и в конце XIX века упорно ставить конечным идеалом (*по-старому*) идеал всеобщего

уравнения и однообразия, то лучше всего будут реформы очень медленные и обдуманно-мирные. Ибо они, эти медленные реформы, войдут в жизнь, в привычки, «в кровь» и т. д. Если же отвергать этот идеал всеобщей плоскости, как следует отвергать его во имя всех высших принципов: во имя религии, государственности, живой морали и эстетики, то наше движение за истекшие 20 лет (от 61—81 года) надо считать, пожалуй — за наилучшее. С одной стороны, в глазах тех, кому реформы эти были выгодны или идеально

¹⁰ дороги, наша власть сохранила настолько свой престиж и свою популярность, *что она в силах (мне думается) преуспеть и в обратном движении.* А с другой стороны, некоторая торопливость и грубая подражательность этих самых уравнительных реформ очень скоро *уронила, унизила, развенчала* их, что, конечно, благоприятно тому же, т. е. *обратному движению.*

Эта-то неполная удача нашего либерально-эгалитарного процесса (неудача, вдобавок, еще сравнительно очень счастливо и дешево нам до сих пор обошедшаяся) и подает не-

²⁰ которую надежду на то, что мы еще можем уклониться от гибельного общеевропейского пути.

Да! Теперь я так думаю! Я даже начал так думать уже в конце 60-х годов, понявши из опыта жизни, чтения и бесед — куда все это ведет. Многие другие пришли к этому одновременно и позднее. Но не так думал и я в начале этих самых, столь знаменательных 60-х годов!

В начале этих годов я был из числа тех немногих, которым уже не нравилось западное равенство и бездушное однообразие демократического идеала; но я, подобно людям

³⁰ славянофильского оттенка, воображал почему-то, что наша эмансипация совсем не то, что западная; я не мечтал, а непоколебимо почему-то верил, что она сделает нас сейчас или вскоре более национальными, гораздо более русскими, чем мы были при Николае Павловиче. Я думал, что мужики и мещане наши, теперь более свободные, научат нас жить хорошо *по-русски*, укажут нам, какими господами нам быть следует, — представят нам живые образцы рус-

ских идей, русских вкусов, русских мод даже, — русского хорошего хозяйства, наконец! Особенно в хозяйство их мы все сначала слепо верили! Верили, кроме того, в знаменитый, какой-то *особливый* «здравый смысл», в могучую религиозность их, в благоразумное и почти дружеское отношение к землевладельцам и т. д.

О том же, что пришлось во всем этом скоро разочароваться, я не нахожу даже и нужным подробно говорить. Это случилось со столькими русскими патриотами, с одними раньше, с другими позднее, — все это до того, наконец, известно, что распространяться об этом не нужно: достаточно напомнить.

Русский простолюдин наш, освобожденный и хотя и не во всем, но во многом с нами юридически уравненный, вместо того, чтобы стать нам *примером*, как мы, «националисты», когда-то смиренно и добросердечно надеялись, стал теперь все более и более проявлять склонность быть нашей *карикатурой*, — склонность заменить *почти* европейского русского барина *почти* европейскою же сволочью, с местным оттенком бессмысленного пьянства и беззаботности в делах своих. Карикатура эта, при малейшем потворстве властей, может стать к тому же и крайне опасной, ибо нет ничего вреднее для общественной жизни, как демократизация пороков или распространение в массе народа таких слабостей и дурных вкусов, которые прежде были уделом класса избранного и малочисленного.*

Даже и добродетели не все одинаково полезны всем классам людей, напр(имер), сильное чувство личного достоинства в людях высшего круга порождает рыцарство, а разлитое в народной массе оно возбуждает *инзурреции* па-³⁰

* Советую по этому поводу прочесть или вспомнить очень умную повесть г. Успенского в «Русской Мысли» — «Пиджак и чорт». Повесть остроумна и правдива; но сдается мне почему-то, что г. Успенский на веру в дьявола негодует по крайней мере столько же, сколько на любовь к «пиджаку». По моему же мнению — вера в демонические силы есть одно из самых лучших противоядий разрушительному влиянию «пиджака».

рижских блузников... Однообразие развития и тут оказывается антисоциальным. Можно сказать вообще, что даже и из добродетелей только три должны быть общими и равносильными во всех сословиях и классах для того, чтобы государство было крепко и чтобы общество процветало: искренняя религиозность, охотное повиновение властям и взаимное милосердие, ничуть в равенстве для проявления своего не нуждающееся.

10 Если однородность добродетелей не всегда полезна для общественной устойчивости и силы, то чего же можно ожидать от сходства пороков, дурных вкусов, слабостей и грехов, кроме дальнейшей революции? Нет! Платон остается вечно правым! Для одних нужна мудрость, для других — храбрость, для большинства повиновение!

Мирная революция сверху, производя вскорости некоторое уравнивание во вкусах, понятиях и потребностях, располагает и к некоторому обмену пороков и хороших свойств; а это новое и трудно удержимое уравнивание ведет позднее уже к не-мирным движениям снизу!

20 Оно облегчает их, — подготавливает.

Состояние однородности есть состояние неустойчивого равновесия, — говорит Г. Спенсер.

Итак, вот к чему привели национальные надежды тех, которые в 60-х годах (подобно мне), отбравшись с негодованием от учений «Современника» и «Русского Слова», стали жить идеями, более или менее близкими к идеям Хомякова и Аксакова.

Мы почему-то верили, что наш либерализм принесет непременно особые, хорошие, национальные плоды! Мы думали, что на нашей «почве» — европейская поливка даст 30 чисто русский урожай!

Мы находили, что Россия Николая Павловича была недостаточно своеобразна в высших сферах своих, что она была слишком похожа на Европу. Мы с радостью увидели позднее некоторое принижение этих высших сфер и значительное возвышение низших. Мы думали, что, погрузившись в это «народное море», мы и его еще более сгустим, и

сами окрасимся его оригинальными, яркими, не-европейскими красками. И что же? Высшие утратили свою *силу*, низшие — стремятся утратить понемногу свой *цвет*! И теперь, в самые последние года, когда повеяло, наконец, действительной потребностью духовной и культурной самобытности, когда мы тщимся произвести всему пережитому спасительный синтез, нам приходится беспрестанно и во многом возвращаться к принципам, руководившим Государя Николая I-го и его помощников, *даже и немецких фамилий!*

10

Поможет ли нам Господь хоть половину утраченного возвратить!? — Это Он один знает! А мы пока, обращая взоры наши к всему этому уже пережитому, можем только сказать себе так: справимся ли мы или нет *по-своему* с первыми признаками нашего эгалитарного разложения, это еще неизвестно; но несомненно одно — это то, что *Россия после Крымской войны, хотя и не вполне, но все-таки по-европейски демократизировалась.*

Итак, коалиция охранительных сил Запада, сил монархических и аристократических Франции, Англии и Австрии (не без участия и католического «благословения»), победивши в Крыму православную, самодержавную и дворянскую Россию — и желая сохранить Турцию, своим торжеством — способствовала как *подражательной демократизации первой, так и либеральному разложению второй.*

Страшно!..

Не правда ли, что страшно?

XIII

Я не без намерения озаглавил эту часть труда моего — «*плоды движений*», а не «*плоды политики*», ибо я нахожу, что с начала 60-х годов восточная политика России принуждена была в большинстве случаев идти более вослед за христианами Турции, чем сама направлять их. Инициатива всех главных движений и переворотов на Православ-

30

ном Востоке принадлежала за истекшее тридцатилетие уже не нам, а самим населением. Мы нашим влиянием могли только сдерживать или поддерживать их; могли отчасти регулировать эти движения; пожинать так или иначе их плоды, выгодные нам или не выгодные, но не мы их *возбуждали первоначально*. Политика наша за все это время от Парижского мира до объявления нами войны Турции в 77-м году была весьма деятельна в подробностях, но она была в основаниях своих пассивна.

- ¹⁰ Мы уже не были ни такими друзьями и покровителями Турции, какими мы стали одно время при Николае Павловиче (от 33 года до 40-го), — ни уничтожения ее и раздела с европейскими державами уже видимо не искали. Желая несомненно постепенного образования на развалинах дряхлеющей Империи нескольких независимых единоверных и небольших держав, мы все-таки систематически и преднамеренно восстаний для этой цели не возбуждали. Нежелание воевать, скажу даже больше, — некоторая боязнь новой европейской войны, — заметна была во всех наших
- ²⁰ умеренно-либеральных и нерешительно-эмансипационных действиях на Востоке. Не мы возбуждали сербские движения 60-х годов; не мы подняли восстание критян в 66-м; не мы были причиною того незначительного бунта нескольких герцеговинских сел в 75 году, — бунта, который повлек за собою такие великие события. Мы только *не отставали* от всех этих движений и старались облегчать и защищать христиан уже тогда, когда восстания их вступали в период полного разгара. Мы делали для христиан многое и прежде последней войны за освобождение Болгарии, но почти все
- ³⁰ наши дипломатические попытки, и для сербского племени в начале 60-х годов, и для греческого в конце их, были неудачны — и разбились о всеобщее недоброжелательство западных держав. Оказалось, что только мечом и огнем, а не конференциями, Россия может постепенно добиться того, чего она должна желать, т. е. образования на развалинах Турции нескольких независимых, единоверных ей государств (я говорю, *должна желать*, ибо, несмотря на мно-

гие частные неудобства и неприятности, вроде современных болгарских и сербских, — другого исхода нет, и самой себе Россия не должна брать, по многим причинам, ничего, кроме *Проливов и Царьграда*, с небольшим подходящим округом в Европе и Азии).

Цель вполне правильная и, по обстоятельствам времени, самая естественная; и если поставить себе вопрос только так: «Достаточно ли ослаблена за последние 30 лет Турецкая Империя для того, чтобы подобный исход в наше время казался уже близким?» — то, разумеется, надо ответить: ¹⁰ «Да, Турция для этого достаточно ослаблена; сперва той самой почти пассивной, колеблющейся и осторожной политикой, которую мы, опасаясь новой коалиции, вели в то время, когда во главе Запада стояла столь опасная нам Франция Второй Империи, а потом войною 77 года, которую мы решились наконец начать, убедившись, что теперь никто нам уже не помешает».

С этой стороны, при всех наших опасениях, уступках и колебаниях, — мы в общем результате, то есть в отношении ослабления и раздробления Турции — пожали добрые ²⁰ плоды. С этой стороны — да!..

С других же — конечно, нет, — а очень горькие, напротив.

Внешняя политика наша после Крымской войны и Парижского мира стала либеральнее, эмансипационнее прежнего. В этом она совпадала с политикой внутренней реформенных годов, — была внушена одними и теми же великодушными и доверчивыми к «человечеству» чувствами. Но великодушные не всегда дают благие результаты, и доверяться ³⁰ полезнее отдельным людям, чем целым народам.

К тому же, я думаю, есть некоторая разница между самой Турцией и Православной Церковью на Востоке? Есть разница между мусульманами, с которыми история присудила нам издавна бороться, и между греческим духовенством, которое живет одними преданиями с нашим народом и которого идеи легли в основу и нашей государственности?

Политические условия изменились глубоко после Крымской войны. Христиане не были уже под исключительным нашим «смотрением», как прежде. После Парижского трактата вся Европа получила официальное право на вмешательство в дела Турции. Положение наше было таково, что другой политики, кроме эмансипационно-племенной, мы и не могли, и не должны были вести в Турции — *противу Турции*. Но несчастье наше было в том, что эту племенную эмансипационную идею мы допустили неосторожно перенести и на церковно-православную почву. Мы еще не поняли тогда ее глубокого революционного характера, ее беспощадности, ее антирелигиозности, антигосударственности, антикультурности даже, и слишком простодушно и неосторожно служили ей, воображая себя очень мудрыми в какой-то грубо-этнографической справедливости. Нам казалось, что мы действуем так беспристрастно, так примирительно и вместе с тем так расчетливо. Главное — «без кровопролития! Морально, либерально, современно...» Не правда ли? Да; но только все это было не религиозно, не православно.

Никакого нет сомнения, что не «моральное», в новейшем смысле, но своевременное кровопролитие принесло бы Православию гораздо больше пользы, чем та либеральная и гуманная осторожность, которой мы придерживались относительно Турции и Европы в самый разгар греко-болгарской борьбы. Осторожные с врагами, мы были неосторожны относительно Церкви.

Воевать нас все-таки вынудили; но мы решились на «кровопролитие» не в 70-м году за потрясенную Церковь, с целью все разом покончить в благоприятное время Франко-Прусской войны, но в 77-м, среди глубокого и невыгодного нам мира в Европе, за избитых славян, — не за само Православие, а за православных славян.

Сочувствие племенное, а не страх за дальнейшее расстройство Церкви вынудило нас обнажить меч. Либерализм и желание сохранить популярность одушевило нас в 77-м году, а не вера. «Вера» пришла бы в ужас раньше и

заставила бы нас обнажить меч в 70-м году, ибо именно в то время, когда Пруссия и Франция сразились на жизнь и смерть, турецкое Правительство решительнее прежнего взялось раздувать греко-болгарскую распрю.

Политика наша после Крымской войны приняла характер более племенной, чем вероисповедный, — более эмансипационный, чем национально-государственный. Православие есть нерв русской государственной жизни, — поэтому и на Юго-Востоке, ввиду неотвратимого нашего к нему исторического стремления, важнее было поддерживать само *Православие*, чем племена, его кой-как исповедующие. Вышло же наоборот потому, что в самих правящих наших сферах было мало истинной религиозности, не было страха согрешить, допустив до греха раскола слабейших, но разнузданных единоверцев наших?

Император Византийский Св. Константин сказал на Первом Вселенском Соборе: *«Разделения в Церкви Божией кажутся мне более важными и опасными, нежели война и возмущения»*. Но у нас думали иначе, и из-за все не особенно нужной нам Польши (которой чисто польскую часть с удовольствием можно бы отдать хоть Пруссии за одну узкую полосу земли около Проливов) — из-за этой Польши Россия, движимая национальною гордостью, встала как один человек, — а на начало разложения Церкви на Востоке в 70-х годах общество почти не обратило внимания, а дипломатия ограничилась небольшим волнением, которое очень скоро улеглось, как ни в чем не бывало. Что же касается до русской публицистики, то будущий праведный и строгий суд истории покажет, как много вреда делали в то время Катков и Аксаков своими грубыми и недостойными их ума фразами противу греческого духовенства, то есть против того именно элемента социального на Востоке, с которым мы бы должны были всегда идти рука об руку, — смиренно и дальновидно перенося даже его не всегда умеренные претензии и его историческую гордость, иногда и досадную, конечно, но вполне оправдываемую и прошедшим и будущим — Православия.

Затмение. *Fatum!* — Попущение Божие! Новые, неожиданные извороты революционного змея, ненасыщенного еще разрушением!.. Что делать!.. Прошедшего не возвраща-
тишь, но его надо, по крайней мере, *поскорее понять*, пока не все еще погребло!

XIV

Указавши в главных чертах на ту перемену, которая произошла в русской политике после окончания Крымской войны, я хочу теперь сказать несколько слов о самих единоверцах наших, преимущественно о славянах, и о том, как они, с своей стороны, вторили тем усилиям, которые мы прилагали к их эмансипации и к тому, что обыкновенно весьма неосновательно называется их «национальным развитием». (Хорошо *национальное* развитие, которое делает всех их похожими на современных европейцев!)

Об юго-славянах вообще можно сказать, что они за все это время постоянно переходили далеко за черту «свободы», которую мы полагали для них достаточной. Другими словами сказать, они, просветившись несколько по-европейски (отчасти и с нашей помощью), перестали нас слушаться.

У нас есть привычка во всем подобном винить исключительно свою русскую дипломатию. Это большая несправедливость. Дипломатия может сделать очень многое, и без дипломатов действовать в чужой стране и в мирное время нет, конечно, возможности; но никакое искусство и никакой даже гений не могут обойтись без сознания, что за ними стоит *физическая, военная* сила. И даже этого мало: военная сила не может быть слишком страшной для противников, если они видят, что эту силу то или другое Правительство ничуть не расположено немедленно пускать в ход для подкрепления своих дипломатических требований. Что, например, мог бы сделать сам Бисмарк, если бы победы Мольтке, кронпринца и других генералов прусских не дали ему возможности стать действительно грозным?

Физическая эта сила, положим, у нас была всегда достаточная, и как бы ни были мы терпеливы и уступчивы, всякий государственный деятель иностранной державы понимает, что и этим «добродетелям» нашим — терпению и уступчивости — есть тоже предел, за который переходить весьма опасно. Понимали это очень хорошо и турки, и, несмотря на то, что мы были побеждены в Крыму, период нашей дипломатической деятельности на Востоке от Парижского мира до войны 1877 года можно в некоторых отношениях назвать весьма блестящим. 10

Турки были с нами часто очень любезны и во многих случаях удивительно даже уступчивы, — гораздо иногда уступчивее, чем с западными политическими агентами.

На турок постоянно действовало воспоминание о нашей силе. Они остерегались без крайней нужды раздражать наше Правительство. Но как могло это самое военное могущество наше устроить *в то время болгар, подвластных Турции?* Чего могли в то время бояться чужие подданные, вдобавок столь близкие нам и по древним преданиям веры, и по *модному* этнографическому началу? Устрашать или наказывать их мы могли бы *тогда* только через посредство турок; а этого мы (в то время особенно) не могли себе позволить: руки наши были связаны. На Западе у нас и так было много соперников по влиянию на славян, и они всякой строгостью нашей к ним конечно бы воспользовались, чтобы уменьшить нашу популярность, которой одной мы только и дышали, не смея воевать. Болгары поэтому и не боялись нас ничуть. И хотя они не действовали противу нас тогда открыто, как действуют теперь, очертя голову, но постоянно ускользали из рук наших, обманывали нас и делали совсем не то, что мы им советовали. Наш «либерализм» казался им всегда недостаточным; он никогда не удовлетворял их. 20 30

Граф Игнатъев, напр<имер>, сам лично был популярен в болгарской политикующей среде, но и он в этой среде считался недостаточно крайним, недостаточно болгарофилом, — казался слишком осторожным противу Патриарха,

слишком православным. Болгарам всего было мало; они швыряли те умеренные брошюры о примирении с греками, которые в то время издавал соотечественник их руссофил Бурмов, и говорили: «это не болгарские, а русские взгляды». Турок они предпочитали Патриарху и грекам, утверждая, что турки вредят им только «внешним образом», но что против преобладания греков и духовенства их они будут бороться до тех пор, пока не освободят от церковной власти Патриарха всё до последнего болгарского села, даже и в ¹⁰ Малой Азии! («Филетизм»).

Мы же хотя и готовы были им потворствовать в их «лженациональном» освобождении, но непременно путем соглашения с Патриархом, а не путем раскола и вражды. Разрыв церковный произошел все-таки, вопреки нашим долгим и примирительным стараниям, — хотя отчасти и по некоторой неосторожности нашей. Мы стали, сказал я, либеральнее, чем в 40-х годах; но все-таки мы останавливались с почтением перед властью Церкви и перед ее древними уставами. Болгарские же демагоги не хотели ничего этого ²⁰ знать... Они входили в соглашение с турками и представителями Католических держав, когда видели, что наше Посольство не хочет потворствовать им до конца. Они прямо жаждали раскола, тогда как мы всячески старались предотвратить его. Мы не успели в этом, мы не могли предотвратить его; но я, служивши сам в то время в Турции, никак не могу судить за это наше Посольство так строго, как судят его другие православные люди.

Болгары, не имея никаких оснований нас бояться тогда, пересилили нас. Посольство наше даже в последнюю минуту было нагло ими обмануто. Они, согласившись тайно с ³⁰ турками, 6 января 1872 г., на рассвете, почти ночью, объявили в церкви свою независимость от Патриарха. У нас в посольстве узнали утром о «совершившемся факте» *своевольного отложения* уже тогда, когда возврат к порядку был невозможен, без объявления войны Турецкому Султану.

От такого грубого обмана кто же может быть застрахован! От него не предохранят ни таланты, ни желание добра.

Насилие, война за веру, победа, — вот единственные средства, которые были тогда у нас в руках и которых мы не захотели употребить прямо — разумеется по недостатку религиозности.

Раз мы не могли предотвратить подобного обмана и самовольного отделения болгар от Вселенской Церкви, то тем менее могли мы помешать и созванию Поместного греческого Собора, на котором был основательно проклят раскол «филетизма» (т. е. учение о каких-то чисто племенных Церквях и о праве самовольного отложения; о допущении двойной, разноплеменной Иерархии в смешанном населении и т. д.).¹⁰

Болгары находили раскол выгодным для себя; турки, с своей стороны, воображали, что раздор между православными будет *надолго* полезен их разлагающемуся государству. В то же время и у многих афинских греков, старавшихся всячески довести дело до созвания Собора и до проклятия, была при этом та не православная, а чисто племенная мысль, о которой я прежде говорил.

Они надеялись и довольно глупо мечтали, что русский Святейший Синод открыто наконец заступится за болгар и объявит их правыми. И тогда можно будет и русских объявить раскольниками; можно будет совершенно отделить судьбы своего племени от судеб славянского.²⁰

Известно также, что английские политики всячески старались поддерживать эту мысль в Афинах, и одним из главных орудий их, к сожалению, был в то время даровитый и высокообразованный Епископ Сирский Ликург (не «фанариот», но Иерарх Свободного Королевства).

Передовые греки желали посредством раскола оторваться от России и всего Славянства. — Передовые болгары желали, посредством того же раскола, отделиться сперва от греков, — а потом (мечтали многие из них; даже и духовные лица) «надо окрестить Султана, слиться с турками, утвердиться в Царьграде и образовать великую болгаро-турецкую державу, которая вместо стареющей России стала бы во главе Славянства». — О подобных³⁰

планах и надеждах мне самому еще в 71 году в Салониках говорил с увлечением (и в то же время с язвительным зло-радством) архимандрит Зографского болгарского монастыря на Афоне — Нафанаил, впоследствии раскольник-Епископ Охридский. Конечно, он мне — русскому консулу, в глаза не назвал Россию «старой»; а все указывал с улыбочками на то, что «ведь русские желают болгарам блага, то чего же лучшего, как выкрестить Султана и стать на Босфоре великой державой».

¹⁰ Кроме того у болгар был в «pendant» Епископу Сирскому Ликургу и такой Иерарх, который желал для болгар отделения не от греков только, но и *от всего Православия* для того, чтобы иметь право на независимое устройство.

Так думал Иларион, бывший еще до отделения от греков Епископом Макариопольским, — человек в свое время весьма влиятельный.

Вот каково было тогда с обеих сторон настроение наших единоверцев! Вот как охотно приносилась в жертву религия все тому же *чисто племенному началу, все тем же национально-космополитическим порывам!* Я говорю космополитическим, ибо ни новые греки, ни тем более юго-славяне не проявляли и не проявляют ни малейшей склонности к такого рода мистическим движениям, которые, отдаляя их от Православия, могли бы привести к созданию какой-нибудь *действительно национальной* (т. е. своеобразной) ереси, вроде нашей хлыстовщины или секты мормонов. Это было бы губительно для личного спасения души тех людей, которые бы этой ересью увлеклись; это было бы ³⁰ очень вредно для всей Церкви нашей; *но это заслуживало бы, по крайней мере, название национального творчества, название даже особой местной культуры;* ибо такие резкие и пластические секты, как мормонская и еще более наша хлыстовская, при глубине и силе чувства сектантов, не могут ограничивать свое действие одной религиозной сферой, а непременно должны, развиваясь, отразиться своеобразными чертами на всем быте, на искусстве и рано или

поздно — и на светских законах, на государственных воззрениях.

При том же отрицательном *разжижении* Православия, ничем другим, хотя бы и бесовским, но самобытным не заменяемым; при разжижении *древнего*, без замены своим *новым*, которое мы видим теперь у всех восточных единоверцев наших, нельзя не согласиться, что *каждый их шаг на пути политического отделения от чужих и политического слития со своими, ни к чему не приводит, кроме общеевропейского рационализма и общеевропейской демократии.*

Итак: болгары в большинстве были против *Православной России* во время этой *племенной борьбы*, столь бесовестно игравшей вековой святыней нашей. Передовые греки также были против нас и Православия, защищая его *каноны* только для *вида*, для отпора славянам. *Кто же в эту тяжкую годину испытаний оставался верен не нам собственно (ибо мы этого и не стоили), но общим с нами основам?*

Остались верны этим основам, остались верны Православию, его древним правилам, его духу — только *те самые греческие Епископы турецко-подданные*, которых у нас изловчились для отвода глаз звать какими-то «фанариотами»! Такими «фанариотами» были и наш Филарет, и Дмитрий Ростовский, и Стефан Яворский, и Сергей чудотворец!

Они проклинали болгарский «филетизм» на Соборе 72 года, но не допустили крайнюю греческую партию взять верх и *дойти до разрыва с Россией.* По форме русское духовенство не сделало тогда никакой грубой ошибки. Не нарушая канонов с своей стороны, нельзя было поэтому и греческим Иерархам отделиться от нас. *Нарушать же каноны они не хотели.* Относительно болгар они были согласны со своими эллинскими демагогами и поддавались им, ибо болгары *нарушали каноны*; относительно же России они остались непоколебимыми и верными законам и преданиям, несмотря на все скорби и обиды, которые причиняло им тогда наше сентиментальное болгаробесие.

Я сказал достаточно о греках и болгарях. В их новейшей истории гораздо яснее и резче, чем в современной истории двух других восточно-православных народностей — сербской и румынской — выразилась та всеми до сих пор просмотренная истина, что *племенная политика сверху и племенные движения снизу в XIX веке одинаково дают одни лишь космополитические результаты.*

О текущих делах Сербского Королевства говорилось и ¹⁰ говорится теперь у нас так много горькой правды, что нет и нужды о них еще здесь распространяться. Демократический европеизм, безверие, поругание Церкви, — вот нынешняя жизнь «сюртучного» сербского общества. В этом обществе нет и тени чего-нибудь стоящего внимания с культурно-национальной стороны. Нет пока ни одной черты, указывающей на возможность чего-либо творческого и самобытного в будущем. А все старое, древнее славяно-греческое и славяно-турецкое, казавшееся еще столь крепким в недавние времена, тает и оставляется. И как ни горько в этом сознаться, ²⁰ но надо сказать, что самая возможность полного объединения всех православных задунайских сербов под властью одного Короля не только не может при современном направлении умов способствовать их бытовому обособлению от Запада, но должна будет, напротив того, распространить еще более во всей сербской среде мелкий рационализм, эгалитарность, религиозное равнодушие, европейские однородно-буржуазные вкусы и нравы; машины, панталоны, сюртук, цилиндр и демагогию.

Вообразим себе, что вслед за каким-нибудь весьма естественным (и даже *нужным*) политическим переворотом, ³⁰ после большой войны на юго-востоке Европы, все четыре национальные группы Балканского полуострова определили с большей точностью свои государственные пределы; вообразим себе Румынию хотя бы и в прежних границах; Грецию — еще увеличенную на север и по островам; Болгарию — единую от Дуная до греческих и сербских краев; и

Сербию — тоже единую, составленную из нынешнего Королевства, Боснии, Герцеговины, Старой Сербии и Черногории. Представим себе еще одну весьма естественную перемену — Князя Николая Черногорского Королем этой объединенной Сербии.

С чисто политической стороны это было бы прекрасно!

Не забудем при этом представить себе, что исполнилось и то, о чем я упоминал столько раз, — что Россия в то же время завладела Проливами и утвердилась на них.

При этом условии, при небывалом еще воцарении на Босфоре действительной, центральной, православной силы, большая единая Сербия будет, пожалуй что, и необходима для равновесия в недрах того Восточного Союза, который должен будет образоваться на развалинах Турции под главенством России.

(Естественные элементы и условия этого союза превосходно разобраны в книге Данилевского «Россия и Европа»; желательно бы только, чтобы история или политический инстинкт русской государственности внес бы в этот теоретический план два важных изменения: 1) отсрочить по возможности надолго гибель Австрии и вступление западных славян в эту неизбежную конфедерацию и 2) присоединить как можно скорее к этой первоначальной восточной конфедерации на разумных условиях остатки Турции и Персию. Т. е. побольше вообще азиатского мистицизма и поменьше европейского рассудочного просвещения.)

Итак, все сербы задунайские соединились в одно Королевство под властью Князя Николая Черногорского. На Балканском полуострове и Средиземном море четыре государства: Греция, Болгария, Румыния, Сербия. Все они в военно-политическом, более или менее тесном, более или менее охотном (или даже пускай и вовсе вначале неохотном), но неизбежном союзе с Россией; без всяких уже писанных прав Европы на вмешательство. Для равновесия политических сил это прекрасно.

Чего же лучше? Иначе из-за чего же мы, русские, приносили жертвы?

Но вот вопрос: как подействует такое национально-политическое объединение на дух сербского племени, на его быт, на его культурные особенности? (Умственное, духовное, эстетическое и вообще культурное влияние *спохватившейся наконец России*, влияние с Босфора, более чем с Невы доступное, *надо при этом рассуждении для ясности на время отстранить*; подразумевая пока вначале одно лишь политическое, более механическое, так сказать, чем внутреннее, на самый дух, влияние.)

- ¹⁰ Прежняя история разбила сербское племя на несколько частей и каждой из них через это самое придала особые, довольно резкие оттенки. Недоступная, всегда независимая, дикая, в высшей степени патриархальная и воинственная Черногория; Сербия собственно, — с начала этого века уже освобожденная и потому скорее подпавшая западным умственным влияниям; Босния, Герцеговина и Старая Сербия, — до последнего времени жившие под турком. Эта разница выгодна для богатства духовного. Населения родственные, но долго жившие при разнородных условиях, раз-
- ²⁰ вившие поэтому в среде своей разнообразные душевные начала, разнovidные людские характеры и разнородные привычки, проявляют много силы, когда им приходится вдруг объединиться под общей и естественной властью.

Но надолго ли все это в наше космополитическое всеразлагающее время?

- И наконец, если примеры большой Италии и великой Германии доказывают, что объединение племенное в наше время, увеличивая на короткое время внешнюю силу государств, ослабляет культурную плодотворность обществ, то
- ³⁰ чего же можно с этой культурной, *со славянской-то собственно стороны* ожидать от подобного объединения Сербии? Очень малого.

Если при всей страстной жажде видеть могущественную нашу Россию, одетую в цветные восточные одежды, молящуюся все усерднее и усерднее в храмах Господних и с недоверчивым отвращением взирающую на все новейшие истинно-презренные измышления Запада, если при стольких,

даже еще слабых, но все-таки ободряющих признаках поворота, которые мы у себя видим за последние года, позволено сомнение в религиозно-культурной будущности самой этой великой России (сомнение в будущности *не ближайшей — эта за нас; но очень долгой, многовековой, истинно-самобытной и всепоучающей*)... то на многое ли с этой-то *высшей* точки зрения можно рассчитывать от нации в каких-нибудь 2—3 миллиона или около того с самой обыкновеннейшей бессословной «интеллигенцией» во главе?

О! Если бы возможно было в наше пользлюбивое ме-¹⁰щанское время образовать из полудиких, грозных черногорцев какую-нибудь рыцарскую и набожную аристократию и подчинить ей, как «средний класс», «интеллигентных» сюртучников Белграда! Но возможно ли это? Конечно, нет! Увы!

О! Если бы современные нам сербы (всех пяти перечисленных областей), соединившись, могли бы выносить неограниченную и патриархальную власть своего нового Короля, одетого в золотую одежду; героя, полководца и поэта, который, по всем признакам, в воспитании своем приобрел²⁰ и сохранил от Европы именно только то, что в преданиях ее прекрасно: рыцарство, тонкость, романтизм!

Но разве могут восточные единоверцы наши дышать без мелкой конституционной возни? У них и представления нет о другой жизни. Это их поэзия, их мысль, их религия, их единственное развлечение даже! Возможны ли у них такие широкие мыслители, как Хомяков, Соловьев, Данилевский? Невозможны. Существование таких избранных умов доказывает, что есть и в самом обществе потребность глубокой, отвлеченной и в то же время живой мысли; потребность, на³⁰ которую они дают ответы, есть умственная жажда, которую они утоляют.

Полны ли восточные монастыри (Рыльский ли болгарский, например, или Святогорские обители), как полны у нас Троицкая лавра или Оптиная пустынь, образованными поклонниками, желающими бесед с духовными старцами, требующими благословения их даже на свои мирские дела?

Гостят ли в этих восточных обителях прямо с целью религиозного утешения, как гостят у нас князья и графы, генералы и сенаторы, профессора и писатели, светские женщины и богатые торговцы?.. Нет! «европейским» грекам, сербам и болгарам уже не нужны теперь стали духовники и старцы! Или они еще не искусились достаточно, чтобы возвратиться к ним, чтобы повергнуться с любовью и страхом к подножию Церкви Христовой обильный и давний уже запас знания и тонкости, наследственную ношу векового опыта, которая тяготила бы их, как тяготит она многих из нас, русских «искателей»... У них это бремя знания, опыта, личной идеальной тонкости очень легко, и запас этот слишком еще беден для такого смирения! Вольноотпущенный недавно лакей легкомысленнее пресыщенного и утомленного вельможи!

Есть ли у них, у всех этих мелких народцев, блестящая, богатая, светская жизнь? Возможно ли из юго-восточной этой жизни написать такой обильный мыслями, изящными образами и тонкими, страстными чувствами общественный, но ничуть не политический роман, как «Анна Каренина»?! Невозможно. Пошлите туда самого Толстого, он не напишет его, именно потому не напишет, что он любит реальную правду в искусстве. Выдумывать небывалого, непохожего, он не станет. Если найдется слабое подобие чего-нибудь подходящего, то это в турецком и «фанариотском» Царьграде и в двух румынских столицах (Яссах и Бухаресте), но не в Софии и не в Белграде, конечно. Даже и не в Афинах!

Существует ли на Православном Востоке наша русская или английская — помещичья, просвещенно-деревенская жизнь?.. Нет, не существует. Вот значит и этих занятий, этих утех, этих привычек, идеалов и преданий — там нет.

Вся жизнь, все дыхание и вся поэзия жизни в этих странах состоит в коммерческой и политической борьбе. Без них там людям тяжело, скучно. Константин Аксаков говорил, что северо-американцы «приняли слишком много внутрь государственного начала; отравились политикой». С не-

сравненно большим основанием то же самое можно сказать про восточных единоверцев наших и в особенности про юго-славян, про болгар и сербов. *Политическая борьба* внутренняя и внешняя, как *личная*, наисильнейшая идеальная потребность людей, и *общеевропейский демократический идеал* (переведенный на свои вовсе некрасивые славянские наречия) *для всей нации*, — вот что им нужно пока, — и больше ничего! Иначе они и чувствовать не могут, ибо при *таких* условиях, какие мы знаем, а не при *иных*, они вышли на свет современной истории из-под столь ¹⁰ полезного их *прежнему* воспитанию, хотя и ненавистного им, азиатского плена. Вышли они из пастушеской и просто-душно-кровавой эпопеи недавней старины своей и попали прямо головой в серую, буржуазную, машинную, пиджачную, куцую — Европу наших дней, изношенную уже до лохмотьев в течение прежней великой и страстной истории своей.

XVI

Все эти четыре нации родного нам Юго-Востока: греки, румыны, сербы и болгары — с *виду* (культурно-бытового) ²⁰ теперь очень между собою схожи, несмотря на все *несогласия* свои... («Состояние однородности есть состояние неустойчивого равновесия...»)

Разница между ними не больше, чем разница между четырьмя карточными валетами...

И самые яркие, самые «червонные» из всех четырех восточно-православных валетов этих в настоящее время все-таки болгары.

По крайней мере — бандиты, разбойники и умеют народ свой заставить себе повиноваться... Они бьют друг друга, бьют духовных лиц; секут бывших министров, производят церковные *сoup d'etat*, сажают по несколько епископов разом в экипажи и увозят их куда-то. Ненасыщенные своим отложением от Вселенской Церкви, они хотят уже и от своего Экзарха произвести раскол в расколе. Если бы они ³⁰

не нуждались в мнении больших монархических держав Запада — они давно бы, я думаю, закрыли храмы и объявили бы «Царство Разума»! Они топят ночью граждан своих в Дунае, — они не боятся Турции; знать не хотят России, Австрию тоже, конечно, стараются эксплуатировать как-нибудь в свою пользу. Сербов разбили наголову! — Что ж? По крайней мере сильно, просто и *нам впредь поучительно!* Поучительно между прочим — и в том смысле, что чем свободнее, чем беззаветнее чисто национальная

¹⁰ племенная политика, тем она революционнее, тем государственный нигилизм ее нагляднее. Перед болгарской революционной диктатурой молодца Стамбулова бледнеют все прежние эллинские умеренные волнения, а тем более вялый и дряблый румынский либерализм. Греция освободилась впервые в менее отрицательные времена, и у ней есть великий охранительный тормоз: глубокая связь ее истории с историей Православной Церкви. Румыны, менее всех других народов Востока родственные России по крови, языку и по западным своим претензиям, — *со стороны социального*

²⁰ *строая зато* более всех этих народов напоминают Россию. У них, как и у нас, было крепостное право, были сословия, было дворянство знатное и дворянство низшее; реформы, положим, и у них, как и у нас, смешали все это в одну либерально-равненственную болтушку; но нравы, предания, привычки привилегированных сословий надолго еще переживают права и привилегии их и влияют на жизнь. — В Румынии поэтому какая-то тень дворянского духа и дворянских привычек должна иногда (почти невидимо) тормозить все то, что так неудержимо рвется вперед в Болга-

³⁰ рии, — более дикой, молодой и лишенной всяких *осязательных преданий.*

Сербское племя тормозится пока на общереволюционном пути тем областным раздроблением, о котором я выше говорил.

Разница, как видим, есть между этими четырьмя народностями Православного Востока, но это не какая-нибудь *существенная разница в духе, в идеале преобладающего*

общественного направления; это разница в степени напряжения одних и тех же наклонностей. Различие не качественное, а количественное.

Все эти народы идут пока на наших глазах не в гору истинно-культурного обособления от Запада и органического своеобразного расслоения внутри, а под гору демагогического внутреннего уравнивания и внешней всесветной ассимиляции в идеале «среднего европейца». Различие не в цели стремления по наклонной этой плоскости, а только в силе тормозов. 10

Всех сильнее и крепче тормоз у греков, всех ничтожнее — у болгар. Румыны и сербы, — первые по социальным причинам, вторые по внешне-политическим — занимают между ними средину.

И вот, возвращаясь снова мыслью моей к последним, к задунайским православным сербам, снова говорю себе:

Политическое объединение всех сербов, хотя бы, например, под властью Князя Николая Черногорского, возведенного в Короли, желательно при известных обстоятельствах для будущего политического равновесия в неизбежной восточной конфедерации с Россией во главе. 20
Объединение сербов — вопрос одного лишь времени, и видеть Князя Николая Королем всех сербов желательно не потому только, что он был доселе верным союзником России (это может легко измениться), — нет, я не то имею в виду. Я не публицист «дипломатических» фраз в угоду завтрашнему дню! Это не мое призвание — хвалить лишь то, что сейчас союзно, и бранить лишь то, что нам теперь враждебно. Сознаю, что этот способ действия, эта ложь, это всеобщее соглашение искусственного и притворного 30
пристрастия приносит свою долю пользы отечеству, ибо действует возбуждающим образом на большинство читателей (то есть на тысячи и тысячи умов, в политике недалеких). Но что ж делать? У всякого свои наклонности. Для меня сильный человек сам по себе, яркое историческое и психологическое явление само по себе дорого даже и в Мексике или на мысе Доброй Надежды, а тем более в сла-

вянской среде, которую я боготворил бы, если бы она не была, вообще, так похожа на самую серую, самую казенную, самую, до швов истасканную, общеевропейскую демократию. Мне дорог Бисмарк как явление, как характер, как пример многим, хотя бы и доказано было, что он нам безусловный враг. Мне жалок Гладстон, который употребил силу своего характера и своего ума на то, чтобы сознательно двинуть когда-то великую, своеобразную родину свою как можно дальше по пути все того же проклятого прогресса, все той же уравнительной бессмыслицы. Он жалок мне, ¹⁰ хотя бы он был тысячу раз друг России. Россия еще недостаточно умом самобытна, и потому дурные политические и культурные примеры для нее опаснее политических врагов. Внешние враги, войны, даже открытые бунты там и сям для России не должны быть страшны. Ее ближайшая будущность, ее ближайшие триумфы несомненны. Страшны должны быть для нее пошлые примеры и вялые влияния. Сомнительна долговечность ее будущности; загадочен смысл этой несомненной будущности, ее идея. И я ли ²⁰ один так думаю? Нет, я знаю, многие в этом согласны со мною. Только не скажут громко, а лишь «приватно» пошепчут...

Поэтому и Князь Николай должен быть дорог не только и не столько как союзник России, сколько как славянин, высоко и своеобразно развившийся поэт, полководец, политик, герой в живописной национальной одежде.

Но если... (положим)... если в самом деле сбудется то, о чем я говорил?.. Если он воцарится в Белграде?

Не облечется ли он в «Европу» всячески — и в прямом, ³⁰ и в переносном смысле? Если даже и в Черногории уже понадобился какой-то «кодекс», если для составления этого «кодекса» отыскался даже кровный черногорец Богишич, то чего же ждать от либерального Пансербизма? Если сам Бисмарк в столь разнородной и содержательной когда-то Германии стал (хотя бы невольно, а не преднамеренно, как Гладстон), стал орудием космополитической ассимиляции, то что же против этого течения может сделать самый энер-

гичный и даровитый Король небольшого и духом ничуть не оригинального племени?

Сила обстоятельств превозможет его!

О, ненавистное равенство! О, подлое однообразие! О, треклятый прогресс!

О, тучная, усыренная кровью, но живописная гора всемирной истории! С конца прошлого века — ты мучаешься новыми родами. И из страдальческих недр твоих выползает мышь! Рождается самодовольная карикатура на прежних людей; *средний рациональный европеец*, в своей смешной¹⁰ одежде, *неизобразимой* даже в идеальном зеркале искусства; с умом мелким и самообольщенным, со своей ползучей по праху земному практической благонамеренностью!

Нет! — никогда еще в истории до нашего времени не видал никто такого уродливого сочетания умственной гордости перед Богом и нравственного смирения перед идеалом однородного, серого рабочего, *только рабочего* и *безбожно-бесстрастного* всечеловечества!

Возможно ли любить *такое* человечество?!

Не следует ли даже ненавидеть *не самих людей*, заблудших и глупых, — а такое *будущее* их, всеми силами даже и христианской души?!

Следует! Следует! Трижды следует! Ибо сказано: «Возлюби ближнего твоего и возненавидь *грехи* его!»

XVII

Я кончил и спрашиваю себя: неужели не ясно теперь, что племенная политика как Правительств, так и самих наций, есть в *наше время* — не что иное, как одна из *форм всемирной революции*, один из самых сильнейших способов космополитического всесмешения?³⁰

Я говорил о самой России и Турции со дней Парижского трактата; о свободной Греции и объединенной Румынии; — о болгарях, купивших первоначальную свободу свою отторжением от Вселенской Церкви, и о неизбежном в бо-

лее или менее близком будущем Пансербизме, не могущем, по-видимому, ничего дать, кроме самой обыкновенной современно-европейской плоскости «передового» стиля.

Везде — на всем этом обширном протяжении от Ледовитого Океана до Средиземного моря и от Великого Океана до пределов Западной Европы — за последние 30 с небольшим лет — космополитическая революция сделала невероятные успехи. — Везде ослабление религиозного чувства; везде демократические наклонности (даже и бескорыстные у многих);¹⁰ везде больше противу прежнего сходства с Западом в *быте*, привычках, понятиях и модах!

Разница между самой Россией и Православным Юго-Востоком, впрочем, та, что в первой с 81 года начался все больший и больший поворот к *охранительной реакции*, и в *действиях власти*, и в *стремлениях мысли*; а на Юго-Востоке — ничего подобного еще не заметно и не может даже и быть, ибо там *власти* общей и сильной нет, а *мысль* своя еще незрела и европеизмом еще не пресыщена; — не доросла еще до той *потребности независимости* от Запада, к которой порывается эта национальная мысль у нас — на всех поприщах.²⁰

Вот разница.

Но (с другой стороны) если мы вообразим себе две картины *всего Православно-Мусульманского Востока*: одну времен Государя Александра Павловича, 20-х годов, или даже и времен Императора Николая, 30-х—40-х годов, а другую — современную нам, — то, разумеется, мы будем поражены при виде тех успехов, которые сделала и на Востоке за истекшие полвека всемирная революция.

³⁰ Вообразим себе сперва время Николая Павловича и Султана Махмуда; — положим, даже и после освобождения Элады.

Какое *разнообразие* нравов, положений, законов, обычаев, воспитания и вкусов! — Какое еще твердое *единство* Православия!

Была *разнородность* власти в России, на Босфоре; в Египте; в Греции, Сербии, Черногории, Молдавии, Вала-

хии. — Была поразительная *пестрота* жизни; но было упорное и покорное духовное *единение* в Церкви. — Государь русский на Севере; Патриархи на греческом Юге. — В России крепостное право и властное, богатое, покойное, в высших своих слоях столь изящное и тонкое дворянство. — *Николай Павлович; Филарет; Пушкин.* — Какая *триада!* — Не бедна духом, должно быть, была жизнь первой половины этого века в России — если ее «почва» произвела трех таких исполинов — Церкви, Царства и поэзии! — И все они трое были в умственной связи; все трое призна-¹⁰вали друг друга.

На Юге турецкое крутое и грубо-распущенное владычество; — молодая еще тогда, новая, эллинская свобода — по гражданскому идеалу, положим, не самобытная, уже вполне западная; но по густой еще закваске турко-византийской старины *поневоле*, так сказать, — в самой жизни чрезвычайно оригинальная. — Соединение большой набожности в массе населения; большой патриархальной и пастушеской наивности с древним риторством и самой новейшей французской демагогией... Какие вожди недавней народной свободы еще живы и действуют. — Какие разнообразные и сильные характеры! Колокотрони, Караискаки, Каподистрия, Миаули, Канарис, Метакса, Колетти, Маврокордато, Кундуриоти...²⁰

Кто русской партии, кто французской, кто английской; кто был дипломатом иностранн(ой) державы (Каподистрия), кто английским жандармом на Семи островах (Караискаки), кто врачом (Колетти), кто Граф (Метакса), кто купец или моряк... Колетти, Колокотрони в фустанеллах, как корсары Лорда Байрона; — Кундуриоти и Миаули в³⁰ шальварах (а Миаули при этом из роскоши в шолоковых чулках); — только Маврокордато, Каподистрия и Гр(аф) Метакса (к сожалению!) в сюртуках...

В Сербии старый Милош, в такой же расшитой одежде, как теперь Кн(язь) Николай Черногорский. — Хитрый, твердый, старинный человек; свинопас и Князь; освободитель отчины и приятель турецких Пашей (которые даже

дали ему негрityнок). Старый Милош, который сам рассказывал, что однажды похоронил живого священника вместе с мертвецом за то, что тот, вопреки строгому запрещению брать с бедных больше таксы, потребовал с одной немущей вдовы несколько золотых.

В Черногории, свободной от турка, неприступной, бесплодной, светом почти забытой, — суровой до свирепости — владыкой Митрополит Православный; светский *Государь* — над горстью своевольных и воинственных горцев.

¹⁰ В Молдавии и Валахии — богатых, хлебородных, — крепостное право, как у нас (с местными особенностями); дворянство полуазиятское и полуфранцузское; — еще православное, но распушенное в нравах; давно забывшее оружие; — народ — простодушный, робкий, привычный к рабству. — В каждом Княжестве по *Господарю*, вассалу Турции, и по *дивану* (совету), довольно своеобразному учреждению в разнородной среде восточных христиан. — Монастыри богатые, многолюдные, «преклоненные» Св. Местам Востока. — В общей картине жизни, в языке, ²⁰ духе, нравах этой Молдо-Валахии — странная смесь греко-византийского, парижского, славянского, турецкого...

В Болгарии — безусловное, безмолвное, давнее подчинение туркам; — ни дворянства своего, ни духовенства собственно болгарского; — ни даже многочисленного и сильного торгового класса из болгар. — Духовенство — греческое; богатая часть купечества греческая; — начальство — турецкое. — Болгары — только земледельцы, пастухи, ремесленники и мелкие торговцы. — Они к туркам привычны; сыты; просты и дики до того, что местами по настоя- ³⁰ нию греческих Епископов Паши их насильно толпами загоняли в храмы молиться по праздникам. — Болгары того времени так же *равны между собою*, так же просты и дики, как черногорцы, но черногорцы свободны, ленивы и чрезвычайно воинственны; а болгары тогда — были трудолюбивы, робки, не воинственны и поработочены *турку*, как поработочен был *своему дворянству* народ вассальной и сословной Молдо-Валахии...

Какое разнообразие жизненных условий!

Оно видно и из этого бледного, краткого абриса. — Пусть тот, кто помнит еще 40-е и 50-е года, или тот, кто читал много о бывшей жизни Турции и ее христиан, — пусть он сделает усилие памяти и даст волю воображению своему.

XVIII

Полагаю, что не мне одному, а многим русским людям представляется несомненным, что внешние политические условия нашего времени могут быть в высшей степени благоприятны для *того* разрешения Восточного вопроса, о котором я не раз говорил. — Думаю также, что многие согласятся со мной в том, что для этого окончания сто́ит принести немалые жертвы, тем более, что мы не раз [приносили] эти жертвы для гораздо меньших результатов все в *том же направлении* (в 29, в 53; в 77 [годах]).

Доказывать здесь подробно и по существу, почему необходимо нам иметь в руках наших Проливы — я не стану. — Я предполагаю это вообще слишком ясным и уже давно понятным делом.

Я хочу закончить здесь мою и без того слишком длинную речь о «национальных движениях на Востоке» — изложением тех надежд моих на Россию, о которых я не раз мимоходом упоминал. — Данилевский справедливо замечает, что при великих исторических переворотах в высшей степени важна *одновременность* каких-нибудь событий или вообще исторических обстоятельств.

Вот с точки зрения этой *одновременности* или этого совпадения — я нахожу в высшей степени важным и благоприятным следующее обстоятельство:

Восточный вопрос близится к своему окончанию в такое время, когда Россия, переживши либеральный и эгалитарный период своей внутренней политики, вступила в период упорной и решительной реакции против собственных увлечений этими разрушительн(ыми) Западными идеями.

И для народов в их жизни, так же как и в личной жизни человека, важно не только какое-нибудь событие само по себе, но важно и то *время*, в которое это событие случается.

Если сравнивать историю России с историями многих других наций и древних, и нынешних, то прежде всего в ней замечается какая-то сравнительная бледность, невыразительность, не-бурность, не-рельефность всего. — Худо ли это, или хорошо — не знаю (думаю, однако, что в *культурном* отношении это дурно, а в *собственно-государственном* хорошо: *твердо, верно*).¹⁰

Такого же рода бледность, невыразительность, нерешительность, несвязность какую-то и разрозненность усилий — мы замечаем и в упомянутой современной *реакции* нашей...

Не фанатично; не круто; не шумно, не выразительно; не резко... Слабо как будто... *Так* ли «делали» реакцию в других местах и в иные времена!.. И страшно, и отрадно — вспомнить...

Но, быть может, так и *нужно*... *Медленно* — *но верно*. — Дай Бог!²⁰

Положим, что все это не особенно выразительно; — однако, если вспомнить, собрать воедино все то, что у нас происходило и происходит в этом направлении с 81-го года, — и самое лучшее сравнить в общих чертах с тем, что, например, происходило за то же время во Франции, то есть в той передовой стране Европы, за которой все другие нации Запада как бы *поневоле позднее* идут, — то в результате представится картина весьма утешительная с точки зрения нашего *обособления* от Запада.

НЕ КСТАТИ И КСТАТИ

(ПИСЬМО А. А. ФЕТУ ПО ПОВОДУ ЕГО ЮБИЛЕЯ)

Когда же на Руси бесплодной
Жизнь обретет *кафтан цветной*
И стиль одежды благородный.

Я послал вам телеграмму с изъявлением удовольствия моего по случаю вашего юбилея; — я бы прислал ее и раньше, в самый день обеда в Эрмитаже, если бы в газетах был заблаговременно и точно обозначен день этого праздника русской поэзии. Но известие получилось здесь так поздно и ¹⁰ было насчет дня так неточно, что я поневоле опоздал. Но что ж делать? Лучше поздно, чем никогда!

Вы давно знаете, как высоко я ценю ваши стихи; для вас это не новость; я с 20 лет уже был одним из тех немногих, о которых вы говорите в вашем последнем, столь искреннем и прекрасном, стихотворении...

Полвека ждал друзей я этих песен,
Гадал о тех, кто им живой приют...

Стихов Некрасова я уже юношей, за немногими исключениями, терпеть не мог и с ранних лет находил, что он мог ²⁰ бы писать гуманные и «демократические» статьи, не заставляя нас читать «деревянные *вириши*», как верно про него выразился Евгений Марков. Понятно поэтому, что я уже несколько лет тому назад, живя еще в Москве, думал *про себя*, что давно пора, хотя бы посредством обыкновенного юбилея, заявить публично о ваших заслугах и вашем значении.

«Хотя бы посредством обыкновенного юбилея», сказал я. Что значит это «хотя бы»? Позвольте мне отвлечься как

можно дальше. Я нынешних юбилеев не люблю. Мысль их, положим, хороша, намерение их прекрасно. Но что ж мне делать, если вообще *формы* современных празднеств мне ужасно не нравятся! Победить это чувство я не в силах, тем более, что и разум мой, моя теория это чувство оправдывают. Ужасно не красиво! Да позволено мне будет выразиться грубее: *хамство!* Не моральное хамство, нет, избави Боже! Зачем же так думать! Это было бы несправедливо. Во всяком празднестве и нравственный смысл его, и душевное на-
10 строение участников могут быть прекрасны. *Нет, не нрав-
ственная, но эстетическая сторона почти всех празд-
неств XIX века не хороша. Не душевный смысл их, а
пластические формы ужасны!*

Я уверяю вас, что я давно бескорыстно, или даже самоотверженно мечтал о вашем юбилее (я объясню дальше, *почему* не только бескорыстно, но, быть может, даже и самоотверженно). Но когда я узнал из газет, что ценители ва-
шего огромного и в то же время столь тонкого таланта собираются праздновать ваш юбилей, радость моя и лично
20 дружественная, и, так сказать, критическая, ценительская радость была отуманена, — не скажу даже слегка, а сильно отуманена: я с ужасом готовился прочесть в каком-нибудь отчете опять ту убийственную строку, которую я прочел в описании юбилея А. Н. Майкова (тоже высокоценимого мною, признаюсь, с несколько меньшим субъективным при-
страстием).

Какая же была эта убийственная строка?

А вот она: *«Вошел маститый юбиляр во фраке и белом галстуке!»* — Увы! Не лучше ли было бы уж умол-
30 чать об этом?

Конечно, во фраке, а не в халате и даже не в сюртуке. И так можно догадаться! Все знают, что со времени объявления «прав человека», ровно 100 лет тому назад началось пластическое искажение образа человеческого на демокра-
тизируемой (т. е. опошляемой) земле. Все и так знают, что из-
100 изо всей природы только один европейский человек в XIX веке начал для праздников своих надевать траур, — и

траур при этом куций: не мантию черную, а черный камзол какой-то с двумя черными же хвостами сзади.

Вся природа украшается для празднеств своих. Весна зеленая, лето красное и золотая первая осень — пестрее зимы. Праздник возрождения; праздник встречи с жизнью; праздник бессознательной любви и цветения; праздник прощанья перед долгим отдыхом и сном. («Цветы последние милей роскошных первенцев полей!») Какой может быть праздник у растений, кроме праздника бессознательной любви, стихийного влечения. У них не может быть ни религиозных, ни общественных праздников; у них есть только летний праздник полового стремления. И вот эти растения в пестрых цветах.

Красивые цветы совсем не нужны им для ближайшей цели. Многие травы и большие деревья цветут цветами зелеными и невидными, и это не мешает им размножаться, — но большинство растений цветет цветами разноцветными, иные душистыми. *Это не для них самих. Это роскошь, это избыток сил прекрасного, это — поэзия. Поэзия жизни самой, а не поэзия отражения в человеческом искусстве.* И у многих животных есть такой ненужный для них самих избыток красоты, есть гривы пушистые, хвосты, рога изящные. Не особенно красивый серый попугай живет и размножается точно так же, как и великолепные какаду и ара. И наша галка, положим, наслаждается жизнью не хуже других птиц, обходясь без пунцовой головы, без голубых крыльев, без хохла. Это так; но с другой стороны, ведь и райской птице все ее избыточные и прелестные украшения не мешают испытывать, не хуже галки, разные приятные ощущения. А со стороны смотреть на сборище галок совсем не то, что любоваться на множество райских птиц.

Почему же и к людям не прилагать той же *внешней эстетической мерки?*

Почему бояться сознаться, что смотреть на взвод кавалергардов, идущих в Петербурге на царский смотр, — это наслаждение для *здорового* вкуса; а взирать на заседание чиновников или профессоров — тоска... Однажды (несколько лет тому назад) я шел по Петербургу; конечно, тоже в бес-

смысленном цилиндре и уродливом (но «удобном» будто бы) сак-пальто; шел и увидел такой взвод кавалергардов. Под одним молодым, свежим офицером лошадь прыгала и поднималась на дыбы. И он, видимо, был рад этому. Я постоял, долго глядя вслед молодцам, подумал о своем штатском, европейском убожестве; пошел в раздумье дальше и вспомнил по связи мыслей о двух ученых «рефератах» (почему же не докладах?) или диссертациях, что ли, о которых я прочел перед этим в газетах... Один из них имел предметом — «*Образ жизни русских дождевых червей*», другой трактовал «*О нервной системе морского таракана*»! Несмотря на то, что заглавия эти довольно забавны, я не забывал ни известного латинского изречения: «Великое да созерцается в малом», ни другого наполеоновского: «от великого до смешного один шаг» (или в приложении к данному случаю наоборот «от смешного до великого один шаг»). Отчего же ученым людям и не вникнуть в нервную систему таракана не только морского, но и обыкновенного, кухонного? Быть может, в ней найдется что-нибудь особое, способное даже и неожиданно пролить свет на функции нервной жизни вообще? Быть может, с другой стороны, дальнейшее развитие самой точной науки докажет даже и математически, что многоученость и многотомность с истекающими из них слишком уже дерзкими открытиями и изобретениями вредна нервам; физиологически вредна, психически, социально, умственно даже вредна. До того, положим, вредна, что сама добросовестная наука потребует для дальнейшего разумного существования человечества некоторой доли того, что нынче еще по старой привычке зовется бранным словом «обскурантизм». Захотят поставить экран перед утомленными глазами человечества, найдут нужным — понизить до копоты пылающий светоч рассудка. Отчего же не предположить этого? Если наука, в пределах наших умственных сил, бесконечна, то что же будет за бесконечность эта, если она не может вместить в себе и возможности преднамеренного самоограничения? Реакция есть во всем, и в науке было множество частных реакций.

Отчего же не настать и великой общей реакции? Отчего же не предположить, например, что науки высшие (по предмету) психологические и социальные не потребуют со временем ограничения влияний на человечество наук низших: физики, неорганической химии, механики?

И вот — и таракан — и морской, и обыкновенный — изучаемые «честными тружениками науки», могут дать толчок к чему-нибудь великому. Нервная система лягушки под рукою Гальвани дала же великий толчок для изучения электричества, благодаря которому прославились теперь Эдисон и русский европеец Яблочков; почему же таракану, например, или дождевому червю не дать случайного, хотя бы и обратного толчка, после которого (предположим) — в конце XX века имя Эдиссона будет предано какой-нибудь научно-социальной анафеме. Отказалось же человечество сознательно и преднамеренно в первые века Христианства от стольких дорогих приобретений и созданий классического мира? «Плоды древа познания» могут погубить, наконец, «древо жизни», если «царство» этого, теперь слишком прямолинейного познания не разложится в себе. Ибо «Теория, мой друг, сера везде, а древо жизни ярко зеленеет», сказал Мефистофель студенту. Нынешний же прогресс на всех поприщах и во всех странах ведет к чему-то, именно — серому, «среднему». Серая теория равенства, ассимиляции, однообразия, быстрого (при помощи изобретений) смешения всех цветов жизни в один бесцветный — эта теория торжествует на практике. Чтобы спасти жизнь, т. е. разнообразие и сложность (*не орудий* всесмешения, а самого *социального материала*), нужно, чтобы сознание восстало, наконец, на сознание, наука на науку, познание на собственные излишества и т. д. Надо, чтобы сознание попыталось восстановить хоть сколько-нибудь культ бессознательности, чувства, преимущества страстной воли над рассудком, крови и плоти над нервами.

Вот куда привела меня мысль от красавца кавалергарда и дождевых червей!.. Я сокращаю мою речь; обрубаю ветви у древа моей фантастической мысли. Она уже слишком

рвется в необъятное, которое «объять невозможно», как сказал прекрасно Кузьма Прутков.

Миг один — и нет волшебной сказки!..
И душа опять полна возможным...

Но и спускаясь ближе к почве, к этому возможному, оставляя пока все эти любимые мечты моего рационального и просветительного обскурантизма, я мог, при всей нелюбви моей к размножению книг и ученых, допустить, что полезны бывают иногда не только главные жрецы современного
¹⁰ идола этого (точной науки), — но даже и дьячки и пономари его... Могу допустить, что и тот ученый, который изучает «образ жизни дождевых червей в России», и тот, который исследует «нервную систему таракана», — оба могут принести ближайшую, непосредственную пользу даже тому самому кавалергарду, на которого я любовался. Благодаря лягушке Гальвани и мне в Москве гальванизмом помогли раз от жестокого страдания. Правда, что *явная телесная* польза от этого была только мне одному; остальные же последствия моего выздоровления сомнительны, как для
²⁰ меня, так и для пользы других людей... Конечно, теория *всеобщей* пользы есть самая шаткая из теорий, и уж одна популярность ее в XIX веке весьма плохо ее рекомендует; ибо в XIX веке если не все, то очень многое естественное вывернуто наизнанку. *Общей благоденственной* пользы нет, конечно; но *одному* кавалергарду тому или его прекрасному коню, возможно при случае, благодаря изучению нервной системы низших животных, принести пользу. Какое-нибудь открытие; за открытием лечение или гигиеническая мера. Благодаря тому, что «скромный» (?) ученый
³⁰ потрудился над насекомым или полипом каким-нибудь, кавалергард может стать еще свежее и красивее; его конь еще крепче и великолепнее. А может быть, (кто знает!) в этом кавалергарде таится будущий Скобелев или Черняев, будущий Лермонтов или будущий Афанасий Афанасьевич Фет?

Ведь и Лермонтов был лейб-гусаром, и вы были кирасиром и, как слышно, отличным наездником. Ну, вот и целой России и гордость, и польза *своего, специального рода, но все-таки не всеобщая*. Бисмарку и германцам вообще — Скобелев не казался, например, полезным, и Лермонтов был полезен покойному теперь Мартынову разве только тем (духовно), что Мартынову приходилось не раз молиться и служить панихиды по рабе Божию *Михаиле*. Люди без вкуса и до сих пор у нас находят, что ваша поэзия бесполезна, ибо из нее сапог не сошьешь.

10

Знание «образа жизни русских дождевых червей», говорю я, точно так же, как и знакомство с нервной тканью таракана — может случайно или не случайно принести пользу не одному человеку, но, быть может, и многим, *в частности*.

Я забыл уж, вредны ли они для хозяйства или полезны. Не помню. Во всяком случае, если они имеют какое-нибудь отношение к почве, а почва, конечно, прежде всего важна для хозяйства, то само собою следует, что богатое доходное имение даст возможность для проявления всякой эстетики, ²⁰ и жизненной, реальной (здоровье, свежесть, конь хороший, каска золоченая, дорогая одежда, латы), и *отраженной*; можно писать стихи не «о скорби».

Я признаюсь, не понимаю даже, как можно, живя постоянно в дешевых столичных меблированных комнатах, писать такие стихи, какие вы писали —

Снова птицы летят издалека
К берегам, расторгающим лед.
Солнце теплое ходит высоко,
И душистого ландыша ждет.

30

Не то что нельзя, но даже и не следует, по-моему...
Нейдет!

Итак, я успокоился... Я вынужден был допустить, что и дождевой червь, и таракан, и специалисты, их изучающие, могут быть даже и для эстетики при случае полезны... И

для прекрасного в жизни (А. А. Фет молодой кирасир, на-
пр<имер>)), и для прекрасного в искусстве...

(Вижу: кто-то скачет
На лихом коне, —
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне!)

Хорошо! Но зачем же они, эти ученые, на заседании
своём в пиджаках? Или подобно всем, и молодым женихам,
и маститым юбилярам, «во фраках»?

¹⁰ Вспомним великого анатома Везалия и врача Амбруаза
Паре в шолковых статуарных рясах! Вспомним Ломоносова
и Державина в расшитых цветных кафтанах, в чулках с
башмаками. Вспомним Бэкона Веруламского и Шекспира в
буфах, оборках и бантах!

Не мешала эта пышность им делать свое серьезное дело!

Поверьте мне, и эстетика столь ценимых этих *отраже-*
ний в стихах, на полотне, в бронзе и мраморе, — и она не
устоит надолго, — *если в самой пластической стороне*
жизни не будет больше идеализма.

²⁰ Поверьте, это не пустяки — эта внешность; это очень
важно! Эта внешность — есть выражение ещё неясно поня-
того какого-нибудь внутреннего психического закона.

Каждый новый век (в новейшей, по крайней мере, исто-
рии) вносил *новый стиль* одежд и обычаев; и этот общий
стиль, с незначительными колебаниями в оттенках, дер-
жался до нового века и до утверждения надолго *нового*
духа. Неужели один только XX, уже наступающий, век бу-
дет исключением, и чёрный фрак, пиджак, сюртук, цилиндр
и панталоны лягут в могилу вместе с последним образо-
³⁰ванным человеком на земном шаре? Это было бы очень
грустно, если бы было правдоподобным. Не будет нового
внешнего *стиля в жизни*, — значит не будет уже никогда
и *нового духа*; — а останется навеки веков все тот же все-
пожирающий, всеравняющий, буржуазный.

Но такой застой мысли и вкуса возможен только в двух
случаях: или в том случае, когда все люди сознают (или,

вернее сказать, *вообразят себе*), что человечество дошло во всем уже до наивысшего, доступного на земле совершенства; или, напротив того, если *гибель* человечества, общее вымирание его или последняя всеземная катастрофа так уже близки, что некогда и духу новому созреть; и людям, начавшим свою земную карьеру в детской простоте звериных шкур и фиговых листьев, — придется кончать ее в старческом упрощении фраков и пиджаков.

О том, что человечество уже достигло до совершенства, мы ни от кого еще пока, слава Богу, не слышим. 10

Что же касается до всеобщей гибели и смерти, то хотя нам одинаково пророчат ее и Христианская религия, и пессимистическая философия нашего времени, и, наконец, естественное чувство здравого смысла (ибо все живое, органическое должно когда-нибудь разрушаться и гибнуть), но все-таки позволительно думать, что конец историческому миру нашему не так уже близок теперь, чтобы все человечество было бы расположено поступать так, как поступил, говорят, однажды хладнокровный герцог Веллингтон на корабле во время сильной бури. Он спал; проснулся и хотел было надевать сапоги, но в эту минуту вбежал к нему испуганный адъютант и воскликнул: «Милорд, мы погибли!» «О, — ответил герцог, — тогда и одеваться не стоит». Снял уже надетый сапог и лег опять. 20

Нет, такого равнодушия еще незаметно. Люди, вопреки советам гр⟨афа⟩ Л. Н. Толстого, хотят еще пиры давать и танцовать, хотят щеголять. Но если уж щеголять, так со вкусом и толком. Если пировать и плясать, так было бы на что и со стороны порадоваться! В прежних одеждах и в прежних плясках была всегда *идея*. В упрощенных нынешних одеяниях и в искаженных нынешних танцах — ее нет. 30 Идея отлетела; символ утратился и остались только: условность тупой привычки без внутреннего значения и стариковская какая-то опрятность белой, накрахмаленной груди и белых или палевых перчаток!

Перчатки — это имеет смысл; но почему же непременно *белые* или *почти белые*? Отчего не пунцовые? Отчего не

расшитые? Предпочтение только опрятности, только чистоплотности и только комфорта — роскоши, пышности и красоте, есть само по себе уже признак усталости и усталения.

По-моему, что-нибудь одно; или думать именно так, как граф Толстой: «не нужно вовсе балов; не нужно пиршеств; не нужно роскоши и денежных затрат; *патриархальная простота; физический труд; близость к природе; кроткая и трудовая пасторальность*».

¹⁰ Такая, всеобщая простота, без фабрик, без машин, без ужасающих ум библиотек, без подавляющих душу огромных городов, с невинными и небольшими развлечениями — стала бы наверное и скоро живописна сама собою. Особенно эта пасторальность стала бы живописна и мила, если бы граф по известной любви своей к человечеству дозволил бы нам еще одно утешение, еще одну, кажется, безвредную отраду, — разрешил бы нам при этом хоть самые скромные и недорогие храмы строить, зажигать лампы, «поднимать» иконы и т. п. Да, при последнем условии — это было бы ²⁰ очень хорошо, — настал бы золотой век правды, кротости, скромного благоденствия, взаимной любви и первобытной поэзии.

Но ведь такая всемирная идиллия невозможна в столь поздний и рассудочный исторический возраст, каков наш.

К тому же подобные надежды противоречат и пророчествам Христианства гораздо более, чем разрешение попить иногда в меру и благородно противоречит заповедям, советам и даже примерам самого Спасителя. Он Сам ³⁰ соблаговолил пировать на свадьбе в Кане Галилейской, как справедливо было замечено недавно в «Русском Деле». Но относительно всемирной идиллии нет обещаний в Евангелии; а предсказаны бури страстей, войны, междоусобия, глады и трупы до скончания века!

Итак, и с христианской точки зрения изредка, по помощи нашей повеселиться несравненно позволительнее, чем проповедовать ересь безбожной этики и невероятной всеобщей любви.

Если же позволительно и желательно *в меру* щеголять, плясать, пировать, так надо, чтобы это было в самом деле красиво, изящно и осмысленно. Чтоб было и на полотне *изобразимо*, чтоб и *природу* не безобразило.

А разве нынешний быт изобразим на полотне хотя бы в той мере, в какой изобразим даже манерный, но пестрый быт XVIII [века]?

Разве сам Пушкин Репина чернильным пятном не портит Южного берега и моря, написанных Айвазовским? (Я не видел этой картины, но заглазно уверен, что портит; во всяком случае, самый простой крымский татарин больше бы украсил природу Южного берега, чем великий русский поэт в европейской одежде XIX века.)¹⁰

Что же касается до вопроса об отношении общей устарелости к прекрасному, то и сам Прудон, разрушитель из разрушителей, Прудон, которого идеал есть полнейшее равенство и однообразие человечества, сознается, однако, в своей книге «О принципе искусства», что *«ослабление эстетического чувства было бы верным признаком устарения и приближения всего человечества к своему концу»*.²⁰

Конечно, и он, по общей большинству писателей дурной привычке, говорит об эстетике искусства больше, чем об эстетике *самой действительности*; но я повторяю, недолго проживет и эстетика отражений в духе нашем, если *дух прекрасного отлетит мало-помалу ото всего в действительной жизни!*

Простите мне, что я, «начавши за здравие», свел как будто за упокой.

В заключение же этого письма позвольте объяснить вам,³⁰ почему я, радуясь так живо, что юбилей ваш праздновался, с другой стороны, так доволен, что могу радоваться на него *не вблизи*, а отсюда, из моего «прекрасного», мало современного «далека».

«Если бы я был теперь в Москве, то мне пришлось бы (сказал я в начале письма) или быть слишком бескорыстным, или даже самоотверженным».

Ценя вас так давно, *давно*, и так высоко; благодарный вам еще с 50 года (когда я впервые узнал ваши стихи) за те наслаждения, которые они мне доставляли; я, конечно, захотел бы принять участие в предстоящем празднестве, в обеде, положим, который вам дали в Эрмитаже.

И что ж бы мне предстояло тогда?

Принять участие в *приготовлениях* и — не поехать на пиршество, на праздник чистой поэзии, не есть самого хорошего обеда, не слушать музыки; не видеть довольно редкой в современной России вещи — *торжества правды*, хотя бы и поздней; не пожать вам руки; не обнять вас, не поздравить вместе с другими...

Или *надеть* черный фрак (он у меня висит в шкафу, вообразите!) и белый галстук и стать самому тоже уж довольно «маститым» участником прославления любимого юбиляра... Ах!.. тоже... пирующего в черном фраке и белом галстуке!..

Первое — не поехать — было бы весьма неприятным бескорыстием; второе — уж и сам не разберу — что такое? Дурной бы это был поступок или хороший? Малодушная ли измена давним вкусам (если уж вы не разрешите мне и это назвать *убеждениями*)?

Или это было бы торжество нравственности над эстетикой, моей приязни и моего уважения к вам над фанатизмом ярких красок и красивых линий, колорита и складок, фанатизмом, который я, как видите, безумно, упорно и бесстыдно готов исповедовать!

Да и как же иначе?

Если досадно видеть, что сухие труды серьезных ученых совершаются в уродливой и вовсе уже *несерьезной* одежде, то что же можно чувствовать, видя, именно — *видя глазами*, что русские люди до сих пор еще и на балах танцуют, и свадьбы играют, и праздники такой *радужной* поэзии, как ваша, празднуют все в том же *куцум трауре*, который Запад надел с горя по своему великому, религиозному, аристократическому и артистическому *прошедшему*!

Разве у нас есть такое *такое* великое *прошедшее*?

Разве у нас нет уже никакого *русского будущего*? Пусть так думает В. С. Соловьев, если ему это утешительно! *Доказать* он этого нам в *точности* не в силах.

Верить же ему мы не обязаны. Верить даже и тому, что нам кажется по рассудку неправдоподобным, можно только в порядке строго религиозных мыслей и чувств. Но сочинения г. Соловьева не катехизис, одобренный Св. Синодом или Патриархами; и сам он нам не Папа, и не оптинский или афонский духовник.

Мы можем его с удовольствием и даже иногда с наслаж-¹⁰дением, благодаря его дарованиям, читать и слушать, но *слушаться* его никто не обязан без ясных доказательств; и потому я нахожу, что относительно *Руссизма* вообще (*а следовательно, и относительно форм внешнего быта*), гораздо вернее и приятнее разделять надежды Конст(ан-тина) Аксакова, Хомякова и Данилевского.

Они находили, что обретение или создание красивых и своеобразных форм этого быта *будет вернейшим признаком* полной зрелости и эмансипации русского ума и чув-²⁰ства.

Страстная идея ищет всегда выразительной формы.

СОДЕРЖАНИЕ

Записка о необходимости новой большой газеты в С.-Петербурге	7
О. А. Новикова	19
Вооруженные монахи.	21
Наши окраины	24
Письма о Восточных делах	43
Два представителя индустрии	131
Знакомство с Лессепсом.	142
Епископ Никанор о вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быстрого движения жизни	149
Средний европеец как идеал и орудие всемірного разрушения. .	159
Записки отшельника	234
Невольное пробуждение старых мыслей и чувств. . . .	234
Сочувствие и содействие	241
<i>Summ cuique</i>	256
Мой исторический фатализм	267
Судьба Бисмарка и недомолвки Каткова	280
Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой	297
Владимір Соловьев против Данилевского	316
Владимір Соловьев против Данилевского (незавершен- ные главы)	392
Добрые вести.	414
Над могилой Пазухина	445

Славянофильство теории и славянофильство жизни . . .	461
Достоевский о русском дворянстве .	472
Чужим умом	483
Национальная политика как орудие всемірной революции	497
Плоды национальных движений на Православном Востоке	549
Не кстати и кстати	625

